Н.А. ТРОИЦКИЙ

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ

курс лекций

Н.А.ТРОИЦКИЙ

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ

курс лекций

Издание второе,
исправленное

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации
в качестве учебного пособия
для студентов вузов,
обучающихся
по направлению
и специальности «История»

Москва
«Высшая Школа»
2003

УДК 947
ББК 63.3(2)5
Т 70

Рецензент:
д-р ист. наук, заслуженный деятель науки РФ, проф. В.Г. Тюкавкин
(зав. кафедрой отечественной истории МГПУ)

Троицкий, Н.А.
Т 70 Россия в XIX веке. Курс лекций: Учеб. пособие/Н.А. Троицкий. — 2-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2003.— 431 с.

ISBN 5-06-004495-5

XIX столетие, насыщенное глубокими противоречиями, автор рассматривает как одну из величайших переломных эпох. В книге нашли отражение царствование Александра I, проекты М.М. Сперанского, Отечественная война 1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей самодержавия» при Николае I, идейная борьба 30—40-х годов, реформы Александра II и контрреформы Александра III, возникновение революционных ситуаций, внешняя политика России в XIX в. и др. Большое внимание автор уделил отечественной культуре, многие духовные ценности которой по сей день остаются непревзойденными.

УДК 947
ББК 63.3(2)5

ISBN 5-06-004495-5

© ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2003

Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Высшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

ПОД СКИПЕТРОМ АЛЕКСАНДРА I 8

Начало реформ 8
Россия в коалиционных войнах 1805—1807 гг. 15
Проекты М.М. Сперанского 22

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. 29

Причины и начало войны 29
От Немана до Москвы 38
От Москвы до Немана 46

РОССИЯ ВО ГЛАВЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА 55

Коалиционные войны 1813—1815 гг. 55
Монархи против народов 59
Аракчеевщина 64

ДЕКАБРИСТЫ 76

Становление 76
Тайные общества 1821—1825 гг. 84
Восстание 91

НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ 101

«Апогей самодержавия» 101
Реформы Николая I 108
Внешняя политика 118

ИДЕЙНАЯ БОРЬБА 30—40-Х ГОДОВ 128

Охранители 128
Либералы 133
Революционеры 140

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 155

Планы сторон 155
Россия против Турции 158
Англия, Франция и Турция против России 163

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 172

Понятие и признаки революционной ситуации 172
Демократический подъем 176
Канун освобождения 186

РЕФОРМЫ 1861—1874 ГГ. 194

Падение крепостного права 194
Земская, городская и судебная реформы 201
Финансовые, образовательные, военные реформы 209

ПОСЛЕ РЕФОРМ 217

От феодализма к капитализму 217
Народ и реформы 227
Правительственная реакция 234

НАРОДОЛЮБЦЫ И ТИРАНОБОРЦЫ 242

Освободительное движение 60-х годов 242
«Хождение в народ» 251
«Народная воля» 261

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877—1878 ГГ. 270

Происхождение войны 270
Война 274
Итоги 281

ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 287

Восходящая фаза 287
Нисходящая фаза 297
Исход 307

КОНТРРЕФОРМЫ 1889—1892 ГГ. 313

Подготовка 313
Содержание контрреформ 320
Последствия 330

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 1879—1894 ГГ. 336

Россия и «Союз 3-х императоров» 336
Разрыв с Германией 344
Русско-французский союз 348

КУЛЬТУРА 357

Просвещение и наука 358
Литература 370
Искусство 391

Заключение 427
Хронология российской истории XIX в. 430

Моей жене
Валентине Петровне Троицкой
посвящаю

ОТ АВТОРА

XIX век для России — одна из величайших переломных эпох. Следы этой эпохи в судьбах Российской империи грандиозны, многогранны и противоречивы. С одной стороны, Россия XIX в. — это пожизненная тюрьма для большинства ее граждан[1]. Россия XIX в. — это жандарм Европы, глава Священного союза монархов против народов, душитель восстаний в Польше 1830 и 1863 гг. и революции в Венгрии 1849 г. Россия XIX в. — это цитадель деспотизма и обскурантизма, где властвовали невежественные солдафоны вроде Аракчеева и образованные мракобесы типа Победоносцева, а народ прозябал в нищете и темноте (к концу XIX в. 80% населения страны оставалось неграмотным).

Но, с другой стороны, Россия XIX в. — это родина великого, хотя и трагически противоречивого, освободительного движения от декабристов до социал-демократов, которое дважды (в 1859—1861 и 1879—1881 гг.) приводило страну вплотную к *демократической* революции. Россия в XIX в. спасла Европу от наполеоновской военщины и освободила балканские народы от турецкого ига. Наконец, в России XIX в. были созданы гениальные духовные ценности, многие из которых по сей день остаются непревзойденными (творения А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, Н.И. Лобачевского и Д.И. Менделеева, М.И. Глинки и П.И. Чайковского, К.П. Брюллова и И.Е. Репина, М.Н. Ермоловой и Ф.И. Шаляпина).

Словом, Россия выглядела в XIX в. на редкость разноликой, познала и триумфы, и унижения. Один из лучших русских поэтов Н.А. Некрасов в 1877 г. сказал о ней вещие слова, которые верны и поныне:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

[1] Уже к 1816 г. территориальное расширение Российской империи было в основном завершено: в ней насчитывалось свыше 100 больших и малых народов, которые изнывали под гнетом самодержавия, а до 1861 г. — и крепостного права.

Тем не менее при всех трудностях и потрясениях экономического, социального, политического и духовного характера, несмотря на то что временами страна по вине ее правителей «топталась на месте», буксовала или даже отступала назад, общая тенденция развития России в XIX в. неизменно оставалась восходящей: от самодержавно-крепостнического произвола через все препятствия к началам законности, свободы, демократии («per aspera ad astra»[1], как говорили древние римляне). Показать современному читателю, как проходил этот процесс, в чем конкретно он проявлялся и к чему привел, каковы были условия жизни, правовые нормы, учреждения, люди России XIX в. с их идеями, деяниями, успехами и неудачами — вот круг вопросов, которые предполагается рассмотреть на страницах этой книги.

В отечественной историографии есть общий «Курс истории России XIX века». Его автор — замечательный историк Александр Александрович Корнилов (1862—1925), в советское время явно недооцененный по политическим мотивам из-за того, что он до 1917 г. был секретарем ЦК партии кадетов. Его «Курс» интересен и как историографическое явление бесценен, но практически он устарел (был читан студентам Санкт-Петербургского политехнического института в 1909—1911 гг., издавался без изменений в 1912—1914, 1918 и 1993 гг.)[2]. В популярнейших, многократно опубликованных курсах лекций по русской истории академиков В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова (переизданы в 1989 и 1993 гг.) XIX век освещен неполно, до реформ Александра II, и кратко: у Ключевского ему отведены лишь четыре последние лекции из 86, у Платонова — последние 75 страниц его более чем 700-страничного курса. В советское время популярным был курс проф. С.Б. Окуня, который издавался несколько раз с 1939 по 1974 г.[3] Он содержателен, ярко изложен, но хронологически ограничен первой половиной XIX в.

Сегодня остро необходим современный курс российской истории вообще и XIX в. в частности. За истекшие десятилетия накопилось много новых источников и литературы, а в самое последнее время начался пересмотр буквально всего и вся, изобилующий дилетантскими крайностями[4]. Поэтому важно обозреть нашу историю на современном уровне научных знаний, не увлекаясь ни застарелыми клише советской историографии, ни новомодными сенсациями ее критиков.

---

[1] Через тернии к звездам (*лат.*).

[2] Столь же устарела коллективная «История России в XIX веке» (издана Товариществом «Гранат» в 1907—1909 гг.), которая к тому же носит выборочно-очерковый характер; в ней, например, нет отдельной темы даже об Отечественной войне 1812 г.

[3] Наиболее полные изд.: История СССР. Курс лекций. Л., 1948. Т. 1 (1796—1825); Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX в. Л., 1957.

[4] См., например: История России. С начала XVIII до конца XIX века/Отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1996. Подробно об этом издании см.: *Троицкий Н.А.* Вечное возвращение//Свободная мысль, 1997. № 4.

Хронологически предлагаемая книга охватывает 1801—1894 гг., от вступления на престол Александра I, что положило начало новой эпохе, качественно отличной от XVIII в., до воцарения последнего российского самодержца Николая II. 1894 год стал рубежом не просто между двумя последними царствованиями: он означал важный рубеж и во внутренней политике России (завершение «контрреформ»), и в ее внешней политике (оформление русско-французского союза), и в российском освободительном движении (конец «разночинского» этапа), и даже в экономическом развитии страны (начало промышленного подъема с ускоренным ростом монополий). Вторая половина 90-х годов во всех отношениях знаменовала собой наступление уже иной эпохи, характерной для XX в.

Внимательный читатель заметит, что в моей книге сделан акцент на истории *политической* — сделан намеренно, чтобы рельефнее показать, как в течение всего XIX в. Россия развивалась через две революционные ситуации к трем последующим революциям из-за нараставшего разлада между царским режимом и русским обществом. Экономический аспект рассматривается при этом лишь как фон (разумеется, очень важный), поскольку он изучен и в самой России, и за рубежом больше, а споров вызывает меньше, чем политическая история.

В основу книги положен курс лекций, который я читаю студентам-историкам Саратовского университета. Курс является результатом обобщения русской дореволюционной и советской (отчасти и зарубежной) литературы, включая мои собственные исследования. Читатель, желающий больше узнать о тех или иных процессах, событиях и людях с учетом разных мнений историков, найдет в конце каждой главы краткий обзор наиболее характерной и значимой литературы.

Академик Международной Академии наук
высшей школы, доктор исторических наук
Н.А. Троицкий

Начало реформ

Самое начало XIX в. ознаменовалось внезапной сменой лиц на российском престоле. Император Павел I, самодур, деспот и неврастеник, в ночь с 11 на 12 марта[1] 1801 г. был удавлен заговорщиками из высшей знати, разделив таким образом участь своего отца Петра III, еще большего самодура, деспота и неврастеника, тоже удавленного за 40 лет перед тем.

Убийство Павла было содеяно с ведома его 23-летнего сына Александра, который вступил 12 марта на трон, перешагнув через труп отца. Так после двух сыноубийц (Ивана IV Грозного и Петра I Великого) и мужеубийцы (Екатерины II Великой) на царском троне России оказался еще и отцеубийца. Правда, получив известие о том, что Павел убит, Александр Павлович дал волю сыновним чувствам и расплакался, но вожак убийц Петр Пален грубо одернул его: «C'est accez faire l'enfant! Allez regner!»[2] В тот же день было объявлено народу, что «государь император Павел Петрович скончался от апоплексического удара».

Событие 11 марта 1801 г. было последним дворцовым переворотом в России. Оно завершало собой историю российской государственности XVIII в., замечательной, по словам маркиза А. де Кюстина, как «абсолютная монархия, умеряемая убийством»[3].

Известие об убийстве Павла I россияне чуть ли не повсеместно встречали с восторгом. «На лицах россов радость блещет!» — писал в те дни знаменитый поэт Г.Р. Державин. Вопреки официально объявленному трауру, на улицах обеих столиц[4] царило праздничное ликование. В церквах пели «за упокой», а в светских местах поднимали заздравные чаши. С именем нового царя все связывали надежды на лучшее: «низы» — на ослабление помещичьего гнета, «верхи» — на еще большее внимание к их интересам.

---

[1] События в России датируются по старому стилю, в Европе — по новому. В датах международных договоров России указываются оба стиля.

[2] «Довольно ребячиться! Ступайте царствовать!» *(франц.)*

[3] С 1725 по 1801 г. в России произошло шесть дворцовых переворотов, были свергнуты три царя, два временщика и одна «правительница», причем все трое царей (Иван VI, Петр III и Павел I) были убиты.

[4] Официально столицей Российской Империи с 1712 г. был Петербург, но рядом с ним в общенациональном сознании почиталась и древняя столица Москва.

Дворянская знать, посадившая на трон Александра I, преследовала старые задачи: сохранить и упрочить в России самодержавно-крепостной строй. Она только хотела при этом гарантировать себя от самодурства а la Павел I, который считал: «Дворянин в России — лишь тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю». Неизменной осталась и социальная природа самодержавия как диктатуры дворянства. Однако ряд угрожающе сложившихся к тому времени факторов заставлял александровское правительство искать новые методы для решения старых задач.

Больше всего беспокоил дворян рост недовольства «низов». К началу XIX в. Россия представляла собой державу, необозримо раскинувшуюся на 17 млн. кв. км от Балтийского до Охотского и от Белого до Черного морей. Ее населяли 40 млн. человек. Из них дворян было 225 тыс., священнослужителей — 215 тыс., купцов — 119 тыс., генералов и офицеров — 15 тыс. и столько же государственных чиновников. В интересах этих примерно 590 тыс. человек, т. е. меньше 1,5% россиян, царь управлял своей империей. Громадное большинство прочих 98,5% составляли бесправные крепостные крестьяне (по выражению А. де Кюстина, «рабы рабов»). Правда, Екатерина II отменила... слово «раб». По этому случаю была даже сочинена «Ода на истребление в России названия раба». Однако жизнь крепостных крестьян после этого не перестала быть рабской. Более того, Александр I понимал, что хотя рабы его рабов стерпят многое, даже их терпению есть предел. Между тем гнет и надругательства помещиков над крестьянами были тогда беспредельны.

Достаточно сказать, что барщина в районах интенсивного земледелия (Черноземный центр, Поволжье, Украина, Белоруссия) составляла 5—6, а иногда и все 7 дней в неделю, хотя Павел I в 1797 г. издал указ о трехдневной (не более!) барщине. Помещики игнорировали этот указ и не соблюдали его вплоть до отмены крепостного права. Главное же, крепостных в России тогда не считали людьми, их заставляли работать, как тягловый скот, продавали и покупали, обменивали на собак, проигрывали в карты, сажали на цепь, заклепывали в железные клетки, били насмерть розгами, батогами, кнутами, *щекобитами,* т. е. деревянными орудиями для битья по щекам, дабы не марать дворянских рук о «хамские рожи»[1]. Можно ли было все это терпеть? К 1801 г. 32 из 42 губерний империи были охвачены крестьянскими волнениями, число которых только за 1796—1800 гг. превысило 270. Дворяне жили в страхе перед новой «пугачевщиной».

Другим фактором, воздействовавшим на новое правительство, было давление со стороны дворянских кругов, которые пострадали от деспотизма Павла I и требовали возвратить им привилегии,

[1] См.: Ужасы крепостного права в царствование Александра Благословенного // Русский архив. 1907. № 9.

дарованные Екатериной II. Правительство вынуждено было учитывать распространение европейских либеральных веяний среди дворянской интеллигенции. Многие дворяне, даже из числа близких к трону, чувствовали непрочность абсолютизма в России и под свежим впечатлением ужасов революции во Франции 1789 г. громко требовали конституционных ограничений, дабы предотвратить революцию, подобную французской, в своей стране.

Наконец, потребности экономического развития вынуждали правительство Александра I к реформам. Господство крепостного права, при котором ручной труд миллионов крестьян был даровым, мешало техническому прогрессу. Промышленный переворот — переход от ручного производства к машинному, начавшийся в Англии с 60-х, а во Франции с 80-х годов XVIII в., — в России стал возможным лишь с 30-х годов следующего столетия. Рыночные связи между различными регионами страны были вялыми. Больше 100 тыс. деревень и сел (преимущественно по 100—200 душ) и 630 городов, разбросанных по России далеко друг от друга, плохо знали, как и чем живет страна, а правительство об их нуждах и знать не хотело. Российские пути сообщения были наиболее протяженными и наименее благоустроенными в мире. До 1837 г. Россия не имела ни одной железной дороги. Первый в стране пароход появился на Неве в 1815 г., а первый паровоз («сухопутный пароход», как его поначалу называли) — лишь в 1834 г. на Нижне-Тагильском заводе. Узость внутреннего рынка тормозила рост внешней торговли. Доля России в мировом товарообороте составляла к 1801 г. всего 3,7%. Все это предопределило характер, содержание и методы внутренней политики царизма при Александре I.

В первом же своем манифесте от 12 марта 1801 г. новый царь обещал править «по законам и сердцу бабки нашей Екатерины Великой» и вслед за тем, торопясь подкрепить слово делом, буквально излил на дворян дождь милостивых указов. Немедля были уволены с видных мест наиболее одиозные приспешники Павла и выдвинуты отстраненные Павлом екатерининские сановники. 2 апреля 1801 г. торжественно, с помпой была упразднена зловещая Тайная экспедиция, которая палачествовала с 1762 г. и в казематах которой побывали не только вожди народных восстаний Емельян Пугачев и Салават Юлаев, не только просветители А.Н. Радищев (которого, впрочем, Екатерина II назвала «бунтовщиком хуже Пугачева») и Н.И. Новиков, но и многие опальные вельможи. Главной же радостью для дворян стало официальное подтверждение екатерининской Жалованной грамоты дворянству 1785 г.; грамота, так цинично попранная при Павле, одаривала их 92-мя привилегиями.

Такое начало успокоило и подкупило дворян. Правительство заручилось их доверием и приступило к первой серии либеральных реформ (1801—1804). Смысл их заключался в том, чтобы

несколько подлатать и замаскировать обветшавший фасад крепостнической империи, подогнать его под общеевропейский фон и, коль уж нельзя было задушить либеральные веяния в русском обществе, использовать их в своих целях, — т. е. внушить россиянам мысль о том, что новый государь сам стремится к либерализму, нужно только довериться ему и поддерживать его. Иначе говоря, реформы 1801—1804 гг. скорее всего были задуманы как маскировочные декорации для деспотического режима, либеральный иллюзион, пока, в данный момент, нельзя было действовать круто, по-павловски.

Александр I как нельзя лучше подходил к проведению такой иллюзорной политики. Воспитывался он отцом и бабкой, которые ненавидели друг друга. Александр же хотел нравиться обоим. В результате он, по выражению В.О. Ключевского, «должен был жить на два ума» и «держать двойной прибор манер, чувств и мыслей». С детства в нем развились двуличность, лицемерие, склонность казаться, а не быть, тяга к позерству. Он и в зрелые годы репетировал свои выходы в общество перед зеркалом, примеряя не только платье, но и жесты, улыбки, фразы. Зато он в совершенстве постиг и эффектно использовал самые грациозные позы античных статуй.

Внутренне Александр был не меньшим деспотом, чем Павел, но его украшали внешний лоск и обходительность. Юный царь, не в пример своему родителю, отличался прекрасной наружностью: высокий, стройный, умилявший окружающих изяществом манер, джентльменски выдержанный и галантный, с чарующей улыбкой на ангелоподобном лице, с добрыми голубыми глазами — он был, по выражению М.М. Сперанского, «сущий прельститель». Родные и близкие звали его «notre ange» (наш ангел). Люди сентиментальные, падкие на внешний эффект были в восхищении от нового царя. Державин любовался им в сладкоголосых стихах:

О, ангел кротости и мира,
Любимый сын благих небес!

Более проницательные современники называли Александра «актером на троне». «В лице и в жизни Арлекин», — сказал о нем А.С. Пушкин. В политике Александр, по словам шведского дипломата Г. Лагербьелке, был «тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». Все это верно. Но по уму и таланту Александр I как государь превосходил любого из русских царей, кроме Петра Великого.

Прежде чем приступить к либеральному иллюзиону, Александр I отстранил от власти участников заговора 11 марта, которые слишком много знали и на многое претендовали. Главенствующее положение при царе заняли его так называемые *молодые друзья* — Виктор Кочубей, Павел Строганов, Николай Новосильцев и Адам Чарторыйский. Это были представители высшей знати,

сливки именитого дворянства. Кочубей — племянник и воспитанник знаменитого екатерининского канцлера А.А. Безбородко, друг детства Александра I. Строганов — единственный сын самого богатого в России вельможи, о котором Екатерина II говорила, что он «40 лет делает все, чтобы разориться, и никак не может успеть в этом». Новосильцев — двоюродный брат молодого Строганова. Чарторыйский — отпрыск польского великокняжеского рода Гедиминовичей (отец Адама был двоюродным братом последнего короля Польши С.А. Понятовского).

Из этих людей Александр I составил в июле 1801 г. под своим председательством особый Негласный комитет (собственный «Комитет общественного спасения»[1], как он говорил из кокетства) для подготовки общего плана государственных реформ. Деятельность Негласного комитета выражалась главным образом в том, что члены его, сидя за чашкой кофе в личных апартаментах царя в Зимнем дворце, говорили о пользе преобразований и вздыхали об их несвоевременности. Этого оказалось достаточно, чтобы старшее поколение придворных, «екатерининские орлы» (П.В. Завадовский, А.Р. Воронцов, Г.Р. Державин), боявшиеся даже разговоров о преобразованиях, окрестили Негласный комитет «якобинской шайкой». Однако вскоре же выяснилось, что слухи о «якобинских» поползновениях Негласного комитета сильно преувеличены. Проекты реформ, нередко разумные и полезные, рождавшиеся на заседаниях комитета в итоге долгих разговоров и вздохов, бесследно тонули в новых разговорах и вздохах.

Так, летом 1801 г. Негласный комитет обсуждал «Жалованную грамоту Российскому народу», которую предполагалось обнародовать в день коронации Александра I. Грамота провозглашала неприкосновенность личности — краеугольный принцип буржуазного права, впервые сформулированный в английском Habeas Corpus Act 1679 г., а также право россиян «пользоваться невозбранно свободою мысли, веры и исповедания, богослужения, слова или речи, письма или деяния». Но в ходе обсуждения члены комитета заговорили о том, что обнародовать такую грамоту несвоевременно. Александр I тут же выразил «неблаговоление» к ней, положил ее под сукно и короновался без грамоты.

Все разговоры о реформах «безобразного здания администрации государства», как выражались «молодые друзья» царя, свелись к двум косметическим изменениям. 8 сентября 1802 г. вместо прежних коллегий были учреждены министерства с целью укрепить единоначалие и вытеснить коллегиальность в управлении государственными делами. Но поскольку верховным распорядителем власти как был, так и остался царь, эта «реформа» ничего не изменила. Пожалуй, бюрократизм даже еще более усилился.

[1] Так назывался руководящий орган ненавистной для монархов Европы якобинской диктатуры во Франции 1793—1794 гг.

Дело в том, что ни порядок прохождения дел, ни функции министерств не были точно определены (это сделает позднее М.М. Сперанский). Министрами же царь назначал людей очень знатных и близких к трону, но большей частью не способных и просто не желавших управлять министерствами. Так, о министре просвещения П.В. Завадовском[1] говорили, что он «шесть дней в неделю ничего не делал, а седьмой отдыхал».

В тот же день, 8 сентября 1802 г., Александр I издал указ о правах Сената. Утративший после Петра Великого всякое значение Сенат теперь был объявлен «верховным местом в империи». Он получил право контролировать министров и возражать царю против тех его указов, которые будут противоречить существующим законам. Однако едва Сенат на радостях по такому случаю дерзнул возразить против первого же царского указа, Александр тотчас проявил нрав самодержца. «Я им дам себя знать!» — пригрозил он сенаторам, и тут же последовало царское «разъяснение», согласно которому Сенат мог возражать лишь против «ранее изданных», а не вновь издаваемых законов.

Чтобы упорядочить законодательство империи, в помощь Негласному комитету была учреждена Комиссия по составлению законов под председательством П.В. Завадовского. Это была уже десятая по счету законодательная комиссия со времен Петра I, просуществовала она три года и так же, как девять предыдущих комиссий, оказалась бесплодной. В комиссию Завадовского был введен А.Н. Радищев, освобожденный из Сибири еще при Павле. «Первый русский революционер» не замедлил высказать антикрепостнические идеи. «Эх, Александр Николаевич! — упрекнул его Завадовский. — Охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?» Радищев воспринял это нарекание как угрозу и, придя со службы домой, 12 сентября 1802 г. принял яд. «Потомство отомстит за меня», — сказал он перед смертью.

Безбрежными были словопрения в Негласном комитете и по крестьянскому вопросу, плодами которых явились еще два акта, столь же мало смягчившие крепостное право, сколь мало ограничили самодержавие указы о правах Сената и министерств. 12 декабря 1801 г. был издан указ, дозволявший купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать землю в собственность. Поскольку до тех пор землей владели исключительно дворяне, новый указ означал уступку нарождавшейся буржуазии. 20 февраля 1803 г. последовал более значимый указ «о вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам по их желанию освобождать крестьян с землей за выкуп. Этот указ был ловким маневром царизма. Юридически он смягчал крепостное право, и

[1] В прошлом фаворит Екатерины II (он числился под номером 6-м в хронологическом ряду 20 екатерининских фаворитов, сразу после знаменитого Г.А. Потемкина).

Александр I мог гордиться им перед Европой, что он и делал. Фактически же указ 1803 г. сводился к нулю. Вопрос, освобождать крестьян от помещиков-крепостников или нет, был отдан на усмотрение самих крепостников, и они, разумеется, решали его по-крепостнически: встретили указ равнодушно и редко кто им пользовался. За все 25-летнее царствование Александра I было освобождено по указу «о вольных хлебопашцах» меньше 0,5% крепостного населения России. Фигурально говоря, оба указа о крестьянах 1801 и 1803 гг. лишь приоткрывали узкую щель под дверью крепостнической империи, в которую «ломились» буржуазные отношения. Сама же дверь оставалась захлопнутой наглухо.

Александр I впервые за всю историю самодержавия обсуждал в Негласном комитете вопрос о возможностях *отмены крепостного права,* но признал его еще не созревшим для окончательного решения. Поэтому Комитет постановил «во избежание неудовольствия дворянства и возбуждения слишком больших надежд в крестьянах» ограничиться полумерами.

Сохранение крепостного права (как оказалось, еще на 60 лет) консервировало замедленные темпы экономического развития России по сравнению с передовыми странами. Например, урожайность сельскохозяйственных культур на протяжении первой половины XIX в. оставалась почти неизменной, не достигая в среднем 35 пудов с гектара, тогда как во Франции она превышала 60, а в Англии — 90 пудов (впрочем, здесь надо учитывать и различия в географических условиях). С первого места в мире по производству чугуна и железа в 1796 г. Россия к 1861 г. отступила на пятое после Англии, Франции, США, Бельгии.

Смелее, чем в крестьянском вопросе, были реформы Александра I в области просвещения. Тройная нужда заставляла царизм реформировать эту область: требовались подготовленные чиновники для обновленного государственного аппарата, а также квалифицированные специалисты для промышленности и торговли; наконец, в связи с распространением по России либеральных идей необходимо было упорядочить народное образование, чтобы более бдительно осуществлять контроль над ним.

В итоге за 1802—1804 гг. правительство Александра I перестроило всю систему учебных заведений, разделив их на четыре ряда (снизу вверх: приходские, уездные и губернские училища[1], университеты), и открыло сразу четыре новых университета в дополнение к единственному с 1755 г. Московскому: в Дерпте (Тарту), Вильно, Харькове и Казани. В Петербурге 16 апреля 1804 г. был открыт педагогический институт, преобразованный в университет лишь 8 февраля 1819 г. Университетский устав 1804 г. впервые предоставил всем российским университетам автономию.

[1] Губернские училища — это гимназии.

В 1804 г. был принят и новый цензурный устав — самый мягкий за всю историю России, вплоть до нашего времени. Он гласил, что цензура служит «не для стеснения свободы мыслить и писать, а единственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оною». Отменен был павловский запрет на ввоз литературы из-за границы и началось — впервые в России — издание переведенных на русский язык сочинений Ф. Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Г. Рейналя, которыми зачитывались будущие декабристы. На этом закончилась первая серия реформ Александра I, воспетая Пушкиным как «дней Александровых прекрасное начало».

Молодой царь с детства был «заражен» конституционными идеями своего любимого воспитателя, республиканца из Швейцарии Ф.Ц. Лагарпа и поэтому не просто играл в либерализм (как считают многие историки, включая В.О. Ключевского), а действительно хотел частично, поверхностно либерализировать Россию. Но самодержавие Александр I ставил выше любой конституции и готов был допустить конституционные свободы не в ущерб, а во благо своей личной власти, как ее прикрытие и опору. Один из самых близких к нему и, кстати, проницательнейших современников князь А. Чарторыйский тонко подметил особенность александровского конституционализма: «Император любил внешние формы свободы, как можно любить представление <...> Он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю». К 1805 г. Александр I почувствовал, что уже сделанными *полушагами* достаточно упрочил свое положение, примирив старую знать с новой, и не нуждается в дальнейших реформах.

Россия в коалиционных войнах 1805—1807 гг.

Александр I пришел к власти в напряженной и крайне сложной для России международной обстановке. Наполеоновская Франция стремилась к господству в Европе и потенциально угрожала России. Между тем Россия вела дружественные переговоры с Францией и находилась в состоянии войны с Англией — главным противником Франции. Такое положение, доставшееся Александру в наследство от Павла, совершенно не устраивало русских дворян.

Во-первых, с Англией Россия поддерживала давние и взаимовыгодные экономические связи. К 1801 г. Англия поглощала 37% всего российского экспорта (63% всех купцов, торговавших с Россией, были англичанами). Франция же, несравненно менее богатая, чем Англия, никогда не доставляла и не могла доставить России таких выгод. Во-вторых, Англия являла собой добропорядочную *легитимную* монархию, тогда как Франция была страной-бунтовщицей, насквозь пропитанной революционным духом, страной, во главе которой стоял выскочка, безродный вояка.

Наконец, в-третьих, Англия пребывала в хороших отношениях с другими легитимными, т. е. феодальными, монархиями Европы: Австрией, Пруссией, Швецией, Испанией. Франция же именно как страна-бунтовщица противостояла единому фронту всех остальных держав.

Таким образом, первоочередной внешнеполитической задачей правительства Александра I должно было стать восстановление дружбы с Англией. Но пока царизм не собирался воевать и с Францией — новому правительству требовалось время для устройства неотложных внутренних дел. В 1801—1803 гг. оно «кокетничало» с Англией и Францией, используя их противоречия и заинтересованность в русском содействии. «Нужно занять такую позицию, — формулировал 10 июля 1801 г. мнение Негласного комитета граф В.П. Кочубей, — чтобы стать желанными для всех, не принимая никаких обязательств по отношению к кому бы то ни было».

Буквально с первого же дня нового царствования эта «флиртующая» политика начала осуществляться и оставалась приоритетной в течение трех лет. Прежде всего были нормализованы отношения с Англией. Уже в ночь на 12 марта 1801 г., через считанные минуты после удавления Павла, когда еще не успело остыть тело убитого императора, новый царь повелел вернуть казачьи полки атамана М.И. Платова, отправленные по приказу Павла в поход на Индию — сокровищницу Англии, а вскоре, 5 (17) июня, Россия заключила договор о взаимной дружбе с Англией. Одновременно царское правительство продолжало переговоры с Францией и 26 сентября (8 октября) 1801 г. завершило их подписанием мирного соглашения. После того как в марте 1802 г. подписали мирный договор и Франция с Англией, международная напряженность разрядилась. Впервые за много лет в Европе установился мир. Все это позволило царизму не только заняться внутренними реформами, но и разрешить осенью 1801 г. затянувшийся с 1783 г. пограничный вопрос о присоединении Грузии к России.

Но мир в Европе оказался недолгим. Наполеон использовал его для подготовки к войне с Англией. Видя это, Англия сама в мае 1803 г. объявила войну Франции и начала снаряжать на свои средства очередную, 3-ю коалицию европейских держав против Франции (две предыдущие были разгромлены Наполеоном в 1797 и 1800 гг.). Главной силой 3-й коалиции стала Россия.

Непосредственным толчком к выступлению России против Франции явились события, разыгравшиеся весной 1804 г. В марте по приказу Наполеона французский отряд вторгся на территорию германского княжества Баден (за 4 км от французской границы), схватил там и вывез оттуда во Францию одного из членов королевской семьи Бурбонов герцога Энгиенского. Во Франции герцог был предан суду и расстрелян как организатор заговоров против Наполеона.

Это событие вызвало бурю негодования в Англии и дворах Европы. При русском дворе был объявлен официальный траур. Александр I заявил Наполеону гневный протест против расправы над герцогом. Наполеон прислал Александру свой знаменитый, весьма ядовитый ответ в форме вопроса: если бы Александр знал, что убийцы его отца находятся в 4 км от русской границы, неужели он не приказал бы схватить их?[1] Сильнее оскорбить царя, открыто назвав его перед лицом всей Европы отцеубийцей, было невозможно. Ведь вся Европа знала, что Павла убили Платон Зубов, Леонтий Беннигсен, Петр Пален и что Александр не посмел и пальцем тронуть их после своего воцарения, хотя жили они не «в 4 км от русской границы», а в столице России и запросто бывали в царском дворце.

Ознакомившись с ответом Наполеона, Александр I немедленно разорвал отношения с Францией и начал ускоренно сколачивать 3-ю коалицию. Если инициатором коалиции был английский премьер-министр У. Питт, то душой и организатором ее стал Александр. Именно он в течение целого года созывал и сплачивал коалиционеров, держа в орбите своих усилий Англию, Австрию, Пруссию, Швецию, Турцию, Испанию, Португалию, Данию, Неаполитанское и Сардинское королевства[2]. С весны 1805 г. в Европе началась полоса кровопролитных войн, затянувшаяся на 10 лет.

Коалиционные войны 1805—1807 гг. велись из-за территориальных претензий и главным образом из-за господства в Европе, на что претендовала каждая из пяти великих держав того времени: Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия. Кроме того, коалиционеры ставили целью восстановить в Европе, вплоть до самой Франции, феодальные режимы, свергнутые Французской революцией и Наполеоном. Эти цели засвидетельствованы в официальных документах 3-й и 4-й коалиций (как, впрочем, и обеих предыдущих и всех последующих): в русско-английской, русско-австрийской и русско-прусских (Потсдамской и Бартенштейнской) декларациях 1804—1807 гг.[3], а также в переписке Александра I с его министрами, советниками и послами[4]. При этом коалиционеры не скупились на фразы об их намерениях

---

[1] См.: *Tatistcheff S.* Alexandre I et Napoléon d'après leur correspondance inedite (1801—1812). Paris, 1891. P. 79.

[2] Послания Александра I и его инструкции об этом см.: Внешняя политика России XIX и начала XX в. Документы Российского министерства иностранных дел (далее — ВПР). Сер. I. Т. 2. № 3, 12, 14, 15, 30, 118, 119, 122, 125, 130.

[3] См.: ВПР. Т. 2. С. 182, 370, 372, 374, 617; Т. 3. С. 562, 563; *Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1883. Т. 6. С. 412—415.

[4] См.: ВПР. Т. 1. С. 51, 53, 89, 91, 462—466; Т. 2. С. 149; Сборник Русского исторического общества. Т. 70. С. 202, 216, 222; Архив кн. Воронцова. М., 1976. Т. 10. С. 270, 273.

освободить Францию «от цепей» Наполеона, а другие страны — «от ига» Франции, обеспечить «мир», «безопасность», «свободу», даже «счастье» всего «страдающего человечества». Именно этой фразеологией руководствуются (закрывая глаза на истинные цели коалиций) многие отечественные историки от царских до современных, считая феодальные коалиции 1805—1807 гг. «оборонительными союзами», которые якобы противостояли «экспансии Франции» и стремились чуть ли не к созданию в Европе системы коллективной безопасности.

Наполеон в 1805—1807 гг. действовал более агрессивно, но его противники — более реакционно. Диалектика истории такова, что действия каждой стороны в тех разбойничьих войнах имели и объективно прогрессивные последствия: коалиционеры противодействовали гегемонизму Наполеона, а Наполеон разрушал феодальные устои Европы.

Война 1805 г. началась с того, что Наполеон сосредоточил свои войска в Булони на берегу Ла-Манша для вторжения в Англию. Над Англией нависла смертельная угроза. В случае высадки наполеоновского десанта с независимостью Англии было бы покончено, ибо она не имела сил для борьбы с Наполеоном на суше. Высадка могла осуществиться со дня на день. Наполеон говорил, что он ждет только туманной погоды, которая на Ла-Манше — не редкость. В этот критический для Англии момент вступила в войну Россия. Русская армия под командованием генерала М.И. Кутузова устремилась на Запад. В Баварии она должна была соединиться с австрийской армией фельдмаршала К. Мака, после чего союзники рассчитывали сообща осилить Наполеона.

Пока австрийцы сосредоточивались в Баварии, Наполеон следил за их передвижениями без особого беспокойства. Но как только он узнал о стремительном марше русской армии, немедленно (в начале сентября 1805 г.) свернул Булонский лагерь и начал переброску войск в Баварию. Англия была спасена.

План Наполеона заключался в том, чтобы помешать Кутузову и Маку соединиться и разбить их поодиночке. Стратеги 3-й коалиции с циркулями в руках подсчитали, что Наполеону потребуется для похода с Ла-Манша на Дунай 64 дня. Наполеон сделал это за 35 дней. Он окружил армию Мака, запер ее в крепости Ульм и заставил сложить оружие. 15 ноября Наполеон занял столицу Австрии Вену, которая до тех пор никогда не сдавалась врагу.

Теперь и армия Кутузова была окружена с трех сторон. Наполеон готовил ей судьбу Мака. Кутузов имел всего 45 тыс. человек против 80 тыс. у Наполеона. Единственный шанс спасения для Кутузова заключался в том, чтобы успеть, пока не сомкнулось французское кольцо, проскочить на северо-восток к г. Брюнну (Брно), где расположилась только что прибывшая из России

резервная армия. Кутузов мастерски использовал этот шанс, вырвался из французских клещей и соединился с резервами.

Обе русские армии общей численностью в 70 тыс. человек сосредоточились у деревни Аустерлиц, возле Брюнна. К ним присоединились 15 тыс. австрийцев. В Аустерлиц прибыли императоры России и Австрии — Александр I и Франц I. Союзникам было известно, что Наполеон привел к Аустерлицу только 73 тыс. человек. Поэтому Александр и Франц надеялись на победу в генеральном сражении. Правда, главнокомандующий союзной армией Кутузов был против сражения, предлагал отступать к границам России, но его предложение показалось обоим императорам трусливым.

Генеральное сражение под Аустерлицем, сразу же названное «битвой трех императоров», произошло 2 декабря 1805 г. Наполеон одержал в нем самую блестящую из своих 50 побед. Союзники потеряли 27 тыс. человек (из них 21 тыс. русских) и 155 орудий (130 русских). Кутузов был ранен и едва не попал в плен. Александр I ускакал с поля битвы, заливаясь слезами. Франц I бежал еще раньше Александра. Официальный Петербург воспринял Аустерлиц тем больнее, что русская армия больше 100 лет, после Нарвской битвы 1700 г., никому не проигрывала генеральных сражений и что при Аустерлице опять-таки впервые после Петра Великого возглавлял русскую армию сам царь.

Причины столь страшного разгрома союзников заключались в превосходстве не только военного гения Наполеона, но и его армии: она была массовой армией буржуазного типа, не знала (в отличие от русской и австрийской феодальных армий) ни кастовых барьеров между солдатами и офицерами, ни бессмысленной муштры, ни палочной дисциплины, зато была сильна равенством гражданских прав и возможностей. Наполеон не зря говорил, что каждый его солдат «носит в своем ранце маршальский жезл».

Аустерлицкий разгром положил конец 3-й коалиции. Франц I принес Наполеону повинную, и Австрия вышла из войны. Однако Англия (несмотря на то, что ее премьер-министр У. Питт, узнав об Аустерлице, от горя потерял рассудок и вскоре умер) и Россия не сложили оружия. В следующем году они составили новую, 4-ю коалицию против Наполеона, в которой место выбывшей из строя Австрии заняла Пруссия.

Коалиционеры особенно многого ждали от Пруссии как хранительницы мощи и славы Фридриха Великого. Но прусская армия, воспитанная и как бы законсервированная в догмах Фридриха, давно потеряла боеспособность, а ее генералитет был бездарен и немощен (19 высших генералов в 1806 г. вместе имели за плечами 1300 лет жизни). Зато королевский двор Пруссии петушился, как при «Великом Фридрихе», торопясь начать войну с Наполеоном до подхода союзных войск, чтобы не делить с ними лавров победы. И война началась (8 октября 1806 г.), а через

неделю, когда еще не все пруссаки узнали о начале войны, она уже фактически кончилась. Почти все вооруженные силы Пруссии, сосредоточенные в двух армиях во главе с его величеством королем, тремя высочествами — племянниками Фридриха Великого и четырьмя фельдмаршалами, были разгромлены в один и тот же день, 14 октября, сразу в двух генеральных сражениях — под Йеной и Ауэрштедтом. По словам Генриха Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию, и ее не стало».

В поверженном Берлине 21 ноября 1806 г. Наполеон подписал исторический декрет о континентальной блокаде. Он понимал, что, если не сокрушит Англию, его борьба с коалициями будет подобна борьбе с многоглавой гидрой, у которой вместо каждой отрубленной головы тут же вырастает новая. Покорить Англию силой оружия он не мог — для этого нужен был мощный флот, которого Наполеон не имел. И он решил задушить Англию экономически, взять ее, как крепость, осадой. Его декрет объявлял Британские острова блокированными и запрещал всем странам, зависимым от Франции (а к ним относилась уже почти вся Европа), какие бы то ни было, даже почтовые, сношения с Англией. Вновь — после Булонского лагеря — Англия оказалась под угрозой гибели, и опять, как в 1805 г., на помощь ей пришла Россия.

И на этот раз царизм выставил против Наполеона две армии — Л.Л. Беннигсена и Ф.Ф. Буксгевдена, общей численностью в 100 тыс. человек. Встал вопрос о главнокомандующем. Кутузов после Аустерлица впал в немилость. Александр I решил доверить главное командование самому популярному из сохранившихся екатерининских полководцев, соратников П.А. Румянцева и А.В. Суворова: таковым был признан фельдмаршал М.Ф. Каменский, когда-то едва ли не главный соперник по славе генералиссимуса Суворова, а теперь чудаковатый старец, оглохший, полуослепший и наполовину выживший из ума.

7 декабря 1806 г. Каменский прибыл к войскам и моментально учинил в них хаос. «Последний меч Екатерины, — иронизировал над ним современник, — по-видимому, слишком долго лежал в ножнах и оттого позаржавел». Его распоряжения оказались настолько путаными, что все смешалось, и целую неделю командиры отдельных частей не знали, где армия, что с ней и существует ли она вообще. Сам Каменский, убедившись в собственной беспомощности, через шесть дней бросил армию и уехал к себе в деревню, а перед отъездом приказал: «Отступать, кто как может, в пределы России».

Новым главнокомандующим стал барон Беннигсен — тоже соратник Суворова и один из главных убийц Павла I. Он не стал отступать в Россию, а сумел выстоять в двух крупных сражениях: «сыграл вничью» при Пултуске с лучшим из маршалов Наполеона Ж. Ланном, а под Прейсиш-Эйлау — с самим Наполеоном. Но 14 июня 1807 г. в решающей битве под Фридландом

русская армия была разбита по тем же самым причинам, которые привели ее к поражению при Аустерлице. Фридланд означал конец 4-й коалиции.

Александр I был вынужден просить Наполеона о мире. Наполеон предложил заключить не только мир, но и союз. Оба императора встретились в Тильзите и 25 июня (7 июля) 1807 г. подписали союзный договор. Вот его главные условия. *Первое.* Россия признает все завоевания Наполеона, а его самого императором и вступает в союз с Францией. *Второе.* Россия обязывается порвать все отношения с Англией и присоединяется к континентальной блокаде.

Если первое условие задевало престиж Российской Империи и самолюбие царя, который лишь недавно называл Наполеона «антихристом», а теперь должен был обращаться к нему, как принято у монархов, «государь, брат мой...», то второе условие вредило жизненным интересам России. Учитывая, какую роль играла торговля с Англией в экономической жизни России, можно сказать, что континентальная блокада означала нож в сердце российской экономики.

Правда, Тильзитский договор прекращал, при посредничестве Наполеона, войну между Россией и Турцией (начавшуюся в 1806 г.)[1] и предоставлял России свободу действий против Швеции, но эти условия значили в договоре не больше, чем две ложки меда в бочке дегтя. В целом Тильзитский договор был тягостным и унизительным для России до такой степени, что само слово «Тильзит» стало нарицательным, как синоним особенно тяжкого договора. А.С. Пушкин считал это слово «обидным звуком» для русского слуха. Немудрено, что в России ширилось недовольство Тильзитским миром. По воспоминаниям наблюдательного современника Ф.Ф. Вигеля, «от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата, все, повинуясь, роптали с негодованием».

Тильзитский договор представил собой нечто вроде мины замедленного действия, которая была заложена в русско-французские отношения. Условия договора были невыполнимы для России, ибо ее экономика не могла развиваться без английского рынка, главного для нее в то время. Царизм был вынужден втихомолку возобновлять сношения с Англией, и никакие угрозы со стороны Наполеона не могли заставить его отказаться от этого. Наполеон, со своей стороны, избрав экономическое удушение Англии как единственное средство победы над главным врагом, тоже не хотел отступать с избранного пути. В результате русско-французские отношения после Тильзита год от году обострялись и неотвратимо вели к войне.

Время между 1807 и 1812 гг. в истории России насыщено внешнеполитическими событиями. За эти годы царизм провел

[1] Весной 1809 г. Россия возобновила войну с Турцией.

успешные войны с Турцией, Ираном и Швецией (отняв у последней в 1809 г. Финляндию), но каждая из этих малых войн была подчинена подготовке к большой войне с Францией. Показательно, что все ассигнования на войны со Швецией, Ираном и Турцией, вместе взятые, составляли в 1809 г. менее 50% военных расходов, тогда как военные расходы в предвидении неизбежного столкновения с Францией росли после Тильзита из года в год:

1808 г. — 53 млн. руб.
1809 г. — 64,7 млн. «
1810 г. — 92 млн. «
1811 г. — 113,7 млн.«[1]

Главными в системе внешней политики царизма в 1807—1811 гг., так же как и в 1805—1807, были отношения с Францией, ожидание войны с ней и подготовка к войне. Хотя война началась в 1812 г., она, как метко выразился известный острослов, дипломат и философ Жозеф де Местр, «уже была объявлена договором о мире и союзе в Тильзите».

Проекты М.М. Сперанского

После Тильзита положение царизма внутри страны осложнилось. Вновь стало расти массовое движение (крестьян и работных людей), главным образом вследствие двух причин. С одной стороны, участие России в войнах 1805—1807 гг., хотя оно и было частично оплачено Англией, сопровождалось ростом налогов и дополнительных поборов с населения. К тому же неудачный исход этих войн усугубил недовольство масс. С другой стороны, массы увидели, что новое правительство и внутри страны ничего не сделало для улучшения жизни народа и не собирается что-либо делать. В результате только за 1808—1809 гг. в стране вспыхнули 52 крестьянских волнения.

Далее, при дворе и в обществе росла оппозиция тильзитскому курсу. Авторитет царя и правительства резко падал, повсеместный ропот приводил к заговорщическим толкам. В дворцовых кругах Александра I называли «приказчиком Наполеона» и поговаривали о возможной «перемене царствования», причем хотели царя «постричь в монахи», а на престол возвести его сестру Екатерину Павловну, памятуя о том, что Екатерина Великая — эта, как назвал ее Д. Байрон, «драчливейшая баба из цариц» — была удачливой, а воцарявшиеся после нее цари-мужчины — и Павел I, и Александр I — оба оказались неудачниками.

Наконец, росло недовольство и против излишне реакционных начинаний правительства в области внутренней политики — своего

[1] См.: *Сироткин В.Г.* Дуэль двух дипломатий. М., 1966. С. 142 (по архивным данным).

рода прелюдии к аракчеевщине. Дело в том, что А.А. Аракчеев открыто вошел в фавор к Александру I сразу после Тильзита; до тех же пор он, по выражению Н.И. Греча, «стоял в тени, давая другим любимцам износиться, чтобы потом захватить государя вполне». Начало возвышения Аракчеева датируется точно. 14 декабря 1807 г. особый царский указ уведомил Россию: «Объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать *именными нашими* указами». Почувствовав себя сильным, Аракчеев, всегда ненавидевший либеральные послабления, сразу же начал, что называется, завинчивать гайки. Уже к 1808 г. в Петербурге появился сатирический листок, который так оценивал положение дел: «Правосудие — в бегах. Добродетель ходит по миру. Благодеяние — под арестом. Надежда с якорем — на дне моря. Честность вышла в отставку. Закон — на пуговицах Сената. *Терпение — скоро лопнет*».

В обстановке, когда все слои населения по разным мотивам и разными способами выражали недовольство правительством, царизм вынужден был возобновить либеральный иллюзион. Решено было попытаться успокоить недовольных и отвлечь их внимание от внешних неудач и внутренних трудностей проектами новых реформ. Аракчеев до лучших времен вновь отошел в тень. Его место в качестве ближайшего советника и сотрудника царя занял Михаил Михайлович Сперанский. С 1809 г. началась вторая серия либеральных реформ Александра I, затянувшаяся до весны 1812 г.

В 1888 г. В.О. Ключевский говорил о Сперанском: «Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум; после Сперанского, не знаю, появится ли третий». Теперь, когда вся история русского престола уже позади, можно сказать, отдавая должное именам А.М. Горчакова и Д.А. Милютина, С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, что третий такой сильный ум не появился.

Судьба Сперанского с ее взлетами и падениями любопытна и показательна для крепостнической действительности. «Человек сей быстро возник из ничтожества», — вспоминал Ф.Ф. Вигель. На Востоке о таких выскочках, как Сперанский, говорят: «Пешка! Когда же ты стала ферзем?» Действительно, как могло случиться, что в самодержавной стране сын бедного приходского священника за короткое время и вне всякого фаворитизма занял второе место после царя? Здесь надо учесть два обстоятельства.

Первое. Сперанский обладал исключительными способностями. Он блестяще окончил духовную академию, в совершенстве знал математику и философию, владел шестью иностранными языками, был первоклассным стилистом и оратором (его трактат «Правила высшего красноречия» может поспорить по значимости с трактатами Цицерона). Но самым ценным качеством Сперанского был его глубокий и в то же время необычайно подвижный и гибкий,

истинно государственный ум. По слухам, Наполеон в дни его свиданий с Александром I поговорил в Тильзите со Сперанским и подвел его к царю со словами: «Не угодно ли вам, государь, обменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» Не случайно всемогущий Аракчеев сказал однажды: «Если бы у меня была треть ума Сперанского, я был бы великим человеком!»

И все-таки, будь Сперанский даже семи пядей во лбу, он вполне мог затеряться где-нибудь на задворках крепостной России, как потерялись там, вероятно, десятки и сотни талантливых, если не гениальных простолюдинов. Но ему помог, говоря словами Фридриха Великого, «Его Августейшее Величество Случай».

Дело в том, что Александр I, замышляя с 1801 г. свои реформы, очень нуждался в людях с государственным складом ума и не находил их при дворе. Сперанский, бывший тогда секретарем у одного из «молодых друзей» царя В.П. Кочубея, случайно попался на глаза впечатлительному монарху, поразил его умением составлять доклады по любому вопросу и был взят на примету. После Тильзита, когда понадобилось вновь заняться реформами, царь вспомнил о Сперанском, призвал и возвысил его. Сперанский был назначен государственным секретарем и больше двух лет (с осени 1809 до весны 1812 г.) являлся, по определению Ж. де Местра, «первым и единственным министром империи». Получив задание царя составить проект преобразований «того, что целесообразно преобразовать», Сперанский уже к концу 1809 г. подготовил знаменитое «Введение к уложению государственных законов», т. е. план преобразования Российской Империи из цитадели феодального бесправия в правовое буржуазное государство. Вот основные положения реформы Сперанского.

Россия — на грани революции. Если оставить в ней все как есть, революция неизбежна, ибо история не знает примера, «чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться». Однако революцию еще не поздно предотвратить, сохраняя и самодержавие, и даже крепостное право. Надо лишь придать самодержавию видимость конституционной монархии, «облечь» его (не ограничить, а именно *облечь*) конституцией, крепостное же право отменить — постепенно и поэтапно.

По «конституции» Сперанского все население страны разделялось на три сословия: дворянство, «среднее состояние» (купцы, мещане, государственные крестьяне) и «народ рабочий» (помещичьи крестьяне, мастеровые, прислуга). Политические права должны были получить два первых сословия, а людям из «народа рабочего» предоставлялась (в перспективе) возможность перейти в «среднее состояние» и стать политически правомочными, когда они обретут недвижимость.

В основу государственного устройства России Сперанский первым положил идею разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Высшим органом судебной власти должен был стать Сенат, исполнительной — министерства, зако-

нодательной — Государственная дума. Однако выше всех этих высших органов учреждался Государственный совет в качестве совещательного органа при царе. Как и прежде, окончательно утверждал или отклонял любой законопроект, даже принятый Государственной думой, Его величество император.

Разумеется, Сперанский учитывал, что судьба его проектов (как и его самого) — в руках царя, и поэтому он формулировал свои идеи умеренно, стараясь не оттолкнуть монарха излишним радикализмом, а напротив, затронуть в нем *лагарповские* струны и сыграть на них для пользы Отечества. Тем не менее даже в таком виде реформы Сперанского означали бы прорыв России от феодального самовластия к началам буржуазного права. Однако феодальная знать встретила их в штыки. Сам реформатор, простолюдин, выскочка, при дворе оказался явно не ко двору. Его ненавидели и завидовали ему, и чем больше завидовали, тем сильнее ненавидели. Что же касается его проектов, то в них усматривали чуть ли не революционную опасность. На кабинет Сперанского, по словам Ф.Ф. Вигеля, «смотрели все, как на ящик Пандоры, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше отечество». Граф Ф.В. Ростопчин вспоминал, что имя Сперанского дворяне и оболваненный ими люд ставили «рядом с именем Мазепы» и строчили на него доносы царю как на изменника.

Дворянские верхи восстали против реформ Сперанского не только потому, что они вносили в феодальное бытие России ненавистные буржуазные нормы, часть которых (а именно основы *гражданского* уложения) Сперанский разработал под влиянием Гражданского кодекса «антихриста» Наполеона[1]. Кроме того, дворяне сочли себя униженными и оскорбленными «экзаменом на чин», который был введен по инициативе Сперанского 6 августа 1809 г. с целью поднять образовательный уровень российского чиновничества. Отныне каждый чиновник с VIII класса (из 14-ти) Табели о рангах должен был для получения чина либо представить свидетельство об окончании одного из российских университетов, либо сдать при университете специальный экзамен по естественным и гуманитарным наукам.

С теоретическим обоснованием дворянской оппозиции Сперанскому выступил Н.М. Карамзин — в то время популярнейший литератор, уже работавший и над «Историей государства Российского». В марте 1811 г. он вручил Александру I свою «Записку о древней и новой России». Карамзин страстно и гневно обрушился на главную у Сперанского идею представительного правления, усмотрев в ней посягательство на святая святых — незыблемость самодержавия. Именно так: самодержавие должно

[1] Воздействие наполеоновского кодекса на проекты Сперанского отмечали такие авторитеты российского правоведения, как В.И. Сергеевич, Ф.М. Дмитриев, С.В. Пахман, А.Н. Филиппов, в наше время — Н.П. Ерошкин.

быть не только вечным, но и незыблемым, вещал Карамзин, его не нужно облекать никакими законами, ибо «в России государь есть живой закон». Впрочем, он отвергал и все вообще нововведения Сперанского по принципу: «Всякая новость в государственном порядке есть зло».

Александра I вполне устраивали такие рассуждения. Ненависть дворян к Сперанскому тоже оказалась для царя кстати. Она давала ему возможность пожертвовать Сперанским и таким образом вернуть себе расположение дворянства, утраченное после Тильзита.

В такой обстановке Александр I прислушался к обвинениям Сперанского в измене и отправил его в ссылку. Проделал это «актер на троне» с присущим ему лицемерием. В воскресенье 17 марта 1812 г. царь вызвал Сперанского к себе и два часа *со слезами* на глазах упрекал его во всякой всячине, даже не упомянув про измену. Когда же Сперанский вернулся домой, то застал у себя министра полиции А.Д. Балашова с почтовой кибиткой, в которой он тут же был отправлен как ссыльный в Нижний Новгород, а затем еще далее — в Пермь под строгий надзор полиции.

Из крупных проектов Сперанского осуществился только один: 1 января 1810 г. был учрежден в качестве высшего законосовещательного учреждения Государственный совет, который и просуществовал как своеобразный памятник Сперанскому вплоть до падения царизма. Впрочем, самодержцы, начиная с Александра I, часто пренебрегали мнением Совета. За 1810—1825 гг. Александр I в 83 случаях поддержал *меньшинство* Государственного совета против большинства, а в четырех случаях — даже единственного члена Совета.

Сам Сперанский через девять лет был возвращен из ссылки и вновь занял видное положение (об этом речь впереди), но проекты его, как выразился А.И. Герцен, «остались сосланными в архиве». Дворянство, напуганное его проектами и обеспокоенное угрозой нашествия Наполеона, тесно сплотилось вокруг престола, а другим слоям общества удалось за трехлетие реформ Сперанского напустить пыль в глаза. В итоге Александр I увидел, что позиции самодержавия упрочились, и после падения Сперанского уже не имел больше нужды заниматься реформами. Говоря словами В.О. Ключевского, «стыдливую, совестливую сперанщину» сменила «нахальная аракчеевщина».

Историографическая справка. История России первых лет царствования Александра I всегда была популярна у исследователей разных стран и времен. Самой плодовитой в ее изучении оказалась русская дореволюционная историография. В ней различаются две основные концепции: консервативно-дворянская и либерально-буржуазная.

Дворянские историки (А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. Богданович, М.А. Корф, Н.К. Шильдер — автор самой крупной

по объему из всех биографий Александра I[1]) не столько исследовали политику, экономику, культуру России, сколько живописали личность царя. Буржуазные ученые (А.Н. Пыпин, В.И. Семевский, А.А. Корнилов, В.О. Ключевский) меньше вникали в жизнь царя, а больше старались объяснить мотивы и смысл царской политики. При этом, однако, и те, и другие апологетически изображали внешнюю политику царизма, оправдывая даже реакционные и агрессивные его акции. Такого греха не избежал и самый выдающийся из русских историков С.М. Соловьев — автор книги «Император Александр I. Политика. Дипломатия» (СПб., 1877).

Что касается внутренней политики самодержавия при Александре I, то буржуазные историки, в отличие от дворянских, критиковали ее за консерватизм, поверхностность реформ, примиренчество по отношению к феодальной рутине, возлагая при этом главную долю вины на самого царя. С таких позиций выступали наиболее решительно В.О. Ключевский в 5-м томе своего «Курса русской истории» (лекции 83—84) и В.И. Семевский в монографиях о крестьянском вопросе XVIII — первой половины XIX в. и о декабристах.

Советская историография, руководствуясь методологией марксизма-ленинизма, чрезмерно увлекалась вскрытием экономической подкладки любого события и принижала роль Александра I (как и вообще личности в истории). Экономические процессы в России начала XIX в. капитально исследовали В.К. Яцунский, П.Г. Рындзюнский, И.Д. Ковальченко. Внутренняя политика царизма изображалась как сплошь реакционная, а внешняя, напротив, лакировалась. В отличие от лидера первого поколения советских историков М.Н. Покровского, который считал своим долгом *разоблачать* агрессивность и реакционность царизма, последующие историки СССР большей частью оправдывали дипломатию и войны России 1805—1815 гг. Наиболее объективны в советской историографии по теме «Россия 1801—1811 гг.» труды А.В. Предтеченского, Н.В. Минаевой, С.В. Мироненко[2], а также три новейших жизнеописания М.М. Сперанского[3]. В российском зарубежье много и плодотворно занимался изучением проектов Сперанского А.Н. Фатеев, подготовивший к 1940 г. большую (500 с.) монографию «Жизнь, труды, мысли и план

[1] См.: *Шильдер Н.К.* Император Александра I. Его жизнь и царствование. СПб., 1894, 1905. Т. 1—4.

[2] См.: *Предтеченский А.В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. Л., 1957; *Минаева Н.В.* Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX в. Саратов, 1982; *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.

[3] См.: *Чибиряев С.А.* Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989; *Томсинов В.А.* Светило российской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского. М., 1991; *Федоров В.А.* М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997.

всеобщего государственного преобразования России М.М. Сперанского».

Для иностранной литературы характерны преимущественно две тенденции. Одна из них, представленная главным образом французскими историками от А. Сореля и А. Вандаля[1] до Л. Мадлена и А. Фюжье, выражается в стремлении возвеличить политику наполеоновской Франции и (более или менее) принизить роль России. Другая тенденция, наблюдающаяся в английской и американской историографии, — это рецидив русской дворянской концепции восхваления личности Александра I при малом интересе к народу России. Самый яркий пример — книга Леопольда Страховского (США), название которой говорит само за себя: «Александр I. Человек, который победил Наполеона»[2].

Вообще интерес к личности Александра I на Западе неизменно велик. Из большого числа его биографий выделяются как научными, так и литературными достоинствами книги академика А. Труайя и мадам Д. Оливье[3]. «Тайны» характера и судьбы царя-«сфинкса» исследованы в книгах российских эмигрантов Л.Д. Любимова и М.В. Зызыкина[4].

---

[1] См.: *Вандаль А.* Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Первой империи. СПб., 1910—1913. Т. 1—3.

[2] См.: *Strakhofsky L.* Alexander I of Russia. The man who defeated Napoleon. N. Y., 1947.

[3] См.: *Troyat H.* Alexandre I. Le sphinx du Nord. P., 1980 (рус. пер.: *Труайя Анри.* Александр I или северный сфинкс. М., 1997); *Olivier D.* Alexandre I. Prince des Illusions. P., 1973.

[4] См.: *Любимов Л.Д.* Тайна императора Александра I. Париж, 1938; *Зызыкин М.В.* Тайна Александра I. Буэнос-Айрес, 1952.

Причины и начало войны

Война 1812 г., одна из самых значительных не только в российской, но и в мировой истории, явилась следствием ряда причин. Главная из них — это конфликт между Россией и Францией из-за континентальной блокады.

Участие России в континентальной блокаде Англии губительно отражалось на русской экономике. Объем внешней торговли России за 1808—1812 гг. сократился на 43%. Новая союзница, Франция, не могла компенсировать этого ущерба, поскольку экономические связи России с Францией были поверхностными (главным образом, импорт в Россию предметов французской роскоши). Нарушая внешнеторговый оборот России, континентальная система расстраивала ее финансы. Уже в 1809 г. бюджетный дефицит вырос по сравнению с 1801 г. с 12,2 млн. до 157,5 млн. руб., т. е. почти в 13 раз; дело шло к финансовому краху. Российская экономика в условиях континентальной блокады стала походить на человека, задыхающегося от приступа астмы. Александр I все больше прислушивался к протестам дворян и купцов против блокады и все чаще разрешал им ее нарушать.

Конфликт между Россией и Францией из-за континентальной блокады *породил* войну 1812 г. Ускорили же ее развязывание русско-французские противоречия в политических вопросах разного уровня. Самым острым из них был вопрос о гегемонистских амбициях сторон.

Наполеон не скрывал своих претензий на мировое господство. К 1812 г. он успел разгромить очередную, 5-ю антифранцузскую коалицию и был в зените могущества и славы. Путь к господству над Европой преграждали ему только Англия и Россия. Главным врагом он считал Англию, которая была единственной страной в мире, экономически более развитой, чем Франция. Сломить этого врага Наполеон мог только после того, как он поставил бы в зависимость от себя весь Европейский континент. На континенте же единственным соперником Франции оставалась Россия. Все остальные державы были либо повержены Наполеоном, либо близки к этому (как Испания). Русский посол в Париже князь А.Б. Куракин в 1811 г. писал Александру I: «От Пиренеев до Одера, от Зунда до Мессинского пролива все сплошь — Франция».

Территорией вассального Герцогства Варшавского Франция непосредственно граничила с Россией.

А Россия? Была ли она только объектом и жертвой наполеоновской агрессии? Да, так принято было считать в советской историографии. Однако факты говорят о другом. Царская Россия сама стремилась не к мировой, но к европейской гегемонии и приложила к этому много стараний в коалиционных войнах 1799—1807 гг. (с участием лучших своих полководцев — А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.Ф. Каменского). Проиграв эти войны, подписав унизительный для себя Тильзитский мир с Наполеоном, царизм никогда не оставлял мысли о реванше. Напротив, как явствует из откровенного письма Александра I к матери-императрице Марии Федоровне в сентябре 1808 г., он лишь прикрывал видимостью союза «с этим страшным колоссом, с этим врагом» подготовку к новой борьбе при более выгодном для России соотношении сил[1].

Перед 1812 г. Россия готовилась не просто к отражению агрессии Наполеона, как считали, например, П.А. Жилин или Л.Г. Бескровный, а также к агрессии против Наполеона. Осенью 1811 г. Александр I по договоренности с Пруссией решил «сразить чудовище» (как он выражался) превентивным ударом. 24, 27 и 29 октября последовали его «высочайшие повеления» командующим пятью корпусами на западной границе (П.И. Багратиону, П.Х. Витгенштейну, Д.С. Дохтурову и др.) приготовиться к походу. Россия могла начать войну со дня на день[2]. В этот критический момент струсил, заколебался и вильнул под железную пяту Наполеона прусский король Фридрих Вильгельм III. Вероломство Пруссии помешало Александру начать и третью войну против Франции *первым* — Наполеон опередил его.

Мучительным источником раздора между Россией и Францией был польский вопрос. По Тильзитскому договору из польских земель, которыми после разделов Польши владела Пруссия, Наполеон создал так называемое Великое Герцогство Варшавское в качестве своего плацдарма на случай войны с Россией. Далее он всякий раз, когда требовалось одернуть Александра I за неверность Тильзиту, грозил восстановить Польшу в границах 1772 г., т. е. до начала ее разделов между Россией, Австрией и Пруссией. Эти угрозы нервировали царизм и еще больше обостряли русско-французские отношения.

К 1812 г. вражду между Россией и Францией усугубил еще и германский вопрос. В декабре 1810 г. Наполеон, следуя своему

---

[1] Текст письма см.: Русская старина. 1899. № 4. С. 17—24.

[2] См.: Отечественная война 1812 г. Материалы Военно-ученого архива (далее — ВУА). М., 1904. Т. 5. С. 268—270, 302—304, 313—315. Советские историки этот факт замалчивали.

правилу «уметь ощипать курицу, прежде чем она успеет закудахтать», присоединил к Франции одно за другим ряд мелких княжеств Германии, включая Герцогство Ольденбургское. Поскольку это было сделано без ведома Александра I, царизм расценил наполеоновские захваты как подрыв международного престижа России, ее влияния в Центральной Европе. Кроме того, захват Ольденбурга больно ущемлял и династические интересы царизма, ибо герцог Ольденбургский был дядей Александра I, а любимая сестра царя Екатерина Павловна — женой сына герцога Ольденбургского.

Наконец, остро столкнулись русско-французские интересы к 1812 г. и в ближневосточном вопросе, поскольку царизм стремился к захвату Константинополя, а Наполеон препятствовал этому, желая сохранить Турцию как постоянный противовес России. Таковы основные причины, которые привели Россию и Францию от Тильзитского мира к войне 1812 г.

Прежде чем напасть на Россию, Наполеон стремился политически изолировать ее, а самому заручиться возможно большим числом союзников, «перевернуть идею коалиций наизнанку», как выразился А.З. Манфред. Его расчет был таков, что России придется вести борьбу одновременно на трех фронтах против пяти государств: на севере — против Швеции, на западе — против Франции, Австрии и Пруссии, на юге — против Турции. Расчет казался верным. Пруссию и Австрию, недавно разгромленные, Наполеон заставил вступить в союз с ним против России, а что касается Швеции и Турции, то они, по мысли Наполеона, должны были помочь ему добровольно: Турция — потому, что она еще с 1806 г. воевала с Россией из-за Крыма, а Швеция — потому, что, во-первых, «точила зубы» на Россию из-за Финляндии, отнятой у нее в 1809 г., а во-вторых, фактическим правителем Швеции с 1810 г. стал избранный в угоду Наполеону шведским престолонаследником маршал Франции Ж.Б. Бернадот.

В случае если бы этот замысел Наполеона осуществился, Россия попала бы в катастрофическое положение. Но Наполеон и на этом не останавливался. Рядом торговых привилегий он добился того, что на другом конце света Соединенные Штаты Америки 18 июня 1812 г., за неделю до французского вторжения в Россию, объявили войну Англии — главному врагу Наполеона, затруднив, естественно, ее борьбу с Францией и содействие России. В такой угрожающей ситуации блестяще проявила себя российская дипломатия, сумев перед самым нашествием Наполеона обезвредить двух из пяти предполагавшихся противников.

Во-первых, она выведала, что Швеция предпочитает ориентироваться на соседнюю Россию, а не на далекую Францию. Граница с Россией была для Швеции единственной континентальной границей. С других сторон ее защищали от французов море

и английский флот. Потерю Финляндии Швеция предполагала компенсировать захватом Норвегии, на что согласилась Россия. Что же касается Бернадота, то он давно, еще когда служил под наполеоновскими знаменами, ненавидел Наполеона, так как сам метил в «наполеоны», а Наполеона не прочь был бы сделать своим «бернадотом». Используя все это и льстя Бернадоту как «единственному человеку, способному сравниться с Наполеоном и превзойти его военную славу», Александр I добился в апреле 1812 г. заключения союзного договора между Россией и Швецией.

Почти одновременно с этой дипломатической викторией на севере царизм одержал еще более важную победу на юге. В затянувшейся войне с Турцией русская армия под командованием М.И. Кутузова 14 октября 1811 г. выиграла битву у Слободзеи. Турки пошли на мирные переговоры, но тянули время, зная, что Наполеон готовится напасть на Россию. В середине мая 1812 г., когда они все еще торговались об условиях, к Александру I приехал от Наполеона граф Л. Нарбонн с заданием выяснить, насколько Россия готова к войне с Францией. Кутузов же изобразил перед турецким султаном вояж Нарбонна как миссию дружбы и убедил султана в том, что если уж непобедимый Наполеон ищет дружбы с Россией, то ему, побежденному султану, сам аллах велит делать то же. 28 мая султан приказал своему визирю подписать с Кутузовым Бухарестский мирный договор, по которому Россия высвободила для борьбы с Наполеоном 52-тысячную армию и еще приобрела Бессарабию.

Наполеон, узнав об этом, «окончательно истощил, — по выражению Е.В. Тарле, — словарь французских ругательств» (в адрес турок). Позднее он признавался, что ему не следовало начинать войну 1812 г., зная, что Швеция и Турция не поддержат его. Действительно, замысел Наполеона о полной изоляции России и одновременном ударе на нее с трех сторон силами пяти держав был сорван. Фланги свои Россия успела обезопасить. К тому же феодальные Австрия и Пруссия были втянуты в союз с буржуазной Францией насильно и «помогали» Наполеону, что называется, из-под палки, готовые в первый же удобный момент переметнуться на сторону России, что они в конце концов и сделали.

Тем не менее удар, который летом 1812 г. приняла на себя Россия, был страшной силы, невиданной до тех пор за всю ее историю. Наполеон подготовил для нашествия на Россию гигантскую армию почти в 650 тыс. человек. Из них 448 тыс. перешли русскую границу в первые же дни войны, а остальные прибывали летом и осенью в качестве подкреплений[1]. Отдельными соединениями этой «La Grande Armée» («Великой армии») коман-

[1] См. роспись всех соединений «Великой армии» к началу войны: *Chambray G.* Histoire de l'expédition de Russie. P., 1838. V. 1 (прил. 2).

довали прославленные маршалы Наполеона, среди которых особенно выделялись трое: выдающийся стратег и администратор, рыцарски бескорыстный и суровый воин Луи Николя Даву; первоклассный тактик, герой всех кампаний Наполеона, получивший от своего императора прозвище «храбрейший из храбрых», Мишель Ней; начальник кавалерии Наполеона и вообще один из лучших кавалерийских военачальников Запада, виртуоз атаки и преследования Иоахим Мюрат.

Разумеется, «Великая армия» сохраняла все те преимущества перед феодальными армиями Европы в комплектовании, обучении и управлении, которые она так блистательно продемонстрировала под Аустерлицем и Фридландом. Силы «Великой армии» выглядели особенно грозными оттого, что возглавлял ее сам Наполеон, которого почти все современники (включая Александра I) единодушно признавали гениальнейшим полководцем всех времен и народов.

Однако армия Наполеона в 1812 г. имела уже и серьезные недостатки. Так, пагубно влиял на нее разношерстный, многонациональный состав. Собственно французов в ней было меньше половины; большинство же составляли немцы, поляки, итальянцы, голландцы, швейцарцы, португальцы и воины других национальностей. Многие из них ненавидели Наполеона как поработителя их отечества, шли за ним на войну только по принуждению, воевали нехотя и часто дезертировали.

Хуже, чем в предыдущих кампаниях, выглядел и высший командный состав «Великой армии». Не было в числе соратников Наполеона двух самых выдающихся его маршалов: Ж. Ланн погиб в 1809 г., А. Массена оставлен во Франции по болезни. Видные полководцы Наполеона Л.Г. Сюше, Н.Ж. Сульт и Ж.Б. Журдан сражались в Испании, а Ж.Б. Бернадот был уже в стане врагов.

Главное же, к 1812 г. «Великая армия» уже страдала ущербностью морального духа. В своих первых походах Наполеон возглавлял солдат, среди которых еще живы были республиканские традиции и революционный энтузиазм. Но с каждой новой войной моральный дух его армии падал. Великий писатель Ф. Стендаль, долго служивший под знаменами Наполеона, свидетельствовал: «Из республиканской, героической она становилась все более эгоистичной и монархической. По мере того как шитье на мундирах делалось все богаче, а орденов на них все прибавлялось, сердца, бившиеся под ними, черствели». Солдатам становились чужды те причины, которые приводили к войнам, и те задачи, которые разрешались в ходе их. В 1812 г. это сказалось уже с такой силой, что даже близкие к Наполеону лица забили тревогу. Государственный секретарь Французской империи граф П. Дарю (двоюродный брат Стендаля) прямо заявил Наполеону в Витебске:

«Не только ваши войска, государь, но и мы сами тоже не понимаем необходимости этой войны».

Война 1812 г. со стороны Наполеона была прямой агрессией. В этой войне он ставил целью разгромить вооруженные силы России на русской земле, «наказать» таким образом царизм за несоблюдение континентальной блокады и принудить его ко второму Тильзиту. Версии советских историков о том, что Наполеон стремился «захватить» и «поработить» Россию, превратить ее народы «в своих рабов», неосновательны. В то же время ряд французских историков, а в России М.Н. Покровский доказывали, что «совершенно невозможно говорить о «нашествии» Наполеона на Россию», ибо оно было всего лишь «актом необходимой самообороны». Это недоказуемо. Если бы царизм в 1811 г. начал войну, тогда было бы невозможно говорить о нашествии Наполеона. Но дело обернулось иначе: пока царизм планировал, Наполеон осуществил нападение.

Россия в начале войны смогла противопоставить 448-тысячному воинству Наполеона 317 тыс. человек, которые были разделены на три армии и три отдельных корпуса. Численность русских войск указывается в литературе (включая советскую) с поразительными разночтениями. Между тем в архиве А.А. Аракчеева среди бумаг Александра I хранятся подлинные ведомости о численности 1-й и 2-й армий к началу войны 1812 г.[1], а такие же ведомости о количественном составе 3-й армии и резервных корпусов опубликованы почти 100 лет назад[2], но до сих пор остаются вне поля зрения даже российских историков.

Итак, 1-я армия под командованием военного министра, генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли дислоцировалась в районе Вильно, прикрывая петербургское направление, и насчитывала 120 210 человек; 2-я армия генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона — возле Белостока, на московском направлении, — 49 423 человека; 3-я армия генерала от кавалерии А.П. Тормасова — у Луцка, на киевском направлении, — 44 180 человек. Кроме того, на первой линии отпора французам стоял под Ригой корпус генерал-лейтенанта И.Н. Эссена (38 077 человек), а вторую линию составляли два резервных корпуса: 1-й — генерал-адъютанта Е.И. Меллера-Закомельского (27 473 человека) — у Торопца, 2-й — генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля (37 539 человек) — у Мозыря. Фланги обеих линий прикрывали: с севера — 19-тысячный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф. Штейнгейля в Финляндии и с юга — Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова (57 526 человек) в Валахии. Войска Штейнгейля и Чичагова в начале войны бездействовали, поэтому русские численно уступали французам в зоне вторжения почти в полтора раза (но не в три, как считает большинство советских историков).

---

[1] РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 84, л. 3—6, 13—16 об.

[2] ВУА. Т. 13. С. 160—163; Т. 17. С. 61, 65, 352—353.

Впрочем, главная беда русской армии заключалась тогда не в малочисленности, а в феодальной системе ее комплектования, содержания, обучения и управления. Рекрутчина, 25-летний срок военной службы, непроходимая пропасть между солдатской массой и командным составом, муштра и палочная дисциплина, основанная на принципе «двух забей — третьего выучи», унижали человеческое достоинство русских солдат. Виктор Гюго едва ли преувеличивал, когда говорил, что солдатская служба в России «более тягостна, чем каторга в других странах». Об этом говорится и в песне, сочиненной русскими солдатами как раз перед войной 1812 г.:

Я отечеству — защита,
А спина всегда избита...
Лучше в свете не родиться,
Чем в солдатах находиться...

Офицерский состав русской армии комплектовался (в отличие от армии Наполеона) не по способностям, а по сословному принципу — исключительно из дворян, зачастую бесталантных, невежественных, чванливых: «многие офицеры гордились тем, что, кроме полковых приказов, ничего не читали»[1].

До 1805 г. русских солдат готовили не столько к войне, сколько к парадам. Из суворовского наследия усваивали не передовое («Каждый воин должен понимать свой маневр!»), а устаревшее («Пуля—дура, штык—молодец!»). Опыт войн 1805—1807 гг. заставил Александра I учиться у Наполеона. Царь уже с 1806 г. начал переустройство и даже переодевание своей армии на французский лад. Главное, перенималась наполеоновская система боевой подготовки. Летом 1810 г. было разослано в русские войска к руководству «Наставление его императорско-королевского величества Наполеона I», которое ориентировало генералов, офицеров и солдат на инициативу, на умение «действовать *по обстоятельствам* каждому».

Усвоение наполеоновского опыта к 1812 г. способствовало усилению русской армии. Но главные источники русской военной силы заключались не в заимствованиях со стороны, а в ней самой. Во-первых, она была национальной армией, более однородной и сплоченной, чем разноплеменное воинство Наполеона, а во-вторых, ее отличал более высокий моральный дух: русские воины на родной земле одушевлялись патриотическим настроением, которое так ярко выразил Г.Р. Державин в строках, обращенных к России:

Скорей ты ляжешь трупом зрима,
Чем будешь кем побеждена!

---

[1] *Дубровин Н.Ф.* Русская жизнь в начале XIX в. // Русская старина. 1901. № 12. С. 471.

Русский командный состав, хотя в целом и уступал наполеоновскому, был представлен к 1812 г. не только высокородными бездарностями, но и талантливыми генералами, которые могли поспорить с маршалами Наполеона. Первыми в ряду таких генералов (не считая оказавшегося в начале войны не у дел М.И. Кутузова) стояли Барклай и Багратион.

Михаил Богданович Барклай де Толли — потомок дворян из Шотландии, сын бедного армейского поручика — достиг высших чинов благодаря своим дарованиям, трудолюбию и доверию, которое с 1807 г. возымел к нему Александр I. Дальновидный и осмотрительный стратег, «мужественный и хладнокровный до невероятия» воин, «великий муж во всех отношениях» (так отзывались о нем Денис Давыдов, декабристы А.Н. Муравьев и М.А. Фонвизин), Барклай, несмотря на все метаморфозы его прижизненной и посмертной славы, заслужил признание крупнейших умов России и Запада как «лучший генерал Александра» (К. Маркс и Ф. Энгельс), «одно из замечательнейших в нашей истории» лиц (А.С. Пушкин).

Военачальником совсем иного типа был князь Петр Иванович Багратион — отпрыск царской династии Багратионов в Грузии, правнук царя Вахтанга VI, любимый ученик и сподвижник Суворова, «генерал по образу и подобию Суворова», как о нем говорили. Посредственный стратег, он тогда не имел себе равных в России как тактик, мастер атаки и маневра. Стремительный и неустрашимый, воин до мозга костей, кумир солдат, Багратион к 1812 г. был самым популярным из русских генералов. «Краса русских войск», — говорили о нем его офицеры. Г.Р. Державин многозначительно «уточнил» его фамилию: «Бог-рати-он».

Отдельными соединениями в армиях Барклая и Багратиона командовали генералы, уже прославившие себя в многочисленных войнах трех последних царствований: предприимчивый, отважный и великодушный герой, едва ли не самый обаятельный из полководцев 1812 г. Николай Николаевич Раевский; энергичный и стойкий, слывший олицетворением воинского долга Дмитрий Сергеевич Дохтуров; легендарный атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов («вихорь-атаман» и «русский Мюрат», как его называли); изобретательный Петр Петрович Коновницын, который соединял в себе барклаевское хладнокровие, багратионовский порыв и дохтуровскую стойкость; разносторонне одаренный Алексей Петрович Ермолов — в одном лице вольнодумец, мудрец, хитрец и храбрец; упорный, прямодушный и благородный Александр Иванович Остерман-Толстой, нравственные качества которого высоко ценили А.И. Герцен и Ф.И. Тютчев; великолепный, с феноменальными способностями, артиллерист и удивительно талантливый человек (знал шесть языков, писал стихи, рисовал) Александр Иванович Кутайсов и др.

Все они (включая тех, кто держался передовых взглядов, как Раевский, Ермолов, Остерман-Толстой) были крепостниками.

Атаман Платов, это вольнолюбивое «дитя природы», тоже имел крепостных, в числе которых значился Егор Михайлович Чехов — дед Антона Павловича. В 1812 г. перед лицом врага, вторгшегося на русскую землю, они пережили небывалый патриотический подъем, который позволил им в наивысшей степени и с наибольшей пользой для отечества проявить все их способности.

В нашей литературе, включая энциклопедии и учебники, больше 150 лет со времен А.И. Михайловского-Данилевского и с его легкой руки бытует «патриотическая» версия о том, что Наполеон в 1812 г. напал на Россию «без объявления войны». Между тем зарубежные исследователи давно установили, что наполеоновская нота с объявлением войны была заблаговременно направлена России и сообщена всем европейским кабинетам[1]. В 1962 г. текст этой ноты (посол Наполеона Ж.А. Лористон вручил ее 10 июня царскому правительству) был опубликован в советском издании[2], но и после этого вот уже 30 лет наши историки делают вид, что ее не было.

Вторжение «Великой армии» на территорию России началось в ночь на 12 июня 1812 г. возле Ковно (ныне — Каунас в Литве). Четыре ночи и четыре дня, с 12 по 15 июня, бесконечными потоками по четырем мостам шли через Неман, вдоль которого протянулась тогда западная граница России, отборные, лучшие в мире войска. Сам Наполеон наблюдал за ними с высокого холма на западном берегу Немана. Он мог быть доволен. Его армия шла на войну, как на парад, — сомкнутыми рядами, с развернутыми знаменами, в образцовом порядке. Гренадеры и егеря, кирасиры и драгуны, гусары и уланы, артиллеристы, понтонеры, музыканты шли мимо своего императора и восторженно его приветствовали. Они верили в его звезду, привыкнув к тому, что там, где Наполеон, — всегда победа, и отправлялись в очередной поход с воодушевлением и самоуверенностью, как это запечатлел Ф.И. Тютчев:

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и все стерег
Очами чудными своими...

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* К истории нашествия Наполеона на Россию (объявление войны) // Новая и новейшая история. 1990. № 3.

[2] ВПР. Т. 6. С. 756.

От Немана до Москвы

Стратегический план Наполеона в начале войны был таков: разгромить русские армии порознь уже в *приграничных* сражениях. Углубляться в бескрайние пространства России он не хотел[1]. Такой расчет Наполеона мог бы осуществиться, если бы русские армии действовали по плану, составленному военным наставником Александра I прусским генералом К. Фулем: т. е. 1-я армия должна была занять укрепленный лагерь в г. Дрисса (ныне Верхнедвинск в Беларуси), между двух столбовых дорог — на Петербург и Москву, закрыв таким образом от Наполеона и петербургское, и московское направления, и принять его удар на себя; тем временем 2-й армии предписано было ударить во фланг и в тыл французам.

Барклай де Толли, узнав о вторжении Наполеона, повел свою армию из Вильно в Дрисский лагерь. К Багратиону он послал курьера с приказом от царя, который пребывал тогда в штабе Барклая: отступать на Минск для взаимодействия с 1-й армией. Наполеон, следуя своему плану, устремился с главными силами за Барклаем, а чтобы не дать Барклаю и Багратиону соединиться, направил вразрез между ними корпус маршала Даву.

30 июня Барклай вступил в Дриссу. Здесь выяснилось, что при сравнительной малочисленности русской армии и слабости укреплений лагерь Фуля мог стать для нее только ловушкой и могилой. Поэтому Барклай отверг план Фуля и убедил царя в спасительности своей идеи: «продлить войну по возможности» и «при отступлении нашем всегда оставлять за собою опустошенный край», вплоть до перехода в контрнаступление. 2 июля Барклай оставил Дриссу и, уклоняясь от ударов Наполеона, пошел к Витебску на соединение с Багратионом.

Тем временем 2-я армия оказалась в критическом положении. Даву занял Минск и отрезал ей путь на север, а с юга наперерез Багратиону шел с тремя корпусами Жером Бонапарт (младший брат Наполеона), который должен был замкнуть кольцо окружения вокруг 2-й армии у Несвижа. Корпуса Даву и Жерома насчитывали 110 тыс. человек; Багратион же не имел и 50 тыс., ему грозила верная гибель. «Куда ни сунусь, везде неприятель, — писал он на марше 15 июля А.П. Ермолову. — Что делать? Сзади неприятель, сбоку неприятель... Минск занят <...> и Пинск занят». Легкомысленный Жером, однако, «загулял» на 4 дня в Гродно и опоздал к Несвижу — Багратион ушел. «Насилу вырвался из аду. Дураки меня выпустили», — написал он Ермолову 19 июля. Наполеон был в ярости. «Все плоды моих маневров и прекрас-

[1] См.: *Segur Ph. P.* Histoire de Napoléon et de la Grande Armée en 1812. P., 1842. T. 1. P. 264, 265; *Жомини А.* Политическая и военная жизнь Наполеона. СПб., 1840. Т. 5. С. 241, 274; *Манфред А.З.* Наполеон Бонапарт. 3-е изд. М., 1980. С. 664.

нейший случай, какой только мог представиться на войне, — отчитывал он Жерома, — потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны».

Впрочем, сам Наполеон тоже не смог разбить 1-ю русскую армию. Дважды — у Полоцка и Витебска — он настигал Барклая, но тот, искусно маневрируя, уходил от сражения и отступал дальше. 22 июля обе русские армии соединились в Смоленске.

Таким образом, расчет Наполеона на разгром русских армий поодиночке уже в приграничье рухнул. Мало того, он сам вынужден был распылять свои силы: на север, против И.Н. Эссена, отрядил корпус Ж.Э. Макдональда; на юг, против А.П. Тормасова, — корпуса Ж.Л. Ренье и своего австрийского (как оказалось, ненадежного) союзника князя К.Ф. Шварценберга. Еще один корпус (Н.Ш. Удино) был выделен, а потом и подкреплен корпусом Л.Г. Сен-Сира для действий против войск П.Х. Витгенштейна, героически защищавших подступы к Петербургу. Узнав о соединении Барклая и Багратиона, Наполеон утешился было надеждой вовлечь русских в генеральное сражение за Смоленск как «один из священных русских городов» и разгромить сразу обе их армии. Это ему тоже не удалось. Три дня, с 4 по 6 августа, корпуса Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова защищали город от подходивших один за другим трех пехотных и трех кавалерийских корпусов противника. Ожесточение смоленского боя сами его участники назвали «невыразимым». Город горел, напоминая собою, по словам французов, «извержение Везувия», «пылающий ад». Когда же Наполеон стянул к Смоленску все свои силы, Барклай вновь увел русские войска из-под его удара. Призрак победы, второго Аустерлица, за которым Наполеон тщетно гнался от самой границы, и на этот раз ускользнул от него.

Итак, война принимала затяжной характер, а этого Наполеон боялся больше всего. Растягивались его коммуникации, росли потери в боях, от дезертирства, болезней и мародерства, отставали обозы. С каждым новым переходом все острее недоставало продовольствия и фуража. Генерал Э.М. Нансути однажды так ответил маршалу И. Мюрату на упрек в недостаточной мощи кавалерийских атак: «Люди могут идти без хлеба, но лошади без овса — не в состоянии. Их не поддерживает в этом любовь к отечеству». Между тем возможность использовать местные ресурсы сводилась к минимуму, почти к нулю сопротивлением русского народа. «Каждая деревня, — вспоминали французы, — превращалась при нашем приближении или в костер, или в крепость». Следуя «русскому правилу "не доставайся злодею!"», крестьяне повсеместно сжигали продовольствие, угоняли скот, а сами уходили вместе с армией, в ополчение и в партизаны. По мере

движения захватчиков в глубь России их силы таяли, тогда как силы русского народа только развертывались.

Более того, против Наполеона начала складываться новая, 6-я коалиция, в составе которой уже присоединились к России Англия, Швеция, Испания.

В Смоленске Наполеон шесть дней размышлял, идти ли вперед или остановиться, и даже попытался вступить с Александром I в переговоры о мире — через пленного генерала П.А. Тучкова[1]. Предлагая заключить мир, он угрожал на случай отказа: Москва непременно будет занята, а это обесчестит русских, ибо «занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую честь. Что хочешь потом делай, но чести уже не вернешь!». Александр ничего не ответил.

Уязвленный молчанием царя, Наполеон приказал выступать из Смоленска на Москву, в погоню за русскими армиями. Может быть, таким образом он хотел подтолкнуть Александра I к согласию на мирные переговоры. Главное же, Наполеон устремился вперед, к Москве, с надеждой на то, что если русские сражались так отчаянно за Смоленск, то ради Москвы они обязательно пойдут на генеральное сражение и, таким образом, позволят ему кончить войну славной, как Аустерлиц или Фридланд, победой.

Тем временем буквально день ото дня по всей России нарастал патриотический подъем. У разных сословий он проявлялся по-разному. Патриотизм большинства дворян увязал в корысти, ибо они сражались за *крепостную* Россию, за сохранение своих богатств и привилегий, за право самим держать в рабстве собственный народ, не уступая его кому бы то ни было, Наполеону в особенности. Их подстегивал страх перед Бонапартом — этим «всемирным бичом» революции, который мог отменить в России крепостное право (в Польше уже отменил) и тем самым спровоцировать, если не возглавить, новую пугачевщину. Российские помещики так и ругали Наполеона: «французский Пугачев», равно страшась и французов, и собственной «черни».

Разумеется, были среди дворян бескорыстные патриоты и герои. Будущие дворянские революционеры (П.И. Пестель и М.С. Лунин, С.Г. Волконский и С.И. Муравьев-Апостол, М.Ф. Орлов и М.А. Фонвизин) самоотверженно защищали Россию вместе со своими будущими палачами (А.Х. Бенкендорфом и А.И. Чернышевым, М.С. Воронцовым и К.Ф. Толем, И.И. Дибичем и И.Ф. Паскевичем). Но в тылу помещики и чиновники больше

[1] *Тучков Павел Алексеевич* — четвертый из пяти родных братьев, генералов 1812 г., из которых Николай и Александр пали при Бородине; Павел был взят в плен под Смоленском; Сергей больше 10 лет безвинно страдал под следствием, и только Алексей (дед жены А.И. Герцена) прожил спокойную жизнь.

пеклись, по наблюдению Ф.Ф. Вигеля, не о России, а «о своей особе и о своем ларце». Московские дворяне сгоряча обещали царю пожертвовать «на нужды отечества» 3 млн. руб., но потом выяснилось, что 500 тыс. из них собрать «вскорости не можно»; «часть денег вносилась силком еще в 1814 г.»[1] Иные из таких «патриотов» острили: «У меня всего на все 30 000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества»[2].

К ополчению дворяне тоже большей частью отнеслись расчетливо. Многие из них не являлись к своим полкам. Недаром А.С. Грибоедов в плане драмы «1812 год» записал: «Всеобщее ополчение без дворян. (Трусость служителей правительства)». Может быть, он имел в виду и тот факт, что дворяне и чиновники Петербурга жили тогда в готовности к бегству за кордон: «Кто мог, держал хотя бы пару лошадей, а прочие имели наготове крытые лодки, которыми запружены были все каналы»[3].

Итак, дворяне были разные и вели себя неодинаково. Но в целом, как класс, они заслужили оценку С.Г. Волконского, который в октябре 1812 г. на вопрос царя о том, как проявляет себя дворянство, прямо ответил: «Стыжусь, что принадлежу к нему; было много слов, а на деле ничего».

Зато крестьянские массы поднимались на защиту отечества бескорыстно, движимые не сословными, а национальными интересами. Для них, в отличие от дворянства, Россия и крепостное право не были синонимами. Они шли в бой «на басурмана» за Родину, которую хотели избавить и от внешнего, и от внутреннего ярма. Отпор французским захватчикам они сочетали с борьбой против своих помещиков: за 1812 г. — 60 антикрепостнических выступлений против 20, в среднем, за любой из 1801—1811 гг.! После победы над национальным врагом, «басурманом», крестьяне надеялись получить от «царя-батюшки» в награду за свой патриотизм освобождение от собственных господ. При этом ненависть простого люда к нашествию Наполеона подогревалась религиозным суеверием, ибо Наполеон давно уже воспринимался как антихрист, который теперь привел орду нехристей истреблять русский народ и православную веру.

Национальное сознание всех россиян, от царя до последнего солдата, не мирилось с тем, как складывалось начало войны. Наполеон занял огромную территорию (больше полудесятка губерний), проник в глубь России на 600 км, создал угрозу обеим ее столицам. За Смоленском русские войска до самой Москвы не

---

[1] *Верещагин В.В.* 1812 год. М., 1895. С. 7.

[2] *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 5. С. 133.

[3] Автобиографическая записка государственного секретаря В.Р. Марченко // Русская старина. 1896. № 3. С. 500.

имели больше опорного пункта. «Ключ к Москве взят» — так оценил падение Смоленска М.И. Кутузов.

В таком положении становилось нетерпимым отсутствие главнокомандующего, тем более что 1-я и 2-я армии объединились в одну, а командующих оставалось двое. Багратион подчинялся Барклаю де Толли как военному министру, но не признавал министра главнокомандующим и надеялся, что царь назначит главнокомандующим его, Багратиона. Искренне полагавший, что «Великая армия» Наполеона — это «дрянь», которую можно «шапками закидать», Багратион отвергал дальновидную стратегию Барклая и ставил ему в вину не только сдачу Смоленска («подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию»), но и потерю огромных пространств России[1]. Оба командующих пикировались, как фельдфебели. «Ты немец! — кричал пылкий Багратион. — Тебе все русское нипочем!» «А ты дурак, — отвечал невозмутимый Барклай, — хоть и считаешь себя русским». Начальник штаба 1-й армии Ермолов в этот момент сторожил у дверей, отгоняя любопытных: «Командующие очень заняты. *Совещаются* между собой!» Так оправдывался парадокс Наполеона: «Один плохой главнокомандующий лучше, чем два хороших».

Почти все генералы и офицеры обеих армий исподтишка бранили и высмеивали Барклая де Толли, фамилию которого они переиначили в «Болтай да и только», как «немца» (всех вообще иностранцев называли тогда в России «немцами») и даже «изменщика». Среди солдат отношение к Барклаю как к «изменщику» было стихийно устойчивым, поскольку все «видели» неопровержимые «доказательства» его измены: Барклай «отдает Россию», а сам он «немец», значит — «изменщик».

Зловещая молва о Барклае расползалась не только в армии, но и в обществе — по всей России. Дворянские патриоты презирали его, царский двор третировал, alter ego царя Аракчеев ненавидел. В такой обстановке Барклай неуклонно, не теряя мужества, вопреки всем и вся, осуществлял свой стратегический план, что позволило сорвать первоначальные замыслы Наполеона, сохранить живую силу русской армии в самое трудное для нее время и тем самым предрешить благоприятный для России исход войны. Поэтому Барклай вправе был заявить, как он это сделал уже после оставления Москвы: «Я ввез колесницу на гору, а с горы она скатится сама, при малом руководстве».

Александр I (которого Барклай вежливо выпроводил из армии после Дриссы) был растерян и озадачен. Доверяя Барклаю, он понимал, что нужен главнокомандующий, облеченный доверием *нации*, и притом с русским именем. Дворянство обеих столиц в

[1] Цитируются письма П.И. Багратиона 1812 г. к Александру I и к А.А. Аракчееву (для царя).

один голос называло первым кандидатом в главнокомандующие М.И. Кутузова. Александр после Аустерлица терпеть не мог этого «одноглазого старого сатира». Однако мнение класса, служившего ему опорой, царь должен был учитывать. Поэтому он доверил выбор кандидата на пост «главнокомандующего всеми русскими армиями» Чрезвычайному комитету из высших сановников империи. 5 августа комитет по докладу Аракчеева единогласно высказался за Кутузова.

Генерал от инфантерии Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов как самый старший по возрасту и службе из всех действующих генералов, сподвижник П.А. Румянцева и А.В. Суворова, истинно русский барин, род которого уходил корнями в XIII век, имел очевидное преимущество перед любым другим кандидатом. Было ему тогда уже 67 лет (и жить оставалось 8 месяцев). Его боевой опыт исчислялся в полвека. Много раз смерть смотрела ему в глаза. В молодости ему дважды прострелили голову, но оба раза он, к удивлению русских и европейских медиков, выжил. Его правый глаз выбила турецкая пуля в битве под Алуштой, когда ему было 28 лет. После этого Кутузов отличился не в одном десятке походов, осад, сражений, штурмов и к 1812 г. прочно зарекомендовал себя как мудрый стратег и блистательный дипломат. Воспоминания же о давней катастрофе под Аустерлицем компенсировались впечатлениями от его недавних побед над турками под Рущуком и Слободзеей. Грандам Чрезвычайного комитета импонировала и феодальная состоятельность Кутузова, получившего только за 1793—1799 гг. от Екатерины II и Павла I 5667 крепостных «душ», в отличие от худородного Барклая, который вообще не имел крепостных.

Что касается личной антипатии царя, то Комитет не усмотрел в ней серьезного препятствия, тем более что Аракчеев поддержал кандидатуру Кутузова. Действительно, Александр I, ознакомившись с решением Комитета, 8 августа назначил Кутузова главнокомандующим, хотя и скрепя сердце. «Я не мог поступить иначе, — объяснил он сестре Екатерине Павловне, — как назначить того, на кого указывал общий голос».

Русские войска встретили Кутузова-главнокомандующего с ликованием. Сразу родилась поговорка: «Приехал Кутузов бить французов». Обрадовался назначению Кутузова и Наполеон, который, по воспоминаниям А. Коленкура, «тотчас же с довольным видом сделал отсюда вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление; он, наверное, даст нам бой».

Кутузов действительно ехал в армию с решимостью дать Наполеону генеральное сражение за Москву. Близкая к царю графиня Р.С. Эдлинг (урожденная Стурдза) свидетельствовала: «Прощаясь с государем, генерал Кутузов уверял его, что он скорее ляжет костьми, чем допустит неприятеля к Москве». Это

свидетельство подтверждают документы самого Кутузова. В день прибытия к армии (17 августа) он написал московскому генерал-губернатору Ф.В. Ростопчину: «С потерею Москвы соединена потеря России». При первой же встрече с войсками Кутузов воскликнул в присутствии Барклая де Толли: «Ну, как можно отступать с такими молодцами!» Правда, на следующий день был отдан его приказ... продолжать отступление, но, как выяснилось, ненадолго: до подхода подкреплений. Заняв позицию у с. Бородино в 110 км перед Москвой, Кутузов так определил свою задачу: *«спасение Москвы»*. Он учитывал, однако, возможность и успеха, и неудачи: «При счастливом отпоре неприятельских сил дам собственные повеления на преследование их. На случай неудачного дела несколько дорог открыто, по коим армии должны будут отступать»[1].

Наполеон, жаждавший генерального сражения с первых дней войны, не думал о возможной неудаче. Предвкушая победу, он и воскликнул на заре перед боем: «Вот солнце Аустерлица!» Его цель заключалась в том, чтобы взять Москву и там, в сердце России, продиктовать Александру I победоносный мир. Для этого нужно и достаточно было, по мысли Наполеона, выиграть Бородинскую битву. План его был прост: сбить русские войска с занятых позиций, отбросить их в «мешок» при слиянии р. Колочи с Москвой-рекой и разгромить.

Бородинское побоище 26 августа 1812 г. — единственный в истории войн пример генерального сражения, исход которого и та и другая сторона сразу же объявили и доныне празднуют как свою победу, имея на то основания. Поэтому многие вопросы его истории, начиная с соотношения сил и кончая потерями, остаются спорными. Новый анализ старых данных[2] показывает, что Наполеон имел при Бородине 133,8 тыс. человек и 587 орудий, Кутузов — 154,8 тыс. человек и 640 орудий. Правда, регулярных войск у Кутузова было лишь 115,3 тыс. человек плюс 11 тыс. казаков и 28,5 тыс. ополченцев, но зато у Наполеона вся гвардия (19 тыс. лучших, отборных солдат) простояла весь день битвы в резерве, тогда как русские резервы были израсходованы полностью.

Ход сражения сложился в пользу Наполеона. Располагая меньшими силами, он создавал на всех пунктах атаки (Шевардинский редут, с. Бородино, батарея Раевского, Багратионовы флеши, д. Семеновская и Утица) численное превосходство, заставляя русских отражать атаки вдвое, а то и втрое превосходящих сил. К концу битвы Наполеон занял все русские позиции от Бородина справа до д. Утицы слева, включая опорную Курганную высоту в центре. Поскольку русская армия после

[1] М.И. Кутузов: Сб. документов. М., 1954. Т. 4. Ч. I. С. 90, 97, 106, 119.

[2] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* 1812. Великий год России. М., 1988. С. 141—142.

Бородина оставила Москву, что и требовалось Наполеону, он счел Бородинскую битву выигранной тактически и стратегически. Соотношение потерь тоже говорило в его пользу: французы потеряли, по данным Архива военного министерства Франции, 28 тыс. человек; русские, по материалам Военно-ученого архива Главного штаба России, — 45,6 тыс.[1]

Однако разгромить русскую армию, обратить ее в бегство Наполеон, при всех своих надеждах и планах, не смог. Правда, и Кутузов не решил своей главной задачи — спасти Москву: после Бородина он вынужден был пожертвовать ею. Но сделал он это не по воле Наполеона, а по собственным соображениям, учитывая объективно сложившиеся обстоятельства; не потому, что был разбит и деморализован, а потому, что выстоял и уверовал в победоносный для России исход войны без риска нового сражения за Москву. Поэтому — не в тактическом и стратегическом, а в моральном и даже в политическом отношении (если учитывать последующий ход войны) — Бородино было победой русских.

Кутузов в донесении Александру I о Бородине не употребил слова «победа», но его фраза — «кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли», — была воспринята в Петербурге как реляция о победе. Царь пожаловал Кутузову звание генерал-фельдмаршала и 100 тыс. рублей (плюс по 5 руб. на каждого «нижнего чина» армии) и стал ждать вестей о новых русских победах. Кутузов же, отступив к Москве, 1 сентября на историческом совете в Филях решил оставить древнюю столицу России врагу без боя. «Доколе будет существовать армия, — сказал он, — с потерянием Москвы не потеряна еще Россия. Но когда уничтожится армия, погибнут и Москва и Россия».

2 сентября русские войска оставили Москву, а французы заняли ее, и в тот же день начался грандиозный московский пожар, о причинах и виновниках которого до сих пор спорят историки и писатели.

Думается, здесь нет вопроса, как не было его для Наполеона и Кутузова: и тот, и другой знали, что сожгли Москву русские[2]. Кутузов и Ф.В. Ростопчин приказали сжечь многочисленные склады и магазины и вывезти из города «весь огнегасительный снаряд», что уже обрекало деревянную по преимуществу Москву на неугасимый пожар. Но, кроме того, Москву жгли и сами жители (а их осталось тогда в Москве из 275 547 чуть больше 6 тыс.) по принципу «не доставайся злодею!». В результате три четверти Москвы (из 9158 строений — 6532, включая ценнейшие памятники истории и культуры: дворцы, храмы, библиотеки) погибли в огне. Наполеон расценил все это как варварство. «Что

[1] Советские историки поднимали цифры французских потерь до 58—60 тыс. человек произвольно.

[2] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* Указ. соч. С. 189—193.

за люди! — восклицал он, глядя на зарево московского пожара. — Это скифы!.. Чтобы причинить мне временное зло, они разрушают созидание веков!» Кутузов же на встрече с наполеоновским посланцем Ж.А. Лористоном заявил, что русские жгли Москву, «проникнутые любовью к родине и готовые ради нее на самопожертвование»[1].

Заняв Москву, французы обнаружили в ней огромные запасы товаров и продовольствия (помимо богатейших арсеналов оружия). Казалось, Наполеон завершил кампанию на пределе желаемого. Он знал, что падение Москвы эхом отзовется во всем мире как еще одна, может быть, самая главная его победа. Московский пожар сразу все изменил, поставив Наполеона из выигрышного положения в проигрышное. Вместо удобств и довольства в городе, который только что поразил французов своим великолепием, они оказались на пепелище.

Теперь, в Московском Кремле, на высшей точке своего величия Наполеон понял, что ему грозит гибель и что спасти все достигнутое могут только мирные переговоры. Трижды из сожженной Москвы он «великодушно» предлагал Александру I мир. К миру в те дни толкали царя его мать, брат Константин и самые влиятельные сановники, включая Аракчеева и канцлера империи Н.П. Румянцева. Почти все царское окружение в панике требовало мира. Александр, однако, был непреклонен. Он выразил даже готовность отступить на Камчатку и стать «императором камчадалов», но не мириться с Наполеоном. Ни на одно из обращений Наполеона он не ответил.

Если бы Александр I согласился на мир с Наполеоном, занявшим Москву, то, по справедливому заключению К. Клаузевица, «поход 1812 г. стал бы для Наполеона наряду с походами, которые заканчивались Аустерлицем, Фридландом и Ваграмом». Наполеон хорошо это понимал. Вот почему он так долго (36 дней!) оставался в Москве.

От Москвы до Немана

Пока Наполеон в Москве ждал согласия на мир от Александра I, Кутузов успел подготовиться к контрнаступлению. Оставив Москву, фельдмаршал четыре дня демонстрировал перед французами видимость отступления по Рязанской дороге, а на пятый день скрытно повернул на Калужскую дорогу и 21 сентября

[1] Листовки Отечественной войны 1812 г. М., 1962. С. 47. Заявление Кутузова было опубликовано в официальных известиях его штаба. Есть и другой вариант заявления, исходивший от царского двора, где Кутузов говорит Лористону прямо противоположное: «Вы сожгли Москву». А.Г. Тартаковский доказал, что этот вариант является фальшивкой, сочиненной под официальную версию (см.: *Тартаковский А.Г.* Военная публицистика 1812 г. М., 1967. С. 147). Однако некоторые историки (например, П.А. Жилин) опирались, к сожалению, в своих выводах на эту фальшивку.

расположился лагерем у с. Тарутино, в 80 км юго-западнее Москвы. Знаменитый тарутинский марш-маневр существенно повлиял на ход войны 1812 г., обозначив собою уже начало перелома. С одной стороны, Кутузов прикрыл от неприятеля Калугу, где были сосредоточены провиантские запасы, Тулу с ее оружейным заводом, Брянск с литейным двором и плодородные южные губернии. С другой стороны, он поставил под угрозу фланговый удар основную коммуникацию Наполеона Москва—Смоленск. Более того, Наполеон не мог пойти на Петербург, имея в тылу 100-тысячную русскую армию. Зато Кутузову теперь было удобно взаимодействовать с войсками А.П. Тормасова и П.В. Чичагова. Тарутинский лагерь стал базой подготовки русского контрнаступления. Уже через две недели Кутузов собрал здесь против 116 тыс. солдат Наполеона более чем вдвое превосходящие силы русских регулярных войск, казаков и народного ополчения — 240 тыс. человек.

Тем временем вокруг Москвы заполыхала губительная для французов партизанская война. Мирные горожане и селяне обоего пола и всех возрастов, вооружившись чем попало — от топоров до простых дубин, умножали ряды партизан и ополченцев. «Вся Россия в поход пошла», — говорили тогда в народе. Хотя царский манифест от 6 июля предписывал созвать народное ополчение только в 16 губерниях (еще не объятых войной, но уже близких к театру войны), простой люд брался за оружие буквально повсюду, вплоть до Сибири. Общая численность народного ополчения превысила 400 тыс. человек. В зоне боевых действий едва ли не все крестьяне, способные носить оружие, становились партизанами. Только на Смоленщине было 40 партизанских отрядов. А ведь они действовали по всему театру войны, роились вокруг Москвы. Именно этот патриотический подъем народных масс, удвоивший силу русской армии, главным образом и погубил Наполеона.

7 октября Наполеон оставил, наконец, Москву и повел «Великую армию» восвояси. Он шел на Калугу — с намерением отойти к Смоленску не по старой, разоренной дотла, Можайской дороге, а по новой, Калужской. Кутузов преградил ему путь у Малоярославца. Здесь 12 октября разгорелась ожесточенная битва. Город 8 раз переходил из рук в руки и в конце концов остался у французов, но Кутузов, отступив на 2,5 км к югу, занял там новую позицию, по-прежнему заслоняя собой Калужский тракт. Наполеон оказался перед выбором: атаковать ли Кутузова, чтобы прорваться в Калугу, или уходить к Смоленску по разоренной дороге через Можайск? Подсчитав силы и взвесив шансы, Наполеон выбрал отступление.

Так впервые в жизни Наполеон сам отказался от генеральной битвы, добровольно повернулся спиной к противнику, перешел из позиции преследователя в позицию преследуемого. Е.В. Тарле справедливо заключал, что истинное отступление «Великой армии»

началось не 7 октября, когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а 13 октября, когда он отказался от Калуги и пошел к Можайску, на старую Смоленскую дорогу.

Отступление французов по старой Смоленской дороге от Малоярославца к Неману с 13 октября по 2 декабря 1812 г. было для них сплошным бедствием. Дорога представляла собой выжженную пустыню, где, по словам очевидцев, «даже кошки нельзя было сыскать». Поживиться где-либо и хотя бы чем-нибудь на такой дороге французы не могли. Свернуть же с нее им было некуда: всюду их ждала смерть от рук казаков, партизан, крестьян. Буквально «облепленная», по выражению Дениса Давыдова, партизанами и казачьими отрядами, «Великая армия» с первых же дней отступления начала страдать от голода и бескормицы. Бичом армии стал массовый падеж лошадей. Кавалерия превращалась в пехоту. Из-за недостатка лошадей приходилось бросать пушки. Артиллерия тоже превращалась в пехоту. И все терзались муками голода. Еще до Смоленска голод принял столь катастрофические размеры, что французы, случалось, прибегали к людоедству[1].

После Вязьмы, где ударил первый по-настоящему зимний мороз, сразу в -18°, на «Великую армию» обрушился новый враг — холод. Зима 1812 г. в России выдалась самой морозной (на 5—8° ниже нормы) за много десятилетий. Морозы, северные ветры, снегопады, с одной стороны, подгоняли голодных французов, а с другой — и обессиливали, губили их.

Но самым грозным врагом наполеоновской армии оставались регулярные русские войска. В то время как партизаны и казаки, голод и холод гнали французов по старой дороге, Кутузов с главными силами преследовал их *параллельным маршем* южнее, по новой (Калужской) дороге, где русские воины всегда находили продовольствие, фураж, места для отдыха и поддержку населения. При этом авангарды русских то и дело нападали на арьергарды противника, уничтожали их и брали в плен.

Дважды (под Вязьмой 21—22 октября и у г. Красного 4—6 ноября) Кутузов промедлил, упустив возможность отрезать и уничтожить два-три французских корпуса. За это некоторые современники, а потом историки упрекали его в нерешительности, вялости и даже трусости. В окружении самого Кутузова родилась версия (распространившаяся затем и в литературе) о том, что фельдмаршал строил «золотой мост» Наполеону для отступления, т. е. будто бы он намеренно не мешал врагу уйти из России. Оперативности и быстроты маневра Кутузову действительно не хватало (это особо сказалось на Березине), но медлил он не от недостатка решимости, а от избытка осмотрительности. Убеждаясь с каждым днем после Малоярославца в том, что победа над

[1] «Вчерась, — писал Кутузов жене 28 октября, — нашли в лесу двух французов, которые жарят и едят третьего своего товарища».

Наполеоном обеспечена и близка, старый фельдмаршал стремился победить с наименьшими потерями. По воспоминаниям пленного наполеоновского генерала М.Л. Пюибюска, Кутузов заявил ему перед Березиной: «Я, уверенный в вашей погибели, не хочу жертвовать для сего ни одним из своих солдат... Вот как мы, северные варвары, сохраняем людей!»

Когда 12 ноября Наполеон подошел к р. Березине, он располагал всего лишь 30—40 тыс. боеспособных людей и 35—40 тыс. безоружных и больных. Именно здесь, на Березине, Кутузов предрекал «неминуемое истребление всей французской армии». Дело в том, что фельдмаршал принял составленный в Петербурге с участием царя план, по которому французы должны были быть «искоренены *до последнего*» на Березине соединенными усилиями войск Кутузова с востока, генерала П.Х. Витгенштейна с севера и адмирала П.В. Чичагова с юга. Все предвещало русским успех. Их было в районе Березины вдвое больше, чем французов. Кутузов шел по пятам за Наполеоном, Витгенштейн спешил и, судя по всему, успевал преградить путь французам с севера, а Чичагов уже 9 ноября занял ключевой пункт на Березине г. Борисов, тем самым замкнув кольцо окружения противника с юга. Самого Наполеона адмирал приготовился взять в плен. Он даже сообщил своим войскам приметы императора, подчеркнув в особенности его «малый рост», а потом распорядился: «Для вящей же надежности ловите и приводите ко мне всех малорослых!»

Наполеон впервые за всю свою полководческую карьеру оказался в столь катастрофической ситуации. В довершение всех его бед, будто назло ему, Березина, давно замерзшая, теперь после двухдневной оттепели снова вскрылась, а сильный ледоход мешал строить мосты. В этой безысходности Наполеон отыскал единственный шанс к спасению. Пользуясь медлительностью Кутузова, отставшего на три перехода, он успел создать видимость переправы через Березину у с. Ухолоды, чем дезориентировал Чичагова, навести мосты в другом месте, у с. Студенки, и переправить боеспособные части на правый берег. С тяжелыми боями, отбиваясь от Чичагова и Витгенштейна, Наполеон 17 ноября ушел от Березины к Вильно.

По выражению Аркадия Аверченко, Наполеон на Березине «потерпел победу». Действительно, потерял он здесь людей больше, чем под Бородином (20—25 тыс. строевых и примерно столько же прочих). Через три дня после Березины у него, по данным Ж. Шамбре, оставалось кроме 10—15 тыс. «некомбаттантов» (от французского «combattant» — воин) всего 9 тыс. бойцов: 2 тыс. офицеров и 7 тыс. солдат, почти исключительно гвардейских. И хотя Александр I и Кутузов планировали истребить на Березине всю французскую армию «до последнего» ее солдата, включая Наполеона, последнему удалось спасти не только себя самого, но и все то, что русские особенно старались «искоренить»: гвардию, офицерский корпус, генералитет и всех маршалов. «К

общему сожалению, — рапортовал царю огорченный Кутузов, — сего 15 числа Наполеон переправился при деревне Студенке».

С легкой руки Кутузова, который в рапортах царю всю вину за то, что не смог покончить с Наполеоном, возложил на Чичагова, адмирал сразу же стал и поныне остается в России «козлом отпущения» за русские промахи на Березине. Жена Кутузова Екатерина Ильинична, статс-дама царского двора, говорила: «Витгенштейн спас Петербург, мой муж — Россию, а Чичагов — Наполеона». Г.Р. Державин высмеял «земноводного генерала» в эпиграмме, а И.А. Крылов — в басне «Щука и кот». Но любой историк, умеющий судить непредвзято, видит то, на что указывали еще сами участники событий (А.П. Ермолов, В.И. Левенштерн, В.С. Норов, Денис Давыдов): из трех русских командующих именно Чичагов больше всех мешал французам переправиться через Березину и причинил им наибольший урон. Зато Кутузов, который должен был теснить врагов и прижать их к Березине, все время оставался далеко сзади и лишь 19 ноября перешел Березину у м. Жуковец, в 53 км южнее места переправы Наполеона.

Впрочем, Березинская операция, даже не удавшаяся русским до конца, поставила Наполеона на край гибели. Его «Великая армия» фактически перестала существовать, а то, что осталось от нее, могло лишь послужить и действительно послужило основой для создания новой армии. Только теперь Наполеон решился подготовить общественное мнение Франции и Европы к восприятию постигшей его катастрофы. 21 ноября в Молодечно он составил «погребальный», как назовут его сами французы, 29-й бюллетень — своего рода надгробное слово о «Великой армии». Признав свое поражение, Наполеон объяснил его превратностями русской зимы.

Вечером 23 ноября в м. Сморгонь император покинул остатки своей армии, передав командование И. Мюрату. Он торопился в Париж, чтобы опередить толки вокруг 29-го бюллетеня, а главное — собрать новую армию. Первым встретил его министр иностранных дел Г.Б. Маре, который спросил: «Государь, в каком состоянии армия?» Наполеон ответил: *«Армии больше нет»*. То была страшная для Франции правда: из 647 тыс. завоевателей, вторгшихся в Россию, выбрались из России едва ли больше 30 тыс. горемык, считая и фланговые войска.

> То не были бойцы, идущие походом,
> То плыли призраки под черным небосводом,
> Бредущая во тьме процессия теней[1].

[1] *Гюго В.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1956. Т. 12. С. 163.

Кутузов имел все основания рапортовать царю 7 декабря: «Неприятель почти истреблен». Таким образом, Россия, проигравшая Наполеону два первых раунда (в 1805 и 1807 гг.) с нокдаунами, в третьем раунде нокаутировала противника.

Сокрушительное поражение, которое непобедимый дотоле Наполеон потерпел в России, взбудоражило весь мир. Никто не ожидал, что «бич вселенной», уже завоевавший Москву, через три месяца, не проиграв ни одного сражения, будет бежать из России и оставит в ее снегах почти всю свою «Великую армию». Сами россияне были потрясены грандиозностью своей победы. Александр I не посмел объяснить ее ни патриотическим подъемом народа и армии, ни собственной твердостью, а целиком отнес ее к Богу: «Господь шел впереди нас. Он побеждал врагов, а не мы!» На памятной медали в честь 1812 г. царь повелел отчеканить: «Не нам, не нам, а имени Твоему!»

Такое «объяснение» причин разгрома Наполеона не вышло за пределы русской дворянской историографии. Гораздо более расхожей и живучей, вплоть до нашего времени, оказалась версия о том, что победил Наполеона русский климат, «генерал Зима». Однако даже в западноевропейской историографии эту версию отвергли такие авторитеты, как А. Жомини, К. Клаузевиц, Г. Дельбрюк, Д. Чэндлер. В России же она вообще не имела сторонников.

Передовые умы России, не отрицая роли стихийных факторов (Ф.Н. Глинка назвал морозы «вспомогательным войском» Кутузова), отводили им второстепенную роль. «Главнейшими же причинами нашего торжества в 1812 г., — заключил Н.Г. Чернышевский, — должны быть признаваемы твердая решимость императора Александра Благословенного, патриотизм народа, мужество наших армий и искусство полководцев».

В чисто военном отношении, при всем искусстве полководцев России и мужестве ее солдат, Наполеон перед 1812 г. был сильнее. Многие наши историки (П.А. Жилин, Л.Г. Бескровный, Н.Ф. Гарнич и др.) доказывают, что русская армия тогда качественно превосходила французскую, а царские военачальники — Наполеона и его маршалов. Однако нельзя не видеть пороков феодальной организации русских войск и вычеркнуть из истории тот многозначительный факт, что за пределами России, как бы на нейтральном поле, где русская армия не имела поддержки своего народа, Наполеон систематически бил ее и до, и после 1812 г. — под Аустерлицем, Фридландом, Лютценом, Бауценом, Дрезденом, Шампобером, Монмирайлем, Реймсом, Шато-Тьерри, — хотя командовали ею те же самые полководцы, что и в 1812 г., включая Кутузова.

Действительный источник мощи русской армии 1812 г. надо искать не в ее собственной феодальной природе, а в единении

армии с народом. Именно общенациональный подъем народных масс, выступивших на защиту Отечества, стал главной причиной победы России в войне 1812. Очень точно сказал об этом академик В.И. Пичета: «Великий завоеватель столкнулся с великим народом и был разбит».

Что же касается Кутузова, то, поднимая его как военачальника выше Наполеона, советские историки выдают желаемое за действительное — и только. Но даже если бы Кутузов был вдвое-втрое менее талантливым полководцем, все равно Россия выиграла бы войну 1812 г., а Наполеон проиграл бы ее, ибо дело здесь не в Кутузове и не в Наполеоне, а в русском народе. Верно писал об этом В.С. Соловьев в 80-е годы прошлого века: «С начала времен не бывало и не слыхано, чтобы великий народ не мог исполнить своего исторического назначения или отстоять своих жизненных интересов за неимением пригодных людей. Никогда не было такого случая в истории, чтобы дело стало за людьми. Не оказалось у французского короля Карла VII надежных советников и полководцев, — явилась вместо них крестьянская девочка из Дом-Реми; ослабели московские бояре в смутное время, — выручил нижегородский мясник; не было в 1812 г. у нас Суворова, — обошлось и с Кутузовым»[1].

Столь грандиозная победа имела и грандиозные последствия — для России, Европы и всего мира. С одной стороны, она развеяла в прах наполеоновские планы мирового господства и положила начало гибели империи Наполеона, а с другой стороны, как никогда высоко подняла международный престиж России, отвоевавшей у Франции позиции лидера на мировой арене. Г.Р. Державин предостерегающе напоминал врагам Руси:

Был сей, был тот: их нет, а Русь?
Всяк, знай, мотай себе на ус!

В самой России победа над Наполеоном вызвала бурный рост национального самосознания и пробудила лучших людей нации к освободительной борьбе против самодержавия и крепостничества. Зачинатели этой борьбы, декабристы, прямо называли себя «детьми 1812 года». Вот почему А.И. Герцен рассудил так: «Подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, — только предисловие».

Историографическая справка. Война 1812 г. — предмет наибольшего числа исследований, по сравнению с любым другим событием в тысячелетней истории России до 1917 г. Специально о войне написано более 15 тыс. книг и статей, не считая множества

[1] Письма В.С. Соловьева. СПб., 1909. Т. 2. С. 189.

разделов в мировой литературе о Наполеоне, которая насчитывает уже полмиллиона названий.

Русская дворянская историография (Д.П. Бутурлин, А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. Богданович — все трое генералы) давала преимущественно внешнее описание военных событий без должного анализа их социально-экономической и политической обусловленности. При этом она восхваляла «единение сословий вокруг престола», а на первый план как спасителей России выпячивала царскую персону, географические условия и Божий промысел. Начиная с Михайловского-Данилевского, труд которого[1] был написан «по высочайшему повелению» Николая I и отредактирован царем, в российской литературе войну 1812 г. стали называть Отечественной. Ход войны освещался ура-патриотически, с превознесением всего русского над французским, а причины ее усматривались исключительно в гегемонизме Наполеона, «в алчности его к завоеваниям».

Буржуазные исследователи (А.Н. Попов, К.А. Военский, В.И. Харкевич, А.Н. Витмер) опровергли коренные тезисы дворянской историографии о единении сословий и о решающей роли царя в войне, более основательно, с учетом научного анализа выявляли причины войны и видели их не в «алчности» Наполеона, а в столкновении государственных интересов России и Франции. Военский считал решающим фактором в происхождении войны экономический, и прежде всего русско-французский конфликт из-за континентальной блокады. Все буржуазные историки стремились писать о событиях 1812 г. объективно, отдавая должное не только русским, но и французским героям войны, однако они недооценили роль в войне народных масс России, спасительную для страны силу их патриотизма[2].

Советские историки, начиная с М.Н. Покровского, отбросившие вместе с дворянским ура-патриотизмом само название войны 1812 г. как Отечественной (неоправданная крайность!), вернулись в конце 30-х годов к этому ее определению[3], как и к предвзятому освещению хода войны. Вновь была принята на вооружение дворянская схема причин войны: Наполеон из алчности своей стремился поработить Россию, а Россия по своему миролюбию — оборонять себя и другие страны от французской агрессии. Все

---

[1] См.: *Михайловский-Данилевский А.И.* Описание Отечественной войны в 1812 г. СПб., 1839. Ч. 1—4.

[2] Высшее достижение буржуазной и всей вообще русской дореволюционной историографии 1812 года — коллективный труд «Отечественная война и русское общество» в семи томах (М., 1911—1912) под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичеты и с участием более 60 ученых, включая Ю.В. Готье, Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого, В.И. Семевского, Е.В. Тарле.

[3] Отвергнув тезис о единении сословий, советские историки объясняют понятие «отечественная» тем, что в войне 1812 г. принял участие народ. По такому признаку надо все войны, которые вела Россия на своей территории с XIII в., называть «отечественными», но историки СССР (СНГ) этого не делают.

замыслы и действия русской стороны оправдывались, а русские успехи (как и французские неудачи) преувеличивались. К сожалению, и данные о соотношении сил и потерях сторон в боях пересчитывались таким образом, чтобы они выглядели в «нашу пользу»[1].

Лишь в отдельных, очень немногих трудах советских историков война 1812 г. получила объективное, подлинно научное освещение. Это ряд исследований по частным сюжетам (В.В. Пугачева, А.Г. Тартаковского, А.Н. Кочеткова, В.П. Тотфалушина) и обобщающая монография Е.В. Тарле[2], в которой убедительно раскрыты причины войны, ее народный характер, ход военных событий, их социально-экономическая и политическая подоплека, замыслы, действия и личные качества основных персонажей. Книга Тарле — классический научный труд, но по увлекательности и блеску изложения она соперничает с шедеврами художественной классики, оставаясь и поныне лучшей в отечественной историографии 1812 г. В постсоветской историографии обобщающих трудов о войне 1812 г. пока нет, а по отдельным вопросам темы наряду с серьезными исследованиями (В.Н. Земцов, И.А. Шеин, В.М. Безотосный, С.В. Шведов) издаются дилетантски-конъюнктурные труды (самый яркий пример — книга А.В. Шишова[3]).

Зарубежная историография большей частью умаляет освободительный характер войны 1812 г. со стороны России и значение русской победы. Либо слава победы над Наполеоном приписывается иностранцам, служившим при штабе Кутузова (так считали, например, немцы Т. Бернгарди, Г. Бейтцке, А. Грубе), либо подчеркивается роль стихийных факторов вроде пространств России и холода, что характерно для французских историков А. Тьера, Э. Дрио, Л. Мадлена и большинства их западных коллег. Разумеется, есть на Западе и достаточно объективные труды, причем написанные с высоким профессионализмом, — это исследования Ж. Шамбре и Ж. Тири (Франция), К. Клаузевица (Германия), Д. Чэндлера (Англия)[4]. Все они предостерегают возможных продолжателей дел Наполеона (как, впрочем, и Гитлера): «Не ходи на Москву!»

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* Отечественная война 1812 г. История темы. Саратов, 1991. С. 50, 58—62, 68, 69, 80—87, 92—93.

[2] См.: *Тарле Е.В.* Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938. Книга неоднократно переиздавалась (последний раз в 1994 г.).

[3] *Шишов А.В.* Неизвестный Кутузов. Новое прочтение биографии. М., 2001. См. об этой кн. колл. рец.: «Мародер от истории» (Родина. 2002. №8) и «Осторожно — плагиат!» (Вопросы истории. 2002. №8).

[4] См.: *Клаузевиц К.* 1812 год. М., 1937; *Chambray G.* Histoire de l'expédition de Russie. P., 1823, 1838. V. 1—3; *Thiry J.* La campagne de Russie. P., 1969; *Chandler D.* The campaigns of Napoleon. L., 1967 (рус. пер.: *Чандлер Д.* Военные кампании Наполеона. М., 2000).

Коалиционные войны 1813—1815 гг.

Александр I, вдохновляясь победой над французами, решил, что мало отомстить Наполеону за Аустерлиц и Фридланд, Смоленск и Москву, за подневольный обет Тильзита только изгнанием его из России. Теперь царь посчитал возможным достроить 6-ю коалицию, возглавить ее, добиться цели, ради которой бились насмерть с «новым Аттилой» пять предыдущих коалиций, и стать на правах коалиционного вождя Агамемноном Европы. Для этого он проявил столько инициативы и энергии, что можно согласиться с мнением русских дворянских историков: «Без Александра не было бы войны 1813 г.».

1 (13) января 1813 г. русская армия перешла Неман и начала заграничный поход. Она шла освобождать Европу от Наполеона. Это понимал каждый солдат. Другие задачи — восстановить на континенте феодальные режимы, свергнутые Французской революцией и Наполеоном, вернуть на троны Европы дореволюционных монархов, обеспечить России европейскую гегемонию — «нижним чинам» не разъяснялись. Только самые проницательные современники видели, что войны 1813—1815 гг. против Наполеона со стороны союзных держав в большей мере, чем любая из предыдущих войн, имели «двойственный характер: возрождения и реакции в одно и то же время», как определил их К. Маркс.

Командовал русскими войсками по-прежнему М.И. Кутузов, но вместе с ним в Главной квартире теперь неотлучно пребывал сам царь, готовый вразумлять старого фельдмаршала. Кутузов осторожничал. «Самое легкое дело — идти теперь за Эльбу, — ворчал он, — а как воротимся? С рылом в крови!» Но до конфликта между царем и фельдмаршалом дело не дошло. Уже в феврале Кутузов стал часто болеть и 28 апреля в силезском городке Бунцлау умер — за 4 дня до новой встречи с Наполеоном. Да, Наполеон к тому времени, словно из-под земли, уже собрал новую армию в 150 тыс. человек и спешил во главе ее к Эльбе.

Державы 6-й коалиции собирали гораздо большие силы: Англия исправно поставляла золото, Россия, Пруссия и Швеция — «пушечное мясо»; готовилась присоединиться к ним Австрия. Новым главнокомандующим союзными войсками вместо Кутузова

Александр I назначил П.Х. Витгенштейна, который в 1812 г. отличился как защитник Петербурга и герой Березины.

Кампания 1813 г. началась для коалиции безрадостно. 2 мая Наполеон разбил союзников под Лютценом, а 21 мая — под Бауценом, отбросив их к Одеру. Союзный штаб впал в депрессию. Король Пруссии Фридрих Вильгельм III восклицал со слезами: «Опять я на Одере!» Русские офицеры вспоминали предостережение Кутузова: «Как воротимся? С рылом в крови!» Витгенштейн сам попросил уволить его с поста главнокомандующего. Александр I заменил его М.Б. Барклаем де Толли. Обескураженные союзники предложили Наполеону перемирие.

Наполеон тогда не имел сил для решающего удара по союзным войскам. Поэтому он согласился на перемирие, чтобы подтянуть резервы. Перемирие было подписано 4 июня в Плейсвице на две недели и больше помогло союзникам: к ним присоединилась Австрия. Теперь коалиция имела войск вдвое больше, чем у Наполеона. Главнокомандующим войсками коалиции Александр I предложил назначить австрийского фельдмаршала князя К.Ф. Шварценберга. В то же время, чтобы укрепить союзное командование, царь вызвал из Соединенных Штатов Америки жившего там знаменитого полководца Французской революции генерала Ж.В. Моро, который в 1804 г. за участие в заговоре против Наполеона был изгнан из Франции. Но в первом же после перемирия сражении под Дрезденом 26—27 августа 1813 г. Наполеон вновь победил, а генерал Моро был убит (ядром, которое, как рассказывали, выпустил сам Наполеон, разглядевший в подзорную трубу изменника). Потеряв 30 тыс. человек, союзные войска беспорядочно уходили к Богемским горам.

В лагере коалиции началась паника. Фридрих Вильгельм III от страха совсем потерял голову. Австрийский император Франц I готов был отделиться от коалиции. Даже Александр I поддался общему унынию. В этот критический момент, когда все шло к тому, что 6-я коалиция разделит судьбу пяти предыдущих, Наполеон заболел и на время вышел из строя, а его генерал Д. Вандам, которого он направил преследовать союзников, был разбит 30 августа в бою под Кульмом и взят в плен. Кульмская победа спасла коалицию от распада.

Кампания 1813 г. завершилась трехдневным сражением при Лейпциге 16—19 октября. Это была самая грандиозная из всех битв наполеоновской эпопеи, вошедшая в историю как «битва народов». Союзными войсками командовал князь К.Ф. Шварценберг, при штабе которого находились и три монарха — России, Австрии и Пруссии. Исход битвы предрешило огромное численное превосходство союзников. К началу сражения они имели 220 тыс. человек и 893 орудия, Наполеон — 175 тыс. человек и 717 орудий. При таком соотношении сил Наполеон еще мог рассчитывать на победу. Первый день битвы не выявил победителя и стоил

союзникам 40 тыс. убитыми и ранеными, а Наполеону — 30 тыс. В ночь на 17 октября обе стороны получили подкрепление: Наполеон — 15 тыс. человек, а союзники — 110 тыс.! Мало того, когда битва после дня отдыха возобновилась, вся саксонская армия, подневольно сражавшаяся в рядах Наполеона, перешла к союзникам, повернула свои пушки и начала палить из них по французам. После этого Наполеон стал отступать. За три дня битвы он потерял 65 тыс. человек, т. е. почти половину своей армии. Правда, и союзники недосчитались 54 тыс. человек (в том числе около половины — русских), но для них такие потери не имели решающего значения. После Лейпцига союзные войска медленно, но верно двигались вперед. В январе 1814 г. они перешли Рейн и вторглись на территорию Франции.

Кампания 1814 г. неожиданно для всего мира началась фейерверком блестящих побед Наполеона. Со своей 47-тысячной армией Наполеон, метавшийся, как затравленный зверь, в кольце подавлявших сил интервентов, за три месяца в 14 сражениях с ними одержал 12 побед при двух ничьих. «Я опять надел сапоги своей итальянской кампании!» — воскликнул он, вспомнив свои молниеносные победы 1796—1797 гг. в Италии.

Лагерь 6-й коалиции вновь, уже в который раз, поддался растерянности. Союзники боялись, что под влиянием побед Наполеона французский народ поднимется на общенациональную войну против интервентов, подобно тому как это было в героические времена революции. Франц I и Фридрих Вильгельм III предлагали вступить с Наполеоном в переговоры о мире. Только Александр I был тверд: он сумел внушить своим партнерам мысль о том, что если теперь, уже вторгшись во Францию с многократным превосходством сил, союзники не смогут низвергнуть Наполеона, то через год-два, когда он воссоздаст былую мощь своей «Великой армии», опять вся Европа станет жертвой его агрессии. «Братья»-монархи согласились с Александром, тем более что Наполеон не призывал французов к всенародному ополчению, а сами французы, судя по всему, так устали от неполеоновских войн, что в этой последней войне уже не проявляли былого энтузиазма.

Подавляющий перевес союзников в силах неумолимо приближал развязку. Повторился парадокс 1812 г.: хотя Наполеон в 1814 г. не проиграл ни одного сражения, он был окончательно побежден. Когда император затеял обходной маневр, чтобы ударить в тыл союзникам, его министр-предатель Ш.М. Талейран дал знать об этом из Парижа в союзный штаб. Союзники пошли на Париж и 31 марта 1814 г. заняли его.

Александр I переживал в тот день свой звездный час, апогей величия, славы и счастья. Теперь все было отомщено: позор и слезы Аустерлица, страшный урок Фридланда, унижение Тильзита, пожар Москвы, горести Лютцена, Бауцена, Дрездена.

«Ну что, Алексей Петрович, — говорил он при въезде в Париж генералу Ермолову, — что теперь скажут в Петербурге? Ведь, право же, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка?»[1]

Наполеон, узнав обо всем этом, бросился во главе своей армии освобождать Париж, но его маршалы отказались сражаться и заставили императора подписать отречение от престола. Союзные монархи сослали Наполеона на остров Эльба, в 50 км от его родины — Корсики. Во Франции была восстановлена королевская династия Бурбонов. Трон занял Людовик XVIII — брат казненного в 1793 г. Людовика XVI.

В сентябре 1814 г. монархи-победители съехались на конгресс в Вену, чтобы переделить освобожденную от Наполеона Европу. Венский конгресс стал самым представительным в истории дипломатии и остается таковым доныне: Европа прислала туда глав 216 государств (сегодня столько их нет на всей планете), а именно двух императоров, пять королей и 209 государей княжеского достоинства. Впрочем, две сотни карликовых княжеств, герцогств, курфюршеств были статистами. Все дела на конгрессе решал квинтет великих держав — России, Англии, Австрии, Пруссии и принятой в их среду королевской Франции. Внутри квинтета главную роль играл Александр I.

Как всегда бывает при дележе добычи, победители Наполеона начали ссориться: Австрия с Пруссией — из-за гегемонии в Германии, Пруссия с Англией — из-за Саксонии, и все они с Россией — из-за Польши, так как царизм хотел присоединить Герцогство Варшавское целиком к себе («Я завоевал герцогство, — говорил Александр I, — и у меня есть 480 тыс. солдат, чтобы его защитить»), а другие державы были против чрезмерного усиления России. Разногласия накалялись. 3 января 1815 г. Англия, Австрия и Франция заключили секретный договор и начертали план военной кампании против России и Пруссии, которую решено было открыть к концу марта. Назначен был и главнокомандующий войсками трех держав — все тот же князь К.Ф. Шварценберг. В такой обстановке 6 марта «братья»-монархи узнали потрясающую новость: Наполеон покинул Эльбу и высадился во Франции.

Да, аналитически сопоставив неприятие Бурбонов во Франции и распри внутри 6-й коалиции, Наполеон усмотрел в этом для себя шанс к возвращению на французский трон. 1 марта с отрядом в 1100 человек он высадился на юге Франции и за 19 дней без единого выстрела вновь подчинил себе страну. Бурбоны бежали в Бельгию. Так начались феерические «Сто дней» Наполеона.

---

[1] *Богданович М.И.* История войны 1814 г. во Франции и низложения Наполеона I. СПб., 1865. Т. 1. С. 564; Т. 2. С. 170 (с прим.: «Слышано от Ермолова»).

Весть о возвращении Наполеона испугала, но и сплотила коалиционеров. Они вмиг отбросили прочь все свои распри и, по выражению В.О. Ключевского, «судорожно схватились за Россию, за Александра, готовые опять стать в его распоряжение». 13 марта восемь держав объявили Наполеона «врагом человечества» и обязались бороться с ним до победы, тем самым юридически оформив 7-ю и последнюю антинаполеоновскую коалицию.

Наполеон и на этот раз не захотел поднять Францию на революционную войну под лозунгом «Отечество в опасности!». В обычной же войне у него не хватило сил для борьбы с 7-й коалицией. 18 июня в битве при Ватерлоо союзники разбили его. Наполеон был вторично низложен и сослан теперь буквально за тридевять земель — на далекий и пустынный, почти необитаемый остров Святой Елены, где и провел в строжайшей изоляции последние 6 лет жизни (умер там 5 мая 1821 г.).

В 50-х годах нашего столетия шведский врач-токсиколог С. Форсхувуд установил путем бомбардировки ядерными частицами волос Наполеона, что император умер не от рака желудка, как считалось во всем мире, а от постепенного отравления мышьяком. По мнению Форсхувуда, отравителем был граф Ш.Т. Монтолон — агент Бурбонов.

Венский конгресс закончил работу незадолго до Ватерлоо. Его заключительный акт был подписан 9 июня 1815 г. Он удовлетворил амбиции всех коалиционеров. Россия получила львиную долю герцогства Варшавского под названием «Царство Польское» (в том же 1815 г. Александр I даровал Царству Польскому конституцию и автономию в составе Российской Империи). Австрия и Пруссия поделили между собой оставшуюся часть Варшавского герцогства и приобрели богатые земли: Австрия — в Италии, Пруссия — в Саксонии. Англия закрепила за собой Мальту, Ионические острова и ряд французских колоний. Что касается Франции, то она была низведена к границам 1792 г. и оккупирована на 5 лет. На трон ее, как и на другие европейские троны (в Испании, Пьемонте, Римской области, Неаполе, германских княжествах), возвратились монархи, свергнутые Французской революцией и Наполеоном.

Таким образом, Венский конгресс узаконил восстановление феодально-абсолютистских порядков в Европе. Поскольку же народы не захотели принимать старых королей и выступили против них, устроители конгресса договорились совместно душить вспышки народного недовольства где бы то ни было. С этой целью они решили объединиться в Священный союз.

Монархи против народов

После вторичного изгнания Наполеона Александр I в некотором роде (как самый авторитетный государь) занял его место на континенте. «Император русский — Агамемнон, царь царей!» —

восклицала очарованная им мадам Ж. де Сталь. Льстецы из свиты царя брали ноту повыше: «умиротворитель вселенной». Эти славословия отвечали формальному, действительно вселенскому возвышению имени царя, но затемняли его фактическую роль, которую В.О. Ключевский определил так: «караульный часовой чужих престолов против народов». Именно в этой роли Александр создавал и возглавил Священный союз.

Исторический акт о рождении Священного союза монархов Европы был подписан в Париже 14 (26) сентября 1815 г. Царь сам написал акт, склонил к его одобрению Фридриха Вильгельма III и Франца I и больше, чем кто-либо, постарался, чтобы присоединились к нему *все* европейские государства. Каковы же были принципы Союза — на словах и на деле? Монархи обязались «побуждать своих подданных к исполнению обязанностей, в которые наставил человеков Бог-спаситель», и «во всяком случае и во всяком месте подавать друг другу помощь»[1]. На деле, как показали все конгрессы Священного союза, столь туманная фразеология прикрывала конкретную цель — сообща давить «во всяком месте» Европы «всякий случай» сопротивления новым (точнее, восстановленным *старым,* дореволюционным) режимам.

Священный союз отныне стал главной заботой Александра I. Именно царь созывал конгрессы Союза, предлагал вопросы к повестке дня и во многом определял их решения, что позволило Марксу и Энгельсу квалифицировать Священный союз как «маскировку гегемонии царя над всеми правительствами Европы». Это мнение больше согласуется с фактами, чем распространенная версия о том, что главой Священного союза, «кучером Европы» был австрийский канцлер К. Меттерних, а царь будто бы являлся декоративной фигурой и чуть ли не игрушкой в руках канцлера. Меттерних действительно играл выдающуюся роль в делах Союза и был его (а не всей Европы) «кучером», но по этой метафоре Александра надо признать седоком, который доверялся кучеру, пока тот ехал в нужную для седока сторону.

На всех конгрессах Священного союза главным был один и тот же вопрос — о борьбе с революционным движением народов Европы, ибо народы, освободившись от Наполеона, не хотели мириться со старорежимными монархами, которых рассадил повсеместно Венский конгресс и теперь охранял Священный союз. Если первый конгресс Союза — в Ахене, с 30 сентября по 22 ноября 1818 г. — констатировал лишь отдельные вспышки «крамолы», то за 1819—1820 гг. туча новой революции угрожающе сгустилась над всей Европой. Германия была охвачена массовыми волнениями. На гребне их 23 марта 1819 г. в Мангейме студент Карл Занд заколол кинжалом агента Священного союза А. Коцебу, который был личным информатором Александра I. Этот

[1] Акт о Священном союзе // ВПР. Сер. I. Т. 8. С. 516—518.

террористический акт вызвал переполох среди «братьев»-монархов. Зато широкая общественность Германии и Европы признала Занда своим героем. А.С. Пушкин воспел его в стихотворении «Кинжал»:

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

Еще более напряженной была обстановка во Франции, где против Бурбонов поднималась почти вся нация. И здесь крайним проявлением общего недовольства стал, по выражению Пушкина, «карающий кинжал, последний судия Позора и Обиды»: 13 февраля 1820 г. в Париже от руки бонапартиста Л. Лувеля пал герцог Беррийский — племянник Людовика XVIII, тот самый, за кого Александр I в 1815 г. сватал свою сестру Анну[1]. Убийство чистокровного Бурбона царь воспринял как угрозу «всем существующим правительствам».

Если в Германии и Франции революция только назревала, то в Испании и Италии она уже грянула. Испанские повстанцы заставили своего короля Фердинанда VII Бурбона восстановить отмененную им конституцию 1812 г., а неаполитанские — своего короля, тоже Фердинанда (I) и тоже Бурбона, — ввести конституцию по образцу испанской, причем неаполитанский король поклялся на Библии хранить верность конституции. Тогда же (летом 1820 г.) началась революция в Португалии, а весной 1821 г. — в Пьемонте. Словом, то было время, когда, по словам Пушкина,

Тряслися грозно Пиренеи —
Волкан Неаполя пылал.

В такой обстановке испуганные и разгневанные монархи Священного союза собрались на свой второй конгресс, который открылся 20 октября 1820 г. в Троппау (Моравия) и заседал более полугода. Самым напуганным был, как всегда, Фридрих Вильгельм III, а самым разгневанным — Александр I. Революционный вал, прокатившийся по Европе, так озлобил царя, что отныне и навсегда он отказался от либеральных иллюзий, твердо решив: одолеть «гидру революции» можно только карающим мечом.

Именно Александр предложил, а конгресс в Троппау узаконил знаменитый «принцип интервенции»: монархи провозгласили свое «право вмешательства», т. е. военного вторжения в любую страну, где произойдет революция, хотя бы правительство, свергнутое революцией, и не желало этого. Здесь же, в Троппау, решено было использовать это «право» для интервенции в Неаполь, но,

[1] Ранее, в 1810 г., Александр I отказал в руке Анны Павловны самому Наполеону.

чтобы оправдать интервенцию перед общественностью Европы, монархи договорились сначала пригласить Фердинанда I на конгресс «для объяснений».

Это был, что называется, «ход конем». «Братья»-монархи рассчитали свои действия в любом из двух возможных вариантов. Если народ Неаполя отпустит Фердинанда на конгресс, король, безусловно, заявит своим «братьям», что его силой заставили клясться на верность конституции и поэтому он считает свою клятву недействительной. В этом случае интервенция становилась юридически оправданной и необходимой для защиты «легитимного» монарха. Если же короля не отпустят из Неаполя, интервенция окажется законным и единственно возможным способом *освободить* его. Рассчитав все это, монархи перенесли заседания конгресса из Троппау в Лайбах (ныне — Любляна, в Словении) якобы для того, чтобы Фердинанду I было «ближе ехать», а в действительности для более оперативного вмешательства и руководства неизбежной при любом случае интервенцией.

Фердинанд I, приехав в Лайбах, заявил, что его принудили дать конституцию против его воли и что он просит помочь ему восстановить в его королевстве «законный порядок». Это и хотели услышать монархи Священного союза. «Честь» защиты неаполитанского короля от его народа была предоставлена Австрии. В марте 1821 г. австрийские войска подавили революцию в Неаполе, а еще через месяц вторглись — уже без дипломатического прикрытия — в Пьемонт и здесь тоже восстановили «законный порядок».

Итак, за время пока конгресс монархов заседал в Троппау, а затем в Лайбахе, «принцип интервенции» был дважды реализован — в Неаполе и в Пьемонте. Александр I каждый раз предлагал Францу I: «Моя армия — в распоряжении вашего величества», но Франц с благодарностью обходился своими силами. Расставаясь в Лайбахе, союзники договорились провести очередной конгресс на следующий год, чтобы окончательно усмирить Италию. Когда же они вновь собрались (с 20 октября 1822 г. в Вероне), Италия была уже тиха, но зато «тряслися грозно» Испания и Греция.

Александр I настаивал на скорейшей интервенции в Испанию силами «великой армии порядка», как он называл войска Священного союза. Кстати, русскую армию царь считал «одной из дивизий» этой «армии порядка». Поскольку дебаты об интервенции процедурно затянулись, царь пригрозил, что останется жить в Вероне «хоть до седых волос» (ему было тогда 44 года), пока не добьется решения. Когда же было решено послать против революционной Испании французские войска, Александр предложил Людовику XVIII (как и ранее Францу I): «Мой меч — к услугам Франции!»

Испанская революция была подавлена французами с одобрения всех союзных монархов, хотя и вновь без участия русских войск.

Но греческий вопрос впервые вызвал разлад внутри Священного союза, сразу поставив его на грань кризиса.

Все началось с того, что в марте 1821 г. в Греции, которая почти четыре столетия томилась под турецким игом, вспыхнуло национально-освободительное восстание. Его возглавил князь Александр Ипсиланти, грек по национальности. Щекотливость момента для России заключалась в том, что Ипсиланти был генералом русской службы и даже (в 1816—1817 гг.) адъютантом Александра I, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в кампаниях 1813—1814 гг., в битве под Дрезденом потерял правую руку. Главное же, царизм издавна сам намеревался создать на Балканах греческое государство под своим протекторатом, а теперь и греки, со своей стороны, обращались к России за помощью. Более того, российская общественность подталкивала царя к содействию греческим повстанцам. Даже такие благонамеренные столпы военной бюрократии, как генералы А.А. Закревский и П.Д. Киселев, могущественный «проконсул Кавказа» А.П. Ермолов ратовали за то, чтобы Россия выступила в защиту «единоверцев».

Тем временем турецкие башибузуки чинили зверскую расправу над греками. Так, 24 апреля 1821 г., в день святой Пасхи, турки повесили на воротах церкви в Константинополе 80-летнего патриарха Греции Грегориаса и трех митрополитов. В такой ситуации Александр I счел нужным вступиться за греков. Он предъявил турецкому султану ультиматум, требуя прекратить зверства по отношению к мирным греческим жителям. Султан отверг ультиматум. «Мы лучше знаем, как нам обращаться с нашими подданными», — заявил он. Тогда 29 июля царь отозвал из Константинополя своего посла. Россия начала готовиться к войне с Турцией, как вдруг Александр I словно одумался и дал отбой.

Остановило царя беспокойство: не пострадает ли Священный союз? Ведь по меркам Союза греческое восстание было *революционным*. Помочь ему — значило преступить основополагающие заповеди Союза, своего рода три «П»: порядок, покорность, подавление (непокорных). Между тем тогда еще продолжалась революция в Испании, возникла угроза восстания в польских землях, что связывало Россию с другими участниками разделов Польши — Австрией и Пруссией. Вот почему Александр I приостановил свое вмешательство в греческие дела и на конгрессе в Вероне подписал совместную декларацию монархов, которая обязывала греков вернуться под власть Турции, а турок — не мстить грекам.

Турция, однако, при явном попустительстве со стороны Англии и Австрии, игнорировала веронскую декларацию и продолжала мстительно истреблять греков. Александр I еще дважды, летом 1824 и весной 1825 г., пытался организовать коллективное воздействие «братьев»-монархов на Турцию, чтобы спасти греков

от геноцида. «Братья» повели себя уклончиво, ссылаясь на то, что греки — хотя и христиане, но бунтовщики против законного, хотя и мусульманского, порядка.

К тому времени революционное движение в Европе было повсеместно задавлено. Потребность в единстве Священного союза для Александра I стала менее острой. Голос же его окружения и почти всего российского общества в пользу греков звучал все громче. «Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут наши армии», — вспоминал декабрист Н.И. Лорер. А.С. Пушкин считал тогда: «Ничто еще не было столь *народно,* как дело греков» — и готов был помчаться туда, где

> ... на брегах Дуная
> Бунтует наш безрукий князь.

В этих условиях царь решил действовать самостоятельно. 6 августа 1825 г. он объявил союзникам, что «в турецких делах» «отныне Россия будет исключительно следовать своим собственным видам и руководствоваться своими собственными интересами»[1]. Это решение Александра I означало фактический распад Священного союза. Невзирая на протесты своих, как еще недавно казалось, неизменных партнеров, Россия форсировала подготовку к войне с Турцией, и лишь скоропостижная смерть Александра отодвинула начало войны.

Итак, главным делом царизма после победы над Наполеоном стала борьба с «гидрой революции». Многого ли добился Александр I в этой борьбе? На первый взгляд, он достиг почти всего: создал Священный союз монархов и руками Союза к 1824 г. задушил революционную «гидру» в Европе. Но к тому времени между душителями «гидры» начались дипломатические распри, которых Священный союз не выдержал и распался. А главное, пока Александр победоносно боролся с революционным движением по всей Европе, в самой России созрело и предстало перед изумленным царем *такое же* движение декабристов.

Аракчеевщина

Возникновение революционного очага в собственном отечестве было для Александра I тем большей неожиданностью, что он и внутреннюю политику подчинял тем же трем «П» Священного союза, которые так успешно насаждал вне России. Правда, сам он внутренними делами занимался мало. Заботы Священного союза вынуждали его то и дело разъезжать по Европе. Россия же, по выражению современника, «управлялась с почтовой

[1] *Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1883. Т. 4. Ч. I. С. 347.

коляски». Точнее, почти все дела по управлению Россией Александр I отдал в руки А.А. Аракчеева. 1815—1825 годы вошли в российскую историю как время аракчеевщины.

Аракчеевщина была закономерным явлением самодержавного режима, для которого вообще характерна передача государственных дел на откуп фаворитам, временщикам. Фигуры А.Д. Меншикова и Э.И. Бирона, П.А. Шувалова и К.П. Победоносцева говорят об этом сами за себя. Алексей Андреевич Аракчеев в их ряду — личность, пожалуй, наиболее показательная и самая одиозная.

«Истинно русский неученый дворянин», как он не без гордости говорил о себе, Аракчеев был начинен верноподданническим энтузиазмом. Царскую волю он приравнивал к закону божьему, себя, как alter ego царя, мнил третьим (после Бога и помазанника божьего) лицом во вселенной, и всякое прекословие себе считал грехом, заслуживающим кары. Сам он был патологически жесток. Гнев его выражался по-звериному: он собственноручно вырывал у солдат с мясом усы, одному из них откусил ухо. Даже внешне он всех отвращал от себя: по рассказам современников, походил то ли на Квазимодо, то ли на «большую обезьяну в мундире», с «мутными глазами» палача.

В обществе и в армии «все грызли зубы на Аракчеева», вспоминал Н.И. Пирогов. Близкие к Александру I люди за глаза поносили временщика как «выродка-ехидну», «пресмыкающуюся тварь». Народ прозвал Аракчеева «Змеем Горынычем» и слагал о нем бранные песни:

Ты рассукин сын Ракчеев,
Расканалья-господин,
Всю Россию разорил...

К такому «рассукину сыну» Александр I питал безграничное доверие. Уезжая из России, он оставлял временщику чистые бланки с своей подписью, на которых тот мог писать любые распоряжения, а «из дальних странствий возвратясь», все учиненное Аракчеевым одобрял. Сам Аракчеев так определил свое положение в стране: «Государь — мой друг, и жаловаться на меня можно только Богу».

Секрет неизменной в течение трех десятилетий привязанности ангельски симпатичного внешне, просвещенного, джентльменски воспитанного Александра I к дьявольски антипатичному чуть ли не во всех отношениях Аракчееву не прост. Все началось в тот день 5 ноября 1796 г., когда Павел I, вступая на престол, подвел к Александру своего верного оруженосца Аракчеева и соединил их руки со словами: «Будьте друзьями и помогайте мне!» Этот день оба они запомнили на всю жизнь как завет отца и государя. Смерть Павла еще больше возвысила этот завет, скрепила его государевой и отцовской кровью. Аракчеев отныне угнездился в

сердце царя как воплощенная память об его отце: возвеличивая павловского любимца, Александр отчасти утешал свою совесть невольного отцеубийцы. К тому же Аракчеев, по словам А.И. Герцена, отличался «нечеловеческой преданностью, механической исправностью, точностью хронометра <...> Такие люди — клад для царей». Наконец, нельзя не признать в Аракчееве и хороших качеств: он был, что называется, крепок житейским умом, не воровал, не брал взяток и даже отказывался от наград, на которые были так падки другие соратники царя. Вот характерный пример: 31 марта 1814 г. по случаю капитуляции Парижа Александр I произвел в фельдмаршалы М.Б. Барклая де Толли и... Аракчеева, но «Змей Горыныч» упросил царя отменить указ о нем.

Все это совокупно и объясняет, почему Александр I, который, по его собственному признанию, *никому* не верил, считая, что «все люди — мерзавцы»[1], доверился Аракчееву как единственному другу, который его никогда ни в чем не обманет.

Александр I использовал Аракчеева для устрашения России, но не сразу после войн 1812—1815 гг. В первые годы репрессий Священного союза царь не слишком душил Россию, понимая, что она нуждается в послаблениях. Войны (особенно французское нашествие) унесли жизни 2 млн. россиян только мужского пола и разорили страну. Целые губернии были опустошены, сотни деревень выжжены до основания. Многие города лежали в руинах, Москва почти вся сгорела. Помещики же, чтобы компенсировать свои материальные потери, усиливали и без того варварскую эксплуатацию крестьян. Надежды крестьян на то, что царь наградит их за патриотизм, не оправдались. В манифесте Александра I от 30 августа 1814 г., который одаривал все сословия различными милостями, о крестьянах было сказано буквально следующее: «Крестьяне, верный наш народ, — да получат мзду свою от Бога!» Крестьянский люд, возвращенный под ярмо барщины, повсеместно роптал: «Мы избавили отечество от тирана, а нас опять тиранят господа!»

Александр I с юных лет запомнил предостережение своего воспитателя Ф.Ц. Лагарпа: «Ропот — это первые языки пламени, из которого рождается пожар революции». Поэтому в 1815—1819 гг., по примеру 1801—1804 гг., он пытался решить крестьянский вопрос, чтобы избежать грозящего повторения пугачевщины. Царь заявил даже о своем намерении отменить крепостное право[2] и собрал до десятка проектов, разъяснявших, как это осуществить. Такие проекты составляли отчасти по заданию царя, а частью по собственной инициативе декабрист Н.И. Тургенев, сановный бюрократ Е.Ф. Канкрин, боевой генерал П.Д. Киселев и даже

---

[1] *Кизеветтер А.А.* Исторические очерки. М., 1912. С. 305.

[2] Впервые он сделал такое заявление весной 1814 г. в парижском салоне мадам Ж. де Сталь с явным расчетом на европейскую огласку.

Аракчеев. Все они исходили из идеи постепенности. Канкрин, например, предлагал растянуть процесс отмены крепостного права до 1880 г. Все проекты царь отложил в долгий ящик: с одной стороны, оппозиция большинства российских дворян, а с другой — революционный подъем 1820—1821 гг. в Европе побудили его отказаться от послаблений в собственной стране. В те же годы, т. е. 1815—1819, царь собрал несколько проектов конституционных реформ и по тем же причинам все их отвергнул.

С 1820 г. и до конца жизни Александр I оставался «главным» блюстителем реакции, насаждаемой им в Европе собственными руками, а в России — руками Аракчеева, которого ранее он как бы придерживал возле себя на цепи, а теперь, по выражению В.И. Ленина, «спустил на своих верноподданных». Главным проявлением аракчеевщины была расправа с недовольными. Крестьяне, обманутые в своих надеждах на отмену или хотя бы ослабление помещичьего ярма, протестовали. За первую четверть XIX в. в России вспыхнуло больше 650 крестьянских волнений, причем две трети из них — за 1815—1825 гг. Формы крестьянского протеста были разные — от верноподданнических жалоб царю, которого крестьяне с этой целью буквально «ловили» на дорогах империи, до вооруженных восстаний.

Ряд волнений носил затяжной и чрезвычайно упорный характер. Три года — с 1816 по 1819-й — боролись крестьяне 20 деревень Костромской губернии, принадлежавших помещице Настасье Федоровне Грибоедовой (матери великого писателя), которая по характеру была сродни «рабовладелице» Хлестовой из грибоедовского «Горя от ума». Купив костромские деревни, Грибоедова обложила крестьян оброком втрое большим, чем при прежних владельцах. Крестьяне возмутились, попытались было жаловаться, а затем подняли бунт: достали 300 ружей, даже еще одну пушку и вступили в бой с карательными войсками. Бунт был подавлен в крови.

Особенно крупными были волнения на Украине и в области Войска Донского 1819—1820 гг. с участием 45 тыс. крестьян. Против них Аракчеев направил регулярные войска с артиллерией. Командовал ими генерал-адъютант А.И. Чернышев — будущий военный министр. Он подавил волнение с чисто аракчеевской жестокостью, после чего сам Аракчеев приехал на Дон чинить суд над четырьмя сотнями «зачинщиков». По его приказу больше 200 крестьян были биты кнутами (иные из них — насмерть) и почти столько же сосланы на каторгу и поселение в Сибирь.

Аракчеев лично наблюдал за работой кнутобойцев, проверяя, в полную ли силу истязают они осужденных. Истязания «черни» до пролития крови, до полусмерти и смерти доставляли ему садистское удовольствие. У себя в имении (Грузино Новгородской губернии) он изобрел особую, «аракчеевскую» палку, вымоченную

в соленой воде. Там «в графском арсенале всегда стояли кадки с рассолом, в котором мокли розги и палки», — вспоминал очевидец. Такими палками крестьян избивали, как правило, «в музыкальном сопровождении»: хор девушек пел «Со святыми упокой, Господи...»[1].

Аракчееву не уступала в жестокости и садизме его любовница, дочь кучера и жена садовника Настасья Минкина, которая секла на конюшне собственного мужа и тиранила всю дворню, особенно красивых девушек (чтобы они не приглянулись Аракчееву): не только била их розгами и палками, но и калечила щипцами. В конце концов один из дворовых осенью 1825 г. зарезал Минкину кухонным ножом. «Змей Горыныч» отомстил за свою возлюбленную по-аракчеевски: убийца был забит насмерть кнутами, его сестра — палками, и еще 20 крепостных, виновных только в том, что они не прибежали на помощь к Минкиной, были угнаны на каторгу. Аракчеев так страдал о Минкиной, что, схоронив ее, распорядился приготовить могилу и себе самому с надгробной плитой, которая была украшена такой надписью: «На сем месте погребен русский новгородский дворянин Алексей Андреевич Аракчеев. Родился 1769 года, умер...» Впрочем, страдалец не поленился прожить после этого еще почти 10 лет.

«Величайшим преступлением» александровско-аракчеевской реакции А.И. Герцен справедливо назвал *военные поселения*. О них говорили: «государство Аракчеева», но придумал их сам царь. Идея его была двоякой — фискальной и карательной. Дело в том, что расходы на армию поглощали больше половины государственных доходов. Военные же поселения были задуманы как новая форма комплектования и содержания армии, при которой она сама себя и обеспечивала бы. Государственные крестьяне целыми уездами переводились на положение «военных поселян», т. е., оставаясь крестьянами, они становились еще и солдатами и должны были сочетать армейскую службу с земледелием. Царская идея заключалась в том, чтобы создать из военных поселян оторванную от крестьянства замкнутую военную касту, которую было бы более удобно использовать для расправы с крестьянским движением (семьи поселян жили не в деревнях, а в черте поселений, причем дети их с 7 лет начинали учиться военному делу).

Первый опыт военных поселений был затеян еще в 1810 г., но борьба с Наполеоном отвлекла царизм, и лишь с 1816 г. военные поселения стали насаждаться как система. К 1825 г. были переведены на оседлость 375 тыс. солдат, т. е. почти треть

[1] См.: *Отто Н.К.* Черты из жизни графа Аракчеева // Древняя и новая Россия. 1875. № 3.

всей армии. Пост начальника военных поселений бессменно занимал Аракчеев.

Военные поселения сочетали в себе две неволи — и крестьянскую, и солдатскую. Бичом их были жесточайшие, по малейшему поводу телесные наказания — палками и шпицрутенами[1]. «Живого человека рубили, как мясо», — писал о том времени С.П. Мельгунов. Обычно даже самые здоровые солдаты не выдерживали больше 6 тыс. палок, а назначали им в наказание и 8, и 10 тыс. В таких случаях осужденного сначала вели между двумя солдатскими шеренгами, привязав за руки к прикладам ружей, затем волокли и, наконец, везли на тележке. Последние 2—4 тыс. палок били уже по мертвому телу.

Военные поселяне сопротивлялись аракчеевскому режиму всеми способами, вплоть до вооруженных восстаний. Крупнейшее из них — в г. Чугуеве Харьковской губернии летом 1819 г. — Аракчеев утопил в крови: под его диктовку военный суд приговорил 275 повстанцев к смертной казни. Александр I стоял на своем твердо: «Военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова!» (больше 100 км первой линии военных поселений). Аракчеев же еще подстрекал царя: «Повелеть извольте — и всю Россию военным поселением сделаем!»

Ни Александр I, ни его преемник Николай I не отказались от системы военных поселений — она была упразднена лишь при Александре II в 1857 г.

Впрочем, кадровая армия содержалась немногим лучше военных поселений и тоже протестовала[2]. Очень напугало и озлобило царизм «возмущение» 16 октября 1820 г. в лейб-гвардии Семеновском полку. Этот полк, сформированный вместе с Преображенским полком в 1695 г. Петром Великим, был старейшей и самой привилегированной воинской частью в России. Шефом его с молодых лет был сам Александр I, которого именно семеновцы фактически возвели на престол. Царь очень любил полк и сам носил его форму, знал поименно всех офицеров полка и даже многих солдат. В полку не применялись телесные наказания, офицеры обращались к солдатам на «вы». Так было до весны 1820 г., когда Аракчеев решил «покончить с либерализмом» у семеновцев.

9 апреля 1820 г. по настоянию Аракчеева командиром Семеновского полка был назначен полковник Ф.Е. Шварц, который к тому времени успел прославиться «шварцевым» погостом в Екатеринославе, т. е. братской могилой для солдат, замученных им до смерти. Может быть, поэтому Аракчеев отрекомендовал Шварца царю как «человека с особыми военными

---

[1] *Шпицрутен* — гибкий лозовый прут длиною в 2 м.

[2] Подробно см.: *Федоров В.А.* Солдатское движение в годы декабристов. М., 1963.

качествами» и предписал Шварцу «выбить дурь» из семеновцев. Шварц сразу восстановил в полку культ шпицрутенов и собственноручно бил «виновных» (например, в том, что «кашлял» или «невесело смотрел») перчатками по глазам, плевал им в лицо, пинал ногами. Когда же 16 октября он поволок в чем-то провинившегося рядового вдоль строя, приказав солдатам плевать на их товарища, семеновцы потеряли терпение.

В тот же вечер 1-я «государева» рота самовольно построилась на перекличку, вызвала ротное начальство и подала ему жалобу на полкового командира. Остальные роты поддержали 1-ю. Семеновцы хотели было убить Шварца, однако он изобретательно спрятался, закопавшись в навоз. Попытки высоких чинов (включая брата царя великого князя Михаила Павловича и петербургского генерал-губернатора графа М.А. Милорадовича) уговорить семеновцев принести повинную ни к чему не привели. Военные власти попытались припугнуть «бунтовщиков», заявив, что против них выставили шесть пушек. «Бунтовщики» отвечали: «Мы под Бородином и не шесть видели!»

Подавить возмущение семеновцев удалось сравнительно легко (весь полк был арестован и без сопротивления препровожден в Петропавловскую крепость), но царизм усмотрел в нем страшную для себя опасность, впервые осознав, что армия, даже гвардия, перестает быть его надежной опорой. Неудивительно, что царь и его alter ego подвергли семеновцев лютой расправе: 802 солдата были преданы суду, девять из них получили по 6 тыс. палок и еле живыми были сосланы на каторгу, остальные — в ссылку; весь полк был расформирован.

Волнения в армии и особенно бунт семеновцев дали понять царизму, что крамола может грозить отовсюду. Поэтому он как никогда усилил полицейский надзор за всеми слоями общества. С 1810 г. в стране функционировало Министерство полиции. Сверх того особая служба сыска находилась в ведении Аракчеева. Наконец, и Милорадович имел свою шпионскую агентуру. Однако царизм не удовольствовался этим трехзвездием тайных полиций и в 1821 г., вскоре после бунта семеновцев, учредил специальную полицию в армии. Сыск стал настолько всеобъемлющим, что сам Аракчеев подозревал за собой негласное наблюдение. Декабрист Г.С. Батеньков вспоминал о том времени: «Все подведены уже были под один уровень невозмутимого бессилия и все зависели от многочисленных тайных полиций».

Карательное начало внедрялось во все сферы жизни, включая просвещение, где власть маскировала насилие христианскими заповедями. Осенью 1817 г. Александр I придумал соединить Министерство просвещения с духовным ведомством в единое Министерство духовных дел и народного просвещения. Возглавил его старый друг царя обер-прокурор Святейшего Синода князь А.Н. Голицын. Он и начал осуществлять с благословения царя и

под контролем Аракчеева «христианизацию» просвещения, чтобы максимально приблизить его к догмам Священного союза. Университеты России подверглись абсурдным ревизиям вроде той, которую учинил в Казани приспешник Голицына М.Л. Магницкий.

Этот чиновный арлекин, «помесь курицы с гиеною», по определению Д.С. Мережковского, был уже известен «верхам» своим проектом «всеобщего уничтожения зловредных книг», когда Голицын по совету Аракчеева послал его (весной 1819 г.) ревизовать Казанский университет. Там, пошарив в списке почетных членов местного университета, Магницкий к ужасу своему обнаружил имя аббата А. Грегуара, проголосовавшего четверть века назад за казнь Людовика XVI («по недосмотру университет забыл вычеркнуть это завалявшееся имя», — иронизировал В.О. Ключевский). Вне себя от возмущения, Магницкий объявил Казанский университет рассадником вольнодумства, «маратизма» и «робеспьерства» и предложил Александру I, ни много ни мало, «торжественно разрушить» его. Царь возразил: «Зачем разрушать, можно исправить» — и поручил исправление университета... Магницкому, назначив его попечителем Казанского учебного округа.

То, что содеял этот попечитель в Казанском университете летом 1821 г., сегодня воспринимается как театр абсурда, но тогда вершилось серьезно и даже было вменено в исполнение другим университетам. Прежде всего Магницкий подверг аракчеевской экзекуции профессуру, изгнав сразу 11 «неблагонадежных» ученых и заменив их 10-ю «благонадежными» неучами, а затем издал руководство, которое унифицировало преподавание всех дисциплин «на началах Священного союза». К примеру, смысл предмета всеобщей истории сводился к тому, чтобы разъяснять студентам, «как от одной пары все человечество развелось». Математики должна были вычислять «священные истины» вроде следующей: «как числа без единицы быть не может, так и вселенная, яко множество, без единого владыки существовать не может». Старые, языческие определения и формулы Магницкий заменил новыми, «христианскими». Например, гипотенузу стали определять так: «Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, через ходатая Бога и человеков, соединившего горнее с дольним, небесное с земным». В ежегодной и выпускной аттестации студента превыше всего, включая любые успехи в науках, ценилась благонамеренность.

Завершив весь цикл своих преобразований в Казанском университете, Магницкий распорядился поместить в актовом зале университета большой портрет Александра I и под ним мемориальную доску с надписью: «Обновителю своему — обновленный университет». Пожалуй, именно этот попечитель заложил основы

той политики воспитания юношества, которая осуществлялась до конца царской и в эпоху большевистской империи и о которой весьма точно высказался Евгений Евтушенко:

Суть попечительства в России
Свилась в одну паучью нить:
«Топи котят, пока слепые,
Прозреют — поздно их топить!»

Недаром консервативно мыслящий, но истинно просвещенный Н.М. Карамзин назвал голицынское Министерство просвещения «министерством затмения».

С той же целью *затмения* духа россиян Александр I и Аракчеев буквально взнуздали после 1815 и особенно с 1820 г. прессу. «Дней Александровых прекрасное начало», когда свободно издавались в России Вольтер и Руссо, стало казаться сном. Теперь запрещена была даже книга «О вреде грибов» только потому, что грибы — постная пища, рекомендованная церковью, и, следовательно, не может быть вредной. Иностранное же вольнодумство (это, по выражению цензора А.И. Красовского, «смердящее гноище, распространяющее душегубительную зловонь») преследовалось больше всего. «Свирепая холера изуверства» (как выразился А.И. Герцен) магницких и красовских стимулировала давно привитый в России национальный синдром, который тоже было суждено пережить как царизму, так и большевизму. Астольф де Кюстин определил его так: «Лгать здесь — значит охранять престол, говорить правду — значит потрясать основы». За все попытки изменить этому «правилу» царь и его временщик карали жестоко. Два ярких примера — судьбы царского флигель-адъютанта полковника Т.Г. фон Бока и основателя Харьковского университета В.Н. Каразина. Того и другого царь обнимал и просил со слезами на глазах говорить ему только правду, а когда они откровенно высказались в письмах к нему против аракчеевских методов его правления, он засадил и Бока (1818), и Каразина (1820) в Шлиссельбургскую крепость, откуда Каразин вышел через полгода, а Бок — лишь при Николае I, будучи уже душевнобольным.

Надо признать, что Александр I даже в годы аракчеевщины не доводил политических репрессий до таких масштабов, какие имели место при Павле I или при любом из последующих русских царей. Но по сравнению с началом собственного царствования он стал гораздо беспощаднее, причем в ряде случаев лично повелевал наказать вольнодумцев, как то проявилось в отношении А.С. Пушкина, а также А.Ф. Лабзина.

Александр I знал Пушкина в лицо с тех пор, как поэт был представлен ему 9 июня 1817 г. на выпуске лицеистов. Позднее царь и поэт встречались в домах Н.М. Карамзина и царскосельского банкира И. Велио. Весной 1820 г. царь разгневался на поэта за то, что «он наводнил Россию возмутительными стихами», и

намеревался сослать его в Сибирь или на Соловки, но Карамзин уговорил царя смягчить наказание: поэт был отправлен служить в Бессарабию.

Более сурово обошелся Александр I с вице-президентом Академии художеств Лабзиным, который дерзнул лично «обидеть» и самого царя, и его alter ego. Осенью 1822 г. президент Академии А.Н. Оленин предложил избрать почетным академиком Аракчеева. Лабзин поинтересовался, каковы заслуги временщика перед искусством. Президент, смутившись, напомнил, что Аракчеев — «близкий человек к государю». «Тогда, — воскликнул Лабзин, — я предлагаю избрать в почетные академики кучера Илью Байкова! Он не только близок к государю, но и сидит *перед ним!*» Александр I, узнав об этом, распорядился: за «наглое поведение» отрешить Лабзина от должности и сослать его в глухой городишко Сенгилей Симбирской губернии.

Больше всего тревожили царское правительство распространявшиеся с начала 1818 г. слухи о возникновении в России тайных обществ антиправительственной направленности. Вскоре к царю начали поступать и мотивированные доносы на заговорщиков (декабристов): в конце 1820 г. — от уланского корнета А.Н. Ронова, в марте 1821 г. — от библиотекаря гвардейского штаба М.К. Грибовского. Под впечатлением этих слухов и доносов (с учетом, разумеется, таких фактов, как бунт Семеновского полка) встревоженный Александр I повелел 1 августа 1822 г. запретить «все вообще тайные общества», включая масонские ложи, к которым ранее он относился вполне терпимо. Так, в 1816 г. он заявил генералу А.П. Тормасову в ответ на просьбу разрешить открытие в Москве очередной ложи: «Я не даю явного позволения, но смотрю на это сквозь пальцы. Опытом доказано, что в них нет ничего вредного».

Действительно, абстрактное, осложненное ритуальной символикой «многоглаголание» масонов о том, как хорошо было бы преобразовать весь мир «в единое непоколебимое святилище добродетели и человеколюбия», не беспокоило царя[1]. К тому же с 1810 г. возникновение и деятельность масонских лож контролировались властями, а в самих ложах, наряду с высшими сановниками (вел. кн. Константин Павлович, М.М. Сперанский, В.П. Кочубей и др.), заседали по сыскной надобности и полицейские чины вроде вездесущего директора особой канцелярии Министерства полиции Я.И. де Санглена. Но со временем осведомители все чаще стали беспокоить царя донесениями о том, что к масонам проникает «всякая сволочь» и что их ложи превращаются в «клубы», которые могут быть использованы для прикрытия тайных обществ политического характера. Все это

[1] Подробно см.: *Пыпин А.Н.* Русское масонство. XVIII и перв. четв. XIX в. Пг., 1916.

заставило Александра I запретить масонские ложи, после чего история российского масонства более чем на три четверти века фактически была прервана[1].

Итак, аракчеевщина опутывала своими карательными щупальцами все сферы жизни и слои населения России. Но добиться желанной покорности царизм не мог. Напротив, пытаясь усмирить россиян аракчеевскими методами, он лишь усугублял всеобщее недовольство. Разочарование народных масс в надеждах на лучшую жизнь после военного триумфа 1812—1815 гг. передалось обществу и офицерству. Именно в годы аракчеевщины возникло и окрепло движение первых русских революционеров — декабристов.

Историографическая справка. Вторая половина царствования Александра I исследована меньше, чем первая, но в целом удовлетворительно.

Особенно велика литература о коалиционных войнах 1813—1815 гг. Российские историки (от дворянских, вроде А.И. Михайловского-Данилевского и М.И. Богдановича, до советских — Л.Г. Бескровного, Н.И. Казакова, П.А. Жилина, А.Л. Нарочницкого) обыкновенно возвеличивают роль России как освободительницы Европы от Наполеона, преуменьшая агрессивные, реакционные цели и акции царизма; а французские исследователи большей частью (Ф. Водонкур, Э. Дрио, Л. Мадлен) чрезмерно акцентируют оборонительный характер войн со стороны Наполеона. Среди тех исследований, где крайности в оценках сведены к минимуму, заметна книга американского ученого (эмигранта из СССР) А.А. Лобанова-Ростовского «Россия и Европа 1789—1825 гг.»[2]

Венский конгресс и Россия в системе Священного союза получили широкое, сбалансированно критическое освещение в трудах историков разных стран — главным образом А. Дебидура (Франция), крупнейшего из отечественных историков С.М. Соловьева и Л.А. Зака (СССР)[3]. Как историографическое явление интересен и пятитомный апофеоз Священному союзу российского дворянского историка В.К. Надлера[4].

Аракчеевщина как исследовательская проблема специально не изучалась, но должным образом рассмотрена в книгах по истории внутренней политики и классовой борьбы при Александре I. Из них кроме фундаментальной монографии А.В. Предтеченского,

---

[1] О позднем (с начала XX в.) масонстве в России см.: *Аврех А.Я.* Масоны и революция. М., 1990.

[2] См.: *Lobanov-Rostovsky Andrei A.* Russia and Europe 1789—1825. N. Y., 1947, 1968.

[3] См.: *Соловьев С.М.* Венский конгресс // Русский вестник. 1865. № 2; *его же.* Император Александр I. Политика. Дипломатия. СПб., 1877. Ч. I. Гл. 1; *Дебидур А.* Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878). М., 1947. Т. 1—2; *Зак Л.А.* Монархи против народов. М., 1966.

[4] См.: *Надлер В.К.* Император Александр I и идея Священного союза. Рига, 1886—1892. Т. 1—5.

рекомендованной к 1-й главе, выделяются научными достоинствами работы В.А. Федорова, И.И. Игнатович, С.В. Мироненко[1].

Что касается биографической литературы, то наряду с многочисленными биографиями Александра I и Наполеона (часть их рекомендована к 1-й главе) читатель может использовать блестящий этюд «Император Александр I и Аракчеев» в «Исторических очерках» А.А. Кизеветтера (М., 1912), рекомендованную к 1-й главе работу В.А. Федорова «М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев», а также книгу английского историка М. Дженкинса под выразительным и точным названием: «Аракчеев. Великий визирь Российской империи»[2]. На русском языке солидной, подлинно научной биографии Аракчеева до сих пор нет.

---

[1] См.: *Федоров В.А.* Солдатское движение в годы декабристов. М., 1963; *Игнатович И.И.* Крестьянское движение в России в первой четверти XIX в. М., 1963; *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990.

[2] См.: *Jenkins M.* Arakcheev. Grand Vizier of the Russian Empire. L., 1969.

Становление

Когда и как появились в России первые революционеры — декабристы[1]? Ответить на этот вопрос и легко, и трудно: легко потому, что почти все источники декабризма известны, а трудно потому, что они многочисленны и разнообразны.

Главным источником революционной идеологии декабристов были противоречия российской действительности, т. е. между потребностями национального развития и феодально-крепостническими порядками, которые тормозили национальный прогресс. Самым нетерпимым для передовых русских людей было крепостное право. Оно олицетворяло все зло феодализма — царившие повсюду деспотизм и произвол, гражданское бесправие большей части народа, экономическое отставание страны, раздиравшие ее социальные коллизии. Из самой жизни, а также из передовой литературы (особенно из книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль») будущие декабристы черпали впечатления, толкавшие их к выводу: надо отменить крепостное право, преобразовать Россию из самодержавного в конституционное государство. Размышлять об этом они начали еще до войны 1812 г. Война же резко ускорила рост их политического сознания.

В войне с Наполеоном приняли участие 115 будущих декабристов (все, кто из них тогда был способен носить оружие). Даже 16-летний Никита Муравьев бежал на фронт из родительского дома. Все декабристы — участники войны были удостоены боевых наград. Только за Бородинское сражение шесть из них, в том числе П.И. Пестель и М.С. Лунин, получили золотые шпаги с надписью «За храбрость». Война окончательно разбудила революционное сознание декабристов, поскольку свела их с простыми тружениками — крестьянами, ремесленниками и т. д. — не как господ с холопами, а как соратников в защите Отечества, и поэтому заставила их больше, чем когда-либо, задуматься над

[1] Термин «декабрист» (в память 14 декабря 1825 г.) появился в среде самих декабристов после разгрома восстания, а в русском обществе — на рубеже 30—40-х годов XIX в. Впервые документально он засвидетельствован в дневнике А.И. Герцена 26 марта 1842 г. (см.: *Рейсер С.А.* Из розысканий по истории русской политической лексики. «Декабрист» // Труды Ленинградского библ. ин-та им. Н.К. Крупской. 1956. Т. 1. С. 247).

судьбами России и ее народа. А.А. Бестужев прямо называл войну 1812 г. «началом свободомыслия в России». «Мы были дети 1812 года», — заявил от имени всех декабристов М.И. Муравьев-Апостол.

Воздействие войны 1812 г. на будущих декабристов усилилось в заграничных походах 1813—1815 гг., когда они воочию увидели то, о чем знали только из европейской литературы и понаслышке: жизнь людей без крепостного права. Тот же А.А. Бестужев свидетельствовал: «Сравнение со своим естественно произвело вопрос — почему же не так у нас?» Будущие декабристы «заразились» настроением, которое В.О. Ключевский удачно назвал «патриотической скорбью». Видеть русский народ, «первый в Европе по славе и могуществу», как они считали, в цепях крепостничества после исторических побед 1812—1815 гг. стало для них невыносимым. Отныне резко возрос их интерес, пробудившийся еще до 1812 г., к европейской просветительной философии, к законодательству Англии, конституциям США, Франции, Испании, к политическим катаклизмам на Западе 1812—1815 гг., которые, по словам Пестеля, «познакомили умы с революциями, с *возможностями и удобностями оные производить*»[1].

Передовые дворяне, включая офицеров, даже некоторых генералов и крупных чиновников, ждали, что Александр I, победив Наполеона, даст крестьянам России волю, а стране — конституцию. По мере того как выяснялось, что царь не уступит ни того, ни другого, они все больше разочаровывались в нем: ореол реформатора мерк в их глазах, обнажая его истинное лицо самодержца и крепостника. Символически выглядел пассаж, свидетелями которого стали будущие декабристы. В «Записках» И.Д. Якушкина читаем, как торжественно встречал Петербург летом 1814 г. гвардию, вернувшуюся из Парижа. «Показался император на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались. Но в эту самую минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Именно с 1814 г. движение декабристов делает первые шаги. Одно за другим складываются четыре объединения, которые вошли

[1] Восстание декабристов. Материалы и документы (далее — ВД). М.; Л., 1927. Т. 4. С. 105.

в историю как *преддекабристские*. Они не имели ни устава, ни программы, ни четкой организации, ни даже определенного состава, а заняты были политическими дискуссиями о том, как изменить «зло существующего порядка вещей». Входили в них очень разные люди, которые большей частью стали позднее выдающимися декабристами.

«Орден русских рыцарей» возглавляли два отпрыска высшей знати — граф М.А. Дмитриев-Мамонов и гвардейский генерал М.Ф. Орлов. Первый из них был сыном фаворита Екатерины II А.М. Дмитриева-Мамонова, одним из богатейших людей России. В 1812 г. он сформировал на свои средства целый полк для борьбы с Наполеоном. М.Ф. Орлов — племянник другого фаворита Екатерины, Г.Г. Орлова, и зять одного из самых знаменитых героев 1812 г. Н.Н. Раевского; он прославился в походах 1812—1814 гг. Именно М.Ф. Орлов 30 марта 1814 г. принял капитуляцию Парижа. Причастны к «Ордену» были два видных декабриста — Н.И. Тургенев и М.Н. Новиков (племянник замечательного просветителя XVIII в. Н.И. Новикова), легендарный партизан 1812 г. Денис Давыдов, возможно, и А.Х. Бенкендорф (будущий шеф жандармов). «Орден» замышлял установить в России конституционную монархию, но не имел согласованного плана действий, поскольку не было и единомыслия между участниками «Ордена». Давыдов писал об Орлове: «Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России».

«Священная артель» офицеров Генерального штаба тоже имела двух лидеров. Ими были братья Муравьевы: Николай Николаевич (впоследствии известный полководец, герой Крымской войны и наместник Кавказа Муравьев-Карский) и Александр Николаевич — позднее основатель Союза спасения, а после амнистии генерал, нижегородский военный губернатор. К ним примкнули третий из братьев Муравьевых Михаил (будущий «Вешатель»), герой походов 1812—1814 гг. И.Г. Бурцов, а также царскосельские лицеисты, самые близкие друзья А.С. Пушкина — И.И. Пущин и А.А. Дельвиг. «Священная артель» устроила свой быт по-республикански: одно из помещений офицерских казарм, где жили члены «артели», украшал «вечевой колокол», по звону которого все «артельщики» собирались на беседы. Они не только осуждали крепостное право, но и грезили о республике.

Семеновская артель (офицеров лейб-гвардии Семеновского полка) была самой крупной из преддекабристских организаций. Ее составляли 15—20 человек, среди которых выделялись такие вожаки зрелого декабризма, как С.П. Трубецкой, С.И. Муравьев-Апостол, И.Д. Якушкин. Артель просуществовала всего несколько месяцев 1815 г. Александр I узнал о ней и повелел «прекратить сборища офицеров».

Четвертой преддекабристской организацией историки считают кружок «первого декабриста» В.Ф. Раевского[1] в Каменец-Подольске на Украине. Он возник около 1816 г. До нас дошли имена четырех его членов (три офицера и губернский доктор) да несколько политических стихотворений Раевского, которые являются идейным памятником кружка. Вот для примера две строки из них:

Чем выше здание — тем ближе к разрушенью...
Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью!

Все преддекабристские объединения существовали легально или полулегально, а 9 февраля 1816 г. группа членов «Священной» и Семеновской артелей во главе с А.Н. Муравьевым учредила тайную, первую собственно декабристскую организацию — Союз спасения. Из новых лиц сюда вошли будущие лидеры Северного и Южного обществ Никита Муравьев и Павел Пестель, поэт и воин Федор Глинка, художник-медальер, почетный член Академии художеств граф Ф.П. Толстой (двоюродный дядя Льва Толстого), а также М.С. Лунин — один из самых выдающихся и, может быть, самый яркий из декабристов, «друг Марса, Вакха и Венеры» (как называл его Пушкин), человек, о молодечестве которого ходили легенды; в 1813 г. он не оробел в защиту чести товарищей вызвать на дуэль брата царя, Константина Павловича, а в 1816 г. первым из декабристов вызвался на цареубийство. Всего в Союзе спасения было 30 членов. Каждый из них имел в активе боевые кампании 1813—1814 гг., десятки сражений, ордена, медали, чины (23-летний Александр Муравьев был уже полковником!), а их средний возраст составлял 21 год.

Союз спасения принял устав, его главным автором был Пестель. Устав дал Союзу новое название, которое, однако, не прижилось в литературе («Общество истинных и верных сынов Отечества»), и определил его цели — уничтожить крепостное право и заменить самодержавие конституционной монархией. Встал вопрос: как добиться этого? Большинство Союза, следуя принципу «Мнения правят миром», предлагало готовить в стране такое общественное мнение, которое со временем принудило бы царя к обнародованию конституции. Меньшая часть искала более радикальные меры. Лунин предложил свой план цареубийства, он заключался в том, чтобы отряд смельчаков в масках встретил карету царя на Царскосельской дороге и покончил бы с ним ударами кинжалов. Когда Пестель в ответ на это стал доказывать,

[1] *Владимир Федосеевич Раевский* вошел в историю как «первый декабрист», потому что именно он первым из декабристов еще в феврале 1822 г. был арестован и судим за революционную агитацию среди солдат. Раевский знал тогда почти все о декабристах, но никого не выдал, хотя подвергся суровой каре: около четырех лет, пока его товарищи на воле готовили восстание, он томился в тюрьме, а после разгрома восстания был сослан в Сибирь.

что заговорщикам нужно еще устроить тайное общество, согласовать свои мнения, выработать конституцию и т.д., Лунин досадливо отмахнулся от его идеи «наперед енциклопедию написать, а уж потом к революции приступить».

Разногласия внутри Союза спасения усиливались. В сентябре 1817 г., когда гвардия сопровождала царскую семью в Москву, члены Союза (в основном гвардейские офицеры) провели совещание, известное как Московский заговор. Здесь предложил себя в цареубийцы штабс-капитан И.Д. Якушкин.

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал —

так писал об этом Пушкин в 10-й главе «Евгения Онегина». Собственно, Якушкин предлагал пустить в ход не кинжал, а пистолет, и не один, а целых два: при выходе Александра I из Успенского собора в Кремле после церковной службы убить из одного пистолета царя, а из другого — себя, имитируя таким образом дворянскую дуэль со смертельным исходом для обеих сторон. Мысль Якушкина поддержали лишь единицы, почти все «ужасались об оной и говорить»[1]. В итоге Союз запретил покушение на цареубийство из-за «скудности средств к достижению цели», как объяснил потом на следствии С.И. Муравьев-Апостол (убить царя считалось возможным, но у заговорщиков не было сил для последующего переворота).

Разногласия завели Союз спасения в тупик. Активные члены Союза решили ликвидировать свою организацию и создать новую, более сплоченную, широкую и действенную. А пока разрабатывался устав нового союза, декабристы договорились, чтобы не терять времени и людей, полезных для заговора, создать переходное общество, которое объединило бы таких людей и подготовило их к вступлению в новый союз. Так в октябре 1817 г. в Москве было создано «Военное общество» — второе тайное общество декабристов.

«Военное общество» сыграло роль как бы контрольного фильтра. Сквозь него были пропущены основные кадры Союза спасения и новые люди, которых еще следовало проверить. В результате одна (бóльшая) часть членов «Военного общества» выдержала революционный искус и была принята в Союз благоденствия, другая же часть отошла от движения. В числе отошедших были не только случайные люди, как, например, братья В.А. и Л.А. Перовские — позднее крупные сановники с уникальной родословной: внуки некоронованного царя, фаворита и супруга императрицы Елизаветы Петровны А.Г. Разумовского и деды цареубийцы Софьи Перовской. Отошел от декабризма и

[1] ВД. Т. 1. С. 52 (показание С.П. Трубецкого).

Павел Александрович Катенин — драматург, поэт (с 1833 г. — академик), друг А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, автор популярного в XIX в. революционного гимна:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.

В январе 1818 г. «Военное общество» было распущено и вместо него начал действовать Союз благоденствия — третье тайное общество декабристов. Этот союз имел уже более 200 членов. Среди них вновь появились М.Ф. Орлов и Н.И. Тургенев, которые не участвовали в Союзе спасения, а также впервые примкнувшие к декабризму полковник П.Х. Граббе (ранее — любимый адъютант М.Б. Барклая де Толли, а позднее — генерал-адъютант, атаман Войска Донского, граф) и знаменитый впоследствии философ П.Я. Чаадаев — адресат пушкинского послания «Пока свободою горим...»

Союз благоденствия имел устав под названием «Зеленая книга» (по цвету переплета: зеленый цвет — цвет надежды). Его составила комиссия в составе Никиты и Михаила Муравьевых, С.П. Трубецкого и П.И. Колошина. Она взяла за основу устав прусского тайного патриотического общества 1808—1810 гг. «Тугендбунд» («Союз добродетели»), изъяв из него требования о защите существующего строя. Не зря декабрист В.Л. Давыдов (единоутробный брат генерала Н.Н. Раевского и двоюродный — А.П. Ермолова и Дениса Давыдова) каламбурил, что он был «членом не Тугендбунда, а просто бунта».

По уставу Союз благоденствия делился на управы. Главной была Коренная управа в Петербурге. Ей подчинялись деловые и побочные управы как в столице, так и на местах — в Москве, Нижнем Новгороде, Полтаве, Кишиневе, Тульчине (побочные управы готовили кандидатов к вступлению в Союз). Всех управ — и деловых, и побочных — было 15. Тульчинскую деловую управу возглавил Пестель. Кроме того, Союз благоденствия руководил «вольными обществами», т. е. легальными литературными кружками, такими, как «Вольное общество любителей российской словесности» в Петербурге и «Общество громкого смеха» в Москве. В состав литературного общества «Зеленая лампа», представлявшего собой побочную управу Союза благоденствия, входил А.С. Пушкин.

Величайший поэт России, которого, по выражению Ф.Ф. Вигеля, «сама судьба всегда совала в среду недовольных», был близок со многими декабристами: он дружил с К.Ф. Рылеевым, М.Ф. Орловым, М.С. Луниным, В.К. Кюхельбекером, В.Ф. Раевским, В.Л. Давыдовым, особенно же с И.И. Пущиным, был знаком с П.И. Пестелем, Никитой Муравьевым, С.П. Трубецким, Н.И. Тургеневым, С.И. Муравьевым-Апостолом, И.Д. Якушкиным,

С.Г. Волконским и др. В январе 1825 г. при свидании с Пушкиным в с. Михайловском Пущин сказал ему о существовании тайного общества и, возможно, о планах его. Декабристы считали Пушкина своим единомышленником, но не принимали его в организацию главным образом потому, что хотели сохранить его для России как поэта, уберечь от расправы.

Союз благоденствия был и многолюднее Союза спасения, и демократичнее: в него могли быть приняты не только дворяне, но и все вообще свободные мужчины с 18 лет. Что касается женщин, то устав рекомендовал использовать их для *распространения* идей Союза благоденствия.

В дошедшем до нас тексте «Зеленой книги» ставились задачи, известные всем членам Союза, а именно создание передового общественного мнения, которое подготовило бы примерно к 1840 г. «общее развержение умов», т. е. (как можно было понять, хотя прямо об этом не говорилось) революцию. Для этого «Зеленая книга» предписывала каждому из членов Союза выбрать одну из четырех «отраслей» деятельности: человеколюбие, образование, правосудие, общественное хозяйство. Тон «Зеленой книги» был настолько благонамерен, что один из ее авторов Михаил Муравьев предлагал даже представить ее на утверждение Александру I. «Зеленая книга» и дала основание М.Н. Покровскому квалифицировать Союз благоденствия как «пеструю кучу болтающих интеллигентов» вроде Репетилова из «Горя от ума», который хвастается перед Чацким:

> У нас есть общество, и тайные собранья
> По четвергам. Секретнейший союз...
> Шумим, братец, шумим.

Этот «секретнейший союз» репетиловых и есть, по мнению М.Н. Покровского, «несомненная карикатура» на Союз благоденствия.

В действительности благонамеренность «Зеленой книги» имела конспиративное назначение. Тот ее текст, который дошел до нас, — это лишь ее *первая часть*. По словам Пестеля, ее содержание «было не что иное, как пустой отвод от настоящей цели на случай открытия общества». Истинная же, «сокровенная» цель (как выразился на следствии А.Н. Муравьев) формулировалась во второй части «Зеленой книги», которая была известна только членам Коренной управы[1]. Своей «сокровенной» целью Союз благоденствия считал уничтожение самодержавия и крепостничества, т. е. унаследовал цель Союза спасения.

Но с 1820 г. Союз благоденствия пошел дальше: на историческом заседании его Коренной управы в петербургской

[1] См.: *Чернов С.Н.* Из работ над «Зеленою книгой» // *Чернов С.Н.* У истоков русского освободительного движения. Избр. статьи. Саратов, 1960.

квартире Федора Глинки (возле Мариинского оперного театра) в январе 1820 г. Пестель сделал доклад о формах государственного устройства, изложив «все выгоды и все невыгоды как монархического, так и республиканского правлений», после чего все участники заседания единогласно высказались за республику. Так впервые была поставлена задача преобразования России в республику. Определив новую цель, Союз благоденствия изыскал и средства ее достижения. Если Союз спасения не пришел к единому мнению о том, *как* добиться поставленной цели, то новый союз это сделал, избрав на своем съезде в Москве (начало января 1821 г.) тактику *военной революции,* которой декабристы и руководствовались отныне до конца, на всех этапах движения.

Смысл тактики военной революции заключался в следующем: государственный переворот осуществляет армия без участия народа, хотя и для его блага. Ряд причин объясняет нам, почему декабристы избрали именно эту тактику. Во-первых, все они были дворяне, оторванные от простых тружеников по своему происхождению, и боялись стихии народного гнева. «С восстанием крестьян, — считал С.П. Трубецкой, — неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может». Такой взгляд был вполне оправдан, ибо народ в России тогда был политически темен и подвержен разрушительному вирусу пугачевщины. Подобную точку зрения разделяли не только умеренные декабристы вроде В.И. Штейнгеля, но и радикалы, как Александр Бестужев.

Далее, декабристами были, как правило, представители военной знати, офицеры и генералы, что и побуждало их ориентироваться на армию. Учитывали они и опыт дворцовых переворотов в России XVIII в. силами гвардии, особенно переворота 11 марта 1801 г., когда Павел I пал жертвой офицерского заговора. Наконец, и опыт военных революций на Западе 1820—1821 гг. (в Испании, Португалии, Неаполе, Пьемонте) убеждал декабристов в том, что именно тактика военной революции сулит им успех.

1820 год можно считать переломным в развитии декабризма. До этого года декабристы, хотя и одобряли *результаты* Французской революции XVIII в., считали неприемлемым ее главное *средство* — восстание народа. Поэтому они и сомневались, принимать ли революцию в принципе. Только открытие тактики военной революции, как подметил В.В. Пугачев, окончательно сделало их революционерами.

Впрочем, ряд членов Союза благоденствия выступили против радикализма в программе и тактике. Именно с целью урегулировать разногласия и был созван в Москве январский 1821 г. съезд уполномоченных от управ Союза. Собрались 11 человек — почти все умеренные: Н.И. Тургенев, Ф.Н. Глинка, П.Х. Граббе, И.Г. Бурцов, М.Н. Муравьев, братья И.А. и М.А. Фонвизины и

др. Радикалами были только генерал М.Ф. Орлов и его адъютант К.А. Охотников, который, естественно, разделял взгляды своего генерала. Орлов выступил на съезде сенсационно — за немедленный военный переворот, взяв на себя почин осуществить это силами своей 16-тысячной гвардейской дивизии. Съезд отверг его предложения как «неистовые». Тогда Орлов, «хлопнув дверью», ушел со съезда и вообще из Союза.

Вторую сенсацию вызвала на съезде информация Ф.Н. Глинки о том, что агенты царизма напали на след заговорщиков. Чтобы сбить их со следа, съезд решил фиктивно распустить Союз, под этим предлогом удалить из него ненадежных членов и создать новую, еще более конспиративную организацию. Умеренные (среди них — М.Н. Муравьев, будущий «Вешатель») одобрили роспуск Союза и отошли от движения. Радикалы же начали строить два новых общества.

Тайные общества 1821—1825 гг.

С 1821 г. движение декабристов вступило в новую фазу: на севере и юге страны параллельно создаются вполне зрелые революционные организации, которые разрабатывают программы всеобъемлющего преобразования России и конкретные планы их осуществления.

Раньше, уже в феврале 1821 г., сложилось Южное общество. Оно включало в себя три управы в небольших украинских городках. Центральной была Тульчинская управа, поскольку в Тульчине размещался штаб 2-й армии, дислоцированной на Украине. Возглавлял управу П.И. Пестель — любимый адъютант главнокомандующего армией фельдмаршала П.Х. Витгенштейна. Во главе Васильковской управы стояли С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин, а Каменскую управу возглавляли В.Л. Давыдов и генерал князь С.Г. Волконский, внук и шурин двух фельдмаршалов, герой 1812 г., портрет которого тогда уже был написан для Военной галереи царского Зимнего дворца. Всеми управами руководила Директория из трех лиц. Ее составили П.И. Пестель (избранный председателем общества), генерал-интендант 2-й армии А.П. Юшневский и петербуржец Никита Муравьев — последний для связи с Северным обществом, которое создавалось в то же время. После отъезда Муравьева в Петербург третьим членом Директории был избран С.И. Муравьев-Апостол.

Фактическим вождем Южного общества стал Павел Иванович Пестель — сын сибирского генерал-губернатора, полковник, командир Вятского пехотного полка, герой Бородина и Лейпцига. «Его крупная фигура главенствует над заговором», — писал о нем А.И. Герцен. «Сущий Робеспьер», — назвал его следователь по делу декабристов Д.А. Боровков. Все, кто знал Пестеля, восхищались его умом и силой воли, хотя и опасались его

колоссального честолюбия, находя в нем большое сходство (даже внешнее) с Наполеоном. Фельдмаршал Витгенштейн говорил о нем: «Он на все годится. Дай ему командовать армией или сделай его каким угодно министром, он везде будет на своем месте». Любопытную характеристику Пестеля оставил известный реакционер Н.И. Греч: «Особенно отличался он высоким лбом и длинными передними зубами. Умен и зубаст!» Именно Пестель составил программу Южного общества — знаменитую «Русскую Правду»[1], самый выдающийся памятник идеологии декабризма.

«Русская Правда» ставила перед декабристами две главные цели: во-первых, свергнуть самодержавие и установить республику в России, а во-вторых, отменить крепостное право. Для того чтобы сразу после революции не допустить восстановления старого режима, Пестель предлагал на время, пока не окрепнет новый порядок, вручить власть Временному верховному правлению с диктаторскими полномочиями, а затем Временное правление должно было передать всю полноту власти выборным органам. Высшим законодательным органом предполагалось однопалатное Народное вече, исполнительным — Державная дума, блюстительным — Верховный собор. Столицей Российской республики должен был стать Нижний Новгород — с учетом его географических выгод и в знак уважения к «древности нижегородской».

Сословные привилегии по «Русской Правде» уничтожались и все сословия сливались «в единое сословие — гражданское». Избирательными правами наделялись все россияне мужского пола с 20 лет без имущественного и образовательного ценза. Им гарантировалась свобода слова, занятий, вероисповедания. Вместо сословных судов (отдельно для дворян, горожан, крестьян, духовенства) вводился общий и равный для всех граждан суд присяжных. Крепостное право отменялось безусловно. «Дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми», — гласила «Русская Правда». Крестьяне освобождались с землей без выкупа и получали по 10—12 десятин на семью, для чего Пестель наполовину урезал (хотя и не уничтожал) помещичье землевладение.

Автор «Русской Правды» считал, что «земля есть собственность всего рода человеческого», а не частных лиц, но, с другой стороны, «труды и работы суть источники собственности» и, стало быть, тот, кто обрабатывает землю, вправе владеть ею. Здесь налицо два взаимоисключающих принципа. Пестель, однако, не стал исключать из «Русской Правды» один из них, а соединил оба. Вот как он это сделал. Вся земля в каждой волости делилась на два фонда — общественный и частный. Земли общественного фонда предназначались для производства «необходимого продукта»

[1] Название дано в честь законодательного свода Древней Руси. Полный текст «Русской Правды» Пестеля впервые опубликован лишь в 1958 г.: ВД. Т. 7.

и не могли ни продаваться, ни закладываться. Из них каждый гражданин будущей республики получал бы надел. Этот фонд создавался за счет отчуждения половины всех помещичьих земель в стране. В крупных помещичьих имениях (больше 10 тыс. десятин) половина земли конфисковывалась безвозмездно, а в имениях до 10 тыс. десятин отбиралась за компенсацию деньгами или земельными участками в других местах. Что касается земель частного фонда (казенных и оставшихся частновладельческих), то они предназначались для производства «изобилия» и подлежали свободной купле-продаже.

Проект Пестеля был более радикален, чем реформа 1861 г., осуществленная почти полвека спустя на более высокой ступени экономического и политического развития России, в обстановке революционной ситуации. Вот конкретный пример. К 1861 г. крестьяне владели $^1/_3$ частью всех обрабатываемых земель, причем в результате реформы $^1/_5$ часть крестьянских наделов помещики отрезали себе. Пестель же предполагал отдать крестьянам $^1/_2$ часть пригодной для обработки земли.

Прогрессивным для своего времени было и решение в «Русской Правде» национального вопроса. Хотя Пестель не признавал за народами России права на отделение, он уравнивал их в правах с русским народом как граждан единой (кстати, не федеративной, а унитарной) республики.

В целом «Русская Правда» Пестеля открывала перед Россией гораздо более широкие, чем в проектах М.М. Сперанского, возможности для перехода к началам демократии и правового государства. Но, даже оставшись нереализованной, она сохраняет историческое значение как первый в России проект республиканской конституции. Сам Пестель хорошо сознавал это. Будучи уже под арестом, он в минутном разговоре с кн. Волконским, еще не арестованным, сказал: «Не беспокойтесь, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали. Спасайте только "Русскую Правду"!» Однако спасти ее не удалось. Братья Н.С. и П.С. Бобрищевы-Пушкины и Н.Ф. Заикин накануне восстания зарыли ее в с. Кирнасовка, но первый из них на следствии проговорился, и 6 февраля 1826 г. «Русская Правда» была вырыта и причислена к материалам следствия.

В качестве программы Южного общества «Русская Правда» была принята в январе 1823 г. После этого Пестель и его соратники занялись разработкой тактических планов, в первую очередь координацией действий Южного и Северного обществ с целью их объединения. Для этого в течение 1823 г. Юг послал на Север пять уполномоченных, которые, однако, не добились успеха. Тогда в марте 1824 г. в Петербург отправился сам Пестель.

Что же представляло собой Северное общество декабристов к приезду Пестеля? Оно оформилось лишь осенью 1822 г., когда гвардия, в которой служило большинство декабристов-северян,

вернулась в Петербург с полуторагодичных учений. Поскольку все члены Северного общества жили в столице, их общество не делилось на управы. Руководила им Дума (аналог южной Директории) из трех лиц — Н.М. Муравьева, М.С. Лунина и Н.И. Тургенева[1].

«Правителем» (председателем) Северного общества был избран активный участник всех декабристских организаций, сын воспитателя Александра I, капитан Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев. В 1818 г. он унаследовал от деда миллионное состояние (поместья в 14 уездах, расположенных в одиннадцати губерниях), а в 1823 г. женился на богатейшей графине А.Г. Чернышевой, внучке фельдмаршала. Богатый и знатный Муравьев был превосходно образован, владел семью иностранными языками. Перед ним открывалась блестящая военная или научная карьера, но Муравьев отказался от нее ради участия в заговоре с целью преобразовать Россию.

Именно Н.М. Муравьев составил программу Северного общества, которая вошла в историю под названием «Конституция Никиты Муравьева», — второй по значению, после «Русской Правды» Пестеля, документ декабризма. В «Конституции» Муравьева ставились те же вопросы, что и в «Русской Правде», но решались они менее радикально. Вместо самодержавия проектировалась не республика, а конституционная монархия, причем в федеративной форме, из 15 «держав» и областей. Столицей российского государства Муравьев, как и Пестель, объявлял Нижний Новгород. Высшим законодательным органом должно было стать Народное вече (как в «Русской Правде», но — из двух палат: Верховной думы и Палаты народных представителей), а высшая исполнительная власть вручалась царю. Впрочем, если бы царь не согласился с конституцией, Муравьев предполагал ввести в России парламент, а главой исполнительной власти сделать президента, т. е. готов был перейти с монархических позиций на республиканские.

Сословия по «Конституции» Муравьева уничтожались, и все россияне становились равными перед законом, но, в отличие от «Русской Правды», получали избирательные права не с 20, а с 21 года и только с имущественным цензом, хотя и невысоким (500 рублей). Зато, как в «Русской Правде», гарантировались демократические свободы и национальное равенство.

Самой сильной стороной «Конституции» Муравьева, как и «Русской Правды» Пестеля, было безоговорочное уничтожение крепостного права. «Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным», — гласила «Конституция». Однако, в отличие от Пестеля, Муравьев освобождал крестьян фактически без земли:

[1] Позднее уехавшего в Польшу Лунина заменил кн. С.П. Трубецкой, а заболевшего Тургенева — кн. Е.П. Оболенский.

в 1-м и 2-м вариантах «Конституции» было сказано прямо, что «земли помещиков остаются за ними», а 3-й вариант даровал крестьянам нищенские наделы по две десятины на семью.

Тем не менее «Конституция» Муравьева, поскольку она ограничивала самодержавие и помещичье землевладение, отменяла крепостное право и сословные привилегии, тоже (хотя и в меньшей степени, чем «Русская Правда») ускорила бы темпы национального развития России. В отличие от «Русской Правды», «Конституция» Муравьева не была принята в качестве официальной программы общества. Проект Муравьева выражал взгляды лишь одной (правда, большей) части северян, тогда как другая часть критиковала его за умеренность. Разногласия были столь острыми, что внутри Северного общества обособились два крыла: умеренное, конституционно-монархическое во главе с Муравьевым, Н.И. Тургеневым и С.П. Трубецким и радикальное, республиканское, которое возглавил Кондратий Федорович Рылеев — этот «Шиллер заговора», по выражению Герцена, зачинатель и первый классик русской революционной поэзии. Активными деятелями республиканского крыла (Н.И. Греч называл его «омутом Рылеева») были И.И. Пущин, Е.П. Оболенский П.Г. Каховский, братья А.А. и Н.А. Бестужевы. В противовес умеренным, радикалы выступали за республику (хотя не столь последовательно, как южане), за освобождение крестьян с землей и за бесцензовую конституцию.

В тот момент, когда в Северном обществе шла идейная борьба вокруг «Конституции» Муравьева, приехал в Петербург Пестель. Цель его заключалась в том, чтобы с помощью республиканцев-северян объединить Северное и Южное общества на платформе «Русской Правды». Это ему не удалось. Во-первых, умеренные оспорили аграрный проект Пестеля, слабость которого (дележ земель) сразу определил своим наметанным глазом Николай Тургенев — превосходный экономист, автор капитального труда «Опыт теории налогов» и тогда едва ли не самый образованный человек в России, о котором Александр I говорил, что только он, Тургенев, мог бы заменить царю Сперанского.

Во-вторых, умеренные северяне сочли чрезмерно радикальной идею диктатуры Временного верховного правления. Пестеля заподозрили в стремлении стать новым Наполеоном: «якобинец Пестель метит в русские Бонапарты». Отметим здесь, что, по свидетельству протоиерея П.Н. Мысловского, который исповедовал декабристов перед казнью, Пестель «увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона». «Сие-то самое сходство, — глубокомысленно заключал протоиерей, — было причиною всех его сумасбродств и самых преступлений».

Результатом переговоров Пестеля с руководителями Северного общества в марте 1824 г. стало компромиссное решение: отложить соединение двух обществ до 1826 г., а к тому времени выработать объединительную платформу с учетом как «Русской Правды», так

и «Конституции» Муравьева. Вместе с тем был подтвержден согласованный ранее принцип общего членства, по которому член одного общества при переезде в месторасположение другого становился и его членом, а главное, стороны договорились совместно работать над планами восстания. Для более оперативного взаимодействия между Севером и Югом Пестель организовал в Петербурге особую, четвертую управу Южного общества во главе с М.И. Муравьевым-Апостолом.

Таким образом, петербургские совещания 1824 г., хотя и не привели к объединению обществ, закрепили в принципе идейное и организационное единство движения декабристов. Долгое время (от М.В. Довнар-Запольского до К.Д. Аксенова) у нас бытовала версия о непримиримых противоречиях между Северным и Южным обществами. М.Н. Покровский допускал даже, что, если бы в 1825 г. декабристы победили, сразу началась бы «усобица между двумя флангами победившей революции», и один из этих флангов, а именно «правый», т. е. северный, оказался бы «ближе к низвергнутому царизму, нежели к братьям-соперникам по заговору». Теперь, однако, почти все специалисты отвергают такой взгляд, полагая, что Северное и Южное общества декабристов шли к сближению друг с другом.

С весны 1824 г. декабристы и на Севере, и на Юге развернули подготовку к совместному выступлению. Активнее действовало Южное общество. Стремясь расширить свои силы и связи, оно вступило в переговоры с польским тайным «Патриотическим обществом» и рассчитывало на его содействие, пыталось даже установить контакт с французскими карбонариями через посредство эмигранта из Франции на русской службе, полковника графа И.И. Полиньяка, принятого в 1824 г. в Южное общество. Главное же — состав Южного общества значительно пополнился за счет Общества соединенных славян.

Сложившееся в начале 1823 г. Общество соединенных славян было самым демократичным из всех декабристских организаций, в него не вошла военная знать. Его состав — это почти исключительно младшие, причем армейские, а не гвардейские офицеры, среди которых выделялись авторитетом и активностью основатели общества подпоручики братья А.И. и П.И. Борисовы, а также подпоручик И.И. Горбачевский (автор известных «Записок»), поручики А.Д. Кузьмин, И.И. Сухинов, М.А. Щепилло. Главной целью общества было создание республиканской федерации славянских стран, т. е. России, Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Молдавии, Валахии, Далмации, Кроации, а также Венгрии и Трансильвании, которые тоже считались в программе общества славянскими. В каждой из стран внутри федерации предполагалось уничтожить крепостничество и учредить республику. Первым же шагом к достижению этой цели считалась ликвидация самодержавия и крепостного права в самой России.

Взгляды «соединенных славян» были радикальнее взглядов Южного и тем более Северного общества. «Славяне» ориентировались не столько на офицеров, сколько на солдат и поговаривали об участии в восстании «всех сословий». Радикализм «славян» даже шокировал членов Южного общества, которые мрачно шутили: «Собак славян надо держать на цепи». Может быть, поэтому Южное общество убедило «славян» объединиться с ним, чтобы под видом объединения фактически поглотить их. «Славяне» не отказались от своей идеи республиканской федерации, но согласились прежде побороться за республику в России. В ноябре 1825 г. Общество соединенных славян вошло в состав Южного общества на правах его пятой, Славянской управы.

Все лето и осень 1825 г. южане (как, впрочем, и северяне) энергично готовили восстание. С этой целью они вели агитацию среди солдат — продуманно, осторожно и последовательно. Сначала офицеры-декабристы привлекали к себе солдат гуманным отношением; потом заводили беседы о тяготах солдатчины, используя при этом (не только на Севере, но и на Юге) агитационные песни Рылеева, как, например, песню «Ах, тошно мне...» с такими строками:

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Далее декабристы обещали помочь солдатам — отменить телесные наказания, облегчить условия и сократить срок службы; наконец, прямо или полунамеками возбуждали в солдатах готовность поддержать своих офицеров, когда пробьет час «божьего суда».

«Божий суд» означал вооруженное восстание против царизма. С 1820 г., когда декабристы увидели, что Александр I не желает реформ, а тем временем народы Европы восстают против монархов Священного союза, курс декабристов на восстание был неизменным. За 1823—1825 гг. они подготовили несколько планов восстания (Бобруйский и два Белоцерковских). Все они исходили из Васильковской управы Южного общества. Последний из них — так называемый 2-й Белоцерковский план — летом 1825 г. составили С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин. Этот план был не только одобрен Директорией Южного общества, но и согласован с уполномоченным от Северного общества С.П. Трубецким. Вот его суть: летом 1826 г., во время царского смотра войск 3-го корпуса 2-й армии под г. Белая Церковь, члены Южного общества — офицеры, переодетые в солдатские шинели, — пойдут в караул при Александре I, убьют его, поднимут корпус и поведут его на Петербург, а Северное общество восстанет в столице и назначит Временное правление.

На Юге декабристы тогда рассчитывали поднять до 70 тыс. человек, и такой расчет казался реальным: ведь в заговоре участвовали генерал-интендант 2-й армии А.П. Юшневский, бригадный генерал кн. С.Г. Волконский и семь полковников с преданными, как надеялись декабристы, полками. Сам Пестель жил в главной квартире армии как любимец главнокомандующего фельдмаршала П.Х. Витгенштейна, причем сумел даже фельдмаршальского сына (флигель-адъютанта царской свиты) вовлечь в тайное общество. Но все планы декабристов смешала неожиданная смерть Александра I, совпавшая с тревожными слухами о раскрытии их заговора.

Восстание

Кто-то из современников (полагали: сам Пушкин) так написал об Александре I, узнав, что царь, заглянувший после Петербурга и Москвы, Парижа и Лондона, Берлина и Вены в захолустный российский городишко Таганрог, там 19 ноября 1825 г. скоропостижно умер:

Всю жизнь провел в дороге,
А умер в Таганроге...

Смерть его привела к династическому кризису, междуцарствию, которое продолжалось 25 дней, до 14 декабря.

Поскольку Александр I умер бездетным, царем должен был стать (по закону о престолонаследии 1797 г.) его следующий брат Константин. Но тот давно уже дал себе зарок «не лезть на трон» («задушат, как отца задушили»). В 1820 г. он вступил в морганатический брак с польской графиней Ж. Грудзинской, тем самым отрезав себе путь к трону. Александр, убедившись, что его брат предпочел нецарственную жену царскому скипетру, 16 августа 1823 г. особым манифестом лишил Константина прав на престол и объявил наследником следующего из братьев — Николая[1]. Этот манифест Александр I упрятал в Успенский собор, где он и хранился до самой смерти царя в глубокой тайне. Отсюда и загорелся весь сыр-бор междуцарствия.

Как только Петербург узнал о смерти Александра I, власти и войска начали присягать Константину. 27 ноября присягнул ему и Николай. Константин, со своей стороны, присягнул Николаю. Началась гонка фельдъегерей из Петербурга в Варшаву, где жил Константин как наместник Польши, и обратно. Николай просил Константина приехать в Петербург и сесть на трон. Константин отказывался. «Корону подносят, как чай, а никто не

[1] Подлинник манифеста см.: Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ), ф. 679, оп. 1, д. 68.

хочет», — острили в Петербурге. В конце концов Николай решил стать царем и назначил на 14 декабря переприсягу.

Таков был тогда «текущий момент». Он благоприятствовал восстанию, но декабристы еще не были готовы выступать. Откладывать же выступление было нельзя: декабристам стало известно, что правительство знает о существовании и даже составе тайных обществ и готовится к расправе с ними. Доносы на декабристов поступали к Александру I с мая 1821 г. Самый подробный из них был получен в Таганроге 1 декабря 1825 г., уже после смерти царя. Доносчик — член Южного общества, капитан А.И. Майборода — назвал 46 имен самых активных заговорщиков, включая весь состав южной Директории и северной Думы[1].

Декабристы были хорошо информированы о том, что происходило при дворе и в правительстве: один из них (С.Г. Краснокутский) был обер-прокурором Сената, другой (А.И. Якубович) дружил с петербургским генерал-губернатором М.А. Милорадовичем, а Г.С. Батеньков пользовался доверием самого авторитетного и осведомленного из членов правительства М.М. Сперанского. Узнав, что на 14 декабря назначена переприсяга, члены Северного общества решили: медлить больше нельзя. 10 декабря они «по голосам» избрали *диктатором* восстания полковника лейб-гвардии Преображенского полка кн. С.П. Трубецкого, а вечером 13-го собрались в квартире К.Ф. Рылеева на последнее совещание. Рылеев сказал: «Ножны сломаны, и сабель не спрятать». Все согласились с ним. Решено было выступать наутро же и непременно.

Каков же был план восстания 14 декабря 1825 г.? С какими лозунгами шли декабристы на Сенатскую площадь?

Накануне восстания члены Северного общества составили новый программный документ — «Манифест к русскому народу». Автором его был Трубецкой. «Манифест» провозглашал целью декабристов свержение самодержавия и ликвидацию крепостного права. Вслед за победой восстания предполагалось создать Временное правительство из 2—3 лиц, в состав которого были намечены М.М. Сперанский и сенатор Н.С. Мордвинов[2], а из членов тайного общества — секретарь Сперанского Г.С. Батеньков. Временное правительство должно было подготовить к весне 1826 г. созыв Учредительного собрания («Великого собора»), а собор решил бы два главных вопроса революции: чем заменить самодержавие (республикой или конституционной монархией) и как освобождать крестьян — с землей или без земли. Таким образом, «Манифест» оставлял главные вопросы *открытыми*, что

[1] Майборода в награду за этот донос получил должностное повышение, дослужился до полковника, но затем покончил с собой.

[2] Оба они по иронии судьбы войдут в состав царского суда над декабристами.

говорит о его компромиссном характере. Умеренные и радикалы к моменту восстания не успели согласовать свои позиции и отложили споры до Великого собора, положившись на его волю.

Тактический план восстания был таков. Главные силы повстанцев (лейб-гвардии Московский, Финляндский и Гренадерский полки) во главе с диктатором Трубецким должны были собраться на Сенатской площади у здания Сената, не допустить сенаторов до переприсяги и принудить их (если потребуется, силой оружия) издать «Манифест к русскому народу». Тем временем другие полки (Измайловский и гвардейский Морской экипаж) под командованием капитана А.И. Якубовича захватили бы Зимний дворец и арестовали царскую семью. Ее участь решил бы Великий собор в зависимости от новой формы правления: республика (в этом случае царская семья была бы изгнана из России) или конституционная монархия (в этом случае царю вручалась бы исполнительная власть). План восстания строился с расчетом на поддержку южан. 13 декабря Трубецкой отправил в Директорию Южного общества гонца с вестью о готовящемся восстании.

Всего в Петербурге декабристы рассчитывали поднять шесть гвардейских полков численностью в 6 тыс. человек. Им казалось, что этого достаточно для победы. Иные из них надеялись даже избежать крови, полагая, как говорил Рылеев, что «солдаты (правительства. — *Н.Т.*) не будут стрелять в солдат, а, напротив, присоединятся к нам, и все кончится тихо». Народ же должен был лишь вкусить плоды восстания, содеянного в его пользу, и его сочувственное присутствие на Сенатской площади декабристы считали желательным. Г.С. Батеньков говорил, что «надобно и в барабан приударить, потому что это соберет народ». Словом, бездействующий народ как фон переворота — такова была идея военной революции декабристов.

Восстание началось 14 декабря около 11 часов утра. Декабристы вывели три гвардейских полка (Московский, Гренадерский и Морской экипаж) на Сенатскую площадь и здесь узнали, что Николай Павлович привел Сенат к присяге еще на рассвете, в 7 часов. Более того, А.И. Якубович, которому было поручено захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью, неожиданно отказался выполнять поручение, боясь возможного цареубийства. Так два главных звена в плане действий восставших отпали, надо было принимать на месте новые решения, а диктатор Трубецкой не явился на площадь. Он к тому времени понял, что восстание обречено на гибель, и решил не усугублять собственную вину, как и вину своих товарищей, решительными действиями. Впрочем, есть версия, исходящая от Николая I и проникшая в литературу (вплоть до советской)[1], о том, что он прятался рядом

[1] См.: *Нечкина М.В.* Декабристы. М., 1982. С. 111.

и выглядывал на площадь из-за угла, выжидая, не соберется ли побольше полков.

Декабристы собрали на Сенатской площади 3 тыс. солдат. Они построились в каре вокруг памятника Петру Великому. Едва ли многие из них сознавали политический смысл восстания. Весьма по-разному настроенные современники рассказывали о том, как восставшие солдаты кричали: «Ура, конституция!» — считая, что так зовут жену Константина Павловича[1]. Сами декабристы, не имея возможности и времени для откровенной политической агитации, вели солдат на площадь во имя «законного» государя Константина: «Присягнув одному государю, тут же присягать другому — грех!» Впрочем, Константин для солдат был желанным не сам по себе, а как «добрый» (предположительно) царь — антипод «злому» (это знала вся гвардия) Николаю.

Настроение в каре восставших на Сенатской площади было бодрым, приподнятым. Александр Бестужев на глазах у солдат точил саблю о гранит памятника Петру. Восставшие держались пассивно, но стойко. Еще когда на площади стоял один Московский полк, генерал Милорадович, герой 1812 г., сподвижник Суворова и Кутузова, попытался уговорить московцев разойтись и начал зажигательную речь (а он умел говорить с солдатами), но декабрист П.Г. Каховский застрелил его. Попытку Милорадовича повторил командующий гвардией А.Л. Воинов, но тоже неудачно, хотя этот парламентер отделался дешево: он был контужен поленом, брошенным из толпы зевак. Между тем к восставшим подходили подкрепления. Новые попытки склонить их к покорности предприняли третий из братьев Александра I Михаил Павлович и два митрополита — петербургский, отец Серафим, и киевский, отец Евгений. Каждому из них тоже пришлось спасаться бегством. «Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягал!» — кричали солдаты-декабристы вслед убегавшему о. Серафиму.

Во второй половине дня Николай Павлович бросил против восставших конную гвардию, но мятежное каре отбило несколько ее атак ружейным огнем. После этого у Николая оставалось только одно средство, «ultima ratio regis», как говорят об этом средстве на Западе («последний довод королей»), — артиллерия.

К 4 часам дня Николай стянул на площадь 12 тыс. штыков и сабель (вчетверо больше, чем у мятежников) и 36 орудий. Но положение его оставалось критическим. Дело в том, что вокруг площади собралась многолюдная (20—30 тыс.) толпа народа, поначалу только наблюдавшая за обеими сторонами, не понимая, что происходит (многие думали: учения), потом она стала

[1] См., например: Декабристы в рассказе помощника квартального // Вестник «Народной воли». Женева, 1886. № 5. С. 18. Этот источник не учтен даже в капитальных библиографиях по декабризму Н.М. Ченцова и Р.Г. Эймонтовой.

проявлять сочувствие к мятежникам. В правительственный лагерь и в его парламентеров летели из толпы камни и поленья, которых было великое множество у строившегося тогда здания Исаакиевского собора.

Голоса из толпы просили декабристов продержаться дотемна, обещали помочь. Декабрист А.Е. Розен вспоминал об этом: «Три тысячи солдат и вдесятеро больше народу были готовы на все по мановению начальника». Но начальника не было. Лишь около 4 часов дня декабристы выбрали — тут же, на площади, — нового диктатора, тоже князя, Е.П. Оболенского. Однако время уже было упущено: Николай пустил в ход «последний довод королей».

В начале 5-го часа он лично скомандовал: «Пальба орудиями по порядку! Правый фланг начинай! Первое!..» К его удивлению и страху, выстрела не последовало. «Почему не стреляешь?» — набросился на правофлангового канонира поручик И.М. Бакунин[1]. «Да ведь свои, ваше благородие!» — ответил солдат. Поручик выхватил у него фитиль и сам сделал первый выстрел. За ним последовал второй, третий... Ряды восставших дрогнули и побежали.

В 6 часов вечера все было кончено. Подобрали на площади трупы мятежников. По официальным данным, их было 80, но это явно уменьшенная цифра; сенатор П.Г. Дивов насчитал в тот день 200 погибших, чиновник министерства юстиции С.Н. Корсаков — 1271, из них «черни» — 903[2].

Поздно вечером у Рылеева в последний раз собрались участники восстания. Они договорились, как вести себя на допросах, и, простившись друг с другом, разошлись — кто домой, а кто и прямо в Зимний дворец: сдаваться. Первым объявился в царском дворце с повинной тот, кто первым же пришел на Сенатскую площадь, — Александр Бестужев. Тем временем Рылеев отправил на Юг гонца с известием о том, что восстание в Петербурге подавлено.

Не успел Петербург оправиться от шока, вызванного 14 декабря, как узнал о восстании декабристов на Юге. Оно оказалось более продолжительным (с 29 декабря 1825 по 3 января 1826 г.), но менее опасным для царизма. К началу восстания, еще 13 декабря, по доносу Майбороды был арестован Пестель, а вслед за ним — вся Тульчинская управа. Поэтому южане сумели поднять только Черниговский полк, который возглавил Сергей Иванович Муравьев-Апостол — второй по значению лидер Южного общества, человек редкого ума, мужества и обаяния, «Орфей среди декабристов» (как назвал его историк Г.И. Чулков), их общий любимец. Командиры других частей, на которые рассчиты-

[1] Это был двоюродный брат знаменитого впоследствии революционера, вождя всемирного анархизма М.А. Бакунина.

[2] См.: *Канн П.Я.* О числе жертв 14 декабря 1825 г. // История СССР. 1970. № 6.

вали декабристы (генерал С.Г. Волконский, полковники А.З. Муравьев, В.К. Тизенгаузен, И.С. Повало-Швейковский и др.), не поддержали черниговцев, а декабрист М.И. Пыхачев, командир конно-артиллерийской роты, предал товарищей и принял участие в подавлении восстания. 3 января в бою у д. Ковалевка примерно в 70 км на юго-запад от Киева Черниговский полк был разбит правительственными войсками. Тяжело раненный Сергей Муравьев-Апостол, его помощник М.П. Бестужев-Рюмин и брат Матвей были взяты в плен (третий из братьев Муравьевых-Апостолов Ипполит, поклявшийся «победить или умереть», застрелился на поле боя).

Расправа с декабристами вершилась жестоко. Всего, по подсчетам М.В. Нечкиной, были арестованы свыше 3 тыс. мятежников (500 офицеров и более 2,5 тыс. солдат). В.А. Федоров по документам насчитал 316 арестованных офицеров. Солдаты были биты шпицрутенами (иные — насмерть), а потом разосланы в штрафные роты. Для расправы с главными преступниками Николай I назначил Верховный уголовный суд из 72 высших чиновников. Руководить работой суда он поручил М.М. Сперанскому. Это был иезуитский ход царя. Ведь Сперанский оказался на подозрении: среди декабристов были люди, близкие к нему, в том числе его секретарь С.Г. Батеньков, который поплатился самым тяжким наказанием из всех неказненных декабристов (20 лет одиночного заточения). Царь рассудил, что Сперанский при всем желании быть мягким будет строгим, ибо малейшее снисхождение к подсудимым с его стороны было бы расценено как сочувствие декабристам и доказательство его связи с ними. Расчет царя полностью оправдался.

Суду был предан 121 декабрист: 61 член Северного общества и 60 — Южного. В числе их были звезды российского титулованного дворянства: 8 князей, 3 графа, 3 барона, 3 генерала, 23 полковника или подполковника и даже обер-прокурор Правительствующего Сената. Из крупных деятелей движения не был судим только генерал М.Ф. Орлов — ему вымолил у царя прощение брат его Алексей, царский любимец, будущий шеф жандармов (он улучил момент, когда оказался вместе с царем в церкви, рухнул ему в ноги и, призывая на помощь всех святых, уговорил его помиловать брата). Помилование М.Ф. Орлова всех удивило, а близких к царю лиц и шокировало. Великий князь Константин Павлович на коронации Николая I подошел к А.Ф. Орлову и (цитирую очевидца) «с обычной своей любезностью сказал ему: "Ну, слава Богу! Все хорошо. Я рад, что брат коронован. А жаль, что твоего брата не повесили!"».

Поведение декабристов на следствии и суде, пожалуй, несколько роняет их в наших глазах. Героически держался М. Лунин, достойно вели себя И. Пущин, С. Муравьев-Апостол, Н. Бестужев, И. Якушкин, М. Орлов, А. Борисов, Н. Панов.

Однако почти все остальные (не исключая Пестеля и Рылеева) раскаялись и дали откровенные показания, выдавая даже лиц, не раскрытых следствием: Трубецкой назвал 79 фамилий, Оболенский — 71, Бурцов — 67[1] и т. д. Здесь, конечно, сказались объективные причины: «хрупкость», как выразилась М.В. Нечкина, дворянской революционности; отсутствие социальной опоры и опыта борьбы с карательной мощью самодержавия; своеобразный кодекс дворянской чести, обязавший побежденных смириться перед победителем-государем. Но, без сомнения, проявились здесь и субъективные качества таких разных людей, как, например, инстинктивно преданный чинопочитанию Трубецкой и дерзкий, независимый Лунин.

Все подсудимые были разделены по мерам наказания на 11 разрядов: 1-й (31 подсудимый) — к «отсечению головы», 2-й — к вечной каторге и т. д.; 10-й и 11-й — к разжалованию в солдаты. Пятерых суд поставил вне разрядов и приговорил к четвертованию (замененному повешением) — это П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и убийца Милорадовича П.Г. Каховский. Из всего состава суда только сенатор Н.С. Мордвинов (адмирал, первый морской министр России) поднял голос против смертной казни кому бы то ни было, записав особое мнение. Все остальные проявили безжалостность, стараясь угодить царю. Даже три духовные особы (два митрополита и архиепископ), которые, как предполагал Сперанский, «по сану их от смертной казни отрекутся», не отреклись от приговора пяти декабристов к четвертованию.

Казнили пятерых 13 июля 1826 г. на кронверке Петропавловской крепости. Казнь была проделана варварски. Трое — Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский — сорвались с виселицы, их повесили вторично. Поднимаясь второй раз на эшафот, Муравьев-Апостол будто бы сказал: «Несчастная Россия! Даже повесить как следует не умеют...»

Более 100 декабристов после замены «отсечения головы» каторгой сослали в Сибирь и — с разжалованием в рядовые — на Кавказ воевать против горцев. На каторгу за некоторыми из декабристов (Трубецким, Волконским, Никитой Муравьевым и др.) добровольно последовали их жены — юные, едва успевшие выйти замуж аристократки: княгини, баронессы, генеральши, всего — 12. Трое из них умерли в Сибири. Остальные вернулись вместе с мужьями через 30 лет, похоронив в сибирской земле более 20 своих детей. Подвиг этих женщин, *декабристок,* воспет в поэмах Н.А. Некрасова и француза А. де Виньи.

Амнистировал декабристов уже новый царь Александр II в 1856 г. К тому времени в Сибири из 100 осужденных выжили только 40. Остальные погибли на каторге и в ссылке.

---

[1] См.: *Федоров В.А.* «Своей судьбой гордимся мы...» М., 1988. С. 111—112.

Могли ли декабристы победить? Этот вопрос, впервые поставленный Герценом, обсуждается и поныне, причем и сегодня некоторые историки (вслед за Герценом) отвечают на него положительно, считая, что декабристы «не были одинокими» и могли опереться на «ряд лиц и деятелей» из дворянства и даже правительства[1]. Однако согласиться с такой версией трудно: совокупность всех «за» и «против» нее заставляет признать, что восстание декабристов было обречено на поражение.

Дело не только в том, что восставшие были малочисленны, действовали пассивно и разрозненно, а иные из них (Трубецкой, Якубович, Волконский) даже уклонились от всякого действия, и не в том, что декабристам на Сенатской площади, как подчеркнул Герцен, «не хватало народа» — в смысле не присутствия, а взаимодействия. Главное в том, что тогда в России самодержавно-крепостнический строй еще далеко не исчерпал себя, не сложились условия для его насильственного свержения, не назрела революционная ситуация, а народ долго оставался невосприимчивым к идеям революции. Поэтому декабристы при всех своих связях с людьми из дворянства и самого правительства не могли рассчитывать на сколько-нибудь широкую опору в национальном масштабе, они представляли ничтожную горсть своего класса. Подсчитано, что все офицеры и генералы — члены тайных обществ, а также участники восстаний декабристов, не входившие в общества, составляли тогда лишь 0,6% от общего числа офицеров и генералов русской армии (169 из 26 424)[2]. Всех же дворян в России было почти четверть миллиона. Значит, в то время более рациональным средством преобразования России, чем вооруженное восстание, был эволюционный путь — давление на правительство со стороны тех дворянских и военных кругов, к которым принадлежали декабристы.

Тем не менее историческая заслуга декабристов неоспорима. Они вошли в историю России как пионеры освободительной борьбы против самодержавия и крепостничества. Их восстание, при всех его слабостях, было актом международной значимости. Оно ударило по европейской реакции, по системе Священного союза, оплотом которого был царизм. В самой России декабристы разбудили вольнолюбивый дух нации. Их имена и судьбы остались в памяти, а идеи — в арсенале следующих поколений борцов за свободу. Сбылось пророчество поэта-декабриста А.И. Одоевского:

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя.

---

[1] См.: *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.* Революционная традиция в России (1783—1883). М., 1986. С. 114—115.

[2] См.: *Прокофьев Е.А.* Борьба декабристов за передовое военное искусство. М., 1953. С. 190.

Историографическая справка. Литература о декабристах колоссальна: 12 тыс. названий, т. е. больше, чем о каком-либо другом явлении российской дореволюционной истории, кроме войны 1812 г.

Первой по времени в историографии декабризма стала охранительная концепция, сформулированная уже в манифесте о воцарении Николая I от 13 июля 1826 г. (день казни вождей декабризма): «Не в свойствах и не во нравах русских был сей умысел <...> Сердце России для него было и всегда будет неприступно». Классический образец этой концепции — книга барона М.А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» (СПб., 1848). Декабристы здесь представлены как скопище безумцев, «чуждых нашей святой Руси», а их заговор — как «гнойный нарост на великолепном теле самодержавной России», «без корней в прошлом и перспектив в будущем».

Охранителям противостояла революционная концепция. Ее зачинателями были сами декабристы (М.С. Лунин и Н.М. Муравьев), а классиком стал А.И. Герцен, который в ярких трудах «О развитии революционных идей в России» (1851) и «Русский заговор 1825 г.» (1857) показал национальные корни, величие и значение декабристов как первых русских революционеров, вскрыл главный источник их слабости (отрыв от народа), но в общем идеализировал их («фаланга героев», «богатыри, кованные из чистой стали» и т. д.).

Одновременно с революционной сформировалась и вскоре возобладала в историографии декабризма либеральная концепция. Ее основоположником стал декабрист Н.И. Тургенев, приговоренный по делу 14 декабря «к отсечению головы». Он был тогда за границей, приглашение царских властей вернуться на родину и дать отрубить себе голову отклонил, но в целях самооправдания начал изображать всех декабристов безобидными либералами. Эту концепцию развил акад. А.Н. Пыпин (двоюродный брат Н.Г. Чернышевского)[1], рассматривавший программные установки декабристов как продолжение реформ Александра I, а восстание 14 декабря как «взрыв отчаяния» из-за доносов и угрозы репрессий.

Самым выдающимся в дореволюционной литературе о декабристах является труд В.И. Семевского[2], где капитально исследованы взгляды, программы и планы декабристов как явление общеевропейское, хотя и несколько преувеличено иностранное влияние на их идеологию.

Советские историки изучали все стороны декабризма: его происхождение (С.Н. Чернов, С.С. Ланда), идеологию (Б.Е. Сыроечковский, В.В. Пугачев), Северное общество (Н.М. Дружинин,

---

[1] См.: *Пыпин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1871.

[2] См.: *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909.

К.Д. Аксенов) и Южное (Ю.Г. Оксман, С.М. Файерштейн), восстание декабристов (А.Е. Пресняков, И.В. Порох), расправу с ними (П.Е. Щеголев, В.А. Федоров). Издан целый ряд биографических трудов, лучшими из которых являются книги Н.М. Дружинина о Никите Муравьеве и Н.Я. Эйдельмана о Лунине. Наиболее крупный обобщающий труд принадлежит акад. М.В. Нечкиной[1]. В нем наряду с достоинствами (широчайший охват темы, колоссальная источниковая база, поразительная скрупулезность[2], яркая форма изложения) есть и недостатки, свойственные советской историографии декабризма в целом, — главным образом, выпячивание революционности декабристов[3] и замалчивание непозволительных для революционера слабостей (например, нестойкое поведение многих из них на следствии и суде).

Более современно (хотя и не столь подробно) обозрел движение декабристов В.А. Федоров в книге «Декабристы и их время» (М., 1992). В последнее время у нас обозначилась тенденция к пересмотру традиционно советского взгляда на декабризм, но она малопродуктивна, судя по тому, что ее энтузиасты склонны считать главными в происхождении декабризма не внутренние, российские, а внешние, европейские факторы[4].

За рубежом о декабристах пишут немного. Лучшие работы сходятся в главном с русской либеральной концепцией [А. Мазур (США), П.О'Мара (Ирландия)], реже — с советской [Б. Йосифова (Болгария), Б. Муха (Польша)][5]. Творчески оригинальна книга А. Мори (Франция) «Заговор декабристов»[6] с подробным разбором и сильных, и слабых сторон восстания 14 декабря 1825 г.

---

[1] См.: *Нечкина М.В.* Движение декабристов. М., 1955. Т. 1—2.

[2] По просьбе Нечкиной Институт теоретической астрономии АН СССР вычислил часы и минуты восхода и захода солнца в день восстания декабристов на Сенатской площади.

[3] В заслугу декабристам ставится даже то, как Пестель считал по пальцам лиц царской семьи, которых, по его мнению, надо было физически истребить (всех поголовно).

[4] См., например: *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.* Указ. соч. С. 87.

[5] Переведены на русский язык: *Йосифова Б.* Декабристы. М., 1983; *О'Мара П.* К.Ф. Рылеев. М., 1989.

[6] См.: *Mauri A.* La conspiration descembristes. P., 1964.

«Апогей самодержавия»

Подавив восстание декабристов, царский трон в России занял Николай I, правление которого, как заметил А.И. Герцен, «торжественно открылось виселицами».

В то время Николаю Павловичу было 29 лет. Он родился в 1796 г., четырех лет от роду лишился отца и по-сыновьи благоговел перед братом Александром, который был почти на 20 лет старше. Женился Николай, подобно старшему брату, отцу и деду, на немке, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III Шарлотте (по-русски переименованной в Александру Федоровну), и обожал все немецкое. Среди его ближайших соратников преобладали немцы — Бенкендорф, Адлерберг, Клейнмихель, Нессельроде, Дибич, Дубельт и др.

Новый самодержец, в отличие от Александра I, получил скудное образование. Его как третьего из сыновей Павла не готовили к царствованию и вообще к серьезным государственным делам. Педант, солдафон, самодур, он, по мнению Ф. Энгельса, представлял собой лишь «самодовольную посредственность с кругозором ротного командира». «Высочайший фельдфебель», — сказал о нем Герцен.

Все же современники находили в личности Николая I и привлекательные черты: царственное обаяние, силу характера, трудолюбие, непритязательность в быту, равнодушие к спиртному. Как государь, он считал для себя образцом Петра I, старался подражать ему, и не без успеха. «В нем много прапорщика и немного Петра Великого», — гласит запись в дневнике А.С. Пушкина от 21 мая 1834 г.

С детства Николай воспитывался в ненависти к революции, восстание декабристов укрепило в нем это чувство. «Революция на пороге России», — объявил он вскоре после 14 декабря и добавил: «Но клянусь, она не проникнет в Россию, пока я жив!» Эти слова вместили в себя всю программу нового царствования и чуть ли не убеждения царя, которые, по выражению А.Е. Преснякова, были «просты и отчетливы, как параграфы воинского устава». Борьба с крамолой в самой России и за ее рубежами стала делом всей жизни Николая, его святая святых. Он не колебался и не лавировал, как Александр I, а полагался исключительно на силовой, палаческий способ правления. По

рассказу очевидца, однажды Николай спросил 15-летнего наследника престола, будущего императора Александра II, чем держится многоязыкая семья народов, населяющих Россию. Наследник дал заученный ответ: «Самодержавием и законами». «Законами — нет! — воскликнул Николай. — Только самодержавием и вот чем, вот чем, вот чем!» — трижды взмахнул он крепко сжатым кулаком[1].

Выражая интересы господствующего класса дворян-крепостников, Николай I вместе с тем сводил государственную власть к личному произволу на манер военного командования. До вступления на престол он командовал гвардейской бригадой. Сменив бригаду на государство, он перенес армейские навыки управления на государственные дела. Россия представлялась ему воинским соединением, в котором царит воля его командира, то бишь государя. Характерна в этом отношении фраза, сказанная Николаем на смертном одре сыну: «Сдаю тебе команду».

Самое большое удовлетворение Николай как государь и как личность находил именно в том, чтобы *командовать,* все и вся военизировать и устрашать. Он и в детские годы, по признанию его официального биографа М.А. Корфа, «бил палкой или чем попало товарищей игр своих», а став царем, получил от народа прозвище «Николай Палкин». Сам по себе бездушный, злой, хотя и с эффектно-воинственной, но колючей внешностью («остриженная и взлысистая медуза с усами», по выражению Герцена), он внушал людям безотчетный страх. «Люди в его присутствии, — читаем у В.О. Ключевского, — инстинктивно вытягивались. Шутили, что даже хорошо вычищенные пуговицы мундира тускнели при его появлении».

Николаевский стиль управления государством выразился в том, что на все важнейшие административные должности были расставлены генералы. Не говоря уже о военном и морском ведомствах, министерства внутренних дел, финансов, путей сообщения, почтовый департамент возглавлялись генералами. Министром просвещения был адмирал (А.С. Шишков). Даже во главе церкви, на пост обер-прокурора Святейшего Синода был назначен гусарский полковник, лихой наездник Н.А. Протасов, который по-военному распоряжался церковными делами и дослужился на этом поприще до генерала.

Николай I любил повторять, что ему нужны «не умники, а верноподданные». «Он хотел бы, — писал о нем С.М. Соловьев, — отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем». Поэтому и были ниже «общего уровня» головы ближайших приспешников Николая — министра двора В.Ф. Адлерберга, военного министра А.И. Чернышева, обер-прокурора Синода Н.А. Протасова, министра иностранных дел К.В. Нессельроде, главно-

[1] См.: *Тарле Е.В.* Соч.: В 12 т. М., 1959. Т. 8. С. 69.

управляющего путями сообщения П.А. Клейнмихеля, шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа, каждый из которых просидел на своем посту как минимум половину николаевского царствования. Уместно добавить к ним еще Ф.П. Вронченко, о котором говорили, что он за всю свою жизнь познал арифметику только до дробей, и которого Николай сделал своим министром финансов после смерти «неприлично» умного Е.Ф. Канкрина. По своим дарованиям все они вместе взятые не стоили одного М.М. Сперанского, но зато они лучше, чем Сперанский, владели самым ценным в глазах царя умением — повиноваться и угождать своему повелителю.

Разумеется, были у Николая I и министры-«умники» (тот же Канкрин, Л.А. Перовский, в особенности П.Д. Киселев), но таких самодержец ценил меньше, чем «верноподданных».

Методы управления государством при Николае I были типично аракчеевскими, да и штат управляющих состоял из приверженцев Аракчеева, хотя его самого среди них уже не было, — он был уволен со всех постов[1] через пять дней после воцарения Николая. Отчасти сказалась здесь дурная репутация любимца Александра I, но главная причина его опалы заключалась в том, что в дни междуцарствия Аракчеев, по выражению проф. С.Б. Окуня, «сделал ставку не на ту лошадь, которая первой пришла к финишу». Он «ставил» на Константина и проиграл. «Только мелкой злопамятностью Николая, — заметил по этому поводу Герцен, — и можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями». Кстати, одним из таких «подмастерьев», «тварью Аракчеева», как тогда говорили, был Клейнмихель — настолько жестокий, что сам Аракчеев, когда хотел особо наказать какое-либо из военных поселений, угрожал: «Я пришлю вам Клейнмихеля!»

«Апогей самодержавия» — так называл А.Е. Пресняков время Николая I. Действительно, каждый день своего 30-летнего царствования Николай использовал для того, чтобы всемерно укреплять самодержавный режим. Прежде всего с целью заблаговременного обезвреживания революционных идей Николай усилил политический сыск. Именно он 3 июля 1826 г. образовал зловещее III отделение Собственной Его императорского величества канцелярии. Личная канцелярия царя, оформившаяся при Павле I в 1797 г., теперь была поставлена над всеми государственными учреждениями. Ее I отделение ведало подбором кадров, II — кодификацией законов, а III — сыском (всего в Канцелярии было шесть отделений).

III отделение разделялось на пять экспедиций, которые следили за революционерами, сектантами, уголовниками, иностранцами и

[1] В 1825 г. А.А. Аракчеев занимал посты: начальника Собств. Его императорского величества канцелярии, директора Военного департамента Гос. совета, Главного начальника военных поселений.

прессой. В 1827 г. ему был придан жандармский корпус, численность которого сразу же превысила 4 тыс. человек и в дальнейшем постоянно росла. Всю страну разделили на пять жандармских округов во главе с генералами. Начальник III отделения являлся и шефом жандармов. На этот пост выдвигались самые близкие к царю лица. Первым из них был граф А.Х. Бенкендорф — услужливый царедворец и проницательный (хотя и ленивый) сыщик. Должность управляющего III отделением совмещалась с должностью начальника штаба корпуса жандармов. Четверть века, с 1831 по 1856 г., их занимал генерал Л.В. Дубельт, который, чтобы выслужиться перед царем, сам сочинял заговоры, а потом «разоблачал» их. Этот управляющий был умнее не только своих начальников, но и (цитирую Герцена) «умнее всего Третьего отделения и всех отделений Собственной Е.и.в. канцелярии». Имя Дубельта стало в николаевской России нарицательным для обозначения вездесущего и всеведущего карателя, жуткого в своей палаческой учтивости. «Нет, *мой добрый друг,* — говорил он на допросе очередной жертве, — вы меня, старого воробья, не проведете. Это все поэзия, *мой дорогой друг,* а вы у меня в крепости все-таки посидите».

Чтобы замаскировать репрессивную сущность III отделения, официальная пропаганда восхваляла его как блюстителя законности в стране, как орган, призванный стоять горой за «бедных и сирых». С этой целью распространялась легенда о том, что Николай I вместо инструкции о руководстве III отделением протянул Бенкендорфу носовой платок и сказал: «Вот тебе инструкция: чтоб ни один платок в России не был омочен слезами!» Никто не верил таким легендам. За время царствования Николая каждый россиянин мог убедиться в том, что III отделение — это, как назвал его Герцен, «вооруженная инквизиция», которая стоит «вне закона и над законом». «Страшно в нем не то, что оно делает, а то, что оно может сделать, — писал шефу жандармов В.А. Долгорукову его помощник и преемник П.А. Шувалов. — А может оно во всякую минуту вторгнуться в каждый дом и семейство, схватить там какую угодно жертву и заключить в каземат, извлечь из этой жертвы какое угодно признание, не прибегая к пытке, а потом может представить государю все дело в таком виде, в каком пожелает».

Главной заботой жандармского ведомства было своевременное раскрытие и подавление всякого инакомыслия, любого недовольства существующим режимом. Не только восстание декабристов испугало Николая I и заставило его совершенствовать карательный аппарат — новый царь с тревогой следил и за растущим брожением в народных «низах». Массовое движение при нем резко усилилось: за 1826—1850 гг. — почти 2000 крестьянских волнений против 650 за 1801—1825 гг. Все чаще бунтовали и городские рабочие. Крестьяне требовали земли и воли, горожане — воли и хлеба.

Агентура III отделения оперативно доносила с мест в Петербург о «злостных» притязаниях «черни». При этом она из года в год подчеркивала опасную для царизма тенденцию: крестьяне стремятся к освобождению уже не от отдельных тягот крепостничества, а вообще от крепостного права: «мысль о свободе тлеет между ними беспрерывно». Жандармский корпус сам участвовал в подавлении беспорядков «черни», а против крупных волнений Николай I посылал даже кадровые войска.

Наибольший размах из массовых выступлений в николаевской России приобрели «чумные» и «холерные» бунты 1830—1831 гг. Так они были названы официально, поскольку непосредственным поводом к ним послужили карантинные меры против эпидемий чумы и холеры (в чумные карантины отправляли тогда — по безалаберности, спешке или злонамеренно — здоровых людей, глумились над женщинами под предлогом медицинских осмотров). Коренной же причиной всех этих бунтов был самодержавно-крепостнический гнет в различных его проявлениях, т. е. гражданское бесправие простонародья, произвол властей, грабительские поборы с населения, воистину эпидемия чиновничьих злоупотреблений, — все это в условиях карантинных ограничений усугубилось и повлекло за собой взрыв яростного протеста народных масс.

Так, 3 июня 1830 г. восстала городская беднота Севастополя, ее поддержали матросы и солдаты местного гарнизона. Восставшие захватили город и держали его в своих руках три дня. Военный губернатор Севастополя генерал-лейтенант Н.А. Столыпин (дед главы правительства при Николае II П.А. Столыпина) был убит. Давили севастопольское восстание полки боевого генерала (будущего фельдмаршала) князя М.С. Воронцова. Усмирив город, он предал 1580 бунтовщиков военно-полевому суду. Их расстреливали, прогоняли сквозь строй, секли розгами, высылали, вплоть до Сибири. Каратели не щадили никого: их жертвами стали даже дети «старее 5 лет» (как повелел сам Николай I) — таких малышей отрывали от родителей и поголовно сдавали в кантонисты, т. е. в ученики низших военно-сиротских школ с тяжелейшим, изуверским режимом «обучения».

Еще сильнее и опаснее для царизма оказался «холерный» бунт военных поселян и присоединившихся к ним кадровых солдат в Новгородской губернии с 11 июля 1831 г. Здесь на территории в 9 тыс. кв. км располагались 120 тыс. солдат, поселян и членов их семей. Почти все они восстали и начали расправляться с ненавистными властями, сговариваясь в ряде мест «о погублении всех офицеров» и даже открыто угрожая «никого из начальников не оставить в живых». При этом многие из них хорошо сознавали антифеодальную заостренность своего бунта. В записках одного из карателей, товарища детских игр Николая I полковника И.И. Панаева, рассказано, как один из вожаков поселян в ответ на вопрос следствия, верит ли он, что господа нарочно отравляют

воду в колодцах, заявил: «Что тут говорить! Для дураков — яд да холера, а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было!»

Царь и его окружение в те две недели, пока продолжался новгородский бунт, пережили страх, небывалый после восстания декабристов. Зато и «отомстили» бунтовщикам — расправа была свирепой: более 4,5 тыс. поселян и солдат предстали перед военно-полевым судом, посыпались приговоры к смерти, на каторгу, в ссылку. Только в Старой Руссе были забиты насмерть 129 человек.

Однако эти репрессии в конечном счете оказывались тщетными. Массовые волнения вспыхивали в разных концах страны вновь и вновь, с каждым годом усиливая напряженность в отношениях между народом и властью. Наблюдательный француз А. де Кюстин, изучавший тогда Россию, в 1839 г. так суммировал свои впечатления: «Россия — котел с кипящей водой, котел, крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее».

Николай I понимал, что держать в узде «темный» народ он сможет только при условии, если сделает надежной опорой престола образованное меньшинство нации. Будучи верен избранному раз и навсегда силовому методу правления, он замыслил и эту задачу решить кнутом, а не пряником. Поэтому он сделал одной из главных жертв инквизиции область просвещения и культуры: стремясь пресечь в зародыше всякое инакомыслие, Николай I разнуздал здесь такую реакцию, которая превзошла мракобесие А.Н. Голицына и М.Л. Магницкого.

10 июня 1826 г. был издан новый цензурный устав из 230(!) запретительных параграфов. Он запрещал «всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение», а кроме того, многое другое, вплоть до «бесплодных и пагубных (на взгляд цензора. — *Н.Т.*) мудрований новейших времен» в любой области науки[1]. Современники назвали устав «чугунным» и мрачно шутили, что теперь наступила в России «полная свобода... молчания».

Руководствуясь уставом 1826 г., николаевские цензоры доходили в запретительном рвении до абсурда. Один из них запретил печатать учебник арифметики, так как в тексте задачи увидел между цифрами три точки и заподозрил в этом злой умысел автора. Председатель цензурного комитета Д.П. Бутурлин (разумеется, генерал) предлагал даже вычеркнуть отдельные места (например: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероподобных...») из акафиста Покрову Божией матери, поскольку они с точки зрения «чугунного» устава выглядели неблагона-

[1] Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собр. 2. Т. 1. С. 564, 566.

дежными. Сам Л.В. Дубельт не стерпел и выругал цензора, когда тот против строк:

О как бы я желал
В тиши и близ тебя
К блаженству приучиться! —

обращенных к любимой женщине, наложил резолюцию: «Запретить! К блаженству приучаться должно не близ женщины, а близ Евангелия».

Джон Мильтон говорил: «Свобода печати — главный залог свободы страны». С.М. Кравчинский перефразировал тезис Мильтона: «Закабаление печати — главная гарантия деспотизма». Эти слова определяют смысл цензурной политики Николая I. Герцен обрисовал ее так: «Николай Павлович держал 30 лет за горло кого-то, чтобы тот не сказал чего-то». Вот разительная иллюстрация к этим словам. Как сообщила в одном из номеров за 1848 год газета «Московские ведомости», мещанин Никифор Никитин за «крамольные» речи о возможном полете на Луну был сослан в глухое казахское селение... Байконур (тот самый Байконур, где теперь находится всемирно известный космодром, с которого советские ракеты уже стартовали и к Луне, и еще дальше — к Марсу, к Венере)[1].

Министерство просвещения при Николае I более всего старалось угодить царю, а царь, по свидетельству академика С.М. Соловьева, «инстинктивно ненавидел просвещение <...> Он был воплощенное: "не рассуждать!"». Московский университет он называл «волчьим гнездом» и от одного вида его, если случалось проезжать мимо, впадал в дурное расположение духа (об этом рассказывал другой академик — Ф.И. Буслаев). Немудрено, что во главе Министерства просвещения при Николае сменился целый «зоопарк» отъявленных реакционеров: А.С. Шишков (с 1824 г.), К.А. Ливен (с 1828), С.С. Уваров (с 1833), П.А. Ширинский-Шихматов (с 1849), А.С. Норов (с 1853 г.).

Самым мрачным детищем реакции в области просвещения стал новый школьный устав от 8 декабря 1828 г. Он перестроил всю школу по феодально-сословному принципу, а преемственность между начальной, средней и высшей школой, узаконенную в 1803 г., ликвидировал. Теперь разрешалось принимать в гимназии только детей дворян и чиновников. Детям купцов и мещан предназначались уездные (трехклассные) училища, а крестьянским детям — лишь приходские (одноклассные) школы. «Науки, — поучал министр Шишков, — полезны только тогда, когда они, как соль, употребляются в меру, смотря по состоянию людей». Впрочем, власти старались, чтобы наук было и числом поменьше. Ширинский-Шихматов исключил из учебных программ фи-

[1] См.: Ракета едет на старт // Известия. 1975. 13 июля.

лософию. На вопрос, почему это сделано, он ответил исчерпывающе: «Польза от философии не доказана, а вред от нее возможен». Тогда же именно этот министр ввел в начальных и средних школах телесные наказания, дав повод злоязычному кн. А.С. Меншикову построить из фамилии министра каламбур: «Министерству просвещения дали сразу и *шах* и *мат*».

Высшую школу реакция придавила так же, как и среднюю. В 1835 г. был принят новый университетский устав, который лишил университеты былой (с 1804 г.) автономии. Отныне хозяевами университетов стали правительственные чиновники — попечитель учебного округа (им часто по совместительству был генерал-губернатор) и министр, правомочный назначать и увольнять профессоров по своему усмотрению. Внутри каждого университета влиятельной и устрашающей фигурой стал инспектор — он, согласно министерской инструкции, должен был иметь «особенный и ближайший надзор за нравственностью» (т. е. благонамеренностью) студентов.

В борьбе с просвещением николаевские охранители руководствовались не только рассудком, но и эмоциями, которые были под стать их взглядам. Л.В. Дубельт, например, при одном упоминании имени Герцена буквально зверел, приговаривая: «У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его повесил»[1]. Шеф жандармов А.Ф. Орлов, провожая за границу друга, наставлял его: «Когда будешь в Нюрнберге, подойди к памятнику Гутенбергу — изобретателю книгопечатания и от моего имени плюнь ему в лицо. Все зло на свете пошло от него». Николай I не давал таких напутствий, но в ненависти к печатному слову он мог *переплюнуть* своего шефа жандармов. Самый дух николаевского царствования верно схвачен в реплике Фамусова из грибоедовского «Горя от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь!»

Словом, реакция наступала при Николае I повсеместно и всеохватно, стремясь подавить не только прямое сопротивление, но и любое прекословие абсолютной власти монарха. Это и был «апогей самодержавия».

Реформы Николая I

Итак, Николай I стремился сохранить и упрочить самодержавно-крепостнический строй, полагаясь на грубую силу. Однако время от времени с той же целью он допускал и отдельные «послабления», чтобы, во-первых, благообразить государственный порядок в стране и, во-вторых, «упорядочить» отношения в ней, т. е. ослабить антагонизм между помещиками и крестьянами. По

[1] *Троцкий И.М.* III отделение при Николае I. Л., 1990. С. 67.

смыслу и происхождению реформы Николая I отличались от реформ предыдущего и последующего царствований: если ранее Александр I *лавировал* между старым, феодальным, и новым, буржуазным, началами во всех (экономической, социальной, политической, духовной) сферах жизни россиян, а позднее Александр II *уступал* давлению нового, то Николай I *укреплял* старое (врачуя, ремонтируя и лакируя его) для того, чтобы успешнее противостоять новому.

Уже 6 декабря 1826 г. Николай образовал первый и самый значительный из 10 секретных комитетов, которые создавались в его царствование, чтобы найти ответ на сакраментальный вопрос, поставленный царем: «Что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить?» Главой Комитета формально значился председатель Государственного совета граф. В.П. Кочубей — один из «молодых друзей» Александра I, давно уже отряхнувший со своих ног прах либерализма, а фактически руководил Комитетом М.М. Сперанский, тоже значительно поправевший после того, как он побывал в ссылке и в суде над декабристами. Составили Комитет особо доверенные сановники царя. Поэтому действовал он сверхосторожно, по принципу, который можно было бы сформулировать так: «Семь раз отмерь, но не отрезай», ибо, как выразился член Комитета Е.Ф. Канкрин, «недостатки существующего известны, а нового сокрыты». За четыре года регулярных заседаний (всего — 173) Комитет подготовил лишь два серьезных, но, разумеется, верноподданнических проекта.

Первым из них был проект сословной реформы. «Комитет 6 декабря» (так его называли) задумал оградить дворянство «от неприятного ему и вредного государству прилива разночинцев». Вместо Табели о рангах Петра I, дававшей право военным и гражданским чинам получать дворянство в порядке выслуги, Комитет предложил установить такой порядок, при котором дворянство приобреталось бы только наследственно, по праву рождения, и по «высочайшему пожалованию». Это предложение имело целью превратить российское дворянство в строго замкнутую касту, огражденную от «засорения» инородными элементами.

Вместе с тем, чтобы как-то поощрить и служилых людей, а также нарождавшуюся буржуазию, Комитет предложил создать для чиновников, купцов и буржуазной интеллигенции новые сословия — «чиновных», «именитых» и «почетных» граждан, которые освобождались бы, как и дворяне, от подушного оклада, рекрутского набора и телесных наказаний. Наконец, Комитет в дополнение к старинному (1803) указу «о вольных хлебопашцах» разрешил помещикам освобождать крестьян не только с землей, но и без земли, причем все освобожденные крестьяне должны были образовать еще одно сословие — «вольноотпущенных земледельцев».

Второй проект «Комитета 6 декабря» предусматривал административную реформу. Государственный совет сохранял лишь законосовещательные функции при царе, а Сенат разделялся на Правительствующий (высший орган исполнительной власти) и Судебный. Внешне здесь воплощался буржуазный принцип разделения властей — законодательной, исполнительной и судебной, но не для ограничения самодержавия, а для того, чтобы упрочить его путем более четкого разграничения функций между всеми властями (одинаково бесправными перед самодержцем), что позволило бы усовершенствовать работу бюрократического аппарата.

Оба проекта нисколько не вредили самодержавно-крепостническому строю, но вносили в него — не по существу, а по форме — кое-что новое. Поэтому непримиримые крепостники, считавшие вслед за Карамзиным, что «всякая новость в государственном порядке есть зло», ополчились против этого «зла». Николай I не остался равнодушным к их позиции, а революционный подъем на Западе от Франции до Польши и взрыв массового недовольства в самой России 1830—1831 гг. напугали и отвлекли царя от реформ. В результате он надолго оставил первый и навсегда «похоронил» второй из проектов «Комитета 6 декабря».

Зато, благодаря титаническим усилиям М.М. Сперанского, царизм осуществил на рубеже 20—30-х годов кодификацию российского права. Дело в том, что со времени Соборного уложения царя Алексея Михайловича (1649) русские самодержцы издали больше 30 тыс. законодательных актов, которые вплоть до 30-х годов XIX в. не были приведены в систему, оставались разрозненными, а иногда и недоступными для всех смертных от мелкого канцеляриста до императора. Ведь даже самый наметанный глаз не мог разыскать среди десятков тысяч манифестов, указов, рескриптов, повелений нужный документ, разобраться в том, какие из них еще сохраняют силу, а какие уже давно отменены. В интересах нормального функционирования государства необходимо было собрать и систематизировать все государственные акты. Кроме того, кодификация права должна была, по мысли Николая I, придать самодержавию видимость законности, показать россиянам, что уважение к закону в империи снимает наболевший вопрос о конституции для России. Осуществить кодификацию Николай поручил Сперанскому.

К 1830 г. Сперанский выполнил поручение: все законы с 1649 г. по 13 декабря 1825 г. (т. е. до восшествия на престол Николая I) общим числом в 30 920 были собраны, расположены в хронологическом порядке и напечатаны в 45 томах *первого* Полного собрания законов Российской Империи. Одновременно были изданы шесть томов *второго* Полного собрания законов, куда вошли акты, принятые за время царствования Николая I. Далее тома этого собрания (всего — 55) печатались ежегодно по 1883 г.

и включили в себя все законы Николая I и Александра II. С 1884 по 1916 г. издавалось *третье* собрание (33 тома законов Александра III и Николая II). Полное собрание законов Российской Империи приобрело значение уникального историко-юридического источника, но не годилось для повседневной работы, во-первых, потому, что было слишком громоздко, а главным образом потому, что в нем изобиловали устаревшие и отмененные законы.

Все действующие законы составили особый Свод законов Российской Империи в 15 томах, он был издан в 1832 г. и в дальнейшем систематически переиздавался и дополнялся. Это издание стало официальным руководством в практике царского управления и суда. Б.И. Сыромятников метко определил его как «15-томный саркофаг», в котором Николай I хотел мумизировать существующий порядок. В первый том «Свода» Сперанский включил составленную им компиляцию из тех законов XVIII — начала XIX в., которые определяли государственное устройство России. Компиляция была названа: «Основные законы Российской Империи», а ее 1-я статья гласила: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает»[1]. Так законодательно оформлялась государственность, о которой А. де Кюстин сказал просто: «Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора».

Впрочем, кн. П.В. Долгоруков не без оснований утверждал, что истинный хозяин России — не царь, а «чиновная орда», которая исполняет не все, а лишь выгодные ей царские законы: «Мнимопослушная государю, она с помощью царской дворни крепко держит царя в руках, и обе общими силами заставляют царя плясать под свою дудку. Царь царствует, а чиновная орда властвует!» Вот пример из книги Долгорукова «Правда о России». Воронежский губернатор барон Х.Х. Ховен в ответ на замечание советника, что он нарушает такой-то закон из такого-то тома 15-томника, «схватил этот том, сел на него и спросил: "Ну, где теперь ваш закон?"».

Кодификация законов упорядочила и благообразила форму самодержавного-крепостнического государства, не изменив его сущности, что и требовалось царизму. Конечно, Сперанский проделал грандиозную работу, и все поколения историков должны быть благодарны ему за то, что получили в свое распоряжение исторический и юридический источник, которому нет цены. Но трудовому люду России кодификационный подвиг Сперанского ничего не дал. За ширмой внешней законности во всех звеньях

[1] Свод законов Российской Империи. СПб., 1857. Т. 1. С. 1.

государственного аппарата, как и прежде, кишмя кишели и поедом ели россиян все атрибуты феодально-крепостнической системы.

По-прежнему разрастался чиновничий бюрократизм. Например, только по ведомству юстиции в 1831 г. числилось 2 млн. 800 тыс. неразобранных дел. Спустя 17 лет Николай I поинтересовался, каковы здесь перемены к лучшему. Ему доложили, что теперь таких дел в Министерстве юстиции уже 3 млн. 300 тыс. Главное, как на дрожжах, росла сама бюрократия. Если к 1796 г. при населении в 36 млн. человек количество чиновников в России не превышало 16 тыс., т. е. один чиновник приходился на 2250 жителей, то к 1851 г. население составило 69 млн. человек, а чиновников стало 74 330, т. е. один чиновник приходился уже на 929 жителей[1]. Выходит, все население страны за 1796—1850 гг. даже не удвоилось, а чиновничество выросло почти в 5 раз.

Как и прежде, повсюду царили злоупотребления, воровство, лихоимство, казнокрадство, отчего страдали в первую очередь народные массы, а вместе с ними, по существу, вся Россия, включая в некоторых случаях даже царя. Александр I мог еще шутить по адресу своих сановников: «Они украли бы мои линейные суда, если бы знали, куда их спрятать». Николаю I было уже не до шуток, когда у него над головой в Зимнем дворце обрушился потолок из-за того, что граф П.А. Клейнмихель украл ассигнованные на ремонт дворца казенные суммы. Впрочем, крупное государственное воровство не считалось в николаевской России пороком. Распространенная в то время эпиграмма клеймила ее как такую страну,

Где вешают на вора крест,
А не на крест вздевают вора.

По данным всеведущего III отделения, в России конца 40-х годов не брали взяток только три губернатора (из 55): Н.Е. Писарев как самый богатый и еще двое по идейным соображениям — бывший декабрист А.Н. Муравьев и сын «первого русского революционера» А.А. Радищев. При дворе взятки отличались особым шиком. О супруге канцлера К.В. Нессельроде говорили, что «с врагов своих она *требует* подарки, а от друзей их *принимает*».

Николай I во всем любил «порядок». Взяточничество он воспринимал как его нарушение. Но поскольку взяточничеством были повязаны почти все чиновники снизу доверху, покрывая при этом друг друга, то царь, зная, что берут взятки практически все, не имел прямых улик против конкретных лиц и не хотел будоражить «верхи» расследованием тайн их материального

[1] См.: *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 221.

благополучия. К тому же, как подметил Е.В. Тарле, царя «явно угнетало сознание, что и на самом верху ближайшее его окружение ничуть не лучше, что некого даже послать для контроля, для правильного расследования, для наложения кары на кого нужно». Вот почему он предпочитал наводить порядок в том, что было на виду и касалось не столько существа дела, сколько его внешнего обличья. Так, он не стал расследовать сенатские злоупотребления (ими займется лишь Александр II), хотя они уже обросли агентурными сигналами и обывательскими слухами, но фельдфебельски наказал весь Сенат за формальное нарушение порядка. Неожиданно явившись в Сенат к 10 часам утра, Николай застал на месте только сенатора П.Г. Дивова — никто более на службу еще не пришел. Царь повелел Дивову передать «сотоварищам сенаторам, что был у них с визитом, но никого не застал», после чего специальным указом обязал сенаторов являться на службу... к 6 часам утра. Лишь признав униженно, что царское посещение Сената само по себе уже «сделало полезную электризацию параличному», сенаторы умолили царя освободить их от столь раннего бдения.

Когда миновала революционная опасность 1830—1831 гг. и была закончена работа над кодификацией законов, Николай I вернулся к сословным проектам Комитета 6 декабря 1826 г. Частично они были реализованы в законе 1832 г., который учреждал среднее сословие «почетных граждан» двух (а не трех, как предполагал Комитет) степеней — «*потомственных* почетных граждан» (сюда зачислялись дети личных дворян, а также крупные капиталисты, ученые, художники) и «*личных* почетных граждан» (дети церковнослужителей, не получивших образовательного ценза, и выпускники высших учебных заведений). Внешне эта мера выглядела уступкой буржуазии, но фактически представляла собой очередное монаршее пожалование дворянству, поскольку ограждала его от притока чуждых ему элементов из плебса.

Однако Николай I не решился утвердить предложения Комитета 1826 г. об отмене петровской Табели о рангах. Он только повысил указом 1845 г. чины, которые требовались для получения дворянства в порядке выслуги. Теперь потомственное дворянство предоставлялось гражданским чинам с V (а не с VIII, как ранее) класса, военным — с VI (вместо XIV), а личное дворянство — с IX класса (вместо XIV) и для гражданских, и для военных чинов. В интересах дворянства Николай I 28 ноября 1844 г. отменил придуманный Сперанским и столь тяготивший дворян указ Александра I от 6 августа 1809 г. об «экзамене на чин» для чиновников с VIII класса Табели о рангах.

Впрочем, преимущественно дворянскими интересами царизм руководствовался и в решении крестьянского вопроса — самого острого из всех вопросов внутренней политики. Важность крестьянского вопроса обусловливал неуклонный рост недовольства

масс. Волнения и бунты крестьян нарастали из года в год, и к 40-м годам антагонизм между ними и помещиками был уже столь угрожающим, что даже самые твердолобые защитники старины начали вслух рассуждать об опасности сохранения крепостного права. В 1839 г. шеф жандармов А.Х. Бенкендорф прямо докладывал царю: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством»[1].

Николай I сам думал так же, но не только отмену, а хотя бы реформу крепостного права считал преждевременной. «Нет сомнения, — говорил он в марте 1840 г. на заседании Государственного совета, — что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но *прикасаться* к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным». Царизм искал такое решение крестьянского вопроса, которое притупило бы его остроту, не трогая основ крепостного права. С этой целью при Николае I создавались один за другим восемь особых, негласных (современники называли их «безгласными») комитетов по крестьянскому делу, которые, однако, практически почти ничего не сделали. Все они лишь «прощупывали» крестьянский вопрос, напоминая собой, как выразился Б.Г. Литвак, «танец кота вокруг горячей каши».

Правда, за время николаевского царствования было издано свыше 100 циркуляров на крестьянскую тему, но практического значения они не имели, представляя собой, по словам В.О. Ключевского, лишь «законодательные щипки по больному месту дворянства», напоминавшие о «тяжелом камне (крестьянского вопроса. — *Н.Т.*), который висит над сословием, ежеминутно готовый сорваться». Единственной серьезной попыткой укрепить (но не устранить) этот «камень» стала реформа управления государственными крестьянами, проведенная в 1837—1841 гг. (так называемая реформа П.Д. Киселева).

Государственные крестьяне составляли тогда треть всего сельского населения страны. Между тем казенная деревня находилась в столь же критическом состоянии, как и помещичья, — она разорялась вследствие грабежей соседних помещиков и арендаторов, произвола и лихоимства чиновников. Разорение же государственной деревни сокращало доходы казны; более опасными для властей становились и волнения государственных крестьян. Все это заставило царизм приступить к реформе казенной деревни. Творцом ее стал Павел Дмитриевич Киселев — второй по уму и дарованиям (после Сперанского) из сотрудников Николая I.

Жизнь Киселева связана с самыми интересными событиями и людьми его времени. В 1812 г. он сражался при Бородине, а в 1814-м брал Париж, сопровождал Александра I в качестве его флигель-адъютанта на Венский конгресс, дружил с декабристом-

[1] Крестьянское движение в России 1827—1869 гг. М., 1931. Вып. 1. С. 31.

генералом М.Ф. Орловым и был близок к П.И. Пестелю (до самой смерти своей Киселев хранил письма к нему казненного Пестеля, а ведь ему пришлось участвовать и в его аресте). К началу «своей» реформы Киселев был уже генерал-адъютантом и членом Государственного совета.

Еще в 1816 г. Киселев подал Александру I записку под выразительным названием «О постепенном уничтожении рабства в России» и с тех пор пользовался репутацией сановного либерала, постепеновца. Талантливый, блестяще образованный, волевой, умудренный житейским, военным, дипломатическим и придворным опытом, он умел быть изысканным царедворцем, не теряя при этом достоинства и фамильной гордости. Показателен его ответ Александру I на вопрос, почему он, Киселев, будучи небогат, никогда не попросит аренды или денег: «Я знаю, что вы охотно даете, государь, но не уважаете тех, кто принимает от вас. Мне же ваше уважение дороже денег».

Николай I, подобно Александру I, ценил Киселева, в некотором роде даже гордился им и называл его своим «начальником штаба по крестьянской части». Согласуясь с царскими указаниями, Киселев решил, что для исцеления казенной деревни от всех поразивших ее недугов достаточно создать хорошую администрацию, которая могла бы аккуратно попечительствовать о крестьянах. В результате государственная деревня получила под видом самоуправления многоярусную систему бюрократической опеки над крестьянами, головоломную административную иерархию: в губернии — палата, в округе — окружное управление, в волости — волостной сход, волостное правление и волостная расправа (суд), в «сельском обществе» (т. е. в каждом большом или в нескольких малых селениях) — сельский сход, сельское начальство и сельская расправа, причем все это сверху донизу под бдительным контролем царских чиновников. Для общего управления государственными крестьянами было создано специальное Министерство государственных имуществ, которое первым возглавил (с 1837 до 1856 г.) Киселев.

Последствия реформы не порадовали крестьян. Во-первых, все стороны их жизни оказались под назойливой опекой разветвленного полицейско-бюрократического аппарата. Во-вторых, тяжким бременем легло на крестьян реформированной деревни содержание этого аппарата. Что касается чиновничьего произвола, то он не только не убавился (чиновников-то стало больше), а, напротив, усилился. Правда, Министерство государственных имуществ старалось улучшить положение крестьян: ограждало их земли от расхищения, запрещало переводить их в разряд военных поселян, пыталось регулировать оброчные сборы, открывало больницы, школы и т. д., но все это делалось столь нерадиво и под таким контролем, что крестьяне не знали даже, ждать ли им от властей добра или зла.

Академик Н.М. Дружинин, автор фундаментального исследования о реформе Киселева, оценил ее как попытку найти выход из назревшего социально-экономического кризиса, оставаясь внутри старой феодальной системы: «Киселев не выходил из рамок феодального мира, не переступал демаркационной линии, которая отделяла его от капиталистической формации»[1]. Поэтому реформа Киселева, хотя и содействовала разложению крепостнического строя (поскольку она приостановила помещичьи захваты казенных земель, стимулировала предпринимательство зажиточных крестьян), все же не подвинула сколько-нибудь существенно казенную деревню вперед. Ее дурные последствия сказывались острее, чем хорошие. Казенная деревня продолжала волноваться.

Тем не менее царское правительство сочло, что вопрос о государственных крестьянах как одна сторона крестьянской проблемы решен, и занялось вопросом о крестьянах помещичьих. Здесь дело ограничилось ублюдочным законом 1842 г. об «обязанных крестьянах». Он представил собой двусмысленную модернизацию указа о «вольных хлебопашцах» 1803 г.: помещики получали право по их желанию освобождать крестьян не только с землей за выкуп (как гласил указ 1803 г.), но и при сохранении всей земли за собой. В этом случае крестьянину предоставлялся земельный надел в пользование за определенные «обязанности», т. е. за барщину или оброк. Выходило, что помещик мог отказаться лишь от права на личность крестьян (не продавать их, не менять на собак), а в остальном все оставалось по-старому. Таким образом, этот закон оказался пустой формальностью. «Это было все равно, что издать закон, разрешающий ходить ногами, есть ртом и т. д.»[2] Закон об «обязанных крестьянах» 1842 г. был шагом назад по сравнению с указом о «вольных хлебопашцах» 1803 г., ибо тот указ разрывал феодальные взаимоотношения помещиков с крестьянами, а новый закон их сохранял.

Интересы дворянства преобладали не только в социальной, но и в экономической политике царизма при Николае I. Однако царизм не мог не считаться с азбучными закономерностями развития экономики, а так как выразителями их становились уже не столько помещики, сколько купцы и предприниматели, т. е. буржуа, он поневоле учитывал буржуазные интересы. В первой половине (особенно во второй четверти) XIX в. крепостничество все сильнее и очевиднее для современников тормозило промышленный прогресс России. Поэтому требовалось приоткрывать хотя бы узкие щели для развития капитализма, иначе стране грозила разруха в хозяйственном отношении и революция в политическом. Другими словами, самодержавие вынуждено было уступать

[1] *Дружинин Н.М.* Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М.; Л., 1946. Т. 1. С. 278.

[2] *Покровский М.Н.* Избр. произведения: В 4 кн. М., 1967. Кн. 3. С. 122.

капитализму в частностях, чтобы сохранить феодально-крепостнический строй в целом. Значит, не только экономическая необходимость, но и собственный инстинкт самосохранения толкали царизм к покровительству зачаткам капиталистической промышленности и торговли.

Вот почему экономическая политика царизма в первой половине XIX в. носила протекционистский характер, защищая отечественную экономику от иностранной конкуренции на внутреннем рынке и тем самым облегчая ее развитие. Протекционистская политика была типичной для начальной стадии капитализма вообще, она ускоряла переход от феодализма к капитализму. К. Маркс прямо называл протекционизм «искусственным средством фабриковать фабрикантов».

Главным средством протекционизма всегда служила таможенная система, т. е. обложение ввозимых из-за границы товаров высокими охранительными пошлинами. Так, в России еще при Александре I, 20 декабря 1822 г., был введен рекордно строгий таможенный тариф из 900 статей. О запретительном весе этого тарифа можно судить по таким примерам: пошлина на железо равнялась 250% стоимости товара, а на чугун — 600%. Царизм сохранял этот тариф до 1850 г., когда он был заменен другим, более мягким. К тому времени российская промышленность уже окрепла, и отсутствие конкуренции могло лишь затормозить ее дальнейшее развитие.

Протекционизм экономической политики самодержавия включал и другие меры, как, например, поощрение отечественной промышленности. В 1828 г. был учрежден Мануфактурный совет при Министерстве финансов с участием фабрикантов и заводчиков. Ему доверили право контролировать состояние промышленности, материально помогать предпринимателям, снабжать их научно-технической информацией и т. д. С 1829 г. в России начали официально устраиваться промышленные выставки (к 1861 г. их состоялось 12), а в 1831 г. был открыт в Петербурге Технологический институт с целью готовить инженерные кадры для промышленности — первый российский втуз.

Протекционизм экономической политики царизма был явлением прогрессивным, поскольку он способствовал развитию в России крупной промышленности и притом в капиталистических формах. Однако царизм покровительствовал буржуазии лишь настолько и до тех пор, пока это не ущемляло интересов дворян. Дворянская природа самодержавия сказывалась в его экономической политике так же отчетливо, как и в его полицейских или военных акциях. Кредитную систему царизм использовал главным образом для того, чтобы вдохнуть жизнь в отмиравшую феодальную собственность, поддержать помещичьи хозяйства. Все кредитные учреждения империи были ориентированы преимущественно на выдачу ссуд дворянству под залог имений, причем

ссуды часто оказывались безвозвратными, ибо разорявшиеся имения стоили меньше сумм лежавшего на них долга.

Зато кредитование торговли и особенно промышленности сознательно ограничивалось. «Должно служить промышленности существующей, а отнюдь не возбуждать такой искусственно», — формулировал отношение правительства к коммерческому кредиту министр финансов Е.Ф. Канкрин. Вплоть до 1861 г. на долю промышленности из кредитных учреждений лишь время от времени перепадали гроши.

Такое положение не изменилось и после денежной реформы 1839—1843 гг., широко разрекламированной в николаевской России как *реформа Канкрина*. К тому времени страна была наводнена обесцененными бумажными деньгами, ассигнациями (ассигнационный рубль составлял лишь четверть серебряного). Денежное обращение стало хаотичным. Канкрин сумел упорядочить курс рубля: в основу денежного обращения был положен серебряный рубль стоимостью в 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Однако бюджетная политика царизма осталась прежней, народ от реформы Канкрина ничего не приобрел. Зато нажились на ней ее устроители и в первую очередь сам Канкрин, который с удовольствием растянул реформу на четыре года. Поэт С.А. Соболевский уместил оценку его карьеры в 4 строки:

То Канкрин! — Пришел с алтыном
Из далеких чуждых стран.
Стал России верным сыном,
Понабив себе карман.

Вся внутренняя политика царизма при Николае I даже в тех случаях, когда приходилось уступать объективной необходимости новых буржуазных отношений, служила интересам дворян-крепостников. Сам Николай не только признавал это, но и гордился этим. «Вся моя сила в вас, — говорил он уполномоченным от дворянства. — Во главе вас я непобедим!»

Внешняя политика

Во внешней политике николаевской России доминировали, чередуясь, два направления: 1) борьба с революционным движением в Европе и 2) попытки разрешить восточный вопрос. Главным из них царизм считал первое направление. Продолжая курс Священного союза, Николай I вместе с монархами Австрии и Пруссии как младшими партнерами возглавлял европейскую реакцию. Ради сохранения единства монархов в борьбе с революцией царизм готов был жертвовать своими интересами в восточном вопросе. Зато всякий раз, когда революционный ураган в Европе временно утихал, в центре внимания царизма, как и других европейских правительств, немедленно оказывался восточный вопрос — вечное яблоко раздора между ними.

Восточный вопрос с конца XVIII в. стоял остро: как быть с Турцией, которая переживала тогда общее загнивание своей военно-феодальной системы (западные дипломаты с легкой руки Николая I стали называть ее «больным человеком»), хотя и контролировала территорию на стыке трех частей света — Европы, Азии и Африки, главный нерв мировой торговли и важнейший стратегический плацдарм. Европейские державы стремились воспользоваться «болезнью» Турции и прибрать к рукам ее территориальное наследство, причем каждая из них рассчитывала на бо́льшую долю. Российское дворянство стремилось к господству на Черном море и даже к захвату Константинополя, о котором Александр I говорил: «La clef de notre maison»[1].

Николай I, едва заняв трон, возобновил подготовку к войне с Турцией, начатую при Александре, но воевать пришлось... с Ираном. Англия спровоцировала Иран напасть на Россию, чтобы таким образом отвлечь царизм от войны с Турцией и вообще от ближневосточных дел. Летом 1826 г. иранские войска вторглись в долину Куры с намерением захватить все Закавказье и отбросить русских за Терек. Их удар принял на себя Отдельный Кавказский корпус, которым уже 10 лет бессменно командовал генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов — противник аракчеевщины и блюститель суворовских традиций, герой всех войн России с Наполеоном. Наместник Кавказа с 1816 г., Ермолов за 10 лет покорил ряд кавказских народов, не останавливаясь перед жестокими военно-колониальными методами. В то же время он укрепил и благоустроил завоеванный край. Никто не мог предположить, что после его смещения Кавказская война затянется еще на 37 лет.

И в армии, и в обществе Ермолов был тогда самым популярным из русских полководцев. Лучшие поэты России (Пушкин, Лермонтов, Жуковский) воспевали его в стихах. Но цари его не любили за «гордыню», вольнодумство, дерзость суждений, острый язык, а в особенности за связь с декабристами, которые считали Ермолова одним из кандидатов в члены Временного революционного правительства после свержения царизма. Александр I, вначале благоволивший к Ермолову, позднее стал судить о нем по-аракчеевски: «Сердце Ермолова так же черно, как его сапог». Николай I определил свое отношение к Ермолову сразу и навсегда: «Ему менее всех верю».

Корпус Ермолова в тяжелых условиях, не получая никаких подкреплений, отразил нашествие вчетверо превосходивших его численностью иранских войск и отбросил их за Аракс. После этого в марте 1827 г. Николай I сместил Ермолова и назначил на его место своего фаворита — Ивана Федоровича Паскевича. Этот генерал отличался средними способностями, но, благодаря

[1] Ключ от нашего дома (*франц.*).

благоволению монарха, стойкости русских солдат (особенно тех, которые прошли школу Ермолова) и капризу фортуны, сделал ослепительную военную карьеру, став фельдмаршалом и светлейшим князем. Придворные псалмопевцы расточали ему хвалу как гению. Отец Паскевича — бывалый украинский помещик — заметил по этому поводу: «Що гений, то не гений, а що везе, то везе...»[1]

Получив крупные подкрепления, Паскевич успешно продолжил наступление, уже начатое Ермоловым. Он освободил Ереван, вступил в Тебриз и чуть ли не церемониальным маршем повел свои войска на столицу Ирана Тегеран. Иранский шах запросил мира. 10 (22) февраля 1828 г. в иранском местечке Туркманчай был подписан мирный трактат между Ираном и Россией. Текст его большей частью составил А.С. Грибоедов, проявивший себя блистательным дипломатом. Он же доставил трактат в Петербург. По условиям Туркманчайского мира Россия отняла у Ирана восточную Армению с городами Ереван и Нахичевань и развязала себе руки для борьбы с Турцией.

Николай I еще летом 1827 г. заявил о необходимости «принудительных мер» против Турции в защиту греков, которые продолжали с 1821 г. борьбу за независимость. Чтобы удержать Россию от единоличного выступления, Англия и Франция согласились вместе с ней блокировать греческое побережье и тем самым воспрепятствовать переброске турецких войск в Грецию. При этом западные державы хотели ограничиться «дружеской демонстрацией силы», не ввязываясь в войну с турками. Но, когда союзная эскадра вошла в Наваринскую гавань, где располагался турецкий флот (20 октября 1827 г.), турки открыли огонь. Завязалась ожесточенная битва, в которой флот турок был уничтожен. Решающую роль сыграли здесь русские моряки, в особенности экипаж крейсера «Азов» под командованием капитана 1-го ранга М.П. Лазарева — замечательного мореплавателя (первооткрывателя Антарктиды) и флотоводца. На борту «Азова» сражались ученики Лазарева — П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, будущие герои Севастопольской обороны. «Азов» один потопил два больших фрегата и корвет, сжег флагманский корабль турок с главнокомандующим на борту, заставил выброситься на мель 80-пушечное линейное судно. За этот подвиг крейсер «Азов» был награжден Георгиевским флагом — первый случай такой награды в истории русского флота.

В Лондоне и Париже о Наваринском сражении узнали с досадой. Король Англии Георг IV публично, в тронной речи назвал его «горестным событием». На полях указа о награждении адмирала Э. Кодрингтона, который командовал соединенной эскадрой при Наварине, король приписал: «Я посылаю ему ленту,

[1] *Давыдов Д.В.* Соч. М., 1962. С. 501.

хотя он заслуживает веревки». Послы Англии и Франции старались успокоить возмущенного султана, заверяя его в том, что их державы не хотят войны с Турцией и не поддержат Россию в случае русско-турецкого столкновения. Султан расхрабрился и призвал своих подданных к «священной войне» против России.

Война началась весной 1828 г., как обычно в русско-турецких войнах, — на двух фронтах: дунайском и кавказском. На Дунае русскими войсками командовал первый николаевский фельдмаршал П.Х. Витгенштейн, на Кавказе — Паскевич. Русская армия была явно сильнее турецкой, но Витгенштейн чрезмерно осторожничал всю кампанию 1828 г. и расположился на зимние квартиры, почти ничего не добившись. Паскевич, тоже не торопясь, успел тем не менее взять несколько турецких крепостей и подступил к сильнейшей из них — Карсу. Штурм Карса он назначил на 25 июня (день рождения Николая I), что могло бы кончиться для него плохо, ибо на помощь карскому гарнизону спешили войска Киос-паши. Только инициатива дивизионных генералов, завязавших бой 23 июня, погубила Карс и выручила Паскевича. То был первый в истории русско-турецких войн победоносный штурм Карса[1]. Все лавры этой победы достались Паскевичу, которому теперь царский двор курил фимиам больше прежнего, как «русскому Ахиллу».

В феврале 1829 г. Николай I заменил Витгенштейна Дибичем. Немецкий барон по имени Иоганн Карл Антон, переименованный на русский лад в Ивана Ивановича, Дибич был отличным начальником штаба, но не отличался талантами главнокомандующего. По мнению Дениса Давыдова, «ему была бы по плечу какая-нибудь войнишка с каким-нибудь гессенским курфюрстом, но вряд ли он мог бы управиться и с королем саксонским». В армии Дибича не любили, посмеиваясь над его внешностью: он был уродливый гном, толстый и кривоногий, с большой головой на маленьком теле и глазами навыкат. Мало кто не знал расхожего анекдота о том, как Павел I, едва увидев Дибича на гвардейском смотру, повелел: «Сего безобразного карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию».

Узнав о назначении Ивана Дибича главнокомандующим на Дунае, в то время как на Кавказе командовал Иван Паскевич, русские офицеры загрустили: «Ну, на двух Ваньках далеко не уедем!» («ваньками» звали в России плохих извозчиков). Однако все обошлось как нельзя лучше. На Кавказе Паскевич взял Эрзерум и пошел к Трапезунду — по турецкой земле. На Дунае же Дибич перевалил через Балканы и вступил в древнюю столицу

[1] В 1807 г. русские штурмовали Карс, но не смогли его взять, а после 1829 г. возьмут еще дважды — в 1855 и 1877 гг.

турецкой империи Адрианополь. Русские авангарды появились в 60 км от Константинополя.

Турция была на краю гибели. Чтобы не допустить падения Константинополя, западные державы побудили султана идти на любой мир с Россией. 2 (14) сентября 1829 г. мирный договор был подписан в Адрианополе, в старинном дворце турецких султанов, что подчеркивало унижение Турции. Согласно договору Россия завершила присоединение к себе основной территории Закавказья. Кроме того, Адрианопольский договор предоставил автономию Молдавии, Валахии и Сербии (ранее бесправным провинциям Турции), а через год — и независимость Греции. Царизм торжествовал победу, не скупясь на боевые награды. Дибич и Паскевич одновременно (22 сентября 1829 г.) были пожалованы в фельдмаршалы.

Выиграв войну 1828—1829 гг., Россия на этом не остановилась. Ее дипломатия воспользовалась конфликтом между Турцией и вассальным по отношению к ней Египтом в 1831—1833 гг. Дело в том, что наместник Египта, знаменитый Мухаммед-Али (основатель правившей в Египте до 1952 г. династии, «Наполеон Востока», как его называют) восстал против своего сюзерена, разбил турецкие войска и подступил к Константинополю. В этот критический для Турции момент Николай I дал понять, что поможет ей, если султан попросит о помощи, — султан попросил. В феврале 1833 г. эскадра наваринского героя М.П. Лазарева бросила якорь в Босфоре, а русский десант из 10 тыс. штыков высадился в местечке Ункяр-Искелеси (что значит «государева пристань») под самым Константинополем. После этого Мухаммед-Али ушел восвояси.

Следуя правилу «куй железо, пока горячо», российская дипломатия склонила правительство султана к подписанию 26 июня (8 июля) 1833 г. в Ункяр-Искелеси договора между Россией и Турцией о вечном мире, дружбе и оборонительном союзе. Россия обязалась предоставить султану при необходимости военную помощь, а Турция — закрыть пролив Дарданеллы от иностранных военных судов. Таким образом, Россия становилась неуязвимой со стороны Черного моря для любой нечерноморской державы.

Все эти успехи царизма вызвали ревнивое недовольство европейских правительств. Англия официально опротестовала Адрианопольский договор, Австрия расценила его как «несчастье». Еще больше были раздражены правительства Запада Ункяр-Искелесийским договором. Англия и Франция в два голоса заявили, что если Россия осмелится ввести в Турцию свои войска, они будут действовать так, как если бы Ункяр-Искелесийского договора «не существовало». Царизм проявил твердость, ответив, что если Турция призовет для своей защиты русские войска на основании Ункяр-Искелесийского договора, то Россия будет действовать так, как если бы протест Англии и Франции «не

существовал»[1]. Договор 1833 г., закрепивший господство России на Черном море, явился наивысшим успехом царизма в восточном вопросе; никогда еще царизм не был так близок к осуществлению своих ближневосточных замыслов, как в то время.

Сталкиваясь с великими державами в колониальной борьбе на Востоке, царизм действовал рука об руку с ними против революционного движения в Европе. Революция, в какой бы стране она ни произошла, рассматривалась правителями Европы как общий и самый страшный их враг, гораздо более опасный, чем все колониальные конкуренты, вместе взятые. Между тем в 30—40-е годы революция назревала по всей Европе. В июле 1830 г. она вспыхнула во Франции, еще раз после 1789 г. и теперь окончательно низвергнув Бурбонов. Система Священного союза получила внушительную пробоину. «Мы отброшены на 41 год назад!» — ужасался брат Николая I Константин. Царизм начал готовиться к интервенции во Францию. Через месяц разразилась революция в Бельгии, где королевствовала родная сестра Николая Анна (та, к которой в 1810 г. неудачно сватался Наполеон). Анна Павловна обратилась к брату за помощью. Николай с готовностью усилил подготовку к интервенции, рассчитывая подавить не только французскую, но и бельгийскую революцию.

К осени 1830 г. основные приготовления были завершены. Николай I ждал только известий о расправе с крестьянскими бунтами в центральной России, чтобы объявить о начале интервенции. Но 29 ноября 1830 г., как гром среди ясного неба, грянуло восстание в Польше, которое заставило царизм отложить интервенцию. «Теперь вы сами заняты у себя дома», — со вздохом сказал русскому послу в Вене император Австрии.

Главной причиной польского восстания 1830 г. был национальный гнет, которому подвергался народ Польши со стороны царизма. Наместник Царства Польского вел. кн. Константин Павлович грубо нарушал конституцию 1815 г., поощрял насильственную русификацию и произвол русских властей. Поводом же к восстанию послужили слухи о том, что царизм готовит мобилизацию поляков для интервенции в Бельгию. Восставшие захватили арсенал и дворец наместника (Константин Павлович едва успел бежать из Варшавы). 25 января 1831 г. сейм Польши объявил Николая I и его семью лишенными прав на польский престол.

Повстанческое правительство возглавил князь Адам Чарторыйский — крупнейший магнат, один из «молодых друзей» Александра I. Он и его соратники (дворяне, аристократы) преследовали только национальные задачи — восстановление государственности Польши, игнорируя задачи социальные. Они не

[1] *Татищев С.С.* Внешняя политика императора Николая I. СПб., 1887. С. 382—383.

пожелали отказаться от своих феодальных привилегий, не дали польскому крестьянству ни земли, ни свободы, тем самым оттолкнув его от себя, что и обрекло восстание на гибель.

Повстанческая армия Польши численно в 2—3 раза уступала царским войскам, которыми командовал Дибич, а после его смерти (в июне 1831 г. от холеры) — Паскевич. 8 сентября 1831 г. Паскевич штурмом взял Варшаву, завершив разгром восстания. Отныне русская часть Польши была фактически лишена автономии и, по выражению Ф. Энгельса, «оккупирована так крепко, что не могла́ и шевельнуться». Зато Польша ценой самопожертвования, вторично после восстания Т. Костюшко в 1794 г., спасла европейскую революцию, сорвав поход царизма против Франции и Бельгии.

Революционные бури 1830—1831 гг. напугали и озлобили Николая I. Он решил любой ценой возродить Священный союз, развалившийся из-за осложнений восточного кризиса 20-х годов. После долгих споров Николай в октябре 1833 г. заключил в Берлине договор о взаимопомощи с монархами Австрии и Пруссии, а чтобы привлечь к договору Англию, пожертвовал даже самым важным из свои́х завоеваний на Востоке: в 1840 г. он согласился утопить выигрышный для России Ункяр-Искелесийский договор в Лондонской конвенции четырех держав (России, Англии, Австрии, Пруссии), установивших коллективную опеку над Турцией. Однако новый Священный союз, менее сплоченный и мощный, чем прежний, не смог удержать под своей пятой Европу, которая с 20-х годов значительно окрепла духом. В феврале 1848 г. во Франции началась третья буржуазная революция, а вскоре она охватила и другие страны. Европейские троны зашатались.

Николай I получил известие о французской революции 20 февраля на балу. «Господа, — обратился он к свите, раскрасневшейся от танцев. — Седлайте коней! Во Франции провозглашена республика». 24 февраля он уже начал мобилизацию русской армии. Но вслед за Францией революция началась в Пруссии, затем в Австрии. Николай уже не знал, куда посылать войска. Царизм ощетинился штыками и ждал, не начнется ли очередная революция где-нибудь по соседству. Почти 400-тысячная армия была придвинута к западным границам империи. Царский манифест от 14 марта 1848 г. был своего рода объявлением войны революции, где бы она ни случилась. «Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» — устрашающе восклицал царь.

Готовый к интервенции царизм оказывал европейским монархам материальную и прочую помощь. Австрийскому императору он предоставил шестимиллионный заем для борьбы с революцией в Италии, турецкому султану — своему исконному внешнему врагу — помог подавить волнения в Дунайских княжествах. Каждое поражение революции приводило Николая I в восторг. Он радостно приветствовал душителя июньского 1848 г. восстания

в Париже генерала Э. Кавеньяка, могильщика итальянской революции фельдмаршала И. Радецкого, погромщика восстаний в Праге и Вене генерала А. Виндишгреца.

К лету 1849 г. реакции удалось взять верх почти повсеместно. Но в Венгрии, неподалеку от русских границ, революционное движение продолжало угрожающе нарастать. Победа венгерской революции, по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, могла привести к тому, что «Австрия исчезла бы, а Россия отброшена к границам Азии».

Разумеется, царизм не хотел допустить такого исхода. Собираясь помочь Австрийской империи, в состав которой входила тогда Венгрия, Николай I рассчитывал не только расправиться с венгерской революцией, но и связать Австрию чувством благодарности и вовлечь ее таким образом в фарватер российской политики. Положение Австрии было отчаянным. Насколько нуждалась она в помощи царизма, видно из того, что австрийский фельдмаршал Кабога чуть ли не от имени своего императора публично упал на колени перед фаворитом царя И.Ф. Паскевичем и, целуя ему руки, с плачем умолял спасти Австрию от венгров.

В июне 1849 г. Николай I двинул на помощь Австрии 150-тысячную русскую армию. О том, какое значение придавал Николай интервенции в Венгрию, ярко свидетельствует царский выбор главнокомандующего. Им был назначен сам Иван Федорович Паскевич — граф Эриванский, князь Варшавский, фельдмаршал трех европейских армий, наместник Польши, кавалер всех российских орденов, высший военный авторитет того времени и единственное лицо в России, которому при его появлении перед войсками отдавали такие же почести, как и царю. Николай I, который смотрел свысока на все и на всех в мире, перед Паскевичем благоговел, как солдат перед генералом, называл его своим «отцом-командиром» и считал панацеей от всех зол.

Инструкции Николая Паскевичу заняли всего три слова: «Не щади каналий!» Паскевич следовал им два месяца. 13 августа 1849 г. под Вилагошем армия революционной Венгрии была предана ее главнокомандующим А. Гергеем и сложила оружие. Венгерская революция погибла. Зато Австрийская империя была спасена.

Расправившись с венгерскими инсургентами, царизм закрепил поражение европейской революции. Международная реакция торжествовала победу и чествовала царизм как жандарма Европы, а Николая I как своего «Агамемнона». «Император Николай — господин Европы, — писал муж английской королевы Виктории одному из своих друзей. — Австрия — его орудие, Пруссия одурачена, Франция — ничтожество, Англия меньше нуля»[1]. Но Николай I после Вилагоша, как Наполеон после Тильзита, явно

[1] *Лависс Э., Рамбо А.* История XIX в. М., 1938. Т. 6. С. 65.

переоценил свои силы и возможности. Минута, когда он прочел донесение Паскевича: «Венгрия у ног Вашего Величества», — была пиком его величия. С той высоты, на которую вознес его 1849 год, быстрый и полный разгром Турции стал казаться ему легким делом, и он вознамерился одним ударом меча разрубить гордиев узел восточного вопроса. Николай схватился за меч, разразилась Крымская война, а с ней не замедлило последовать историческое возмездие. Таким образом, уже в триумфальном перезвоне 1849 г. прозвучал для царизма, говоря словами Ф. Энгельса, «первый удар похоронного колокола».

Историографическая справка. Режим Николая I почти все российские, как дореволюционные, так и советские, историки, кроме дворянских официозов (М.А. Корф, С.С. Татищев, Н.К. Шильдер), оценивают как апогей самодержавия и дворянско-крепостнической реакции. Подлинно научной биографии Николая I до сих пор нет. Апологетический труд Шильдера и критический — А.Е. Преснякова устарели, новинка Л.В. Выскочкова ориентирована на Шильдера[1].

Зато все аспекты внутренней политики Николая исследованы обстоятельно, хотя и несколько односторонне, с акцентом на обличении карательного (жандармского, цензурного и прочего) террора. Наиболее содержательны обзоры николаевской внутренней политики в 85-й лекции пятого тома «Курса русской истории» В.О. Ключевского, а из советской литературы — в «Очерках» и «Лекциях» по истории СССР С.Б. Окуня и в монографии А.С. Нифонтова «Россия в 1848 г.» (М., 1949). Правительственный аппарат царизма при Николае I исследован П.А. Зайончковским и Н.П. Ерошкиным[2], карательная политика — М.К. Лемке и И.М. Троцким[3]. Расправу николаевского режима с волнениями крестьян и военных поселян подробно, на солидной документальной базе освещали Е.С. Гессен, П.П. Евстафьев, С.В. Токарев и особенно Я.И. Линков[4].

В литературе о внешней политике Николая I выделяется глубокая и яркая работа А.В. Фадеева[5]. Обзорно о том же писала Н.С. Киняпина, а интервенцию царизма против венгерской революции исследовала Р.А. Авербух.

Николаевские реформы не вызывают у историков большого

---

[1] См.: *Шильдер Н.К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1—2; *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия. Николай I. М., 1925; *Выскочков Л.В.* Император Николай I: человек и государь. М., 2001.

[2] См.: *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978; *Ерошкин Н.П.* Крепостническое самодержавие и его политические институты (Первая половина XIX в.). М., 1981.

[3] См.: *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература. СПб., 1909; *Троцкий И.М.* III отделение при Николае I. Л., 1990.

[4] См.: *Линков Я.И.* Очерки истории крестьянского движения в России 1825—1861 гг. М., 1952.

[5] См.: *Фадеев А.В.* Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в. М., 1958.

интереса. Капитально изучена только реформа П.Д. Киселева. Ей посвящен классический труд Н.М. Дружинина[1] — один из самых значительных в советской историографии по содержанию и крупных по объему (102 п. л.). В нем исчерпывающе рассмотрены предпосылки, смысл и последствия реформы Киселева как серьезной, тщательно продуманной, но тем не менее заведомо обреченной на неудачу попытки царизма отыскать выход из назревшего кризиса феодально-крепостнической системы, не разрушая ее основ.

Наряду с книгой Н.М. Дружинина в обширной литературе о крестьянском вопросе при Николае I доныне сохраняет большую научную ценность давний труд В.И. Семевского[2].

Зарубежная литература о николаевской России невелика. В ней выделяется наблюдательностью, глубиной и остроумием (не без русофобской предвзятости) памфлет французского маркиза А. де Кюстина[3], о котором Герцен сказал: «Без сомнения, это — самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем». Заслуживают внимания также две биографии Николая I: апологетическая, но ценная обилием фактов, автор которой — французский писатель П. Лакруа, и более научная, хотя и менее насыщенная фактами, написанная русским эмигрантом К.К. Грюнвальдом[4].

---

[1] См.: *Дружинин Н.М.* Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. В 2 т. М., 1946. Т. 1; М., 1958. Т. 2.

[2] См.: *Семевский В.И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. СПб., 1888. Т. 2.

[3] См.: *Кюстин А. де.* Николаевская Россия. М., 1990.

[4] См.: *Lacroix P. de.* Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, empereur de Russie. P., 1865. V. 1—2; *Grunwald C. de.* La vie de Nicolas I. P., 1946.

Охранители

В борьбе против сил прогресса николаевская реакция использовала все виды оружия и все способы действия, которыми могла распорядиться. Наряду с тяжелыми репрессиями и легковесными реформами было и третье направление в охранительной политике самодержавия — разработка и пропаганда своей собственной, официальной идеологии.

Официальная идеология царизма преследовала двуединую цель: с одной стороны, разбить и опорочить демократическую идеологию, подорвать доверие к ней и лишить ее поддержки общества, а с другой стороны, оправдать и возвеличить существующий самодержавно-крепостнический строй, вдолбить в сознание россиян мысль о справедливости и незыблемости этого строя. По такому заказу сверху и появилась «теория официальной народности», которая стала государственной идеологией самодержавия. Смысл ее заключался в совокупности трех тезисов: 1) православие — основа духовной жизни народа, его нравственной чистоты и устойчивости; 2) самодержавие — опора и гарант российской государственности, ее бытия, могущества и величия; 3) народ российский по природе своей религиозен и царелюбив, предан самодержавию и православию, «един» с царем, как царь «един» с народом. Итак, *православие, самодержавие, народность* — вот три ипостаси «теории официальной народности», ее «столпостены», как выразился М.П. Погодин.

Отдельные элементы этой теории содержались еще в записке Н.М. Карамзина «О древней и новой России», где утверждалось, что в крепостной России, как ни в какой «земле Европейской», «блаженствует народ, цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны». Те же идеи декларировались в манифестах Николая I по случаю его восшествия на престол и казни декабристов, даже в циркулярах III отделения, но смонтировал их в целостную систему министр просвещения граф С.С. Уваров. Именно он в 1832 г., будучи еще товарищем министра, сформулировал в отчете царю о ревизии Московского университета все три «столпостены» теории; а в циркуляре попечителям учебных округов 1834 г. он, уже став министром, провозгласил ее непреложным руководством для народного образования, науки, литературы, искусства, воспитания молодежи, как

«последний якорь спасения» России от всех и всяческих крамол, как «умственную плотину» против идей революции. Поэтому тезисы «православие, самодержавие, народность» современники назвали «уваровской троицей»[1].

С позиций «теории официальной народности» была сочинена и стала ее сердцевиной особая концепция исторического развития России. Шеф жандармов А.Х. Бенкендорф афористически обрисовал ее содержание: «Прошлое России удивительно, настоящее более чем великолепно, будущее выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение». «Научно» же развернул и обосновал концепцию профессиональный историк Михаил Петрович Погодин — сын крепостного крестьянина, в 40 лет академик, приватный советник Николая I, человек ярких способностей и архаических убеждений, сочетавший в себе поклонение самодержавию и сострадание к людям социального дна (являвший собою, по выражению поэта Н.Ф. Щербины, «демократства и холопства удивительную смесь»).

В качестве исходного пункта для своей концепции Погодин вслед за Карамзиным взял норманскую теорию происхождения Российского государства: «Наше государство началось не вследствие завоевания, а вследствие призвания» (варяжских князей). Здесь Погодин, как никто до него, усмотрел и подчеркивал источник особых, взаимно доверительных, патриархальных отношений между народом и им призванной властью на Руси, источник единения всех россиян вокруг престола. Разумеется, и крепостное право как детище призванной народом власти, как подпора самодержавия у Погодина тоже «сохраняет в себе нечто патриархальное, и хороший помещик лучше охраняет интересы крестьян, чем это могли бы сделать они сами». Что касается царизма, то Погодин, гиперболически его восхваляя, провозглашал, что для российского самодержца нет ничего невозможного, ибо он — ни мало ни много — «пол-экватора, четверть меридиана». Все это Погодин излагал, не утруждая себя аргументами, но очень напористо, в агрессивном тоне. «Читая Погодина, — иронизировал Герцен, — все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате».

Все выступления против царизма получили с позиций «теории официальной народности» ярлык «случайных злодейств», которые якобы «не в свойствах и не в нравах» русского народа. Истинная же Россия, с точки зрения теории, — «спокойное» и «устойчивое» крепостное государство, которое противостоит мятущемуся и разлагающемуся буржуазному Западу. Стало быть, залог счастливого будущего России заключается в том, чтобы поддерживать ее исконные самодержавно-крепостнические устои и

[1] Название «теория официальной народности» впервые употребил А.Н. Пыпин в статьях 1872 г. для журнала «Вестник Европы».

пресекать подрывающие их «случайные злодейства». А.И. Герцен верно подметил, что царизм «бежал в народность и православие от революционных идей».

«Теория официальной народности» была вредна более всего тем, что она пропагандировала народность как преданность и покорность самодержавию. «Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что не свободен», — резонерствовал управляющий III отделением Л.В. Дубельт. Таким образом, официальные (включая жандармских) теоретики целились выбить из рук врагов самодержавия их идейное оружие — понимание роли народа как главной преобразующей, революционной силы.

Для того чтобы как можно глубже внедрить «уваровскую троицу» в сознание россиян, царизм осуществил тотальную мобилизацию всех средств пропаганды. «Теория официальной народности» насаждалась повсеместно — от деревенских церквей до столичных университетов. Ее усиленно продвигала во все слои общества агентура III отделения. В помощь III отделению были мобилизованы как наемные, платные, так и «вольноопределяющиеся», «добросовестно раболепные» (по выражению Герцена) профессионалы: тот же Погодин и Н.Г. Устрялов — в исторической науке, С.П. Шевырев и О.И. Сенковский — в филологии, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин — в журналистике, М.Н. Загоскин и Н.В. Кукольник — в беллетристике. Каждый из этих людей был по-своему талантлив, но все они поставили свой талант на службу «официальной народности». Одни, как Устрялов и Булгарин, делали это в большей мере, другие (Загоскин, Сенковский) — в меньшей. Их официозность вызывала резко негативное отношение к ним лучшей части русского общества. Сенковский (литературный псевдоним: Барон Брамбеус) прослыл беспринципным злоязычником, который, по отзыву Герцена, «поднимал на смех все самое святое для человека», а Кукольник сам был предметом насмешек из-за того, что еженедельно устраивал вечера в свою честь и на них провозглашал: «Кукольник велик! Кукольника потомство оценит!»[1]

Самыми ревностными толмачами и живым олицетворением «столпостен» «официальной народности» были два друга-единомышленника, «сиамские близнецы», по выражению Герцена, и «грачи-разбойники», по выражению Пушкина, герои басни Крылова «Кукушка и петух» Николай Греч и, в особенности, Фаддей Булгарин. История отечественной культуры, пожалуй, не знает другого лица, которое стало бы мишенью стольких язвительных эпиграмм, сколько их написано о Булгарине[2]. Его высмеивали, не стесняясь в выражениях, Пушкин и Лермонтов, Вяземский и Баратынский, Денис Давыдов и Некрасов. Двурушник и согляда-

[1] *Панаева А.Я.* Воспоминания. М., 1956. С. 62.

[2] 40 из них опубликованы в кн.: Русская эпиграмма (XVIII — нач. XX в.). Л., 1988.

тай, «литературный полицмейстер» (как назвал его Герцен), постоянный осведомитель и холоп Дубельта, в письмах к которому он подписывался: «верный до гроба и *за гробом*», Булгарин снискал себе такое отвращение всех неподкупных, что его называли не иначе как «Фаддей Дубельтович Фиглярин».

Глашатаи «официальной народности» располагали значительным числом периодических изданий. Самыми авторитетными среди них были журналы «Сын отечества» Булгарина, «Москвитянин» Погодина, «Библиотека для чтения» Сенковского, «Московский наблюдатель» Шевырева, газета «Северная пчела» Булгарина и Греча. Эта последняя считалась полуофициозом и выходила с 1825 г. (с 1831 г. — ежедневно) под покровительством III отделения. Булгарин издавал ее сначала один, а с 1831 до 1860 г. вместе с Гречем. Как пример верноподданнического энтузиазма Герцен приводил следующий перл, напечатанный Булгариным в «Северной пчеле»: «Между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой — в Кремле!»

III отделение всячески содействовало распространению «Северной пчелы» и в определенных кругах — с большим успехом. Цензор А.В. Никитенко свидетельствовал, что петербургские чиновники «ничего не читают, кроме «Северной пчелы», в которую верят, как в Священное писание». Впрочем, власти покровительствовали и другим рупорам официальной народности. Так, министр Уваров специальным циркуляром обязал всех директоров гимназий выписывать и распространять журнал Погодина «Москвитянин».

Оглядываясь с высоты последующих лет на 30—40-е годы, Герцен заключил, что то было время, когда в русской литературе начали господствовать журналы: «Они вбирают в себя все умственное движение страны <...> Ни в одной стране, исключая Англию, влияние журналов не было так велико». Поэтому передовые люди России опасались разлагающего воздействия рептильных изданий на умы соотечественников. Однако со временем выяснилось, что эти издания значительно уступают в популярности прогрессивным журналам — таким, как «Современник» Пушкина, Вяземского, Некрасова, «Отечественные записки» А.А. Краевского, «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И. Надеждина. Все большее число читателей соглашалось с мнением, которое высказал об органах «официальной народности» Вяземский: «Они так грязны, что нельзя читать их иначе как в перчатках».

Царизм это видел и старался возвысить в глазах своих подданных «теорию официальной народности», не только поощряя все, что было с нею в ладу, но и подвергая гонениям то, что

оказывалось ей не в лад. Стоило редактору журнала «Московский телеграф» Н.А. Полевому критически отозваться в 1834 г. об охранительной пьесе Нестора Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», как журнал Полевого был закрыт, сам Полевой угодил в ссылку, зато Кукольник сделал на этом карьеру. Тогда получила широкое хождение эпиграмма, авторство которой приписывали Пушкину, Вяземскому и Денису Давыдову:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого удушила.

В 1836 г. судьбу Полевого и «Московского телеграфа» разделили Н.И. Надеждин и его журнал «Телескоп» — за публикацию «Философического письма» П.Я. Чаадаева, которое шло вразрез с охранительными взглядами на прошлое, настоящее и будущее России.

Теряя всякое чувство меры, царизм пытался сделать идеологию «официальной народности» основой всей духовной жизни страны. В музыке, например, верхом совершенства был объявлен государственный (при дворе его называли *народным*) гимн Российской Империи, сочиненный ротмистром А.Ф. Львовым на стихи В.А. Жуковского «Боже, царя храни...». «Композитор» Львов был адъютантом шефа жандармов и сочинял свои опусы прямо в стенах III отделения. 31 декабря 1833 г. Николай I высочайше утвердил гимн Львова и повелел отныне и навсегда исполнять его на всех, от мала до велика, торжествах и концертах[1].

Но, естественно, наибольшую заботу царизм проявлял о том, чтобы «правильно», т. е. под знаменем «официальной народности», развивалась главная сфера духовной жизни — литература. В противовес классической литературе Пушкина и Гоголя насаждалась литература казенная, о которой В.Г. Белинский писал, что она «делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе как по матерну». Впрочем, главный ex officio пастырь национальной культуры, который больше 10 лет совмещал посты министра народного просвещения и президента Академии наук, граф Уваров предпочитал решить вопрос об отечественной литературе более радикально. «Хочу, — говорил он попечителю Петербургского учебного округа кн. Г.П. Волконскому, — чтобы, наконец, русская литература *прекратилась*. Тогда я, по крайней мере, буду спать спокойно»[2]. Такое желание было высказано не

[1] До тех пор Россия не имела государственного гимна. Вместо него использовался английский национальный гимн «Боже, храни королеву...» с русским текстом Жуковского.

[2] *Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 276.

в горячечном бреду, а с расчетливой готовностью пожертвовать, если понадобится, всем, даже литературой, ради укрепления триады «православие, самодержавие, народность». Нечто подобное внушал знаменитому историку Т.Н. Грановскому другой граф, отнюдь не мракобес, попечитель Московского учебного округа С.Г. Строганов: «Есть блага выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища»[1].

К счастью для России, столь далеко идущие желания охранителей «православия, самодержавия, народности» не осуществились.

Либералы

Николаевская (как и ранее аракчеевская) реакция не смогла задушить освободительное движение. В условиях аракчеевщины выступили против самодержавия и крепостного права декабристы, а при Николае I возникла гораздо более широкая оппозиция, внутри которой параллельно, то сближаясь, то борясь друг с другом, развивались два крыла — революционное и либеральное.

Начало либеральному крылу положил литературно-философский кружок, который образовался зимой 1831—1832 гг. в Московском университете вокруг студента Николая Владимировича Станкевича и продолжал действовать после того, как в 1834 г. Станкевич окончил университет. В кружке объединились очень разные люди: будущие славянофилы (К.С. Аксаков, историк О.М. Бодянский) и западники (Т.Н. Грановский, В.П. Боткин[2]), революционеры (М.А. Бакунин, В.Г. Белинский) и даже охранители (М.Н. Катков). Они уже тогда отличались друг от друга по взглядам, но были связаны общим интересом к философии и литературе, а также обаянием личности Станкевича. Поэт и философ по специальности и по складу характера, интеллигентный, мягкий, терпимый, «живой идеал правды и чести», по словам его биографа П.В. Анненкова, Станкевич умел стимулировать творческие силы близких к нему людей. Именно он помог раскрыться таланту народного поэта А.В. Кольцова, буквально «засадил» за философию Бакунина.

Философия была главным предметом дискуссий в кружке Станкевича. Изучались и обсуждались системы преимущественно немецких мыслителей — И. Канта, Ф. Шеллинга, И. Фихте и особенно Г. Гегеля, который был для кружковцев общепризнанным кумиром. Тогда вообще было в моде среди русских дворян

[1] Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 463.

[2] Публицист и критик, старший брат великого русского врача-терапевта С.П. Боткина.

повальное увлечение гегельянством. А.М. Жемчужников (один из создателей Козьмы Пруткова) сочинил об этом стихи:

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская.

Философские дискуссии в кружке Станкевича сочетались с политическими. Все кружковцы ненавидели крепостное право и возмущались произволом самодержавия, но обновить, демократизировать Россию они предполагали не революцией, а просвещением. «Я уважаю человеческую свободу, — говорится в одном из писем Станкевича 1838 г., — но знаю хорошо, в чем она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть». Такой взгляд в принципе разделяли тогда все участники кружка, продолжавшие встречаться уже без своего лидера. В 1837 г. чахоточный Станкевич уехал на лечение за границу и там, в Италии, летом 1840 г. умер, не дожив до 27 лет.

Кружок Станкевича ограничивался самообразованием и разработкой идейной платформы для российского либерализма, не прибегая к каким-либо акциям против самодержавия или его идеологии. Первым из либерально-демократической среды выступил с такой акцией Петр Яковлевич Чаадаев — блестящий, энциклопедически образованный офицер, внук историка кн. М.М. Щербатова, друг А.С. Пушкина и адресат замечательных пушкинских посланий, в прошлом декабрист. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес», — писал о нем Пушкин. Фридрих Шеллинг считал Чаадаева «самым умным из известных ему умов».

В 1836 г. Чаадаев напечатал в журнале «Телескоп» первое из своих «Философических писем», которое, по словам Герцена, «разбило лед после 14 декабря» и «потрясло всю мыслящую Россию». Вопреки идеологам «официальной народности», прославлявшим «великолепие» российской истории, Чаадаев показал (даже с чрезмерным акцентом), что история России мрачна, ее настоящее невыносимо, а будущее, если она останется в «жестоком рабстве», грозит ей катастрофой. «В общем, мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений», — меланхолически заключал Чаадаев. Царизм ответил на это залпом репрессий: «Телескоп» был закрыт, его редактор Н.И. Надеждин сослан на север в глухой Усть-Сысольск, а Чаадаев высочайше объявлен сумасшедшим и навсегда лишен права печататься.

Однако предать слово Чаадаева забвению не удалось; оно «прозвучало подобно призывной трубе, — вспоминал о нем Герцен. — Сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса». Далеко не все даже самые передовые умы России согласились с Чаадаевым — особенно в его оценке российской истории. Пушкин за три месяца до смерти в письме к Чаадаеву от 19 октября

1836 г. (не отправленном из-за репрессий против Чаадаева) восклицал: «А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! <...> Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам бог ее дал». Но тот же Пушкин, а затем Герцен и другие признавали, что в письме Чаадаева «многое глубоко верно». Вопрос о судьбах России, так остро поставленный Чаадаевым, стал отныне и навсегда главною злобой дня. Именно в оценке прошлого и будущего российской державы разошлись, обособились и пошли друг на друга внутри либерального общества так называемые *славянофилы* и *западники* (такие названия, которыми они насмешливо обменялись в пылу борьбы, закрепились за ними в истории).

Началом славянофильства считают 1839 год, когда поэт А.С. Хомяков и философ И.В. Киреевский выступили с двумя статьями, которые схематично излагали всю славянофильскую доктрину. Кстати, Хомяков был не только зачинателем славянофильства, но и главным его бойцом, «Ильей Муромцем», который, по воспоминаниям Герцена, всегда был готов к словесному поединку («как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный») и спорил с кем попало и как попало: «...забрасывал словами, осыпал остротами и цитатами, пугал ученостью и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя».

Кроме Хомякова и братьев Киреевских (Ивана и Петра), видными славянофилами стали братья Иван и Константин Аксаковы (сыновья писателя С.Т. Аксакова), Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, В.И. Даль (автор классического «Толкового словаря живого великорусского языка») и другие, преимущественно литераторы. Организационно они, как и западники, не оформились, объединившись идейно. Среднепоместные дворяне по происхождению, славянофилы выражали интересы той части помещиков, в хозяйствах которых уже зарождались капиталистические отношения. Поэтому они выступали против крепостного права, но считали, что Россия развивается путем, отличным от Запада. Для них западноевропейский путь был неприемлем из-за того, что он сопряжен с революциями, разрушительные последствия которых (особенно пролетаризация городских и пауперизация сельских работников) ведут к загниванию Запада. Отсюда славянофилы делали вывод о необходимости для России особого пути развития. «Одно спасение нам в нашей самобытности, — утверждал И.С. Аксаков. — Не за что ухватиться на Западе — все кругом раскачалось и качается». Тезис об исключительности, самобытности развития России — основополагающий в концепции славянофилов. Здесь они смыкались с идеологами «официальной народности».

Вслед за Погодиным славянофилы восприняли норманскую теорию происхождения государства на Руси и, опираясь на идею

доверительно-полюбовных отношений между русским народом и властью как «званым гостем» народа, соглашались с выводом охранителей о том, что революции чужды самой природе россиян. Итак, по мнению славянофилов, первое своеобразие развития России — отсутствие революционных потрясений; революции якобы характерны только для Запада, но Запад потому и «гниет».

Второе своеобразие — извечное существование в России сельской общины, которая, по их мнению, должна была предохранить Россию от «язвы пролетариатства» и других болезней капитализма. Здесь внешне славянофилы предвосхитили народников с их верой в крестьянскую общину, но только внешне. Народники предполагали, опираясь на общину, вести Россию вперед — через преодоление еще не утвердившегося капитализма, в социализм, славянофилы же — назад от капитализма, в допетровскую Русь. На взгляд славянофилов, Петр Великий своими реформами «испортил» историю России, оторвал ее от «родного исторического основания» и направил по чуждому пути Запада. Следовательно, требовалось исправить допущенные Петром «искажения» национального развития и вернуться к допетровскому самодержавию с Земским собором.

Правда, на этом славянофилы не останавливались. «Их» Земский собор должен был гарантировать в России свободу общественного мнения (при самодержавии!). «Сила власти — царю, сила мнения — народу» — так формулировал Константин Аксаков политическое credo славянофилов. Что касается крепостного права, то славянофилы считали его злом, «страшным подкопом» (по выражению Ю.Ф. Самарина) под безопасность России. «Рабы сегодня — бунтовщики завтра, — говорил Константин Аксаков. — Из цепей рабства куются беспощадные ножи бунта». Поэтому славянофилы ратовали за отмену крепостного права, но только сверху, по инициативе правительства и руками самих помещиков, так, чтобы крепостные «души» были освобождены с землей за выкуп в пользу душевладельцев.

Выступление славянофилов против крепостного права было их главной, но не единственной исторической заслугой. Они справедливо осуждали низкопоклонство перед заграницей, призывали изучать и сохранять памятники отечественной культуры, сами многое делали для того, чтобы сберечь национальные традиции, язык, обряды, реликвии быта и культуры, одежду и пр., хотя не избежали при этом нарочитости. Константин Аксаков, к примеру, одевался так национально, что, по рассказу П.Я. Чаадаева, «народ на улицах принимал его за персианина».

Царизм не усматривал в славянофилах серьезной опасности для себя, поскольку они признавали самодержавие и, более того, панславистски считали именно царскую Россию богоугодным вождем всего славянского мира. Выступление же их против крепостного права (умеренное, в рамках самодержавного строя)

не могло слишком беспокоить правительство, которое само время от времени обсуждало проекты освобождения крестьян. Поэтому Николай I относился к славянофилам с благожелательной строгостью и никого из них не покарал. В 1849 г., ознакомившись с ответами И.С. Аксакова следователю III отделения, он начертал на них ряд отеческих внушений и повелел шефу жандармов А.Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти!»

Зато в самом либеральном обществе против славянофилов выступили западники, у которых (в отличие от славянофилов, преимущественно литераторов) ведущую роль играли крупнейшие в России того времени историки: Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, П.Н. Кудрявцев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. Впрочем, среди западников тоже были литераторы — П.Я. Чаадаев, П.В. Анненков, В.П. Боткин, М.Н. Катков. Примыкали к ним и такие классики отечественной литературы, как И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин. Кроме дворянской интеллигенции и обуржуазившихся помещиков круг западников включал и выходцев из буржуазной среды (Боткин после смерти отца стал даже владельцем крупной торговой фирмы).

Идейная платформа западничества сложилась в противовес славянофильству примерно к 1841 г. Прежде всего западники обрушились на славянофильское противопоставление путей развития России и Запада. Они, наоборот, стремились доказать общность исторических судеб всех европейских народов. Даже в родовом строе Древней Руси они находили общее с патриархальным бытом Запада. При этом, однако, западники, опровергая теорию славянофилов, впадали в противоположную крайность, а именно идеализировали Запад, его культуру и преувеличивали благотворность его влияния на Россию. Петра Великого они восхваляли как монарха-реформатора и, когда умер Николай I, ставили Петра в пример Александру II, чтобы побудить нового царя к реформам à la Петр.

Впрочем, политическая программа западников принципиально не отличалась от славянофильской. Как и славянофилы, западники отрицали революцию в принципе. Отменить крепостное право они предполагали сверху, постепенно, при освобождении крестьян с землей за выкуп в пользу помещиков. Дальше славянофилов западники шли в одном пункте: они выступали против самодержавной формы правления, за конституционную монархию, идеалом которой считали «парламентаризм» короля Луи Филиппа и его премьер-министра Ф. Гизо во Франции. Именно это расхождение делало западников в глазах властей более опасными, чем славянофилы, и ставило их как оппонентов славянофильства в невыгодное положение. Вот мнение Герцена: «Славянофилы защищали православие и национальность <...> Поэтому они могли говорить почти все, не рискуя потерять орден, пенсию, место

придворного наставника или звание камер-юнкера»; они как бы «показывали кулак из-за стен Кремля и Успенского собора», тогда как западники бранили их с вынужденной оглядкой на Петропавловскую крепость.

Тем не менее дискуссии между западниками и славянофилами были жаркими. Они кипели в литературных салонах Москвы (у Чаадаева, известного мемуариста Д.Н. Свербеева, матери братьев Киреевских А.П. Елагиной), куда «сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр...»[1]. Споры западников и славянофилов тоже едва не доходили до кулачных боев. Был даже случай, когда друзья с трудом удержали П.В. Киреевского и Т.Н. Грановского от дуэли.

В стороне от этих споров работал над своими конституционными проектами кандидат прав Харьковского университета, чиновник Министерства внутренних дел Аркадий Васильевич Бердяев. В мае 1845 г. его дворовый донес в III отделение о «злоумышлении» своего барина, хотя не мог уразуметь сути «зла», поскольку барин «сходбищ» у себя не устраивал, а с редкими гостями разговаривал обычно по-французски. Бердяев был арестован. При обыске у него изъяли три конституционных проекта: «Проект русской конституции», «Конституция России», «Конституционное уложение»[2].

Все проекты были адресованы царскому правительству, которое Бердяев надеялся побудить к конституционным реформам. Он выступил не только против «официальной народности», но и против славянофилов. По его мнению, допетровская Русь влачила жалкое существование: «Мы прозябали без мысли, без образованности. Иоанн IV вешал и рубил нас по произволу <...> Самозванцы играли народным легковерием — и реки крови были платой этой игры <...> Мы оставались в неподвижности». Петр I — этот гений, который, на взгляд Бердяева, стоит «выше всех великих государственных деятелей мира всех времен и народов», — «возвеличил Россию во всех отношениях», подняв ее до уровня мировой цивилизации. Но после Петра самодержавие регрессировало и притормозило национальное развитие России. Дальнейший прогресс невозможен без радикальной реформы, основные положения которой у Бердяева совпадают с программами декабристов (исключая их ставку на восстание): замена самодержавия конституционной монархией, отмена крепостного права,

---

[1] *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 156.

[2] Все они были обнаружены и впервые проанализированы И.А. Федосовым (см. его кн. «Революционное движение в России во второй четверти XIX в.». М., 1958. С. 210—241).

равенство «всех русских» перед законом, бессословный суд, свобода вероисповедания, слова, печати, собраний.

Следствие по делу Бердяева шеф жандармов А.Ф. Орлов подытожил такой резолюцией: «Допрошу его сам; если ничего не откроет, то Высочайше повелено считать его сумасшедшим и посадить в Алексеевский равелин, впредь до приказания». Только «чистосердечное раскаяние» и ходатайства родственников спасли Бердяева от участи Чаадаева, усугубленной заточением в самую страшную тюрьму империи. Бердяев был сослан в Симбирск, заболел там «припадками меланхолии» и пытался покончить жизнь самоубийством, а после выздоровления водворен в собственное поместье.

Особое место на левом крыле западничества занимал в 40-е годы Тимофей Николаевич Грановский — профессор всеобщей истории Московского университета, человек удивительного таланта и обаяния. Три его курса публичных лекций о европейском средневековье (в 1843—1844, 1845—1846 и 1851 гг.) привлекали массу слушателей из разных слоев общества и становились событиями не только для Москвы, но и для всей России. Герцен свидетельствовал, что на лекциях Грановского «слушатели задыхались от восторга», с «воплем, неистовством одобрения» рукоплескали лектору, осыпали его цветами, требовали его портреты.

В отличие от Карамзина и в противоположность Погодину, Грановский «передавал науку, которую уважал глубоко и в которую честно верил, как сам принимал ее, — не искажая, не силясь согнуть ее если не в систему, так в дугу»[1]. Он трактовал исторический прогресс как развитие гуманных идей, просвещения и нравственности, явно предпочитая эволюцию революции, реформы сверху восстаниям снизу. При этом, однако, Грановский на примерах европейской истории так убийственно обличал крепостничество и с таким убеждением подводил слушателей к выводу о том, что крепостное право в России должно погибнуть, как оно погибло на Западе, что кафедра Грановского становилась, как это заметил Герцен, «трибуной общественного протеста». По авторитетному мнению В.О. Ключевского, именно Грановский «научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу» и тем самым «создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора».

Много лет спустя (в 1867 г.) Н.А. Некрасов вспоминал о 40-х годах:

> Белинский жил тогда, Грановский, Гоголь жил,
> Еще найдется славных двое-трое —
> У них тогда училось все живое.

---

[1] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М., 1963. Т. 6. С. 374. «Он вполне очеловечен наукою, — читаем о Грановском в дневнике А.В. Никитенко. — <...> Он был чист, как луч солнца, от всякой скверны нашей общественности».

«Двое-трое», не названные здесь, — это в первую очередь Герцен и Огарев, самые имена которых с 1850 до 1905 г. были запрещены цензурой. В 30—40-е годы они дружески общались с участниками кружка Станкевича, выступали вместе с западниками против славянофилов, но, в отличие от тех и других, тяготели к революционному образу мышления, шокируя своей непримиримостью ортодоксальных либералов. «Уже тогда, в 1833 г., — вспоминал Герцен об идейных исканиях своей юности, — либералы смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги».

Революционеры

Революционную традицию декабристов первыми продолжили в николаевской России тайные кружки еще 20-х годов, участники которых считали себя «остатками от 14 декабря». Некоторые исследователи называют их, не вполне справедливо, «эпигонами декабризма». Хотя все эти кружки были малолюдны и слабы, не обладали никакими средствами для революционного выступления и не имели никаких шансов на успех, они знаменовали собой отнюдь не упадок освободительной борьбы, а вступление ее в новую, еще более опасную для самодержавия фазу.

Последекабристские кружки были более демократичны по составу. В них объединялись уже не блестящие гвардейские, а скромные армейские офицеры, мелкие чиновники и главным образом студенты. Центр революционного движения перемещался в Москву, где правительственные репрессии были слабее, а студенческая среда — социально разнороднее и, следовательно, демократичнее, чем в Петербурге. В Московском университете дворяне составляли лишь одну треть студенчества. Их вытесняли разночинцы[1], в основном малоимущие. Они материально бедствовали и, по смыслу аксиомы К. Маркса, «каков образ жизни людей, таков и образ их мыслей», роптали, а самые активные поднимались на борьбу. При этом они шли дальше декабристов в одном очень важном пункте: рассчитывали на переворот силами армии с *обязательным* привлечением народа. Практически их кружки почти ничего не успели сделать и значение их определяется более в идейном смысле — это начало перехода от дворянской революционности (для народа, но без народа) к революционности разночинской («не только для народа, но и посредством народа»)[2].

Первым по времени из последекабристских кружков в Москве стал кружок трех братьев (П., М. и В.) Критских — выпускников

[1] *Разночинцы* — юридически неоформленная категория населения России XIX в.: выходцы из разных сословий, получившие образование.

[2] Так позднее сформулируют этот тезис идеологи народничества П.Л. Лавров и М.А. Бакунин.

университета, сыновей мелкого чиновника. Члены кружка (студенческая и чиновничья молодежь) боготворили декабристов и ненавидели их палача Николая I, сочинив о нем такое четверостишие:

Если бы вместо фонаря,
Часто гаснущего от непогоды,
Повесить русского царя,
То заблистал бы луч свободы.

Продолжателями дела декабристов выступали во второй половине 20-х годов и некоторые кружки на периферии — в Оренбурге, Новочеркасске, Владимире.

С начала 30-х годов возникает новая группа кружков — под воздействием уже не только декабристских идей, но и крестьянских бунтов в России, а также революций на Западе 1830—1831 гг. Самым крупным из них стал кружок еще одного выпускника Московского университета, отставного губернского секретаря Н.П. Сунгурова с участием более 30 человек (в том числе 12 студентов, 9 чиновников, 8 военнослужащих). Сунгуровцы ставили перед собой умеренную цель — конституционную монархию, но выбрали на пути к ней самое радикальное средство, а именно вооруженное восстание силами войск московского гарнизона при поддержке мастеровых (в частности, Тульского оружейного завода) и крестьян. Не столь многолюдным и радикальным, но гораздо более значимым, чем сунгуровский и любой другой из революционных кружков того времени, стал кружок Герцена и Огарева.

Внебрачный сын богатого помещика И.А. Яковлева и его гувернантки Луизы Гааг (с фамилией, придуманной отцом от немецкого слова «Herz» — сердце), Александр Иванович Герцен родился в Москве 6 апреля 1812 г., за 2,5 месяца до нашествия Наполеона на Россию. Когда Наполеон занял Москву, он именно отцу Герцена поручил отвезти в Петербург к Александру I письмо с предложением мира. Рассказы о войне 1812 г. были для юного Герцена его, как он выразился, «Илиадой и Одиссеей», вольнолюбивые стихи Пушкина, Рылеева, Шиллера — любимой духовной пищей, а восстание декабристов — гражданским прозрением. «Казнь Пестеля и его товарищей, — вспоминал Герцен, — окончательно разбудила ребяческий сон моей души». 19 июля 1826 г. на торжественном молебне в Кремле по случаю казни декабристов 14-летний Герцен поклялся «отомстить за казненных».

Точно так же формировалось революционное мировоззрение и Николая Платоновича Огарева, который был на полтора года моложе Герцена. Они познакомились еще в 1823 г. (по другим данным, в 1824 или 1825) и с того времени прошли рука об руку весь свой жизненный путь. О степени их близости Герцен сказал так: «Я без Огарева — один том недоконченной поэмы». В 1827 г. на Воробьевых горах, «в виду всей Москвы», они дали

свою «Аннибалову клятву» «пожертвовать жизнью на избранную борьбу» и остались верны этой клятве до конца своих дней.

В 1829 г. Герцен и Огарев поступили в Московский университет с намерением не просто учиться, а именно «действовать». «Мы были уверены, — вспоминал Герцен, — что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней». В начале 1831 г. вокруг Герцена и Огарева сложился кружок друзей-единомышленников, среди которых выделялись Н.И. Сазонов, Н.М. Сатин, В.В. Пассек, А.Н. Савич, Н.Х. Кетчер.

Подобно другим революционным кружкам 30-х годов, кружок Герцена—Огарева имел не столько литературный и философский (как, например, кружок Станкевича), сколько политический характер. Его участники изучали опыт Французской революции 1789 г. и европейских революций 1830—1831 гг., обсуждали уроки заговора декабристов, жарко спорили о путях преобразования России и, говоря словами Герцена, «росли в этом трении друг об друга». Главное же, именно в кружке Герцена—Огарева впервые началась разработка теории русского социализма.

Двоякая причина толкала участников кружка к изучению социалистических идей: они осознали слабости декабристского заговора и разочаровались в возможностях буржуазных революций (на свежем примере революции 1830 г. во Франции). Герцен и Огарев со товарищи обратились к идеям французских утопических социалистов (в первую очередь, крупнейшего из них — А. Сен-Симона), чтобы с их помощью найти самый перспективный путь к преобразованию России, и увлеклись ими потому, что они отвечали их неприятию как российской, так и европейской действительности. «Мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга», — писал Герцен. Иначе говоря, не Сен-Симон привел Герцена и Огарева к социализму, а действительность России, толкавшая Герцена и Огарева к социализму, привела их к Сен-Симону.

Восприняв идеи западного утопического социализма, Герцен и Огарев уже тогда, в начале 30-х годов, усомнились в том, что путь к социализму лежит через полюбовное сотрудничество народа и власти, как полагали Сен-Симон, Фурье, Оуэн и др. Во взглядах Герцена и Огарева тогда же, пока еще недостаточно отчетливо, обнаружилось сочетание идеи социализма с идеей революции, что затем так ярко проявится в народничестве 60—70-х годов и что являет собой главное отличие русского утопического социализма от европейского.

Царизм счел опасным для себя в последекабристских кружках не новое, а старое (преемственность декабризма) и расправлялся с ними палачески. Члены кружка братьев Критских были без суда заключены в Петропавловскую крепость и тюрьму Соловец-

кого монастыря, а участникам кружка Н.П. Сунгурова суд вынес дикий по своей жестокости приговор: 2 человека — к четвертованию, 9 — к повешению, 1 — к расстрелу (лишь семь месяцев спустя царь заменил умерщвление каторгой и ссылкой). «Лишить живота», т. е. казнить, следовало, по мнению Николая I, и участников кружка Герцена—Огарева, поскольку они «оскорбили Величество пением возмутительных песен». Только «по беспредельному милосердию своему» царь ограничился повелением отправить Герцена и его товарищей в ссылку. Между тем главное преступление их перед царизмом и, конечно же, главная их заслуга перед Россией заключались не в том, что они «возмутительно пели», а в том, что начали обогащать русское освободительное движение новыми идеями, которым принадлежало будущее.

Восемь лет (1834—1842) с годичным перерывом Герцен провел в ссылке (Пермь, Вятка, Владимир, Новгород), а летом 1842 г. возвратился в Москву, где прожил несколько лет и в январе 1847 г. навсегда уехал из России. За последние 4,5 года, прожитые на родине, он успел стать властителем дум передовой части русского общества. Сначала он выдвинулся как философ, автор трудов «Дилетантизм в науке» (1842—1843) и «Письма об изучении природы» (1844—1845). В них он первым начал подводить под русское освободительное движение философскую базу: «перевести в жизнь философию» — таков был его лозунг. Здесь уже проявилась самая сильная сторона философских воззрений Герцена — его диалектический метод. Он не только усвоил диалектику Гегеля — высшее достижение европейской философии, — но и преодолел ее. В отличие от Гегеля, который обрывал развитие общества на «высшем идеале» в лице прусской конституционной монархии, Герцен рассматривал общественный прогресс как *непрерывное* движение и обновление. «Все то, что останавливается и оборачивается назад, — провозглашал он, — каменеет, как жена Лота, и покидается на дороге. История принадлежит постоянно одной партии — партии движения».

Главную движущую силу истории Герцен усматривал в народе. Он не только первым назвал коренную причину гибели декабристов («не хватало народа»), но и первым же начал вооружать русских революционеров таким могучим оружием, как понимание решающей роли народа в историческом процессе. По Герцену, гений — это роскошь истории, ее поэзия; но в жизни на первом плане — не поэзия, а проза, не гений, а массы; влияние личности, даже самой гениальной, на массы зависит от того, насколько она поняла стремления масс и условия, необходимые для осуществления этих стремлений: «Если 10 человек ясно понимают, чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними». Впрочем, отсюда «еще не следует, что эти десять поведут к добру»[1].

[1] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 19. С. 174.

С 1846 г., когда появился роман «Кто виноват?», на русское общество столь же сильно, как Герцен-мыслитель, начал влиять Герцен-художник. Гигант мысли и чародей слова, он первым из русских выступил с художественными произведениями, исполненными философского содержания, что придало философскую глубину его словесности и художественную яркость его философии. Современники стали называть Герцена «русским Вольтером». Роман «Кто виноват?» прозвучал неожиданной фанфарой в оркестре русской литературы. Впервые в России возник жанр *политического* романа, позднее развитый Н.Г. Чернышевским в романе «Что делать?», где даже в названии отразилась перекличка с Герценом. Вопрос, поставленный Герценом, — «кто виноват?» — оставался главным вопросом российской жизни до возникновения революционной ситуации 1859—1861 гг. К тому времени были выявлены виновники, говоря словами Герцена, «оскотинения России» (помещики-крепостники, вплоть до царя), и внимание русского общества переключилось на решение нового вопроса, поставленного Чернышевским, — «что делать?».

В эмиграции, присмотревшись к Европе, Герцен невзлюбил ее молодой и хищный капитализм и связал свои надежды на общечеловеческий прогресс с Россией. «Будущее России необъятно! — восклицал он. — О, я верую в ее прогрессивность!» Герцен начал искать для России особые, некапиталистические пути развития и первым сделал вывод о том, что Россия сможет перейти из крепостного состояния, минуя капитализм, сразу к социализму. Такой вывод был продиктован отчасти *интернациональным* соображением о возможности для отставших стран учиться у стран передовых, использовать их опыт: «Хорошие ученики часто переводятся через класс». Другим, *национальным* основанием для такого вывода послужило наличие в России сельской общины, которую Герцен расценил как своеобразный «громоотвод» против бедствий капитализма и как зародыш социализма. Для того чтобы этот зародыш развился в социалистическое общество, достаточно было, по мысли Герцена, свергнуть самодержавие, ликвидировать крепостное право, установить народовластие и раздать всю землю крестьянам, которые владели бы ею и обрабатывали бы ее общинно.

Герцен понимал, что такая программа глубоко революционна, но считал возможным все же «переворот без кровавых средств». Более того, он никогда не предпочитал революцию реформе, однако, в отличие от либералов, не исключал даже «пугачевщину» (т.е. самый разрушительный вариант революции) как крайнее средство достижения цели. Единственной же революционной силой в России Герцен уже в 1849 г. провозгласил крестьянство: «Я не верю ни в какую революцию в России, кроме крестьянской»[1].

[1] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 6. С. 114.

Все эти его положения составили квинтэссенцию русского революционного народничества — теории, которая сочетала утопию с реальностью, подтверждая собой известный афоризм Альфонса Ламартина: «Утопии часто оказываются лишь преждевременно высказанными истинами».

Поразительно в утопии Герцена то провидение, которое он огласил в 1849 г., как бы заглянув за 100 лет вперед в самую суть большевистского режима: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией»[1].

Другим властителем дум передовой России в 30—40-е годы был Виссарион Григорьевич Белинский. Разночинец (в отличие от дворянина Герцена), сын флотского лекаря, слывшего «вольтерьянцем» и «богохульником», он прожил всю свою короткую жизнь (36 лет), постоянно нуждаясь и бедствуя. Смолоду Белинский был настроен радикально. Поступив в Московский университет (в 1829 г., одновременно с Герценом и Огаревым), он возглавил там студенческий кружок — «Литературное общество 11-го нумера» (все кружковцы жили в 11-й комнате общежития). Кружок стал в университете настоящим рассадником революционных настроений, а сам Белинский написал антикрепостническую драму «Дмитрий Калинин». Герой драмы, в образе которого Белинский представил товарища своих детских игр, говорит о помещиках, бросая упрек самому Богу: «Твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?» За это сочинение Белинский 27 сентября 1832 г. был исключен из университета с издевательской мотивировкой: «по ограниченности способностей». К тем большей досаде властей, он уже в 1833 г. начал сотрудничать в лучших журналах («Телескоп», «Отечественные записки», «Современник») и вскоре стал самым авторитетным в России литературным критиком. «Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно», — вспоминал о Белинском И.С. Тургенев.

Главным делом Белинского стала борьба против «теории официальной народности», в которой примерно с 1833 до 1840 г. ему недоставало последовательности. Он был всегда врагом деспотизма и крепостничества, но в те годы считал: «Вся надежда России — на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституцию». В таком настроении Белинский чрезмерно увлекся Гегелем, и это увлечение привело его в 1837—1839 гг. к примирению с российской действительностью. Он воспринял

[1] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 6. С. 110.

гегелевские формулы: «Все действительное разумно, и все разумное действительно», «сила есть право, и право есть сила». С этих позиций были написаны его статьи 1839—1840 гг. («Бородинская годовщина», «Горе от ума»), где читаем: «Безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность»[1].

Т.Н. Грановский назвал эти статьи Белинского «гадкими, подлыми». Столь же сурово осудил их Герцен. Благодаря Герцену и Грановскому, Белинский уже в 1840 г. осознал и отверг свою, как он выразился, «болезнь роста». «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью, — написал он 4 октября 1840 г. В.П. Боткину. — Боже мой, страшно подумать, что со мной было, — горячка или помешательство ума, я словно выздоравливающий».

Отбросив веру в разумность самодержавия, Белинский, в отличие от Гегеля, не возлюбил и конституционную монархию. «Я начинаю любить человечество маратовски, — говорил он о себе летом 1841 г. — <...> Гегель мечтал о конституционной монархии как идеале государства, — какое узенькое понятие! Нет, не должно быть монархов, ибо монарх есть враг людям». Белинский воспринял республиканскую традицию декабристов, но, как и Герцен, пошел дальше их в том, что негативно оценил буржуазную демократию Запада: «Те же Чичиковы, только в другом платье. Во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности». Вслед за Герценом Белинский перешел на позиции социализма, идею которого он объявил для себя «идеею идей, бытием бытия, альфою и омегою веры и знания». При этом Белинский, опять-таки следом за Герценом, соединил идею социализма с идеей революции. «Смешно и думать, — говорил он о социализме, — что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови».

Страстный, порывистый, весь устремленный в будущее, Белинский жаждал скорейшего пробуждения революционного сознания россиян. Друзья и недруги звали его «неистовым Виссарионом». Герцен убежденно сказал о нем: «Это — самая революционная натура николаевских времен». В условиях николаевской России Белинский не мог вести открытую политическую борьбу. Сферой приложения его сил, дарований и убеждений стала литературная критика. Она, кстати, тоже требовала тогда конспирации. Надо было маскироваться, уметь говорить между строк. «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, — писал Белинский в феврале 1847 г. В.П. Боткину, — а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом

[1] *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1977. Т. 2. С. 115.

по-лисьи». Чтобы обмануть цензуру, Белинский эзоповски называл идеи «официальной народности» «благовонным китайским духом» или попросту «китаизмом», а носителей их — «добрыми мандаринами». Современники хорошо понимали истинный смысл литературной критики Белинского. Реакционер М.А. Дмитриев (прозванный «Лжедмитриевым», в отличие от «настоящего» И.И. Дмитриева) заключал: «Это были революционные начала, вносимые в литературу за невозможностью внести их в область государственного устройства».

Авторитет Белинского как литературного критика был уникален. По утверждению Герцена, он с 1841 г. «в течение шести лет господствовал в журналистике». В те годы, вспоминал Герцен, свежий номер «Отечественных записок» и «Современника» «рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть», и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, спорами... и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало». Разоблачая верноподданническую, назидательно-раболепную литературу «официальной народности», Белинский заботливо пестовал реалистическую, истинно народную литературу. Он был идейным вдохновителем и духовным пастырем той «натуральной школы», из которой вышли Тургенев, Достоевский, Некрасов, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Великий Тургенев называл Белинского своим «отцом-командиром» (в противовес Николаю I, который своим «отцом-командиром» называл фельдмаршала И.Ф. Паскевича).

Итогом литературной и общественно-политической деятельности Белинского, его лебединой песнью стало письмо к Н.В. Гоголю от 15 июля 1847 г.[1] Белинский написал его в Зальцбрунне (Силезия), где он, уже безнадежно больной, лечился от чахотки. Там он получил письмо от Гоголя, обиженного на то, как Белинский резко осудил в своей рецензии его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Белинский ответил Гоголю письмом, еще более резким, чем рецензия. Отвергнув идею «Выбранных мест» о разумности самодержавия и крепостничества (что когда-то признавал сам Белинский, а Гоголь в «Мертвых душах», напротив, осуждал), Белинский обратился к Гоголю с такой филиппикой: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, — что Вы делаете? Взгляните себе под ноги — ведь Вы стоите над бездною!»

Полемизируя с Гоголем, Белинский дал уничтожающую критику крепостной России, которая «представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми». Программа национальных требований в письме Белинского к Гоголю внешне скромна: уничтожение крепостного права, отмена телесных

[1] Впервые письмо опубликовано с цензурными купюрами лишь в 1872 г., а полностью — в 1905 г. Текст его см.: *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 281—289.

наказаний, соблюдение «хотя бы тех законов, которые есть». Но звучало это настолько революционно, что письмо воспринималось как звон набата. К тому же оно распространилось в тысячах копий по всей стране. И.С. Аксаков в 1856 г. свидетельствовал, что «нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю».

Царизм инстинктом самосохранения угадал значение письма как революционного манифеста и свирепо карал за попытки распространить его. Главным образом за оглашение письма в кругу петрашевцев Ф.М. Достоевский был приговорен к смертной казни.

Перед возвращением в Россию из Зальцбрунна Белинский посетил в Париже Герцена и прочел ему свое письмо к Гоголю. Герцен был восхищен. «Это — гениальная вещь, — сказал он П.В. Анненкову, — да это, кажется, и завещание его». Действительно, чахотка Белинского бурно прогрессировала. Зальцбрунн не принес облегчения. Белинский слабел с каждым днем и 7 июня 1848 г., не дожив четырех дней до своего 37-летия, умер. Смерть спасла его от заточения в Петропавловскую крепость. Управляющий III отделением Л.В. Дубельт признавался, что он «яростно сожалел» о смерти Белинского. «Мы бы его, — пояснял он, — сгноили в крепости».

Белинский и Герцен выступали не только против националистического либерализма славянофилов (вместе с западниками), но и против космополитического либерализма западников. «Одни бросились в фантастическую народность, другие — в фантастический космополитизм», — иронизировал Белинский над славянофилами и западниками. Герцен тоже отзывался о тех и других (имея в виду не личности их, во многом ему симпатичные, а взгляды) насмешливо: «Загробный голос праотцев и соседний ум». Идейный водораздел в русском общественном движении 30—40-х годов проходил не столько между западниками и славянофилами, сколько между формировавшимся тогда революционно-демократическим направлением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и либеральным направлением, в котором смыкались славянофилы и западники, — с другой. Разумеется, лагерю охранителей противостояли тогда в разной мере и те, и другие, и третьи.

Этот водораздел заметен был не только в центре России, но также и на ее окраинах: например, в Азербайджане, Армении, на Украине, где зачинателями революционно-демократической идеологии выступили соответственно Мирза Фатали Ахундов, Хачатур Абовян, Тарас Григорьевич Шевченко. Размежевание революционного и либерального направлений, в 30-е годы только начавшееся, было ускорено событиями 1848—1849 гг., а именно европейскими революциями, охватившими Францию, Австрию, Пруссию, Италию, Чехию, Венгрию, Польшу, и крестьянскими

волнениями в самой России, число которых в 1848 г. (202!) стало рекордным за всю первую половину века. При таких условиях все отчетливее формировалась в России революционная демократия, которую представляли уже не только выдающиеся одиночки вроде Герцена и Белинского, Шевченко и Абовяна, но и целые группы их единомышленников, оформлявшиеся в политические организации. Первыми из таких организаций стали Кирилло-Мефодиевское общество 1845—1847 гг. (с его республиканским крылом) на Украине и знаменитый кружок *петрашевцев*.

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский — выпускник Царскосельского лицея и Петербургского университета, крестник самого Александра I — служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. Вокруг него в 1845 г. сложился кружок единомышленников, главным образом из дворян, но не родовитых (кроме двух-трех), а мелких, беспоместных. Основное ядро кружка составили «неслужащий помещик» (по сословной номенклатуре того времени) Н.А. Спешнев, студент Петербургского университета А.В. Ханыков, поручик лейб-гвардии Московского полка Н.А. Момбелли, чиновники Министерства иностранных дел Д.Д. Ахшарумов (сын первого историка войны 1812 г.) и Н.С. Кашкин (сын декабриста), поэты А.Н. Плещеев, С.Ф. Дуров и др. Все они испытали на себе идейное влияние декабристов, Герцена и Белинского, превосходно знали фактическую сторону восстания 14 декабря 1825 г. (отец Петрашевского был тогда личным врачом петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича, извлекал из него пулю П.Г. Каховского).

Деятельность кружка прошла два этапа. В 1845—1847 гг. он не имел ни определенного состава, ни программы, ни даже общности взглядов. Его участники изучали идеи утопического социализма (преимущественно Ш. Фурье) и дискутировали о возможностях их применения к России. До 1848 г. такие дискуссии устраивались в квартире Петрашевского по пятницам. На эти «пятницы» приходили не только сами кружковцы, но и знакомые любого из них: чиновники, офицеры, учителя, литераторы, студенты, деятели искусств. Среди них были Ф.М. Достоевский и М.Е. Салтыков-Щедрин (возможно, и Л.Н. Толстой[1]), М.И. Глинка и А.Г. Рубинштейн, художник П.А. Федотов, будущий академик П.П. Семенов-Тян-Шанский. Общее число более или менее постоянных участников «пятниц» достигало 30.

На первом этапе кружок осуществил две важные акции революционно-пропагандистского характера. В апреле 1845 г. он наладил издание «Карманного словаря иностранных слов», в котором под видом разъяснения таких слов, как «демократия», «деспотизм», «обскурантизм», пропагандировались антисамодер-

[1] См.: *Шифман А.* Был ли Лев Толстой петрашевцем? // Вопросы литературы. 1967. № 2.

жавные и антикрепостнические идеи. Словарь был хорошо законспирирован. Его официальным редактором значился благонамереннейший штабс-капитан Н.С. Кирилов. Словарь выходил с посвящением великому князю Михаилу Павловичу. Однако власти, хотя и не сразу, разгадали крамольный смысл издания и 8 апреля 1846 г. пресекли его на букве «О». Цензурный комитет постановил «все оставшиеся нераспроданными экземпляры этой книги как весьма вредной и опасной» уничтожить. Часть тиража (400 экземпляров из 2000) все-таки разошлась.

В том же 1845 г. петрашевцы создали библиотеку запрещенной литературы — акт, неслыханный в николаевской России. Здесь были собраны почти все сочинения Фурье, книги Ж. Руссо и А. Смита, Л. Фейербаха и Ж. Сисмонди, К. Маркса и Ф. Энгельса, Л. Блана и П. Прудона. По воспоминаниям петрашевцев, библиотека стала «главною заманкою» на их «пятницы».

Новый этап в деятельности кружка наступил в 1848 г. Собрания петрашевцев стали отчетливо политическими. На них теперь обсуждались самые острые вопросы — крестьянский и о государственном устройстве страны. «Правление в России, — говорил Петрашевский, — есть самое нечеловеческое правление». Петрашевцы ненавидели самодержавие, царя они называли «богдыханом», а про Александровскую колонну (памятник Александру I перед Зимним дворцом) говорили: «Столб столба столбу». Всю чиновничью иерархию в России они высмеивали; когда, например, хотели сказать «дурак», произносили «действительный статский советник».

Наиболее инициативные петрашевцы (сам Петрашевский, Спешнев, Ханыков, Момбелли, Ахшарумов, поручик Н.П. Григорьев — сын генерала) занялись устройством централизованного тайного общества и выработкой программы. На совещаниях в узком кругу они согласовали главные из программных требований — ликвидировать самодержавие, провозгласить республику · (хотя в качестве переходного этапа допускалась и конституционная монархия), уничтожить крепостное право при освобождении крестьян с землей. Что касается путей к реализации программы, то они вызывали споры. Радикалы, как Спешнев, стояли за крестьянское, причем немедленное, восстание, «всеобщий взрыв»; умеренные — за постепенное и длительное революционизирование большинства народа, против торопливого «бунта черни». Восстание без участия народных масс петрашевцы, в отличие от декабристов, отвергали. «Главная цель, — формулировал мнение большинства Петрашевский, — состоит в том, чтобы идеи и желания укоренились в массах народа, а когда будет чего желать целый народ, тогда против него ничего не сможет войско». Однако ни создать централизованную организацию, ни разработать четкую программу петрашевцы не смогли. Им не хватило, во-первых, политической зрелости,

поскольку революционная идеология только формировалась, а во-вторых, просто времени: всевидящие глаза и всеслышащие уши III отделения выследили их.

7 апреля 1849 г. петрашевцы устроили «обед социалистов» в честь Фурье. На обеде присутствовали 11 самых активных кружковцев. С речами выступили Петрашевский, Ханыков и Ахшарумов. «Мы, — заявил, в частности, Петрашевский, — осудили на смерть настоящий быт общественный, надо приговор нам исполнить»[1]. «Обед социалистов» был одним из последних собраний кружка петрашевцев. На нем царила атмосфера готовности к подвигу, к революционному выступлению, что так сильно выразил Плещеев в стихотворении «Вперед без страха и сомненья», ставшем гимном радикального крыла петрашевцев:

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать.
И спящих мы от сна разбудим
И поведем на битву рать!

Никто из участников обеда не подозревал, что среди них — провокатор, который с 11 марта 1849 г. успел побывать на семи «пятницах». Им был подкупленный жандармами студент Петр Антонелли. Он и сообщил в III отделение поименный состав участников обеда и все на обеде сказанное[2].

В ночь с 22 на 23 апреля жандармы, пользуясь данными Антонелли, арестовали сразу 33 участника кружка. Следственная комиссия квалифицировала дело петрашевцев как «заговор идей». К следствию были привлечены 123 человека, а суду (военному!) преданы 28. На суде Петрашевский и его ближайшие соратники держались, как правило, с большим достоинством. Они решительно отметали попытки судей всячески очернить их. «Я и товарищи моего заключения, — говорил Петрашевский, — мы не фанатики, не изуверы, не еретики... Мы философы, нам дороже всего истина... Если есть что-нибудь ошибочное в наших понятиях и неверное, — покажите истину, мы все отступимся, — но пока позвольте нам остаться, чем мы есть».

Суд приговорил 15 человек (в том числе Петрашевского, Спешнева, Момбелли, Ахшарумова, Григорьева, Дурова, а также Достоевского) к расстрелу и еще пятерых (включая Ханыкова, Плещеева, Кашкина) — к разным срокам каторги. 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу в Петербурге, где через 32 года будут казнены Андрей Желябов и Софья Перовская, была инсценирована казнь над петрашевцами. Им прочитали смертный приговор, одели в саван, и первые трое (Петрашевский, Момбелли, Григорьев) были привязаны к столбам. Раздалась команда: «На прицел!»

[1] Дело петрашевцев. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 518.

[2] Агентурные донесения Антонелли см. там же. 1951. Т. 3. С. 377—444.

Взвод солдат наставил ружья на смертников. «Момент этот был поистине ужасен, — вспоминал Ахшарумов. — Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты...» Достоевский в предсмертном экстазе сказал Спешневу: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе с Христом»). Спешнев усмехнулся: «Un peu de poussière» («Горстью праха»). В этот момент, как было задумано царем, на плацу появился его флигель-адъютант и объявил о монаршей милости: вместо расстрела — каторга и солдатчина.

Кружок петрашевцев занял важное место в истории русского освободительного движения. Он воплотил в себе назревшую к середине 40-х годов тенденцию перехода от дворянской революционности к разночинской. Именно в нем раньше, чем в каких-либо других кружках, сказались признаки зарождения новой, революционно-демократической идеологии: 1) обоснование роли народа как главного субъекта революции; 2) восприятие и критическое освоение применительно к российской действительности идей утопического социализма.

К тому времени, когда царизм расправился с петрашевцами, Герцен уже эмигрировал, а Белинский умер. Но царские каратели не могли спать спокойно. В 34 губерниях империи бушевали крестьянские волнения. Герцен развернул революционную агитацию из-за границы. В самой России роптали славянофилы и западники. Публичные лекции, направленные против крепостничества, продолжал читать Грановский. Мужал в просветительском кружке И.И. Введенского юный Н.Г. Чернышевский. Все они по-разному выражали тогда антифеодальный протест русского общества. Искру, зажженную декабристами, погасить так и не удалось.

Историографическая справка. Из всех проблем истории николаевской России самый большой интерес у исследователей всегда вызывало освободительное движение. До 1917 г. наибольший вклад в его изучение внесли А.Н. Пыпин и В.И. Семевский[1].

Академик Пыпин мобилизовал громадный фактический материал и капитально исследовал в своих книгах идейную борьбу 30—40-х годов, показав, сколь абсурдной и вредной для национального сознания россиян была «теория официальной народности». Однако Пыпин по-западнически упрощал сложный путь развития русской общественной мысли, изображая его как процесс восприятия европейских идей, «умствований» с Запада.

Монография Семевского (оставшаяся неоконченной: издан, посмертно, только один том) должна была подытожить десятки работ о петрашевцах этого выдающегося историка, «общего декана

[1] См.: *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов. СПб., 1873; *его же.* Белинский. Его жизнь и переписка. СПб., 1876. Т. 1—2; *Семевский В.И.* М.В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922.

всех историков», как назвал его М.Н. Покровский. Труды Семевского впервые почти с исчерпывающей полнотой раскрыли становление и развитие взглядов петрашевцев, их деятельность, личности и судьбы. Но для Семевского, как и для Пыпина, характерно некоторое принижение национальной оригинальности мировоззрения петрашевцев, которые изображаются как «русские фурьеристы», переносчики идей Ш. Фурье на российскую почву.

Что касается исследователей охранительного направления вроде А.Л. Волынского, то они отрицали не только самобытность, но и всякое значение русской демократической мысли, включая Герцена и Белинского.

Советская историография распределила свои усилия в изучении идейной борьбы 30—40-х годов прошлого столетия неравномерно — главным образом вокруг Герцена и Белинского. Им посвящены кроме бесчисленного множества статей многочисленные монографии, которые большей частью (особенно, М.Т. Иовчука и Г.С. Васецкого о Белинском, Д.И. Чеснокова и Я.Е. Эльсберга о Герцене) грешили преувеличением и непомерным выпячиванием революционности Герцена и Белинского при замалчивании или даже ретушировании их «нереволюционных» суждений. Более объективны монографии В.С. Нечаевой и М.Я. Полякова о Белинском, Н.М. Пирумовой и А.И. Володина о Герцене (имеется в виду деятельность Герцена до его отъезда в 1847 г. за границу).

Вслед за Семевским советские историки много занимались (предварительно расширив круг источников) и петрашевцами. Наиболее обстоятельны многолетние труды (включая докторскую диссертацию) В.Р. Лейкиной-Свирской, новейшая монография Б.Ф. Егорова «Петрашевцы» (Л., 1988) и работы А.Ф. Возного о борьбе царского сыска с петрашевцами. И.А. Федосов и В.А. Дьяков удачно, хотя и не без методологических издержек, обозрели ход освободительного движения при Николае I[1].

Либералов 30—40-х годов советские историки почти не жаловали вниманием. Только в последнее время появились монографии о славянофилах Е.А. Дудзинской и Н.И. Цимбаева, книга А.А. Левандовского о Т.Н. Грановском. До сих пор нет обобщающего исследования о западниках. Охранители же николаевского режима как исследовательская проблема учеными в нашей стране тоже пока игнорируются совершенно.

Между тем за границей есть квалифицированное монографическое исследование «теории официальной народности» с критикой ее охранительных начал. Автор книги — Н.В. Рязановский (США), эмигрант из советской России[2]. Петрашевцам посвящены книги

---

[1] См.: *Федосов И.А.* Революционное движение в России во второй четверти XIX в. М., 1958; *Дьяков В.А.* Освободительное движение в России 1825—1861 гг. М., 1979.

[2] См.: *Riasanovsky N.V.* Nicolas I and Official Nationality in Russia 1825—1855. Los Angeles, 1959.

«Заговор петрашевцев» В. Сливовской (Польша), написанная в русле советской историографии, и «Кружок Петрашевского» Д. Эванса (Англия), который, в отличие от советских историков, не находит у петрашевцев революционности. Белинский в зарубежной историографии не вызывает большого интереса. О нем больше пишут российские эмигранты (В.В. Зеньковский, Д.И. Чижевский и др.), считающие его родоначальником либерализма в России.

Зато интерес к Герцену на Западе неизменно велик. В статьях и книгах о нем наблюдаются две тенденции, одну из которых наиболее аргументированно выразил М. Малиа (США), другую — Э. Эктон (Англия)[1]. Малиа считает Герцена националистом-одиночкой, попытавшимся уйти от иллюзий и разочарований окружающей (как российской, так и европейской) действительности в абстрактный мир народнического социализма; Эктон видит и ценит в Герцене не националиста, а гуманиста; революционером ни тот, ни другой Герцена не признают.

[1] См.: *Malia M.* Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism: 1812—1855. Cambridge, 1961; *Acton E.* Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. Cambridge, 1979.

Планы сторон

Борьба европейских монархий с революцией лишь на время отвлекла их от восточных дел. Задушив совместными усилиями революцию 1848—1849 гг., державы Священного союза вновь обратились к восточному вопросу — этому «яблоку раздора» между ними, — и сразу бывшие союзники стали врагами.

Царизм, памятуя о том, что он сыграл в подавлении революции главную роль, хотел и на Востоке преуспеть больше всех. Выступая против Турции, он надеялся на договоренность с Англией, правительство которой с 1852 г. возглавлял личный друг Николая I Д. Эбердин, и на изоляцию Франции, где в том же 1852 г. провозгласил себя императором Наполеоном III племянник Наполеона I (во всяком случае, Николай был уверен, что с Англией Франция на сближение не пойдет, ибо племянник никогда не простит англичанам заточения своего дяди). Сам Наполеон III довольно униженно домогался тогда, чтобы европейские правительства хотя бы признали его императором. С этой целью в Берлин, Вену и Петербург был командирован его специальный уполномоченный барон Ж. Дантес де Геккерен (убийца А.С. Пушкина, доживший, кстати сказать, до 1895 г.). Николай I принял Дантеса милостиво и даже пригласил его покататься вместе верхом. Далее царизм рассчитывал на лояльность Пруссии, где король Фридрих Вильгельм IV, брат жены Николая, привык повиноваться своему могущественному зятю, и на признательность Австрии, которая с 1849 г. была обязана России своим спасением от революции.

Все эти расчеты оказались битыми. Англия и Франция объединились и вместе выступили против России, а Пруссия и Австрия предпочли враждебный к России нейтралитет.

Крах внешнеполитических расчетов царизма накануне Крымской войны во многом объяснялся личными качествами царя и его первого министра. Николай I как дипломат отличался, по компетентному мнению Е.В. Тарле, «глубокой, поистине непроходимой, всесторонней невежественностью». Между тем он решал дипломатические задачи самонадеянно и опрометчиво, а предостеречь и отрезвить его было некому. Его министром иностранных дел бессменно был граф Карл Васильевич Нессельроде (с 1845 г. канцлер империи) — человек не только без роду и племени, личность которого могла служить, как выразился А.И. Герцен,

«кратким руководством по географии», поскольку он родился в португальском порту, на английском корабле, от еврейки и немца, принявшего русское подданство; главное, это был человек без собственного лица. С.Б. Окунь верно заметил, что упомянутый в сказке Н.С. Лескова «Левша» среди министров Николая I граф Кисельвроде — не просто намек, а убийственный шарж на николаевского министра иностранных дел: «Лишенный индивидуальности, Нессельроде — Кисельвроде, подобно студенистой массе, всегда принимал форму того сосуда, в котором ему в данный момент приходилось помещаться».

Весь смысл своей жизни и деятельности Нессельроде видел в том, чтобы угадывать, куда склоняется воля царя, и спешно забегать вперед в требуемом направлении. Зато он и просидел в кресле министра иностранных дел последние 10 лет царствования Александра I и все 30 лет царствования Николая I. «Николай застал его там, всходя на престол, и оставил на том же месте, сходя в могилу»[1]. Безликий приспособленец, Нессельроде дожил до того, что известие о его смерти было встречено с удивлением, так как все считали, что он давно умер. Разумеется, такой министр не мог ни подсказать царю свое, ни разумно повлиять на царское решение.

Итак, царизм не разобрался в хитросплетениях европейской *политики.* Но главное было не в этом. Главное заключалось в том, что ни царю, ни его дипломатам и генералам недоступно было понимание тех *экономических* сдвигов, которые произошли в Европе за 30—40-е годы. Все это время не только в Англии, но и во Франции, и даже в Австрии и Пруссии капитализм неуклонно развивался и, усиливая экономический потенциал держав, подогревал их аппетиты к новым рынкам, источникам сырья, сферам влияния. При таких условиях западные державы, которые охотно сотрудничали с царизмом в борьбе с революцией, не хотели ни сотрудничать с ним, ни тем более понести ущерб от него в дележе рынков. Наоборот, растущая активность царизма в районах, где они сами надеялись поживиться, усиливала их противодействие России.

Причины Крымской войны коренились главным образом именно в столкновении колониальных интересов России и Англии, а также России и Франции и, отчасти, России и Австрии на Ближнем Востоке и на Балканах. И Англия в союзе с Францией, и Россия стремились в Крымской войне к одинаковой цели, т. е. к господству в указанных районах, хотя и разными путями: Англия и Франция, которым выгодно было иметь в лице Турции постоянный противовес и угрозу России, предпочитали закабалить Османскую империю, тогда как Россия хотела уничтожить ее. Турция, в свою очередь, преследовала давнюю цель — отторгнуть

[1] *Тарле Е.В.* Соч.: В 12 т. М., 1959. Т. 8. С. 78.

от России Крым и Кавказ. При этом каждое из правительств стран—участниц войны надеялось одерживать победы и отвлекать ими свой народ от внутренних затруднений. Правители Англии и Франции умело использовали всеобщую ненависть европейской демократии к царизму как жандарму Европы. Война с царизмом могла стать популярной и не только прославить внешне заправил Англии и Франции, но и примирить их с внутренней оппозицией. Английские дипломаты еще до начала войны стали говорить о ней как о «битве цивилизации против варварства».

Итак, по своему происхождению Крымская война была захватнической, грабительской со стороны всех ее участников. Ближайшим поводом к войне послужил спор между католическим и православным духовенством о так называемых святых местах в Иерусалиме, т. е. о том, в чьем ведении должен находиться «гроб Господень» и кому чинить (знак величайшей чести!) купол Вифлеемского храма, где по преданию родился Иисус Христос. Поскольку право решать этот вопрос принадлежало султану, Николай I и Наполеон III, оба искавшие поводов для нажима на Турцию, вмешались в спор: первый, естественно, на стороне православной церкви, второй — на стороне католической. Религиозная распря вылилась в дипломатический конфликт. Россия и Франция начали бряцать оружием.

Царизм, будучи уверен в том, что Англия, Австрия и Пруссия останутся по меньшей мере нейтральны в русско-французском конфликте, а Франция не решится воевать с Россией один на один, действовал напролом. В феврале 1853 г. по высочайшему повелению в Константинополь отплыл с чрезвычайными полномочиями князь Александр Сергеевич Меншиков — правнук знаменитого временщика, генералиссимуса А.Д. Меншикова, один из трех главных фаворитов Николая I, который уступал по влиянию на царя фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу, но с третьим фаворитом, шефом жандармов А.Ф. Орловым, соперничал не без успеха. Ему было велено потребовать, чтобы султан не только решил спор о «святых местах» в пользу православной церкви, но и заключил особую конвенцию, которая сделала бы царя покровителем всех православных подданных султана. В этом случае Николай I становился, как говорили тогда дипломаты, «вторым турецким султаном»: 9 млн. турецких христиан приобрели бы «двух государей, из которых одному они могли бы жаловаться на другого». Такое положение М.Н. Покровский приравнивал к тому, как если бы казанские татары получили право жаловаться на Николая I турецкому султану.

Турки отказались от заключения такой конвенции, но, чтобы смягчить отказ, «утешили» Меншикова тем, что султан запретил в своих владениях называть христиан собаками. «Это очень важно, — съязвил Меншиков, — и в благодарность я буду просить своего государя, чтобы он запретил в России называть собак султанами».

Меншиков держался в Константинополе нарочито грубо, вызывающе. Он приплыл с громадной свитой на военном корабле под названием «Громоносец», а свои визиты властителям Турции обставил с кричащей дерзостью: к великому визирю явился без мундира, в домашнем сюртуке (что было вопиющим нарушением дипломатического этикета); от визита к министру иностранных дел отказался, заявив, что не желает иметь дело «с этим лживым субъектом», поскольку тот «за французов»; к самому султану вломился в апартаменты, не пожелав сделать предусмотренного этикетом поклона у порога двери (при следующем посещении султана Меншиков нашел дверь специально укороченной так, что в нее нельзя было войти, не согнувшись; однако он лишь присел в коленях — довольно неприлично, — но не пригнул головы).

В том же резком, бесцеремонном духе вел Меншиков и переговоры. Английский посол в Константинополе лорд Ч. Стрэтфорд-Рэдклиф посоветовал дивану (правительству Турции) признать контроль православной церкви в «святых местах», но не соглашаться на подписание конвенции. Расчет Англии был таков: разжечь русско-турецкую войну, а затем превратить ее — под видом «защиты Турции» — в коалиционную и повергнуть Россию. Английский посол понимал, что России нужны не «святые места» в Иерусалиме, а господство на Балканах, поэтому царизм будет добиваться заключения конвенции о покровительстве турецким христианам. Англия и стремилась это доказать европейской общественности, т. е. что суть дела не в религиозном споре, а в русской агрессии против Турции.

Все вышло так, как спланировало правительство Англии. 21 мая Меншиков, не добившись заключения конвенции, уведомил султана о разрыве русско-турецких отношений (хотя султан отдавал «святые места» под контроль России!) и отбыл из Константинополя восвояси. «*Диван* здесь на английских пружинах», — заявил он перед отъездом. Вслед за тем русская армия вторглась в Дунайские княжества (Молдавию и Валахию). После долгой дипломатической перебранки 4 (16) октября 1853 г. Турция объявила России войну.

Россия против Турции

Все еще господствовавшие тогда в России феодально-крепостнические отношения тормозили экономическое развитие страны и обусловливали ее военно-техническую отсталость. Военных заводов было мало, и работали они непродуктивно из-за примитивной техники и непроизводительного крепостного труда. Основными двигателями служили вода и конная тяга, отчего заводы назывались «вододействующими» и «коннодействующими». Зимой, когда замерзала вода и кончались запасы корма для лошадей, эти предприятия свертывали свое производство.

Всего перед войной Россия производила в год 50—70 тыс. ружей и пистолетов (за год войны их потребовалось 200 тыс.), 100—120 орудий (потребовалось втрое больше) и 60—80 тыс. пудов пороха (израсходовано только за 11 месяцев обороны Севастополя 250 тыс. пудов)[1]. Отсюда видно, как страдала русская армия от недостатка вооружений и боеприпасов. Новые образцы оружия почти не вводились, русскую пехоту вооружали гладкоствольными ружьями, которые заряжались в 12 приемов, а стреляли на 200 шагов. Между тем на вооружении англо-французской (отчасти и турецкой) пехоты состояли дальнобойные винтовки с нарезными стволами, стрелявшие на 1300 шагов. Было, конечно, и в русской армии нарезное оружие, но, как заметил М.Н. Покровский, «в гомеопатическом количестве».

Условия жизни русских солдат при Николае I были просто невыносимыми. За 1825—1850 гг., по официальным данным, в армии умерли от болезней 1 062 839 «нижних чинов», тогда как во всех сражениях того времени (в русско-иранской войне 1826—1828 гг. и русско-турецкой 1828—1829 гг., кавказской войне против Шамиля, при подавлении восстания в Польше 1831 г. и революции в Венгрии 1849 г.) погибли 30 233 человека. Всего в русской армии числилось за 1825—1850 гг. 2 604 407 солдат. Стало быть, от болезней умерли 40,4% «нижних чинов»[2].

Ниже всякой критики была военно-тактическая подготовка русских войск. Военное министерство России 20 лет кряду перед Крымской войной возглавлял князь А.И. Чернышев (ранее шпион при Наполеоне I и палач декабристов) — царедворец, падкий на внешние эффекты, готовивший армию не для войны, а для парадов. Солдаты живописно маршировали на плацу, но не знали, что такое применение к местности. В атаку шли сомкнутым строем, как при Суворове, поклонялись суворовскому правилу: «Пуля — дура, штык — молодец». Для обучения стрельбе Чернышев выделял по 10 боевых патронов на солдата в год. Ружье расценивалось тогда лишь как держатель для штыка. Иной раз ружья намеренно развинчивали, чтобы они эффектнее звякали, когда полк брал «на плечо» или «на караул».

Только традиционная стойкость русских солдат и теперь была на высоте, но офицерский и особенно генеральский состав не всегда мог ею распорядиться должным образом. Один остроумный француз обрисовал армию Николая I такими словами: «В русской армии солдаты — с головой льва, офицеры — с головой осла и генералы — без головы»[3].

Наконец, пагубно отражалось на боеспособности русской армии убийственное состояние транспорта и путей сообщения. Из центра

---

[1] *См.: Бестужев И.В.* Крымская война. М., 1956. С. 11—12.

[2] См.: *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 114.

[3] *Добролюбов Н.А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1961. Т. 1. С. 121.

на юг страны не было ни одной не только железной, но даже и шоссейной дороги. Войска проделывали тысячеверстные переходы пешком, оружие, боеприпасы и снаряжение перевозились на волах. Многие из них околевали в дороге, трупы их тонули в грязи, и по ним проходили обозы. Легче было доставить солдат в Крым из Англии или Франции, чем из центра России. Военно-морской флот России был третьим в мире после английского и французского, но перед флотом Англии и Франции он выглядел, как лилипут перед Гулливером: англо-французы имели 454 боевых судна, включая 258 пароходов, а Россия — 115 судов при 24 пароходах.

Пока царизм имел дело с Турцией, гораздо более отсталой и слабой, чем Россия, он мог еще побеждать, но для успешной борьбы с таким противником, как Англия и Франция вместе взятые, у него не было сил. Таким образом, в Крымской войне России предстояла, по словам Ф. Энгельса, «безнадежная борьба нации с примитивными формами производства против наций с современным производством».

В первый период войны, когда Россия боролась один на один с Турцией, она добилась больших успехов. Как уже повелось в частых войнах между Россией и Турцией, и на этот раз открылись два театра военных действий — дунайский и кавказский. Правда, на Дунае поначалу не все шло гладко. Главнокомандующий князь М.Д. Горчаков боялся царя больше, чем всех войск Турции, жил в страхе перед царской немилостью и поэтому не смел предпринять хоть что-то, не предписанное царем. Так, он бесплодно протоптался на левом берегу Дуная все лето, осень и зиму, и лишь в марте следующего 1854 года заменивший Горчакова 72-летний «отец-командир» Николая I И.Ф. Паскевич перешел Дунай и осадил Силистрию — главную крепость турок на Балканах.

Осада затянулась. Паскевич не хотел брать Силистрию штурмом, так как боялся, что не возьмет ее и, таким образом, в конце жизни посадит себе пятно на незапятнанную до тех пор военную карьеру. В конце концов он воспользовался тем, что на рекогносцировке турецкое ядро подкатилось к ногам его лошади, объявил себя контуженным и уехал из армии, сдав командование тому же М.Д. Горчакову.

Зато на Кавказе победы не заставили себя ждать. Командовал там отдельным корпусом наместник Кавказа, тоже 72 лет от роду, князь М.С. Воронцов — тот, кто когда-то травил А.С. Пушкина и кого Пушкин высмеял в эпиграмме: «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец». К 50-м годам Воронцов был уже *полным*... Не его заслуга в том, что русские войска под командованием генерала В.О. Бебутова 19 ноября 1853 г. разбили турок под Башкадыкларом, сорвав их расчеты на вторжение в

Закавказье. Накануне еще более выдающуюся победу одержала эскадра русского Черноморского флота под командованием адмирала Нахимова.

Павел Степанович Нахимов — блистательный флотоводец, второй по значению в истории России после Ф.Ф. Ушакова, — резко выделялся внутри николаевского адмиралитета своим демократизмом. «Колоссальная личность, гордость Черноморского флота» (по отзывам современников), он был доступен и прост в обхождении с рядовыми матросами, держась такого правила: «Матрос есть главный двигатель на корабле, а мы только пружины, которые на него действуют». Семьи у него не было, «сухопутных» друзей — тоже. Моряки заменяли ему и дружеский круг, и семейный очаг. Почти все свое адмиральное жалованье он раздавал матросам и их семьям. Зато он мог вполне положиться на них во всем. Они же боготворили его и готовы были идти за ним в огонь и воду. Тогда родилась народная песня с такими словами:

С нами Бог и сам Нахимов с нами,
Он не даст нам, братцы, потонуть!

Итак, 18 (30) ноября 1853 г. эскадра Нахимова всего из восьми судов блокировала в гавани Синоп и полностью уничтожила турецкий флот из 14 кораблей (один взлетел на воздух, другой выбросился на берег, остальные утонули). Лишь пятнадцатый, *английский* корабль, *пароход,* спасся бегством — догнать его парусники Нахимова не могли.

Турки потеряли в этой битве от 3 до 4 тыс. человек, русские — 38 убитых и 240 раненых (остальным Нахимов «не дал потонуть»). Сам Нахимов был ранен. Шинель его, которую он перед боем снял и повесил рядом на гвоздь, оказалась пробитой осколками ядра. Командующий же турецким флотом Осман-паша со всем своим штабом был взят в плен. Так закончилось последнее крупное сражение парусных флотов и была одержана одна из самых ярких побед русского флота. С тех пор на воротниках матросских рубах три полоски символизировали три победы: Гангут (1714), Чесма (1770) и Синоп.

Официальная Россия, узнав о синопском триумфе, ликовала. Николай I после Синопа решил, что счастливый конец войны не за горами. Он уже начал серьезно думать и в шутку говорить о близком завоевании Турции. Когда турецкий диван объявил, что все перебежчики из России будут приниматься на службу в Турции с тем же чином, какой они имели на русской службе, Николай I сострил: «Жаль, что я не узнал об этом раньше, а то и я перешел бы на службу в Турцию *со своим чином*».

Под впечатлением побед Нахимова и Бебутова в разных слоях российского общества стали расти шовинистические настроения. Их разжигала официальная пропаганда. Реляции с фронта составлялись в ухарски-молодеческом тоне. «За стереотипной

фразой: "Неприятель понес значительную потерю убитыми и ранеными" — обыкновенно следовало: "у нас убит один казак"», — вспоминала современница[1]. Известные всей стране литераторы, далеко не ретрограды, выступали с ура-патриотическими сочинениями. Так, бывший декабрист Ф.Н. Глинка радовался случаю призвать россиян к войне с Англией и Францией, которые стояли за спиной Турции:

Ура! На трех ударим разом!

Тончайший поэт-лирик Ф.И. Тютчев вопрошал задиристо:

Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Старый друг Пушкина П.А. Вяземский жаждал ратных утех:

Брошусь в бурю боевую
За алтарь, за Русь Святую
И за белого царя!

Все они оправдывали агрессивный характер войны со стороны царизма, замазывали истинную суть дела, о которой поэт революционной демократии Н.А. Некрасов сказал просто и ясно:

Царь дурит — народу горюшко!

Тем временем Англия и Франция расценили русские победы на Черном море и в Закавказье как удобный предлог для войны с Россией под флагом «защиты Турции». Самый влиятельный из министров Англии лорд Г. Пальмерстон выдвинул программу расчленения России. «Моя заветная цель в войне, начинающейся против России, — писал он доверенному лицу, — такова: Аландские острова и Финляндию отдать Швеции, часть остзейских провинций России у Балтийского моря передать Пруссии, восстановить самостоятельное королевство Польское как барьер между Германией и Россией. Валахию, Молдавию и устье Дуная отдать Австрии <...> Крым, Черкесию и Грузию отторгнуть от России: Крым и Грузию отдать Турции, а Черкесию либо сделать независимой, либо передать под суверенитет султана»[2].

Эта программа стала известной в России, но вызвала у русских людей не страх, а смех. Именно о ней поэт В.П. Алферьев и композитор К.П. Вильбоа сочинили популярную песню:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

---

[1] *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934. С. 40.

[2] Цит. по: *Бестужев И.В.* Указ. соч. С. 17.

Наполеон III отнесся к программе Пальмерстона сдержанно. Франция усматривала в Англии своего потенциального противника и не хотела чрезмерного ее усиления за счет России. Но пока Наполеон считал войну с Россией необходимой, поэтому вынужденным для него становился и союз с Англией. 4 января Англия и Франция ввели свои эскадры в Черное море, а Николаю I предложили вывести русские войска из Дунайских княжеств. Николай через Нессельроде уведомил их, что на такое «оскорбительное» требование он даже отвечать не будет. Тогда 27 марта Англия и 28 марта Франция объявили России войну.

Явно антирусски повели себя и старые партнеры царизма — монархи Австрии и Пруссии. Правда, втянуть их в войну с Россией английская дипломатия, как ни старалась, не смогла, но и Австрия, и (менее решительно) Пруссия заняли враждебную к России позицию. 20 апреля 1854 г. они заключили между собой «оборонительно-наступательный» союз и в оба голоса потребовали, чтобы царизм снял осаду Силистрии и очистил Дунайские княжества. Николай I, давно уверовавший в то, что «ребят» (как он выражался по адресу Австрии и Пруссии) всегда можно будет одернуть, прикрикнув на них: «Эй, ребята, не дурачься, не то я вас!»[1], — пережил горькое разочарование. Осаду Силистрии пришлось снять, Дунайские княжества очистить. Царизм оказался в положении международной изоляции.

Англия, Франция и Турция против России

Англо-французская дипломатия попыталась организовать против России широкую коалицию, но сумела вовлечь в нее только зависимое от Франции Сардинское королевство. Вступив в войну, англичане и французы предприняли грандиозную демонстрацию у берегов России, атаковав летом 1854 г. почти одновременно Кронштадт, Соловецкий монастырь на Белом море и Петропавловск-Камчатский. Союзники рассчитывали дезориентировать русское командование и заодно прощупать, не уязвимы ли границы России. Расчет не удался. Русские пограничные гарнизоны отбили все атаки союзников. Английский адмирал Д. Прайс, не сумевший взять Петропавловск, посчитал сие таким для себя позором, что даже застрелился. Тем же летом новые поражения потерпели на Кавказе турецкие войска. Поэтому с осени 1854 г. союзники перешли от демонстраций к решительным действиям на берегах Крыма.

В течение пяти дней (с 2 по 6 сентября) 62-тысячная союзная армия на 360 судах беспрепятственно высаживалась близ Евпатории, а затем двинулась на юг, к Севастополю — главному опорному пункту России в Крыму. Пока все складывалось для

[1] Цит. письмо Николая I И.Ф. Паскевичу от 7 декабря 1849 г. (*Тарле Е.В.* Соч. Т. 8. С. 248).

союзников как нельзя лучше. Очень помогла им феноменальная беспечность русского главнокомандующего А.С. Меншикова. Именно он, николаевский фаворит князь Меншиков, командовал русскими войсками в Крыму. Хотя он был и генералом, и адмиралом, однако как следует не знал ни военного, ни морского дела, но совмещал в себе *одновременно* военно-морского министра, сухопутного главкома в Крыму, командующего Черноморским флотом и... генерал-губернатора Финляндии. Сам он считал себя авторитетным специалистом по делам войн как на суше, так и на море, а тех, кто был чином ниже его (Нахимова, в частности), ни в грош не ставил. «Ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть!» — говорил он о Нахимове и за глаза называл его «боцманом».

Союзные генералы тоже не блистали полководческими дарованиями. Правда, французский главнокомандующий маршал А. Сент-Арно был отменным солдатом. Типичный кондотьер XIX в., авантюрист и сорвиголова по натуре, он и в мирное время не пропускал ни одного пожара, если таковой был поблизости, участвовал в тушении, рисковал жизнью. Но как стратег, командующий армией, Сент-Арно никуда не годился. По словам К. Маркса и Ф. Энгельса, он «оказал своему императору услугу тем, что скоро умер».

Еще худшим командующим был английский фельдмаршал лорд Ф. Раглан, который в противоположность Сент-Арно, всю жизнь проведшему на войне, хотя и потерял в битве под Ватерлоо руку, с тех пор 40 лет не нюхал пороху... В 1855 г. он жил представлениями 1815 г. и на военных англо-французских совещаниях удивлял и злил французов тем, что называл врагов не «русскими», а по старинке «французами».

Зато войска союзников почти вдвое превосходили русскую армию и почти втрое были лучше оснащены и вооружены. Их перевес в людях и технике решил исход сражения 8 сентября 1854 г. на р. Альма. Меншиков с 35-тысячной армией попытался здесь остановить союзников и так был уверен в успехе, что пригласил на поле битвы светских дам, обещая показать им зрелище позорного бегства неприятеля. Бежать, однако, пришлось ему самому. Спасая себя, он потерял свой портфель с ценными бумагами, но сохранил органически присущую ему беспечность и даже острил на бегу: «Если бы я выиграл эту битву, меня сделали бы *графом Альмавива!*»

Русские солдаты, не в пример своему главнокомандующему, сражались на Альме героически, и союзники понесли большие потери, особенно англичане. Герцог Кембриджский даже воскликнул à la Пирр после Аускулума[1]: «Еще одна такая победа, и у Англии будут две победы, но не останется армии!»

[1] В битве при Аускулуме (279 г. до н. э.) эпирский царь Пирр одержал над римлянами победу, которую стали называть «пирровой».

После битвы на Альме Меншиков отступил к Севастополю, а затем к Бахчисараю, бросив Севастополь на произвол судьбы. «Молвил: "Счастия желаю", сам ушел к Бахчисараю, ну вас всех...» — так поется об этом в солдатской песне. На вопрос адмирала В.А. Корнилова, что́ ему делать с флотом в Севастополе, Меншиков ответил: «Положите его себе в карман!»

В дальнейшем он дал союзникам еще два сражения. Под Балаклавой 13 октября 1854 г. была почти полностью истреблена английская легкая кавалерия, в которой служила самая родовитая знать; в Англии по этому случаю был объявлен национальный траур. Вплоть до 1914 г. в «долину смерти» под Балаклавой из Англии тянулись паломники, чтобы посетить могилу английской кавалерии. Будь на месте Меншикова другой военачальник, русские могли бы одержать под Балаклавой решительную победу, но с Меншиковым и здесь потерпели неудачу. После этой битвы русские солдаты стали называть Меншикова «Изменщиковым».

Проиграл Меншиков и сражение в районе Инкермана под самым Севастополем 24 октября 1854 г. Действия русского штаба в этом сражении похожи на анекдот. Незадолго до начала боевых действий выяснилось, что в штабе нет плана местности: Меншиков вспомнил, что забыл его в Петербурге. Запросили Петербург, но не дождались плана, а начали сражение, положившись на генерала П.А. Данненберга, заявившего, что знает местность, «как свои карманы». По ходу битвы, к удивлению Данненберга, там, где он ожидал встретить высоты, оказывались ложбины и наоборот. Битва была проиграна, а на следующий день штаб Меншикова получил из Петербурга план местности. Один Меншиков ничему не удивлялся, а только констатировал, что теперь «видов к разбитию неприятеля больше не представляется».

Лишь за три дня до собственной смерти, 15 февраля 1855 г., Николай I отважился уволить Меншикова *«полечиться»,* а новым главнокомандующим назначил опять М.Д. Горчакова. Горчаков сделал 4 августа 1855 г. в сражении на Черной речке последнюю, подготовленную из рук вон плохо попытку заставить союзников снять осаду Севастополя, но был отбит. Об этом несчастном сражении Лев Толстой сочинил тогда известную песню: «Как четвертого числа нас нелегкая несла...» Севастополь оказался целиком на попечении гарнизона.

Героическая оборона Севастополя началась 13 сентября 1854 г. и продолжалась 349 дней. Организатором обороны стал адмирал В.А. Корнилов, по словам Л.Н. Толстого, — «герой, достойный Древней Греции». Он сразу призвал защитников города: «Будем драться до последнего! Отступать нам некуда, сзади нас — море». Ближайшими помощниками Корнилова были адмирал П.С. Нахимов, контр-адмирал В.И. Истомин и военный инженер полковник Э.И. Тотлебен.

Неприступный с моря Севастополь был легко уязвим с суши. Поэтому пришлось наскоро возводить целую систему пригородных укреплений, в строительстве которых участвовало все военное и гражданское население города от мала до велика. Однако союзники сами отчасти «помогли» городу в том, что обошли его с севера, где он был еще беззащитен, и осадили с юга, где он уже опоясался укреплениями. Нахимов в те дни говорил, что после войны он поедет в отпуск за границу и там публично назовет Сент-Арно и Раглана... «ослами»[1].

Подступив к Севастополю, союзники 5 октября 1854 г. предприняли первую бомбардировку города. Они сосредоточили против него 1340 орудий (больше, чем имели французы и русские, вместе взятые, при Бородине) и выпустили по его укреплениям 150 тыс. снарядов, но ничего не добились. Севастопольские укрепления выдерживали огонь тяжелых орудий, а гарнизон сохранял присутствие духа и был готов к отражению штурма. Не рискнув пойти на штурм, союзная армия, численность которой достигла уже 120 тыс. человек, приступила к осаде города. Защищали его 35 тыс. бойцов.

В день первой бомбардировки Севастополя погиб Корнилов. Его последние слова были: «Отстаивайте Севастополь!..» Оборону города возглавил Нахимов. Под его командованием защитники Севастополя демонстрировали образцы воинской доблести, стараясь, как они говорили, «равняться по Павлу Степановичу»: стойко держались во время бомбардировок, отражали штурмы, совершали смелые вылазки.

Легендарный матрос Петр Кошка участвовал в 18 вылазках, лично взял в плен и привел в город шесть неприятельских «языков», в числе которых были три турка, англичанин, француз и даже сардинец, т. е. солдаты всех армий, осаждавших Севастополь. Кошке не уступали в героизме матросы Федор Заика, Аксений Рыбаков, солдаты Афанасий Елисеев, Иван Димченко, *первая в мире* сестра милосердия Дарья Севастопольская[2]. В защите Севастополя участвовали и два русских гения: хирург Н.И. Пирогов возглавлял военно-санитарную часть; писатель Лев Толстой командовал артиллерийской батареей. Вся передовая Россия гордилась тогда севастопольцами. Декабрист Н.А. Бестужев, умирая в далекой Сибири, с надеждой спрашивал: «Держится ли Севастополь?»

Условия обороны были неимоверно трудными. Недоставало всего — людей, боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Военный министр В.А. Долгоруков самоустранился от всякой помощи

---

[1] *Тарле Е.В.* Соч. Т. 9. С. 125.

[2] Только в 1984 г. было установлено ее настоящее имя: Дарья Лаврентьевна Михайлова (см.: *Климанова В.В.* Подлинное имя Дарьи Севастопольской // Советские архивы. 1984. № 6).

Севастополю. Князь Меншиков зло острил по его адресу: «Долгоруков имеет тройное отношение к пороху: он пороха не нюхал, пороха не выдумал и пороха не посылает в Севастополь». Царь же вместо пороха и пушек прислал в Севастополь, дабы поднять его боевой дух, собственных чад — Николая и Михаила, которые потом, много лет спустя, но с учетом этого обстоятельства, были сделаны фельдмаршалами.

Рядовые защитники города знали, что они обречены на смерть, но не теряли ни достоинства, ни выдержки. Князь М.Д. Горчаков как-то спросил у одного из них: «Сколько людей на бастионе?» Тот хладнокровно, не рисуясь, ответил: «Дня на три хватит».

В таких условиях севастопольский гарнизон продержался одиннадцать месяцев, выбив из строя 73 тыс. неприятельских солдат и офицеров. 6 (18) июня 1855 г., в 40-ю годовщину битвы при Ватерлоо, где, как известно, англичане победили французов, союзники предприняли штурм Севастополя, надеясь совместной, англо-французской победой над общим противником придать этому дню новую историческую окраску. Одетые в парадную форму 30 тыс. французов и 15 тыс. англичан 9 раз за этот день шли на приступ и все 9 раз были отбиты. Английский главнокомандующий Раглан — участник Ватерлоо — вскоре после этого штурма умер (как полагают, от горя).

С каждым днем таяло число защитников Севастополя, один за другим гибли их руководители. Вслед за Корниловым 7 марта 1855 г. погиб Истомин (ему ядром оторвало голову). 8 июня был тяжело ранен и выбыл из строя Тотлебен, а 28 июня французская пуля смертельно ранила Нахимова, когда он, стоя по обыкновению в полный рост на бруствере того бастиона, где был убит Корнилов, осматривал в подзорную трубу позиции французов.

Павел Степанович Нахимов умер через день, не приходя в сознание. Хоронил его весь Севастополь, все, кто был свободен от боевой вахты. Тело его накрыли флагом, изорванным ядрами, — тем самым, что реял на корабле Нахимова в Синопской битве. Даже англичане и французы прекратили на время похорон обстрел города и приспустили флаги на своих кораблях в знак уважения к всемирной славе русского флотоводца.

Лишь 27 августа 1855 г. французам удалось, наконец, взять господствовавший над городом Малахов курган, после чего Севастополь стал беззащитен. В тот же вечер остатки гарнизона затопили сохранившиеся корабли, взорвали уцелевшие бастионы и оставили город, который даже враждебная России печать именовала тогда «русской Троей».

Так закончилась севастопольская эпопея. Она вписана славной страницей в историю русского народа. Такова диалектика исторического развития: Крымская война была несправедливой со стороны России, но *не народ* начал ее; когда же враги пришли на русскую землю, русские люди, защищая отчизну, совершали

чудеса героизма. Значение севастопольской обороны 1854—1855 гг. заключается в том, что она показала всем исключительную силу патриотического чувства русского народа, стойкость его национального характера.

К моменту падения Севастополя Россия после двух лет войны ощутила истощение сил. Не помог и январский 1855 г. призыв крестьян в народное ополчение. Страна понесла огромные людские потери (больше 500 тыс. человек на всех фронтах) и оказалась на грани финансового краха. Если к началу войны, в 1853 г., дефицит государственного бюджета составлял 52,5 млн. руб., то в 1855 г. он вырос до 307,3 млн.[1] Но борьба за Севастополь исчерпала и силы союзников. Они потеряли в Крымской войне до 350 тыс. человек. Провозившись целый год под Севастополем, союзники уже не надеялись разгромить Россию. Им удалось лишь занять несколько крымских городов, но прорваться из Крыма в глубь России они даже не рискнули.

Между тем на Кавказском фронте русские войска до конца войны сохраняли инициативу. К 1855 г. престарелого и безынициативного князя М.С. Воронцова заменил в должности главнокомандующего на Кавказе генерал Н.Н. Муравьев — один из первых декабристов, родной брат основателя «Союза спасения» А.Н. Муравьева и раскаявшегося декабриста М.Н. Муравьева Вешателя. Он был на 12 лет моложе Воронцова и, главное, активнее. Под его командованием русские войска 16 ноября 1855 г. взяли Карс, слывший одной из самых сильных крепостей мира, и открыли себе дорогу на Эрзерум — в пределы Турции.

Не рассчитывая на близкое окончание войны, обе стороны, точнее Наполеон III, который не хотел ни усиливать Англию, ни ослаблять Россию сверх меры, и Александр II, заговорили о мире. В России сын Николая I — Александр II — сменил на престоле отца, который умер 18 февраля 1855 г. в такой ипохондрии от непереносимых для его гордости поражений и так скоропостижно, что тотчас после его смерти распространилась и доныне бытует в художественной, а отчасти даже в исследовательской литературе версия о его самоубийстве[2].

Английские верхи жаждали продолжения войны. Узнав о миролюбивых намерениях Наполеона III, премьер-министр Англии Г. Пальмерстон пожаловался брату: «Нам грозит мир!» Но Франция больше воевать не хотела, Турция не могла, а бороться против России (как и вообще против кого бы то ни было) один на один было не в правилах Англии. Пришлось и ей поэтому соглашаться на мир.

---

[1] Исторический обзор росписей государственных доходов и расходов с 1844 по 1864 г. СПб., 1884. С. 221.

[2] П.А. Зайончковский, опираясь на сведения, извлеченные из личного архива Александра II (поденные записи о болезни и смерти Николая I), заключил, что «слухи о самоубийстве царя лишены всяких оснований» (*Зайончковский П.А.* Указ. соч. С. 181).

Мирный договор был подписан 18 (30) марта 1856 г. в Париже на международном конгрессе с участием всех воевавших держав, к ним присоединились Австрия и Пруссия. Председательствовал на конгрессе глава французской делегации министр иностранных дел Франции граф Александр Валевский — двоюродный брат Наполеона III (сын Наполеона I от польской графини Марии Валевской). Русскую делегацию возглавил граф А.Ф. Орлов — старый фаворит Николая I, шеф жандармов, родной брат декабриста, революционера М.Ф. Орлова, который 30 марта 1814 г. принял капитуляцию Парижа перед Россией и ее союзниками. Теперь, ровно через 42 года (день в день!) жандарму Орлову пришлось в том же Париже подписать капитуляцию России перед Францией и ее союзниками.

Надо отдать должное А.Ф. Орлову — он понял, что Наполеон III, боясь усиления Англии, готов поддержать Россию. Две-три беседы с ним за чашкой кофе позволили Орлову сориентироваться и действовать с максимальными шансами на минимальный (только и возможный для России) успех. Он знал, что Англия одна воевать с Россией не будет. Значит, русская делегация должна по всем вопросам, где налицо единство позиций Англии и Франции, уступать, но там, где такого единства нет, упорствовать. Так Орлов и действовал. В результате ему удалось добиться условий, *менее* тяжких и унизительных для России, чем ожидалось после столь несчастной войны.

Россия теряла устье Дуная, южную Бессарабию, а главное, лишалась права иметь на Черном море военный флот и прибрежные арсеналы, поскольку море было объявлено *нейтральным*. Таким образом, русское Черноморское побережье становилось беззащитным от возможной агрессии. Другие условия Парижского договора задевали интересы России в меньшей степени. Покровительство турецким христианам было передано в руки «концерта» всех великих держав, т. е. Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России. Территории, оккупированные во время войны, подлежали обмену. Поэтому Россия возвращала Турции Карс, а союзники — России Севастополь, Евпаторию и другие русские города.

Крымская война нанесла сокрушительный удар всей внешнеполитической системе царизма. Рушились сколоченные им в результате военно-дипломатических побед 1826—1833 гг. ближневосточные позиции, резко упал его международный престиж. «Европа перестала бояться северного колосса на обнажившихся крепостных ногах» — так написал об этом В.О. Ключевский.

В то же время Крымская война явилась сильнейшим толчком к развалу внутренней социальной базы самодержавия. Царизм, по словам Ф. Энгельса, скомпрометировал в этой войне не только «Россию перед всем миром», но и «самого себя перед Россией».

Война обострила всеобщую ненависть россиян к феодально-крепостническому строю и поставила в порядок дня вопрос об уничтожении крепостного права. Словом, Крымская война ускорила назревание революционной ситуации, которая вынудила царизм отменить крепостное право.

Таким образом, если крепостнический режим внутри страны привел к внешнеполитическому краху царизма в Крымской войне, то внешнеполитический крах царизма, в свою очередь, ускорил падение крепостнического режима в России.

Историографическая справка. Крымская или, как ее часто называют, Восточная война царской России против Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства — одна из популярных тем не только российской, но и зарубежной историографии. Ей посвящены сотни книг и тысячи статей.

Западная (особенно английская и французская) историография изображает Крымскую войну как «защиту территориальной целостности Турции» от русской агрессии и преувеличивает успехи союзных войск, причем английские историки ставят во всех отношениях на первое место англичан, а французские — французов. Наиболее характерны монографии француза К. Базанкура «Крымская экспедиция» (1858) и англичанина А. Кинглека «Вторжение в Крым» (1868)[1]. Оба автора были участниками войны, писали о ней с большим знанием фактической стороны дела и остались главными авторитетами в изучении этой темы для последующих — не только английских (Г. Темперлей, Д. Гендерсон) и французских (А. Рамбо, Э. Гишен), но и американских (Д.В. Пурьир) исследователей.

Русские дореволюционные историки, напротив, пытались доказать, что Россия в Крымской войне защищалась от агрессии со стороны Англии, Франции и Турции. Вопрос о причинах поражения России они переносили из социально-экономической области в чисто военную, т. е. сводили их (причины) к ошибкам военачальников. Что же касается вопиющих безобразий крепостного режима, который на деле и привел Россию к крымской катастрофе, то они затушевывались или вовсе замалчивались. Такая концепция характерна для трех самых крупных в России до 1917 г. исследований на эту тему под одинаковым названием «Восточная война» — М.И. Богдановича (1877), Н.Ф. Дубровина (1900), А.М. Зайончковского (1908—1913). Главное достоинство этих трудов заключается в обилии фактического материала. Авторы (все трое — генералы, а Дубровин к тому же еще академик) досконально изучили предмет исследования и подробно воссоздали ход всех боевых действий.

---

[1] См.: *Bazancourt C.* L'expédition de Crimée. P., 1858. V. 1—2; *Kinglake A.* The invasion of the Crimea. Lpz., 1865—1868. V. 1—6.

В советской историографии до конца 30-х годов преобладала точка зрения М.Н. Покровского, который в общих курсах русской истории и в статье «Крымская война»[1] справедливо разоблачал захватнические цели царизма и связывал крымское поражение с тотальной отсталостью дореформенной России, но, с одной стороны, он преуменьшал агрессивность противников России, а с другой — недооценивал героизм русского народа.

С конца 30-х годов советские историки освободились от заблуждений Покровского, но обратились в другую крайность — к некоторой идеализации внешней политики России и ее военного искусства с негативной оценкой военачальников «николаевской школы», которой будто бы противостояли В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, Э.И. Тотлебен. Этот недостаток заметен в работах И.В. Бестужева, Ш.М. Левина, Б.И. Зверева, Л.Г. Бескровного и даже в капитальном труде Е.В. Тарле[2], который, однако, по глубине, масштабности, редчайшему сочетанию научной монументальности с художественно яркой формой изложения поныне остается лучшим не только в российской, но и в мировой литературе о Крымской войне. Здесь впервые комплексно освещены все основные — как военные, так и дипломатические, социальные, экономические — сюжеты Крымской войны на широком фоне европейской и мировой политики.

---

[1] В сб.: *Покровский М.Н.* Дипломатия и войны царской России в XIX в. М., 1924.

[2] См.: *Тарле Е.В.* Крымская война. М., 1941—1943. Т. 1—2.

Понятие и признаки революционной ситуации

Само понятие революционной ситуации и ее главные признаки первым научно определил и внедрил в российскую историографию В.И. Ленин[1]. Советские историки канонизировали его определение и, как правило, подгоняли под него факты, доводя такую подгонку до абсурда. В последнее же время критики Ленина, наряду со всем прочим, тщатся отбросить и его положение о революционной ситуации, но опровергнуть ленинскую аргументацию не могут. Думается, и понятие революционной ситуации, и ее признаки вполне правомерны именно в ленинской трактовке.

Итак, что такое революционная ситуация? Совокупность *объективных* условий, выражающих кризис данного экономического, социального, политического строя и создающих возможность революции. Главными признаками революционной ситуации Ленин называл три следующих объективных фактора, которые, собственно, и образуют — в непременной их *совокупности* — революционную ситуацию как таковую: 1) кризис «верхов», 2) кризис «низов», 3) экстраординарная активность масс. В России все эти объективные условия совокупно впервые сложились к концу 50-х годов XIX в.

В стране налицо был кризис «верхов», т.е. кризис политики господствующего класса, когда «верхи» *не могут* более управлять по-старому, не могут сохранять свое господство в неизменном виде. Вспомним, что еще в 1839 г. шеф жандармов А.Х. Бенкендорф определял крепостное право как «пороховой погреб под государством». С тех пор прошло 20 лет. Крепостной строй все сильнее тормозил экономическое развитие страны. Показателен такой пример. В 1800 г. Россия производила 10,3 млн. пудов чугуна, Англия — 12 млн., а в начале 50-х годов Россия — от 13 до 16 млн., Англия — 140,1 млн. пудов. Разлагалась и озлобляла народ социально-политическая система феодальной России с ее сословными барьерами, всеобъемлющей коррупцией, беспределом самовластия. В 1855 г. курляндский губернатор (будущий министр внутренних дел и председатель Комитета министров) П.А. Валуев охарактеризовал состояние Российской Империи словами: «Сверху

[1] См. его статью «Крах II Интернационала»: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 218.

блеск, внизу гниль». В страхе перед опасностью революционного взрыва из среды господствующего класса, как из рога изобилия, полились бесчисленные письма, записки, адреса к царю с предложениями отменить крепостное право.

Особенно много таких предложений подавали «наверх» либеральные дворяне и буржуа, которые хорошо понимали, что «из цепей рабства (как выразился К.С. Аксаков) куются ножи бунта». Либералы воспользовались тем, что с начала царствования Александра II, по их словам, «немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем». Смерть Николая I (18 февраля 1855 г.) они встретили с облегчением, полагая, что «это одна из тех смертей, которые расширяют простор жизни»[1]. Тотчас кем-то была сочинена эпиграмма:

Да помнит вечно русская земля,
Как волей божьей к ней была добра природа
18 февраля
1855 года.

Повторилась ситуация 1801 г., когда Россия узнала о смерти Павла I: зло поминали старого «плохого» царя и радовались воцарению нового, «хорошего». Славянофил А.С. Хомяков сочинил тогда целую теорию: «В России хорошие и дурные правители чередуются через одного — Петр III плохой, Екатерина II хорошая, Павел I плохой, Александр I хороший, Николай I плохой. Значит, Александр II будет хорошим». Именно с надеждой на «хорошего» царя адресовали ему свои проекты отмены крепостного права такие гранды либерализма, как славянофилы А.И. Кошелев и Ю.Ф. Самарин, западники К.Д. Кавелин (который преподавал тогда историю и правоведение наследнику престола) и Б.Н. Чичерин.

Даже крепостники, во избежание худшего, заговорили о реформах. С критикой положения в стране выступил один из столпов «теории официальной народности» М.П. Погодин. В своих «Письмах» к царю 1854—1856 гг. Погодин буквально вопиял об опасности дальнейшего сохранения крепостничества: «Вот где кроется наша революция, вот откуда грозят нам опасности, вот с которой стороны стена наша представляет проломы. Перестаньте же возиться около западной, почти совершенно твердой, и принимайтесь чинить восточную, которая почти без присмотра валится и грозит падением!»

Наконец, и сам царь вынужден был признать и декларировать необходимость отмены крепостного права. 30 марта 1856 г. Александр II выступил перед московским дворянством с речью, в которой произнес исторические слова: «Лучше отменить крепостное право *сверху*, нежели дожидаться того времени, когда

[1] *Ключевский В.О.* Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 5. С. 339.

оно само собою начнет отменяться *снизу*»[1]. Вслед за тем неохотно и медленно, как в былые времена, но теперь уже необратимо, царизм начал готовить крестьянскую реформу. Не только сила экономического развития, но и простой инстинкт самосохранения толкали его к отмене крепостного права. «Уступить и остаться» — такой выход диктовала ему обстановка. Максимально возможной для него и минимально достаточной для того, чтобы предотвратить революцию, уступкой могла быть в тех условиях только отмена крепостного права.

Итак, первый признак революционной ситуации, а именно кризис «верхов», к концу 50-х годов стал фактом. Налицо был к тому же времени и второй признак — кризис «низов», т.е. обострение выше обычного нужды и бедствий народных масс. Большинство российских крестьян перебивалось тогда с хлеба на квас. Миллионы людей голодали, особенно в годы Крымской войны и неурожаев 1854—1855 и 1859 гг., поразивших более 30 губерний (70 % сельского населения империи). Даже помещики — в Тульской губернии — признавали, что крестьянин «ест всякую гадость: желуди, древесная кора, болотная трава, солома — все идет в пищу». Один саратовский помещик так рассказывал о крестьянском хлебе: «Я давал его на пробу своим свиньям, и они только понюхают, но ни одна не дотрагивалась». Нищета российской деревни ужасала современников. «Только и осталось,— мрачно шутили крестьяне,— что лечь на брюхо, да спиной прикрыться».

Не удивительно, что лишь за 1853—1855 гг., по официальным данным, взрослое крестьянское население страны уменьшилось в среднем на 10 %, а местами — до 20 % и более. Помещики же, несмотря ни на что, усиливали феодальную эксплуатацию крестьянства. С конца XVIII до середины XIX в. оброк помещичьих крестьян возрос в черноземных губерниях на 216 %, а в нечерноземных — на 350 % и продолжал расти.

Обращение царизма к народу за помощью во время Крымской войны (призыв в ополчение) дало крестьянам надежду на то, что они своим участием в ней заслужат себе свободу от крепостного права. Но война окончилась, а свободы крестьяне не получили. Повторилась история 1812—1815 гг. Разочарование крестьян в надежде на освобождение усилило их протест против крепостного строя, а разорительные последствия войны окончательно истощили их терпение. В результате значительно повысилась активность масс, т.е. оказался налицо и третий признак революционной ситуации. Если в 1851—1855 гг. в стране насчитывалось 287 крестьянских волнений (в среднем по 57 в год), то за следующее пятилетие, с 1856 по 1859,— 1341[2]. Крестьянское движение было

[1] Материалы для истории упразднения крепостного состояния. СПб., 1860. Т. 1. С. 114.

[2] Включая и «трезвенные бунты» (разгром питейных заведений 1859 г.), которые тоже носили антикрепостнический характер.

тем опаснее для крепостного строя, что оно в конце 50-х годов нарастало буквально из года в год. По неполным данным, число крестьянских выступлений составляло:

1856 г. — 66
1857 г. — 100
1858 г. — 378
1859 г. — 797[1]

Напомним для сравнения, что в первой четверти века крестьянских волнений было в среднем лишь 26 в год.

Разумеется, *количество* выступлений в данном случае — показатель очень относительный. Методика подсчета крестьянских протестов до сих пор еще не доработана. Мы приплюсовываем одно к другому *все* выступления крестьян, самые различные по характеру, и многотысячные волнения, и чуть ли не индивидуальные отказы от барщины. Но представление о динамике крестьянской борьбы, ее нарастании даже эта несовершенная статистика все же дает.

Попытки некоторых исследователей (И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос) доказать, что в 1859—1861 гг. не было «ровным счетом никакого напора крестьянско-освободительного движения», поскольку, мол, протестовала ничтожно малая часть 40-миллионного крестьянского населения (в 1859 г.— 40 тыс. человек, по подсчетам названных авторов),— такие попытки некорректны. Элементарное требование историзма обязывает нас в данном случае (как и в любом другом) вести речь о величинах не абсолютных, а относительных, о динамике крестьянского движения 1859—1861 гг. в сравнении не со всей численностью крестьян, а с количеством протестовавших до 1859 г.

Итак, все три объективных фактора, совокупно образующих революционную ситуацию, были к концу 50-х годов впервые в России налицо. Советские историки, как правило, датировали первую революционную ситуацию точно «по Ленину»: 1859—1861 гг., не задумываясь над тем, что Ленин называл такие даты условно. Лишь некоторые из исследователей аргументировали хронологию первой революционной ситуации с выходом за рамки ленинских дат. Наиболее основательно это сделал И.С. Миллер[2], разделивший весь период революционной ситуации на пять фаз: 1) ее «складывание» (с осени 1854 до второй половины 1858 г.), 2) «нарастание» (со второй половины 1858 до мая 1861 г.), 3) «длящаяся кульминация» (с мая 1861 по начало 1862 г.), 4) «распутье» (с весны 1862 до мая 1863 г.) и 5) «спад» (с мая

[1] См.: Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг. Сб. документов. М., 1962. С. 733; Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 г. Сб. документов. М., 1963. С. 736.

[2] См.: *Миллер И.С.* О некоторых проблемах первой революционной ситуации // История СССР. 1974. № 5.

до конца 1863 г.). Периодизация Миллера приемлема, но излишне дробна. По-моему, более рационален такой вариант периодизации: 1856—1858 гг.— *возникновение* совокупности главных признаков первой революционной ситуации; 1859—1861 гг. — это *восходящая фаза* ее и 1862—1863 гг. — *нисходящая фаза.*

Почему же революционная ситуация на рубеже 50—60-х годов не переросла в революцию? По мнению Ленина, которое многократно подтверждено ходом истории, хотя «революция невозможна без революционной ситуации, <...> не всякая революционная ситуация приводит к революции». Революция возникает лишь при наличии таких условий, когда к трем объективным факторам присоединяется фактор *субъективный,* а именно способность революционного класса на действия, достаточно сильные, чтобы свергнуть правительство. Такого субъективного фактора революционной ситуации, который обеспечил бы перерастание ее объективных условий в явь революции, тогда в России не оказалось. Не было еще в стране класса, способного поднять миллионы недовольных на революцию и довести ее до победы. Буржуазия должным образом еще не созрела, крестьянство оставалось раздробленным и политически отсталым, а рабочий класс только начинал формироваться.

Вот почему роль субъективного фактора в первой революционной ситуации выпала на долю не класса и даже не партии, а идейно разнородной и организационно не оформленной антикрепостнической оппозиции, внутри которой противоборствовали не только правительству, но и друг другу два крыла — либеральное и революционное.

Демократический подъем

Либеральное движение конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. было неотъемлемой частью демократического натиска на самодержавие. С революционерами либералов объединяло неприятие крепостничества и самодержавного произвола: и те, и другие требовали отменить крепостное право, причем освободить крестьян с землей, а самодержавие ограничить конституцией. Но либералы рассчитывали исключительно на реформу, отрицая революцию в принципе. Это сближало их с охранителями, крепостниками, которые лишь в силу необходимости, а не из-за своей заинтересованности, как либералы, шли на отмену крепостного права посредством реформы. Правда, крепостники при этом пытались обеспечить наибольшие выгоды для помещиков и наименьшие уступки крестьянству, во всяком случае, освобождать крестьян без земли. Таким образом, либералы занимали как бы промежуточное положение между революционным и правительственным лагерями, но до тех пор, пока правительство не осуществило

реформу 1861 г., они шли вместе с революционерами в качестве не столько их союзников, сколько попутчиков.

Первыми в 1855 г. изложили credo и подняли знамя российского либерализма историки (учитель и ученик) К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин в «Письме к издателю» (А.И. Герцену). Герцен опубликовал его в первых четырех выпусках своего сборника «Голоса из России» за 1856 год. Признав, что Россия должна быть обновлена, Кавелин и Чичерин провозгласили основным законом истории «закон постепенности» и осудили «кровавую купель» революций. Лучшим средством демократического преобразования России они признали «самодержавные реформы». «Ваши революционные теории,— обращались они к Герцену,— никогда не найдут у нас отзыва и ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторской трибуной, возбуждает в нас лишь негодование и отвращение». То было первое *открытое* выступление российских либералов, которое свидетельствовало об оформлении либерального лагеря в России, хотя процесс его идейного размежевания с революционным лагерем тогда еще не закончился. Напротив, в условиях назревавшей революционной ситуации этот процесс усилился.

Средства борьбы либералов 50-х годов за обновление России были вполне мирными: во-первых, банкетные кампании с застольными речами в пользу отмены крепостного права и, во-вторых, верноподданнические записки на имя царя с проектами этой отмены. Возник даже особый жанр *рукописной литературы* этого рода, которую либералы начали создавать (по инициативе Кавелина) еще до конца Крымской войны и распространять в обществе. Сам Кавелин выступил с «Запиской об освобождении крестьян в России»; Чичерин написал статью «Современные задачи русской жизни» и ряд других; Н.А. Мельгунов — «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии». Подключились к созданию рукописной литературы и славянофилы — А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский. Все они выступали за отмену крепостного права исключительно сверху и с непременным «вознаграждением» помещиков, хотя сроки реформы и размеры вознаграждения предлагали разные. Черкасский считал, что полностью «открыть исход» крестьянам из крепостного состояния надо будет лет через 15—20, а Кошелев призывал сделать это «не завтра, а ныне». Обсуждая таким образом «задачи русской жизни» в собственном кругу, либералы продолжали сотрудничать и полемизировать с Герценом.

Герцен уезжал в 1847 г. из России хотя и надолго, но, как он полагал, на время; оказалось же — навсегда. Уже за границей он решил стать политическим эмигрантом. «Что я делал бы в России с железным намордником?» — восклицал он в обращении к русским друзьям от 1 марта 1849 г. под названием «Прощайте!». В 1850 г. Герцен дважды отверг «высочайше нетерпеливые» (по

выражению Г.В. Плеханова) требования Николая I немедленно вернуться на родину, и 26 сентября 1851 г. Государственный совет Российской Империи торжественно объявил его «изгнанным навсегда из пределов государства». Эмиграция, фактически начавшаяся 21 января 1847 г., в день отъезда Герцена из России, теперь была оформлена и продолжалась до последнего вздоха Герцена 21 января 1870 г., т.е. ровно 23 года, день в день.

Свою политическую эмиграцию Герцен рассматривал как начало открытой борьбы против самодержавия и крепостничества. «Эмиграция,— говорил он,— есть первый признак приближающегося переворота». В мае 1853 г. он создал в Лондоне Вольную русскую типографию, которую использовал как трибуну для разоблачения самодержавно-крепостнического режима и для пропаганды оппозиционных идей в широком диапазоне от либерального реформизма до революционного социализма. «Я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган»,— объявил он из Лондона россиянам. Легко понять, что значила тогда свободная речь для граждан страны, в которой совершенно отсутствовала всякая свобода слова. Герцен в 1857 г. так написал об этом Александру II: «Представьте себе самого Иисуса Христа, который стал бы проповедовать где-нибудь на Адмиралтейской площади или в Летнем саду,— тут и до Иуды не дошло бы дело, первый квартальный свел бы его в Третье отделение, а оттуда отдали бы его в солдаты или еще хуже — сослали бы его в Соловецкий монастырь».

Герцен знал, что царизм постарается не допустить проникновения его свободной речи в Россию, и все-таки верил в успех. «Мы посмотрим, кто сильнее,— власть или мысль,— возглашал он,— посмотрим, кому удастся: книге ли пробраться в Россию, или правительству не пропустить ее!»

Мысль оказалась сильнее власти. Вольное слово Герцена проникало в Россию сквозь все препятствия. Сначала он печатал в своей типографии антикрепостнические прокламации и начатый им в 1852 г. главный его труд «Былое и думы» — одно из самых выдающихся произведений русской литературы, настоящий учебник жизни для всех демократов. 13 июля 1855 г., в годовщину казни П.И. Пестеля и его товарищей, Герцен начал издавать альманах «Полярная звезда», который был назван так в память об одноименном альманахе декабристов, и таким образом продолжил декабристскую традицию. Преемственность этой традиции подчеркивали силуэты пяти казненных вождей декабризма на обложке альманаха. «Полярная звезда» широко распространялась по России. Она проникала даже в Сибирь, где ее читали ссыльные декабристы. Один из них, И.Д. Якушкин, умирая, сказал о Герцене: «Он отомстит за нас».

С 1 июля 1857 г. Герцен начал издавать знаменитый «Колокол» — ежемесячное, с 1858 г. двухнедельное и с 1859 г. еженедельное

обозрение, более похожее на журнал, хотя сам Герцен называл его газетой. За всю историю русской журналистики не было другого издания, которое так отличалось бы злободневностью, литературным блеском и воздействием на умы современников, как герценовский «Колокол».

Программа, которую Герцен и его друг и соратник Н.П. Огарев провозгласили в первом же номере «Колокола», была умеренной: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного сословия от побоев!» Однако по мере издания следующих номеров к ней добавлялись новые, более радикальные пункты: уничтожение дворянских привилегий, замена казенного чиновничества выборными людьми, преобразование управления и судопроизводства. Через своих друзей и знакомых, а также через корреспондентов, притом совершенно неожиданных (например, правительственных чиновников, которые доставляли в «Колокол» секретные данные), Герцен черпал информацию о любых преступлениях крепостнического режима, разоблачал их и настойчиво пропагандировал свою программу, внушая читателям: «Россия не сможет сделать ни шагу вперед, пока в ней не будет уничтожено рабство».

Популярность «Колокола» росла от номера к номеру. Он проникал не только в Петербург и Москву, но и на окраины России. Его читали на Кавказе и в Сибири, в студенческих каморках и в Зимнем дворце. «Влияние твое безмерно,— писал Герцену в начале 1858 г. К.Д. Кавелин.— Herzen est une puissance[1], сказал недавно князь Долгоруков (шеф жандармов.— *Н.Т.*) <...> Молодежь на тебя молится <...> Твоим "Колоколом" грозят властям».

Подталкивая царизм к отмене крепостного права, Герцен надеялся, что Россия обойдется без «восстаний и революции», но допускал и «массовое восстание крестьян», если правительство не решится на реформу. Свою позицию он определил твердо: «Будет ли это освобождение "сверху" или "снизу",— мы будем за него!»[2] За это его критиковали и либералы, которые представляли себе отмену крепостного права только «сверху», и революционеры, полагавшие, что освобождение крестьян возможно только «снизу».

Тяготы политической борьбы в условиях эмигрантщины, нападки врагов, измену бывших друзей Герцен переносил так же стоически, как и невзгоды своей личной жизни. В ней преобладали элегические и трагические мотивы. Великий изгнанник, «Агасфер», как он сам себя называл, родившийся в Москве, он умер в Париже и похоронен в Ницце. Тяжело отражались на нем его семейные драмы. Первая жена Герцена Наталья Александровна Захарьина, бывшая его кузиной, внебрачная (как и он) дочь

[1] Герцен — это сила (*франц.*).

[2] *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 363.

обер-прокурора Святейшего Синода А.А. Яковлева, была достойной подругой своего мужа. Герцен страстно любил ее. В его глазах она была «и Бог, и бессмертье, и искупленье». Ей он посвятил роман «Кто виноват?», ее образ вдохновил его на создание «Былого и дум». Но она рано (34 лет) умерла. Вторая же подруга жизни Герцена Наталья Алексеевна Тучкова (бывшая жена Н.П. Огарева) заменить Захарьину не могла. И умственно, и нравственно она стояла ниже Захарьиной, но в жизни Герцена хотела занять пьедестал выше ее. Властная, ревнивая, истеричная, она вносила в семью Герцена нервозность.

Сам Герцен был образцовый семьянин, прекрасный отец. Но и как отец он не был счастлив. Словно злой рок преследовал его детей, которых было 12. Семь из них умерли в младенчестве, один из сыновей родился глухонемым и 8 лет от роду погиб при кораблекрушении, а одна из дочерей покончила с собой 17-летней. Правда, дочь Герцена Ольга прожила 103 года, но именно эта дочь была далека от отца. Все это обычно не принимают в расчет, характеризуя жизнь и деятельность Герцена. А между тем Герцен, с ранних лет отличавшийся острой эмоциональностью, болезненно переживал личные и семейные травмы. Тем большего восхищения заслуживает оптимизм творчества Герцена и всей его жизни, которую он подстегивал требованием: «Надобно быстро мчаться в жизни; оси загорятся — пускай себе, лишь бы не заржавели!»

Советские историки вполне правомерно считают Герцена и Огарева, их «Колокол» заграничным (Лондонским) центром российского освободительного движения. Другой, внутрирусский центр сложился к 1859 г. в Петербурге вокруг журнала «Современник». Основанный еще в 1836 г. А.С. Пушкиным «Современник» с 1847 г. издавали великий поэт России Н.А. Некрасов и скромный прозаик И.И. Панаев. Идейными руководителями журнала к концу 50-х годов стали Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов.

Николай Гаврилович Чернышевский, этот «русский Карл Маркс», как назвал его француз А. Леруа-Болье, родился 12 июля 1828 г. в Саратове. Его отец, дед и прадед были священниками. Сам Чернышевский тоже учился в семинарии, но не пошел по стопам предков. Он поступил на историко-филологическое отделение Петербургского университета и за годы студенчества (1846—1850) проникся революционными идеями. Большую роль в этом сыграло его знакомство с петрашевцем А.В. Ханыковым. Узнав об аресте петрашевцев, Чернышевский записал в своем дневнике: «Никогда не усомнился бы вмешаться в их общество, и со временем, конечно, вмешался бы».

В памятном 1848 году (Герцен называл этот год «педагогическим») Чернышевский пришел к выводу о том, что революция в России необходима и неизбежна, и стал, как он сам выразился, «решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних

республиканцев». «Вот мой образ мысли о России,— записывал он в дневнике 20 января 1850 г.,— неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего»[1].

После окончания университета Чернышевский два года (1851—1853) работал учителем словесности в Саратовской гимназии. Талантливый и демократически настроенный учитель имел огромное влияние на учеников. Гимназическое начальство всполошилось. Директор гимназии А.А. Мейер (по словам Чернышевского, «страшный реакционер, обскурант и абсолютист») паниковал: «Он говорил ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!» Сам Чернышевский 21 февраля 1853 г. оставил в дневнике такую запись: «Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою,— я такие вещи говорю в классе».

В родном Саратове Чернышевский встретил дочь местного врача Ольгу Сократовну Васильеву и полюбил ее на всю жизнь. Ольга Сократовна была хороша собой, но легкомысленна, экспансивна и ветрена. Ее жизненные запросы сводились главным образом к материальному достатку, увеселениям и флирту (от одного из своих поклонников, польского офицера И.Ф. Савицкого, она родила сына Виктора, которого Чернышевский признал своим). Она была далека от духовного мира Чернышевского, даже не читала его сочинений. Он же, усмотрев в ней с первой встречи созданный его воображением идеал, самозабвенно до конца дней был предан этому идеалу и гордился им. «Гениальный ум! Гениальный такт!» — говорил он об Ольге Сократовне, называл ее «женщиной, равной которой нет в истории».

В Саратове Чернышевский не имел условий для активной общественной деятельности. Поэтому в мае 1853 г., через пять дней после женитьбы на О.С. Васильевой, он уехал с молодой женой в Петербург. Там с конца 1854 г. он начал работать в «Современнике», который и превратил с помощью Некрасова и Добролюбова в самую авторитетную литературную, философскую и политическую трибуну оппозиционной России.

Чернышевский был так же разносторонне талантлив (хотя и не столь блестящ), как Герцен: философ, экономист, историк, публицист, литературный критик, писатель, он владел десятью иностранными языками и превосходно знал мировую литературу по гуманитарным наукам. Как философ, Чернышевский — материалист, сторонник антропологизма, т.е. такого принципа в философии, согласно которому (в отличие от идеализма) человек признается существом цельным, единым, а не раздвоенным на тело и душу, однако при этом рассматривается абстрактно, в отрыве от исторических форм общения, как часть природы. Иначе

[1] *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 1. С. 356—357.

говоря, антропологизм Чернышевского есть материализм, когда он обращен к природе, но идеализм в применении к обществу. Его обоснованию посвящен главный философский труд Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (1860).

Чернышевский-экономист осуждал не только феодализм с его подневольным, а потому и малопроизводительным трудом, но и капитализм с присущей ему противоположностью интересов труда и капитала. С точки зрения «теории трудящихся», как он называл свою экономическую теорию, Чернышевский доказывал, что справедливым может быть только такое общество, где «отдельные классы наемных работников и нанимателей труда исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе». Это и есть, в представлении Чернышевского, социализм.

В поисках пути для России к социализму Чернышевский внимательно изучал опыт русской и мировой истории. К истории у него всегда был повышенный интерес. Он полагал, что именно история должна служить фундаментом образования. «<...> Можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком,— говорил он,— но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно»[1].

Главной движущей силой исторического процесса Чернышевский считал народные массы, «людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно»; однако их «громадная сила, сила непреоборимая» нуждается в просвещении, иначе она может проявить заложенное в ней разрушительное, опасное для цивилизации начало.

В советской историографии до последнего времени Чернышевский изображался как «самый последовательный», т.е. фактически *крайний,* революционер. Ему приписывают даже чужие произведения именно такого, крайне революционного характера, с призывами «к топору» — «Письмо из провинции» в «Колокол» и прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Лишь в последние годы некоторые историки (в особенности, В.Ф. Антонов) аргументированно доказывают, сколь далек был Чернышевский от идеи «топора», т.е. немедленного крестьянского восстания.

Как мыслитель, социалист, Чернышевский вслед за Герценом развил доктрину народничества, хотя в отличие от Герцена не идеализировал общину, усматривая в ней «остаток первобытной древности», рудимент, которым «не следует гордиться», ибо он свидетельствует «о медленности и вялости исторического развития». Тем не менее, поскольку община сохранилась, Чернышевский считал возможным использовать ее коллективное начало как зародыш социализма.

---

[1] *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 546.

Развивая доктрину народничества, Чернышевский придал ей революционную законченность. Именно он первым в России стал доказывать, что необходима полная и *безвозмездная* ликвидация помещичьего землевладения, тогда как Герцен и Огарев допускали умеренный выкуп земли крестьянами, хотя и с помощью государства. В подцензурном органе, каким был «Современник», Чернышевский прибег к математическим расчетам вымышленного бухгалтера Зайчикова, которые дали искомый результат: выкуп = 0[1]. Далее, в отличие от Герцена, принимавшего реформу как способ коренного общественного переустройства (на одном уровне с революцией), Чернышевский считал ее лишь полумерой, подспорьем, которое облегчает, но само по себе не обеспечивает достижения цели. В связи с этим Чернышевский был менее терпим к либералам с их упованием исключительно на реформы, чем Герцен.

И все-таки «к топору» Чернышевский Россию не призывал ни до, ни во время революционной ситуации, понимая, что народ не готов к такому призыву: пока «только еще авангард народа — среднее сословие — уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать, а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности». В 1857—1858 гг. Чернышевский держал курс на создание действенного антикрепостнического фронта, способного принудить царизм к радикальной реформе, а с 1859 г., когда выяснилось, что вырвать у царизма такую реформу не удастся, избрал новый курс — на мобилизацию революционных сил, которые смогли бы заняться подготовкой к «исторической деятельности», т.е. к решающему выступлению «густых колонн» народа. В этом помогали Чернышевскому его соратники Н.В. Шелгунов, М.И. Михайлов, В.А. Обручев, братья Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи и самый выдающийся из них — Николай Александрович Добролюбов.

В жизни Добролюбова много общего с жизнью Чернышевского. Как и Чернышевский, Добролюбов родился в семье священника (тоже на Волге, в Нижнем Новгороде, 24 января 1836 г.), тоже учился в духовной семинарии и, не окончив, как и Чернышевский, семинарского курса, приехал учиться в Петербург в том же 1853 г., когда из Саратова приехал в Петербург на постоянное местожительство Чернышевский. Только учился Добролюбов не в университете, а в Главном педагогическом институте.

Юность — обыкновенно самая счастливая пора жизни. У Добролюбова она оказалась несчастной. В 1854 г. умерла его мать, а следом за ней в том же году — и отец. 18-летний студент

[1] Позднее, в сибирском романе «Пролог», Чернышевский выразит эту мысль со всей определенностью: «Вся земля мужицкая, выкупу никакого! Убирайся, помещики, пока живы!»

Добролюбов остался единственным кормильцем семи братьев и сестер, из которых младшему еще не было года. Лишения студенческих лет подорвали здоровье Добролюбова и рано (на 26-м году жизни) свели его в могилу. Они же во многом определили крайний радикализм его взглядов. Он был «революционнее» самого Чернышевского, а по отношению к либералам нетерпим.

Весной 1859 г. Добролюбов начал редактировать сатирическое приложение к «Современнику» под названием «Свисток». Именно его нападки в «Современнике» и «Свистке» на либеральное «пустозвонство» вызвали гневную отповедь со стороны Герцена и конфликт между «Современником» и «Колоколом».

1 июня 1859 г. в «Колоколе» появился фельетон Герцена «Very dangerous!!!»[1]. Герцен, очень дороживший тогда идеей широкого антикрепостнического фронта, обвинил Добролюбова и Чернышевского в том, что они своим «освистыванием»[2] либералов ослабляют этот фронт к выгоде царизма. В пылу полемики Герцен допустил оскорбительный выпад против «Современника» и «Свистка»: «По этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*»[3]

Для редакции «Современника» фельетон Герцена был как гром среди ясного неба. Добролюбов не хотел верить случившемуся, находя обвинение Герцена «ужасно диким». Некрасов собирался вызвать Герцена на дуэль. Чтобы уладить инцидент, вносивший разлад в освободительное движение, к Герцену поехал Чернышевский. Ровно неделю (с 6 по 12 июля 1859 г.) он провел в Лондоне. Дважды за это время, 6 и 9 июля, он был принят Герценом. О возможном содержании их переговоров (с участием Огарева) накопилась почти детективная литература, ибо ни Герцен, ни Чернышевский, ни Огарев прямых сведений об этом для историков не оставили.

Академик М.В. Нечкина *предположительно* утверждала, что Герцен и Чернышевский заключили соглашение о совместных действиях в составе общероссийской революционной организации, которая, как *предполагала* далее Нечкина, была налицо в России еще до падения крепостного права. В качестве аргумента для таких *предположений* Нечкина выдвинула еще одно *предположение*: Герцен и Чернышевский — революционеры, а если встречаются два революционера, им ничего другого не нужно, как

---

[1] Очень опасно!!! (*англ.*).

[2] Надо признать, что Добролюбов не слишком удачно придумал название: «Свисток». Тем самым он дал своим оппонентам пищу для остроумных насмешек. Те прямо называли Добролюбова и Чернышевского «свистунами».

[3] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 14. С. 121. Орденом св. Станислава (его надевали с лентой на шею) царь награждал россиян обычно за верноподданническое усердие.

договориться о совместных действиях. Точка зрения Нечкиной приобрела очень много сторонников, но — ни одного доказательства. Достоверно известно только то, что инцидент с фельетоном Герцена «Very dangerous!!!» был улажен, Герцен печатно извинился перед редакторами «Современника» за оскорбительное «досвистаться». «Разумеется, я ездил не понапрасну»,— написал об этом Чернышевский Добролюбову сразу после переговоров.

Вероятно, Герцен и Чернышевский говорили не только о фельетоне «Very dangerous!!!», но и о положении дел в России, о возможностях революции. Но договориться в то время о совместных революционных действиях они *не могли* — слишком велики еще были разногласия между ними. «Если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него,— читаем в том же письме Чернышевского Добролюбову.— Кавелин в квадрате, вот Вам и все»[1].

Формула «Кавелин в квадрате» надолго стала для советских ученых исследовательской проблемой. Ее расшифровывали как «либерал в квадрате», «обличитель в квадрате», «барин в квадрате», адресуя всякий раз одному Герцену. Лишь к концу 70-х годов XX в. советские историки обратили внимание на то, что Чернышевский адресовал ее в цитированном письме своим *«теперешним собеседникам»*, т.е. не только Герцену, но и Огареву, который был, естественно, целиком на стороне Герцена. Значит, «Кавелин в квадрате» — это, в представлении Чернышевского, Герцен и Огарев, показавшиеся руководителю «Современника» типичными либералами.

Герцен (как, впрочем, и Огарев) действительно и после встреч с Чернышевским продолжал рассчитывать на освобождение крестьян посредством реформы, которую осуществит правительство под давлением антикрепостнической оппозиции. Поэтому весной 1860 г. он отверг совет автора «Письма из провинции», подписавшегося «Русский человек»: «Пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь!» По наиболее правдоподобной версии, «Русским человеком» был Добролюбов. Герцен напечатал в «Колоколе» письмо «Русского человека» и свой ответ на него: «К топору, к этому ultima ratio притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора». Такую надежду Герцен сохранял до конца жизни.

В то же время Герцен и Огарев, не исключавшие в принципе (как ultima ratio, т.е. «последний довод») крестьянскую революцию, помогали молодым русским революционерам создать тайное общество, которое могло бы подготовить и возглавить народное восстание. В начале 1861 г. революционный эмиссар из

[1] *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 379.

России А.А. Слепцов побывал в Лондоне у Герцена, который был к нему «очень внимателен» и познакомил его с одним из крупнейших революционеров Европы Д. Маццини. Вернувшись в Петербург, Слепцов познакомился с Чернышевским и при его содействии начал готовить объединение революционных кружков всей России. Такие кружки действовали тогда в Петербургском университете (Н.И. Утин), Медико-хирургической академии (С.С. Рымаренко) и даже в Академии Генерального штаба (Ярослав Домбровский — будущий генерал Парижской Коммуны 1871 г.), а также в Москве, Казани, Перми, Вятке, Новгороде, Киеве, Харькове, Екатеринославе.

Однако создать всероссийскую организацию еще до реформы 1861 г. русские революционеры не смогли из-за крайней их малочисленности и неопытности. Символична запись в дневнике Добролюбова от 5 июня 1859 г. с подсчетом вполне «зрелых» революционеров: «Мало нас; если и семеро, то составляем одну миллионную часть русского народонаселения». Либералы, боявшиеся революции больше, чем реакции, держались пассивно, а крестьянские массы хоть и бунтовали, но — стихийно и локально. В результате правительственный лагерь легко взял верх над оппозицией. Царизм избежал не только революции, но и радикальной реформы, отделавшись реформой половинчатой.

Канун освобождения

С того дня (30 марта 1856 г.), когда Александр II заявил: «Лучше сверху, чем снизу», — началась по инициативе царя подготовка к отмене крепостного права. Но эту инициативу лично Александру II ставить в заслугу нельзя. Сам по себе он был еще более консервативен, чем его отец, Николай I. Даже те грошовые уступки в крестьянском вопросе, которые допускал Николай (о них шла речь в § 2 главы V), Александр считал лишними.

Как личность, Александр II был, конечно, привлекательнее отца — умнее, образованнее, мягче и сдержаннее характером (сказалось на нем влияние его воспитателя В.А. Жуковского). Внешне, статью и выправкой,— вылитый отец, он умственно и нравственно больше походил на своего дядю, Александра I, чем на отца. Однако и Александр Николаевич тоже сочетал в себе — не столь кричаще, как Николай Павлович,— пороки самодура и ретрограда, да и чрезмерно полагался на бывших служак Николая, о которых Ф.И. Тютчев в 1856 г. сказал, что они ему «напоминают волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших еще некоторое время после их погребения в могиле».

В отличие от сильной, хотя и ограниченной, истинно жандармской натуры Николая, Александр был по натуре не столько слаб, сколько изменчив. Этим он тоже напоминал своего дядю. В молодости он, к примеру, то безропотно терпел, как

отец под горячую руку хлестал его по щекам (оттого, по уверению злых языков, щеки у Александра смолоду отвисли), то вдруг дерзал презреть отцовскую волю и стоять на своем. С годами Александр II сохранил эту неустойчивость натуры — и в личной, и в государственной жизни, «всегда шел то вправо, то влево, беспрестанно меняя свое направление»[1]. Долго колебался он и прежде, чем проявить инициативу в отмене крепостного права. Главное же, эта его инициатива была вынужденной, навязанной царю силою обстоятельств — силою, давно и неуклонно нараставшей, в виде экономических и социальных бедствий, стихийного протеста крестьянских масс, давления со стороны либералов и революционеров.

Подготовка отмены крепостного права в России началась с того, что 3 января 1857 г. был учрежден очередной Секретный комитет по крестьянскому делу, как это делалось время от времени при Николае I. В состав комитета вошли 11 вельмож: бывший шеф жандармов А.Ф. Орлов, настоящий шеф жандармов В.А. Долгоруков, будущий «Вешатель» М.Н. Муравьев, бывший член суда над петрашевцами и будущий председатель суда над ишутинцами П.П. Гагарин и другие, почти все без исключения реакционеры, крепостники. Орлов даже похвалялся, что «скорее даст отрубить себе руку, чем подпишет освобождение крестьян с землей». Он и был назначен (не за это ли?) председателем комитета.

Таков был комитет по подготовке освобождения крестьян. Члены его не скрывали своей готовности похоронить крестьянский вопрос в разговорах «о крестьянском вопросе», как это было в таких же комитетах при Николае I. Однако нарастание революционной ситуации и в особенности подъем крестьянского движения заставили комитет через 6,5 месяцев абстрактных прений конкретно приступить к делу. 26 июля 1857 г. член комитета министр внутренних дел С.С. Ланской представил официальный проект реформы и предложил создать в каждой губернии дворянские комитеты с правом вносить свои поправки к проекту. Это предложение означало, что царизм, проявляя максимальную чуткость к интересам помещиков, так повел реформу, чтобы инициатива ее осуществления исходила от дворянства с минимальным для дворян ущербом. Сам Ланской афишировал свои крепостнические убеждения, печатно заявив, что государь император поручил ему «ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». 20 ноября царь узаконил предложение Ланского в рескрипте на имя прибалтийского генерал-губернатора В.И. Назимова. Рескрипт Назимову был разослан для сведения всем губернаторам и опубликован. В нем излагались те сформулированные Ланским

[1] *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. М., 1992. С. 113.

принципы реформы, которыми должны были руководствоваться губернские комитеты, а именно:

1) помещики сохраняют в своих руках всю землю и вотчинную (т.е. полицейскую) власть над крестьянами;

2) крестьяне получают лишь юридическую свободу личности, да и то после так называемого переходного периода (до 12 лет), а также усадьбу за выкуп, *без земли.*

Прежняя система феодальной эксплуатации крестьян в виде барщины и оброка за помещичью землю сохранялась. Царский рескрипт Назимову положил начало открытой подготовке реформы. Так вошел в историю освобождения крестьян и сам Назимов. Это был человек не только реакционных, крепостнических убеждений, но и «замечательно глупый» (по выражению генерала П.А. Черевина), хотя и везучий: начал карьеру с уроков *марширования* наследнику престола и кем только не был! — например, попечителем учебного округа в Москве, где он и повелел воздвигнуть в зале университета, увидев там все девять муз, десятую музу «для симметрии».

К концу 1858 г. губернские комитеты были созданы во всех губерниях Европейской России. Все они подчинялись Главному комитету по крестьянскому делу, который был преобразован (фактически лишь переименован) из Секретного комитета. Большинство в губернских комитетах (как и в Главном комитете) составляли откровенные крепостники. Только Тверской комитет был либеральным. Председательствовал в нем местный предводитель дворянства, позднее знаменитый адвокат, друг М.Е. Салтыкова-Щедрина А.М. Унковский.

Все комитеты, кроме Тверского, пеклись не о крестьянских, а о помещичьих интересах и поддержали принципы, изложенные в царском рескрипте Назимову. Крепостники стремились в ходе реформы сохранить как можно больше, а уступить как можно меньше, причем с наибольшим шумом, чтобы, говоря словами Щедрина, «мужик как можно больше восчувствовал, а помещик как можно меньше ощутил». Возражения либералов звучали робко и встречали злобный отпор со стороны крепостнического большинства. Так, в Калужском комитете один из его членов, бывший декабрист П.Н. Свистунов на торжественном обеде членов комитета вступился за крестьян. Это вызвало переполох в комитете: «...члены комитета криками выражали свое негодование; губернский предводитель, сидевший возле губернатора за обеденным столом, вскочил и закричал: "Каторжник!"»[1]. Недаром член Симбирского комитета Я.А. Соловьев официальное название губернских комитетов — «комитет для улучшения быта крестьян» — переиначил в «комитет для улучшения быта помещиков».

[1] *Корнилов А.А.* Крестьянская реформа в Калужской губернии при В.А. Арцимовиче. М., 1904. С. 115.

21 апреля 1858 г. Александр II утвердил программу Главного комитета по крестьянскому делу на принципах рескрипта Назимову. Эта программа, фактически действовавшая со дня опубликования рескрипта и до конца 1858 г., предусматривала не ликвидацию, а лишь смягчение крепостной зависимости крестьян. Герцен, внимательно следивший за ходом подготовки реформы, писал об Александре II: «Нет, не по его плечам эта ноша»; «Тихо, ужасно тихо идут дела на Руси, слабая рука Александра Николаевича дрожит».

Между тем опубликование царского рескрипта, т.е. начало открытой подготовки реформы, вызвало новый подъем крестьянского движения. Крестьяне требовали не только воли, но и земли («Одна воля хлебом кормить не станет!»). Они не верили устным и печатным толкам о безземельном освобождении, считая их выдумками «бар», и готовились к тому, что сам царь будет разъезжать по деревням и лично провозглашать волю крепостному люду.

В годы подготовки реформы крестьяне все сильнее заявляли о своих интересах. По данным III отделения, крестьянские волнения, которые удавалось подавить лишь с помощью войск, учащались из года в год:

1858 г. — 86 таких волнений
1859 г. — 90 "—"
1860 г. — 108 "—"

Обычными становились волнения целых деревень. Шеф жандармов В.А. Долгоруков в отчете за 1858 год внушал царю, что «крестьяне при ожидании переворота в их судьбе находятся в напряженном состоянии», и поскольку *«терпению при ожидании есть предел»*, то с реформой «долго медлить невозможно».

Таким образом, крестьянское движение ускорило ход подготовки реформы. Более того, оно (как и давление политической оппозиции) вынудило царизм к более радикальному решению крестьянского вопроса, по сравнению с апрельской программой 1858 г.

4 декабря 1858 г. была принята новая программа Главного комитета, которая, в отличие от старой, подрывала самые основы крепостничества. Составил ее член комитета генерал-адъютант Я.И. Ростовцев — тот самый, который в молодости шел вместе с декабристами и 12 декабря 1825 г. донес Николаю I о готовящемся восстании, после чего сделал верноподданническую карьеру и в деле петрашевцев (1849) был уже членом Следственной комиссии. Желая подчеркнуть, как изменилось время, Герцен пишет в 1858 г.: «Яков Ростовцев спрашивал в Петропавловской крепости у Петрашевского и его друзей, не было ли у них *преступных* разговоров об освобождении крестьян. Теперь царь стал во главе

освобождения, и Яков Ростовцев председателем в комитете освобождения».

Вот основные положения программы 4 декабря. Крестьяне получают личную свободу. Все они обеспечиваются земельными наделами в постоянное пользование с правом выкупить их в собственность, для чего правительство содействует крестьянам посредством кредита. Переходное же («срочнообязанное») состояние регламентируется. Эти положения новой программы Главного комитета, как мы увидим, и легли в основу реформы 1861 г.

Новая программа требовала переработать многочисленные проекты губернских комитетов, составленные по старой программе. Для редактирования этих проектов в марте 1859 г. были учреждены при Главном комитете Редакционные комиссии. Сначала предполагалось создать две комиссии: одна должна была разработать проект общего положения для всех губерний, другая — местные положения для отдельных регионов. Однако была образована всего одна комиссия, сохранившая тем не менее наименование во множественном числе: «Редакционные комиссии».

Председателем комиссии был назначен Я.И. Ростовцев, но фактически руководил ею Николай Алексеевич Милютин — чиновный либерал из именитой семьи (один его брат, Владимир, был видным публицистом и экономистом социалистического направления; другой, Дмитрий,— крупнейшим государственным деятелем, военным министром и генерал-фельдмаршалом). Н.А. Некрасов посвятил Николаю Милютину стихотворение под выразительным названием «Кузнец-гражданин».

Редакционные комиссии работали очень бойко, словно их в самом деле было две. Уже в августе 1859 г. проект «Положения о крестьянах» был закончен. Начали вносить в него правку по замечаниям депутатов от губернских комитетов. В конце августа прибыли депутаты «первого приглашения» — от 21 губернского комитета. Среди них был и А.М. Унковский. Он и четверо его единомышленников представили «адрес 5-ти» с предложением реформировать суд, администрацию и печать. Александр II на полях этого адреса испуганно пометил: «Т.е. конституцию!!!» Унковский был признан неблагонадежным, отстранен от должности предводителя дворянства и сослан в Вятку.

В феврале 1860 г. были вызваны с мест депутаты от остальных 24 губернских комитетов. К тому времени Ростовцев умер (перед смертью воззвав к царю: «Государь, не бойтесь...»), и председателем Редакционных комиссий был назначен министр юстиции граф В.Н. Панин — внук усмирителя пугачевщины, даже по выражению кроткого Г.А. Джаншиева «окаменелый консерватор», а в действительности озверелый крепостник, весь в деда,— пожалуй, даже не просто крепостник, а человеконенавистник, который не только прекословия, но и обыкновенного говора людского не выносил, отчего населял свою квартиру попугаями,

выбирая тех, что «поречистей». Внешность Панина была под стать его внутреннему миру. Герцен назвал его «жирафом в андреевской ленте», но еще больше он походил на орангутанга — такой же огромный, безобразный и свирепый, а главное, неразумный. Информацию о назначении Панина председателем Редакционных комиссий Герцен поместил в траурной рамке и сказал о нем и о тех, кто назначил его, следующее: «В прошлое царствование одного из умнейших людей в России П.Я. Чаадаева считали по высочайшему повелению умалишенным. Теперь сумасшедший Панин по высочайшей воле считается умным. Действительно, неограниченное самодержавие».

Назначение Панина было уступкой со стороны правительства дворянской оппозиции справа. Панин не только остановил начавшийся с декабря 1858 г. процесс радикализации реформы, но и повернул его вспять: добился, чтобы Редакционные комиссии уменьшили нормы земельных наделов и увеличили размеры повинностей для крестьян. 10 октября 1860 г. проект Редакционных комиссий поступил в Главный комитет по крестьянскому делу, который «обогатил» проект еще некоторыми изменениями, выгодными для помещиков (в частности, еще раз понизил нормы земельных наделов). С конца января 1861 г. началось рассмотрение проекта в последней перед царем инстанции — в Государственном совете.

Александр II в речи на заседании Государственного совета подчеркнул, что в предыдущих инстанциях «все, что возможно было сделать для ограждения интересов дворянства, сделано». Государственный совет, однако, нашел возможным еще кое-что сделать: он принял идею князя П.П. Гагарина о «дарственном» наделе. Этот «кошачий», по выражению крестьян, надел составлял четверть нормального надела (как правило, меньше одной десятины). Помещикам, без сомнения, выгодно было освобождать крестьян с такими наделами, а чтобы соблазнить крестьян «кошачьей» нормой, объявили, что эти наделы предоставляются крестьянам в собственность немедленно и бесплатно. Зато, получив такой надел, крестьяне уже не могли более претендовать на землю. Бывшие крепостные отнеслись к «дарственным» наделам без воодушевления. По подсчетам П.А. Зайончковского, взяли «дарственные» наделы примерно 500 тыс. ревизских душ, т.е. не больше 5 % помещичьих крестьян.

17 февраля 1861 г. проект «Положения о крестьянах» поступил на подпись к царю. 19 февраля, в шестую годовщину своего вступления на престол, Александр II подписал «Положение о крестьянах» и Манифест, возвещавший о реформе. Но обнародовать тот и другой документы правительство решилось не сразу. Дело в том, что грабительский характер реформы был очевиден для ее творцов. Сам Александр II перед обнародованием Манифеста сказал: «Когда народ увидит, что ожидание его, то

есть что свобода по его разумению не сбылась, не настанет ли для него *минута разочарования*?»[1] Воистину, «чует кошка, чье мясо съела»!

Опасения властей росли еще оттого, что с 26 февраля на Руси была масленица — пора, когда весь простой люд пьет и гуляет. Власти и боялись, что на масленицу, если объявить о реформе, народ взбунтуется особо — под пьяную руку.

В итоге реформа была объявлена после масленицы, *на великий пост*: 5 марта в Петербурге и Москве и с 7 марта по 2 апреля — в остальной России. А между 19 февраля и 5 марта не только шла передислокация войск в губерниях, но и приводились в боевую готовность войска в самом Петербурге, с артиллерией.

Царь и правительство 19 февраля были в страхе. Войскам в столице выдали боевые патроны, офицерам приказали не отлучаться круглосуточно из казарм. Сам Александр II не отважился ночевать в своих апартаментах и перешел в покои младшей сестры Ольги Николаевны, отличавшейся большой личной храбростью. Тем временем в царских покоях всю ночь дежурили министр двора и шеф жандармов, держа наготове для царя лошадей[2].

Так было 19 февраля. Но и 5 марта Зимний дворец был объят тревогой. Собравшиеся в ожидании царя сановники перепугались, услышав гул, похожий на орудийный залп. Генерал-губернатор приказал узнать, что случилось. Ему доложили: глыба снега сброшена с дворцовой крыши. Прошли минуты, и вдруг раздался колокольный звон, принятый чуть не за набат. Вновь опрометью помчался фельдъегерь и по возвращении доложил, что звонят у Исаакиевского собора по случаю похорон какого-то священника.

Если так робели в столице под охраной артиллерии правители государства, то каково было тогда поместным дворянам! Многие из них бросали в те дни свои усадьбы и стекались в города, а иные бежали даже за границу.

Историографическая справка. До 1917 г. российские историки не изучали революционную ситуацию как таковую. Не употребляли (и не признавали) они и самого понятия «революционная ситуация». Не только ученые-охранители, как, например, их «классик», праправнук знаменитого историка XVIII в. В.Н. Татищева граф С.С. Татищев — автор капитальной биографии Александра II, но и либерально-буржуазные исследователи (И.И. Иванюков, Г.А. Джаншиев, А.А. Корнилов[3]) игнорировали и кризис «верхов», и кризис «низов» 1859—1861 гг., а борьбу вокруг

---

[1] *Татищев С.С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1911. Т. 1. С. 330—331.

[2] См.: *Валуев П.А.* Дневник. М., 1961. Т. 1 (1861—1864). С. 72—73.

[3] См. *Иванюков И.И.* Падение крепостного права в России. СПб., 1882; *Джаншиев Г.А.* Эпоха великих реформ. СПб., 1892; *Корнилов А.А.* Крестьянская реформа. СПб., 1905.

отмены крепостного права сводили к спорам между крепостниками и либералами, причем Герцен и Чернышевский зачислялись в либеральный лагерь.

Советские историки, догматически усвоив ленинскую концепцию революционной ситуации, сосредоточились на изучении Герцена и в особенности Чернышевского (о нем давно уже защищено больше 500 диссертаций!)[1], но мало интересовались либеральным и правительственным лагерями и долго не могли подготовить обобщающего исследования всей темы.

В 1957 г. при Институте истории АН СССР была создана исследовательская группа по изучению первой революционной ситуации под руководством академика М.В. Нечкиной. К 1978 г. группа выпустила в свет семь больших сборников статей с преимущественным вниманием к Чернышевскому, Герцену и революционному лагерю. В русле работы этой же группы были подготовлены и опубликованы (кроме множества статей) монографии И.В. Пороха о Герцене и Чернышевском, Я.И. Линкова о Герцене и Огареве, Н.Я. Эйдельмана о Герцене, Е.Л. Рудницкой об Огареве, В.С. Кружкова о Добролюбове, Г.Н. Вульфсона о революционном движении тех же лет на периферии. Появились серьезные труды по истории либерализма (В.Н. Розенталь, И.П. Попова, С.С. Секиринского, Т.А. Филипповой) и охранительства (В.А. Китаева, В.А. Твардовской).

Наконец, в 1978 г. была издана коллективная монография «Революционная ситуация в России в середине XIX века», где рассматриваются все основные вопросы темы. К сожалению, монография целиком подчинена концепции ее редактора М.В. Нечкиной, которая преувеличивала зрелость и силу революционного и размах массового движения, преуменьшала разногласия внутри революционного лагеря (между Герценом и Чернышевским особенно), недооценивала демократизм либералов, причем злоупотребляла укладкой фактического материала в жесткие ленинские оценки. Первая в России после 1917 г. обстоятельная биография Александра II с должным вниманием к революционной теме вообще (но не к революционным ситуациям) появилась только теперь: Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002, (ЖЗЛ).

В зарубежной историографии проблема революционной ситуации не рассматривается, а влияние крестьянского и революционно-демократического движения на отмену крепостного права игнорируется даже в самых серьезных исследованиях — Т. Эммонса, Д. Филда (США)[2], Д. Бейрау (Германия). Существенный пробел, которым страдала советская историография, пренебрегая личностями царей, восполнил видный представитель российского зарубежья К.К. Грюнвальд в книге «Царь Александр II»[3].

---

[1] Здесь выделяются научными достоинствами труды саратовских исследователей Е.И. Покусаева, И.В. Пороха, А.А. Демченко.

[2] См.: *Emmons T.* The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge, 1968; *Field D.* The End of Serfdom. Harward, 1976.

[3] См.: *Grunwald C. de.* Le tsar Alexandre II. P., 1963.

Падение крепостного права

Содержание крестьянской реформы излагалось в пространном документе под названием: «Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Руководящие начала «Положений» разъяснял народу царский Манифест 19 февраля. Составлен он был так замысловато, что Лев Толстой определил: «Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим» (будто «написан по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем»,— заметил И.С. Тургенев). Составлял Манифест московский митрополит Филарет Дроздов — «Филька», как звали его в народе. Отсюда и пошло выражение «филькина грамота» (т.е. документ бестолковый). Суть его, засоренная словесной шелухой, была такова.

Помещичьи крестьяне (23,1 млн. человек) получали личную свободу, а также усадьбу и полевой надел в постоянное пользование, от которого они не могли, даже если бы захотели, отказаться раньше, нежели через 9 лет. В течение же этого 9-летнего срока крестьяне должны были по-прежнему отбывать за надел барщину или платить оброк. Размеры надела и объем повинностей крестьян фиксировались в *уставных грамотах,* на составление которых отводилось два года. Составлять грамоты должны были сами помещики, а проверять, верно ли (без обмана) они составлены,— *мировые посредники,* которые назначались из местных помещиков. Выходило, что посредниками между крестьянами и помещиками оказывались те же помещики. Разумеется, они почти всегда (за редчайшим исключением) «разъясняли» или исправляли уставные грамоты в пользу помещиков.

Уставные грамоты заключались не с отдельными крестьянами, а с «миром», т.е. с сельским обществом из всех крестьян того или иного помещика (если в обществе было 1000 душ, то со всеми вместе). Так закреплялась круговая порука и ответственность всего «мира» за каждого крестьянина и за его повинности.

Для того чтобы установить и зафиксировать в уставной грамоте размер надела, и помещики, и крестьяне должны быть учитывать нормы надельных участков — высшую и низшую. Крестьяне не могли требовать надел выше установленного максимума, а помещики — урезать надел ниже установленного минимума. Таково было правило. Но из него делались исключения — разуме-

ется, не в пользу крестьян. С одной стороны, если крестьянин до реформы имел в пользовании надел меньше, чем установленный после реформы минимум, помещик приразал ему землю до минимума не всегда, а при условии, что у помещика останется не менее трети (в степной полосе — не менее половины) удобных земель. С другой стороны, если надел, которым крестьянин пользовался до реформы, превышал пореформенный максимум, помещик отрезал от него «излишек». Главное же, самые нормы крестьянских наделов были рассчитаны так, чтобы отрезков от них было как можно (в десятки раз) больше, а прирезок к ним соответственно меньше.

В результате помещичьи крестьяне получили в среднем по 3,3 десятины на ревизскую душу, т.е. на мужчину (женщинам земля не отводилась). Это меньше той земли, которой они пользовались до реформы, и не обеспечивало им прожиточного минимума. Всего по черноземным губерниям помещики отрезали у крестьян 1/5 их земель. Больше всего земли потеряли крестьяне Поволжья. Если в Московской, Смоленской, Новгородской губерниях отрезки составляли от 3 до 7,5 % крестьянских земель, то в Казанской губернии — 29,8 %, в Самарской — 41,8 %, в Саратовской — 42,4 %. «Дал царь мужику землю, да так пригнал, что пришлось на душу без малого, что по одной ступне»,— говорит об этом народническая прокламация. Тогда-то и родилась поговорка: «Куренка некуда выпустить».

Кроме отрезков, помещики находили и другие способы ущемить интересы крестьян: переселяли их на негодные земли, «на песочек», лишали их выпасов, выгонов, водопоев, лесов и прочих угодий, без которых нельзя было вести самостоятельное хозяйство. Вот какими увидел правительственный ревизор К. Меккер крестьянские наделы в селениях Галибице-Немчиновской волости на Псковщине: «В наделы крестьян включены под именем выгонов и дровяного леса совершенно непроизводительные земли, как то: кустарники по болоту, изреженные и сплошь вырубленные лесные пространства, а более всего — торфяники, иногда покрытые одними кочками и растениями, как, например, багульник, хлопчатник, и тому подобными травами, не употребляемыми скотом в пищу».

Подлинным бичом крестьянских хозяйств стала чересполосица: помещичьи земли клином вгонялись в крестьянские, отчего крестьяне вынуждены были за ростовщические цены арендовать помещичьи клинья. Тот же Меккер констатировал: «При строгости установленного помещиком надзора за границами селений, расположенных среди его земель, с целью захватывания крестьянского скота во время пастьбы, эти устроенные в наделах западни и ловушки доводят крестьян до окончательного разорения».

Вся земля, которую крестьяне получили в «постоянное пользование», юридически оставалась собственностью помещиков

до заключения выкупной сделки. Пока же эта сделка не была заключена, крестьяне считались *«временнообязанными»*, т.е. по-прежнему выполняли за пользование землей феодальные повинности. Срок временнообязанного состояния вначале не был определен. Только 28 декабря 1881 г. (в обстановке второй революционной ситуации) последовал закон об обязательном выкупе — закон, по которому все временнообязанные крестьяне переводились на выкуп, но не сразу, а с 1 января 1883 г. Таким образом, юридическая ликвидация крепостничества растянулась на 22 года — это в губерниях центральной России. На окраинах же (в Грузии, Азербайджане, Армении) временнообязанные отношения сохранялись до 1912—1913 гг., т.е. более полувека.

За пользование землей крестьяне должны были выполнять два рода повинностей — барщину и оброк. Размеры оброка колебались в разных регионах от 8 до 12 руб. за душевой надел в год, но никакого соответствия между величиной оброка и доходностью надела не было. Самый высокий оброк (12 руб.) крестьяне платили близ Петербурга, где земля была малоплодородной, а в черноземных Курской и Воронежской губерниях оброк был ниже — 9 руб. Этот парадокс обнажает феодальную сущность пореформенного оброка. Как и до реформы, оброк представлял собой доход помещика не только от земли, но и от личности крестьянина: ведь в промышленных губерниях крестьяне платили помещикам деньги, заработанные не столько на своих худородных наделах, сколько на всякого рода промыслах.

Еще больше нарушала соответствие между доходностью земли и размером оброка так называемая *градация* оброка: первая десятина земли ценилась дороже следующих. Так, в нечерноземной полосе, где высший надел был установлен в 4 десятины, а оброк в 10 руб., за первую десятину полагалось 5 руб. (50 % оброка), за вторую — 2 руб. 50 коп. (25 %) и за остальные две — по 1 руб. 25 коп. (т.е. по 12,5 %) с каждой десятины. Таким образом, чем меньше земли получал крестьянин, тем дороже она ему стоила.

Градация вводилась преимущественно в нечерноземных губерниях, где земля ценилась низко, зато рабочая сила была дорога. Она соблазняла крестьян брать побольше земли, поскольку за каждую дополнительную десятину платить надо было меньше,— крестьяне шли на это. Помещикам же выгодно было сбывать крестьянству худородную землю и тем самым пополнять свои денежные капиталы, столь необходимые в промышленных регионах. В случае сокращения крестьянских наделов градация позволяла помещикам в значительной мере сохранять их доходы. Словом, градация оброка была, в сущности, денежной надбавкой помещикам за потерю рабочей силы.

Что касается барщины, то ее, как и до реформы, должны были отбывать все крестьяне — мужчины с 18 до 55 лет и

женщины с 17 до 50 лет. Только теперь режим барщины был несколько упорядочен, а помещичий произвол частично обуздан. За каждый высший надел полагалось отработать 40 мужских и 30 женских дней, не более (правда, $^3/_5$ времени — летом).

Итак, повинности временнообязанных крестьян почти не отличались от повинностей крепостных и лишь точнее регулировались законом. Поэтому крестьяне так не хотели подписывать уставные грамоты. Они надеялись на «подлинную, настоящую волю» (с землей) и сами распространили между собой слух о том, что такая воля придет через два года. Оттого в крестьянах буквально по всей России жило сознание, что если «кто в течение этих лет подпишет уставную грамоту, тот себя закрепостит снова, но кто эти два года устоит, тот будет свободен». В итоге, к 1 января 1863 г., когда предполагалось завершить составление уставных грамот, 58 % помещичьих крестьян все еще не подписали грамоты, ссылаясь на то, что «подпись их опять прикрепит»[1].

Реформа дала крестьянам право выкупить усадьбу и полевой надел. Сумма выкупа определялась путем капитализации из 6 % оброка, установленного за надел, т.е., желая получить искомую сумму выкупа, рассчитывали, сколько денег надо положить в банк, чтобы при 6 % годового прироста помещик имел доход, равный оброку. Проще говоря, оброк приравнивался к 6 % выкупной суммы. Вот пример: оброк = 10 руб., какова в этом случае должна быть сумма выкупа?

Поскольку 10 руб. составляют 6 % выкупной суммы, то получаем, согласно уравнению ($X : 10 = 100 : 6$), $X = (100 \cdot 10) : 6 = 166$ руб. 60 коп. Можно еще проще: 100 больше 6-ти в $16^2/_3$ раза. Значит, самый простой способ определить сумму выкупа — это умножить сумму оброка на $16^2/_3$. Таким образом, не стоимость земли, а оброк, включавший в себя кроме стоимости земли еще и ценность крепостного труда, был критерием размера выкупной суммы.

То, что выкупная сумма включала в себя замаскированный выкуп личности крестьянина, показывает ее сравнение с рыночной ценой земли. По ценам 1854—1855 гг. крестьянская земля стоила 544 млн. руб., а выкуп за нее был установлен в 867 млн. (323 млн. разницы — это компенсация помещикам за личное освобождение крестьян).

Роль посредника между крестьянами и помещиками по выкупу взяло на себя государство, которое и нажилось на выкупной операции. Крестьянин выплачивал помещику немедленно 20 % выкупной суммы, а остальные 80 % вносило за крестьян государство (это и была выкупная ссуда, которую крестьяне как бы брали в долг у государства). Операция по возвращению долга

[1] *Зайончковский П.А.* Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 194, 200.

растягивалась на 49 лет с выплатой ежегодно 6 % выкупной суммы. Стало быть, крестьяне должны были уплатить 294 % выкупной ссуды. Лишь с 1906 г. (в обстановке первой российской революции) уплата выкупных платежей была прекращена. К тому времени бывшие помещичьи крестьяне внесли 1 млрд. 570 млн. руб. выкупа — за землю, которая стоила 544 млн. руб., т.е. в 3 раза меньше!

С момента заключения выкупной сделки крестьяне переставали выполнять повинности в пользу помещиков и превращались из временнообязанных в «крестьян-собственников». Отныне земля, бывшая ранее юридически собственностью помещиков, переходила в крестьянскую собственность, и закон охранял ее от посягательства со стороны помещиков.

Несколько по-особому освобождались дворовые слуги, которых было тогда 1,5 млн., т.е. 6,5 % помещичьих крестьян. Они выходили на волю без выкупа, но не сразу, а через два года, и, главное, не получали ни усадьбы, ни полевого надела, ни какого бы то ни было вознаграждения за их труд на помещика. Больные и престарелые, нетрудоспособные буквально выбрасывались на улицу, так как у них не оказывалось ничего, кроме свободы... идти по миру. Таковы были условия освобождения помещичьих крестьян. Реформа распространялась и на крестьян удельных (принадлежавших царской семье) и государственных.

Удельное ведомство было образовано в 1797 г. при Павле I. Оно обеспечивало царскую фамилию доходами с дворцовых земель и прикрепленных к ним крестьян. К началу 60-х годов царский удел составлял 9 млн. десятин земли в 20 губерниях и эксплуатировал 1,7 млн. крепостных душ.

Особое положение об удельных крестьянах принято было 26 июня 1863 г. «Первый русский помещик» — царь тоже не захотел вернуть землю крестьянам бесплатно. Удельные крестьяне выкупали свою землю на тех же условиях (путем капитализации из 6 % оброка), что и крестьяне помещичьи; только удельные были переведены на обязательный выкуп не через 20 лет, как помещичьи, а через 2 года. Не обошлось освобождение удельных крестьян и без отрезков, хотя и несколько меньших, чем у помещичьих крестьян (10,5 % от общей площади крестьянских угодий). В среднем удельные крестьяне получили по 4,8 десятины на ревизскую душу.

Еще позднее, 24 июня 1866 г., «Положения 19 февраля» были распространены на государственных крестьян, которые считались лично свободными, но платили в казну феодальную ренту (оброчную подать). Все они (а их было 19 млн.) сохранили за собой земли, находившиеся в их пользовании, и могли по своему желанию либо, как прежде, платить оброчную подать государству, либо заключить с казной выкупную сделку при условии единовременного взноса такого капитала, проценты с которого

равнялись бы в сумме оброчной подати. Средний размер наделов государственных крестьян составил 5,9 десятины — больше, чем у крестьян помещичьих и удельных.

Реформа существенно изменила правовое положение крестьян. Она впервые дала бывшим крепостным право владеть собственностью, заниматься торговлей и промыслами, заключать сделки, вступать в брак без согласия помещика и т.д. Налицо был широкий шаг по пути от феодального бесправия к буржуазному праву. Однако помещики сохранили за собой ряд феодальных привилегий, включая полицейскую власть над временнообязанными крестьянами. Как и до реформы, они представляли интересы крестьян на суде. Сохранялись (до 1903 г.!) телесные наказания для крестьян. Александр II «запретил сечь мужиков не по закону, а велел их сечь по закону»,— писал об этом журнал народников «Земля и воля».

Для управления крестьянами были созданы в ходе реформы особые органы, которые громко именовались «самоуправлением». Их нижним звеном являлось сельское общество из крестьян на земле одного помещика. Оно составляло сельский сход, избиравший сельского старосту и ряд должностных лиц: сборщиков податей, смотрителей магазинов и пр. Сельский староста обеспечивал порядок в своей округе, следил за исполнением повинностей, мог наказывать за маловажные проступки, т.е. штрафовать, принуждать к общественным работам, даже сажать под арест.

Несколько сельских обществ образовывали волость, которая строилась по территориальному принципу (с числом жителей от 300 до 2 тыс. ревизских душ). Высшим крестьянским органом волости был волостной сход из представителей сельских обществ. Волостной сход избирал волостное правление во главе с волостным старшиной и волостной суд. Волостной старшина имел те же функции, что и сельские старосты, только в объеме волости, сельские старосты ему подчинялись. Что же касается волостного суда, то он разбирал тяжбы между крестьянами на территории волости и судил виновных за проступки, более серьезные, чем те, за которые наказывал сельский староста.

Все это «самоуправление» никакой самостоятельности не имело. Его контролировал мировой посредник, который по закону утверждал (а мог и не утвердить) выборы должностных лиц крестьянской «администрации» и, следовательно, подбирал угодные ему кандидатуры из числа «благоразумных» и покорных крестьян. Тех же, непослушных и «неуправляемых», которых выдвигали сами крестьяне, мировой посредник отводил как «подстрекателей».

Мировые посредники назначались губернаторами по рекомендации предводителей дворянства из местных помещиков. Преобладали среди них крепостники, но и либералы мало отличались от крепостников, поскольку защищали одни и те же, помещичьи,

интересы. Лишь единицы из мировых посредников, вроде Льва Толстого или декабриста Андрея Розена, поднимались до защиты крестьянских интересов. Их, как правило, увольняли или выживали с должности. Толстой, перед тем как уйти в отставку, жаловался: «Я <...> несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести».

Мировые посредники отчитывались перед уездным съездом мировых посредников под председательством уездного предводителя дворянства, а над уездным съездом высилось губернское по крестьянским делам присутствие, в котором председательствовал сам губернатор. Итак, мировой посредник, над ним уездный съезд, еще выше губернское присутствие и на самом верху губернатор — вот какой пирамидой было придавлено крестьянское самоуправление. Власть одного помещика над крестьянами заменялась властью представителей местного дворянства, что не изменяло ее классового содержания. «И начальства развелось такое множество,— вспоминал современник,— что крестьянину редко доводилось надевать шапку».

В целом реформа 1861 г. была для России самой важной из реформ за всю ее историю. Она послужила юридической гранью между двумя крупнейшими эпохами российской истории — феодализма и капитализма.

Крестьянская по видимости реформа 1861 г. была буржуазной по содержанию, поскольку она создала условия, необходимые для победы капиталистического способа производства. Главным из этих условий явилось личное освобождение 23 млн. помещичьих крестьян, которые и образовали рынок наемной рабочей силы. Поскольку же проводили буржуазную реформу феодалы, крепостники, она возымела и крепостнические черты. Крестьяне были обмануты и ограблены, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам.

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим — по мужику —

так написал о реформе поэт крестьянской демократии Н.А. Некрасов.

Половинчатость реформы выразилась в том, что экономический базис стал новым, капиталистическим, а внутри его сохранились пережитки старого, феодально-крепостнического строя — прежде всего помещичье землевладение и отработочная система, т.е. обработка помещичьих земель крестьянами за земельную аренду, денежную ссуду и т.д. Пережитки крепостничества тормозили развитие страны, уже твердо вставшей на путь капитализма. Поэтому классовая борьба после 1861 г. не утихала, а, напротив, как мы увидим, разгорелась еще сильнее, ибо к старой социальной

войне (крестьян против помещиков) добавилась новая (рабочих против капиталистов). В результате, по выражению В.И. Ленина, «1861 год породил 1905».

Земская, городская и судебная реформы

Отмена крепостного права неминуемо влекла за собой реформы в области центрального и местного управления, суда, военного дела, просвещения. Реформа 1861 г. изменила экономический базис страны, соответственно менялась и надстройка, т.е. обслуживающие данный базис политические, правовые, военные, культурные учреждения. Та же потребность национального развития, которая сделала необходимой реформу 1861 г., главным образом принудила царизм и к реформам 1862—1874 гг.

Вторая причина, обусловившая реформы 1862—1874 гг.,— это подъем в стране массового и революционного движения. Царизм оказывался перед альтернативой: либо реформа, либо революция. Все реформы того времени явились побочными продуктами революционной борьбы.

Наконец, подтолкнула царизм к реформам 1862—1874 гг. сила общественного мнения, давление со стороны буржуазии и части помещиков, вставших на капиталистические рельсы и потому заинтересованных в буржуазных реформах. Помещики-крепостники и сам царь предпочли бы обойтись без реформ. Александр II еще в 1859 г. назвал местное самоуправление, свободу печати и суд присяжных «западными дурачествами», не предполагая, что через два-три года обстоятельства заставят его вводить эти дурачества в собственной империи. Главными из реформ 1862—1874 гг. были четыре: земская, городская, судебная и военная. Они заслуженно стоят в одном ряду с крестьянской реформой 1861 г. и вслед за ней как *великие реформы.*

Земская реформа изменила местное управление. Прежде оно было сословным и безвыборным. Помещик неограниченно царил над крестьянами, управлял ими и судил их по своему произволу. После отмены крепостного права такое управление становилось невозможным. Поэтому параллельно с крестьянской реформой готовилась в 1859—1861 гг. и земская реформа. В годы демократического подъема (1859—1861) руководил подготовкой земской реформы либерал Н.А. Милютин, но в апреле 1861 г., когда «верхи» сочли, что отмена крепостного права разряжает опасную для царизма напряженность в стране, Александр II заменил Милютина консерватором П.А. Валуевым. Милютинский проект был Валуевым скорректирован в пользу дворян, чтобы сделать их, как они о себе говорили, «передовой ратью земства». Окончательный вариант реформы, изложенный в «Положении о губернских и уездных земских учреждениях», Александр II подписал 1 января 1864 г.

В основу земской реформы были положены два новых принципа — бессословность и выборность. Распорядительными органами *земства,* т.е. нового местного управления, стали земские собрания: в уезде — уездное, в губернии — губернское (в волости земство не создавалось). Выборы в уездные земские собрания проводились на основе имущественного ценза. Все избиратели были разделены на три курии: 1) уездных землевладельцев, 2) городских избирателей, 3) выборных от сельских обществ.

В первую курию входили владельцы не менее 200 десятин земли, недвижимой собственности на сумму более 15 тыс. руб. или годового дохода свыше 6 тыс. руб. Владельцы менее 200 (но не меньше 10) десятин земли объединялись, и от того их числа, которое совокупно владело земельным массивом в 200 (как минимум) десятин, избирался один уполномоченный на съезд первой курии.

Вторую курию составляли купцы всех трех гильдий, владельцы недвижимости не менее чем на 500 руб. в малых и на 2 тыс. руб. в больших городах или торгово-промышленных заведений с годовым оборотом более 6 тыс. руб.

Третья курия состояла главным образом из должностных лиц крестьянского управления, хотя здесь могли баллотироваться и местные дворяне, а также сельское духовенство. Так, в Саратовской и Самарской губерниях в гласные от крестьян прошли даже пять предводителей дворянства. По этой курии, в отличие от первых двух, выборы были не прямые, а многостепенные: сельский сход выбирал представителей на волостной сход, там избирались выборщики, а затем уездный съезд выборщиков избирал депутатов (*гласных,* как они назывались) в уездное земское собрание. Это было сделано для того, чтобы «отсеять» из крестьян неблагонадежные элементы и вообще ограничить крестьянское представительство. В результате, по данным на 1865—1867 гг., дворяне составили 42 % уездных гласных, крестьяне — 38 %, прочие — 20 %.

Выборы в губернские земские собрания происходили на уездных земских собраниях из расчета — один губернский гласный на шесть уездных. Поэтому в губернских собраниях преобладание дворян было еще большим: 74,2 % против 10,6 % крестьян и 15,2 % прочих. Председатель земского собрания не избирался, им по должности был предводитель дворянства: в уезде — уездный, в губернии — губернский.

Так выглядели распорядительные органы земства. Исполнительными его органами стали земские управы — уездные и губернские. Они избирались на земских собраниях (на 3 года, как и собрания). Председателя уездной управы утверждал губернатор, а губернской — министр внутренних дел. В земских управах дворяне преобладали абсолютно: 89,5 % гласных всех губернских управ против 1,5 % крестьян и 9 % прочих.

Показательно, что в тех губерниях, где дворянско-помещичье землевладение отсутствовало или было слабым (в Архангельской и Астраханской губерниях, в Сибири и Средней Азии), а также в национальных районах с малым числом *русских* помещиков (Польша, Литва, Белоруссия, Западная Украина, Кавказ), земство не создавалось. Всего к концу 70-х годов оно было введено в 34 из 50 губерний Европейской России.

Преобладание дворянства в земских учреждениях делало их безопасными для правительства. Однако царизм даже таким учреждениям не посмел дать реальную власть. Они были лишены каких бы то ни было политических функций и занимались исключительно хозяйственными нуждами уезда или губернии: продовольствием, местными промыслами, страхованием имущества, почтой, школами, больницами. Но даже такая деятельность земства была поставлена под неусыпный контроль центральных властей. Любое постановление земских собраний могло быть отменено губернатором или министром внутренних дел.

Политически земство было немощным. В.И. Ленин назвал его «пятым колесом в телеге русского государственного управления». М.Н. Катков оценил земство еще уничижительнее: «Они (земские учреждения.— *Н.Т.*) как бы намек на что-то, как бы начало неизвестно чего-то, и походят на гримасу человека, который хочет чихнуть, но не может»[1].

Тем не менее земство как учреждение прогрессивное содействовало национальному развитию страны. Его служащие наладили статистику по хозяйству, культуре и быту, распространяли агрономические новшества, устраивали сельскохозяйственные выставки, строили дороги, поднимали местную промышленность, торговлю и особенно народное образование и здравоохранение, открывая больницы и школы, пополняя кадры учителей и врачей. Уже к 1880 г. на селе было открыто 12 тыс. земских школ, что составило почти половину всех школ в стране. Врачей на селе до введения земств вообще не было (исключая редкие случаи, когда помещик сам открывал на свои средства больницу и приглашал фельдшера). Земства содержали специально подготовленных сельских врачей (число их за 1866—1880 гг. выросло вчетверо). Земские врачи (как и учителя) заслуженно считались лучшими. Поэтому можно понять восторг К.Д. Кавелина, который провозгласил земство «многознаменательным явлением», семенем для развития «многоветвистого дерева прогресса».

Второй реформой местного управления была городская реформа. Подготовка ее началась в 1862 г., т.е. опять-таки в условиях революционной ситуации. В 1864 г. проект реформы был подготовлен, но к тому времени демократический натиск был отбит, и правительство занялось пересмотром проекта: он дважды

[1] Московские ведомости. 1880. 2 августа (передовая статья).

был переделан, и только 16 июня 1870 г. царь утвердил окончательный вариант «Городового положения».

Городская реформа строилась на тех же, лишь еще более суженных, принципах, как и земская. По «Городовому положению» 1870 г. распорядительным органом городского управления осталась городская дума. Однако если до 1870 г. городские думы, существовавшие в России со времен «Городового положения» Екатерины II (1785), состояли из депутатов от сословных групп, то теперь они становились бессословными.

Депутаты (гласные) городской думы избирались на основе имущественного ценза. В выборах гласных участвовали только плательщики городских налогов, т.е. владельцы недвижимой собственности (предприятий, банков, домов и т.д.). Все они разделялись на три избирательных собрания: 1) наиболее крупных налогоплательщиков, которые совокупно платили треть общей суммы налогов по городу; 2) средних плательщиков, тоже плативших в общей сложности треть всех налогов, 3) мелких плательщиков, которые вносили оставшуюся треть общей налоговой суммы. Каждое собрание избирало одинаковое число гласных, хотя численность собраний была кричаще различной (в Петербурге, например, 1-ю курию составляли 275 избирателей, 2-ю — 849, а 3-ю — 16 355). Так обеспечивалось преобладание в думах крупной и средней буржуазии, которая составляла два избирательных собрания из трех. В Москве первые два собрания не имели и 13 % от общего числа избирателей, но избирали они $^{2}/_{3}$ гласных. Что касается рабочих, служащих, интеллигенции, не владевших недвижимой собственностью (т.е. подавляющего большинства городского населения), то они вообще не имели права участвовать в городских выборах. В десяти самых крупных городах империи (с населением более 50 тыс. человек) таким образом были отстранены от участия в выборах 95,6 % жителей. В Москве получили избирательные права 4,4 % горожан, в Петербурге — 3,4 %, в Одессе — 2,9 %.

Число гласных в городских думах колебалось от 30 до 72. Особняком стояли две думы — Москвы (180 гласных) и Петербурга (250). Исполнительным органом городского управления стала городская управа, которая избиралась городской думой (на 4 года, как и сама дума). Во главе управы стоял городской голова. Им по должности был председатель городской думы. Кроме него, в управу входили 2—3 гласных.

«Городовое положение» 1870 г. было введено в 509 городах России. Сначала оно действовало только в коренных русских губерниях, а в 1875—1877 гг. царизм распространил его и на национальные окраины империи, кроме Польши, Финляндии и Средней Азии, где сохранилось дореформенное городское устройство.

Функции городского управления, как и земского, были чисто хозяйственными: благоустройство города (мощение улиц, водопровод, канализация), борьба с пожарами, попечение о местной промышленности, торговле, здравоохранении, образовании. Тем не менее городское управление еще строже, чем земское, контролировалось центральной властью. Городской голова утверждался губернатором (для уездного города) или министром внутренних дел (для губернского центра). Министр и губернатор могли отменить любое постановление городской думы. Специально для контроля за городским управлением в каждой губернии было создано губернское по городским делам присутствие под председательством губернатора.

Городские думы, как и земства, не имели принудительной власти. Для выполнения своих постановлений они вынуждены были запрашивать содействие полиции, которая подчинялась не городским думам, а правительственным чиновникам — градоначальникам и губернаторам. Эти последние (но отнюдь не городское самоуправление) и вершили в городах реальную власть — как до, так и после «великих реформ».

И все-таки, по сравнению с чисто феодальным «Городовым положением» Екатерины II, городская реформа 1870 г., основанная на буржуазном начале имущественного ценза, была значительным шагом вперед. Она создавала намного лучшие, чем прежде, условия для развития городов, поскольку теперь городские думы и управы руководствовались уже не сословными, а общегражданскими интересами горожан.

Гораздо более последовательной, чем земская и городская реформы, стала реформа суда. Из всех реформ 1861—1874 гг. в судебной реформе буржуазное начало было выражено с наибольшей силой. Это естественно. Ведь судебная система и порядок судопроизводства — один из главных критериев человеческой цивилизации. Между тем этот критерий в дореформенной России выглядел так одиозно, как ничто другое. Дореформенный суд был сословным, он зиждился на «правосудии крепостника»:

Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция![1]

Тот суд целиком зависел от администрации, которая, по признанию министра внутренних дел С.С. Ланского, «ездила на юстиции». Тайна судебного производства, применение телесных наказаний, произвол, продажность и волокита, царившие в дореформенном суде, были притчей во языцех, вечными темами народных пословиц: «Кривой суд и правое дело скривит», «Суд, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет», «Судье полезно, что в карман полезло», «Лучше утопиться, чем судиться». Даже

[1] Так хвастался помещик в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

министр юстиции Александра I Д.П. Трощинский определил дореформенный суд как «море великое, в котором гадов несть числа».

В России до 1864 г. отсутствовал институт адвокатуры. Николай I, считавший, что именно адвокаты «погубили Францию» в конце XVIII в., прямо говорил: «Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем». Так и получилось. «В судах черна неправдой черной» (по выражению А.С. Хомякова) Россия была веками, но после отмены крепостного права оставаться такой она не могла. Александр II это понял и, к чести его (а главное, к благу России), поручил готовить судебную реформу комиссии из лучших законоведов, которых фактически возглавлял замечательный юрист и патриот, статс-секретарь Государственного совета С.И. Зарудный. Ему более, чем кому-либо, Россия обязана Судебными уставами 1864 г.

Подготовка судебной реформы началась осенью 1861 г., на высшей точке демократического подъема в стране, и завершилась к осени 1862 г. Но лишь 20 ноября 1864 г. Александр II утвердил новые Судебные уставы. Они вводили вместо феодальных сословных судов цивилизованные судебные учреждения, общие для лиц всех сословий с одним и тем же порядком судопроизводства.

Отныне впервые в России утверждались четыре краеугольных принципа современного права: *независимость суда* от администрации, *несменяемость судей, гласность* и *состязательность* судопроизводства. Значительно демократизировался судебный аппарат. В уголовных судах был введен институт присяжных заседателей из населения, избираемых на основе умеренного имущественного ценза (не менее 100 десятин земли или любая другая недвижимость в 2000 руб. в столицах и 1000 руб. в губернских городах). Для каждого дела назначались по жребию 12 присяжных, которые решали, виновен ли подсудимый или нет, после чего суд освобождал невиновного и определял меру наказания виновному[1]. Для юридической помощи нуждающимся и для защиты обвиняемых был создан институт адвокатов (присяжных поверенных), а предварительное следствие по уголовным делам, ранее находившееся в руках полиции, теперь перешло к судебным следователям. Присяжные поверенные и судебные следователи должны были иметь высшее юридическое образование, а первые, кроме того, еще пятилетний стаж судебной практики.

Количество судебных инстанций по Уставам 1864 г. было сокращено, а их компетенция строго разграничена. Созданы были три типа судов: мировой суд, окружной суд и судебная палата.

---

[1] Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей ярко изобразил Л.Н. Толстой в романе «Воскресение».

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями или городскими думами на основе высокого имущественного ценза (не менее 400 десятин земли или другая недвижимость на сумму не ниже 15 000 руб.), а члены окружных судов и судебных палат назначались царем.

Мировой суд (в составе одного человека — мирового судьи) рассматривал в упрощенном порядке судопроизводства мелкие проступки и гражданские иски. Решение мирового судьи могло быть обжаловано на уездном съезде мировых судей[1].

Окружной суд (в составе председателя и двух членов) действовал в каждом судебном округе, равном одной губернии. В аппарат окружного суда входили прокурор и его товарищи (т.е. помощники), судебные следователи, привлекались адвокаты. Окружному суду были подсудны все гражданские и почти все (за исключением особо важных) уголовные дела. Решения, принятые окружным судом с участием присяжных заседателей, считались окончательными и не подлежали обжалованию по существу, их можно было обжаловать только в кассационном порядке (т.е. при нарушении законности в производстве дела). Решения же окружного суда, принятые без участия присяжных заседателей, обжаловались в судебной палате. Без присяжных рассматривались такие дела, по которым обвиняемому не угрожало лишение или ограничение гражданских прав.

Судебная палата (в составе четырех членов и трех сословных представителей: предводителя дворянства, городского головы и волостного старшины) учреждалась одна на несколько губерний. Ее аппарат был аналогичен аппарату окружного суда (прокурор, его товарищи, судебные следователи, адвокаты), только бóльших размеров. Судебная палата рассматривала особо важные уголовные и почти все (кроме наиболее важных) политические дела. Ее решения считались окончательными и могли быть обжалованы только в кассационном порядке.

Наиболее важные политические дела должен был рассматривать Верховный уголовный суд, который не функционировал постоянно, а назначался в *исключительных* случаях по высочайшему повелению. Таких случаев в XIX в. оказалось всего два, и оба они были связаны с покушениями на Александра II — в 1866 г. (дело Д.В. Каракозова) и 1879 г. (дело А.К. Соловьева).

Единой кассационной инстанцией для всех судов империи являлся Сенат — с двумя департаментами: уголовным и гражданским. Он мог отменить решение любого суда (кроме Верховного уголовного), после чего дело возвращалось на вторичное рассмотрение того же или другого суда.

---

[1] Каждый уезд с находившимся в нем городом, а иногда и отдельно крупный город составляли мировой округ. Он разделялся на участки, и в каждом участке действовал мировой судья.

Судебная реформа была завершена уже после того, как демократический подъем схлынул. Поэтому царизм счел возможным и здесь ограничить буржуазное начало, а в следующие годы еще больше ущемил его. Так, сразу была нарушена бессословность суда, поскольку сохранились особые суды для крестьян (волостной суд) и духовенства (консистория). Остался ведомственный суд и для военных. Закон 1871 г. передал дознания по политическим делам жандармерии. В 1872 г. были изъяты из ведения судебных палат и переданы в специально учрежденное Особое присутствие Правительствующего сената (ОППС) все крупные политические дела, а в 1878 г. часть этих дел (о «сопротивлении властям») отошла к военным судам.

Очень условной оказалась несменяемость судей, сохранились инквизиторские приемы следствия, произвол, продажность и волокита в судах. Хотя в 1863 г. были отменены телесные наказания шпицрутенами, кнутами, клеймением и т.д., сохранилась, как тогда говорили, «привилегия быть секомыми» розгами для крестьян (по решениям волостных судов), а также для ссыльных, каторжных и штрафных солдат. Примером волокиты в пореформенном суде может служить дело с иском горнозаводских рабочих против уральского промышленника Строганова, которое тянулось 51 год (с 1862 по 1913).

Даже территориально судебная реформа (впрочем, как и другие реформы 1861—1874 гг.) была ограничена. Новые судебные уставы вводились только в 44 губерниях империи из 82. На Белоруссию, Сибирь, Среднюю Азию, северные и северо-восточные окраины Европейской России они не распространялись.

Тем не менее судебная реформа 1864 г. явилась самым крупным в истории России шагом к правовому государству. Все ее принципы и учреждения (особенно два самых демократических ее института — суд присяжных и адвокатура), несмотря на ограничения и даже притеснения со стороны царизма, содействовали развитию в стране цивилизованных норм законности и правосудия. Присяжные заседатели, вопреки надеждам и прямому давлению властей, выносили иногда вызывающе независимые приговоры, оправдав, например, в 1878 г. Веру Засулич, а в 1885 г.— морозовских ткачей. Что касается российской адвокатуры, то она сумела поставить себя — и юридически, и даже политически — на необычайную для самодержавной страны высоту. К 1917 г. в России было 16,5 тыс. адвокатов, т.е. на душу населения больше, чем в СССР 1977 г. (как мы тогда говорили, в государстве «развитого социализма»). Главное же, русские дореволюционные адвокаты завоевали национальное и мировое признание своей самоуправляющейся корпорации (присяжных поверенных), выдвинув созвездие первоклассных юридических талантов и политических бойцов. Имена В.Д. Спасовича и Ф.Н. Плевако, Д.В. Стасова и Н.П. Карабчевского, П.А. Александрова и С.А.

Андреевского, В.И. Танеева и А.И. Урусова и многие другие были известны всей стране и далеко за ее пределами, а длинный ряд выигранных ими в борьбе за право и правду судебных процессов вызвал общероссийский и мировой резонанс. Сегодняшняя Россия о столь сильной и авторитетной адвокатуре, какую терпел при себе царизм, к сожалению, пока еще может только мечтать.

Финансовые, образовательные, военные реформы

Потребности капиталистического развития требовали реформировать и упорядочить все сферы жизни феодальной России — в частности, и финансы, совершенно расстроенные за время Крымской войны. В 1860 г. Александр II повелел отменить с 1 января 1863 г. откупную систему, при которой отдавался на откуп частным лицам сбор косвенных налогов с населения за соль, табак, вино и т.д. Вместо откупов, изобиловавших злоупотреблениями, была введена более цивилизованная акцизная система, которая регулировала поступление косвенных налогов в казну, а не в карманы откупщиков. В том же 1860 г. был учрежден единый Государственный банк России (вместо прежнего многообразия кредитных учреждений) и упорядочен государственный бюджет: впервые в стране начала публиковаться роспись доходов и расходов.

После этих реформ финансовая политика царизма стала более рациональной, но сохранила общую сословную направленность. Крестьяне, мещане и ремесленники продолжали выплачивать феодальную подушную подать, которую ввел еще Петр I и от которой привилегированные сословия (дворянство, духовенство, купечество) были освобождены, а крестьяне, кроме того, задыхались от оброчных и выкупных платежей государству. Государственный бюджет, как и прежде, строился в интересах защиты «верхов» от «низов»: больше 50 % расходов шло на содержание армии и государственного аппарата и лишь 9 % — на народное образование, медицину, социальное попечение.

Глубже и радикальнее финансовых были реформы 60-х годов в области народного образования и печати, тоже продиктованные потребностями капиталистического развития. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля нуждались в квалифицированных специалистах не меньше, чем государственный и административный аппарат. Для царизма важно было при этом обеспечить идеологическую обработку россиян в верноподданническом духе. Вместе с тем он вынужден был считаться с небывалым ранее давлением оппозиции, которая требовала демократизировать высшую школу и смягчить цензуру.

18 июня 1863 г. был принят новый университетский устав. Он возвращал университетам автономию, впервые дарованную при Александре I в 1804 г. и отмененную в 1835 г. при Николае I.

С 1863 г. все вопросы жизни любого университета (включая присуждение ученых степеней и званий, заграничные командировки ученых, открытие одних и закрытие других кафедр) решал его Совет, а должности ректора, проректоров, деканов, профессоров становились выборными, как в 1804—1835 гг.

19 ноября 1864 г. Александр II утвердил и новый устав гимназий. Купцы, мещане, крестьяне вновь получили право учиться в гимназиях, которое было им предоставлено в 1803 г. Александром I и отнято в 1828 г. Николаем I. Таким образом, налицо был прогресс, но даже в этом смысле прогресс относительный, поскольку устав 1864 г. вводил столь высокую плату за обучение, что она закрывала доступ в гимназии большинству простонародья. Все гимназии по уставу 1864 г. были разделены на классические и реальные — те и другие семиклассные. В классических гимназиях главным стало преподавание древних («классических») языков, т.е. латыни и греческого, в реальных — математики и естествознания. Классические гимназии считались привилегированными: их выпускники могли поступать в университеты без экзаменов.

В начале 70-х годов стало наконец возможным в России высшее образование для женщин. Русских женщин в университеты даже по уставу 1863 г. не допускали. Поэтому женская молодежь уезжала получать высшее образование на Запад, преимущественно в Швейцарию, где в 60—70-х годах гнездилась русская революционная эмиграция. Это очень беспокоило царизм, ибо способствовало распространению революционных идей в России. Чтобы пресечь тягу женщин за границу, Александр II согласился открыть в России ряд женских высших курсов университетского типа. Проще было бы, конечно, допустить женщин в университеты, но для царизма такое явление, как женщина в университете, всегда представлялось опасным и неприличным. В 1872 г. открылись женские высшие курсы проф. В.И. Герье в Москве, а в 1878 г.— курсы проф. К.Н. Бестужева-Рюмина в Петербурге. И Герье, и Бестужев-Рюмин (племянник казненного декабриста) были историками, Бестужев-Рюмин с 1890 г.— академиком. Знаменитые Бестужевские курсы И.М. Сеченов назвал «женским университетом в настоящем смысле слова».

Все слои общества, от революционеров до консерваторов, требовали если не отменить, то обуздать цензуру. «Простор слова нужнее всех реформ!» — восклицал И.С. Аксаков. Александр II счел опасным для престола вводить либеральный цензурный устав (т.е. возвращаться от николаевского «чугунного» устава 1826 г. к александровскому 1803 г.). Поэтому он ограничился утверждением «*Временных* правил» о цензуре от 6 апреля 1865 г., сохранивших, однако, силу до 1905 г. «Правила» отменяли предварительную цензуру для книг объемом не менее 10 печатных листов и периодических изданий, но — только в Петербурге и

Москве. На провинциальную печать и массовую литературу предварительная цензура сохранялась. Неугодным периодическим изданиям министр внутренних дел мог объявить до трех «предостережений» и после третьего «предостережения» их закрыть. Главным создателем «Правил» был тогдашний министр внутренних дел П.А. Валуев, который сосредоточил в своих руках такую власть над печатью, что дал основание Н.П. Огареву заключить: «Цензурная реформа — больше стеснение, чем освобождение печати».

Более радикальными были преобразования в армии, которые растянулись на 12 лет, с 1862 по 1874, но столь взаимосвязаны, что специалисты обычно воспринимают их как *единую* военную реформу. Тройкая причина заставила царизм реформировать армию. Прежде всего, сказалось поражение России в Крымской войне, донельзя обнажившее порочность феодальной системы комплектования и содержания войск, их военно-техническую слабость. Революционный подъем в стране побуждал самодержавие укреплять армию как главную свою опору. Наконец, требовалось упорядочить расходы на армию, которая не только в 1856 г., когда она насчитывала 2,2 млн. человек, но и к 1861 г., сокращенная до 1,5 млн. солдат, оставалась самой крупной армией мира.

Инициатором и руководителем военной реформы был Дмитрий Алексеевич Милютин — генерал (будущий фельдмаршал) по службе и либерал по убеждениям, правнук дворового истопника при царях Иване и Петре Алексеевичах по отцу и племянник графа П.Д. Киселева по матери, близкий знакомый И.С. Тургенева и Т.Н. Грановского, друг К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. В течение 20 лет (1861—1881) он занимал пост военного министра и был самым выдающимся из военных министров за всю историю России. Умный, широкообразованный практик и теоретик военного дела, автор пятитомной «Истории войны России с Францией в царствование Павла I в 1799 г.», член-корреспондент, а впоследствии почетный член Академии наук, Милютин сумел придать военной реформе столь необходимые тогда в России рационализм и культуру.

Реформировать русскую армию Милютин задумал сразу после Крымской войны, еще до своего назначения на пост военного министра. В марте 1856 г., будучи свитским генерал-майором, он изложил проект реформы в обширной записке под названием «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных». Но дать ход этой записке тогда Милютину не удалось. Он сумел реализовать свои «Мысли» только после того, как возглавил военное министерство.

Преодолевая сопротивление крепостнической оппозиции во главе с победителем Шамиля фельдмаршалом А.И. Барятинским, Милютин осуществил 12-летний цикл военных преобразований.

Были облегчены условия солдатской службы, отменены телесные наказания от кнута и шпицрутенов до розог. Милютин старался изменить самый имидж российского солдата от почти каторжного до почетного: «защитник Отечества».

Улучшилась боевая подготовка войск. В отличие от николаевского времени, солдат стали готовить больше к войне, чем к парадам. Единомышленник Милютина, профессор Академии Генерального штаба М.И. Драгомиров так формулировал в учебнике тактики главное требование к обучению войск: «Войска должно учить в мирное время *только тому,* что им придется делать в военное; всякое отступление от этой нормы вредно, потому что внушает и солдатам, и начальникам превратное понятие о том, что можно и чего нельзя требовать в бою от человека. Люди, выученные лишнему, и перед неприятелем будут делать не то, что *нужно,* а то, что они *умеют* делать».

И здесь Милютин прилагал много усилий, чтобы преодолеть оппозицию со стороны николаевских служак, воспитанных на «плац-парадных» традициях, тем более что к этим традициям тяготел и сам Александр II. «К сожалению, государь,— читаем в воспоминаниях Милютина,— хотя и радовался успехам войск в тактическом образовании, в то же время, однако ж, требовал и строгого соблюдения стройности и равнения на церемониальном марше, точного соблюдения на разводах, церковных парадах и других церемониях всей прежней мелочной формалистики. Одно какое-нибудь замечание государя за пустую ошибку уставную или за неровность шага, недостаточно «чистое» равнение парализовывало все старания придать обучению войск новый характер».

С 1862 г. началось перевооружение армии нарезным (вместо гладкоствольного) оружием. Горный инженер полковник П.М. Обухов изобрел в Златоусте способ получения литой стали путем обезуглероживания чугуна при помощи окиси железа, что позволило наладить производство стальных артиллерийских орудий. Первая такая пушка Обухова получила золотую медаль на Лондонской всемирной выставке 1862 г., превзойдя пушки знаменитого «стального короля» Пруссии Круппа.

Более современной стала подготовка офицеров. Часть старых (дворянских) кадетских корпусов была реорганизована в военные гимназии, объем знаний в которых, по сравнению с кадетскими программами, вырос более чем вдвое. В некоторые из военных гимназий (далеко не во все) разрешалось принимать лиц всех сословий. Младших офицеров готовили отныне (с 1864 г.) юнкерские училища. В них процент лиц недворянского происхождения поднялся выше, чем в военных гимназиях, но значительно ниже был общеобразовательный уровень поступавших. Генерал П.О. Бобровский, автор трехтомного труда «Юнкерские училища», свидетельствовал, что на приемных экзаменах будущие юнкера в

диктанте из 100 слов делали до 60 ошибок и не всегда могли найти на географической карте Россию.

По инициативе Милютина, чтобы оперативнее руководить войсками (и на случай войны с внешним врагом, и для борьбы с врагом внутренним), были созданы военные округа (всего — 15). На командующих войсками округов особо возлагалась задача «содействовать гражданским властям во всех тех случаях, когда необходимо участие войск для сохранения порядка и спокойствия в крае».

Главным из всех военных преобразований стала реформа комплектования армии. 1 января 1874 г. был принят закон, который заменял систему рекрутских наборов всеобщей воинской повинностью. Если раньше, с 1705 г., воинскую повинность отбывали в порядке рекрутских наборов только податные сословия (крестьяне, рабочие, ремесленники), то теперь ее должно было отбывать все мужское население империи с 20 лет, без различия сословий. Поскольку мужчин, достигших 20 лет, было намного больше, чем требовалось для призыва, зачислялись на действительную службу лишь 25—30 % от их числа: например, в 1874 г. из 725 тыс. человек, подлежавших призыву, были призваны 150 тыс., в 1880 г. из 809 тыс.— 212 тыс., в 1900 г. из 1150 тыс.— 315 тыс. Остальные призывники освобождались от службы — по состоянию здоровья, семейному положению и по жребию. До половины их оставались дома по семейным льготам (единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье при малолетних братьях и сестрах и т.д.).

Закон 1874 г. значительно сократил сроки военной службы: вместо рекрутчины, доходившей в XIX в. до 25 лет, для солдат — 6 лет действительной службы, после чего их переводили в запас на 9 лет, а затем в ополчение; для матросов — 7 лет действительной службы и 3 года запаса[1]. Лица с образованием служили еще меньше: окончившие вузы — 6 месяцев, гимназии — 1,5 года, начальные школы — 4 года. Фактически 6—7 лет служили только неграмотные, но они-то и составляли тогда абсолютное большинство (80 %) призывников. Новый закон позволял государству держать в мирное время уменьшенную кадровую армию с запасом обученных резервов, а в случае войны, призвав запас и ополчение, получить массовую армию.

В целом военные преобразования Д.А. Милютина («19 февраля русской армии», как назвал их современник) перестроили российскую армию на современный лад. После того как в 1870 г. милитаристская Пруссия молниеносно разгромила Францию, даже крепостническая оппозиция военной реформе приутихла. «Тогда,— вспоминал Милютин,— поняли и у нас, как несвоевременно было

[1] Новый воинский устав 1888 г. установил 5-летний срок действительной службы и 13-летний в запасе для всех родов войск.

заботиться исключительно об экономии, пренебрегая развитием и совершенствованием наших военных сил». Реформа Милютина была выигрышна для России даже чисто экономически, ибо способствовала ускоренному росту железных дорог как необходимого условия для мобилизационных и демобилизационных акций в такой обширной стране, как Российская Империя. Но при самодержавии и военная реформа не могла быть до конца последовательной. Ей тоже сопутствовали пережитки старой крепостнической системы. Так, сохранилось классовое различие между офицерством (дворянским в основе) и солдатами — выходцами из податных сословий. Офицеры по-прежнему унижали солдат, измывались над ними, чинили кулачную расправу («мордобой» в царской армии остался обыденным явлением и после реформ)[1].

Не соблюдался и всеобщий характер воинской повинности. В самодержавной России социальные «верхи» находили много лазеек для того, чтобы обойти закон и уклониться от воинской повинности. А «инородцы», т.е. нерусские народы Средней Азии, Казахстана, отчасти Кавказа и Крайнего Севера, вообще не подлежали воинской повинности, так как царизм считал их «дикими» и боялся давать им в руки оружие.

Все реформы 1861—1874 гг. преобразовали экономический, социальный и политический уклад российского государства так, что началось его превращение из феодальной в буржуазную монархию. Крестьянская реформа 1861 г. изменила экономический базис страны. Россия твердо встала на путь капиталистического развития. Реформы 1862—1874 гг. (в особенности земская, городская, судебная и военная) привели в соответствие с новым базисом старую политическую надстройку. Отныне Россия быстрее, чем когда-либо ранее, пошла вперед к высотам мировой цивилизации. Однако ни одна из реформ 1861—1874 гг. не стала в полной мере последовательной. Каждая из них сохранила в себе остатки феодальной старины, что ограничивало ее прогрессивность, осложняло ход национального развития России после 1861 г. и, по сравнению с открывшимися возможностями, замедляло его.

В чем причина такого явления? В том, что все реформы 60—70-х годов были навязаны «верхам», вырваны у них, но осуществлялись, хотя и против их воли, их же собственными руками. Царь и его окружение, уступая объективной необходимости и давлению оппозиции, хотели все же сохранить как можно больше из старого и многое сохраняли. Александр II при желании мог бы сыграть роль «революционера на троне»,

[1] Потрясающая картина социальных, нравственных и профессиональных язв, разлагавших армию пореформенной России, представлена в повести А.И. Куприна «Поединок».

радикализировать свои реформы и увенчать их дарованием стране хотя бы самой умеренной конституции вроде той, которую предлагал в октябре 1863 г. П.А. Валуев. По валуевскому проекту при Государственном совете образовывалась своего рода «нижняя палата», а именно Съезд государственных гласных, на $^4/_5$ *избранных* от земств, городов и окраин, где земства не было, а на $^1/_5$ *назначенных* царем. Реализация этого проекта превратила бы Государственный совет в подобие двухпалатного парламента[1]. Александр II, однако, не захотел обратить цикл своих реформ в «революцию сверху»; «"голос крови" его отца оказался в нем сильнее: победило "николаевское наследие"»[2]. Такая «победа» в конце концов будет стоить самому Александру II жизни, а России — страшных потрясений: за первой революционной ситуацией последует вторая, затем — три революции кряду.

Историографическая справка. Основные реформы 1861—1874 гг. в России изучены досконально, в особенности крестьянская. Наибольший вклад в изучение этой темы внесли русские дореволюционные историки либерального направления, которые рассматривали все реформы апологетически как результат развития гуманно-прогрессивных идей среди дворянских «верхов» и доброй воли царя. Буржуазное, правовое начало реформ приукрашивалось, крепостнические черты умалялись или вовсе замалчивались. Классовая борьба вокруг реформы совершенно игнорировалась: крестьянство якобы «спокойно ожидало воли». Все это наиболее характерно для монографий И.И. Иванюкова и Г.А. Джаншиева, в меньшей степени А.А. Корнилова о крестьянской реформе[3]. Капитальное, самое крупное из всех исследований крестьянской реформы — юбилейный шеститомник «Великая реформа» (М., 1911) — признает и вынужденность реформы, т.е. боязнь «всероссийской пугачевщины», и ее ограниченность, «тяжелые для крестьян результаты освобождения».

Еще более апологетична либеральная историография других реформ: судебной (М.А. Филиппов, И.В. Гессен), земской (Б.Б. Веселовский), городской (К.А. Пажитнов). Военные реформы до 1917 г. серьезно не изучались.

Советская историография, наоборот, акцентирует внимание на ограниченности реформ, причем до последнего времени изучение крестьянской реформы подгонялось под резко критические оценки ее характера и последствий в трудах В.И. Ленина, особенно в

---

[1] Подробно об этом см.: *Чернуха В.Г.* Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 40—42.

[2] *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. С. 284.

[3] См.: *Иванюков И.И.* Падение крепостного права в России. СПб., 1882; *Джаншиев Г.А.* Эпоха великих реформ. СПб., 1892; *Корнилов А.А.* Крестьянская реформа. СПб., 1905.

трех статьях, написанных специально к 50-летнему юбилею реформы: «Пятидесятилетие падения крепостного права», «По поводу юбилея», «"Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция».

Объективнее других — сравнительно давние монографии П.А. Зайончковского о крестьянской и военных реформах[1], а также новейшие исследования: Б.Г. Литвака (цитированное выше), Н.М. Дружинина и Л.Г. Захаровой[2]. Здесь соразмерно и непредвзято оценены буржуазные (определяющие) и крепостнические (остаточные) черты «великих реформ» 60-х годов, а в книге Литвака к тому же рассмотрены и возможные, но не реализованные тогда альтернативы. Судебная реформа обстоятельно, хотя и чрезмерно критически, исследована Б.В. Виленским, земская — В.В. Гармизой[3]. Более современны труды М.Г. Коротких о судебной реформе, В.А. Нардовой — о городской, В.Г. Чернухи — о цензурной[4].

Зарубежная историография темы невелика, но интересна стремлением авторов занять такую позицию, которая была бы свободна от крайностей — апологетической у русских дореволюционных и критической у советских историков. Таковы, в особенности, труды Д. Филда (США) о крестьянской и Ф. Кайзера (Нидерланды) о судебной реформе[5], а также новейшая обобщающая работа Д. Сондерса (Англия) «Россия в век реакции и реформ»[6], где проводится мысль о невозможности радикальных реформ и глубоких компромиссов в России из-за неразвитости гражданского общества и жестокости российского менталитета, что и порождает бескомпромиссность борющихся лагерей.

---

[1] См.: *Зайончковский П.А.* Отмена крепостного права в России. М., 1954; *его же.* Проведение в жизнь крестьянской реформы. М., 1958; *его же.* Военные реформы 1860—1870-х гг. в России. М., 1952.

[2] См.: *Дружинин Н.М.* Русская деревня на переломе (1861—1880). М., 1978; *Захарова Л.Г.* Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984.

[3] См.: *Гармиза В.В.* Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957; *Виленский Б.В.* Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

[4] См.: *Нардова В.А.* Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в.: Правительственная политика. Л., 1984; *Коротких М.Г.* Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989; *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати (60—70-е годы XIX в.). Л., 1989.

[5] См.: *Field D.* The End of Serfdom. Harward, 1976; *Keiser F.* Das Russische Justizreform von 1864. Leiden, 1972.

[6] См.: *Saunders D.* Russia in the Age of Reaction and Reform. 1801—1881. L.—N.Y., 1992.

От феодализма к капитализму

Падение крепостного права открыло шлагбаум перед российской экономикой на пути развития более прогрессивного, чем феодализм, капиталистического способа производства. Теперь Россия смогла устремиться в погоню за другими великими державами мира, которые к тому времени далеко ушли вперед. Старт в этой погоне Россия приняла с позиции, почти безнадежно отсталой. Ее удельный вес в мировом производстве к 1861 г. составлял всего 1,72 %, уступая удельному весу Франции в 7,2 раза, Германии — в 9 раз, Англии — в 18 раз[1]. Однако еще до конца века Россия смогла заметно сократить свое отставание от ведущих государств в промышленном отношении. Могучими стимуляторами ее индустриального рывка 60—90-х годов стали, во-первых, отмена крепостного права и, во-вторых, промышленный переворот, или, как теперь чаще говорят, промышленная революция, которая осуществилась только благодаря падению крепостного права.

. Вопрос о хронологии промышленной революции в России дискутируется между нашими историками уже три четверти века. Н.А. Рожков относил ее исходный пункт к началу XIX в., ряд исследователей, от М.Н. Покровского до В.К. Яцунского,— к 30-м годам, большинство современных авторов — к 50-м. Академик С.Г. Струмилин считал, что промышленная революция, начавшаяся в 30-х годах XIX в., завершилась в основном еще до реформы 1861 г. Исходя из ортодоксально-марксистской посылки о том, что промышленная революция изменила экономический базис общества и лишь вслед за изменением базиса соответственно изменилась в результате реформ 60-х годов надстройка, Струмилин рассуждал так: всякая причина предшествует следствию, поэтому «не крестьянская реформа обусловила собою промышленный переворот в России, а как раз наоборот,— этот переворот подготовлял собою неизбежность реформы». Иронизируя над своими оппонентами, Струмилин добавлял к сказанному: «Говорят, что "причина" не предшествует, а меланхолически идет за своим "следствием" только в единственном случае, когда

[1] См.: Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. М., 1969. С. 79—80.

неудачливый врач провожает угробленного им пациента на кладбище».

Оппоненты Струмилина относят завершение промышленной революции либо к 70—80-м годам (В.К. Яцунский, П.Г. Рындзюнский, Л.М. Иванов), либо даже к 90-м (П.И. Лященко, А.М. Панкратова, А.М. Соловьева), резонно ссылаясь на то, что само понятие «промышленная революция» включает в себя две стороны — техническую (т.е. замену ручного производства машинным) и социальную (замену принудительного труда вольнонаемным и формирование на этой основе новых классов: буржуазии и пролетариата). Если можно допустить, что технический переворот осуществился, хотя бы в общих чертах, еще до 1861 г., то переворот социальный мог быть завершен только после отмены крепостного права.

Результаты новейших исследований[1] показывают, что даже о технической стороне промышленной революции можно говорить лишь применительно к 50-м годам XIX в. Именно в эти годы нарастает и в основном завершается переход от ручного, мануфактурного производства к машинному, фабрично-заводскому. Число механических заводов с 1850 по 1860 г. выросло с 25 до 99 (т.е. почти в 4 раза), а сумма их производства — с 423,4 тыс. до 7,9 млн. руб. (почти в 19 раз). Поскольку же этот сравнительно быстрый для феодальной страны рост отечественного машиностроения не мог удовлетворить растущего спроса на машины со стороны промышленности и транспорта, приходилось увеличивать импорт машин из-за границы: если в 1850—1853 гг. Россия производила в среднем за год 1387 машин и ввозила 3042, то в 1857—1860 гг.— соответственно 5054 и 7243.

Внедрение машин требовало определенной квалификации рабочего и заинтересованности его в совершенствовании производственных навыков. Поэтому оно давало эффект только там, где использовался вольнонаемный труд и не могло быть эффективным в условиях принудительного крепостного труда. Число вольнонаемных рабочих на промышленных предприятиях росло еще до реформы с постоянным ускорением. Вот данные по российской промышленности — без горных заводов (первая цифра означает: всего рабочих; вторая в скобках: из них вольнонаемных):

1804 г. — 224 882 (61 600)
1825 г. — 340 568 (114 515)
1860 г. — 859 950 (528 650)

Однако «вольнонаемные рабочие» в крепостной России не были (за редким исключением) лично свободными людьми. Чаще всего это были оброчные крестьяне, которые уходили из деревни с

[1] См., в особенности: *Соловьева А.М.* Промышленная революция в России в XIX в. М., 1990.

разрешения помещика на заработки и платили ему денежный оброк из своей заработной платы. Помещик, отпустивший крестьян, мог в любое время отозвать их обратно в деревню. Таким образом, эти рабочие находились социально в двусмысленном положении: по отношению к фабриканту — вольнонаемные, а по отношению к помещику — крепостные. Только отмена крепостного права позволила создать в национальном масштабе столь необходимый для капиталистической промышленности подлинно свободный рынок наемной рабочей силы.

«Великие реформы» 60-х годов открыли простор для промышленной революции, которая из начальной, стесненной фазы переходит в следующую, свободную. Уже в 1861 г. были утверждены «Правила для поощрения машиностроительного дела в России». Они предоставили фабрикантам право «на *беспошлинный* пропуск им из-за границы чугуна и железа в количестве, необходимом для выделывания на их заведениях машин и фабричных принадлежностей». Отечественное машиностроение получило мощный импульс. За 1861—1879 гг. число машиностроительных заводов выросло с 99 до 187, а суммарная ценность их производства — с 7,9 до 51,9 млн. руб. Так закладывалась база для индустриализации страны. В то же время создавались все необходимые условия, при которых только и возможно свободное развитие капиталистического производства, а именно рынок вольнонаемной рабочей силы, накопление стартового капитала, рынок сбыта промышленной продукции.

Главным источником формирования армии наемных рабочих стало освобождение от крепостной зависимости многомиллионной массы крестьянства. Меньшая часть ее (примерно 4 млн. безземельных и малоземельных крестьян) была выброшена на рынок свободной рабочей силы сразу, а бóльшая часть поступала туда постепенно, по мере расслоения и разорения крестьянства. Другими источниками пополнения рабочего класса служили мастеровые крепостных мануфактур, разорившиеся кустари и ремесленники, дворовые слуги. Уже к началу 80-х годов рабочий класс в России как таковой сформировался. Численность его достигала тогда 7,35 млн. человек. За 1861—1900 гг., по подсчетам А.Г. Рашина, он вырос численно с 3,2 до 14 млн. человек (индустриальные рабочие — с 720 тыс. до 2,8 млн.), т.е. в 4,4 раза, тогда как все население страны увеличилось с 70 до 132,9 млн. человек (примерно на 90 %).

Что касается накопления капитала, то пореформенная Россия могла использовать очень выигрышные, специфически присущие ей источники. Первым из них стала операция по выкупу крестьянских земель, в ходе которой помещики за 30 лет получили 2 млрд. руб. (из них 750 млн.— за первые 10 лет). Второй источник составил приток иностранного капитала (с 60-х годов главным образом в железнодорожное строительство, а с 70-х — и

в промышленность). Иностранные капиталисты, конечно же, содействовали промышленному развитию России, но и прибирали к своим рукам сначала отдельные предприятия, а со временем и целые отрасли производства. Англичанин Джон Юз в 1869—1872 гг. построил в с. Юзовка (ныне Донецк, на Украине) Юзовский металлургический завод, который вскоре «оброс» собственными железными рудниками и угольными шахтами. Немец Ф.Л. Кнопп уже в 70-е годы был совладельцем 122 фабрик, включая крупнейшую в Европе Кренгольмскую мануфактуру. О нем говорили:

Что ни церковь, то поп,
Что ни фабрика, то Кнопп.

Швед Людвиг Нобель в 60-х годах владел крупным машиностроительным заводом в Петербурге, а в 1876 г. вместе с братьями Робертом и Альфредом (изобретателем динамита и учредителем Нобелевских премий) основал в Баку знаменитую на весь мир нефтефирму.

Невиданными для России темпами начал расти с 60-х годов рынок сбыта промышленной продукции. Этот процесс был стимулирован развитием капитализма в сельском хозяйстве, что повышало спрос села на промышленные товары от сельскохозяйственных машин до хлопчатобумажных тканей, а также бурным ростом строительства железных дорог. Начавшийся в стране после отмены крепостного права железнодорожный бум, в свою очередь, имел двоякое назначение — экономическое (вовлечь в торговый оборот земледельческие районы) и стратегическое. К 1861 г. общая протяженность железных дорог в России составляла 1492 версты, тогда как Англия, которая в 90 раз меньше России, имела 15 тыс., а США — 49 тыс. км. Но уже в 1871 г. железнодорожная сеть России протянулась на 10 090 верст, а в 1885 г.— на 22 865[1]. Железнодорожное строительство не только содействовало сбыту промышленной продукции, но и стимулировало ее производство, предъявляя огромный спрос на металл, уголь, нефть и пр. (только на постройку одной версты железной дороги требовалось больше 5 тыс. пудов металла).

Рост городов и городского торгово-промышленного населения тоже содействовал расширению внутреннего рынка. С 60-х годов городское население росло вдвое быстрее сельского: за 1863—1897 гг.— на 97 % против 48 % у сельского. Правда, удельный вес горожан среди всего населения до конца века оставался малым: в 1863 г.— 8 %, в 1897 — 13,4 %. Тем не менее города росли впечатляюще. В 1863 г. только три города в империи имели больше 100 тыс. человек: Петербург, Москва и Одесса. В 1897 г. таких городов

[1] См.: Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. СПб., 1898. Вып. 2. Прил. Табл. 1.

стало 17 (из них 9 — за пределами сегодняшней России): Петербург (1267 тыс. жителей)[1], Москва (1036 тыс.), Одесса (405 тыс.), Рига (282 тыс.), Киев (247 тыс.), Харьков (174 тыс.), Тифлис (160 тыс.), Ташкент (156 тыс.), Вильна (155 тыс.), Саратов (137 тыс.), Казань (130 тыс.), Ростов-на-Дону (120 тыс.), Тула (115 тыс.), Баку (112 тыс.), Кишинев (109 тыс.). Всего к 1897 г. в России было 932 города.

Города не только росли, но и благоустраивались. Улучшалась их планировка, возникали новые застройки, выпрямлялись, озеленялись, мостились и асфальтировались улицы. Водопровод, который до 1861 г. существовал только в Москве, Саратове, Вильне, Ставрополе и... Торжке, начал строиться во всех крупных городах. С 1879 г. на улицах российских городов появился электрический свет, а с 1882 г. в городских квартирах — телефон.

В социальной структуре города выдвигалась на первый план буржуазия — сначала преимущественно торговая, затем промышленная. Она формировалась как класс из дореформенного купечества, мануфактуристов, мещан, а после 1861 г. главным образом за счет расслоения крестьянства, из деревенских «хозяев», кулаков, вроде щедринских Колупаева и Разуваева, которые держались по отношению к своему же брату-мужику такого правила: «В ем только и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить». Выходцы из крепостных крестьян Подмосковья Савва Морозов с четырьмя сыновьями, рязанские крестьяне отец и сыновья Хлудовы, московские мещане Прохоровы (владельцы Трехгорной мануфактуры), как и новгородский дворянин Н.И. Путилов, который в 1868 г. купил в Петербурге сталелитейный завод, названный позднее Путиловским (ныне Кировский),— все они и многие им подобные стали фабрикантами-миллионерами, экономически самыми влиятельными людьми в стране. Уже в 1887 г. остроумец Д.Д. Минаев вопрошал:

Ныне властные хозяева
Кто, скажи-ка, на Руси?
Ты об этом Разуваева,
Колупаева спроси.

Главная особенность перехода России от феодализма к капитализму (не в результате революции, а посредством реформы, при сохранении самодержавия как феодального института власти) наложила свою печать и на происхождение, и на все последующее поведение российской торгово-промышленной буржуазии. Поскольку буржуазия формировалась под покровительством царизма, она и в деятельности своей рассчитывала на его покровительство, льнула к нему под крыло, ибо он давал ей многое: обеспечивал правительственными заказами, ограждал от иностранной конку-

[1] Петербург еще в 1890 г. стал первым в России городом-миллионером и вошел в десятку крупнейших городов мира.

ренции, своей завоевательной политикой помогал ей осваивать внешний рынок, защищал ее от пролетарского гнева. «Европейской буржуазии самодержавие — помеха, нашей буржуазии оно — опора»,— точно определил в 1879 г. Н.К. Михайловский.

Таким образом, все необходимые условия для свободного развития капитализма в промышленности после 1861 г. были в России (одни в большей, другие в меньшей мере) налицо. К тому же Россия могла использовать опыт и достижения передовых стран Запада, которые раньше нее встали на путь капитализма и ушли вперед по этому пути. В результате российская промышленность в течение почти всех 60-х годов переживала подъем (за 1860—1872 гг. продукция машиностроения выросла в 2,5 раза), а с конца десятилетия вступила в полосу так называемого грюндерства, которое было характерно тогда и для других стран капитала. Грюндерство, т.е. «учредительная горячка» (от нем. Gründer — основатель, учредитель),— это ажиотажное учредительство всевозможных (промышленных, торговых, банковских, железнодорожных) акционерных компаний. Если за 1861—1865 гг. их было основано в России 44 с капиталом в 99,4 млн. руб., то за 1869—1873 гг.— 281 с капиталом в 697 млн. руб. По масштабам грюндерства Россия не уступала развитым странам Запада, а по уровню концентрации промышленности даже превзошла их. В.И. Ленин подсчитал, что в 1890 г. почти половина индустриальных рабочих была сосредоточена на крупных предприятиях с числом рабочих более 500, тогда как даже в США на таких предприятиях сосредоточивались 33 % рабочих.

Включившись в мировой цикл капиталистического производства, Россия пережила вместе с другими странами экономические кризисы 1873—1875 и 1881—1883 гг., длительную депрессию второй половины 80-х годов, а в 90-е годы — крутой промышленный подъем. Промышленное производство в России за последнее десятилетие века выросло в 2 раза, тогда как в Германии — на 62 %, в США — на 38 %, в Англии — на 27 %. Однако стартовые позиции держав перед таким рывком были настолько разными, что Россия даже с ее «сверхамериканскими» темпами развития промышленности в 90-е годы оставалась далеко позади Запада.

Ряд причин, производных от крепостного строя, мешал российской промышленности максимально использовать открывшиеся перед ней в 1861 г. возможности для развития капиталистического производства: слабость технической (отчасти еще дореформенной) базы, низкая производительность труда, тоже унаследованная от крепостничества, чрезмерный ввоз машин и капиталов из-за границы, что приводило к росту экономической зависимости России от Запада, и, наконец, хозяйственная политика царизма. Разумеется, царизм учитывал силу экономиче-

ской необходимости, понимая, как говорил граф П.А. Валуев Александру II, «что росчерка пера Его Величества достаточно, чтобы отменить весь Свод законов Российской Империи, но никакое высочайшее повеление не может поднять на одну копейку курс рубля на петербургской бирже»[1]. Поэтому царское правительство и покровительствовало отечественной буржуазии. Но само это покровительство оборачивалось во вред собственной промышленности, ибо «свои» капиталисты, ограждаемые от конкуренции со стороны «чужих», приучались не слишком беспокоиться о техническом совершенствовании производства.

Развитие капитализма *вширь*, столь характерное для России с ее далеко разбросанными и отсталыми окраинами, хотя и было полезным, втягивая эти окраины в общероссийский процесс, все же мешало развитию капитализма *вглубь*. Имея возможность искать и находить выгодные рынки сбыта даже для низкосортной продукции на окраинах, русские промышленники не проявляли должного интереса к интенсификации и совершенствованию производства в центре страны.

Как бы то ни было, к 1870 г. Россия вышла на 5-е место в мире по объему промышленного производства и в 1900 г., удерживая за собой то же место, сократила отставание от четырех самых развитых стран. Если в 1870 г. доля России в мировой промышленности составляла 4 % — после Франции (10 %), Германии (13 %), США (23 %) и Англии (32 %), то к 1900 г. Россия давала уже 6 % мировой промышленной продукции, Франция — 8 %, Германия — 14 %, Англия — 22 %, США — 31 %[2]. Зато российская экономика в целом (особенно в исчислении продукции *на душу* 130-миллионного населения) была даже по сравнению с Францией крайне отсталой, ибо промышленность в России к концу XIX в. развивалась в 8 раз быстрее сельского хозяйства.

Падение крепостного права освободило путь для развития капитализма и в сельском хозяйстве. Оно тоже, хотя и гораздо медленнее, чем промышленность, обретало все более торговый, предпринимательский характер. Это проявлялось прежде всего в растущем производстве хлеба на продажу — и внутри страны, и за границу. С 1861 по 1896 г. объем перевозок зерна по железным дорогам России вырос в 2 раза, а вывоз его за рубеж — в 5 раз. Впрочем, хлеб вывозили даже в голодные годы. «Не доедим, а вывезем!» — хвастался министр финансов И.А. Вышнеградский.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве проявлялось и в усиленном потреблении сельскохозяйственных машин (с 1871 по 1896 г. спрос на них вырос в 3,5 раза), и в специализации сельскохозяйственного производства по районам страны. Так, уже

[1] *Валуев П.А.* Дневник 1877—1884 гг. Пг., 1919. С. 195.

[2] См.: *Кучинский Ю.* Очерки по истории мирового хозяйства. М., 1954. С. 27, 31.

к 80-м годам определились районы преимущественно зернового хозяйства (губернии Черноземного центра, Нижней Волги и степного Юга), торгового скотоводства (Прибалтика, северные, западные и центральные промышленные губернии, юго-восток), льноводства (19 губерний нечерноземной полосы). Главным же признаком капитализма в сельском хозяйстве был рост применения вольнонаемного труда. Число наемных сельскохозяйственных рабочих за 1865—1890 гг. выросло в 5 раз и достигло 3,5 млн., тогда как фабрично-заводских, горных и железнодорожных рабочих, вместе взятых, было в 1890 г. 1432 тыс.

Итак, характерной особенностью развития сельского хозяйства в пореформенной России была буржуазная аграрная эволюция. Общая картина этой эволюции складывалась, однако, из разных ее черт в крестьянском и помещичьем хозяйствах.

Определяющей чертой крестьянского хозяйства был процесс социального расслоения крестьянства, его «раскрестьянивания». Уже к началу 80-х годов безлошадные и однолошадные дворы составляли в неземледельческой полосе около 70 %, в земледельческой — до 55 %, в Приуралье — от 59 до 63 % общего количества дворов. Зажиточные крестьяне, кулаки, нанимали деревенскую бедноту к себе на работу. По подсчетам В.И. Ленина, к 90-м годам из 3,5 млн. сельскохозяйственных наемных рабочих примерно 1,5 млн. были заняты в кулацких хозяйствах. Кулаки использовали наемную силу для выполнения от 48 до 78 % хозяйственных работ.

Все это показывает, что капитал, проникая в деревню, перестраивал самый способ производства. Зажиточные хозяйства становились капиталистическими, с наемной рабочей силой, беднейшие — разорялись. Формировались новые категории сельского населения — деревенская буржуазия и сельскохозяйственный пролетариат, который составлял резерв промышленного пролетариата. Словом, крестьянское хозяйство после 1861 г. в процессе развития товарно-денежных отношений переходило от старых, феодальных приемов хозяйствования непосредственно к новым, капиталистическим.

Иначе развивалось помещичье хозяйство. Здесь до реформы господствовала барщинная система. Реформа 1861 г. подорвала все ее основания: натуральность хозяйства, прикрепление крестьян к земле, внеэкономическую, т.е. юридическую, зависимость их от помещика. Крестьянское хозяйство перестало быть составной частью помещичьего. Теперь помещик терял прямую власть над крестьянами и вынужден был перестраивать свое хозяйство на капиталистических началах. Но переход от барщинной системы к капиталистической не мог быть скорым. С одной стороны, недоставало условий, необходимых для капиталистического производства (класса людей, привыкших к работе по найму, замены крестьянского инвентаря помещичьим, рациональной,

торгово-промышленной организации земледелия); с другой — барщинная система, хотя и была подорвана, еще сохраняла жизнеспособность: помещики прибрали к рукам 1/5 часть крестьянских земель в виде «отрезков» и могли использовать такие рудименты внеэкономического принуждения, как временнообязанное состояние крестьян, телесные и прочие их наказания, сохранение общины и круговой поруки. Все это позволило помещикам внедрить переходную, так называемую *отработочную* систему хозяйствования, соединившую в себе черты барщинной и капиталистической систем.

Отработочная система заключалась в том, что крестьяне обрабатывали помещичью землю своим инвентарем и скотом либо за денежную ренту, либо в счет погашения долга (хлебом и деньгами), либо в уплату штрафа за потравы, порубки и пр., но чаще всего за землю, арендованную у помещика. От барщины эта система отличалась прежде всего тем, что отбывать барщину помещик *заставлял* юридически зависимых от него крестьян, а к отработкам крестьяне прибегали добровольно, из-за экономической необходимости выжить, не умереть с голоду. По существу, отработки представляли собой пережиток барщины с ее крайне низкой производительностью труда и примитивными методами хозяйствования. Оплачивались они гораздо ниже, чем при вольном найме. Впрочем, после 1861 г. даже отработки стали обретать капиталистические черты, а именно заинтересованность работника в производительности труда (особенно при главном виде отработок — издольщине, когда работник вносит арендную плату собственнику за землю долей полученного урожая).

В капиталистической же системе хозяйства помещик заводил собственный скот и сельскохозяйственный инвентарь, нанимал рабочих и платил им за то, что они обрабатывали его землю его же инвентарем и скотом. При этом помещик, заинтересованный в увеличении своих доходов, заботился о качественной стороне производства: приобретал сельскохозяйственные машины, внедрял агрономические новшества. Будучи, вне сравнения, более прогрессивной, капиталистическая система сельского хозяйства в целом по стране преобладала над отработочной: по данным 80-х годов, из 43 губерний Европейской России она была самой распространенной в 19, тогда как отработочная — в 17 (еще в 7 губерниях преобладала смешанная система). Но в черноземных губерниях капиталистическая система уступала отработочной (9 губерний против 12). Здесь барщинные, т.е. крепостнические, способы сельскохозяйственного производства оказались очень живучими. Лишь на рубеже веков, по мере наступления капитализма, роль отработок в помещичьем хозяйстве резко упала.

Анализируя аграрную эволюцию в России после 1861 г., В.И. Ленин обоснованно заключил, что сосуществуют и противоборствуют два пути развития капитализма в сельском хозяйстве:

прусский (юнкерский, помещичий) и *американский* (фермерский, крестьянский). Первый путь отвечал интересам помещиков: на этом пути помещичье землевладение сохранялось и постепенно перерастало из феодального в капиталистическое при разорении основной массы крестьянства. Второй путь отвечал интересам крестьян, ибо предполагал отсутствие (как, например, в Сибири или Новороссии) либо уничтожение помещичьего землевладения и свободное развитие крестьянских хозяйств по типу фермерских. Поскольку крестьянскую реформу в России провели помещики, сохранившие в своих руках мощное землевладение[1], они как бы сориентировали капиталистическую эволюцию сельского хозяйства по прусскому пути, тем самым определив его приоритетность. Однако потребности экономического развития толкали Россию на американский путь, что придавало проблеме «двух путей» общенациональное значение. Эта экономическая проблема обретала и социальную, и политическую остроту. Она была чревата революционными потрясениями, а самым взрывоопасным был в ней *аграрный вопрос.*

Суть аграрного вопроса в России к концу XIX в. раскрывают следующие цифры, иллюстрирующие два полюса российского землевладения: 10,5 млн. бедных крестьянских хозяйств (примерно 50 млн. человек) имели 75 млн. десятин земли и почти столько же (70 млн. десятин) приходилось на 30 тыс. крупных помещичьих латифундий (примерно 150 тыс. человек). Иначе говоря, крестьянский двор располагал в среднем 7 десятинами (тогда как для нормального хозяйствования требовалось не менее 15 десятин), а помещичья латифундия — 2333 десятинами. Этот расклад земель был прямым следствием реформы 1861 г., концентрированным выражением и экономической основой сохранившихся после реформы пережитков крепостничества.

Крепостнические пережитки (прежде всего, помещичье землевладение и отработочная система) тормозили развитие капитализма в сельском хозяйстве, с одной стороны, разоряя крестьянскую бедноту, а с другой — ограничивая, стесняя крестьянское предпринимательство. В результате сельское хозяйство пореформенной России прогрессировало вяло, с вопиющим (8-кратным) отставанием от промышленности. Академик Н.М. Дружинин подсчитал, что урожаи хлеба на крестьянских надельных землях по 30 губерниям Европейской России составляли в 1861—1870 гг. сам-3,3, в 1871—1880 гг.— сам-3,5, а урожаи картофеля соответственно — сам-3,8 и сам-4,7. Поголовье лошадей и крупного рогатого скота за 1870—1880 гг. выросло с 9013 тыс. до 9207 тыс. (лошади) и с 10 828 тыс. до 11 458 тыс. (крупный

[1] К концу XIX в. все крестьянство России имело 138,8 млн. десятин, помещики — 101,7 млн. (как правило, *лучших* земель).

рогатый скот), но в среднем на двор даже несколько сократилось ввиду опережающего прироста населения[1].

К концу века для здравомыслящих россиян становилось все более очевидным, что пережитки крепостничества — это чудовищный тормоз на пути сельского хозяйства (главным образом) и всей отечественной экономики к прогрессу. Весь ход экономического развития страны неумолимо ставил царизм перед выбором: либо пойти на устранение крепостнических пережитков посредством радикальной реформы, либо стать жертвой грандиозной и разрушительной революции.

Народ и реформы

Многомиллионное крестьянство России встретило великую реформу 1861 г. взрывом негодования. Получив волю почти без земли, крестьяне отказывались верить случившемуся, говорили: «Нас надули! Воли без земли не бывает!» «Минута разочарования», которую предвидел Александр II, растянулась на годы и вылилась в небывалый подъем крестьянского движения.

Формы протеста крестьян были различными. Очень многие не верили в подлинность царских «Положений 19 февраля», полагая, что они подложны, подменены барами, которые-де настоящую царскую грамоту утаили. Иные толмачи из крестьян доказывали, что в царских «Положениях» есть статья, предписывающая пороть всякого, кто прочтет помещичью фальшивку и поверит ей. В качестве же истинных, «взаправских» «Положений» ходили по рукам поддельные манифесты с такими пунктами: «Во время жатвы на работу к помещику не ходите, пусть убирает хлеб со своим семейством» — и даже: «Помещику оставляется земли пахотной участок на его семью такой же, как и мужику, а больше ничего».

Пока шли толки о настоящих и фальшивых «Положениях», крестьяне почти повсеместно отказывались работать на помещиков и повиноваться властям, а местами, особенно в первые месяцы после 19 февраля, когда еще свежо было разочарование в реформе, поднимались на восстания. Самые сильные из них вспыхнули в Пензенской и Казанской губерниях. В апреле 1861 г. взбунтовались крестьяне Чембарского и Керенского уездов Пензенской губернии. Центр, «самый корень бунта», по словам губернатора, был в деревне Кандеевка. Бунт охватил до 14 тыс. бывших крепостных и вошел в историю под названием «Кандеевское восстание» как самый громкий протест крестьян против реформы 1861 г.

---

[1] См.: *Дружинин Н.М.* Русская деревня на переломе (1861—1880). М., 1978. С. 157—158, 175, 179.

Многотысячные толпы кандеевских бунтарей с красным знаменем разъезжали тогда на телегах по деревням Пензенской и соседней Тамбовской губерний, всюду провозглашая: «Земля вся наша! На оброк не хотим, работать на помещика не станем!» Крестьянский вожак Леонтий Егорцев не уставал повторять, что царь направил крестьянам «взаправскую» грамоту с полным освобождением их от помещиков, но помещики ее перехватили, после чего царь через него, Егорцева, приказал: «Всем крестьянам выбиваться от помещиков на волю силою, и если кто до Святой Пасхи не отобьется, тот будет, анафема, проклят».

Бывалый, испытавший все тяготы крепостной жизни, розги, тюрьму и бега, 65-летний Егорцев еще до появления в Кандеевке, по розыскным данным, «назвался великим князем Константином Павловичем (давно, за 30 лет до того, умершим.— *Н.Т.*) и возмутил крестьян разных имений» на границе Пензенщины и Тамбовщины. Восставшие крестьяне боготворили Егорцева. Все окрестные села присылали за ним тройки, а наиболее восторженные почитатели водили его под руки и носили за ним скамейку.

Кандеевское восстание было разгромлено 18 апреля (как раз под «Святую Пасху») регулярными войсками под командованием флигель-адъютанта царской свиты А.М. Дренякина. Десятки крестьян были убиты и ранены, сотни — выпороты и отправлены в Сибирь на каторгу и поселение. Самому Егорцеву удалось скрыться (крестьяне бесстрашно шли под пули и на дыбу, но его не выдавали). Впрочем, через месяц, в мае 1861 г., этот колоритный вожак крестьянской вольницы умер.

Одновременно с Кандеевским разгорелось другое восстание крестьян — в Спасском уезде Казанской губернии. Оно охватило до 90 деревень с центром в селе Бездна. Здесь тоже выдвинулся авторитетный вожак, своеобразный идеолог восстания — молодой бездненский крестьянин Антон Петрович Сидоров, вошедший в историю как Антон Петров. Он толковал «Положения 19 февраля» желательно для крестьянства, т.е. вкладывал в них смысл, противоположный тому, который они в себе заключали: не нужно повиноваться властям, платить оброк и ходить на барщину, а надо гнать помещиков с крестьянской земли; «помещику земля — горы да долы, овраги да дороги и песок да камни, лесу ему ни прута; переступит он шаг со своей земли — гони его добрым словом, не послушался — секи ему голову, получишь от царя награду»[1].

Крестьяне стекались к Петрову толпами и приступили даже по его указанию к смене местных властей. Когда в Бездну прибыли карательные войска под командованием флигель-адъютанта графа А.С. Апраксина, крестьяне, предусмотрительно удалив

[1] Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права. М.; Л., 1949. Ч. 1. С. 63.

из села женщин, горой встали на защиту Петрова и не хотели его выдавать. Казанское дворянство, напуганное восстанием, объявило Антона Петрова «вторым Пугачевым» и требовало от Апраксина решительных мер. Апраксин пустил в ход оружие. Больше 350 крестьян были убиты и ранены. Антон Петров вышел к солдатам с текстом «Положений 19 февраля» над головой.

Александр II на донесении Апраксина о расстреле бездненских крестьян пометил: «Не могу не одобрить действий гр. Апраксина». Антона Петрова царь повелел «судить по полевому уголовному уложению и привести приговор в исполнение немедленно», предрешив тем самым осуждение Петрова на смертную казнь. 17 апреля Петров был приговорен к расстрелу и 19-го казнен.

Менее значительные, чем Кандеевское и Бездненское, но тоже многолюдные и упорные выступления крестьян против реформы 1861 г. прошли во многих великорусских, а также украинских и белорусских губерниях. Иные из них властям удалось подавить только силами войск. Так, 15 мая в с. Самуйлове Гжатского уезда на Смоленщине войска атаковали двухтысячную толпу крестьянских бунтарей, которые, как это засвидетельствовано в официальном акте, «с неистовым энтузиазмом бросились на солдат, обнаружив намерение отнять у них ружья», причем погибли 22 крестьянина. Железом и кровью усмирили каратели и крестьян с. Рудни Камышинского уезда Саратовской губернии, где в роли главного усмирителя выступил еще один флигель-адъютант — Янковский.

1861 год дал невиданное в России число крестьянских протестов. Но и в 1862—1863 гг. борьба крестьян развертывалась с огромной силой, хотя и меньшей, чем в 1861 г. Вот сравнительные данные о количестве крестьянских волнений:

1861 г. — 1859
1862 г. — 844
1863 г. — 509

Показательно, что до объявления реформы, с 1 января по 5 марта 1861 г., было всего 11 волнений, а с 5 марта до конца года — 1848[1]. Бóльшую цифру даст только 1905 год.

Небывалый за все XIX столетие размах крестьянского движения 1861—1863 гг. обнаружил его слабости, очевидные даже для современников. Оно было стихийным, без четкого руководства и организации (такие вожаки и даже «идеологи», как Леонтий Егорцев и Антон Петров, являлись исключениями). Крестьяне руководствовались наивными (зачастую царистскими) иллюзиями. Наконец, движение было локальным, захватив спорадически

[1] См.: Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг. Сб. документов. М., 1963. С. 736; Крестьянское движение в России в 1861—1869 гг. Сб. документов. М., 1964. С. 798—800.

тысячи деревень, тогда как сотни тысяч других (иногда соседних) оставались покорными.

Тем не менее царизм с немалым трудом подавил сопротивление крестьян, отрядив против них кроме войск внутренней стражи еще 64 пехотных и 16 кавалерийских полков регулярной армии. Александр II явно обременял карательными функциями своих флигель-адъютантов. Герцен поэтому иронически предложил ему выбить по случаю освобождения крестьян от крепостного права такую медаль: с одной стороны венок из розог, связанных флигель-адъютантским аксельбантом, а с другой — надпись: «Сим освобождаю!» Лишь с конца 1863 г. крестьянское движение резко пошло на убыль:

1864 г. —	156 волнений	1867 г. —	68
1865 г. —	135	1868 г. —	60
1866 г. —	91		

«Гидра мятежа», как говорили при царском дворе, была раздавлена.

Это вовсе не означало, что российское крестьянство примирилось с реформой 1861 г. Либеральный публицист Ф.П. Еленев (Скалдин) и в конце 60-х годов свидетельствовал о «всеобщем между крестьянами ожидании новой или чистой воли». Крестьянская масса полнилась слухами о грядущем переделе земель и продолжала борьбу за свое право на жизнь хотя бы с минимальным достатком. Крестьяне разных губерний в жалостливых прошениях к министру юстиции К.И. Палену, министру внутренних дел А.Е. Тимашеву и к самому царю взывали о наделении «где-либо землею», о замене неудобных земель удобными, об ограждении от произвола властей. Губернаторы доносили министру внутренних дел, а министр — царю о все новых формах протеста крестьян против их экономического удушения. Почти повсеместно крестьяне отказывались вносить непосильные выкупные платежи, многочисленные — оброчные, подушные, земские, мирские, штрафные и прочие — сборы. С 1870 г. они стали отказываться даже от наделов из-за несоответствия между их доходностью и установленными за них платежами. Пермские крестьяне образовали особую «секту неплательщиков», которая объявила греховным взыскание с трудящегося люда непомерных налогов. Все это держало российскую деревню пореформенных лет в состоянии хронической напряженности, чреватой новыми бунтами.

Хотя материальное (как и правовое) положение российского крестьянства после 1861 г. стало лучше, чем до реформы, оно оставалось еще для цивилизованной страны, великой державы нетерпимым. Достаточно сказать, что крестьяне и после освобождения большей частью жили в «курных» (или «черных») избах. Колоритно описал их крестьянский сын, народник Е.Е. Лазарев

(прототип Набатова в романе Л.Н. Толстого «Воскресение»). Дым в такой избе «из печного чела должен был валить прямо вверх к потолку, наполняя собою всю избу чуть не до самого пола, и выходить в отворенную дверь (а летом и в окна) наружу. Так было летом, так было и зимой. Вследствие этого по утрам, во время топки печи, обитатели этих жилищ ходили обыкновенно согнувшись, со слезами на глазах, кряхтели, пыхтели и откашливались, глотая время от времени чистый воздух близ самого пола». Это называлось «топить по-черному». В таких избах крестьяне жили многолюдными семьями, а зимой «к двуногому населению приобщалось население четвероногое — телята и ягнята, к которым по утрам и вечерам приходили их матери покормить молоком. Коровы-новотелы морозной зимой по утрам сами являлись в избу доиться, протискиваясь сквозь узкие сенные и избные двери с бесцеремонностью исконных членов семьи...».

Тем временем формировался и вступал в борьбу за свои права рабочий класс. В условиях его жизни и даже в характере и способах борьбы было много общего с положением крестьянства. Рабочие 60-х годов еще сохраняли тесные связи с деревней. Статистические обследования трех промышленных уездов Московской губернии показали, что 14,1 % рабочих с 18 лет и 11,9 % в возрасте с 14 до 18 лет уходили сезонно на полевые работы. Так называемые сельские работники, выполнявшие на фабриках и заводах подсобные операции, стремились к тому, чтобы получить достаточный для пропитания надел и уйти с предприятия.

Бедствовали рабочие не меньше (если не больше), чем крестьяне. До 1897 г. рабочий день в промышленности не был нормирован и, как правило, составлял 13—15 часов, а порой доходил и до 19-ти (как на машиностроительном заводе Струве в Москве). При этом рабочие трудились в антисанитарных условиях, без элементарной техники безопасности. «Как-то мои друзья ткачи повели меня на фабрику во время работы. Боже мой! Какой это ад! — вспоминал очевидец об одной из петербургских фабрик.— В ткацкой с непривычки нет возможности за грохотом машины слышать в двух шагах от человека не только то, что он говорит, но и кричит. Воздух невозможный, жара и духота, вонь от людского пота и от масла, которым смазывают станки; от хлопковой пыли, носящейся в воздухе, получается своеобразный вид мглы <...> Стоять приходится неизбежно, так как сидеть не полагается, да и сесть, кроме подоконника, негде, а на подоконнике сидеть нельзя — «свет застишь» — не дозволяется. Я пробыл на фабрике не более двух часов и вышел оттуда очумелый, с головной болью».

Ткачи этой фабрики работали, стоя, по крайней мере, на обеих ногах. А вот свидетельство рабочего Кренгольмской мануфактуры в Нарве В.Г. Герасимова: «На работу нас поднимали в 4 часа утра. Я работал на ватерных машинах, и мне приходилось

стоять все время на одной ноге, что было очень утомительно. Этот адский труд продолжался до 8 часов вечера». Труд в таких условиях был тем более «адским», что рабочих заставляли выполнять запредельные нормы выработки. Так, мастеровые железнодорожных депо в Калуге жаловались, что хозяева задавали им такие «уроки», каких «не в состоянии выработать лошадь».

Тяжкими «уроками» молодые российские капиталисты душили не только взрослых мужчин, но и детей, и женщин. Женский труд широко эксплуатировался в легкой промышленности (в Петербурге 70-х годов женщины составляли 42,6 % рабочих, занятых на обработке волокнистых веществ) и применялся даже в металлургии. Дети же и подростки с 10—12 лет (иногда и с 8-ми) работали буквально всюду. По данным 70-х годов, на Ижевском оружейном заводе несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет составляли 25 % всех рабочих, а на тверской фабрике Морозова — 43 %. Газета «Русские ведомости» в 1879 г. так писала о труде малолетних на фабриках г. Серпухова Московской губернии: «Положение детей, из-за 4—5-рублевого жалованья обреченных на изнурительную 12-часовую работу, в высшей степени печальное. К сожалению, эти изможденные, бледные, с воспаленными глазами существа, погибающие физически и нравственно, до сих пор еще не пользуются в надлежащей степени защитой со стороны закона. А между тем эта юная рабочая сила представляет весьма солидный процент всех сил, занятых на местных фабриках; так, на одной фабрике г. Коншина работают до 400 детей».

Оплата столь тяжкого труда рабочих в первые десятилетия после «великих реформ» была грошовой. Спорадическое повышение заработной платы далеко отставало от роста цен. М.И. Туган-Барановский приводил такие данные по одному из крупнейших в России Иваново-Вознесенскому промышленному району: зарплата за все виды труда повысилась к началу 80-х годов сравнительно с концом 50-х на 15—50 %, а цена ржаного хлеба — на 100 %, масла — на 83 %, мяса — почти на 220 %[1].

Мало того, существенную часть (до половины!) и без того жалкой заработной платы хозяин отбирал у рабочего в виде штрафов. До того как был принят в 1886 г. закон о штрафах, предприниматели штрафовали рабочих безудержно и цинично. Например, «Общие условия найма» в «расчетной книжке», которую выдавала своим рабочим контора ситценабивной мануфактуры Лопатина во Владимирской губернии, гласили: «На работу фабричные и мастеровые обоего пола и всякого возраста должны являться не позже десяти минут после звонка под опасением записи в сей расчетной книжке взыскания с них той

[1] См.: *Туган-Барановский М.И.* Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1938. Т. 1. С. 349.

платы, которая причитается им за целый рабочий день». Итак, за 11 минут опоздания полагалось отработать бесплатно весь день! Из других пунктов тех же «условий» явствует, что хозяин мог штрафовать рабочего по всякому поводу, а за «дурное поведение» в любое время уволить. Разумеется, под мотивировку «дурное поведение» хозяин мог подвести любого из неугодных ему работников.

Адский труд при грошовой оплате не позволял рабочим обеспечить себе хотя бы элементарное человеческое существование. Жили они со своими семьями нищенски, большей частью в бараках и казармах, мало подходивших «даже для стойла коровы или лошади, не только для человеческого жилища»[1], или в подвалах вроде того, который описан инспектором земской управы Петербургского уезда, обследовавшей жилищные условия столичного пролетариата за 1878 г.: «Представляя из себя углубление в землю не менее 2 аршин, он (подвал.— *Н.Т.*) постоянно заливается если не водою, то жидкостью из расположенного по соседству отхожего места, так что сгнившие доски, составляющие пол, буквально плавают, несмотря на то что жильцы его усердно занимаются осушением своей квартиры, ежедневно вычерпывая по нескольку ведер. В таком-то помещении при содержании $5^1/_3$ куб. сажен убийственного самого по себе воздуха я нашел до 10 жильцов, из которых 6 малолетних». В.В. Берви-Флеровский, досконально изучивший положение российских рабочих 60-х годов, пришел к выводу: условия жизни рабочего «таковы, что он должен отказаться или от существования, или от достоинства человеческого».

Все это заставляло рабочих критически размышлять о своем положении. Василий Герасимов свидетельствовал: «Я часто задумывался над этими фактами, проводя параллель между условиями, окружавшими нас, и условиями, при которых жили наши хозяева-фабриканты, питающиеся нашей кровью, заедающие нашу жизнь в буквальном смысле этого слова. Я сознавал ненормальность, несправедливость этого порядка вещей <...> Я только не знал, как выйти из этого положения».

Первые шаги рабочего движения в России после 1861 г. были сравнительно робкими (жалобы, «покорнейшие прошения», побеги, иногда бунты и стачки), но отличались пролетарской направленностью — против штрафов и непосильных «уроков», за сокращение рабочего дня и увеличение зарплаты. Некоторые из них заключали в себе уже и симптомы политического протеста. Так, рабочие Людиновского завода Мальцова в Калужской губернии говорили на дознании, что заводовладелец мстил им за то, что они не ходили к нему с хлебом-солью в честь объявления реформы 1861 г. По мере того как рабочие все сильнее разочаровывались в

[1] *Берви-Флеровский В.В.* Положение рабочего класса в России. М., 1938. С. 442.

последствиях «великих реформ», их борьба нарастала: если за 60-е годы подсчитано 51 выступление рабочих (стачек и волнений), то за 70-е — уже 329.

Царское правительство с тревогой следило за протестами рабочих и пыталось успокоить их видимостью попечительства, не обижая при этом, однако, и фабрикантов. Характерен такой пример: в июле 1869 г. московские власти запретили работы на фабриках и заводах в праздничные дни, передав окончательное решение по этому вопросу фабрикантам, а те решили все оставить по-старому.

В тех же случаях, когда рабочие прибегали к «беспорядкам», к стачке или бунту, царизм помогал хозяевам давить недовольных беспощадно. «Зачинщики» и «вожаки» заковывались в кандалы и отправлялись в остроги (как на Людиновском заводе Мальцова в апреле 1861 г.), приговаривались к наказанию плетьми и ссылке в каторжные работы (как на Лысвенском заводе Пермской губернии той же весною). Трудового законодательства до середины 80-х годов в России вообще не было, а существующие законы ограждали права не рабочих, а их хозяев. Стачка, как и «бунт против власти верховной», считалась государственным преступлением, и за участие в ней рабочие подлежали уголовному и административному преследованию. Символичным для 70-х годов было заявление начальника полиции рабочим петербургских мастерских Главного общества российских железных дорог в ответ на их экономические требования: «У всех своя должность: поп служит обедню, доктор лечит, а я приехал вас душить <...> Я знаю, что у вас есть человек десять или двадцать зачинщиков. Я их вырву у вас, вырву — в Сибирь сошлю. А захочу — 100 человек пошлю в Сибирь!»[1]

Таково было отношение властей к рабочим в их борьбе с капиталистами. Неудивительно, что рабочее движение в России обретало все больший размах и все более острые формы. В 1871 г. московский губернатор князь А.А. Ливен резонно, даже с некоторым опозданием, заключил: «Можно сказать, что и на наших часах подходит стрелка к тому моменту, который может прозвучать над нами *рабочим вопросом*, вопросом антагонизма между трудом и капиталом»[2].

Правительственная реакция

Все реформы 60—70-х годов фактически представляли собою уступки, продиктованные потребностями экономического развития и вырванные у царизма волной демократического подъема, который включал в себя революционное, либеральное и массовое

[1] Община. 1878. № 3—4. С. 27, 28.

[2] Рабочее движение в России в XIX в. Сб. док. и мат-лов. М., 1950. Т. 2. Ч. 1. С. 282.

движение. Сила этой волны предопределила размеры уступок: чем она была сильнее, тем бóльшими оказывались уступки, и наоборот. Избежав революции, отделавшись в условиях революционной ситуации реформами, царизм сохранил свою прежнюю социальную базу в лице дворян и помещиков. Опираясь на эту базу, он старался придать реформам (коль уж нельзя было без них обойтись) сугубую умеренность. Собственно, крепостники в правительстве и при дворе считали, что затеянные реформы должны «лишь исправить кое-какие несовершенства теперешних законов», не более того,— так откровенничал в марте 1862 г. министр юстиции В.Н. Панин. Либеральные министры и сановники вроде Д.А. Милютина, напротив, полагали необходимым изменить самые основы феодального законодательства. В этой борьбе мнений Александр II, избегавший крайностей и, по выражению П.А. Валуева, державшийся «системы невозможных диагоналей», избрал средний путь *полуреформ,* с помощью которых можно было бы «откупиться от конституции».

Полуреформы отвели угрозу революционного взрыва, но не удовлетворили «низы» и не доставили надлежащего успокоения «верхам». Положение царизма оставалось неустойчивым. Сестра царя Мария Николаевна в октябре 1861 г. говорила П.А. Валуеву: «Через год нас всех отсюда выгонят». Спустя полтора года сам Валуев записал в дневнике: «Правительство — некоторым образом в осадном положении», а 29 октября 1865 г. выразился еще энергичнее: «Половина государства — в исключительном положении. Карательные меры преобладают».

Действительно, реакционный курс правительства выражался не только в том, что заведомо ограничивалось прогрессивное содержание проводимых реформ. Стремясь упрочить свое положение, но и не желая углублять, радикализировать реформы, царизм все больше склонялся к застарелому способу — карательному террору. Он не только расправлялся с крестьянскими и рабочими «беспорядками», с повстанцами Польши, Белоруссии, Литвы и с вожаками революционной демократии, засадив за решетку в 1861 г. П.Г. Заичневского, В.А. Обручева, М.И. Михайлова, а в 1862 г.— Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, Н.А. Серно-Соловьевича, но и занялся повсеместным «водворением порядка и дисциплины». Так, 30 мая 1861 г. были изданы «майские правила» для студентов России, запретившие все виды студенческих объединений и «сборищ» и учредившие над студентами повседневный, даже «всечасный» полицейский надзор.

Впрочем, правительственные репрессии 1861—1865 гг. еще чередовались с послаблениями. После *одиночного* (и в буквальном, и в переносном смысле) выстрела Д.В. Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 г. все послабления были отменены — остались одни репрессии. Отныне царизм — в отмщение за выстрел революционера-одиночки всему народу — нагнетал реакцию неистово и безу-

станно. «Эпоха реформ,— справедливо рассудил А.А. Корнилов,— кончилась, прежде чем были осуществлены некоторые из задуманных преобразований, исполненных значительно позднее, как городовое положение 1870 г. или реформа воинской повинности 1874 г. С апреля 1866 г. наступила упорная и длительная реакция, продержавшаяся с небольшими перерывами почти вплоть до 1905 г.»

Конкретно о репрессиях царизма в ответ на каракозовское покушение речь пойдет в следующей главе. Здесь же посмотрим, как царизм в 60—70-х годах построил свою карательную политику, какие принял меры к законодательному оформлению репрессий, ужесточению *системы* карательных учреждений и руководящего *состава* карателей.

Своеобразным profession de foi реакции надолго стал рескрипт Александра II председателю Комитета министров П.П. Гагарину от 13 мая 1866 г., нацеливший правительство «охранять русский народ от зародышей вредных лжеучений», т.е. душить в зародыше оппозиционные, демократические идеи. Для решения этой задачи царизм вознамерился сильнее прежнего опереться на губернаторов. 22 июля 1866 г. Комитет министров принял особое «Положение» об усилении власти губернаторов. Им было дано право закрывать без объяснений любые собрания (обществ, артелей, клубов), если они покажутся «вредными», не утверждать в должности любого чиновника, если он окажется недостаточно «благонадежным». Даже судьи, по закону 1864 г. независимые от администрации, теперь были подчинены губернаторам. Словом, идея рескрипта от 13 мая 1866 г. сводилась, по словам Герцена, к тому, чтобы «управлять круче, подтянуть поводья короче, теснить больше, давить крепче».

Чтобы «управлять круче», царизм за два года, с апреля 1866 по апрель 1868 г., заменил 29 из 53 губернаторов более способными «теснить» и «давить», а главное, провел обдуманную перестановку фигур в правительственных «верхах». Уже 10 апреля 1866 г. новым шефом жандармов, а стало быть и главным инквизитором империи, вместо нерасторопного князя В.А. Долгорукова был назначен энергичный граф Петр Андреевич Шувалов, возглавлявший при дворе альянс крайних реакционеров, крепостников. Друг Александра II и «верховный наушник» при нем, Шувалов стал фактически главой правительства. Самого царя он подчинил своей воле, эксплуатируя его страх перед «крамолой» после выстрелов Каракозова и польского эмигранта Антона Березовского (6 июня 1867 г. в Париже)[1]. Царские министры прямо свидетельствовали, что Шувалов «запугал государя ежедневными своими докладами о страшных опасностях, которым будто

[1] А.И. Березовский, стрелявший в Александра II, когда тот ехал в одной карете с Наполеоном III, так боялся попасть в Наполеона, что промахнулся и в Александра.

бы подвергаются и государство, и лично сам государь. Вся сила Шувалова опирается на это пугало». Пользуясь этим, Шувалов прибрал к рукам почти всю внутреннюю политику, а ее сердцевиной сделал гонения на «крамолу» и вообще на всякое инакомыслие. Уже в 1867 г. Ф.И. Тютчев написал о нем:

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр по прозвищу *Четвертый*,
Аракчеев же *второй*[1].

Под стать Шувалову (и, как правило, по его указаниям) подбирались с 1866 г. все министры, ответственные за борьбу с «крамолой»: и оборотливый министр внутренних дел Александр Егорович Тимашев, мудрено сочетавший в себе палача, холопа и сибарита, знаток разных искусств — от амурного до сыскного; и по-шуваловски «грозный» министр юстиции граф Константин Иванович Пален, настолько тупой, что глупость его, по наблюдению сенатора А.А. Половцова, «ежедневно принимала поразительные размеры», бедный познаниями и в русских законах, и даже в русском языке — о нем «только и было известно, что он по министерству юстиции никогда не служил»[2], однако с 1867 г. угнездился в министерском кресле на 11 лет; и наделенный природным умом, образованием, силой характера, но патологически злобный министр просвещения и обер-прокурор Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой, то и дело терявший в карательном усердии чувство реальности; и, наконец, придворный флюгер Петр Александрович Валуев («Виляев», как прозвали его недруги), который умел быть одинаково полезным для царизма на высоких постах (министр внутренних дел, министр государственных имуществ, председатель Особых совещаний при царе, председатель Комитета министров) до Шувалова, при Шувалове и после Шувалова. Все они (исключая Валуева) были «не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового»[3], но для палаческого способа управления иной точки зрения и не требовалось. Шувалов ею довольствовался, царь ему верил, а министры (включая даже Валуева) следовали за Шуваловым, как оркестр за дирижером.

Встав «над Россией распростертой», Шувалов позаботился об укреплении карательного аппарата столицы. Петербургского обер-полицмейстера И.В. Анненкова («вялого и простодушного», как о нем говорили) заменил бывший генерал-полицмейстер Царства

[1] Как личность, Шувалов был «грозен», но не жесток, даже любвеобилен: любил власть и славу, женщин и лошадей, любил своих жандармов, хотя и знал им цену (с гордостью говорил о них: «мои скоты»).

[2] Три века. М., 1913. Т. 6. С. 223.

[3] *Милютин Д.А.* Дневник. М., 1950. Т. 3. С. 139.

Польского Ф.Ф. Трепов, который, по словам Б.Н. Чичерина, «в своем произволе не стеснялся ничем»; а гражданским губернатором Петербурга вместо Л.Н. Перовского (отца Софьи Перовской) был назначен бывший орловский губернатор, тоже ничем не стеснявшийся генерал Н.В. Левашов.

Ставленники Шувалова заняли ключевые позиции даже в управлении экономикой: А.С. Грейг стал товарищем министра финансов (безликого М.Х. Рейтерна), В.А. Бобринский — министром путей сообщения. Повсюду в правительстве на первый план вышли люди того типа, который в дневнике П.А. Валуева определен так: «государственные татары», «смесь Тохтамышей с герцогами Альба». «Страшно становится,— сокрушался в своем дневнике Д.А. Милютин,— когда подумаешь, в чьих руках теперь власть и сила над судьбами целой России».

Шувалов и К° подталкивали Александра II к контрреформам (в первую очередь, к судебной и земской). «Петр IV» прямо предлагал царю восстановить привилегии дворянства, урезанные реформами, и «поставить этот класс снова на ту ступень, которая подобает для равновесия в государстве». Царь на прямые контрреформы не решался, но санкционировал дальнейшее ограничение и земской, и судебной реформ. Так, в 1867 г. вышли новые правила о земских учреждениях. «Они подчиняются губернским начальникам и предводителям,— с беспокойством писал о земствах 8 июля 1867 г. в связи с этими правилами А.В. Никитенко.— Не есть ли это первая попытка к их уничтожению? Реакция идет быстрыми шагами».

Еще жестче была скорректирована судебная реформа. Напомню читателю, что по Уставам 1864 г. Правительствующий Сенат стал чисто кассационным органом, а все дела о государственных преступлениях были переданы под юрисдикцию судебных палат. Однако первый же политический процесс в Петербургской судебной палате летом 1871 г. по делу нечаевцев показал властям, что новый порядок разбирательства политических дел слишком демократичен. Поэтому уже 7 июня 1872 г. в составе Сената было учреждено специальное судилище по всем серьезным политическим делам (критерий серьезности дела усматривался в том, чтобы наказание, предусмотренное за него по закону, было сопряжено с лишением или ограничением гражданских прав). Судилище было названо Особым присутствием Правительствующего Сената (ОППС). Его составляли первоприсутствующий и пять сенаторов, которых назначал сам царь по своему усмотрению из числа наиболее «одаренных» карательными способностями. В ОППС прошли самые крупные политические процессы эпохи — «50-ти» (1877) и «193-х» (1877—1878). Здесь же в 1881 г. были осуждены на смертную казнь Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, в 1887 г.— Александр Ульянов, в 1905 г.— Иван Каляев.

Такие государственные учреждения, как Святейший Синод и Собственная Его Императорского Величества канцелярия, почти не были затронуты буржуазными преобразованиями и действовали, как встарь, в феодальном духе и феодальными методами. Зато их реакционное предназначение было даже усилено. III отделение императорской канцелярии как центр политического сыска и расправы с инакомыслящими обрело при Шувалове невиданную ранее силу. Штат его чиновников был невелик: в 1871 г.— 38 человек, в 1878 — 52, в 1880 г.— 72. Но нельзя забывать, что ему подчинялись широко разветвленная агентура и, главное, нагонявший страх на всю империю корпус жандармов, который в апреле 1866 г. насчитывал 7076 человек[1]. Царизм не скупился на расходы для своего любимого ведомства. По подсчетам И.В. Оржеховского, в 1866 г. III отделению были ассигнованы 250 тыс. руб., в 1867 — 320 тыс., а с 1869 до 1876 г. эти ассигнования держались на уровне между 400 и 500 тыс. руб. Что же касается корпуса жандармов, то он ежегодно поглощал 1,5 млн. руб.

После того как Александр II указом от 19 мая 1871 г. вернул III отделению производство дознаний по всем государственным преступлениям (временно отнятое у него по Судебным уставам 1864 г.), шуваловские «скоты» стали чинить в стране необузданный произвол, вторгаясь в частную жизнь, в личные дела граждан по первому доносу или вздорному подозрению — нагло, цинично, грубо. В помощь ему создавались чрезвычайные следственные комиссии (по делам о революционных воззваниях 1862 г., каракозовскому 1866 г., о пропаганде в империи 1874 г.), а в 1878 г. было учреждено под председательством П.А. Валуева и с участием шефа жандармов Н.В. Мезенцова, военного министра Д.А. Милютина, министров внутренних дел (Л.С. Макова) и юстиции (Д.Н. Набокова) Особое совещание по выработке общих мер борьбы с «крамолой».

Что касается Синода, то он после 1861 г. по-прежнему, но с бóльшим политическим уклоном использовался для того, чтобы воспитывать не столько богоугодную, сколько законопослушную и царелюбивую, т.е. верноподданнически благонадежную паству. Д.А. Толстой и его достойный преемник в должности обер-прокурора Синода К.П. Победоносцев сделали Святейший Синод идеологическим подручным реакции. Граф Толстой, занимавший по совместительству еще и пост министра просвещения, терроризировал студенчество, усматривая в нем рассадник «крамолы». 25 мая 1867 г. он ввел в действие новые (опять «майские»!) «Правила», которые обязывали университетское начальство наипаче всего надзирать совместно с полицейскими властями за «политической благонадежностью» студентов.

---

[1] См.: *Оржеховский И.В.* Самодержавие против революционной России. М., 1982. С. 150.

Общее наступление реакции во внутренней политике правительства 60-х годов самый либеральный из министров Александра II Д.А. Милютин подытожил в дневниковой записи от 31 декабря 1873 г. так: «Какое поразительное и прискорбное сравнение с той обстановкой, при которой вступил я в состав высшего правительства 13 лет тому назад! Тогда все стремилось вперед — теперь все тянет назад. Тогда государь сочувствовал прогрессу, сам двигал вперед; теперь он потерял доверие ко всему, им же созданному, ко всему, окружающему его, даже к себе самому».

Историографическая справка. Экономическое развитие России после реформ 60-х годов изучено досконально. Еще в 80—90-х годах прошлого века либерально-народнические экономисты (особенно Н.Ф. Даниельсон в «Очерках нашего пореформенного общественного хозяйства») обследовали нарождавшийся российский капитализм, рассматривая его как зло, которое якобы не должно прижиться в России из-за хронической узости внутреннего рынка и поэтому не имеет будущего. В полемике с ними буржуазные авторитеты (главным образом П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановский[1]), напротив, доказывали, что капитализм в России уже победил, и призывали идти к нему «на выучку», поскольку он знаменует не только национальный, но и всемирный прогресс. Тех и других подверг резкой критике с позиций марксизма В.И. Ленин в самом большом по объему из своих трудов «Развитие капитализма в России» (1899). Колоссальный свод данных об экономике, обработанный здесь Лениным, подчинен несколько предвзятой *политической* идее — доказать, что капитализм в России закономерно побеждает, но и готовит себе как строй, экономически и социально несправедливый, *могильщика* в лице пролетариата.

Советские ученые в общих трудах по истории российской экономики (П.И. Лященко, П.А. Хромов) и в специальных исследованиях о всероссийском рынке (И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов), о сельском хозяйстве (А.М. Анфимов), промышленности (В.К. Яцунский), о формировании рабочего класса (А.Г. Рашин) и буржуазии (В.Я. Лаверычев), об экономической политике царизма (И.Ф. Гиндин) методологически опирались на выводы Ленина и поэтому избегали каких бы то ни было расхождений с Лениным, хотя в частных наблюдениях, подсчетах, суждениях сообщали много нового, дополняя таким образом ленинскую картину развития капитализма в России и даже (косвенным образом) уточняя ее.

---

[1] См.: *Струве П.Б.* Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894; *Туган-Барановский М.И.* Русская фабрика в прошлом и настоящем. СПб., 1898. Т. 1.

В 1978 г. П.Г. Рындзюнский попытался (довольно удачно) обозреть процесс утверждения российского капитализма с учетом опыта, накопленного ранее в советской историографии[1]. Наиболее оригинальным и глубоким исследованием пореформенного сельского хозяйства в России является монография Н.М. Дружинина «Русская деревня на переломе. 1861—1880 гг.» (М., 1978), а из работ по истории российской промышленности могут быть предпочтительно рекомендованы «История черной металлургии в СССР» (М., 1954) акад. С.Г. Струмилина и новейший труд А.М. Соловьевой «Промышленная революция в России в XIX в.» (М., 1990).

Руководствуясь марксистско-ленинской методологией, советские историки, естественно, всегда проявляли особый интерес к положению народных масс в пореформенной России и к борьбе их против грабительских последствий реформ. Взрыв крестьянского протеста в ответ на реформу 1861 г. стал темой содержательной монографии М.Е. Найденова[2].

Что касается правительственной реакции 60—70-х годов, то она до сих пор не была предметом специального обобщающего исследования, хотя ее отдельные аспекты рассмотрены в цитированном труде И.В. Оржеховского, в двух книгах В.Г. Чернухи[3] и в моей монографии «Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг.» (М., 1978).

В зарубежной литературе по данной теме выделяются фолиант чешского историка Я.И. Пурша «Промышленная революция. Развитие понятия и концепции»[4], концептуально совпадающий с наиболее серьезными исследованиями ученых СССР и СНГ, и монография Д. Вествуда (Англия) «История железных дорог в России»[5].

---

[1] См.: *Рындзюнский П.Г.* Утверждение капитализма в России (1850—1880-е годы). М., 1978.

[2] См.: *Найденов М.Е.* Классовая борьба в пореформенной деревне (1861—1863 гг.). М., 1955.

[3] См.: *Чернуха В.Г.* Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978; *ее же.* Правительственная политика в отношении печати (60—70-е годы XIX в.). Л., 1989.

[4] См.: *Purš J.* Prumyslová revoluce: Vývoj pojmu a koncepce. Praha, 1973.

[5] См.: *Westwood J.H.* A History of Russian Railways. L., 1966.

Освободительное движение 60-х годов

«Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа» — это суждение К. Маркса неоспоримо. Такова историческая закономерность: подъем массового движения всегда стимулирует движение политической мысли, причем именно к нуждам и запросам народа. Яростное, но стихийное, политически отсталое локальное крестьянское движение начала 60-х годов[1] само по себе не могло принудить царизм к новым после отмены крепостного права уступкам. Зато оно послужило социальной базой для народничества.

В советской историографии была принята периодизация русского освободительного движения, предложенная В.И. Лениным: три этапа — дворянский (1825—1861), разночинский (1861—1895) и пролетарский (1895—1917). При всей условности хронологических рубежей между этапами данная периодизация, по существу, правомерна. Со времени первой революционной ситуации доминирующую роль в освободительном движении начали играть разночинцы, оттесняя дворян на второй план. Господствующей идеологией движения с начала и до конца разночинского этапа было народничество, т.е. русский крестьянский социализм.

Основополагающие идеи народничества, которые первым сформулировал А.И. Герцен и развил далее Н.Г. Чернышевский, с начала 60-х годов приняли на вооружение почти все русские революционеры. Главные из этих идей следующие: Россия может и должна во благо своего народа перейти к социализму, минуя капитализм (как бы перепрыгнув через него, пока он не утвердился на русской земле) и опираясь при этом на крестьянскую общину как на зародыш социализма; для этого нужно не только отменить крепостное право, но и передать всю землю крестьянам при безусловном уничтожении помещичьего землевладения, свергнуть самодержавие и поставить у власти избранников самого народа.

После того как русские революционеры увидели, что крестьянская реформа 1861 г. оказалась половинчатой, они разочаровались в реформах и сочли, что более надежное средство достижения цели — это революция силами крестьянства, а поднять крестьян на революцию должны были именно они, народники.

[1] Рабочее движение, которое тогда еще только делало первые шаги, здесь пока нельзя принимать в расчет.

Уже осенью 1861 г. Герцен бросил клич «В народ!», который оказался пророческим и стал программным для них на десятилетия вперед.

Правда, в том, *как* готовить крестьянскую революцию, мнения народников расходились. Пока бунтовали крестьяне, а с весны 1861 г. начались и небывалые в России волнения студенчества, народники считали возможным создание широкого антиправительственного фронта, который сумел бы опереться на волю народа и свалить правительство. Ради этого они обратились с прокламациями к «барским крестьянам», «образованным классам», «к молодому поколению», «к офицерам». Современники назвали даже начало 60-х годов «эпохою прокламаций».

«Прокламация — это клич, горячее слово,— записывала в дневнике 8 апреля 1862 г. Е.А. Штакеншнейдер,— слово доходящее, пронимающее, с земли подымающее». В то время, когда за вольное слово карали, как за государственное преступление, каждая прокламация становилась событием. А между тем в 1861—1862 гг. они появлялись одна за другой, напечатанные в подпольных типографиях или за границей, содержавшие широкий диапазон идей, и распространялись огромными по тому времени тиражами — в тысячах экземпляров. Так, прокламация «Молодая Россия» рассылалась по почте, разбрасывалась в Московском университете и прямо на улицах, бульварах, у подъездов домов. «Великорусс» предлагал «образованным классам» организовать антиправительственную кампанию с требованием конституции. Прокламация «К молодому поколению» требовала «полного обновления страны», вплоть до введения республики, предпочтительно мирным путем, но с оговоркой: «Если нельзя иначе, мы зовем охотно революцию на помощь народу». «Молодая Россия» безоговорочно ратовала за «революцию, кровавую и неумолимую,— революцию, которая должна изменить радикально все, все без исключения», а именно: уничтожить самодержавие (истребив поголовно «весь дом Романовых») и помещичье землевладение, секуляризовать церковное и монастырское имущество, даже ликвидировать брак и семью, что только и могло бы, по разумению «Молодой России», раскрепостить женщину в грядущей «социальной и демократической республике русской»[1]. «Молодая Россия» не только озлобила царскую власть, но и шокировала революционеров. Герцен и Огарев, Чернышевский и даже Бакунин отмежевались от ее «кровавых сентенций».

Тем временем Чернышевский и его окружение при помощи Герцена и Огарева занимались объединением антиправительственных сил, сочетая легальные формы (Литературный фонд, Шахматный клуб, воскресные школы) с нелегальными. В результате к концу 1861 г. уже возникло общество «Земля и воля» — первая революционно-народническая организация все-

[1] Автор «Молодой России» — П.Г. Заичневский; прокламации «К молодому поколению» — Н.В. Шелгунов; авторство «Великорусса» не установлено.

российского значения. Ее вдохновителями были Герцен (он дал обществу название) и Чернышевский, а организаторами — братья Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, А.А. Слепцов, Н.Н. Обручев, С.С. Рымаренко и В.С. Курочкин (известный поэт, автор песни «Долго нас помещики душили», редактор сатирического журнала «Искра»). Шесть организаторов «Земли и воли» составили ее первый Центральный комитет.

«Земля и воля» строилась как федерация кружков (отделений), действовавших в 13 или 14 городах — в Петербурге, Москве, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Астрахани, Перми, Вологде, Курске, Туле, Полтаве и, возможно, в Таганроге. Самыми крупными были петербургский и московский кружки. Первый из них возглавлял Н.И. Утин (сын купца-миллионера, будущий основатель и руководитель Русской секции I Интернационала), второй — ученики Чернышевского по саратовской гимназии Ю.М. Мосолов и Н.М. Шатилов. «Земля и воля» имела и свою военную организацию — «Комитет русских офицеров в Польше», которым руководил подпоручик Андрей Афанасьевич Потебня (брат филолога-слависта, члена-корреспондента Петербургской Академии наук Александра Потебни). Членом этой организации был поручик К.И. Крупский (тесть В.И. Ленина). По данным А.А. Слепцова (явно преувеличенным), «Земля и воля» насчитывала 3 тыс. членов, только ее Московское отделение — 400.

Главная цель общества с начала и до конца заключалась в том, чтобы дать крестьянам через посредство революции то, чего не дала им реформа,— полную волю и всю землю. Но строго оформленной программы «Земля и воля» не имела. Вначале она считала своим программным документом статью Н.П. Огарева «Что нужно народу?», опубликованную в «Колоколе» 1 июля 1861 г. Первая же строка этой статьи отвечала на вопрос, поставленный в ее названии: «Очень просто, народу нужна земля да воля». Конкретно Огарев требовал передать крестьянам всю землю, которой они владели до реформы, за выкуп из государственной казны; ввести общероссийское народное представительство при царе из выборных от губерний; сократить расходы на войско и на содержание царской семьи. Иначе говоря, статья Огарева выдвигала *минимум* требований революционной демократии. Умеренность ее объяснялась тем, что тогда, в условиях демократического натиска, революционеры рассчитывали воздействовать на царизм единым фронтом всех антиправительственных сил.

В дальнейшем, по мере того как набиралась сил «Земля и воля» и правели, отходя от нее, либералы, ее программа становилась все более радикальной. Первый номер землевольческого листка «Свобода» в феврале 1863 г. уже провозглашал свержение самодержавия и созыв Земского собора, который определил бы форму народовластия, после чего предполагалось так же революционно разрешить сакраментальный вопрос о земле и воле для крестьян.

«Земля и воля» просуществовала больше двух лет, но едва успела выйти из стадии формирования, поскольку все ее расчеты рушились один за другим. Практическая деятельность общества была прервана уже на первых шагах. Главным из того, что успели сделать землевольцы, было пополнение численных рядов общества и распространение прокламаций, которые печатались в Лондоне у Герцена и подпольно в усадьбе Мариенгаузен Витебской губернии, а также организация побегов заключенных революционеров, в том числе Николая Утина и Ярослава Домбровского. В конечном счете вся деятельность «Земли и воли» была направлена на подготовку открытого выступления, намеченного на весну 1863 г., когда истекал срок введения в действие уставных грамот и в связи с этим землевольцы ожидали взрыва крестьянских бунтов. Восстание 1863 г. «Земля и воля» готовила совместно с польскими революционерами под лозунгом «За нашу и вашу свободу».

Во главе польского революционного подполья стоял тогда выдающийся деятель международной демократии, патриот и интернационалист в лучшем смысле этих слов, будущий главнокомандующий вооруженными силами Парижской Коммуны Ярослав Домбровский. Сын разорившегося польского шляхтича, он родился на Украине и получил образование в России, окончив три учебных заведения — кадетский корпус, артиллерийское училище и Академию Генерального штаба. Как революционер, он сформировался под влиянием Герцена, учился у Лаврова, был знаком с Чернышевским и дружил с Андреем Потебней. Пока он возглавлял радикальное крыло польской повстанческой организации — Центрального национального комитета, русские и поляки готовили восстание согласованно, но после ареста Домбровского (в августе 1862 г.) польские революционеры не сочли возможным отложить свое выступление до весны 1863 г., как об этом просила «Земля и воля». Польское восстание вспыхнуло в январе 1863 г., когда «Земля и воля» еще не собралась с силами. Только ее военная организация смогла поддержать поляков. Потебня сражался против царских войск во главе *русского* революционного отряда и погиб в бою 21 февраля 1863 г.

Царизм утопил польское восстание 1863 г. в крови. Тем самым косвенно он нанес тяжелый удар и по революционным силам России. Одновременно «Земля и воля» пережила сильнейшее разочарование в своих надеждах на мощные крестьянские восстания 1863 г. Подавлено было и студенческое движение[1]; а либералы, удовлетворившись реформой 1861 г., сочли гражданским долгом россиян содействовать правительству Александра II как «великого из великих русских царей» (по словам Н.Д. Кавелина)

[1] Против студентов, как и против крестьян, царизм использовал войска, а Петербургский и Казанский университеты на время закрыл. Петропавловская крепость была тогда переполнена арестованными студентами. Чья-то смелая рука начертала на стене крепости: «Петербургский университет».

в осуществлении новых реформ. Акт 19 февраля примирил их с самодержавием. «Пройдут века,— говорил о нем В.О. Ключевский в своем курсе русской истории,— и не будет акта, столь важного» для России.

Лишь единицы из либералов выступали с критикой реформ. Они понимали, что «лестницу надо мести с верхних ступеней, а не с нижних», и требовали реформировать не только местные, вспомогательные, но и центральные органы власти. В феврале 1862 г. 112 дворян, включая 9 предводителей дворянства, Тверской губернии во главе с бывшим губернским предводителем А.М. Унковским, недавно вернувшимся из вятской ссылки, направили царю адрес, в котором критиковали «недостаточность» крестьянской реформы и ходатайствовали о конституционных преобразованиях. Вслед за тем 13 мировых посредников той же губернии (среди них А.А. и Н.А. Бакунины — братья революционера) заявили, что они «законоположения 19 февраля не признают для себя обязательными». Царизм подверг тверских дворян репрессиям. Унковский и все 13 мировых посредников были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. После этого либеральная оппозиция надолго умолкла.

Летом 1862 г. «Земля и воля» испытала потрясение, от которого она до конца так и не оправилась. Царизм фактически обезглавил революционный лагерь, арестовав самых авторитетных его лидеров — Чернышевского[1] и Николая Серно-Соловьевича, а также опаснейшего из радикальных журналистов Д.И. Писарева.

Чернышевский был главой русской революционной демократии. Власть, воспринимавшая его как жупел инакомыслия, должных улик, однако, против него не имела и тогда сама изготовила их. «Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов», — возмущался далеко не радикальный философ В.С. Соловьев. Подготовлен был провокатор — отставной корнет В.Д. Костомаров, которого Чернышевский ранее пригрел, дав ему работу в «Современнике». Костомаров по заданию III отделения сфабриковал подложные документы (в том числе «революционную» записку к нему от Чернышевского) и, главное, лживо «уличил» Чернышевского в сочинении прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»[2]. На основании этой фабрикации суд

---

[1] Арестовывал Чернышевского жандармский полковник Федор Ракеев — тот самый, кто в 1837 г. отвез для тайного погребения в Святогорский монастырь тело А.С. Пушкина и таким образом дважды причастился к русской литературе.

[2] Поразительно, что почти все советские историки во главе с акад. М.В. Нечкиной, хотя и возмущались лжесвидетельством Костомарова, считали Чернышевского автором прокламации «Барским крестьянам» (дабы заострить его революционность). Между тем «ни один аргумент, обычно приводимый в пользу авторства Чернышевского, не выдерживает критики» (*Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Саратов, 1992. Ч. 3 (1859—1864). С. 276).

приговорил Чернышевского к 14 годам каторги с последующим поселением в Сибири навсегда[1]. Александр II при этом еще изобразил «монаршую милость», сократив каторжный срок вдвое. В результате Чернышевский после двух лет заточения в Петропавловской крепости провел 7 лет в Сибири на каторге и еще 12 — в якутской ссылке, все это — за *легальное* исповедание своих взглядов! В 1874 г. он отклонил предложение жандармских властей просить о помиловании. «Мне кажется,— заявил он жандармскому порученцу,— что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования?!»

Серно-Соловьевич тоже был сослан навечно в Сибирь, где и погиб уже в 1866 г. Писарев, отсидев более четырех лет в Петропавловской крепости, был освобожден под надзор полиции и через полтора года при загадочных обстоятельствах, на глазах у приставленного к нему жандарма, утонул.

Арест демократических лидеров, крах надежд на крестьянский бунт, разгром польского восстания, поправение либералов и в конечном счете торжество реакции — все это гибельно отразилось на «Земле и воле». К началу 1864 г. она *самоликвидировалась.*

Революционная традиция, однако, не прервалась. Возникший осенью 1863 г. в Москве под воздействием «Земли и воли» кружок саратовского разночинца Н.А. Ишутина к 1865 г. вырос в крупную подпольную силу из нескольких десятков участников, главным образом студентов. Основное ядро кружка составили сам Ишутин, его двоюродный брат Д.В. Каракозов, П.Д. Ермолов, Д.А. Юрасов, Н.П. Странден. Любопытно, что Ишутин и Каракозов до приезда в Москву учились в Пензенском дворянском институте (типа гимназии), где преподавал тогда И.Н. Ульянов — отец В.И. Ленина. Впрочем, Каракозов ранее был учеником Саратовской гимназии, когда в ней преподавал Чернышевский. Филиал ишутинского кружка в Петербурге возглавлял талантливый историк и фольклорист И.А. Худяков. Попытались было ишутинцы привлечь к себе и другого историка, В.О. Ключевского, который был земляком и знакомцем их лидеров. Однако сам Ишутин, вникнув в суть дела, «положил мощную длань на жиденькое плечо В[асилия] О[сиповича] и твердо заявил: «Вы его оставьте. У него другая дорога. Он будет ученым», чем показал свою прозорливость»[2].

Ишутинцы решили действовать по рецепту, сочетавшему в себе идеи их кумира Чернышевского[3] и английского социалиста

---

[1] Подробно см.: Дело Чернышевского: Сб. док-тов / Сост. И.В. Порох. Саратов, 1968.

[2] Свидетельство А.И. Яковлева (ученика Ключевского) со слов самого историка. Цит. по: *Нечкина М.В.* В.О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 127.

[3] Именно ишутинцы попытались осуществить первую из восьми известных попыток освобождения Чернышевского из Сибири.

Р. Оуэна. Они начали устраивать на артельных началах различные мастерские (по типу швейной мастерской Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?»), чтобы таким образом убедить народ в преимуществах социалистического производства, а затем потребовать от правительства реформ, ведущих к социализму, и, если оно откажется, поднять против него социалистически убежденный народ на революцию.

В самом начале этой наивной деятельности часть ишутинцев стала искать более короткие пути к революции. Ишутин и его товарищи занялись устройством более конспиративной и радикальной организации (за которой в материалах следствия, а потом и в литературе слово «Организация» закрепилось как название). Чтобы придать «Организации» сугубую боеспособность, ее вожаки создали в ней самой суперконспиративный кружок под устрашающим названием «Ад» с функцией двойного террора — против царизма и против возможных отступников и предателей из самих ишутинцев. В этой атмосфере гиперболических конспираций самый пылкий из «Ада» Дмитрий Каракозов загорелся идеей самопожертвования и первым из русских революционеров пошел на цареубийство. Он возненавидел царя за то, что тот, дав волю крестьянам практически без земли, начал топить в крови их стремление к полному освобождению. Каракозов решил, что именно цареубийство всколыхнет Россию, притихшую после расправы с крестьянскими и студенческими волнениями. 4 апреля 1866 г. у решетки Летнего сада в Петербурге он выстрелил в Александра II, но промахнулся и был схвачен. На вопрос царя: «Почему ты стрелял в меня?» — Каракозов ответил: «Потому что ты обманул народ — обещал ему землю и не дал!»

Вслед за арестом Каракозова вся ишутинская организация была разгромлена. Царизм ответил на каракозовский выстрел невиданным даже в николаевской России шквалом репрессий, жертвами которых стали все слои русского общества. Искоренением крамолы занялась Чрезвычайная следственная комиссия. Ее возглавил первый инквизитор эпохи Михаил Муравьев — бывший декабрист, любивший говорить, что он «не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают»; на вопрос же, каких врагов он считает наименее опасными, как-то ответил: «Тех, которые повешены». За образцовую расправу с восстанием в Польше 1863 г. он получил вместе с титулом графа прозвище «Вешателя». В 1863—1865 гг. он предал смертной казни 240 человек, т.е. в среднем каждые три дня вешал или расстреливал. В.И. Семевский заметил, что в его резолюциях «слова "повесить", "расстрелять" выходили всегда разборчивее других, как будто писались с особенною любовью». Не зря петербургский генерал-губернатор А.А. Суворов назвал Муравьева «людоедом».

Инквизиция Муравьева прежде всего расправилась с ишутинцами. Каракозова повесили без церемоний[1]. Над Ишугиным имитировали церемонию повешения, но не повесили (продержали его на эшафоте в саване и с веревкой на шее 10 минут, а потом объявили о замене виселицы каторгой; палач, снимая с него веревку, ухмыльнулся: «Что, больше не будешь?»). На каторгу упекли и Худякова, а также еще семь ишутинцев. Вершилось, по словам Герцена, «уничтожение, гонение, срытие с лица земли, приравнивание к нулю Каракозовых».

Покончив с «Каракозовыми», реакция набросилась на тех, кто не имел к ним никакого отношения. В стране воцарился «белый» тёррор. Обычными стали повальные обыски и аресты всех подозрительных лиц. Любое свободное слово, любая живая мысль преследовались; были закрыты лучшие отечественные журналы — «Современник» и «Русское слово», которые цензурное ведомство аттестовало таким образом: «Да, ведь это на бумаге напечатанные Каракозовы своего рода, и их любит публика». Символом отношения правительства к печати стал тогда собачий намордник. Впрочем, «обвинялся всякий,— писал о том времени М.Е. Салтыков-Щедрин.— Вся табель о рангах была заподозрена. Как бы ни тщился человек быть "благонамеренным", не было убежища, в котором бы не настигала его "благонамеренность", еще более "благонамеренная"». То была вакханалия реакции, ее победное гульбище.

Однако революционное движение не прекратилось. «Оно только въелось глубже и дальше пустило корни»,— писал о нем в 1866 г. Герцен. С 1867 г. в Петербурге параллельно действовали два кружка революционной молодежи: радикальная «Сморгонская академия» во главе с будущим вождем русского бланкизма П.Н. Ткачевым, которая готовила освобождение Чернышевского и выдвигала идею цареубийства, и умеренно-просветительное «Рублевое общество» Г.А. Лопатина и Ф.В. Волховского, тяготевшее к «хождению в народ».

Более того, как это часто бывает в истории, крайности реакции вызвали противоположную крайность. Придавленное и униженное русское общество после двух лет терпения взорвалось экстремистской акцией протеста. Началом ее стали студенческие волнения 1868/69 учебного года, на гребне которых и заявил о себе Сергей Геннадиевич Нечаев — одна из самых трагических фигур в русском освободительном движении, разночинец (сын маляра). Церковь считала его самым отпетым безбожником, но, по иронии судьбы, он был учителем Закона Божьего в одном из приходских училищ Петербурга.

---

[1] Его допрашивал перед казнью сам Муравьев и грозил: «Я тебя живого в землю закопаю!» Но 31 августа 1866 г. Муравьев скоропостижно умер, и его закопали на день раньше, чем Каракозова.

Рано осиротевший, испытавший всю безысходность доли бедняка, Нечаев сам был радикально настроен против самодержавия и чуток к таким же настроениям студенчества. Он задумал создать из студентов ультрареволюционную организацию под названием «Народная расправа». Она должна была объединить разрозненные крестьянские бунты в общероссийское восстание с целью *«повсюдного всеразрушения»*(!) государственного и сословного строя России. Нечаевский «Катехизис революционера»[1] исходил из принципа «цель оправдывает средства». «Народная расправа» строилась на основе личной диктатуры Нечаева и на слепом, марионеточном послушании рядовых членов вожакам.

Очень важным для революционного дела Нечаев считал легендарный ореол вокруг личности вождя. Роль вождя он взял на себя легко. Труднее было создать ореол, но Нечаев и с этим справился. Для начала он распустил слух о самом себе, будто он осуществил то, чего никогда не удавалось сделать ни одному из революционеров ни до, ни после Нечаева, а именно — побег из Петропавловской крепости. Затем он съездил в Женеву к Бакунину, выдал себя за эмиссара мифического революционного комитета, опирающегося якобы на большие, почти готовые к восстанию силы, и, убедив Бакунина в том, что эмиссару для пользы дела необходимы полномочия члена I Интернационала, получил от него искомый мандат. После этого Нечаев вернулся в Россию уже не только с претензиями вождя, но и с легендарным ореолом вокруг своей личности.

Мало того, за границей Нечаев изыскал и значительные средства для «Народной расправы» — по-нечаевски напористо и нечистоплотно. Дело в том, что еще в 1857 г. саратовский помещик П.А. Бахметев (прототип Рахметова в романе Чернышевского «Что делать?») оставил у Герцена и Огарева под их общую расписку 20 тыс. франков для революционной пропаганды. Герцен хранил этот «бахметевский фонд» с тех пор на крайний случай. Нечаев же решил, что его организация и есть этот «крайний случай». Он приехал к Герцену и затребовал «бахметевский фонд». Герцен сначала поддался было натиску Нечаева. Очевидец их первой встречи Н.И. Жуковский рассказывал: «Нечаев рассудил, что на барина лучше всего подействовать демократической грубостью. Он явился в армяке, говорил по-мужицки, а больше всего сразил Герцена сморканьем в его изящно убранных комнатах. Как приложит палец к ноздре, да шваркнет прямо на ковер, потом придавит другую ноздрю — да опять, на другую

[1] Текст его публиковался неоднократно. См., например: *Шилов А.А.* Катехизис революционера // Борьба классов. 1924. № 1—2. Автором «Катехизиса» до недавнего времени считался М.А. Бакунин, но, как явствует из переписки Бакунина с Нечаевым, впервые опубликованной в 1966 г. французским историком М. Конфино, сочинил «Катехизис» Нечаев, а Бакунин был даже шокирован им так, что назвал Нечаева «абреком», а его «Катехизис» — «катехизисом абреков».

сторону... Так и ошалел Александр Иванович: народная сила идет в революцию, нельзя не поддержать!»

Правда, Герцен вовремя спохватился, разглядел в Нечаеве авантюриста и денег не дал. Тогда Нечаев стал действовать с другого конца: он обольстил Огарева, выпросил у него одну, огаревскую половину фонда (10 тыс. франков) и заставил его просить у Герцена другую половину. Герцен все не давал, но в январе 1870 г. он умер, а его наследники не устояли перед Нечаевым и отдали ему оставшиеся 10 тыс. франков.

Бесчинства реакции к тому времени ожесточили радикальную часть молодежи так, что она готова была, по словам С.М. Кравчинского, «броситься к первой бреши и даже щели, откуда блеснет луч света». Отдельные ее представители добровольно поддержали Нечаева. Других Нечаев увлек своей титанической энергией, потрясавшей, а то и буквально гипнотизировавшей юные головы. Тем не менее ему удалось завербовать и в Петербурге и в Москве лишь около 100 студентов. Не помогли ему такие способы вербовки, как ложь, шантаж, мистификация. Вождь явно оказывался без армии. Когда же он убил первого рядового (студента И.И. Иванова), отказавшегося повиноваться ему, то этим окончательно навредил себе и своему делу. Убийство было раскрыто, а нечаевская организация к весне 1870 г. разгромлена.

Сам Нечаев ускользнул от ареста и бежал за границу. В 1872 г. он был выдан России швейцарскими властями и предан суду как *уголовный* преступник. Суд определил ему 20 лет каторги, но Александр II приказал заточить его *навсегда* в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, т.е. в главную *политическую* тюрьму империи. Нечаев и в равелине не опустил рук и сумел даже распропагандировать стражу. Лишь в последний момент, благодаря предательству нечаевского соузника Л.Ф. Мирского, власти помешали Нечаеву в самом деле осуществить то, чего никто никогда не осуществлял,— побег из Алексеевского равелина. В 1882 г. Нечаев был там загублен.

Феномен *нечаевщины* представил собой крайность революционного движения, порожденную крайностями реакции. Нечаевщина отразила стремление выступавшего на авансцену поколения народников 70-х годов отыскать наиболее рациональные пути к революции, но отразила уродливо. Народники в своем абсолютном большинстве отвергли ее тактические и организационные принципы и, как мы увидим далее, пошли к той же цели другими путями.

«Хождение в народ»

С начала 70-х годов народники занялись практической реализацией герценовского лозунга «В народ!», который ранее воспринимался лишь теоретически, с расчетом на будущее. К

тому времени народническая доктрина Герцена и Чернышевского была дополнена (главным образом по вопросам тактики) идеями лидеров российской политической эмиграции М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева.

Самым авторитетным из них в то время был Михаил Александрович Бакунин — потомственный дворянин, друг В.Г. Белинского и А.И. Герцена, страстный противник К. Маркса и Ф. Энгельса, политэмигрант с 1840 г., один из руководителей восстаний в Праге (1848), Дрездене (1849) и Лионе (1870), заочно приговоренный царским судом к каторге, а затем дважды (судами Австрии и Саксонии) — к смертной казни. Программу действий для русских революционеров он изложил в так называемом Прибавлении «А» к своей книге «Государственность и анархия».

Бакунин считал, что народ в России уже готов к революции, ибо нужда довела его до столь отчаянного состояния, когда нет другого выхода, кроме бунта. Стихийный протест крестьян Бакунин воспринимал как их осознанную готовность к революции. На этом основании он убеждал народников идти *в народ* (т.е. в крестьянство, которое тогда фактически отождествлялось с народом) и звать его к бунту. Бакунин был убежден, что в России «ничего не стоит поднять любую деревню» и нужно лишь «агитнуть» крестьян сразу по всем деревням, чтобы поднялась вся Россия.

Итак, направление Бакунина было бунтарским. Вторая его особенность: оно было анархистским. Сам Бакунин считался вождем всемирного анархизма. Он и его последователи выступали против всякого государства вообще, усматривая в нем первоисточник социальных бед. В представлении бакунистов, государство — это палка, которая бьет народ, и для народа все равно, называется ли эта палка феодальной, буржуазной или социалистической. Поэтому они ратовали за переход к безгосударственному социализму.

Из бакунинского анархизма вытекал и *специфически*-народнический аполитизм. Бакунисты считали лишней задачу борьбы за политические свободы, но не потому, что не понимали их ценности, а потому, что стремились действовать, как им казалось, радикальнее и выигрышнее для народа: вершить не политическую, а социальную революцию, одним из плодов которой явилась бы сама собой, «как дым при топке печи», и политическая свобода. Иначе говоря, бакунисты не отрицали политическую революцию, а растворяли ее в революции социальной.

Другой идеолог народничества 70-х годов Петр Лаврович Лавров выдвинулся на международной политической арене позже Бакунина, но скоро завоевал не меньший авторитет. Артиллерийский полковник, философ и математик столь яркой одаренности, что знаменитый академик М.В. Остроградский восхищался им: «Он еще прытче меня»,— Лавров был активным революционе-

ром, членом «Земли и воли» и I Интернационала, участником Парижской Коммуны 1870 г., другом Маркса и Энгельса. Он изложил свою программу в журнале «Вперед!» (№ 1), который издавал с 1873 по 1877 г. в Цюрихе и Лондоне.

Лавров, в отличие от Бакунина, считал, что русский народ не готов к революции и, следовательно, народники должны пробудить его революционное сознание. Лавров тоже призывал их идти в народ, но не сразу, а после теоретической подготовки, и не для бунта, а для пропаганды. Как пропагандистское направление лавризм многим народникам казался более рациональным, чем бакунизм, хотя иных отталкивал своей умозрительностью, ставкой на подготовку не самой революции, а ее подготовителей. «Подготовлять и только подготовлять» — таков был тезис лавристов. Анархизм и аполитизм также были свойственны сторонникам Лаврова, но меньше, чем бакунистам.

Идеологом третьего направления был Петр Никитич Ткачев — кандидат прав, радикальный публицист, бежавший в 1873 г. за границу после пяти арестов и ссылки. Однако направление Ткачева именуется русским бланкизмом, поскольку ранее с таких же позиций выступал во Франции знаменитый Огюст Бланки. В отличие от бакунистов и лавристов, русские бланкисты не были анархистами. Они считали необходимым бороться за политические свободы, захватить государственную власть и непременно использовать ее для искоренения старого и утверждения нового строя. Но, так как современное российское государство, по их мнению, не имело прочных корней ни в экономической, ни в социальной почве (Ткачев говорил, что оно «висит в воздухе»), бланкисты надеялись свергнуть его силами *партии* заговорщиков, не утруждая себя тем, чтобы пропагандировать или бунтовать народ. В этом отношении Ткачев как идеолог уступал Бакунину и Лаврову, которые, при всех разногласиях между ними, сходились в главном: «Не только для народа, но и посредством народа»[1].

К началу массового «хождения в народ» (весна 1874 г.) тактические установки Бакунина и Лаврова широко распространились среди народников[2]. Главное же, завершился процесс накопления сил. К 1874 г. вся европейская часть России была покрыта густой сетью народнических кружков (не меньше 200), которые успели согласовать места и сроки «хождения».

Все эти кружки создавались в 1869—1873 гг. под впечатлением нечаевщины. Отвергнув нечаевский макиавеллизм, они ударились в противоположную крайность и отбросили саму идею централизованной организации, которая так уродливо преломилась в

[1] См.: *Лавров П.Л.* Избр. соч. на социально-политические темы. М., 1934. Т. 2. С. 31; *Бакунин М.А.* Полн. собр. соч. СПб., 1907. Т. 2. С. 249—250.

[2] Бланкизм стал популярным с 1875 г., когда Ткачев начал издавать в эмиграции журнал «Набат», на страницах которого он и развивал свои идеи.

нечаевщине. Кружковцы 70-х годов не признавали ни централизма, ни дисциплины, ни каких-либо уставов и статутов. Этот организационный анархизм мешал революционерам обеспечить координацию, конспирацию и эффективность их действий, а также отбор в кружки надежных людей. Так выглядели почти все кружки начала 70-х годов — и бакунистские (долгушинцев, С.Ф. Ковалика, Ф.Н. Лермонтова, «Киевская коммуна» и др.), и лавристские (Л.С. Гинзбурга, В.С. Ивановского, «сен-жебунистов», т.е. братьев Жебуневых, и др.).

Только одна из народнических организаций того времени (правда, самая крупная) сохраняла и в условиях организационного анархизма, утрированной кружковщины надежность трех «С», равно необходимых: состава, структуры, связей. Это было Большое общество пропаганды (так называемые «чайковцы»)[1]. Центральная, петербургская группа общества возникла летом 1871 г. и стала инициатором федеративного объединения аналогичных групп в Москве, Киеве, Одессе, Херсоне. Основной состав общества превышал 100 человек. Среди них были крупнейшие революционеры эпохи, тогда еще молодые, но вскоре завоевавшие мировую известность: П.А. Кропоткин, М.А. Натансон, С.М. Кравчинский, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов и др. Общество имело сеть агентов и сотрудников в разных концах европейской части России (Казань, Орел, Самара, Вятка, Харьков, Минск, Вильно и др.), а примыкали к нему десятки кружков, созданных под его руководством или влиянием. «Чайковцы» установили деловые связи с русской политической эмиграцией, включая Бакунина, Лаврова, Ткачева и недолго (в 1870—1872 гг.) действовавшую Русскую секцию I Интернационала. Таким образом, по своей структуре и масштабам Большое общество пропаганды явилось зачатком общероссийской революционной организации, предтечей второго общества «Земля и воля».

В духе того времени «чайковцы» не имели устава, но у них царил незыблемый, хоть и неписаный, закон: подчинение личности организации, меньшинства — большинству. При этом общество комплектовалось и строилось на принципах, прямо противоположных нечаевским: принимали в него только всесторонне проверенных (по деловым, умственным и обязательно нравственным качествам) людей, которые взаимодействовали уважительно и доверительно друг к другу. По свидетельствам самих «чайковцев», в их организации «все были братья, все знали друг друга, как члены одной и той же семьи, если не больше». Именно эти

[1] Общество известно в российской и зарубежной литературе как «кружок чайковцев». Оно представляло собой не кружок, а федерацию кружков; Н.В. Чайковский же, имя которого пристало к обществу случайно, не был ни основателем его, ни руководителем; см. об этом подробно: *Троицкий Н.А.* Первые из блестящей плеяды: Большое общество пропаганды 1871—1874 гг. Саратов, 1991.

принципы взаимоотношений отныне закладывались в основу всех народнических организаций до «Народной воли» включительно.

Программа общества была разработана основательно. Проект ее составил Кропоткин. В то время как почти все народники разделились на бакунистов и лавристов, «чайковцы» самостоятельно выработали тактику, свободную от крайностей бакунизма и лавризма, рассчитанную не на скоропалительный бунт крестьян и не на «подготовку подготовителей» бунта, а на организованное народное восстание (крестьянства при поддержке рабочих). С этой целью они прошли в своей деятельности три этапа: «книжное дело» (т.е. подготовка кадров будущих организаторов восстания), «рабочее дело» (подготовка посредников между интеллигенцией и крестьянством) и непосредственно «хождение в народ», которое «чайковцы» фактически возглавляли.

Массовое «хождение в народ» 1874 г. было беспримерным до тех пор в русском освободительном движении по масштабам и энтузиазму участников. Оно охватило больше 50 губерний, от Крайнего Севера до Закавказья и от Прибалтики до Сибири. В народ пошли одновременно все революционные силы страны — примерно 2—3 тыс. активных деятелей (на 99 % — юношей и девушек), которым помогало вдвое или втрое большее число сочувствующих. Почти все они верили в революционную восприимчивость крестьян и в скорое восстание: лавристы ждали его через 2—3 года, а бакунисты — «по весне» или «по осени».

Восприимчивость крестьян к призывам народников оказалась, однако, меньшей, чем ожидали не только бакунисты, но и лавристы. Особое равнодушие крестьяне проявляли к пламенным тирадам народников о социализме, о всеобщем равенстве. «Неладно, брат, ты говоришь,— заявил молодому народнику пожилой крестьянин,— взгляни-ка на свою руку: на ней пять пальцев и все неравные!» Случались и бо́льшие незадачи. «Раз идем мы с товарищем по дороге,— рассказывал С.М. Кравчинский.— Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует; что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье».

Власти же вместо того, чтобы учесть лояльность крестьян и подвергнуть экзальтированную народническую молодежь умеренным наказаниям, обрушились на «хождение в народ» с жесточайшими репрессиями. Всю Россию захлестнула небывалая ранее волна арестов, жертвами которой только за лето 1874 г. стали,

по данным осведомленного современника, 8 тыс. человек[1]. Три года их продержали в предварительном заключении[2], после чего самые «опасные» из них были преданы суду ОППС.

Суд по делу о «хождении в народ» (так называемый «Процесс 193-х») проходил в октябре 1877 — январе 1878 гг. и оказался самым крупным политическим процессом за всю историю царской России. Судьи вынесли 28 каторжных, больше 70 ссыльных и тюремных приговоров, но почти половину обвиняемых (90 человек) оправдали. Александр II, однако, своей властью отправил в ссылку 80 из 90 оправданных судом.

«Хождение в народ» 1874 г. не столько возбудило крестьян, сколько испугало правительство. Важным (хотя и побочным) его результатом явилось падение П.А. Шувалова. Летом 1874 г., в самый разгар «хождения», когда стала очевидной тщетность восьми лет шуваловского инквизиторства, царь разжаловал «Петра IV» из диктаторов в дипломаты, сказав ему между прочим: «А знаешь, я тебя назначил послом в Лондон».

Для народников отставка Шувалова была слабым утешением. 1874 год показал, что крестьянство в России не имеет пока интереса к революции, социалистической в особенности. Но революционеры не хотели этому верить. Они усмотрели причины своей неудачи в абстрактном, «книжном» характере пропаганды и в организационной слабости «хождения», а также в правительственных репрессиях и с колоссальной энергией взялись за устранение этих причин.

Первая же народническая организация, возникшая после «хождения в народ» 1874 г. (Всероссийская социально-революционная организация или «кружок москвичей»), проявила не свойственную участникам «хождения» заботу о принципах централизма, конспирации и дисциплины и даже приняла устав. «Кружок москвичей» — первое объединение народников 70-х годов, вооруженное уставом. Учитывая печальный опыт 1874 г., когда народникам не удавалось заручиться доверием народа, «москвичи» расширили социальный состав организации: наряду с «интеллигентами» они приняли в организацию рабочий кружок во главе с Петром Алексеевым. Деятельность свою «москвичи» неожиданно для других народников сосредоточили не в крестьянской, а в рабочей среде, ибо под впечатлением правительственных репрессий 1874 г. отступили перед трудностями непосредственной пропаганды среди крестьян и вернулись к тому, чем были заняты народники до 1874 г., т.е. к подготовке рабочих как посредников между интеллигенцией и крестьянством.

---

[1] См.: [*Венюков М.И.*] Исторические очерки России. Прага, 1880. Т. 4. С. 88.

[2] За это время каратели насчитали среди них 93 случая самоубийства, умопомешательства и смерти.

«Кружок москвичей» просуществовал недолго. Оформился он в феврале 1875 г., а через два месяца был разгромлен. Петр Алексеев и Софья Бардина выступили от его имени на процессе «50-ти» в марте 1877 г. с программными революционными речами. Так впервые в России скамья подсудимых была обращена в революционную трибуну. Кружок погиб, но его организационный опыт, наряду с организационным опытом Большого общества пропаганды, был использован обществом «Земля и воля».

К осени 1876 г. народники создали централизованную организацию всероссийского значения, назвав ее «Земля и воля» — в память об ее предшественнице, «Земле и воле» начала 60-х годов. Вторая «Земля и воля» была призвана не только обеспечить надежную координацию революционных сил и защиту их от правительственных репрессий, но и принципиально изменить характер пропаганды. Землевольцы решили поднимать крестьянство на борьбу не под «книжным» и чуждым ему знаменем социализма, а под лозунгами, исходившими из самой крестьянской среды,— прежде всего под лозунгом «земли и воли», всей земли и полной воли.

Подобно народникам первой половины 70-х годов, землевольцы оставались еще анархистами, но уже менее последовательными. Они только декларировали в своей программе: «*Конечный* политический и экономический наш идеал — анархия и коллективизм»; конкретные же требования они сузили «до реально осуществимых в ближайшем будущем»: 1) переход всей земли в руки крестьян, 2) полное общинное самоуправление, 3) свобода вероисповеданий, 4) самоопределение наций, живущих в России, вплоть до их отделения. Чисто политические задачи в программе не ставились. Средства достижения цели были разделены на две части: *организаторскую* (пропаганда и агитация среди крестьян, рабочих, интеллигенции, офицерства, даже среди религиозных сект и «разбойничьих шаек») и *дезорганизаторскую* (здесь, в ответ на репрессии 1874 г., впервые у народников был узаконен индивидуальный террор против столпов и агентов правительства).

Наряду с программой «Земля и воля» приняла устав, проникнутый духом централизма, строжайшей дисциплины и конспирации. Общество имело четкую организационную структуру: Совет общества; основной кружок, подразделявшийся на 7 специальных групп по роду деятельности; местные группы не менее чем в 15 крупных городах империи, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару, Воронеж, Саратов, Ростов, Киев, Харьков, Одессу. «Земля и воля» 1876—1879 гг.— первая в России революционная организация, которая стала издавать собственный литературный орган, газету «Земля и воля». Впервые же она сумела внедрить своего агента (Н.В. Клеточникова) в святая святых царского сыска — в III отделение. Состав «Земли и воли» едва ли превышал 200 человек, но опирался на широкий

круг сочувствующих и содействующих во всех слоях российского общества.

Организаторами «Земли и воли» были «чайковцы», супруги М.А. и О.А. Натансон: Марка Андреевича землевольцы называли головой общества, Ольгу Александровну — сердцем его. Вместе с ними, а в особенности после их скорого ареста выдвинулся на роль лидера «Земли и воли» студент-технолог Александр Дмитриевич Михайлов — один из лучших организаторов среди народников (в этом отношении рядом с ним можно поставить только М.А. Натансона и А.И. Желябова) и самый выдающийся из них (тут вровень с ним и поставить некого) конспиратор, классик революционной конспирации. Как никто из землевольцев, он вникал буквально в каждое дело общества, все налаживал, всему давал ход, все оберегал. Землевольцы назвали Михайлова «Катоном-цензором» организации, ее «щитом» и «бронею», считали его на случай революции готовым премьер-министром; а пока за неусыпные заботы о порядке в революционном подполье дали ему кличку «Дворник» — с ней он и вошел в историю: Михайлов-Дворник.

В основной кружок «Земли и воли» входили и другие выдающиеся революционеры, в том числе — Сергей Михайлович Кравчинский, который стал позднее всемирно известным писателем под псевдонимом «Степняк»; Дмитрий Андреевич Лизогуб, слывший в радикальных кругах «святым» (Л.Н. Толстой изобразил его в рассказе «Божеское и человеческое» под именем Светлогуба); Валериан Андреевич Осинский — редкостно обаятельный любимец «Земли и воли», «Аполлон русской революции», по выражению Кравчинского; Георгий Валентинович Плеханов — впоследствии первый русский марксист; будущие лидеры «Народной воли» А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер.

Бóльшую часть своих сил «Земля и воля» отрядила на организацию деревенских поселений. Землевольцы сочли (вполне справедливо) бесполезной «бродячую» пропаганду 1874 г. и перешли к оседлой пропаганде среди крестьян, создавая в деревнях постоянные поселения революционеров-пропагандистов под видом учителей, писарей, фельдшеров и т.д. Самыми крупными из таких поселений были два саратовских 1877 и 1878—1879 гг., где активно действовали А.Д. Михайлов, О.А. Натансон, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов и др.

Однако деревенские поселения тоже не приносили успеха. Крестьяне обнаруживали перед оседлыми пропагандистами не больше революционности, чем перед «бродячими». Власти же вылавливали оседлых пропагандистов не менее успешно, чем «бродячих»,— по многим признакам. Американский журналист Джордж Кеннан, изучавший тогда Россию, свидетельствовал, что народников, которые устраивались писарями, «скоро арестовывали, заключая об их революционности по тому, что они не пьянствовали

и не брали взяток» (сразу было видно, что писари — не настоящие).

Обескураженные неудачей своих поселений, народники предприняли новый после 1874 г. пересмотр тактики. Тогда они объясняли свое фиаско недостатками в характере и организации пропаганды и (отчасти!) репрессиями правительства. Теперь же, устранив очевидные недостатки в организации и характере пропаганды, но опять-таки потерпев неудачу, они сочли ее главной причиной правительственных репрессий. Отсюда напрашивался вывод: надо сосредоточить усилия на борьбе с правительством, т.е. уже на *политической* борьбе.

Объективно революционная борьба народников всегда носила политический характер, поскольку была направлена против существовавшего строя, включая его политический режим. Но, не выделяя особо политических требований, сосредоточившись на социальной пропаганде среди крестьян, народники направляли острие своей революционности как бы мимо правительства. Теперь, избрав правительство мишенью № 1, землевольцы выдвинули дезорганизаторскую часть, остававшуюся поначалу в резерве, на первый план. Пропаганда и агитация «Земли и воли» обрели политическую заостренность, а параллельно с ними стали предприниматься террористические акты против властей.

24 января 1878 г. молодая учительница Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова (генерал-адъютанта и личного друга Александра II) и тяжело ранила его за то, что по его приказанию был подвергнут телесному наказанию политический узник, землеволец А.С. Емельянов. 4 августа того же года редактор «Земли и воли» Сергей Кравчинский совершил еще более громкий террористический акт: среди бела дня перед царским Михайловским дворцом в Петербурге (ныне — Русский музей) он заколол шефа жандармов Н.В. Мезенцова, персонально ответственного за массовые репрессии против народников. Засулич была схвачена на месте покушения и предана суду, Кравчинский скрылся.

Поворот народников к террору встретил в широких кругах российского общества, запуганного правительственными репрессиями, нескрываемое одобрение. Это воочию показал гласный суд над Верой Засулич. На суде открылись столь вопиющие злоупотребления властью со стороны Трепова, что присяжные сочли возможным оправдать террористку. Публика аплодировала словам Засулич: «Тяжело поднимать руку на человека, но я должна была это сделать». Оправдательный приговор по делу Засулич вызвал не только в России, но и за рубежом настоящую сенсацию. Поскольку он был вынесен 31 марта 1878 г. и газеты сообщили о нем 1 апреля, многие восприняли его как первоапрельскую шутку, а затем вся страна впала, по выражению

П.Л. Лаврова, в «либеральное опьянение». Повсеместно нарастал подъем революционного духа, бил ключом боевой задор — особенно у студентов и рабочих[1]. Все это стимулировало политическую активность землевольцев, побуждало их к новым террористическим актам.

Разрастаясь, «красный» террор «Земли и воли» фатально толкал ее к цареубийству. «Становилось странным,— вспоминала Вера Фигнер,— бить слуг, творивших волю пославшего, и не трогать господина». Утром 2 апреля 1879 г. землеволец А.К. Соловьев проник с револьвером на Дворцовую площадь, где Александр II прогуливался в сопровождении охраны, и успел разрядить в царя всю обойму из пяти патронов, но прострелил только царскую шинель. Схваченный тут же охранниками Соловьев вскоре был повешен.

Часть землевольцев во главе с Плехановым отвергала террор, ратуя за прежние методы пропаганды в деревне. Поэтому террористические акты Засулич, Кравчинского, Соловьева вызвали кризис «Земли и воли»: в ней обособились две фракции — «политиков» (главным образом террористов) и «деревенщиков». Для того чтобы предотвратить раскол общества, решено было созвать съезд землевольцев. Он состоялся в Воронеже 18—24 июня 1879 г.

Накануне, 15—17 июня, «политики» собрались фракционно в Липецке и согласовали свою поправку к программе «Земли и воли». Смысл поправки заключался в признании необходимости и первоочередности политической борьбы с правительством, ибо «никакая общественная деятельность, направленная к благу народа, невозможна вследствие царящего в России произвола и насилия». С этой поправкой «политики» выступили на Воронежском съезде, где выяснилось, однако, что обе фракции не желают раскола, надеясь завоевать общество изнутри. Поэтому съезд принял компромиссную резолюцию, которая допускала соединение аполитичной пропаганды в деревне с политическим террором.

Такое решение не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Очень скоро и «политики», и «деревенщики» поняли, что «сочетать квас и спирт» нельзя, что раскол неизбежен, и 15 августа 1879 г. договорились разделить «Землю и волю» на две организации: «Народную волю» и «Черный передел». Разделено было, как метко выразился Н.А. Морозов, и само название «Земли и воли»: «деревенщики» взяли себе «*землю*», а «политики» — «*волю*», и каждая фракция пошла своей дорогой.

---

[1] Даже финские «вейки» (извозчики), если их очень притесняла полиция, грозились тогда наслать на нее «самого Сасулиса с пуской».

Итак, «Земля и воля» раскололась. «Деревенщики» во главе с Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельродом, Л.Г. Дейчем, В.И. Засулич[1] и др., составлявшие меньшинство, дали наименование своей организации «Черный передел», отразив в этом названии извечную тягу крестьян к «черному», т.е. всеобщему, переделу земли. В центральной, петербургской группе «Черного передела» насчитывалось 22 человека, а общая численность организации, включая ее провинциальные кружки примерно в 10 городах, не достигала и 100 человек.

Чернопередельцы наладили издание своего центрального органа под тем же названием «Черный передел» и отдельной газеты для рабочих («Зерно»), но развернуть, как им хотелось, практическую деятельность не смогли: старые пути и средства борьбы уже потеряли у русских революционеров кредит. В скором времени чернопередельцы либо эмигрировали (как все перечисленные), либо перешли в «Народную волю», либо вообще отошли от революционного движения. К концу 1881 г. «Черный передел» фактически перестал существовать.

Большинство землевольцев перешло в «Народную волю», численность и мощь которой непрерывно росли; она стала самой крупной, сильной и авторитетной из всех русских революционных организаций XIX в., первой в России политической *партией*. Руководящим центром «Народной воли» был ее Исполнительный комитет («Великий ИК», как называли его современники, а затем историки), насчитывавший за все время его существования 36 человек. Среди них особенно выделялись трое: сын крепостного крестьянина, великолепный агитатор, трибун и организатор с интеллектом и кругозором первоклассного государственного деятеля, прирожденный вождь Андрей Иванович Желябов; главный администратор «Народной воли» и уникальный, неподражаемый конспиратор, бывший «Катон-цензор» землевольческого подполья Александр Дмитриевич Михайлов; высший моральный авторитет, «нравственный диктатор» партии (по выражению С.М. Кравчинского) Софья Львовна Перовская — дочь петербургского губернатора и праправнучка морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны,— ни в чем не уступавшая самым женственным из женщин и самым мужественным из мужчин. Рядом с ними действовали выдающиеся организаторы — Н.А. Морозов, А.А. Квятковский, В.Н. Фигнер, блестящие практики — М.Ф. Фроленко, Н.Н. Колодкевич, М.Ф. Грачевский, а также самоотверженный и благородный глава народовольческой Военной

[1] Все они через четыре года положат начало распространению марксизма в России, а Вера Засулич — первая русская женщина-террористка — станет первой же русской женщиной-марксисткой.

организации Николай Евгеньевич Суханов, о котором Вера Фигнер говорила: «Счастлива та партия, к которой пристают Сухановы!»

Из агентов ИК выделялся главный техник партии, руководитель ее динамитной лаборатории, гениальный изобретатель Николай Иванович Кибальчич — провозвестник космической эры, первым в мире (за 15 лет до К.Э. Циолковского) разработавший проект летательного аппарата с реактивным двигателем. Агентом ИК был и единственный в своем роде контрразведчик русской революции Н.В. Клеточников, который два года служил в III отделении по заданию «Земли и воли» (первые 7 месяцев), а затем «Народной воли», почти ежедневно обезвреживая полицейские козни против революционеров.

ИК издавал в качестве центрального органа партии газету «Народная воля», которая выходила с 1879 по 1885 г. и оказалась самым долговечным из революционных изданий XIX в. в России. Кроме того, печатались еще четыре издания: Листок «Народной воли» (приложение к центральному органу), «Рабочая газета», Вестник «Народной воли», Календарь «Народной воли». Итого — пять периодических изданий! Ранее только «Земля и воля» 1876—1879 гг. имела собственный литературный орган, все прочие же революционные организации в России никогда не шли дальше выпуска отдельных прокламаций. Как идеологический штаб партии ИК разрабатывал ее программные документы. «Программа Исполнительного комитета» считалась общепартийной программой. Она стала шагом вперед в русском освободительном движении, поскольку освободилась от анархизма и аполитизма 70-х годов. «Народная воля» ставила целью свергнуть самодержавие и осуществить ряд демократических преобразований. Вот главные из них:

1. Постоянное народное представительство с законодательными функциями, т.е. парламентская демократическая республика («самодержавие народа», как выражались народовольцы).

2. Полная свобода слова, печати, собраний, ассоциаций, совести, избирательной агитации.

3. Всеобщее избирательное право без сословных и имущественных ограничений и выборность всех должностей снизу доверху.

4. Земля — крестьянам, фабрики и заводы — рабочим.

5. Национальное равенство и право наций на самоопределение.

Как все народники, «Народная воля» исходила из того, что «главная созидательная сила революции — в народе», т.е. в крестьянстве, и поэтому считала важнейшим средством достижения своей цели крестьянское восстание, но — при поддержке рабочих и военных, под руководством партии. Более того, пережив опыт «хождения в народ», народовольцы утратили веру в революционную *инициативу* крестьянства и пришли к выводу, что «партия должна взять на себя почин переворота». Программа ИК предписывала готовить переворот, с одной стороны, путем

пропагандистской, агитационной и организаторской работы во всех слоях населения, а с другой стороны, посредством «красного» террора.

Распространенное в мировой литературе мнение о «Народной воле» как партии террористической неправильно. Такую ложь пустили в обиход царские каратели для большей тяжести обвинения народовольцев, ее подхватила обывательская молва, после чего она перекочевала в литературу — научную, учебную и художественную. В действительности же террор ни в программе, ни в деятельности «Народной воли» никогда не занимал главного места, просто он был *на виду* как прелюдия и ускоритель народной революции. Посредством террора народовольцы стремились решить двоякую задачу: с одной стороны, возбудить революционное настроение в массах и, с другой стороны, дезорганизовать правительство, чтобы затем поднять возбужденные массы против дезорганизованного правительства[1].

Здесь важно подчеркнуть, что «красный» террор «Народной воли» был исторически обусловлен, навязан революционерам как ответ на «белый» террор царизма против «хождения в народ». «Когда человеку, хотящему говорить, зажимают рот, то этим самым развязывают руки» — так объяснял переход от пропаганды к террору А.Д. Михайлов. Народовольцы не могли тогда предвидеть, что террор не приведет к цели. В том фазисе, которого достигло революционное движение к концу 70-х годов, террор нельзя было просто отбросить, его можно было только преодолеть. Он оказывался тогда единственно возможным *еще не испытанным* в масштабах партии способом борьбы.

Сами народовольцы веско оговаривали преходящую обусловленность своего террора. ИК заявил протест против покушения анархиста Ш. Гито на президента США Д. Гарфилда. «В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей,— разъяснял ИК 10(22) сентября 1881 г.,— в такой стране политическое убийство как средство борьбы есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей»[2]. Сознавая моральную и политическую предосудительность террора, народовольцы допускали его лишь как вынужденное, крайнее средство. «Террор — ужасная вещь,— говорил С.М. Кравчинский,— есть только одна вещь хуже террора: это — безропотно сносить насилия».

Террором занималось ничтожное меньшинство «Народной воли», хотя сил у нее было неизмеримо больше, чем у всех

---

[1] См. программную инструкцию «Народной воли» — «Подготовительная работа партии» в кн.: Революционное народничество 70-х годов: Сб. док-тов. М.; Л., 1965. Т. 2. С. 176.

[2] Литература партии «Народная воля». М., 1930. С. 127.

революционных организаций, бывших в России прежде, вместе взятых. По совокупности данных за 1879—1883 гг. «Народная воля» объединяла, как минимум, 80—90 местных, 100—120 рабочих, 50 офицерских, 30—40 студенческих и 20—25 гимназических кружков по всей стране от Гельсингфорса (Хельсинки) до Тифлиса (Тбилиси) и Ревеля (Таллинна) до Иркутска. Она имела 10 типографий в России и еще одну за границей и даже постоянное заграничное представительство в Париже (П.Л. Лавров, Л.А. Тихомиров, М.Н. Ошанина) и Лондоне (Л.Н. Гартман). Численность активных, юридически оформленных членов «Народной воли» составляла 500 человек, но участвовали в ее деятельности, так или иначе помогая ей, в 10—20 раз больше. По данным Департамента полиции, только за полтора года, с июля 1881 по 1882-й, подверглись репрессиям за участие в «Народной воле» почти 6 тыс. человек[1].

Все народовольческие кружки действовали энергично и смело. Небывалым для того времени размахом отличалась их деятельность среди интеллигенции, особенно в студенческой среде. Связи «Народной воли» с учащейся молодежью всей страны были превосходно налажены и организованы: в Петербурге существовала Центральная университетская группа, которая объединяла и направляла усилия народовольческих групп во всех вузах столицы; такая же система — в Москве, Киеве, Казани, Одессе; отдельные студенческие кружки действовали при местных организациях «Народной воли» во всех городах, где имелись высшие учебные заведения, а в контакте с ними — кружки гимназистов и семинаристов тех же и многих других (где не было вузов) городов. Вся эта широко разветвленная сеть кружков готовила для партии революционные кадры, распространяла прокламации, устраивала сходки, обструкции властям, демонстрации. Всю мыслящую Россию заставила говорить о себе антиправительственная демонстрация, организованная народовольцами на университетском акте в Петербурге 8 февраля 1881 г. в присутствии 4 тыс. студентов, преподавателей и почетных гостей. Народовольцы во главе с Желябовым, Перовской и Верой Фигнер разбросали по залу революционные листовки, Лев Коган-Бернштейн успел сказать с хор краткую обличительную речь, а Папий Подбельский, шагнув в президиум, заклеймил восседавшего там министра просвещения А.А. Сабурова пощечиной.

Впервые в России «Народная воля» создала специальную Рабочую организацию всероссийского значения с центром в Петербурге и с филиалами практически во всех фабрично-заводских регионах страны. Только московская рабочая группа включала 100—120 человек, одесская — до 300, петербургская —

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* «Народная воля» перед царским судом. 2-е изд. Саратов, 1983. С. 355—357.

сотни рабочих едва ли не со всех заводов столицы, и т.д. Была выработана особая «Программа рабочих, членов партии "Народная воля"». Она свидетельствует, что народовольцы, в отличие от своих предшественников, усматривали в рабочих уже не посредников между интеллигенцией и крестьянством, а самостоятельную (не главную, но самостоятельную), причем на первом этапе революции ударную силу. Восстание «может увенчаться успехом,— гласит «Подготовительная работа партии»,— если партия обеспечит себе возможность двинуть на помощь первым застрельщикам (т.е. студентам и военным.— *Н.Т.*) сколько-нибудь значительные массы рабочих», еще до того как поднимется многомиллионная масса крестьянства.

В качестве средства пропаганды среди рабочих издавалась «Рабочая газета». Она, по данным царского сыска, распространялась везде, где жили-были рабочие. Впрочем, «Народная воля» не довольствовалась пропагандой и агитацией среди рабочих, она участвовала и в организации стачек — на многих заводах Петербурга, Москвы, Киева, Перми. По воспоминаниям Г.В. Плеханова, Андрей Желябов хорошо понимал, что в России «стачка есть факт политический».

Считая, что в грядущей революции «успех *первого* нападения всецело зависит от рабочих и войска», народовольцы создали наряду с Рабочей и Студенческой организациями свою Военную организацию, более мощную, чем вся совокупность организаций декабристов к 1825 г. Должным образом Военная организация «Народной воли» поныне еще не исследована. Но мы знаем, что она объединяла не менее 50 кружков как минимум в 41 городе с участием 400 офицеров, из которых каждый был интересен и многого стоил. Например, подполковник М.Ю. Ашенбреннер имел выдающуюся боевую репутацию и широкие связи в армейских кругах, а майор Н.А. Тихоцкий слыл великосветским жуиром, танцевал на придворных балах и был вхож в самые верхи военной аристократии.

О масштабах Военной организации народовольцев говорит тот факт, что весной 1882 г. она рассчитывала только в Кронштадте «на два морских экипажа (около 8 тыс. человек) и на два небольших броненосца, а также на гарнизоны девяти крепостных фортов»[1]. Вероятно, периферийные кружки тоже надеялись на местные гарнизоны. По свидетельству члена Военного центра «Народной воли» Н.М. Рогачева, в конце 1881 г. центр готовился распространить свои действия «на все части войск, расположенные в Европейской России». По косвенным данным, ИК «Народной воли» пытался не без успеха привлечь к себе некоторых «лиц высшей военной иерархии», включая самого популярного из

[1] *Ашенбреннер М.Ю.* Военная организация «Народной воли» и другие воспоминания (1860—1904). М., 1924. С. 97.

русских полководцев второй половины XIX в. М.Д. Скобелева и самого образованного из них, начальника Академии Генерального штаба М.И. Драгомирова.

Крестьянам «Народная воля» уделяла меньше внимания, чем ее предшественники, но все-таки рассылала пропагандистов и распространяла прокламации среди крестьян в десятках губерний европейской части страны. Эти прокламации находили у крестьян сочувственный отклик, вызывая (или усиливая начавшееся ранее) брожение. Так, под влиянием и, возможно, не без участия народовольцев вспыхнуло в марте 1881 г. восстание крестьян двух уездов Тверской губернии, усмиренное лишь силою войск.

Итак, подавляющая часть сил «Народной воли» была занята пропагандистской, агитационной и организаторской работой во всех слоях населения. Что же касается террора, то он был делом рук только членов и ближайших агентов ИК (которые занимались, кстати говоря, и всеми другими сторонами деятельности партии), а также нескольких сменявших друг друга техников, метальщиков, наблюдателей. В подготовке и осуществлении всех восьми народовольческих покушений на царя[1] участвовали из рядовых членов партии всего 12 человек, известных поименно.

Террор как ударная боеголовка революционного заряда «Народной воли» бросался в глаза, заслоняя собою другие действия партии, тем более что острие его было нацелено на царя. 26 августа 1879 г. ИК вынес Александру II смертный приговор. С этого дня началась беспримерная в истории 18-месячная охота народовольцев на царя.

Враги и критики «Народной воли» много говорят о том, что она злодейски преследовала и умертвила царя-*Освободителя*. При этом замалчивается бесспорный факт: к концу 70-х годов царь, в свое время освободивший от крепостной неволи крестьян, снискал себе уже новый «титул»: *Вешатель*. Ведь это он в 1863 г. руками Муравьева-Вешателя утопил в крови народно-освободительные восстания в Польше, Литве, Белоруссии, а после смерти Муравьева повесил Каракозова, разослал на каторгу и в ссылку мирных пропагандистов 1874 г. и за один только 1879 год санкционировал повешение 16 народников. В числе других был повешен Д.А. Лизогуб — только за то, что он по-своему распорядился *собственными* деньгами, отдав их в революционную казну. Характерно для Александра II, что он требовал именно виселицы даже в тех случаях, когда военный суд приговаривал народников (В.А. Осинского и др.) к расстрелу. Все это ИК зафиксировал в смертном приговоре царю.

[1] Напомню, что ранее, 4 апреля 1866 г., покушался на жизнь Александра II Д.В. Каракозов, 6 июня 1867 г.— А.И. Березовский и 2 апреля 1879 г.— А.К. Соловьев. Таким образом, революционеры смогли казнить Александра II лишь с 11-й попытки.

Организуя покушения на Александра II, народовольцы проявили невероятную изобретательность. Осведомленные о маршрутах путешествий царя (с помощью Клеточникова), они только в ноябре 1879 г. трижды чуть не взорвали его — всякий раз царь спасался чудом. 19 ноября под Москвой Софья Перовская и Степан Ширяев, пропустив первый поезд, в котором обычно располагалась царская свита, устроили взрыв четвертого вагона во втором поезде, где для большей безопасности ехал царь. Спасла Александра II оплошность железнодорожного начальства: оно нечаянно пустило первым царский поезд — тот и проскочил; взорван же был багажный вагон (с крымскими фруктами) свитского поезда. 5 февраля 1880 г. Степан Халтурин взорвал столовую в Зимнем дворце точно ко времени царского обеда, но Александр II опоздал на 2—3 минуты и опять уцелел.

Вся эта цепь покушений накалила обстановку в стране и, как на это рассчитывали народовольцы, внесла дезорганизацию в лагерь «верхов». У многих на устах был тогда новогодний спич Александру II в газете «Народная воля» от 1 января 1880 г.: «Смерть Александра II — дело решенное, и вопрос тут может быть только во времени, в способах, вообще в подробностях». Впрочем, не террористическая только, а вся вообще революционная борьба «Народной воли» представила собой важнейший фактор сложившейся в России на рубеже 70—80-х годов новой революционной ситуации.

Историографическая справка. Первыми историками народничества стали его каратели, которые и заложили охранительную концепцию в историографии народнического движения. Граф С.С. Татищев[1], князь Н.Н. Голицын, генерал Н.И. Шебеко, агент III отделения А.П. Мальшинский изображали народническую «крамолу», вопреки мудрому принципу: «sine ira et studio»[2], как вереницу злодеяний, но старались вооружить карателей фактами, чтобы они преследовали народников со знанием дела.

Вслед за охранительной и в противовес ей сложилась либеральная концепция народничества. Ее смысл: народники — это благородные мечтатели, которые стремились к просвещению русского народа мирным путем и отличались от либералов только психологически: либералы якобы представляли собой рассудительных, но безвольных Гамлетов, а народники — волевых, но безрассудных Дон Кихотов. Царизм же подверг народничество жестоким репрессиям и тем самым превратил добряков-народников в злостных революционеров. Так на опыте истории народничества либералы советовали царизму быть терпимым к ним, доказывая, что карательные излишества даже мечтателей озлобляют и делают революционерами, опасными в первую очередь для самого

---

[1] См.: *Татищев С.С.* История социально-революционного движения в России (1861—1881). СПб., 1882; *его же.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1911. Т. 2.

[2] Без гнева и пристрастия (*лат.*).

царизма. Классики либеральной концепции — А.А. Корнилов, Л.Е. Барриве, Б.Б. Глинский и особенно В.Я. Богучарский[1].

Советская историография народничества основывается на оценках В.И. Ленина, конъюнктурно выбирая из них одни и замалчивая (либо даже фальсифицируя[2]) другие. Историки СССР возвеличивали А.И. Герцена и, еще более, Н.Г. Чернышевского, гиперболизировали освободительное движение начала 60-х годов, но принижали народников более позднего времени, начиная с ишутинцев из-за их связи с терроризмом. В феврале 1935 г. Сталин заявил: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов». После этого не только народовольческая, но и вся народническая проблематика более чем на четверть века оказалась под запретом. Герцен, Чернышевский и весь круг их соратников были вырваны из истории народничества. При всем своем преклонении перед Лениным советские историки намеренно игнорировали его суждения о том, что Герцен и Чернышевский — «основоположники народничества», и старались доказать недоказуемое: якобы ни Герцен, ни Чернышевский не были народниками. Следы такого насилия над историографией народничества сохранялись в СССР до последнего времени.

Особенно пострадала при этом «Народная воля», которую то замалчивали, то бичевали, извращая ее теорию, умаляя практику, принижая заслуги. Судьба «Народной воли» трагична вдвойне: сначала она как субъект истории прошла сквозь шквал репрессий со стороны царизма (не счесть повешенных, расстрелянных, загубленных в царских тюрьмах и каторжных норах ее героев и мучеников), а потом уже как исторический объект — сквозь тернии предвзятых оценок со стороны историков, вплоть до сегодняшних. Даже авторы творческой, претендующей на преодоление антинароднических стереотипов, книги «Революционная традиция в России» (М., 1986) И.К. Пантин, Е.Г. Плимак и В.Г. Хорос усмотрели в идеологии «Народной воли» главным образом «смутность», «сумбур», «примитивизм», а деятельность ее сочли «тупиковой».

В последнее время вновь стали «модными» карательно-охранительные оценки народничества[3].

Тем не менее наши ученые сумели подготовить ряд подлинно

---

[1] См.: *Богучарский В.Я.* Активное народничество 70-х годов. М., 1912; *его же.* Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIXв. Партия «Народной воли». М., 1912.

[2] Так, филиппики Ленина против эсеров переадресовываются народовольцам, а ленинская ругань по адресу либеральных народников распространяется на все народничество.

[3] *Лурье Ф.М.* Созидатель разрушения. СПб., 1994; *Кан Г.С.* «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997.

научных трудов и о народническом движении середины 60-х — начала 80-х годов[1].

Зарубежная (особенно англо-американская) историография русского народничества очень велика. В ней преобладают негативные оценки народников, аналогичные взглядам царских охранителей, хотя Б. Пейрс, Э. Кренкшоу, Р. Пайпс, Р. Хингли, А. Улам[2] и другие критики народничества не одобряют, в отличие от С.С. Татищева или А.П. Мальшинского, карательную политику царизма. Многие зарубежные историки судят о народничестве с позиций, близких к русской либеральной историографии: У. Уолш, А. Келли, Д. Гехт, Д. Футмен, Д. Харди. Наиболее обстоятельны труды Е. Ламперта (Англия) и в особенности Ф. Вентури (Италия)[3].

---

[1] См., например: *Козьмин Б.П.* Русская секция I Интернационала. М., 1957; *Виленская Э.С.* Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965; *Итенберг Б.С.* Движение революционного народничества. М., 1965; *Твардовская В.А.* Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880-х гг. М., 1969; *Рудницкая Е.Л.* Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992.

[2] См.: *Ulam A.* In the Name of the People. N.Y., 1977.

[3] См.: *Lampert E.* Sons against Fathers. L., 1965; *Venturi F.* Roots of Revolution. N.Y., 1960.

Происхождение войны

В течение 1860—1870 гг. царизм проводил активную внешнюю политику, главным вопросом которой оставался восточный. Внешнеполитической задачей № 1 для царизма все это время было восстановить и упрочить свой международный престиж, пошатнувшийся после поражения в Крымской войне, и тем самым отвлечь внимание россиян от внутренних неурядиц, возвыситься в их глазах, опереться на них для дальнейшей борьбы с народнической крамолой.

Первым шагом в решении этой задачи должна была стать отмена статей Парижского договора 1856 г., которые лишили Россию права держать на Черном море военный флот. Возродить Черноморский флот — национальную гордость России — мечтали все российские патриоты от царя до рядового матроса. В сентябре 1861 г. Александр II писал сыну: «Я не умру спокойно, пока не увижу его возрожденным». Александру II повезло: 20 лет при нем служил лучший из военных министров за всю историю России Д.А. Милютин и 25 лет, фактически все время его царствования,— лучший из министров иностранных дел А.М. Горчаков (кстати, Александр III почти немедленно уволит и того, и другого).

Александр Михайлович Горчаков начал дипломатическую службу еще в 1817 г., по окончании Царскосельского лицея, где он учился вместе с А.С. Пушкиным. Величайший поэт России дружески относился к ее величайшему дипломату, а Горчаков гордился этой дружбой и всю жизнь помнил обращенные к нему пушкинские послания. В одном из них поэт вопрошал друзей-лицеистов:

Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Этим последним лицеистом оказался Горчаков, переживший Пушкина на 46 лет.

А.М. Горчаков был широкообразованным человеком, с гибким, проницательным и дальновидным умом. Вдохновенный оратор и тончайший стилист, мастер «филигранной риторики» (по выражению А.И. Герцена), он вносил в дипломатию особую, горчаковскую вкрадчивость и отделывал свои ноты так, что они звучали как художественные произведения. Например, он никогда

не говорил: «влияние России», а выражался так: «обаяние». К тому же Горчаков отличался изысканностью манер, светским артистизмом, был чрезвычайно эффектен в обхождении, а главное, в совершенстве постиг все тайны дипломатического искусства, что позволяло ему успешно соперничать с такими светилами мировой дипломатии, как О. Бисмарк, Г. Пальмерстон, Б. Дизраэли, Д. Андраши.

Пост министра иностранных дел Горчаков занял 15 апреля 1856 г. и был удостоен высочайших почестей, включая титул светлейшего князя и чин государственного канцлера Российской Империи — последнего в России[1]. Дипломатия для Горчакова — это «и радости, и слава, и забавы», в ней он находил удовлетворение своему честолюбию, которым буквально страдал. В конце жизни он как-то сказал Бисмарку: «Если я выйду в отставку, я не хочу *угаснуть*, как лампа, которая меркнет, я хочу *закатиться*, как светило». Это ему удалось.

С именем Горчакова связаны выдающиеся победы российской дипломатии. В 1870 г. он виртуозно использовал противоречия между державами, подписавшими Парижский договор 1856 г. Разослав им циркуляр от 19 октября[2], в котором были перечислены все случаи нарушения договора с их стороны, ими уже забытые, но учтенные Горчаковым, он их уведомил о том, что Россия отныне не признает статьи договора, запретившие ей иметь на Черном море флот и укрепленные базы. Державы, подписавшие договор, естественно, должны были протестовать. Но в тот момент (тонко учтенный Горчаковым) Франция, только что разбитая Пруссией, была поглощена заботой о самосохранении; Пруссия промолчала, отблагодарив таким образом Россию за ее нейтралитет во франко-прусской войне 1870—1871 гг.; Австрия, недавно (в 1866 г.) тоже разбитая Пруссией, заявила вялый протест, и только Англия решительно восстала против русского демарша, но, как заранее рассчитал Горчаков, дальше словесной пикировки не пошла.

Тем временем российская общественность торжествовала. Ф.И. Тютчев обратился к Горчакову с посланием, которое начиналось строками:

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

---

[1] Канцлер значился в 1-й, высшей для гражданских чинов, строке Табели о рангах, действовавшей в России с 1714 до 1917 г. После Горчакова чин этот уже никто более не получал.

[2] Т.е. в день первого выпуска Царскосельского лицея, многократно воспетый Пушкиным.

В интересах России Горчаков искусно проводил курс на сближение и с Германией, и с Австро-Венгрией[1] как традиционными союзниками, чтобы вклиниться между ними и по возможности объединить их вокруг себя. Отчасти это ему удалось. В мае 1873 г. были подписаны русско-германский и русско-австрийский договоры о «совместной линии поведения», а в октябре аналогичный австро-германский договор завершил оформление «Союза 3-х императоров». Собственно, это был не союз, а всего лишь консультативный пакт: три державы условились в случае угрозы нападения на одну из них договориться о совместных действиях. Тем не менее каждый из участников «Союза 3-х императоров» на время (до первого международного кризиса 1875—1876 гг.) свои позиции укрепил.

В мае 1875 г. Горчаков одержал новую дипломатическую победу. Он узнал, что Германия по инициативе ее военного руководства приготовилась напасть на Францию с целью вновь, после франко-прусской войны, разгромить ее так, чтобы она не помышляла более о реванше. Горчаков помешал этому. Он убедил Александра II поехать с ним вместе в Берлин и там заявить императору Вильгельму I и канцлеру Бисмарку, что Россия не допустит нового разгрома Франции, поскольку это нарушило бы баланс сил в Европе. Вильгельм и Бисмарк были вынуждены дать отбой.

Это событие, важное само по себе, возымело тем больший международный резонанс, что в телеграмме русским посольствам, которую Горчаков сформулировал от имени Александра II, телеграфист вместо «j'emporte» (я увожу) передал: «l'emporte» (забияка). В результате подлинник телеграммы («Я увожу из Берлина желаемые гарантии») принял такой вид, распубликованный самыми авторитетными газетами мира: «Забияка в Берлине дал желаемые гарантии».

Международный авторитет России после этих побед вырос настолько, что царизм счел возможной очередную попытку решить восточный вопрос. К середине 70-х годов «больной человек», как называли Османскую империю с легкой руки Николая I европейские дипломаты, казалось, был уже при смерти. Экономический (примитивно феодальный) уклад Турции основательно подгнил, а в политических сферах царила смута. В 1876 г. там сменилось три султана, один из которых был объявлен сумасшедшим, а другого, по выражению кого-то из турецких остряков, «покончили самоубийством». Балканские народы, которые уже больше 400 лет изнывали под игом Турции, теперь, когда их враг на глазах слабел, усилили национально-освободительную борьбу. Летом 1875 г. в Боснии и Герцеговине, а весной 1876 г.

[1] В 1867 г. Австрийская империя была преобразована в двуединую Австро-Венгерскую империю, а в 1871 г. королевство Пруссия провозгласило себя Германской империей.

в Болгарии вспыхнули восстания славян. Поскольку балканские народы всегда тяготели к России, царскому правительству важно было в интересах борьбы за гегемонию на Балканах поддержать среди них свой престиж как традиционного защитника их интересов. Поэтому оно в мае 1876 г. предложило «концерту» великих держав коллективно воздействовать на Турцию, чтобы добиться автономии для христианских народов Балкан. Однако Германия и Австро-Венгрия обесплодили русские предложения множеством поправок. Англия же вообще отказалась от воздействия на Турцию.

Западные державы предпочитали сохранять целостность Османской империи как постоянного противовеса России. Для Англии, которая успела занять командные высоты в турецкой экономике, выгоднее было не ликвидировать Турцию как империю, а подчинить ее себе политически, тем более что такая политика позволяла Англии слыть защитницей турецкого «ягненка» от русского «волка». Что же касается Австро-Венгрии, то она принципиально не хотела освобождать славян из-под турецкого ига, так как сама держала в цепях миллионы славянского населения и боялась, что освобождение славян «турецких» создаст прецедент для освобождения «австрийских» славян. Перед царизмом встал выбор: либо воевать с Турцией, рискуя оказаться перед лицом европейской коалиции, как это было в Крымской войне, либо отступить и бросить балканские народы на произвол Турции.

Отступать было нельзя. Мало того, что отступление погубило бы российский престиж на Балканах,— оно ударило бы и по престижу царизма внутри России. Чуть ли не все слои российского общества толкали правительство к решительной поддержке славян, вплоть до силы оружия,— толкали из разных соображений. Реакционные круги жаждали войны, ибо рассчитывали войной (конечно, победоносной) «объединить Россию» вокруг трона и славян вокруг России. Либералы надеялись, что война за освобождение «братьев-славян» повлечет за собой рост освободительных настроений в самой России снизу доверху и побудит царизм согласиться на конституцию. Наконец, революционеры считали, что освободительный характер войны оживит (как в 1812 г.) политическое самосознание нации и стимулирует подъем революционной борьбы за свержение царизма. Многие народники (в том числе С.М. Кравчинский, Д.А. Клеменц, М.П. Сажин, В.Ф. Костюрин, А.П. Корба) поехали добровольцами в Боснию, Герцеговину, Болгарию сражаться за освобождение славян. Иные из них (А.Г. Ерошенко, Д.А. Гольдштейн, К.Н. Богданович) там погибли.

В защиту славян горой вставала тогда вся Россия. Повсеместно возникали Славянские комитеты, которые занимались сбором пожертвований и отправкой на Балканы добровольцев, в числе

которых были и выдающиеся россияне: писатель В.М. Гаршин, художник В.Д. Поленов, врачи Н.И. Пирогов, С.П. Боткин и Н.В. Склифосовский. 60-летний И.С. Тургенев говорил: «Будь я моложе, я сам бы туда поехал». Льва Толстого, который был на 10 лет моложе Тургенева, едва могли удержать от похода на Балканы. «Вся Россия там, и я должен идти»,— горячился он. В то же время на Балканах росло встречное движение побратимства с Россией. Болгарские повстанцы обращались к Александру II с отчаянными просьбами о помощи. Великий поэт Болгарии Иван Вазов писал в ноябре 1876 г.:

По всей Болгарии сейчас
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия!

В такой обстановке царизм решился на войну с Турцией, благо эта война еще до ее начала обрела в глазах не только балканских народов, но и собственного российского народа ореол «освободительной» — ореол, в котором можно было скрыть агрессивные планы. Планировал же царизм кроме «братской» помощи славянам восстановить свое влияние на Балканах, подорванное в результате Крымской войны, а по возможности захватить и Константинополь.

Турция, со своей стороны, стремилась не только удержать под своей пятой славянские народы Балкан, но и вернуть под нее частично освободившуюся в 1862 г. Румынию. Поэтому она отвергла предложение России осуществить на Балканах реформы и облегчить положение балканских христиан. 12 апреля 1877 г. Александр II подписал манифест, объявлявший войну Турции.

Война

Соотношение сил между Россией и Турцией к 1877 г. оказалось явно в пользу России. Русская армия в результате военных реформ 1862—1874 гг. стала гораздо более боеспособной, чем во время Крымской войны, лучше укомплектованной, обученной и вооруженной. Так, пехота имела на вооружении винтовку «Бердана № 2» системы американского конструктора Х. Бердана, усовершенствованной русскими оружейниками настолько, что даже в США ее называли «русской винтовкой», а в России — «винтовкой Бердана», «берданкой». Эта винтовка считалась тогда лучшей в мире.

Однако за три года результаты реформ полностью еще не сказались. По сути дела, состояние русской армии к 1877 г. было переходным: пореформенное уживалось в ней с дореформенным. Не было закончено перевооружение армии, сохранялись традиционные, исконно российские недостатки в ее материальном обеспечении — казнокрадство, взяточничество, подлоги и показу-

ха. Особенно плох был командный состав. Он, как и прежде, подбирался не столько по дарованиям, сколько по близости к «верхам». Главное командование взял на себя брат царя великий князь Николай Николаевич («дядя Низи», как звали его в царской семье), который за всю свою жизнь даже не участвовал, а только присутствовал еще молодым в одном-единственном сражении под Инкерманом. Вообще этот великий князь был настолько бесталанным, что поэт П.В. Шумахер резонно «воспел» его как «высочайшего идиота». Когда «дядя Низи» к старости сошел с ума, люди, близко знавшие его, удивились, как это можно сойти с того, чего не имеешь.

Значительная часть армии (два корпуса численностью в 70 тыс. человек) была выделена под командование наследника престола, будущего Александра III, который о военном деле имел еще более смутные представления, чем «дядя Низи», поскольку он, в отличие от своего дяди, на войне никогда не присутствовал. Войсками на кавказском театре войны командовал еще один брат царя, наместник Кавказа, великий князь Михаил Николаевич («дядя Михи») — тоже, как о нем говорили, «совсем не орел». Французская императрица Евгения (жена Наполеона III), поговорив с ним однажды, удивилась: «Ce n'est pas un homme, c'est un cheval!»[1]

Русский генералитет и к 1877 г. состоял преимущественно из бывших николаевских служак, которые и в молодости не блистали талантами, а под старость теряли даже то, что имели. Чуть ли не большинство их составляли немцы: Криденер, Тотлебен, Деллингсгаузен, Циммерман, Дризен, Гершельман, Шильдер-Шульдман, Гейман и пр. Главный штаб армии возглавлял немецкий поляк А.А. Непокойчицкий. Были, конечно, тогда в русской армии талантливые военачальники, но они занимали второстепенные должности и не могли влиять на высшее командование. И.В. Гурко и М.И. Драгомиров командовали дивизиями, Н.Г. Столетов — болгарским ополчением, а легендарный М.Д. Скобелев в начале войны служил вообще без должности, на положении «вольноопределяющегося генерала».

Михаил Дмитриевич Скобелев — этот «белый генерал», как его называли (он воевал только в белом мундире и на белом коне),— был, несомненно, самой яркой и популярной фигурой среди русских военачальников второй половины XIX в. Слава его необычна. При жизни и вскоре после смерти его превозносили как гения, «равного Суворову», потом надолго забыли, а в советской литературе до недавних пор особо вспоминать не хотели. Между тем Скобелев — хотя и не чета Суворову, личность все-таки настолько крупная, что обойти его вниманием нельзя. В нем затейливо преломился красивый и самобытный, истинно

[1] «Это не человек, это лошадь!» (*франц.*).

русский талант, который в условиях царской России не находил себе должного места и в результате то ослеплял вспышками гениальности, то шокировал разбойничьими выходками, то разменивался на авантюрные мелочи. Воинственность являлась фамильной чертой Скобелева. Отец и дед его были генералами. Судьба бросала М.Д. Скобелева с одного конца света на другой, и он везде (в Польше, Дании, Испании, Средней Азии) успевал использовать любую возможность для того, чтобы повоевать.

В 1873 г., например, он прославился головокружительными подвигами при завоевании Средней Азии и чуть было не похоронил свою карьеру, затеяв, что называется «из любви к искусству», штурм Хивы, в то время как с другой стороны города хивинская депутация выносила из распахнутых ворот хлеб-соль в знак покорности русскому главнокомандующему К.П. Кауфману. Велико было удивление и негодование Кауфмана, когда он, принимая хлеб-соль от Хивы, услышал, как ее штурмует под гром пушек и крики «ура» его подчиненный Скобелев.

Однако по натуре Скобелев вовсе не был головорезом. Блестяще образованный (учился в парижском пансионе Жирарде, Петербургском университете и Академии Генерального штаба), овладевший английским, французским, немецким и узбекским языками, он изучил всю военную литературу Европы и знал, что сделал и даже сказал в схожей ситуации Наполеон или Александр Македонский. Скобелев заботливо относился к солдатам, дружил с великим художником В.В. Верещагиным, фрондировал против царского двора и, по некоторым данным, склонялся под влияние ИК «Народной воли».

Он был исключительно популярен в русском обществе. «Наш Ахиллес»,— говорил о нем И.С. Тургенев. Влияние же Скобелева на солдатскую массу могло сравниться только с влиянием Суворова. Солдаты боготворили его и верили в его неуязвимость, поскольку он, всю жизнь проведший в боях, ни разу не был ранен. Солдатская молва «удостоверяла», что Скобелев знает заговорное слово против смерти («в Туркестане купил у татарина за 10 тыс. золотых»). Под Плевной раненый солдат рассказывал товарищам: «Пуля прошла сквозь его (Скобелева.— *Н.Т.*), ему — ничего, а меня ранила».

Умер Скобелев в 1882 г., не дожив до 40 лет, в расцвете сил, внезапно и загадочно. Есть версия о том, что он был отравлен наймитами царского двора, которые изловчились подослать ему в час его последнего кутежа бутылку шампанского с цианистым калием[1].

Скобелев и Драгомиров, Гурко и Столетов представляли собой в то время среди русского генералитета счастливые исключения. Общий же уровень русского командования был таков, что военный

[1] См.: *Дюбюк Ф.* Смерть Скобелева // Голос минувшего. 1917. № 5—6. С. 102.

министр Д.А. Милютин озабоченно записал в дневнике перед началом войны 1877—1878 гг.: «Остается одна надежда на то, что мы имеем против себя турок, предводимых еще более бездарными вождями». Эта надежда министра оправдалась.

Турки вооружены были не хуже, чем русские (английским, французским и даже американским оружием), но во всем прочем, включая даже качество командного состава, уступали русским. Турецкие солдаты образцово повиновались, но плохо соображали, а их офицеры были почти сплошь неграмотны, и даже из генералов, по признанию турецкого историка, «редко кто умел читать и писать». Поэтому царизм верил в легкую победу, полагая, что «дело сведется лишь к promenade militaire»[1]. Так как для него были вдвойне важны победы, одержанные под начальством особ царской фамилии, главное командование как на Дунае, так и на Кавказе было поручено братьям царя. Для того же выделили два корпуса наследнику престола, и сам царь почтил театр военных действий своим присутствием.

Война 1877—1878 гг. стала первой, на которую царское правительство допустило корреспондентов — своих и зарубежных. Отныне официальные донесения уже не были единственными источниками информации о войне. Впрочем, и корреспонденты в новинку иной раз выдумывали свои репортажи похлеще официальных сообщений. Одного из них — Василия Немировича-Данченко — так и прозвали: «Невмерович-Вральченко». Вместе с корреспондентами прошел всю войну и запечатлел ее в своих картинах великий художник-баталист В.В. Верещагин.

Главным театром войны и на этот раз, как в прежних русско-турецких войнах, стали Балканы. Сюда была нацелена Дунайская армия вел. кн. Николая Николаевича (185 тыс. человек). Турки имели здесь 165 тыс. Вспомогательным театром военных действий стал, как обычно, Кавказ. Россия выставила здесь 108 тыс. человек под командованием вел. кн. Михаила Николаевича, Турция — 100 тыс. Русский стратегический план был таков: силами Дунайской армии освободить Болгарию и ударить на Константинополь, где и покончить с государственностью Турции. Когда великий князь Николай Николаевич прибыл к царю за инструкциями, ему было сказано только одно слово: «Константинополь». На Кавказе царь и его братья планировали сначала выждать и далее, в зависимости от условий, наступать или обороняться, но, как бы то ни было, всю войну предполагалось выиграть в течение одной кампании.

Турки строили более скромные, но тоже победоносные планы: опираясь на четырехугольник мощных крепостей (Силистрия, Варна, Шумла, Рущук), затянуть войну на Балканах, измотать

[1] К военной прогулке (*франц.*). Так хвастался перед О. Бисмарком русский посол в Берлине П.П. Убри.

силы русских, а потом отбросить их с Балкан и захватить Румынию; на Кавказе же — просто отсидеться в крепостях Баязет, Ардаган и Карс до тех пор, пока не решится исход войны на Балканах.

Война с самого начала пошла не так, как ее спланировали в Петербурге. Так, на Кавказе, где предполагалось выжидать, русские войска сразу же устремились вперед, взяли Баязет, потом Ардаган и подступили к Карсу, который слыл одной из сильнейших крепостей мира. После того как русские в XIX в. дважды овладевали Карсом (в 1828 г. штурмом и в 1855 г. осадой), он был так укреплен, что казался неприступным. Однако в ночь на 6 ноября 1877 г. корпус генерала М.Т. Лорис-Меликова (будущего «полуимператора») пошел на штурм Карса и взял его. Это был второй после взятия Измаила Суворовым 11 декабря 1790 г. классический образец ночного штурма. Отличился здесь 24-летний поручик А.А. Брусилов — будущий верховный главнокомандующий, последний крупный полководец царской России.

Зато на Балканах, где ожидались решающие события, действовали главные силы русской армии, жаждали полководческих лавров сам царь, старший из его братьев и сын-цесаревич и где Петербург запланировал триумфальную promenade militaire, война скандально затянулась. 15(27) июня 1877 г. русские войска форсировали Дунай у местечка Зимница и веером хлынули на юг по трем направлениям: Рущукский отряд из двух корпусов под командованием цесаревича — налево, против четырехугольника крепостей; корпус генерала Н.П. Криденера — направо, против Плевны; и корпус генерала Ф.Ф. Радецкого — прямо, для удара через Балканский хребет на Константинополь. Авангард Радецкого во главе с генералом И.В. Гурко (будущим фельдмаршалом) занял лучший на Балканах Шипкинский перевал и тем самым открыл русской армии путь на юг. Но тут царские полководцы затеяли такие марши и контрмарши, что буквально за одну неделю все они потеряли друг друга из виду и превратили войну из почти выигранной в почти проигранную.

Рущукский отряд цесаревича заблудился в четырехугольнике крепостей, а корпус Криденера вообще куда-то исчез и четыре дня никто о нем ничего не знал. Утром 17 июля в главной квартире русской армии с той стороны, где потерялся Криденер, померещились турки. Царь был поднят с постели и во главе всего штаба ускакал за 20 верст от воображаемого неприятеля. К вечеру же выяснилось, что Криденер не только цел, но и захватил Никополь, который он принял за Плевну. Главная квартира возликовала, и на радостях никто не позаботился о том, чтобы Криденер меньше праздновал взятие Никополя, а скорее торопился взять Плевну — главный дорожный узел Болгарии, всего в 40 км от Никополя. Когда же спохватились, было уже поздно: 19 июля раньше Криденера к Плевне подошла и заняла ее турецкая армия

Османа-паши. Таким образом, правый фланг и коммуникации русских войск оказались под угрозой со стороны Плевны.

Хуже того, с 20 августа начала штурмовать Шипку еще одна турецкая армия Сулеймана-паши, пытавшаяся прорваться из южной Болгарии через Балканы на соединение с двумя другими армиями, одна из которых давно засела в четырехугольнике крепостей, а вторая только что — в Плевне.

Шипку обороняли всего 5 тыс. русских солдат и болгарских ополченцев. Командовал ими генерал Н.Г. Столетов — старший брат выдающегося ученого-физика А.Г. Столетова, высокообразованный и талантливый военачальник. Четыре месяца они удерживали перевал, отбиваясь от противника, многократно превосходившего их численностью, и сохраняя для русских войск кратчайший путь на Константинополь. Особенно трудно было героям Шипки держаться зимой. Если убитыми за октябрь—декабрь 1877 г. они потеряли 700 человек, то обмороженными и просто замерзшими — 9,5 тыс. (число обмороженных иногда доходило до 400 в день). Героика зимних будней Шипки («Шипкинское сидение») увековечена в триптихе Верещагина, названном не без иронии той стереотипной фразой, которую русское командование телеграфировало в Петербург всякий раз, когда Шипку заносила такая пурга, что даже стрельба прекращалась: «На Шипке все спокойно».

Между тем, пока шла борьба за Шипку, главные силы русской армии топтались под Плевной. Дважды — 20 и 30 июля — они пытались взять ее штурмом, но были отбиты. Это уже не вязалось с планами царских стратегов. Царь и главнокомандующий приуныли, стали подтягивать все возможные силы к Плевне да еще затребовали подкрепления из Петербурга. Собрав 100 тыс. солдат и 444 орудия против 45 тыс. турок с 60 пушками и посчитав, что теперь победа гарантирована, назначили третий штурм Плевны на день царских именин — 30 августа.

Сам же Александр II пребывал в тот день окрест поля сражения, на расстоянии, достаточном для того, чтобы он мог *видеть* турок (в подзорную трубу), а они не могли его *убить*. Он сидел в походном кресле на высоком холме (как и представил его в картине «Под Плевной» В.В. Верещагин), пил шампанское и при этом говорил «взволнованным голосом»: «За здоровье тех, которые там теперь дерутся!»[1]

Штурм был жарким, но бестолковым. Скобелев взял Гривицкий редут, буквально висевший над Плевной. Момент был критический. Скобелев рвал и метал: «Еще полк, дайте один полк и — Плевна моя!» — но ему не дали ни души, ибо он, по свидетельству Верещагина, намозолил глаза начальству своими талантами и претензиями, а оно вовсе не хотело видеть Скобелева

[1] *Верещагин В.В.* На войне. М., 1902. С. 90.

покорителем Плевны, предпочитая, чтобы это сделал какой-нибудь Криденер. В итоге и третий штурм Плевны был отбит. 13 тыс. русских и болгарских солдат уложили на царские именины зря.

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату,—

писал по этому поводу автор «Дубинушки» А.А. Ольхин.

«Третья Плевна» спутала все карты царизма и поставила под сомнение его шансы на победу в войне. Беды войны, которая затягивалась и становилась все более разорительной, вызывали ропот в стране. «Три Плевны» охладили пыл даже панславистов и ура-патриотов. А в Европе возникла угроза антирусской коалиции: Англия и Австро-Венгрия, которые «берегли» Турцию как противовес России на Балканах, воспользовались плевненской паузой для того, чтобы сговориться друг с другом о совместном противодействии России в случае, если она выиграет войну и вознамерится покончить с Турцией. Английский историк А. Тэйлор резонно заключил, что «Плевна продлила жизнь Османской империи на 40 лет».

В такой обстановке царизм порывался форсировать события, но этому мешала Плевна. Оставлять ее с 45-тысячной армией Османа-паши в тылу было опасно, штурмовать в четвертый раз — рискованно. Пришлось предпринять осаду. Для этого был вызван из Петербурга герой Севастопольской обороны 1854—1855 гг. генерал Э.И. Тотлебен. Он окружил Плевну со всех сторон, изолировав ее от внешнего мира, и стал ждать, когда турки съедят все свои запасы.

Ждать пришлось долго. Лишь 10 декабря 1877 г. туркам стало невмоготу от голода, они попытались прорваться из крепости сквозь кольцо блокады, но были отбиты и в тот же день сдались. Пленены были 42 тыс. солдат, 2000 офицеров, 40 пашей и сам Осман-паша. Александр II после этого с торжеством (не дожидаясь новых неудач) уехал из армии. Падение Плевны стало переломным моментом в ходе войны. Турция лишилась лучшей своей армии, а Россия, напротив, высвободила для активных действий 100 тыс. лучших солдат, прозябавших под Плевной.

Русское командование по совету Д.А. Милютина отважилось на безотлагательный переход через Балканский хребет, чтобы использовать расстройство турок после падения Плевны и предупредить вмешательство западных держав «в защиту Турции». Иностранные военные специалисты были уверены, что зимой форсировать Балканы нельзя. Начальник Генерального штаба Германии Х. Мольтке разрешил немецким военным наблюдателям при русской армии уехать на зиму в отпуск, а Бисмарк сложил у себя карту Балканского полуострова и сказал, что до весны она ему не понадобится. Переход действительно был одним из самых трудных в истории войн. Русские солдаты с невероятными

усилиями втаскивали на обледенелые кручи орудия, которые часто вместе с людьми и лошадьми срывались в пропасть. Генералу Гурко донесли, что на один из перевалов артиллерию даже на руках поднять нельзя. Гурко приказал: «Втащить зубами!» — и втащили.

Перевалив через Балканы в конце декабря 1877 г., русские войска пошли на Константинополь. Турки попытались остановить их, но Скобелев и Гурко в битве под Филиппополем (нынешний Пловдив) 15—17 января 1878 г. разгромили и рассеяли турецкую армию. 11 февраля Скобелев занял местечко Сан-Стефано в 12 верстах от Константинополя. Русские офицеры уже разглядывали в подзорные трубы достопримечательности турецкой столицы. Турки, конечно, всполошились и стали просить о мире, но стоявшие за их спиной Англия и Австро-Венгрия начали бряцать оружием, заявляя, что они не позволят России захватить Константинополь.

Взять Константинополь русские могли тогда легко. Солдаты ждали приказа главнокомандующего с часу на час. Но главнокомандующий со дня на день ждал, что прикажут из Петербурга: брать или не брать? В один из тех дней Верещагин буквально ворвался к главнокомандующему и почти кричал на него: «Оборвите телеграфные проволоки, поручите это мне — я их все порву, немыслимо заключать мир иначе, как в Константинополе!» Из Петербурга же пришла телеграмма — не брать Константинополь.

Военные эксперты резонно отмечали тогда, что великий князь Николай Николаевич должен был последовать примеру знаменитого Евгения Савойского, который в 1708 г. проявил то, что Наполеон называл «мудрым непослушанием»: подступив к Мантуе и получив приказ не брать крепость, Евгений сунул приказ в карман, взял Мантую, а потом доложил, что приказ был получен post factum...

Итак, русско-турецкая война 1877—1878 гг. окончилась. Царизм спасовал перед нажимом Англии и Австро-Венгрии, отказался от захвата Константинополя, извечно желанного и как никогда близкого, и пошел на заключение мира с турками.

Итоги

Мир был подписан в Сан-Стефано 19 февраля (3 марта) 1878 г. Уполномоченный от России граф Н.П. Игнатьев даже поступился кое-чем из русских требований, чтобы кончить дело именно 19 февраля и порадовать царя такой телеграммой: «В день освобождения крестьян Вы освободили христиан из-под ига мусульманского».

Сан-Стефанский мирный договор изменил всю политическую картину Балкан в пользу интересов России. Вот его основные условия.

1. Сербия, Румыния и Черногория, ранее вассальные по отношению к Турции, получали независимость.

2. Болгария, ранее бесправная провинция, обретала статус княжества, хотя и вассального по форме к Турции («платящего дань»), но фактически самостоятельного, со своим правительством и войском.

3. Турция обязалась выплатить России контрибуцию в 1410 млн. рублей, а в счет $^2/_3$ этой суммы уступила на Кавказе Карс, Ардаган, Баязет и Батум да еще Южную Бессарабию, отторгнутую у России после Крымской войны.

Официальная Россия шумно праздновала победу. Царь щедро сыпал наградами, но с выбором, попадая главным образом в своих родственников. Оба великих князя — и «дядя Низи», и «дядя Михи» — стали фельдмаршалами.

Между тем Англия и Австро-Венгрия, успокоенные относительно Константинополя, начали кампанию за пересмотр Сан-Стефанского договора. Обе державы ополчились особенно против создания Болгарского княжества, которое они верно расценили как форпост России на Балканах. Таким образом, Россия, только что с трудом осилив Турцию, слывшую «больным человеком», оказалась перед лицом коалиции из Англии и Австро-Венгрии, т.е. коалиции «из двух здоровяков». Для новой войны сразу с двумя противниками, из которых каждый был сильнее Турции, у России не было ни сил, ни условий (внутри страны уже назревала новая революционная ситуация). Царизм обратился было за дипломатической поддержкой к Германии, но Бисмарк заявил, что он готов играть лишь роль «честного маклера», и предложил созвать международную конференцию по восточному вопросу в Берлине.

13 июня 1878 г. открылся исторический Берлинский конгресс[1]. Все его дела вершила «большая пятерка»: Германия, Россия, Англия, Франция и Австро-Венгрия. Делегаты еще шести стран были статистами. Член русской делегации генерал Д.Г. Анучин записывал в дневнике: «Турки сидят чурбанами».

Председательствовал на конгрессе Бисмарк. Делегацию Англии возглавлял премьер-министр Б. Дизраэли (лорд Биконсфилд), многолетний (с 1846 по 1881 г.) лидер консервативной партии, которая и поныне чтит Дизраэли как одного из своих создателей. Францию представлял министр иностранных дел В. Ваддингтон (англичанин по рождению, что не мешало ему быть англофобом), Австро-Венгрию — министр иностранных дел Д. Андраши, когда-то герой венгерской революции 1849 г., осужденный за это австрийским судом на смертную казнь, а теперь лидер самых реакционных и агрессивных сил Австро-Венгрии. Главой русской

[1] Подробно о нем см.: *Анучин Д.Г.* Берлинский конгресс // Русская старина. 1912. № 1—5.

делегации формально считался 80-летний князь Горчаков, но он был уже дряхл и болен. Фактически руководил делегацией русский посол в Лондоне, бывший шеф жандармов, экс-диктатор П.А. Шувалов, который оказался дипломатом куда худшим, чем жандармом. Злые языки уверяли, что ему случалось путать Босфор с Дарданеллами.

Конгресс работал ровно месяц. Его заключительный акт был подписан 1(13) июля 1878 г. В ходе конгресса выяснилось, что Германия, обеспокоенная чрезмерным усилением России, не желает ее поддерживать. Франция, еще не оправившаяся от разгрома 1871 г., тяготела к России, но так боялась Германии, что не смела активно поддержать русские требования. Пользуясь этим, Англия и Австро-Венгрия навязали конгрессу решения, изменившие Сан-Стефанский договор в ущерб России и славянским народам Балкан, причем Дизраэли действовал не по-джентльменски: был случай, когда он даже заказал себе экстренный поезд, угрожая покинуть конгресс и таким образом сорвать его работу.

Территория Болгарского княжества была ограничена лишь северной половиной, а южная Болгария стала автономной провинцией Османской империи под названием «Восточная Румелия». Независимость Сербии, Черногории и Румынии была подтверждена, но территория Черногории тоже урезана по сравнению с договором в Сан-Стефано. Сербии же прирезали часть Болгарии, чтобы рассорить их. Россия возвращала Турции Баязет, а в качестве контрибуции взыскивала не 1410 млн., а лишь 300 млн. рублей. Наконец, Австро-Венгрия выговорила себе «право» на оккупацию Боснии и Герцеговины. Только Англия как будто ничего в Берлине не получила. Но, во-первых, все изменения Сан-Стефанского договора, выгодные лишь для Турции и стоявшей за ее спиной Англии, навязала России и балканским народам именно Англия (вместе с Австро-Венгрией), а во-вторых, английское правительство за неделю до открытия Берлинского конгресса принудило Турцию уступить ему Кипр (в обмен за обязательство защищать турецкие интересы), что конгресс молчаливо и санкционировал.

Позиции России на Балканах, завоеванные в сражениях 1877—1878 гг. ценой жизни более 100 тыс. русских воинов, были подорваны в словопрениях Берлинского конгресса таким образом, что русско-турецкая война оказалась для России хотя и выигранной, но неудачной. Царизм так и не сумел выйти к проливам, и влияние России на Балканах не стало сильнее, поскольку Берлинский конгресс Болгарию разделил, Черногорию обкорнал, Боснию и Герцеговину передал Австро-Венгрии, да еще Сербию с Болгарией перессорил. Уступки российской дипломатии в Берлине засвидетельствовали военно-политическую ущербность царизма и, как ни парадоксально это выглядело после выигранной

войны, ослабление его авторитета на международной арене. Канцлер Горчаков в записке царю об итогах конгресса признал: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». Царь приписал: «И в моей тоже».

Выступление Австро-Венгрии против Сан-Стефанского договора и недоброжелательное по отношению к России маклерство Бисмарка ухудшили традиционно дружественные русско-австрийские и русско-германские отношения. Именно на Берлинском конгрессе обозначилась перспектива новой расстановки сил, которая в конце концов приведет к первой мировой войне: Германия и Австро-Венгрия против России и Франции.

Что касается балканских народов, то они выиграли от русско-турецкой войны 1877—1878 гг. много, хотя и меньше того, что получили бы по Сан-Стефанскому договору: это независимость Сербии, Черногории, Румынии и начало самостоятельной государственности Болгарии. Освобождение (пусть неполное) «братьев-славян» стимулировало подъем освободительного движения в самой России, ибо теперь почти никто из россиян не хотел мириться с тем, что они, как выразился известный либерал И.И. Петрункевич, «вчерашних рабов сделали гражданами, а сами вернулись домой по-прежнему рабами».

Война пошатнула позиции царизма не только на международной арене, но и внутри страны, обнажив язвы экономической и политической отсталости самодержавного режима как следствие *недоконченности* «великих» реформ 1861—1874 гг. Словом, подобно Крымской войне, русско-турецкая война 1877—1878 гг. сыграла роль политического катализатора, ускорив назревание в России революционной ситуации.

Исторический опыт показал, что война (особенно если она разорительна и тем более неудачна) обостряет социальные противоречия в антагонистическом, т.е. плохо устроенном обществе, усугубляя бедствия масс, и ускоряет назревание революции. После Крымской войны революционная ситуация (первая в России) сложилась через три года; после русско-турецкой 1877—1878 гг.— к следующему же году (не потому, что вторая война была разорительнее или позорнее, а потому, что острота социальных противоречий к началу войны 1877—1878 гг. была в России большей, нежели перед Крымской войной). Следующая война царизма (русско-японская 1904—1905 гг.) повлекла за собой уже настоящую революцию, поскольку она оказалась разорительнее и позорнее, чем даже Крымская война, а социальные антагонизмы значительно острее, чем во время не только первой, но и второй революционных ситуаций. В условиях же начавшейся с 1914 г. мировой войны разразились в России одна за другой две революции — сначала демократическая, а затем и социалистическая.

Историографическая справка. Война 1877—1878 гг. между Россией и Турцией — явление большого международного значения, поскольку, она, во-первых, велась из-за восточного вопроса, тогда чуть ли не самого взрывоопасного из вопросов мировой политики, и, во-вторых, завершилась европейским конгрессом, который перекроил политическую карту в регионе, тогда едва ли не самом «горячем», в «пороховом погребе» Европы, как говорили о нем дипломаты. Поэтому естествен интерес к войне историков разных стран.

В русской дореволюционной историографии война изображалась так: Россия бескорыстно стремится освободить «братьев-славян» от турецкого ига, а корыстные державы Запада препятствуют ей в этом, желая прибрать себе территориальное наследство Турции. Такую концепцию развивали С.С. Татищев, С.М. Горяинов и особенно авторы официального девятитомного «Описания русско-турецкой войны 1877—1878 гг. на Балканском полуострове» (СПб., 1901—1913).

Зарубежная историография большей частью рисует войну как столкновение двух варварств — турецкого и российского, а державы Запада — как цивилизованных миротворцев, которые всегда помогали балканским народам бороться против турок интеллигентными средствами; а когда разгорелась война, они остановили избиение Турции Россией и спасли Балканы от российского владычества. Так трактуют эту тему Б. Самнер и Р. Сетон-Уотсон (Англия), Д. Харрис и Г. Рапп (США), Г. Фрейтаг-Лорингхофен (Германия).

Что касается турецкой историографии (Ю. Баюр, З. Карал, Э. Ураш и др.), то она пропитана шовинизмом: иго Турции на Балканах выдает за прогрессивную опеку, национально-освободительное движение балканских народов — за инспирацию европейских держав, а все войны, которые вела Блистательная Порта в XVIII—XIX вв. (включая войну 1877—1878 гг.), — за самооборону от агрессии России и Запада.

Объективнее других труды А. Дебидура (Франция), А. Тейлора (Англия), А. Шпрингера (Австрия)[1], где подвергнуты критике агрессивные расчеты всех держав — участниц войны 1877—1878 гг. и Берлинского конгресса.

Советские историки долгое время не уделяли войне 1877—1878 гг. надлежащего внимания. В 20-е годы о ней писал М.Н. Покровский. Он резко и остроумно обличал реакционную политику царизма, но недооценил объективно-прогрессивные последствия войны. Затем больше четверти века наши историки той войной не

[1] См.: *Дебидур А.* Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878). М., 1947. Т. 2; *Тейлор А.* Борьба за господство в Европе (1848—1918). М., 1958; *Springer A.* Der russisch-türkische Krieg 1877—1878 in Europa. Wien, 1891—1893.

интересовались, и только после вторичного освобождения Болгарии силой русского оружия в 1944 г. возобновилось в СССР изучение событий 1877—1878 гг. В 1950 г. вышла книга П.К. Фортунатова «Война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии» — интересная и яркая, лучшая из всех книг на эту тему, но небольшая (170 с.) — это лишь краткий обзор войны. Несколько подробнее, но менее интересна монография В.И. Виноградова[1].

Труд Н.И. Беляева[2], хотя и велик, подчеркнуто специален: *военно*-исторический разбор без должного внимания не только к социально-экономическим, но даже и к дипломатическим сюжетам. Такой же характер носит и коллективная монография «Русско-турецкая война 1877—1878 гг.», изданная в 1977 г. к 100-летию войны под редакцией И.И. Ростунова.

Советские историки обстоятельно исследовали причины войны, но в освещении хода военных действий, а также их результатов противоречили сами себе, *равно* заостряя агрессивные цели царизма и освободительную миссию царской армии. Аналогичными достоинствами и недостатками отличаются труды болгарских ученых (Х. Христова, Г. Георгиева, В. Топалова) по разным вопросам темы. Обобщающего исследования войны 1877—1878 гг., столь же капитального, как монография Е.В. Тарле о Крымской войне, все еще нет.

---

[1] См.: *Виноградов В.И.* Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1978.

[2] См.: *Беляев Н.И.* Русско-турецкая война 1877—1878 гг. М., 1956.

Восходящая фаза

Сохранение в России после 1861 г. коренных противоречий феодализма, обусловивших первую революционную ситуацию, с добавлением к ним противоречий растущего капитализма грозило стране революцией. Именно в этом смысле 1861 год, по выражению В.И. Ленина, «породил 1905-й». Неотвратимость революции засвидетельствовала и революционная ситуация 1879—1882 гг.— своеобразный промежуточный рубеж, исторический полустанок как раз на середине пути от 1861 к 1905 г.

Вторая революционная ситуация возникла через 20 лет после первой и, естественно, отразила социально-экономические и политические сдвиги в стране за эти годы. Если революционная ситуация 1859—1861 гг. сложилась на почве кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства, то вторая революционная ситуация — на более высоком уровне развития страны: было отменено крепостное право; господствующей системой хозяйства стал капитализм. Теперь борьба в России шла не из-за капитализма, а из-за пути капиталистического развития. Вопрос стоял так: победит ли так называемый прусский (юнкерский, помещичий) путь, при котором остатки крепостничества будут устраняться постепенно и медленно, посредством реформ (по этому пути уже повели Россию царизм и помещики); или же победит американский (фермерский, крестьянский) путь, при котором остатки крепостничества будут уничтожены посредством революции (на этот путь стремились повернуть Россию революционеры). Особенности второй революционной ситуации обусловили и своеобразие политической борьбы в 1879—1882 гг.

Все объективные признаки революционной ситуации (и кризис «верхов», и кризис «низов», и «экстраординарная активность» масс) к 1879 г. были в России уже налицо, хотя и с разной степенью проявления.

Крестьяне к концу 70-х годов были доведены до отчаяния. Они страдали от безземелья, поборов и повинностей. Земля распределялась тогда так, что на одно помещичье хозяйство приходилось в среднем по стране 4666 десятин, а на крестьянское — 5,2 десятины, причем сумма налогов с крестьян более чем вдвое превышала доходность крестьянских хозяйств[1]. К постоянным

[1] См.: *Янсон Ю.Э.* Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. СПб., 1877. С. 32—33, 58, 111—113.

бедствиям добавились временные: неурожай 1879 г. и голод 1880 г., разорительные последствия русско-турецкой войны. Вот как рисовал безысходность судьбы русского пореформенного крестьянина поэт, «Арион революционного народничества», П.Ф. Якубович:

...и пахарь, павший духом,
Над мертвой клячею стоит с слезой в очах.
И видит он вдали покинувшуюся хату,
Больные личики детей полунагих
И знает: каждый день сулит ему утрату,
Обиду новую, отраву слез немых.

Между тем царские власти относились к крестьянам по рецепту щедринского графа Твэрдоонто, который считал, что «недостаток изобилия» можно возместить усиленными экзекуциями. В результате терпение крестьян истощалось. Из года в год росло число их волнений: 1877 г.— 9, 1878 г.— 31, 1879 г.— 46[1]. Правда, теперь крестьянское движение было гораздо слабее, чем в годы первой революционной ситуации, когда число волнений крестьян выражалось ежегодно в сотнях и даже (в 1861 г.) тысячах. Начав реформы, царизм умерил — отчасти и ненадолго — накал «социальной войны» между крестьянами и помещиками. Получив юридическое право предъявлять жалобы, возбуждать судебные иски, прибегать к защите закона, крестьяне в первые десятилетия после реформы 1861 г. много сил и внимания отдавали легальным средствам воздействия на власть. Их писцы и ходоки адресовали во все мыслимые инстанции от «его благородия» мирового посредника до царского «величества» тысячи прошений. Большая же часть крестьянства страдала пассивно, как подметил это Н.А. Некрасов:

У каждого крестьянина
Душа, что туча черная —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А все вином кончается.

Тем не менее крестьянское движение как фактор второй революционной ситуации в России нельзя недооценивать. Дело не только и не столько в количестве волнений крестьян, хотя среди них были и очень крупные (как в 19 волостях Чигиринского и Черкасского уездов Киевской губернии с участием 40—50 тыс. душ), а 22 из них только за 1878—1880 гг. царизм подавил лишь с помощью войск. Дело состоит еще в том, что вся крестьянская Россия полнилась на рубеже 70—80-х годов слухами о скором и всеобщем переделе земли, которые создавали в деревне угрозу

[1] См.: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964. С. 10.

восстания. Главное же теперь, в отличие от 1859—1861 гг., в стране действовала общероссийская революционная организация (народников), выражавшая интересы крестьян и пытавшаяся поднять их на революцию. Поэтому для царизма крестьянское движение 1879—1882 гг. представляло собой едва ли меньшую, если не бóльшую опасность, чем в 1859—1861 гг. Мало того, в массовом движении 1879—1882 гг. появилось, наряду с крестьянским, новое — пролетарское — слагаемое, которого фактически не было в 1859—1861 гг.

Рабочий класс в России к концу 70-х годов должным образом еще не сформировался. Положение его было не менее бедственным, чем положение крестьянства. В 1873 г. народнический журнал «Вперед!» писал об орехово-зуевской фабрике Морозова: «До 10 тыс. рабочих заняты там, из них до 2 тыс. детей и подростков, из коих многим 7, 8 или 9 лет. Эти дети, обреченные заранее на смерть, обязаны вместе со взрослыми работать до 12 часов в сутки». Каторжный труд рабочих был тем более невыносимым, что жили они в нищете, кормились впроголодь. Газеты нередко печатали тогда корреспонденции вроде следующей (из «Русских ведомостей» от 30 января 1871 г.): «Артель рабочих из 12 человек на заводе Егорова употребляет в пищу обрубки кож, привозимых на завод для выделки. Найденный несъедобный остаток около 2 фунтов, темная изжаренная масса, состоит из сала, хрящей и ушей, обрезков кож с волосами и примесями мочал».

Немудрено, что в таких условиях рабочее движение к концу 70-х годов тоже нарастает: 1877 г.— 16 выступлений, 1878 г.— 44, 1879 г.— 54 (для сравнения: за все 60-е годы насчитано 51 выступление рабочих). Все чаще происходят крупные стачки с участием в каждой 2—3 тыс. рабочих. Только в 1879 г. было восемь таких стачек.

Рабочее движение обретало особую силу оттого, что оно, в отличие от крестьянского движения, было сравнительно организованным. Уже в 1875 г. был создан «Южнороссийский союз рабочих», а в 1878 — «Северный союз русских рабочих», т.е. первые политические организации рабочего класса России. Словом, рабочее движение составило важный фактор революционной ситуации 1879—1882 гг., фактор качественно новый, по сравнению с первой революционной ситуацией, и в перспективе еще более действенный и опасный для царизма, чем волнения крестьян. Но и рабочее движение в то время было еще слабым, захватив лишь верхушку рабочего класса. «Социальная война» рабочих против капиталистов только начиналась.

Своеобразие второй революционной ситуации заключалось в том, что решающей силой революционного натиска 1879—1882 гг. явилось не массовое (рабочее или крестьянское) движение, как

в 1859—1861 гг., а революционно-демократическое, народническое, выражавшее интересы масс. Именно революционная борьба народников, этот, как выразился Ф. Энгельс, «нож деятелей, приставленный к горлу правительства», главным образом и обусловил новый после 1859—1861 гг. кризис «верхов» в России.

В отчетном докладе за 1878 г. шеф жандармов еще мог утешать царя: «Общее положение дел, относящихся до распространения пропаганды в России, отменно серьезно, но *не безвыходно*». Доклады шефа жандармов за 1879 и 1880 гг. были уже безутешными. Кризис «верхов» год от года разрастался.

В начале революционной ситуации (1878—1879) царизм пытался пресечь нараставшую крамолу одними репрессиями. Только в 1879 г. он принял 445 законодательных актов полицейского назначения — это всероссийский рекорд XIX в. Через три дня после покушения А.К. Соловьева на Александра II, 5 апреля 1879 г. вся Россия была расчленена на 6 сатрапий (временных военных генерал-губернаторств), во главе которых встали временщики с диктаторскими полномочиями: сразу «шесть Аракчеевых». В дополнение к самодержцу всея Руси воцарились еще петербургский, московский, киевский, харьковский, одесский и варшавский самодержцы, которые соперничали друг с другом в деспотизме и жестокости. О петербургском генерал-губернаторе И.В. Гурко (герое русско-турецкой войны 1877—1878 гг.) Ф.М. Достоевский рассказывал, что ему «ничего не значит сказать: "я сошлю, повешу сотню студентов"». Киевский генерал-губернатор М.И. Чертков в течение апреля—августа 1879 г. ежемесячно подписывал по нескольку смертных приговоров. Еще большей жестокостью отличался одесский «Аракчеев» Э.И. Тотлебен (герой обороны Севастополя 1854—1855 гг. и осады Плевны в 1877 г.), который не скупился и на смертные приговоры, но главным образом ссылал всех «подозрительных» в места «не столь отдаленные» и «отдаленнейшие». По свидетельству М.Ф. Фроленко, высланных тогда «вагонами отправляли из Одессы».

Масштабы репрессий против «крамолы» при «шести Аракчеевых» превзошли все, что Россия испытала в этом отношении прежде за весь XIX век. Далеко не гуманный наследник престола, будущий Александр III, и тот в январе 1880 г. на заседании Государственного совета выбранил самоуправство генерал-губернаторов, которые, мол, «творят бог весть что», и признал, что империя оказалась «в положении, почти невозможном».

«Аракчеевы» Александра II действительно чинили карательный произвол. Но царизм стимулировал их усердие и чрезвычайным законодательством. Так, по закону от 9 августа 1878 г. генерал-губернаторы могли предавать военному суду народников, которые обвинялись в «вооруженном сопротивлении властям», а по закону от 5 апреля 1879 г.— обвиняемых в *любом* государст-

венном преступлении, будь то распространение или даже «имение у себя» запрещенных изданий[1].

Однако репрессии не доставляли царизму желанного умиротворения. На «белый» террор народники отвечали «красным» террором. Не утихало и массовое движение. Мало того, борьба народников расшевелила даже тяжелых на подъем русских либералов.

Буржуазия России к концу 70-х годов экономически была уже настолько сильной, что не могла больше мириться с ничтожностью своей политической роли и добивалась для себя политических привилегий, хоть приблизительно сообразных с ее экономическим весом. Но поскольку она росла под опекой царизма и привыкла бояться его и нуждаться в нем, ее домогательства облекались в лояльные формы. Либералы хотели бы не ликвидировать самодержавие, а лишь выторговать у него какую-нибудь конституцию, «хоть такую,— иронизировали народники,— какую имеют от царя зубры в Беловежской пуще», только бы оградить себя от крайностей деспотизма и произвола. Столь же умеренными были их социально-экономические требования: не ликвидировать помещичье землевладение, а лишь прирезать землю крестьянам за счет тех участков, которые были отрезаны у них помещиками в 1861 г., обеспечить минимально «достаточную норму» крестьянского надела и таким образом сгладить остроту социального антагонизма в стране, предотвратить такую крайность снизу, как возможное повторение «пугачевщины». «Лучше прирезать землю крестьянам, чем ждать, когда они нас прирежут»,— говорили либеральные помещики.

Под стать требованиям были и средства борьбы либералов — главным образом унаследованные от 50—60-х годов адреса на имя царя с верноподданническими ходатайствами. Но в условиях нового демократического подъема либералы стали беспокоить царизм ходатайствами чаще, настойчивее, а главное, осмелели настолько, что затеяли неслыханное ранее дело — нелегальное организационное оформление своей оппозиции. 1—2 апреля 1879 г. в Москве состоялся первый земский съезд. Здесь 30—40 левых либералов — «злонамеренных» (как язвил Щедрин), в отличие от «простодушных» правых, которые сами «не знали, чего им хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном»,— обсуждали идею создания собственного тайного общества для борьбы за конституцию и, хорошенько поразмыслив, единогласно... отвергли такую идею.

По сути дела, буржуазный либерализм противостоял в 70—80-е годы не только реакции, но и революции. Либералы вымогали у правительства уступки, во-первых, конечно, чтобы защитить свои интересы, а во-вторых, чтобы предотвратить революцию.

[1] См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. 53. Отд. 2. С. 90; Т. 54. Отд. 1. С. 298.

М.Н. Катков точно определил принципиальную разницу в позиции революционера и либерала тех лет: «Революционер говорит правительству: "Уступи, или я буду стрелять!"; а либерал говорит правительству: "Уступи, или он будет стрелять!"». Но, как бы то ни было, давление либеральной оппозиции дополняло революционный натиск на самодержавие и усугубляло кризис «верхов».

О том, как была накалена в 1879 г. обстановка в России, красноречиво свидетельствуют компетентные современники. «Вся Россия, можно сказать, объявлена в осадном положении»,— записывает в дневник 3 декабря 1879 г. военный министр Д.А. Милютин. «Все мечутся в страхе»,— вторит ему управляющий морским министерством адмирал И.А. Шестаков. «Просто в ужас приходишь от одной мысли, не на Везувии ли русское государство?» — жалуется сенатор Я.Г. Есипович. «Почва зыблется, зданию угрожает падение»,— заключает председатель Комитета министр П.А. Валуев.

После взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. правительственный лагерь пришел в смятение[1]. Придворная знать кликушествовала от страха. «Львояростный (по выражению Н.С. Лескова) кормчий» реакции М.Н. Катков хныкал: «Бог охраняет своего помазанника. Только бог и охраняет его». Царь и министры боялись, что 19 февраля (по случаю очередной годовщины падения крепостного права) революционеры поднимут восстание. Между 5 и 19 февраля царь никуда не выходил из дворца. Были даже отменены национальные празднества, назначенные на 19—20 февраля по случаю 25-летия царствования Александра II. Класс имущих со дня на день ждал новых взрывов и всеобщей «резни». «Люди состоятельные выезжали за границу, ценные вещи в домах зарывали в подвалы»,— свидетельствовали современники. «Страшное чувство овладело нами,— плакался наследник престола.— Что нам делать?!»

Решено было искать спасение от революции в диктатуре. Через неделю после взрыва, 12 февраля 1880 г., царизм учредил Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия из десяти самых хитроумных и находчивых (как сочли при дворе) сановников — орган, беспрецедентный в российской истории. Главным начальником комиссии был назначен граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Это был, бесспорно, самый хитроумный из царских вельмож той поры. Его таланты и заслуги впечатляли числом и разнообразием. В ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. он штурмом взял Карс, считавшийся неприступным, а два года спустя управился с эпидемией чумы в Поволжье, когда казалось, что

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг. М., 1978. Гл. 3.

уже никто не сможет с нею справиться, причем удивил всю Россию, вернув казне недорасходованные средства. Наконец, в 1879—1880 гг., будучи харьковским генерал-губернатором, Лорис-Меликов действовал достаточно энергично, чтобы заслужить одобрение правительства, и достаточно осмотрительно, чтобы не вызвать к себе особой ненависти революционеров, — словом, изловчился оказаться единственным из генерал-губернаторов, кого ИК «Народной воли» не включил в список приговоренных к смерти.

В феврале 1880 г. Лорис-Меликов заявил себя при дворе чуть не Христом-Спасителем. Он был наделен почти неограниченными полномочиями. «Ни один временщик — ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев — никогда не имели такой всеобъемлющей власти»,— вспоминал он позднее сам о себе. Высочайший указ от 12 февраля доверял ему «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми для охранения государственного порядка и общественного спокойствия как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи». Временных генерал-губернаторов Лорис-Меликов подмял под себя. На какое-то время перед ним стушевался даже самодержец всея Руси.

Таким образом, если институт временных военных генерал-губернаторов в 1879 г. означал заметную децентрализацию власти в империи, то с учреждением Верховной распорядительной комиссии царизм ударился в другую крайность — чрезмерную централизацию власти в руках некоронованной особы. Разумеется, обе крайности ущемляли принцип самодержавия и служили показателями его кризиса.

Смысл своей диктатуры Лорис-Меликов видел в том, чтобы создать благоприятные условия для победы над революцией посредством репрессий против революционеров одновременно с послаблениями по отношению к либералам, дабы привлечь последних на сторону реакции и таким образом изолировать революционный лагерь. В этом смысле он и действовал — расчетливо и ловко. С одной стороны, *втихомолку* расправлялся с революционерами: за 14 месяцев его диктатуры власти наскоро устроили 32 судебных процесса (почти все — в закрытом порядке) с 18 смертными приговорами. С другой стороны, Лорис-Меликов *шумно* творил либеральные послабления: обещал расширить права земства, хотя обещанием дело и ограничилось; назначил сенаторские ревизии для расследования чиновничьих злоупотреблений, хотя все злоупотребления сохранились; с помпой упразднил III отделение, хотя его функции не менее рьяно стал выполнять учрежденный без всякой помпы Департамент полиции; сместил с поста министра просвещения самого ненавистного из царских министров Д.А. Толстого, хотя А.А. Сабуров, заменивший его, продолжал толстовскую политику, и т.д.

Либералы пришли в восторг от нового правительственного курса. Правление Лорис-Меликова они окрестили «диктатурой сердца». Сам Лорис-Меликов слыл «бархатным диктатором». Харьковские толстосумы воздвигли в его честь триумфальную арку с надписью: «Победителю Карса, чумы и всех сердец». Популярность Лорис-Меликова в либеральных кругах достигла зенита, когда он (6 августа 1880 г.) распустил Верховную распорядительную комиссию и оставил себе внешне скромный пост министра внутренних дел, что означало лишь переименование диктатуры Меликова и превращение ее из временной в постоянную.

Однако революционеры не были обмануты новым курсом. Газета «Народная воля» нашла для диктатуры Лорис-Меликова точное определение: «лисий хвост — волчья пасть». В радикальных кругах ходила по рукам эпиграмма:

Мягко стелет — жестко спать:
Лорис-Меликовым звать.

«Диктатура сердца» не остановила революционной борьбы. Кризис «верхов» продолжался. 28 января 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II проект реформ, с помощью которых диктатор намеревался вызволить правительство из кризиса. В литературе этот проект часто фигурирует под названием «Конституция Лорис-Меликова». Смысл проекта сводился к образованию в лице «временных комиссий» (из чиновников и выборных от «общества») совещательного органа при Государственном совете, который сам был совещательным органом при царе[1]. Иначе говоря, так называемая конституция Лорис-Меликова вовсе не являлась конституцией, а лишь могла бы стать шагом к ней при удачном для оппозиции соотношении сил. «Все зависело от того,— резонно заключал В.И. Ленин,— что пересилит: давление ли революционной партии и либерального общества или противодействие партии непреклонных сторонников самодержавия».

Сначала все предполагало, что лорис-меликовский проект будет шагом к конституции. Царизм вынужден был уступать силе демократического натиска. «Да ведь это Генеральные Штаты!» — возмутился Александр II, прочитав «конституцию» Лорис-Меликова, но... одобрил ее и 1 марта 1881 г., за считанные часы до смерти, назначил на 4 марта заседание правительства для того, чтобы обсудить вопрос о предстоящей реформе. Дальнейший ход событий круто изменил соотношение сил.

1 марта 1881 г. «Народная воля» привела в исполнение смертный приговор Александру II. Около 2 часов 30 минут пополудни царь ехал из Михайловского дворца (ныне Русский

[1] Проект был опубликован через 36 лет: Русский архив. 1916. № 1. С. 5—12.

музей) в Зимний дворец через Екатерининский канал. В том месте, где теперь стоит церковь «Спас на крови», царскую карету ждали три бомбометальщика, которых расставила здесь Софья Перовская. Первым бросил бомбу Николай Рысаков. Бросил метко. Бомба разбила карету и ранила несколько казаков из царской охраны, но Александр II вылез из разбитой кареты цел и невредим. «Слава Богу, я уцелел!» — обрадовался он. Это были его последние слова. В следующее мгновение второй метальщик Игнатий Гриневицкий бросил свою бомбу оземь между собой и царем: бомба поразила обоих[1].

Цареубийство, дерзко анонсированное в революционной печати, дважды (19 ноября 1879 и 5 февраля 1880 г.) лишь чудом не удавшееся и наконец совершенное, как ужасался М.Н. Катков, «в столице империи, на публичном проезде, среди дня, в средоточии всех властей», повергло в транс правительственный лагерь. «Верхи» на время потеряли ориентацию и в первые дни действовали по принципу «спасайся, кто может!». 3 марта председатель Комитета министров П.А. Валуев предложил новому царю Александру III назначить регента на случай, если его тоже убьют. Царь обиделся и десять дней делал вид, что никогда не согласится на такое самоунижение, но 14 марта все-таки назначил регента (великого князя Владимира Александровича, своего брата), а сам, будучи не в силах более превозмочь страх перед вездесущими террористами, сбежал из Петербурга в Гатчину.

Там, в Гатчине, самодержец всея Великия, Малыя и Белыя Руси обрек себя на положение «военнопленного революции», как назвали его К. Маркс и Ф. Энгельс. Ничто, даже необходимость коронации, не могло заставить царя отлучиться из гатчинского бомбоубежища. Близкий ко двору генерал А.А. Киреев 7 апреля записывал в дневнике: «Царь сидит в Гатчине безвыездно, ничего не говорит, ничем о себе не заявляет». Между тем аристократический Петербург был в панике. «Положение, как ни взгляни, страшное»,— сокрушался официозный литератор Б.М. Маркевич. Катков и Победоносцев с прискорбием констатировали «маразм власти» [2].

Действительно, такой паники в «верхах», как в 1881 г., когда вся страна была объявлена на осадном положении, придворная знать жила в пароксизме страха, министры мрачно предрекали собственному режиму *падение,* один царь был убит, а другой бросил столицу и укрылся в предместном замке, где и прозябал чуть ли не в одиночном заключении, как «военнопленный революции»,— такого Россия не знала за все время правления

[1] Подробно см.: 1 марта 1881 г.: Казнь императора Александра II. Документы и воспоминания. Л., 1991.

[2] Московские ведомости. 1881. 16 апреля (передовая статья); Русский архив. 1907. № 5. С. 90.

династии Романовых ни раньше, ни позже вплоть до 1905 г. Другое дело, что в 1861 г. царизм пошел на бо́льшие уступки. Ведь в 1881 г., через 20 лет после отмены крепостного права, самодержавию, в сущности, уже нечего было уступать, кроме... самодержавия. Теперь ему приходилось, как заметил Ф. Энгельс, «уже подумывать о возможности капитуляции и об ее условиях». Если в 1859—1861 гг. царизм решал задачу «уступить и остаться», то теперь оказался перед вопросом «быть или не быть».

Таким образом, одна из двух главных функций «красного» террора», а именно дезорганизация правительства, «Народной воле» удалась. Момент был удобен для того, чтобы ударить по самодержавию и если не свергнуть его, то для начала вырвать у «верхов» уступки, более выгодные «низам», чем ублюдочная «конституция» Лорис-Меликова. Но в этот выигрышный момент у народовольцев не оказалось сил, которые можно было бы бро́сить в бой. Вопреки их ожиданиям, народные массы не всколыхнулись.

Революционное брожение в «низах» после цареубийства несколько усилилось. Рабочие и крестьяне начали осознавать неустойчивость власти и авторитета царя. Только за восемь месяцев 1881 г. (с 1 марта по 1 ноября) власти рассмотрели до 4000 дел об «оскорблении величества», т.е. в 3 раза больше обычного. В народе слышались красноречивые отклики вроде следующего: «Во имя отца убили отца, во имя святого духа — чтоб не было Романовых и духа». Но все это затронуло лишь ничтожно малую часть многомиллионных рабоче-крестьянских масс. Возбудить в них революционный подъем (что составляло вторую из двух главных функций «красного» террора) народовольцам не удалось. Крестьянское и рабочее движение в целом с 1880 г. уже шло на убыль. А либеральная оппозиция и после 1 марта ограничивалась по старинке одними ходатайствами.

Сама «Народная воля» переоценивала силу своего натиска и глубину кризиса «верхов». Колебания правительства она принимала за «последние предсмертные конвульсии»[1]. Даже трезвомыслящий Желябов считал в мае 1880 г., что «два-три толчка, при общей поддержке, и — правительство рухнет». Дело в том, что внешние признаки кризиса «верхов» (растерянность царя, министров и придворной камарильи) создавали у современников преувеличенное представление о глубине кризиса. Народовольцам казалось, будто смятение, начавшееся в верхнем этаже государственного устройства, свидетельствует, что революция назрела. Между тем опыт истории доказывает, что для революции необходим такой кризис «верхов», который охватывает весь фундамент государственного здания, а не тот или иной отдельный его этаж. Кризис «верхов» в России 1878—1881 гг. был еще не

[1] Так писала газета «Народная воля» в № 1 от 1 октября 1879 г. // Литература партии «Народная воля». М., 1930. С. 16.

настолько сильным, чтобы можно было говорить о «предсмертных конвульсиях» царизма.

1 марта 1881 г. явилось кульминационной вехой второй революционной ситуации в России. Оно завершило собой восходящую фазу демократического натиска. После 1 марта революционная ситуация еще сохранялась (до середины 1882 г.), но уже в нисходящей фазе.

Нисходящая фаза

1 марта 1881 г. в России начал царствовать новый, предпоследний самодержец Александр III. Идеалом правителя он считал не отца своего, Александра II, а деда — Николая I. Как и Николай, Александр III полагался на палаческий способ правления и (символическая деталь!) ознаменовал свое воцарение, точно по примеру деда, пятью виселицами.

Личность Александра III идеально олицетворяла собой все могущество и все убожество его царствования. Громадный и неуклюжий, с доисторическими манерами («бегемот в эполетах», по выражению лично знакомого с ним А.Ф. Кони), колосс в физическом отношении, Александр III был пигмеем в отношении умственном. Наследником престола он стал неожиданно, уже в зрелом возрасте (20 лет), после смерти старшего брата Николая. Поэтому к царским занятиям его своевременно не готовили, а сам он учиться не любил и остался на всю жизнь малообразованным. «Венценосный Митрофан», как назвала его революционная печать, он до вступления на трон так и не осилил ни орфографию, ни пунктуацию, писал с диковинными ошибками («идеот», «а вось», «при дерзския»), любил ставить, где надо и где не надо, букву «ять», а знаков препинания вообще не признавал, кроме восклицательных, которые он вбивал, как гвозди, по два-три-четыре кряду[1]. Даже симпатизировавший Александру III граф С.Ю. Витте вынужден был признать, что царь имел «сравнительно небольшое образование» и «небольшой ум рассудка», хотя и отличался (здесь Витте подарил царю неумеренный комплимент) «громадным, выдающимся умом сердца». Другой сподвижник Александра III военный министр П.С. Ванновский сказал о нем: «Это был Петр со своей дубинкой» — но тут же поправился: «Нет, это одна дубина без Великого Петра, чтобы быть точным».

В обыденной жизни новый царь держался на среднем уровне здравого смысла, причем был достаточно самокритичен, если не

[1] Газета народников-эмигрантов «Общее дело» в 1878 г. (№ 12. С. 9) заметила, что Александру III, как никому другому, оказался под стать титул «цесаревича» — безграмотная славянская форма от латинского слова caesar, напоминающая «того латиниста, который бабу называл по-латыни "бабусом"».

считать того, что он мнил себя остряком и под видом острот потчевал собеседников такими скабрезностями, которые, как подметил один из его адъютантов, вогнали бы в краску любого зулуса или готтентота. Вообще, как личность, Александр III имел и привлекательные черты: в противоположность своим предшественникам-самодержцам, он был образцовым семьянином, не имел (в отличие от отца, деда, дядей и братьев) «никаких эротических замашек», не любил интриганов и подхалимов. «Первый миллиардер вселенной», по выражению М.Н. Покровского, он был скромен в быту, экономно носил залатанные штаны, первым из русских царей с XVII в. демократически отрастил себе бороду. Но государственного ума ему явно недоставало. Это упущение природы восполнял политический наставник царя, обер-прокурор Синода («русский папа», как называли его в Европе) Константин Петрович Победоносцев.

Насколько Александру III не хватало ума и образования, настолько Победоносцев — профессор права Московского университета, почетный член еще пяти университетов и Французской академии — был умен и образован. Но премудрый Победоносцев наставлял ограниченного Александра III на тот путь, куда и по субъективным качествам, и по объективным условиям склонялась воля царя — к реакции. Оба они — Победоносцев и Александр III — хорошо иллюстрируют афоризм Д.С. Милля: «Не все консерваторы — дураки, но все дураки — консерваторы».

Девиз Победоносцева был прост: «Осади назад!» Он выступал не только против каких бы то ни было реформ в будущем, но и за то, чтобы отменить все реформы прошлого, полагая, что «злое семя» революции «можно вырвать только железом и кровью». Какой-либо позитивной программы Победоносцев никогда не имел. По словам Витте, он вообще «ко всему относился критически, а сам ничего создать не мог. Замечательно, что этот человек не в состоянии был ничего воспроизвести ни физически, ни умственно, ни морально». Его консерватизм был столь закоснелым, что консервативно мыслящий К.Н. Леонтьев сказал о нем: «непроветренная гробница». В наши дни Р. Пайпс верно определяет: «В Победоносцеве, незримой руке за троном Александра III, консерватизм обрел своего Великого Инквизитора».

Революционеры сочинили злую эпиграмму на Победоносцева:

Победоносцев для Синода,
Обедоносцев при дворе,
Он Бедоносцев для народа,
Доносцев просто при царе.

Пожалуй, так выглядел Победоносцев при Николае II. В царствование же Александра III его роль была значительно большей. Он правил царем, руководил им, как поводырь руководит

слепым. В 80-е годы его влияние было наиболее гнетущим и въедливым. То было время, когда, по словам Александра Блока,

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

«Русский папа» был вождем реакционной партии, которая подпирала собой трон Александра III. Эта партия, едва очнувшись от первомартовской контузии, выступила против лорис-меликовского режима с намерением повернуть штурвал правительства вправо до отказа. 8 марта 1881 г. состоялось историческое, «погребальное» обсуждение «конституции» Лорис-Меликова в Совете министров. Гвоздем обсуждения стала громовая речь Победоносцева, начавшаяся трагическим воплем: «Finis Russiae!» Победоносцев убеждал царя в том, что Лорис-Меликов навязывает России конституцию, а конституция погубит Россию. Он бил не только на государственный разум, но и на личное чувство царя: простирая руки к портрету Александра II, восклицал: «Кровь его на нас!» Лорис-Меликов и солидарные с ним воротилы либеральной бюрократии (в первую очередь военный министр Д.А. Милютин) настаивали на конституционных уступках, чтобы спасти Россию от революции.

Тон совещания 8 марта был таков, что для всех стала очевидной скорая политическая смерть и самого Лорис-Меликова, и его «конституции». Однако решения — смертного приговора «конституции» — вынесено не было. Царь, безусловно, симпатизировал Победоносцеву. Все сказанное «русским папой» на совещании он разделял и вскоре заявил петербургскому градоначальнику: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?!» Тем не менее напряженная обстановка в стране, мнение таких авторитетов, как Лорис-Меликов и Милютин, и собственный страх пока удерживали царя от провозглашения открытой реакции.

К тому же 10 марта Исполнительный комитет «Народной воли» предъявил Александру III письмо-ультиматум[1]. «Вы потеряли отца,— говорилось в письме.— Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от вас». Письмо ставило царя перед выбором: либо добровольное отречение от самодержавия, либо «революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями». Как «единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития», ИК предлагал созвать «представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни». Содер-

[1] Текст его см. в кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX в. Сб. документов. М., 1965. Т. 2. С. 191—195.

жание и самый тон этого письма говорили, что «Народная воля» уверена в своих силах.

Итак, правительство колебалось: одни тянули вправо, к репрессиям, другие — влево, к послаблениям. Политику царизма после 1 марта П.А. Валуев метко назвал «эрратической» (от латинского «errare» — блуждать). Между тем выяснялось, что революционный лагерь, по-видимому, не так силен, как считали «верхи», и что «крамола» идет на убыль. Все участники цареубийства к 17 марта были уже в руках полиции. След полицейским ищейкам указывал Николай Рысаков, который на воле держался героем, а в неволе струсил и выдал всех и вся.

Шесть первомартовцев (А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Г.М. Гельфман, Т.М. Михайлов и Рысаков) были преданы суду по обвинению в цареубийстве. Прокурором на суде выступал Н.В. Муравьев (позднее, при Николае II, министр юстиции) — друг детства Софьи Перовской. Теперь именно он требовал повесить Перовскую в первую очередь. Демократическая общественность России и Запада (в частности, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Виктор Гюго) пыталась спасти первомартовцев. Но реакция жаждала крови. Победоносцев написал Александру III, что его «приводит в ужас» мысль о возможном помиловании Желябова и Перовской. «Будьте спокойны,— утешал «русского папу» царь.— Что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь»[1].

Гесе Гельфман ввиду ее беременности казнь *отсрочили* до рождения ребенка, а всех остальных повесили 3 апреля 1881 г. в Петербурге, на Семеновском плацу, где 32 года назад была инсценирована казнь над Ф.М. Достоевским и его товарищами-петрашевцами.

Показательно, что 3 апреля 1881 г., как и 13 июля 1826 г., казнили пятерых. Но тогда все пятеро декабристов были дворянами, что естественно для дворянского этапа освободительного движения в России. Первомартовцы же представляли собой различные социальные слои: дворянка Перовская, сын священника Кибальчич, мещанин Рысаков, рабочий Михайлов, крестьянин Желябов, что символизировало разночинский этап освободительного движения.

Казнь 3 апреля 1881 г. стала последней в России публичной казнью. Проделана она была варварски (как, впрочем, и казнь декабристов). Тимофея Михайлова за какие-нибудь четверть часа повесили три раза, так как дважды, уже повешенный, он срывался с виселицы. Всю Европу обошла тогда фраза немецкого корреспондента: «Я присутствовал на дюжине казней на Востоке, но никогда не видел подобной живодерни».

[1] К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. 1. Ч. I. С. 43, 47.

После казни первомартовцев истекла неделя, вторая, третья. Революционный лагерь не предпринимал каких-либо решительных акций. Александр III воспрянул духом. Победоносцев настойчиво склонял его провозгласить особым манифестом курс на «твердую власть», предлагая в качестве образцов манифесты Николая I от 19 декабря 1825 г. (по случаю разгрома восстания декабристов) и от 13 июля 1826 г. («в честь» казни вождей декабризма). Царь осторожничал. Тогда «русский папа» сам написал манифест и предъявил его царю. Тот одобрил. Так родился царский манифест от 29 апреля 1881 г.

Манифест перечеркивал все надежды либералов на конституцию и объявлял волю царизма «утверждать и охранять» самодержавную власть «от всяких на нее поползновений»[1], т.е. провозглашал сакраментальный принцип самовластия, формулированный сатирическим героем Глеба Успенского будочником Мымрецовым как «тащить и не пущать!». Все это подкреплялось авторитетом Всевышнего: «Богу в неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученическою кончиною, *а на нас* возложить священный долг самодержавного правления». После этого Александра III в обществе стали звать «ананас».

«Lasciate ogni speranza (Оставьте всякую надежду — *ит.*) — вот сущность нового манифеста,— гласит запись в дневнике Д.А. Милютина.— <...> Все надежды отнимаются у людей благомыслящих на постепенное движение к лучшему, к более совершенному государственному устройству <...> Сколько людей, надеявшихся на достижение со временем, мирным путем, более желанных целей, теперь отшатнутся от нас и примкнут к массе, сочувствующей революционерам». Вслед за обнародованием манифеста от 29 апреля Лорис-Меликов и Милютин получили отставку. Новым главой правительства 4 мая был назначен граф Н.П. Игнатьев. Кстати, и во главе Государственного совета вместо умного, но либерально настроенного великого князя Константина Николаевича царь поставил другого своего дядю, недалекого, зато консервативного Михаила Николаевича — бывшего наместника Кавказа, того самого, который когда-то, еще в 60-е годы, в Париже произвел «лошадиное» впечатление на императрицу Франции.

Царизм в то время хотя и провозгласил прямую реакцию, вершить ее пока еще не мог. Он собирался для начала заняться отвлекающими маневрами, чтобы мобилизовать все свои ресурсы и затем уже наверняка «тащить и не пущать». Словом, требовался на время политический камуфляж, а по этой специальности никто в России (может быть, и в Европе) не шел в сравнение с Николаем Павловичем Игнатьевым. Бывший посол в Турции, понаторевший

[1] ПСЗ. СПб., 1885. Собр. 3. Т. I. С. 54.

на дипломатическом шулерстве, авантюрист по призванию, демагог и краснобай по натуре, из породы людей, о которых на Востоке говорят: «Кудахчет, а не несется»,— Игнатьев был виртуозом лжи. Он *лгал* по всякому поводу и без повода, *лгал* так много и с таким неподражаемым мастерством, что даже в Константинополе, где дипломаты *лгали,* пожалуй, больше, чем где бы то ни было, Игнатьев всех затмевал по этой части (его и называли там не без почтения: *«лгун-паша»*).

Получив власть, Игнатьев и в России стал насаждать, как тогда говорили, «константинопольский режим», т.е. повел двусмысленную политическую игру, рассчитанную на то, чтобы сбить с толку оппозицию, посеять в ней иллюзии, разрядить таким образом социальную напряженность в стране и тем временем подготовить решающий удар по «крамоле». Главным образом он всем — направо и налево — обещал (лгал, другим словом), но кое-что из обещанного выполнял — к этому вынуждал его продолжавшийся, уже на ущербе, кризис самодержавия.

Так, в Петербурге широковещательно заседал Совет 20-ти *выборных* при градоначальнике Н.М. Баранове («бараний парламент»). Он имел целью привлечь общество к борьбе с «крамолой» и избирался таким образом, что первым по числу голосов попал в него бывший градоначальник столицы Ф.Ф. Трепов — тот, в которого стреляла Вера Засулич, сановный башибузук, с трудом постигавший азы русской грамоты (в слове из трех букв делал 4 ошибки: «исчо», вместо «еще»), солдафон до такой степени, что даже на похоронах Александра II он по привычке командовал траурному эскорту: «Смотри веселей!»

В то время как русское общество потешалось над несуразностью «бараньего парламента», всячески обыгрывая подпись его «спикера» («председатель Совета 20-ти Баранов»), Игнатьев осуществлял и серьезные акции. 28 декабря 1881 г. последовал указ о понижении выкупных платежей и о прекращении с 1 января 1883 г. временнообязанного состояния крестьян. Более того, 18 мая 1882 г. был принят закон об отмене подушной подати, которую ввел еще в 1724 г. Петр I,— теперь вместо нее вводился более цивилизованный налог с имущества. Правда, этот закон вступал в силу лишь с 1 января 1887 г., т.е. через 5 лет после того, как он был объявлен, но Игнатьев объявил и красочно разрекламировал его.

В том же 1882 г. министерство Игнатьева занялось устройством кредита крестьянам. Был основан Крестьянский банк для выдачи долгосрочных ссуд на покупку частновладельческих земель. Эта мера, которую Игнатьев изображал как благодеяние для крестьян, в действительности была более выгодной для государства, поскольку давала возможность крестьянам исправно платить налоги в казну. Ведь крестьяне тогда были так разорены непосильными поборами, что даже «удвоенный комплект

исправников» (по рецепту графа Твэрдоонто) не мог взыскать с них накопленных недоимок, ибо, как гласит народная мудрость, «с нагого и семерым штанов не снять».

А больше всех выигрывали от операций Крестьянского банка... помещики. Дело в том, что ссуды предоставлялись крестьянам только в том случае, если крестьяне покупали земли у помещиков (чтобы крестьянские деньги текли в помещичий карман). Цены же на землю, которая перепродавалась через посредство Крестьянского банка, были почти вдвое выше ее среднерыночной стоимости (в 1883 г. одна десятина стоила по рыночной цене 27 руб. 52 коп., а через Крестьянский банк обходилась в 52 руб. 38 коп.). М.Н. Покровский справедливо заметил, что учреждение Крестьянского банка «лишь по наружности было «крестьянской реформой», на деле и эта «реформа» была дворянская».

Все вообще «реформы» Игнатьева внешне очень походили (своей ограниченностью) на «реформы» Лорис-Меликова, однако между ними была принципиальная разница в происхождении и сущности. В.И. Ленин как многоопытный политик отличал «реформы восходящей линии» политического кризиса от тех реформ, «которые знаменуют нисходящую линию политического развития, когда кризис миновал, буря пронеслась, и оставшиеся господами положения приступают к осуществлению своей программы». Лорис-Меликов затевал реформы первого типа, Игнатьев — второго.

Умиротворяя своими «реформами» либералов, Игнатьев в то же время делал все возможное для искоренения «крамолы». Царизм давно уже пустил в ход против революционеров все способы подавления. Министерство Игнатьева полагалось в этом не столько на силу, сколько на вероломство. Никогда ранее шпионаж и провокация не расцветали в России так пышно, как в 1881—1883 гг. Именно в те годы царизм превзошел своими провокационными достижениями Вторую империю во Франции, время которой считалось «золотым веком» провокации.

Во главе политического розыска Игнатьев поставил Г.П. Судейкина — одного из самых изощренных мастеров провокации за всю историю России. Судейкин завербовал к себе в агенты члена военного центра «Народной воли» С.П. Дегаева, морально выпотрошил его и прельстил поистине сатанинским планом: Дегаев должен был при содействии жандармской охранки устранить старых революционеров и заново скомплектовать террористическое подполье, в котором он стал бы диктатором, а затем Судейкин и Дегаев вдвоем возглавили бы страну, чередуя то убийства правителей России (руками террористов), то расправу с убийцами (руками охранки) и приводя в повиновение правительство террором, а террористов — охранкой.

Последствия *дегаевщины*, как называют эту провокацию в литературе (точнее было бы назвать ее *судейкинщиной*), были

грандиозны[1]. Дегаев выдал охранке руководителей ИК «Народной воли» и ее Военного центра, а также все местные (более чем в 40 городах) военные группы народовольцев. К весне 1883 г. от ИК и его Военной организации почти не осталось камня на камне. Правда, сам Дегаев испугался последствий своего предательства и летом 1883 г., будучи по делам охранки в Париже, покаялся там перед заграничными представителями ИК, купил у них себе жизнь ценой убийства Судейкина; затем вернулся к Судейкину уже как агент ИК. 16 декабря 1883 г. он заманил шефа охранки к себе домой, где его прикончили двое народовольцев. Дегаев же после этого скрылся в США и там сделал карьеру от грузчика до профессора математики (под именем Александра Пелла). В США он и умер в 1920 г.

Дегаевщина (это, как о ней говорили, «полицейско-революционное кровосмешение») — не единственный шедевр карательной изобретательности режима «лгун-паши». Другим такого же рода шедевром была пресловутая «Святая (или «Священная», как ее иначе называют) дружина». Она сформировалась летом 1881 г. и действовала до начала 1883 г. как *тайное* общество искоренения «крамолы» по принципу «клин — клином». В нее вошли 729 персон, преимущественно из «верхов»: два, если не четыре, брата царя (великие князья Алексей и Владимир, а возможно, еще Сергей и Павел), друг Александра III министр двора И.И. Воронцов-Дашков, московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков, будущие председатели Совета министров С.Ю. Витте и Б.В. Штюрмер, генералы и адмиралы, «короли» прессы во главе с М.Н. Катковым, «зубры» купечества, светские хлыщи. Приглашали туда и М.Д. Скобелева, но тот отказался, заявив, что присягнул не вступать ни в какие «тайные общества».

«Дружина» была энергичной, но бестолковой. Она рассчитывала запустить свои щупальца в революционный лагерь и дезорганизовать его, но, не имея сыскной квалификации, действовала на авось: всюду шпионила, всех подозревала, ввязывалась в аферы. Тайна «Дружины» скоро открылась и стала притчей во языцех. Щедрин высмеял ее в своих «Письмах к тетеньке» как «клуб взволнованных лоботрясов». Сама «Дружина» слишком разрослась и обнаглела. Поэтому Александр III повелел распустить ее[2].

Борьба министерства Игнатьева с «крамолой» не исчерпывалась отдельными кампаниями, как бы изобретательны они ни были. Именно это министерство выработало законодательные основы карательной политики самодержавия на 36 лет вперед. 14 августа

---

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* Дегаевщина // Вопросы истории. 1976. № 3.

[2] Большая монография М.К. Лемке «Святая дружина», оставшаяся неопубликованной, хранится в РО ИРЛИ, ф. 661, д. 16.

1881 г. царь утвердил подготовленное под редакцией Игнатьева «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (иначе — «Положение об охране»), которое, как признал директор Департамента полиции А.А. Лопухин, ставило «все население России в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции». Принято оно было на 3 года как чрезвычайная мера, но каждый раз по истечении срока возобновлялось — вплоть до крушения царизма. По язвительному определению В.И. Ленина, это и была «фактическая российская конституция».

Согласно этой «конституции», министр внутренних дел и генерал-губернаторы (там, где они были) получили право объявлять любой район страны «на исключительном положении». Если же такое положение объявлялось, губернские власти могли воспрещать, закрывать, увольнять, арестовывать кого угодно и что угодно без суда и следствия. Все это беззаконие становилось законным при одном, весьма произвольном условии: если министр внутренних дел или какой-нибудь генерал-губернатор сочтет недостаточным «для охранения порядка применение действующих постоянных законов»[1]. Разумеется, такая оговорка открывала простор для безудержного произвола властей, поскольку губернаторами обычно являлись люди, которые, по выражению либерала-земца И.П. Белоконского, на всех жителей губернии смотрели «как на необнаруженных государственных преступников» и старались только их обнаружить. Наблюдательный француз А. Леруа-Болье не без оснований заметил, что отныне в России «губернаторы были облечены всеми правами, которые обыкновенно принадлежат главнокомандующему во вражеской стране»[2].

Период отступления царизма к открытой реакции завершился весной 1882 г. К тому времени Игнатьев уже стал для царя и Победоносцева «третьим лишним». «Мавр» сделал свое дело и должен был уйти, тем более что он по своей привычке обманывать всякого, с кем имел дело, попытался обмануть самого Победоносцева и возвыситься над ним. Оказалось, что ко дню коронации Александра III Игнатьев готовил (втайне от Победоносцева) безгласное, чисто декоративное сборище под историческим названием «Земский собор». «Лгун-паша» пытался внушить царю, будто «при виде собора» революционеры, «пораженные смелою решимостью правительства, <...> остановят свою теперешнюю пропаганду «словом и фактом» и будут с нетерпением ждать, что скажут царю призванные им земские люди. А так как для себя и своего дела они от Земского собора ничего, кроме ужаса,

[1] ПСЗ. Собр. 3. Т. I. С. 262.

[2] *Leroy-Beaulieu A.* L'empire des tsars et les russes. P., 1882. P. 151.

негодования и беспощадного осуждения, не дождутся, то им и останется одно — сложить оружие»[1].

По мысли Игнатьева, Александр III для большего эффекта должен был обнародовать манифест о созыве «земских людей» 6 мая 1882 г.— в день 200-летия последнего настоящего Земского собора в России. Царь, однако, 4 мая показал проект манифеста Победоносцеву, тот ужаснулся сам и привел в ужас царя, заявив ему: «Это будет революция, гибель правительства и гибель России!» Перепуганный царь послал к Игнатьеву записку: «Вместе мы служить России не можем. Александр».

30 мая 1882 г. правительство возглавил граф Дмитрий Андреевич Толстой — личность, самая ненавидимая в России XIX в. после Аракчеева, гонитель освободительного движения, демократической мысли, просвещения и культуры. О нем еще в 1866 г. великий историк С.М. Соловьев сказал: «Как я на него взглянул, так у меня и руки опустились. Вы не можете себе представить, что это за гнусная фигура!» Даже такой консерватор, как барон М.А. Корф, с отвращением говорил о Толстом: «Он вскормлен слюною бешеной собаки». Ненависть Толстого к революционерам доходила до умопомешательства — в буквальном смысле: по крайней мере, дважды (в 1872 и 1885 гг.) он от избытка усердия в борьбе с «крамолой» на время терял рассудок, что выражалось у него курьезно и однообразно. Толстой вдруг воображал себя лошадью и кричал за обедом в каком-нибудь фешенебельном ресторане: «Человек! Порцию сена!» Любопытно, что ругал он революционеров не как-нибудь, а «психопатами».

Родовитейший дворянин (правнук знаменитого дипломата П.А. Толстого, который в 1718 г. выманил из Неаполя и доставил в Россию на суд и казнь царевича Алексея), ученый историк и философ, с 1882 г. президент Академии наук, Дмитрий Толстой стал достойным партнером другого ученого мракобеса — К.П. Победоносцева.

Еще памятен был общероссийский восторг от недавнего удаления Толстого с поста министра просвещения — этот акт Лорис-Меликов устроил вроде «красного яичка» под Пасху 1880 г. (в то пасхальное утро россияне приветствовали друг друга вместо традиционного «Христос воскрес!» по-новому: «Толстой сменен!»). Теперь же Толстой вновь получал власть, даже еще большую, чем прежде. Мыслящая Россия возмутилась, карающая возликовала. Михаил Катков трубил в своей газете: «Имя графа Толстого само по себе уже есть манифест и программа!» Так оно и было. «Манифест и программа» Толстого означали не что иное, как тот «принцип управления», который один из корреспондентов Победоносцева формулировал так: «Цыц, молчать, не сметь, смирно!»

[1] Н.П. Игнатьев — Александру III (ГА РФ, ф. 730, оп. 1, д. 1530, л. 2 об.).

Назначение Толстого главой правительства свидетельствовало о том, что царизм вышел из кризиса. В середине 1882 г. «Народная воля» была уже обескровлена и обезглавлена, ее Исполнительный комитет фактически перестал существовать (из всех его членов на свободе оставалась одна Вера Фигнер). Царизм, благодаря агентуре Г.П. Судейкина, своевременно узнал об этом. Другая народническая организация — «Черный передел» — под ударами царизма распалась. Рабочее и крестьянское движение серьезной опасности для самодержавия тогда не представляло. Что же касается движения либералов, то оно при «бархатном диктаторе» и «лгун-паше» совершенно заглохло. Таким образом, вторая революционная ситуация закончилась.

Исход

Итак, вторая в России революционная ситуация, признаки которой начали обнаруживаться с весны 1878 г., к 1879 г. была уже налицо и до марта 1881 г. развивалась по восходящей линии. Ее кульминационной вехой стало цареубийство 1 марта 1881 г. После 1 марта началась ее нисходящая фаза: волна революционного прибоя постепенно спадала, а царизм собирался с силами и выходил из кризиса. К середине 1882 г. реакция перешла в решительное контрнаступление.

Вторая революционная ситуация не переросла в революцию, как и первая, главным образом из-за слабости массового движения, из-за отсутствия класса, способного поднять массы, возглавить их и повести за собой. Ни буржуазия (как это было во Франции 1789 г.), ни пролетариат (как это будет в России 1917 г.) тогда, на рубеже 70—80-х годов, для такой роли еще не созрели, а многомиллионное российское крестьянство было столь придавлено экономически и унижено политически, что могло лишь бунтовать — стихийно, локально, беспорядочно. Слабость массового движения, с одной стороны, объективно выдвигала тогда революционную *партию* (народовольцев) на первый план как решающую силу, а с другой — обрекала ее, лишенную поддержки масс, на поражение. Партия взяла на себя роль, посильную только для целого класса, взяла и — не осилила.

Другой причиной неудачи народовольцев была теоретическая несостоятельность доктрины, которую они исповедовали (революция мыслилась как социалистическая, хотя она в то время могла быть только демократической, причем вершителями ее считались крестьяне, которые на это были не способны). К тому же «красный» террор, взятый народовольцами на вооружение, не только не возбудил, вопреки их расчетам, крестьянские массы, но и отшатнул от них (именно как от террористов) либеральное общество. Это сузило социальную базу «Народной воли» и ускорило ее гибель.

Общепринятый в советской историографии тезис В.И. Ленина о том, что «революционеры исчерпали себя 1-м марта» (по существу верный), нельзя понимать буквально. «Народная воля» и после 1 марта сохранила значительную часть своих сил, а затем, пополняя их, еще долго, до конца 80-х годов, продолжала борьбу. Но возместить понесенные в связи с «охотой» на царя материальные (гибель основного ядра «Великого ИК») и моральные потери (крах расчетов на то, что цареубийство повлечет за собой взрыв революционной активности масс) она уже не могла. В результате победила реакция.

В контексте анализа событий 1879—1881 гг. просто решается спорный вопрос об историческом месте партии «Народная воля»: как главный фактор второй революционной ситуации «Народная воля» со всеми ее достоинствами и недостатками знаменовала собою высший этап народнического движения. Бытующее у нас мнение (академиков М.В. Нечкиной, И.Д. Ковальченко и др.), будто во второй половине 70-х годов революционное народничество переживало не восходящий, а нисходящий период своего развития, противоречит логике истории второй революционной ситуации. Ведь если считать народовольчество уже нисходящим этапом народнического движения и учитывать к тому же, что борьба рабочих и крестьян даже в момент ее относительного подъема на рубеже 70—80-х годов оставалась еще очень слабой, то как объяснить, из чего сложился в 1879—1881 гг. (как раз в годы «Народной воли»!) революционный натиск? Почему вдруг царизм именно в те годы стал подумывать о возможности капитуляции? И перед кем?

Видимо, в поисках ответа на эти вопросы И.Д. Ковальченко выдвинул тезис, первая часть которого исключает вторую: «Деятельность народовольцев представляла собой уже нисходящий этап в истории революционного народничества. Но это, разумеется, не означало спада общего накала революционного движения»[1]. Слабый накал крестьянского и рабочего движения 70—80-х годов удостоверен фактами. По мнению автора цитируемой книги, и народовольческое движение было ущербным. Спрашивается, откуда же, за чей счет рос тогда «общий накал» революционной борьбы?

Распространенная в русской либеральной (до 1917 г.) и современной зарубежной литературе мысль о том, что революционеры своим экстремизмом заставили царское правительство свернуть с пути реформ Александра II к контрреформам Александра III, ошибочна. Именно революционеры, как, впрочем, и либералы, всегда толкали царизм к реформам. Половинчатость реформ 60-х годов подсказала им вывод о том, что самодержавие не пойдет на более радикальное преобразование России. Поэтому

[1] В.И. Ленин и история классов и политических партий в России. М., 1970. С. 81.

они решили свергнуть его, но, даже казнив Александра II, предлагали Александру III (в письме ИК от 10 марта 1881 г.) добровольно созвать народное представительство «для пересмотра» существующих форм государственности и обязывались при этом условии не оказывать «никакого насильственного противодействия правительству». Однако царизм и подпиравшие его собою реакционные силы, уступив в 60-е годы, далее руководствовались девизом Победоносцева: «Осади назад!» От М.Н. Муравьева-Вешателя и П.А. Шувалова они вели страну по реакционному курсу, а *любую* оппозицию подавляли.

«Конституция» Лорис-Меликова была новой, сугубо вынужденной и очень малой уступкой со стороны царизма, которая обозначила момент относительного равновесия противоборствующих сил. Вопрос о том, приведет ли эта уступка к настоящей конституционной реформе или будет взята назад, зависел от дальнейшего соотношения сил. Если бы антиправительственная оппозиция смогла усилить давление, она заставила бы царизм согласиться на конституцию (хотя бы и ограниченную), которая достойно и выигрышно для России увенчала бы цикл «великих реформ» 60-х годов и сделала бы их действительно *великими*. Но верх взяла реакция и принялась осуществлять то, к чему она стремилась и что планировала заранее, т.е. контрреформы.

Как бы то ни было, демократический натиск 1879—1882 гг. стал важной вехой в истории русского освободительного движения. Он вырвал у царизма много уступок в различных областях политики, экономики, культуры. Наиболее крупными из них были уступки в крестьянском вопросе: упразднение временнообязанного состояния крестьян, отмена подушной подати, снижение (примерно на 30 % по стране) выкупных платежей, одновременное сложение 14 млн. руб. безнадежных недоимок, учреждение Крестьянского банка. В рабочем вопросе царизм вынужден был положить начало фабричному законодательству (1 июня 1882 г. вышел закон об ограничении детского труда и введении фабричной инспекции). Из политических уступок, вырванных революционным подъемом, царизм одни взял обратно (например, «конституцию» М.Т. Лорис-Меликова), но другие оставил: было ликвидировано III отделение, освобожден из сибирской ссылки Н.Г. Чернышевский. В области культуры примечательны отставка весной 1880 г. министра просвещения Д.А. Толстого и начавшийся пересмотр реакционнейших толстовских школьных правил, отмена 24 марта 1882 г. монополии императорских театров, воссоздание (с 1879 г.) грузинского и начало (с 1882 г.) украинского профессионального театра.

Но дело не в этих конкретных (разумеется, весьма ограниченных) уступках. Дело в том, что освободительное движение вступило в новый, решающий фазис своего развития. Во-первых, теперь определилась в стране более зрелая расстановка социальных

и политических сил. Либеральная буржуазия еще раз после 1859—1861 гг. доказала свою слабость. Революционные демократы как выразители интересов народных масс убедились, что для победы революции совершенно необходима не только и даже не столько в теории, сколько практически, опора на массы. В массовом движении как самостоятельный, качественно новый фактор революционной ситуации выделилась борьба рабочих и начала выдвигаться на первое место по значению. Таким образом, реальнее и яснее стали перспективы вызревания революции в России — революции демократической. Установилась даже — и в сущности, и в протяженности — своего рода цикличность развития страны к грядущим потрясениям: через 20 лет после первой революционной ситуации — вторая, еще через 20 лет — третья революционная ситуация и первая революция. Это — во-первых.

Во-вторых, революционная ситуация 1879—1882 гг. явилась итоговой проверкой теоретической доктрины народничества на практике и воочию показала, что народничество как руководящая теория в условиях новой расстановки социально-политических сил уже несостоятельно. Тем самым опыт второй революционной ситуации ускорил переход русских революционеров от народничества к социал-демократии. Новая доктрина, судя по тому, как она уже зарекомендовала себя в Европе, была более целесообразной и перспективной. К несчастью для России, здесь она приняла отличную от западной социал-демократии экстремистскую форму большевизма.

Историографическая справка[1]. Российские профессиональные историки до 1917 г. не изучали революционную ситуацию 1879—1882 гг. как таковую. Не употребляли они и самого понятия «революционная ситуация». Но они видели, что власть, общество, вся Россия оказалась на рубеже 70—80-х годов в кризисном состоянии, и пытались раскрыть смысл, причины и последствия этого кризиса.

Историки-охранители (граф С.С. Татищев, князь Н.Н. Голицын, жандармский генерал Н.И. Шебеко, агент III отделения А.П. Мальшинский) усматривали главное препятствие национальному развитию в происках народнической «крамолы», а главную причину кризиса — в *слабом* противодействии ей со стороны карательного аппарата империи. Целиком оправдывая «белый» террор царизма, они осуждали «диктатуру сердца» М.Т. Лорис-Меликова, который, мол, напрасно заигрывал с недоразвитым русским обществом и чуть ли не приободрял революционеров «мерами снисхождения и кротости»[2].

---

[1] Подробно см.: *Троицкий Н.А.* Историография второй революционной ситуации в России. Саратов, 1984.

[2] *Татищев С.С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 2. С. 653.

Либеральные историки (А.А. Корнилов, В.Я. Богучарский, С.Г. Сватиков, Б.Б. Глинский), напротив, возлагали вину за национальную конфронтацию на царизм: «Неспособностью выносить малейшую оппозицию со стороны общества и склонностью прибегать для ее подавления к мерам произвольным и террористическим правительство сделало невозможным мирное развитие страны. Зачинщиком в том двойном терроре, при котором пришлось русскому обществу жить и развиваться после великих реформ 60-х годов, являлось именно правительство»[1]. Отвергая «двойной террор» (и «белый», и «красный»), либералы старались доказать, что реформы суть движущая сила истории, а революция — это исторически несостоятельная крайность слева, как реакция — столь же несостоятельная крайность справа.

Советская историография приняла к руководству учение В.И. Ленина о революционных ситуациях, но при этом, как и в изучении первой революционной ситуации, обычно преувеличивает размах и силу массового (особенно рабочего) движения 1879—1882 гг. в ущерб народовольческому[2]. Научно сбалансированная оценка крестьянского движения как социальной базы революционного народничества и как фактора, угрожающе воздействовавшего на политику царизма 1870-х годов, дана в статье А.М. Анфимова и в монографии В.Г. Чернухи[3].

Либерально-демократическое движение до недавних пор вообще игнорировалось в советской историографии как исследовательская проблема. В 1966 г. на всесоюзной дискуссии о периодизации разночинского этапа освободительной борьбы в России акад. М.В. Нечкина попыталась изъять либеральную оппозицию из самого понятия «освободительное движение», заявив, что это понятие у В.И. Ленина — «синоним революционного» и что оно включает в себя только деятельность революционеров[4]. Лишь с 1970-х годов началось изучение либеральной оппозиции как вспомогательного фактора второй революционной ситуации в России[5].

---

[1] *Корнилов А.А.* Общественное движение при Александре II (1855—1881). Исторические очерки. М., 1909. С. 259—260.

[2] См.: *Корольчук Э.А.* «Северный союз русских рабочих» и рабочее движение 70-х годов XIX в. в Петербурге. М., 1971; *Соколов О.Д.* На заре рабочего движения в России. 2-е изд. М., 1978; *Трофимов А.С.* Пролетариат России и его борьба против царизма (1861—1904). М., 1979.

[3] См.: *Анфимов А.М.* Крестьянское движение в России во второй половине XIX в. // Вопросы истории. 1973. № 5; *Чернуха В.Г.* Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60—70-е годы XIX в.). Л., 1972.

[4] См.: *Вандалковская М.Г., Колесниченко Д.А.* Дискуссия о внутренней периодизации разночинского этапа русского освободительного движения // История СССР. 1966. № 4. С. 122, 129; *Алафаев А.А.* Русский либерализм на рубеже 70—80-х годов XIX в. М., 1991.

[5] См.: *Петров Ф.А.* Земское либеральное движение в эпоху второй революционной ситуации в России (конец 70-х — начало 80-х годов XIX в.). Дисс. канд. ист. наук. М., 1976.

Наиболее обстоятельно исследован такой компонент второй революционной ситуации, как кризис «верхов», главным образом в монографиях П.А. Зайончковского и М.И. Хейфеца[1]. Итоговая коллективная монография «Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов» под редакцией Б.С. Итенберга (М., 1983) освещает все вопросы темы, хотя некоторые из них (о периодизации революционного кризиса, соотношении между его восходящей и нисходящей фазами, компонентами и т.д.) остаются спорными.

В зарубежной историографии преобладает идея альтернативности русской революции, согласно которой реформы 60-х годов поставили Россию на единственно правильный путь национального прогресса, но революционеры своим безрассудным экстремизмом рассердили царский режим и вынудили его прибегнуть к контрреформам. Такую концепцию раньше других обосновал английский историк Б. Пейрс[2], а сегодня ее развивают в числе других известные американские исследователи Р. Пайпс и А. Улам[3].

---

[1] См.: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964; *Хейфец М.И.* Вторая революционная ситуация в России. Кризис правительственной политики. М., 1963.

[2] Труды Б. Пейрса издавались в Англии и США с 1920-х годов. См., к примеру: *Pares B.* Russia: Between Reform and Revolution. N. Y., 1962.

[3] См.: *Ulam A.* In the Name of the People: Prophets and Conspirators in pre-revolutionary Russia. N. Y., 1977; *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993.

Подготовка

Итак, с июня 1882 г. в России воцарилась реакция, которая заняла собою все время правления Александра III и вылилась в столь одиозные формы, что В.И. Ленин справедливо назвал ее «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской». Верховным руководителем и олицетворением этой реакции был Александр III, «царь-удав», как его называли; идейным вдохновителем — К.П. Победоносцев, а главным деятелем — Д.А. Толстой. После смерти Толстого в 1889 г. его заменил И.Н. Дурново — толстовский выученик, «подобострастный чурбан» (так назвал его государственный секретарь А.А. Половцов) в отношениях с теми, от кого он зависел, и разнузданный бурбон по отношению к тем, кто зависел от него самого. Он столь же усердно, как сам Толстой, хотя и менее уверенно из-за недостатка ума и силы характера, продолжал толстовский курс, дав повод для каламбуров — и в прозе («не нашли хорошего, назначили дурного»), и в стихах:

Наше внутреннее дело
То толстело, то дурнело.

Кроме того, реакция 80-х годов имела и своих трубадуров, которые обслуживали и вооружали ее идейно.

Первым из них по значению был «публичный мужчина всея Руси» (по выражению А.И. Герцена), когда-то, в конце 30-х годов, радикал, идейно и даже лично близкий к В.Г. Белинскому и М.А. Бакунину, затем в 40—50-е годы бойкий либерал, а с 60-х годов неистовый охранитель, хозяин газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник» Михаил Никифорович Катков. Газету его звали «русской литературной полицией», а сам Катков прослыл в демократических кругах «гасильником мысли» и «литературным бандитом». И.С. Тургенев и М.Е. Салтыков-Щедрин считали его «самым гадким и вредным человеком на Руси» (Тургенев свою опостылевшую подагру называл «катковкой»). Зато консервативные круги восхищались Катковым как «великим русским трибуном». Ф.М. Достоевский в 1872 г. утверждал, что Катков — «гений», «первый ум в России». Трубадур реакции № 1 был умен и талантлив, блистал публицистическим красноречием, но мог бы сказать о себе словами Наполеона: «Легко быть красноречивым на моем месте». В 80-е годы Катков был главным дирижером «общественного мнения»

царской России, влиятельным настолько, что английский посол в шутку запрашивал своего шефа, при ком выгоднее для Англии аккредитоваться — при Александре III или при Каткове, а директор канцелярии Российского МИДа (будущий министр) В.Н. Ламздорф в своем дневнике не шутя называл царя и Каткова «их величествами»[1].

Вторым трубадуром реакции был тогда князь Владимир Петрович Мещерский — внук Н.М. Карамзина и закадычный друг юности Александра III, издатель журнала «Гражданин». Журнал этот негласно субсидировался царем[2] и считался поэтому в осведомленных кругах царским рупором. И.С. Тургенев писал о нем в 1872 г., когда «Гражданин» еще не был таким реакционным, как в 80-е годы: «Это, без сомнения, самый зловонный журналец из всех ныне на Руси выходящих». «Гражданин» восславлял все реакционное, но в особенности — национальную потребность в розгах: «Как нужна соль русскому человеку, как нужен черный хлеб русскому мужику, так ему нужны розги. И если без соли пропадет человек, так без розог пропадет народ»[3].

Сам Мещерский — подхалим, доносчик и сплетник (к тому же гомосексуалист) — был фигурой, настолько скомпрометированной морально, что даже единомышленники брезговали подать ему руку. Все в нем было отталкивающе, вплоть до внешности. В 1872 г. А.К. Толстой писал о нем: «Он еще молод, но у него вовсе нет зубов, а волос очень мало, да и те желтые».

По влиянию на царя и его политику Катков и Мещерский стояли вровень с Победоносцевым и Толстым. Можно сказать, что внутреннюю политику империи при Александре III определял главным образом этот квартет.

Что касается рядовых деятелей реакции 80-х годов, то их наглядно, художественно отобразили два типа, два «бесшабашных советника» с характерными фамилиями — Удав и Дыба — из книги Щедрина «За рубежом». Щедрин изобразил их как политические карикатуры. Но при Александре III такие «бесшабашные советники» встречались и в жизни, например, управляющий царскими конюшнями В.Д. Мартынов, которого самодержец назначил в Сенат. Все сенаторы всполошились тогда, вздумали было роптать, но царь грубо пресек их ропот. Верноподданный Е.М. Феоктистов меланхолично резюмировал: «Что же, могло быть и хуже. Калигула посадил в Сенат свою лошадь, а теперь в Сенат посылают только конюха. Все-таки прогресс».

---

[1] Впрочем, сам царь личной симпатии к Каткову не питал и, судя по записям в царском дневнике, сожалел о его смерти гораздо меньше, чем о гибели своей собачки Камчатки.

[2] Так, в 1887 г., по свидетельству А.А. Киреева, царь ассигновал Мещерскому «на ведение журнала» 100 тыс. рублей.

[3] Гражданин. 1888. 16 декабря.

Новый курс правительства был подчеркнуто дворянским. «Ваши предки создали Россию, но они *нашими* руками ее создали»,— заявил царю граф Толстой, вступая на пост главы правительства. Александр III тогда «покраснел и отвечал, что он этого не забывает»[1]. На коронационных торжествах в мае 1883 г. царь внушительно заявил приглашенным к нему волостным старшинам: «Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства!» Более того, курс правительства Александра III отвечал интересам дворян-*крепостников,* которые требовали... восстановить крепостное право. Особенно громким в их хоре был голос уездного предводителя дворянства из Симбирской губернии А.Д. Пазухина.

«Человек бескорыстно-темных настроений», по тонкому определению современника, Пазухин в 1885 г. напечатал в журнале Каткова «Русский вестник» статью «Современное состояние России и сословный вопрос». «Великое зло реформ прошлого царствования», доказывал Пазухин, выразилось в том, что они урезали сословные привилегии дворянства. Отсюда — «задача настоящего должна состоять в восстановлении разрушенного»: надо переформировать земские и городские учреждения и от бессословного начала вернуться к сословному; тогда Россия выйдет «на ту историческую дорогу, с которой она в половине 60-х годов сбилась в сторону» к «дезорганизации». Так, усилиями Пазухина была намечена программа контрреформ.

Граф Толстой сразу обратил внимание на прыткого ретрограда и сделал его правителем канцелярии Министерства внутренних дел. Именно Пазухину было поручено разработать проекты наиболее реакционных контрреформ, а именно закон о земских начальниках и новое положение о земстве. Составлял он и другие проекты, хотя на подпись царю их подносил от своего имени Толстой. Придворная знать смотрела на Пазухина свысока, называла его «государственным мальчишкой», но, третируя его как личность, приветствовала *идеи* контрреформ, с которыми выступал Пазухин.

Царизм шел навстречу крепостникам в их стремлении пересмотреть законодательные акты 60—70-х годов. 21 апреля 1885 г., в день 100-летия екатерининской Жалованной грамоты дворянству, Александр III обнародовал высочайший рескрипт по адресу всего «благородного российского дворянства». В этом рескрипте и были официально изложены основные (т.е. пазухинские) положения контрреформ. Однако заняться контрреформами царизм решился не сразу.

Прежде всего мешал ему страх перед «красным» террором народников, которые до конца десятилетия продолжали упорную борьбу против самодержавия, не исключая и попытки царе-

[1] *Валуев П.А.* Дневник 1877—1884 гг. Пг., 1919. С. 208.

убийства. Страх этот, естественно, был острее в первые годы после убийства Александра II. Царизм насаждал тогда реакцию опасливо, как бы с оглядкой; при дворе был разброд, правительству недоставало ни последовательности, ни уверенности. Министры заседали в Петербурге. Царь отсиживался в Гатчине. Двор разрывался между Гатчиной и Петербургом, топя страх и уныние в небывалой оргии танцев (П.А. Валуев назвал это «хореографическим пароксизмом»). Политика же, вроде бы определившаяся, оставалась все еще неустойчивой. Валуев, уволенный к тому времени с должности председателя Комитета министров, но сохранявший за собой кресло члена Государственного совета, 15 февраля 1883 г. записал в дневнике: «В делах у нас наполовину ход (большей частью задний), наполовину дрейф».

Александр III из-за страха перед возможным покушением больше двух лет правил некоронованным. Предпринятая же в мае 1883 г. поездка его на коронацию в Москву (по традиции, освященной веками) походила на вояж завоевателя по чужой, только что оккупированной и еще не усмиренной стране. «Весь путь следования царя из Петербурга в Москву,— свидетельствовал очевидец,— был охраняем войском, расположенным по линии Николаевской железной дороги на расстоянии 606 верст. Эта линия была разделена на участки, порученные отдельным частям войск; и беспрерывные цепи часовых, расставленных друг от друга на расстоянии от 300 до 500 шагов, тянулись таким образом от Петербурга до Москвы». «Москва,— рассказывали другие очевидцы,— была переполнена войсками и шпионами, царя возили либо по улицам, оцепленным солдатами, либо задворками, как какой-нибудь контрабандный товар».

Даже царские министры, участники коронации, были шокированы ее «изнанками». «Печальное впечатление производят расставленные вдоль всей дороги часовые,— записывал в дневнике Валуев.— Слияние царя и народа! Обожаемый самодержец! А между тем он едет короноваться, тщательно скрывая день и час своего выезда, и едет не иначе, как ощетинив свой путь часовыми».

Даже в Гатчине царь не знал покоя. Кошмар покушений изводил его, тем более что заграничные агенты время от времени доносили, будто в Россию едут «с намерением совершить попытку нового покушения» то известный народоволец Л.Н. Гартман, то некие Кондырев и Пристюк, то «неизвестные лица»[1]. Царь становился все более мнительным. Был случай, когда он застрелил на месте в дежурной комнате одного из своих адъютантов — барона Рейтерна (известного своим родством с председателем Комитета министров М.Х. Рейтерном), заподозрив его в намерении бросить бомбу. Оказалось, что барон курил папиросу и при

[1] ГА РФ, ф. 102, 3 д-во, 1881, д. 1520, л. 1—2; д. 1521, л. 22.

неожиданном появлении царя стал прятать ее за спину. Лучше всего рисует состояние духа самодержца тех лет его меланхолическая помета на полях министерского доклада о раскрытии «умысла» народовольцев на цареубийство 1 марта 1887 г.: «На этот раз Бог нас спас, но надолго ли?»

Беспокоились за себя и царские сатрапы. В страхе за свою жизнь они не прочь были подставить под бомбы и пули террористов кого-либо из помощников. Однажды помощник Д.А. Толстого И.Н. Дурново заметил, что министр напрасно передал всю полицию в распоряжение другого своего помощника — П.В. Оржевского. Толстой цинично отрезал: «Пусть на нем лежит ответственность, и пусть в него стреляют, а не в меня».

Страх перед призраком грозной «Народной воли» теперь, когда реакция торжествовала, лишь подстегивал власти к ужесточению репрессий, чтобы доканать «крамолу». Началом всех начал в борьбе с нею оставался полицейский надзор. Он удивлял и пугал современников своими масштабами, точно определить которые едва ли возможно. С одной стороны, официальные власти называли явно заниженные цифры (на 1880 г.— 6790 политических поднадзорных). С другой стороны, иные неофициальные данные выглядят завышенными. Жена генерала Е.В. Богдановича, А.В. Богданович, к примеру, в том же 1880 г. свидетельствовала (ссылаясь на члена Верховной распорядительной комиссии М.И. Батьянова): «Теперь по всей России находится 400 тыс. человек под надзором полиции». Как бы то ни было, в течение 80-х годов надзор «отечески бдительного» (ирония М.А. Бакунина) царского правительства за его подданными не слабел, а усиливался. Однако «вредоносное» влияние «крамолы» проникало повсюду. Надзирать приходилось за всеми слоями общества, за каждым обывателем.

Вот почему упомянутый генерал М.И. Батьянов еще при М.Т. Лорис-Меликове предложил совершенно в лорис-меликовском духе взвалить надзор за обывателями на плечи самих обывателей, приставив их друг к другу в качестве шпионов. Самыми удобными и надежными исполнителями такого надзора Батьянов счел домовладельцев. «Надзор этот,— разъяснил генерал,— мог бы быть организован на основаниях круговой поруки, т.е. с ответственностью не только за себя, но и за соседа, чем и будет обеспечен не формальный только, не фиктивный, а действительный надзор, ибо домовладельцы будут контролировать бдительность друг друга»[1].

Юридически проект Батьянова не был оформлен, но в жизнь 80—90-х годов почти все, что проектировал Батьянов, вошло. Отчасти по настоянию полиции, а частью и добровольно домовладельцы надзирали за своими постояльцами и друг за

[1] Проект Батьянова см.: ГА РФ, ф. 569, д. 84.

другом. Надзор становился всеохватывающим и невыносимым, доходил до абсурда. Показателен такой штрих: некто Дутиков, торговец железными изделиями из Ростова, находясь в Москве, получил от своего приказчика телеграмму: «25 000 гвардии готовы. Высылайте деньги»; торговца немедленно арестовали и держали за решеткой до тех пор, пока не выяснилось, что по вине телеграфиста в текст телеграммы было вписано «гвардии» вместо «гвоздей». Казалось, сам воздух, которым дышали тогда люди, был пропитан подозрением в политической неблагонадежности. Везде оказывались надзирающие, подозревавшие на всякий случай каждого. М.Е. Салтыков-Щедрин в 1884 г. невесело иронизировал: «Нынче так много физиономистов развелось, что и выражение лица истолковывается».

Разнузданный надзор влек за собой эпидемию доносов. Идеологи реакции вроде В.П. Мещерского публично и печатно возводили донос в ранг гражданской добродетели. Доносы сыпались в Департамент полиции отовсюду, не только по принуждению, как в блистательной сатире А.К. Толстого «Сон Попова», но и добровольно. «Доносят по злобе, по неудавшейся любви, доносят спьяна и т.д.»,— писала газета «Народная воля». Агент «Народной воли» Н.В. Клеточников, прослуживший 734 дня в недрах царского сыска, не боялся преувеличить, когда заявил на суде: «Меня просто поразило число ложных доносов. Я возьму громадный процент, если скажу, что из ста доносов один оказывается верным. А между тем почти все эти доносы влекли за собой арест, а потом и ссылку».

Аресты (а в особенности обыски) в 80—90-е годы действительно наводнили Россию, иной раз даже самих карателей нервируя излишествами[1]. Товарищ обер-прокурора Сената Н.А. Хвостов в марте 1887 г. опасливо предостерегал К.П. Победоносцева: «Аресты делаются зря, забирает, кто хочет <...> Если бы кто захотел нарочно избрать такой способ действий, который может создать и для будущего запас горючего материала, то лучше трудно придумать». Но заправилы реакции неистовствовали, предвкушая близкое искоренение «крамолы», и не хотели внять каким-либо разумным предостережениям.

Итак, страх перед возможными действиями революционной (в первую очередь, конечно, народовольческой) «крамолы» и «занятость» репрессиями против нее — вот первая причина, которая удерживала царизм от контрреформ. Кроме того, требовалось подготовить и как бы подстраховать контрреформы экономически. Так, 3 июня 1885 г. был открыт Дворянский земельный банк с целью поддерживать разорявшееся в условиях капитализма помещичье землевладение. Процент ссуды в Дворянском банке

[1] «Нередко в постановлениях об аресте писали: "Арестовать впредь до выяснения причин ареста"»,— вспоминал современник.

был ниже (по «бедности»!), чем в банке Крестьянском: 6,5 против 8,5 %. Зато операции Дворянского банка более чем в 8 раз превосходили операции Крестьянского банка: 42 млн. рублей в год против 5 млн.

Крестьянское законодательство при Александре III носило по преимуществу репрессивный характер. Крестьяне все настойчивее требовали больше земли и воли, чем они получили в 1861 г. Их волнения к середине 80-х годов участились: если за 1881—1883 гг. в среднем до 77 в год, то за один 1884 год— 110 волнений. «Лучше умереть от солдатской пули, чем от голода»,— говорили крестьяне, поднимаясь на борьбу с помещиками. Помещики мстили крестьянам за непокорность и этим еще больше ожесточали крестьян. В одном из уездов Екатеринославской губернии крестьяне просили помещика оставить за ними арендованную землю. Тот отказался: «Нужна для овец». «Лучше порезать часть овец, чем губить людей голодом»,— предложили крестьяне. Помещик ответил: «Порежьте своих детей!» В результате весь уезд был охвачен крестьянским волнением.

Сам царь, естественно, рассуждал по-помещичьи. Даже страшный голод 1891 г., отчасти повторившийся в 1892—1893 гг., не пробудил в Александре III сострадания к нуждам крестьянства. Он никак не отреагировал на сердобольный жест своего друга, министра двора графа И.И. Воронцова-Дашкова, который в 1891 г. посоветовал царю «объявить, что при высочайшем дворе не будет ни балов, ни больших обедов, а деньги, на это обыкновенно истрачиваемые, Вы жертвуете как первую лепту в фонд комитета для продовольствия»[1]. Более того. Вот свидетельство знаменитого адвоката О.О. Грузенберга: «Императора Александра III раздражали упоминания в печати о «голоде», как слове, *выдуманном* теми, кому жрать нечего. Он высочайше повелел заменить слово «голод» словом «недород». Главное управление по делам печати разослало незамедлительно строгий циркуляр».

Антагонизм между крестьянами и помещиками рос угрожающе, он был чреват крестьянской революцией. Правительство же пыталось обезопасить себя не удовлетворением крестьянских требований, а возвратом к старым, дореформенным порядкам в деревне. Именно такую цель преследовал закон 1886 г. о найме сельскохозяйственных рабочих. По этому закону рабочий при найме должен был подписать «договорной лист», который давал помещику право в случае досрочного ухода рабочего предавать его суду. Помещик же мог уволить рабочего в любое время. Таким образом, закон 1886 г. отчасти восстанавливал в замаскированной форме крепостнические права помещиков.

Все это предшествовало контрреформам. Сами же контрреформы, призванные исправить «ошибки 60-х годов», осуществлялись с 1889 по 1892 г.

---

[1] Российские самодержцы. 1801—1917. М., 1993. С. 273.

Содержание контрреформ

Первое место по значению в серии контрреформ занял скандальный закон 12 июля 1889 г. о земских участковых начальниках, который должен был нейтрализовать главный результат реформ 60-х годов — отмену крепостного права. Закон этот был настолько ретроградным, что в Государственном совете за него проголосовали лишь 13 членов, а 39 (включая трех великих князей) были шокированы им и голосовали против, сославшись на то, что он не согласуется «с действующими установлениями». Царь, однако, утвердил предложение меньшинства. «Соглашаясь с мнением 13 членов, желаю...» — так начинается высочайшая резолюция по этому поводу[1]. Она подтверждает меткое наблюдение академика А.В. Никитенко: «У нас вся мудрость государственная заключается в двух словах: быть по сему».

Закон 1889 г. подчинял все крестьянское самоуправление, введенное в 1861 г., земскому начальнику, каковым мог быть только потомственный дворянин — по назначению министра внутренних дел. Все гражданские права и самая личность крестьянина были отданы на произвол земского начальника. Он утверждал и смещал должностных лиц крестьянской администрации, мог штрафовать и арестовывать без объяснения причин отдельных крестьян и даже целые сходы, чинить расправу над ними (например, выпороть любое должностное лицо из крестьян — волостного старшину, сельского старосту, членов волостного суда).

Мировой суд в деревне был упразднен, а его права перешли к земскому начальнику. Это значило, что земский начальник соединил в себе как административную, так и судебную власть. Харьковский губернский предводитель дворянства А.Р. Шидловский заметил по этому случаю, что «ни в отечественном, ни в иностранных законодательствах нельзя найти примера предоставления столь обширных полномочий не только отдельным должностным лицам, но даже и целым коллегиям». Земский начальник назначался по представлению губернатора, а губернаторы, как правило, подбирали в земские начальники дворян особенно реакционных, крепостников. Не зря поэтому даже такой апологет политики Александра III, как граф С.Ю. Витте, признавался, что среди земских начальников «порядочные люди» встречались лишь «как исключение», хотя их было 6 тыс.

Наделенные почти неограниченной властью над крестьянами, земские начальники еще и злоупотребляли ею — особенно властью пороть крестьян, всех, без различия должности, возраста и пола. Подобно дореформенным крепостникам, земские начальники

---

[1] Цит. по: *Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 394.

унижали человеческое достоинство крестьян, глумились над ними. В романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» упомянут земский начальник Бронский, который «штрафует мужиков на полтинник, если они не снимают шапок перед его лошадью, когда конюх ведет ее купать». Так было в жизни. Жаловаться на произвол земского начальника крестьянин мог только в уездный съезд... земских начальников. Впрочем, сам царь не только не осуждал, а, напротив, поощрял порку крестьян и порознь и вкупе, целым «миром», за что нелегальная печать переиначила его рептильное титло «царь-миротворец» в другое: «царь-миропорец».

Итак, по закону 1889 г. дворянство вернуло себе в лице института земских начальников значительную долю своей прежней, дореформенной вотчинно-полицейской власти над крестьянами. «Они,— писал о земских начальниках С.Н. Терпигорев (Атава),— каждый в своем участке положительно восстановили — разумеется, для себя лично — крепостное право». Этот явно крепостнический институт просуществовал вплоть до 1917 г.

Второй по значению акт в цикле контрреформ — новое положение о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 г. Оно имело целью подорвать демократические основы земской реформы 1864 г., т.е. всесословность и выборность, и, как выразился С.Ю. Витте, «одворянствовать» земство. Только таким путем царизм рассчитывал приручить земство или, по крайней мере, пресечь его «либеральничанье». Между тем губернаторы отовсюду жаловались царю на «вредное направление земства», которое они усматривали в том, что земские учреждения «возбуждают и подвергают обсуждению дела, не входящие в круг их ведения», т.е. главным образом защищают россиян от злоупотреблений властью со стороны царской администрации. На подобной жалобе вятского губернатора в 1886 г. Александр III пометил: «Почти везде то же самое». Особенно раздражали царя почерпнутые им из губернаторских отчетов факты «систематического препирательства» земских учреждений «почти со всеми правительственными установлениями: с губернатором, с полицией, с судебными следователями и Министерством юстиции, с духовенством, с инспекцией народных училищ и с учебным округом». Так обрисовал в своем отчете за 1884 год деятельность Череповецкого земства новгородский губернатор А.Н. Мосолов. Александр III на полях его отчета грозно вопросил: «Какие же меры приняты правительством против этого безобразия?»

По новому положению выборность крестьянских представителей в земство упразднялась. Отныне крестьяне могли избирать только *кандидатов*, а из них администрация губернии (как правило, те же земские начальники) *назначала* гласных, т.е. депутатов земства. Далее, бессословная избирательная курия землевладельцев была ликвидирована, а вместо нее учреждена курия *дворян*. В результате к 1903 г. удельный вес дворян в

губернских управах земства достиг 94,1 %, в уездных — 71,9 %. Наконец, функции земства были еще более ограничены. Если ранее губернатор мог отменять земские постановления только вследствие их «незаконности», то теперь и по причине их «нецелесообразности», с его, губернаторской, точки зрения.

Все эти меры так связали руки местному самоуправлению, что оно теперь казалось более декоративным, чем деловым. Однако со временем выяснилось, что необратимый процесс *обуржуазивания* дворянства расстроил планы царизма реакционизировать земство путем его *одворянствования*. Среди земцев-дворян, вопреки надеждам реакции, тоже преобладали не охранители, а либералы. Можно согласиться с П.А. Зайончковским в том, что «земская контрреформа, несмотря на усиление правительственной опеки и на увеличение численности дворянства, не изменила оппозиционной сущности земских органов», хотя и очень затруднила их деятельность. Показателен такой факт: только за один год, с ноября 1891 по ноябрь 1892 г., губернские по земским делам присутствия отменили 116 решений губернских и уездных земских собраний в 11 губерниях.

Вслед за земской была проведена в том же духе и городская контрреформа. 11 июня 1892 г. Александр III утвердил новое городовое положение вместо городской реформы 1870 г., которую он расценил как «нелепость». Теперь были лишены избирательных прав не только рабочие, как в 1870 г., но и вообще все горожане без недвижимой собственности: квартиросъемщики, приказчики, мелкие торговцы. Резко уменьшилась политическая правомочность средней буржуазии. Например, в Киеве из 7 тыс. домовладельцев 5 тыс. были лишены избирательных прав. Всего же по 132 городам с населением в 9,5 млн. человек сохранили избирательные права по закону 1892 г. лишь 100 тыс. горожан (1,05 %). Отныне в городском управлении главенствовали не торгово-промышленные круги, как ранее, а владельцы недвижимого имущества, т.е. прежде всего крупные домовладельцы, каковыми являлись преимущественно все те же дворяне и чиновники.

Тем не менее городское, как и земское, управление было поставлено под еще более жесткий контроль администрации, чем ранее. Если городовое положение 1870 г. вверяло губернатору *надзор* «за правильностью и законностью действий» городских органов, то по закону 1892 г. губернатор мог *направлять* «оные действия согласно государственной пользе»[1]. Министр внутренних дел И.Н. Дурново удовлетворенно констатировал, что новое городовое положение согласовано «с земским в новом его строе».

Однако и городская контрреформа не вполне удалась царизму. «Лишив избирательных прав представителей мелкой буржуазии (местных торговцев, приказчиков), закон 1892 г. усилил в

[1] Цит. по: *Зайончковский П.А.* Указ. соч. С 416.

городских думах роль владельцев недвижимой собственности, а также представителей учреждений, владевших в городах недвижимой собственностью,— заключал П.А. Зайончковский.— Тем самым увеличился в городских думах, а следовательно и управах, процент лиц со средним и высшим образованием. Это, естественно, увеличивало и процент оппозиционных элементов, т.е. представителей либеральной интеллигенции».

К концу 80-х годов царизм фактически завершил и судебную контрреформу, начатую еще в 70-е годы: каждый из четырех краеугольных принципов судебной реформы 1864 г. был сведен совершенно или почти на нет.

Независимость суда от администрации была ограничена, а в низшем (т.е. самом важном для народных масс) звене ликвидирована совершенно с учреждением института земских начальников, которые объединили в себе административную и судебную власть.

Несменяемость судей обратилась в фикцию по закону от 20 мая 1885 г., который учредил Высшее дисциплинарное присутствие Сената, правомочное смещать или перемещать любых жрецов Фемиды (например, из Петербурга — в Сибирь) по усмотрению и представлению министра юстиции.

Гласность судопроизводства, резко ограниченная в отношении политических дел еще законами 1872, 1878, 1881 гг., была сведена к минимуму, почти к нулю по закону от 12 февраля 1887 г. В тот день именной царский указ дал право министру юстиции, если он «из дошедших до него сведений усмотрит, что публичное рассмотрение дела не должно быть допущено» («в видах ограждения достоинства государственной власти» или по другим, столь же растяжимым мотивам), закрывать в любое время двери заседаний любого суда. Тем самым, как выразились даже составители панегирической юбилейной истории министерства юстиции, устанавливался порядок, «равносильный в существе своем замене суда, гласного по закону, судом гласным по усмотрению министра».

Обстоятельства, при которых был принят закон 12 февраля 1887 г., весьма показательны для того, как вообще учреждались законы в самодержавной России. Крупнейший русский авторитет того времени в области международного права Ф.Ф. Мартенс при обсуждении законопроекта 12 февраля в Государственном совете предупреждал, что административное закрытие судов неблагоприятно отразится на отношениях России с другими странами: за границей перестанут выдавать русских политических преступников. Мартенса поддержал министр иностранных дел Н.К. Гирс. В результате 31 голос членов Государственного совета, включая его председателя, дядю царя, великого князя Михаила Николаевича, был подан против законопроекта и лишь 20 — за. Александр III пришел в ярость, «взмылил голову» (по его

собственному выражению) великому князю и так наорал на Гирса, что тому «стало понятно, что человек этот мог бы разорвать себе подобного на куски». После этого царь объявил, что он «согласен» с мнением меньшинства, которое и возымело таким образом силу закона.

В условиях ограниченной гласности ущемлялась и *состязательность* судопроизводства: судебные власти потворствовали прокуратуре и чинили всяческие препятствия обвиняемым (в особенности), а также их адвокатам на всех стадиях судебного разбирательства.

Судебная контрреформа выразилась в открытом ущемлении не только принципов реформы 1864 г., но и ее наиболее демократических институтов — суда присяжных и мирового суда. О суде присяжных Победоносцев в 1885 г. прямо писал Александру III: «От этого учреждения необходимо нам отделаться». Правда, так далеко назад царизм не шагнул. Однако суд присяжных был до предела стеснен в его компетенции и отдален от дел, которые могли иметь хотя бы только оттенок «политики». Закон от 7 июля 1889 г. изъял из юрисдикции присяжных обширный круг дел, предусмотренных 37 статьями Уложения о наказаниях. При этом Государственный совет опасливо подчеркнул именно связь таких дел с «политикой»: «значительное число оправдательных по сим делам приговоров в связи с усилившейся в конце 70-х годов деятельностью партии, выразившейся, между прочим, в целом ряде посягательств против должностных лиц», не позволяет доверять такие дела присяжным.

Наконец, по закону от 12 июля 1889 г. о земских начальниках мировой суд был вообще ликвидирован в 37 губерниях и сохранен лишь в девяти самых крупных городах. Попутно этот закон подрывал еще одно — бессословное — начало в судах, поскольку земскими начальниками могли быть исключительно дворяне.

В условиях контрреформ была утверждена в 1885 г. новая и последняя при царизме редакция *дореформенного* Уложения о наказаниях 1845 г., где политические преступления квалифицировались как во много раз более тяжкие, чем уголовные, причем без различия между «поступком» и «умыслом». Джордж Кеннан с изумлением констатировал, сравнив § 243 и 1449 Уложения 1885 г., что простое укрывательство лица, виновного в злоумышлении против жизни, благополучия или чести царя, считается в России бóльшим преступлением, чем предумышленное убийство собственной матери.

Все контрреформы 1889—1892 гг. (крестьянская, земская, городская, судебная) носили ярко выраженный, насколько это было возможно в условиях развития капитализма, дворянско-крепостнический характер и сопровождались гонениями на всякое инакомыслие с тех же дворянско-крепостнических позиций. Так,

печать при Александре III была терроризирована. Новые (после 1865 г.) «Временные правила о печати» от 27 августа 1882 г. ввели так называемую карательную цензуру: совещание четырех министров (юстиции, внутренних дел, просвещения и обер-прокурора Синода) получило право закрывать любое периодическое издание без предупреждения. Ранее это было возможно лишь после трех предупреждений.

Главное управление по делам печати с 1 января 1883 г. возглавил Е.М. Феоктистов — приказчик Победоносцева и Каткова. Он прибег к цензурному террору, руководствуясь непрерывными указаниями «русского папы», считавшего, что все журналисты поголовно, кроме Каткова,— «сволочь или полоумные». Впрочем, кроме Победоносцева и Каткова очень содействовала карьере Феоктистова чисто женскими средствами его жена (Феоктистиха, как ее звали), состоявшая в более чем дружеской связи с влиятельным министром М.Н. Островским. По этому поводу Д.Д. Минаев сочинил тогда ядовитый экспромт:

Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал.

Цензура при Феоктистове стала буквально непроходимой. Даже «контрабандная междустрочная словесность, с успехом провозившаяся прежде через цензурную таможню,— отмечал в 1884 г. современник,— ныне, подвергнутая тщательному досмотру, пресечена». Всего за время царствования Александра III на прессу были наложены 174 взыскания, а 15 изданий запрещены, в том числе 9 — только за 1883—1885 гг. Царь сопровождал доклады о репрессиях против печати довольными пометами: «Очень хорошо!», «Поделом этому скоту!».

Уже в 1883 г. были закрыты навсегда три наиболее влиятельные газеты либерального направления — «Голос», «Страна» и «Московский телеграф», а в следующем году их судьбу разделили газеты «Русский курьер»,. «Восток» и самый демократический орган легальной прессы, журнал М.Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки», который, по выражению самого Щедрина, «представлял собой дезинфектирующее начало в русской литературе, очищал ее от микробов и бацилл». Журнал был закрыт 13 апреля 1884 г. О мотивах расправы с ним газета «Народная воля» писала так: «Это был почти единственный орган русской печати, в котором сквозь дым и копоть цензуры светила искра понимания задач русской жизни во всем их объеме. За это он должен был погибнуть — и погиб».

Передовое русское общество восприняло закрытие «Отечественных записок» как национальное бедствие и личное горе каждого

свободомыслящего гражданина. Поэт К.М. Фофанов откликнулся на это стихами:

Сердце мое разорваться готово,
Ум помрачиться готов,—
Скована вещее, честное слово...

Печать при Александре III подгонялась под правило, которое Щедрин определил таким образом: «Коли не понимаешь,— не рассуждай! А коли понимаешь,— умей помолчать!»

Как и печать, жертвой александровской реакции стало просвещение. Царизм предпринял в 80-е годы ряд крайне реакционных мер ко всей системе образования — от начального до высшего, возвращая его ко временам Николая I и к охранительным устоям «теории официальной народности». Ради этого весной 1882 г. министром просвещения вместо либерального барона А.П. Николаи был назначен ярый реакционер И.Д. Делянов («Деляшка» и «шут гороховый», как звали его за глаза даже царские министры, а по мнению Б.Н. Чичерина, «отребье человеческого рода»). Узнав о назначении Делянова министром, Д.А. Милютин записал в своем дневнике: «Это почти то же, что если бы назначен был Катков; это восстановление ненавистного для всей России министерства гр[афа] Толстого. Между прежним режимом и будущим будет различие только в подкладке: у Толстого подкладка была желчь, у Делянова будет идиотизм. Бедная Россия!»

Свой «идиотизм» Делянов проявил как министр почти тотчас, так ответив на вопрос, почему он уволил заслуженного профессора: «У него в голове мысли». Тем самым был задан тон политике нового министра, адекватный указаниям свыше, и в дальнейшем вся его политика проводилась сообразно с таким «идиотическим» тоном.

В области высшего образования главным орудием реакции стал новый университетский устав 1884 г. Он полностью ликвидировал автономию университетов, впервые введенную еще при Александре I в 1804 г., затем отмененную при Николае I (1835) и вновь узаконенную после отмены крепостного права в 1863 г. Теперь университеты были опять отданы под контроль администрации — министра и попечителя учебного округа. Должности ректора, декана, профессора, которые по уставу 1863 г. были выборными, с 1884 г. снова замещались по назначению сверху, причем учитывались «не одни ученые качества и заслуги», а и «религиозно-нравственное и патриотическое направление» (т.е. политическая благонадежность). Неблагонадежные, хотя бы и крупные, мирового значения ученые изгонялись из университетов, как, например, социолог М.М. Ковалевский, историк В.И. Семевский, правовед С.А. Муромцев, либо их выживали, как Д.И. Менделеева и И.И. Мечникова.

Разумеется, изгнать и выжить всех неблагонадежных профессоров было нельзя. А между тем они встали в оппозицию к

уставу 1884 г. Поэтому у властей оставалась одна надежда. Председатель Ученого комитета Министерства просвещения А.И. Георгиевский (клеврет Д.А. Толстого и М.Н. Каткова) прямо говорил, что «пока не переколеют все профессора, прошедшие в университеты на основании устава 1863 г., до тех пор новый устав не будет применен во всех подробностях».

По отношению к студентам усилились гонения. Вновь была введена (в 1885 г.) отмененная в 1861 г. форма для студентов с целью облегчить надзор за ними во внеучебное время. Еще более жесткими и унизительными стали «Правила для студентов» (например, им предписывалось «в целях соблюдения вежливости» отвечать на экзаменах не сидя, а стоя, поскольку, мол, «такой порядок производства экзаменов существует в *военных* академиях»). Приняты были меры к «улучшению» социального состава студенчества: в 5 раз повысилась плата за обучение, а для получения стипендии требовался отныне отзыв университетской инспекции о «поведении» студента. Непокорных студентов царское правительство впервые додумалось в 1884 г. отдавать в солдаты.

Главным орудием реакции в области среднего образования стал печально знаменитый циркуляр 1887 г. «о кухаркиных детях». Придумал его и гордился им как излюбленным плодом трудов своих министр просвещения Делянов. В циркуляре говорилось, что министр, «озабоченный улучшением состава учеников», нашел необходимым закрыть доступ в гимназии для «детей кучеров, лакеев, поваров, мелких лавочников и т.п.». Это «и т.п.» заключало в себе очень широкий смысл: фактически под него можно было подвести все вообще простонародье. Таким образом, циркуляр Делянова возвращал российскую гимназию во времена Николая I, когда она была уделом только детей дворян и чиновников.

Разумеется, Делянов, который, по отзывам современников, был еще более чутким «придворным флюгером», чем даже П.А. Валуев, придумал такой циркуляр не сам лично, а с учетом воли царя и как бы идя ей навстречу. Ведь незадолго до деляновского циркуляра Александр III сделал тотчас получившую известность помету на судебном показании крестьянки М.А. Ананьиной о том, что она готовила сына в гимназию: «Это и ужасно — мужик, а тоже лезет в гимназию!»[1] Циркуляр «о кухаркиных детях» не просто обеспечил засилье дворян в российских гимназиях, но в связи с этим резко ограничил среднее образование россиян вообще. Так, по данным за 1887 г., в Витебскую гимназию были приняты из 52 подавших заявления только 13 человек, а во 2-ю Одесскую гимназию из 80-ти — 11, и т.д.

В области начального образования с 1884 г., когда было утверждено Положение о церковноприходских школах, все

[1] *Поляков А.С.* Второе 1 марта. М., 1919. С. 46.

собственно церковноприходские школы, а также однотипные с ними школы грамотности (т.е. почти все вообще начальное образование россиян) были подчинены духовному ведомству. Число церковноприходских школ выросло за 1884—1894 гг. с 4 тыс. до 31 835. Профессиональный уровень преподавания в них был очень низок. Церковноприходские школы были двух- и четырехлетними. Учительствовали в них полуграмотные дьяки, которые сводили обучение к Закону Божьему, церковному пению и началам письма и счета. Школы грамотности открывались в малолюдных деревнях по типу церковноприходских школ, как бы вдесятеро облегченному (2—3 месяца обучения у тех же дьяков и «богобоязненных» крестьян).

В целом просвещение при Александре III вновь было взято в шоры, из которых оно вырвалось после отмены крепостного права. Сам Александр III выразил отношение царизма к просвещению в помете на докладе о том, что в Тобольской губернии очень низка грамотность: «И слава богу!»

Разнузданная реакция захватила при Александре III и национальную политику. Ее главными проявлениями были насильственная русификация, религиозный гнет, антисемитизм. Царский указ от 5 марта 1885 г., вопреки робким протестам даже варшавского генерал-губернатора, сохранил в школах Польши старый порядок преподавания всех предметов на русском языке, «за исключением Закона Божия, иностранных исповеданий и природного языка учащихся, которые могут быть (а могут и не быть! — *Н.Т.*) преподаваемы также и на сем последнем языке». По данным С.Н. Валка, «преподавание на русском языке было введено даже в школе глухонемых». Именно при Александре III началась усиленная русификация «Финляндского края». Он же санкционировал массовое обращение из лютеранства в православие прибалтов (за 1881—1894 гг.— 37 416 человек).

Александр III считал себя «русским патриотом» и как таковой терпеть не мог всех вообще «инородцев», особенно же отсталых, которые в его глазах были просто «дикарями». Евреев он не любил за то, что они, как следовало из примитивно воспринятых им евангельских текстов, «распяли Спасителя». Поэтому Александр III поощрял в 80—90-е годы небывалые ранее гонения на евреев. Их массами выселяли в *черту оседлости*[1] (только из Москвы были выселены 20 тыс. евреев), установили для них

[1] Чертой оседлости называлась часть территории Российской Империи, на которой было разрешено постоянное проживание евреев. Образовалась она в конце XVIII в. после разделов Польши и включала в себя Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую, Подольскую, Волынскую, Минскую, Могилевскую, Гродненскую, Ковенскую, Виленскую и Бессарабскую губернии. В Курляндской губернии, на Кавказе и в Средней Азии разрешалось проживать лишь «местным» евреям. Вне черты оседлости (включая Петербург и Москву) правом на жительство пользовались купцы 1-й гильдии, лица с высшим и специальным образованием, ремесленники, военнослужащие.

процентную норму в средних, а затем и высших учебных заведениях (в черте оседлости — 10 %, вне черты — 5, в столицах — 3 %). Царь был также не против еврейских погромов. Он прямо говорил фельдмаршалу И.В. Гурко: «В глубине души я всегда рад, когда бьют евреев». Разумеется, личные симпатии (а точнее сказать, антипатии) царя во многом определяли национальную политику его правительства.

Итак, неограниченная власть самодержавия старалась при Александре III держать русский народ в угнетении, покорности и темноте. Писатель-острослов В.А. Гиляровский в 1886 г., по случаю издания пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы», сочинил меткий экспромт:

В России две напасти.
Внизу — власть тьмы,
Вверху — тьма власти.

Щедрин увековечил реакцию 80-х годов в образе «Торжествующей свиньи», которая «кобенится» перед Правдой и «чавкает» ее. «Мы потрясли революционные ряды от Варшавы до Иркутска и от Архангельска до Крыма»,— хвастался в 1884 г. прокурор М.М. Котляревский. Спустя четыре года Д.А. Толстой уверял даже, что в России не осталось ни одного революционера, дав повод Н.А. Белоголовому съязвить в газете «Общее дело»:

По верноподданной реляции Толстого
Последний нигилист заклепан в Шлиссельбург.

Действительно, торжество реакции выглядело тогда абсолютным. Общественная активность в стране резко упала. Демократические круги, разочарованные в последствиях революционного натиска 1879—1881 гг., стали склоняться к легальному культурничеству с таким предназначением, как определял его В.Г. Короленко: «Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать. Мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы». Под впечатлением повсеместного и, казалось, непреоборимого натиска реакции в обществе росли упадочнические, «кладбищенские», как выразился один из героев Н.Г. Помяловского, настроения: «съежиться до минимума», «ничего не делать и всего бояться», «спасенье одно — под коряги, на дно» (выражение Е.А. Евтушенко).

Чуть ли не единственным видом общественных демонстраций были тогда похороны писателей, классиков литературы, которые при Александре III умирали, как мухи: в 1881 г.— Ф.М. Достоевский и А.Ф. Писемский, в 1882 — Ф. Крейцвальд, в 1883 — И.С. Тургенев, в 1886 — А.Н. Островский, в 1888 — В.М. Гаршин, в 1889 — М.Е. Салтыков-Щедрин и Н.Г. Чернышевский, в 1891 — И.А. Гончаров, в 1892 г.— А.А. Фет. Это все

— классики, писатели великие и знаменитые, а паузы между их похоронами заполняли похороны менее знаменитых писателей и других деятелей культуры. Вся мыслящая Россия жила тогда, как при затянувшихся похоронах.

Последствия

Реакция торжествовала повсеместно и, казалось, бесповоротно. Но ее вожди, трубадуры и делатели не чувствовали уверенности ни в самих себе, ни в режиме, который они насаждали. Затеянный в 1890 г. четырьмя министрами (военным — П.С. Ванновским, финансов — И.А. Вышнеградским, государственных имуществ — М.Н. Островским и путей сообщения — А.Я. Гюббенетом) объезд страны с целью изучить положение дел на местах убедил правительство в том, что дела его плохи, «низы» голодают, протестуют и готовы восстать против «верхов». Впрочем, никаких улучшений этот объезд «низам» не принес, как свидетельствуют распространившиеся тогда стихи под названием «Всероссийское эхо после объезда министров»:

Вышнеградский приезжал? — *жал...*
В просвещенье есть успех? — *эх...*
Разве так Островский плох? — *ох...*
О Ванновском какой слух? — *ух...*
Сделал ли что Гюббенет? — *нет...*
Так все вышло ерунда? — *да...*
Ждете снова на весну их? — *ну их...*
Стоило же принимать их? — *мать их...*

Контрреформы не оправдывали надежд царизма. Правда, он сумел одворянствовать земство. Но развитие капитализма в России зашло уже так далеко, что значительная часть дворянства, на которое так рассчитывал царизм, обуржуазилась и превратилась из опоры самодержавия в оппозицию ему — очень умеренную, благомыслящую, но оппозицию. Более того, в самом правительстве не было ни политического, ни делового единения (не зря Катков умер со словами: «Прошу единомыслия»). Министры заискивали перед царем и либо грызлись между собой, либо подсиживали друг друга. Главное же, внутренняя политика царизма стала терять логику. С одной стороны, царизм хотел «заморозить» страну, т.е. консервировать в ней *крепостнические* пережитки, дабы упрочить свою социальную, дворянскую опору; с другой стороны — обзавестись современной, т.е. *капиталистической,* промышленностью, чтобы не отстать от Запада и, при случае, успешно противостоять ему. «Вся система самодержавия сверху донизу,— пишет современный российский историк Ю.Б. Соловьев,— раскалывалась сосуществованием этих двух взаимоисключающих главных направлений в проводимой политике. Отныне герб самодержавия — туловище о двух головах, глядящих в противо-

положные стороны,— приобретает вполне вещественное и роковое для самодержавия значение».

Немудрено, что в таких условиях царизм год от году, несмотря на отдельные победы реакции, терял устойчивость и уверенность, а самодержец Всея Руси Александр III вообще ни в чем не был уверен — даже в собственной безопасности. Он умер 20 октября 1894 г. на 50-м году жизни, умер тем же гатчинским отшельником, каким начал царствовать. По официальной версии, причиной смерти еще далеко не старого, отличавшегося смолоду богатырским здоровьем самодержца была болезнь почек (пиелонефрит). В последнее время эта версия вновь обретает хождение: кончина Александра III изображается «благостной»[1]. Однако более убедительной выглядит точка зрения современников царя, а также его собутыльников, по которой он умер от последствий алкоголизма, в коем старался утопить постоянный страх за свою жизнь. Из воспоминаний начальника его охраны генерал-адъютанта П.А. Черевина явствует, что Александр III в последние годы жизни от страха и пьянства заметно терял человеческий облик: осушив вместе с Черевиным по полулитровой фляге коньяку, которые они прятали от императрицы Марии Федоровны в голенища сапог, царь валялся на полу дворцовой гостиной, лаял, хрюкал и норовил укусить всех проходивших за ноги[2]. Черевин рассказывал, как они с царем напивались незаметно от царицы даже в ее присутствии: «Царица подле нас — мы сидим смирнехонько, играем как паиньки. Отошла она подальше — мы переглянемся: раз-два-три! — вытащим фляжки, пососем и опять, как ни в чем не бывало. Ужасно ему эта забава нравилась. Вроде игры. И называлось это у нас: «голь на выдумки хитра». Раз-два-три! ... «Хитра голь, Черевин?» — «Хитра, Ваше Величество!» Раз-два-три — и сосем»[3].

Таким образом, Александр III, по словам М.Н. Покровского, «не представляет исключения в ряду трех последних самодержцев: подобно своему отцу и своему сыну, он тоже был казнен революцией, только не сразу, а медленной и тем более мучительной смертью». Кстати, сын Александра III — Николай II — растроганно вспоминал, что отец его умер «смертью святого». Оно и понятно. Сам Николай смолоду (при жизни отца) вел похожий образ жизни, находя его, по-видимому, добродетельным. Вот что рассказывает об оргиях Николая и его собутыльников по

---

[1] См.: Российские самодержцы. 1801—1917. М., 1993. С. 305.

[2] См.: *Диллон Э.М.* Александр III // Голос минувшего. 1917. № 5—6. С. 99.

[3] Там же. С. 100. Генерал Черевин обожал Александра III и был ему слепо предан. «Разве есть воля, кроме царской? — откровенничал он перед своим знакомым, выдающимся ученым-физиком П.Н. Лебедевым.— Я совсем не злой человек, и вот вы, например, очень мне симпатичны, но велел бы государь: «повесь Лебедева!» — жаль мне было бы вас, но поверьте: не стал бы я спрашивать — за что?»

лейб-гвардии гусарскому полку очевидец: «Пили зачастую целыми днями, допиваясь к вечеру до галлюцинаций... Так, нередко великому князю (будущему Николаю II. — *Н.Т.*) и разделявшим с ним компанию гусарам начинало казаться, что они не люди уже, а волки. Все раздевались тогда донага и выбегали на улицу... Там садились они на задние ноги (передние заменяли руками), подымали к небу свои пьяные головы и начинали громко выть. Старик буфетчик знал уже, что нужно делать. Он выносил на крыльцо большую лохань, наливал ее водкой или шампанским, и вся стая устремлялась на четвереньках к тазу, лакала вино, визжала и кусалась...»[1]

Время царствования Александра III не было беспросветным во всех отношениях. Наблюдался экономический прогресс, хотя и недостаточный, по сравнению с открывшимися в 1861 г. возможностями. Империя добилась финансовой стабилизации во многом благодаря тому, что именно пост министра финансов занимали при Александре III, сменяя друг друга, самые умные чиновники: Н.Х. Бунге (1881—1886), И.А. Вышнеградский (1887—1892), С.Ю. Витте (с 1892 г.) В сельском хозяйстве с 1871 по 1894 г. в 3,5 раза выросло потребление машин и на 30—40 % — средняя урожайность хлебов. В промышленности 40 % всех российских предприятий, существовавших к началу XX в., были построены за 90-е годы. Только на юге к двум металлургическим заводам, основанным в 70-е годы, прибавились за 80—90-е еще 15[2]. В начале 80-х годов были открыты железорудные залежи в Кривом Роге, и после того, как Кривой Рог соединили железной дорогой с Донбассом, резко возросли уже к середине 90-х годов и добыча угля, и металлургическое производство. Лишь вследствие дореформенной отсталости Россия и в XX в. экономически оставалась позади Запада. Главное же, этот прогресс российской экономики был достигнут при явном пренебрежении к социальным нуждам (как и к политическим правам) трудящихся масс, за счет беспощадного ограбления большинства нации в угоду привилегированным сословиям.

Кроме экономики, режим Александра III относительно преуспел во внешней политике. О ней речь пойдет особо в следующей главе, где будет показано, что этот царь заслужил титул «миротворца». Однако ни экономические, ни внешнеполитические успехи не могли удовлетворить царизм, пока оставалась нерешенной главная задача: искоренение крамолы. Между тем, несмотря на все свои усилия, политическая реакция 80-х годов не могла остановить роста революционных сил. Наоборот, она сделала

[1] *Обнинский В.П.* Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II. М., 1992. С. 21—22.

[2] См.: *Хромов П.А.* Экономическое развитие России. М., 1967. С 284.

революционеров еще более непримиримыми, изобретательными и агрессивными.

«Да, мы, революционеры,— писал о том времени В.И. Ленин,— далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов... Ведь в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «наступила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III... Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал-демократического миросозерцания». Это — очень верное наблюдение. Здесь не место говорить о том, во что выльется через 20 лет и к чему приведет Россию большевизм. Здесь речь идет о кипучей работе загнанной глубоко в подполье революционной мысли 1880-х годов, которая повернула от народничества к марксизму.

Народники и в 80—90-е годы продолжали свою борьбу против царизма, но все заметнее уступали роль главной силы освободительного движения социал-демократам марксистского толка. Даже народовольческая группа П.Я. Шевырева — А.И. Ульянова, подчеркнуто именовавшая себя «Террористической фракцией партии "Народная воля"», признала в своей программе некоторые социал-демократические идеи, включая тезис о «решающей роли» пролетариата как революционной силы. Практически, однако, группа действовала старыми методами «Народной воли» и попыталась даже осуществить 1 марта 1887 г. цареубийство (так называемое «второе 1 марта»). За эту попытку и Петр Шевырев, и Александр Ульянов, и еще трое их товарищей были повешены.

В то же время, с 1883 г., в России шел процесс распространения марксизма. Росли количество социал-демократических организаций и влияние их на революционную молодежь. Вначале социал-демократия на русской почве казалась скороспелой и малоавторитетной. В.Д. Бонч-Бруевич вспоминал, что первых русских марксистов пренебрежительно звали «марксятами», между тем как народники слыли тогда внушительно «марксоедами». Самый активный «марксоед» Н.К. Михайловский буквально издевался над доктриной марксизма, утрируя ее таким образом: в ней «нет героев и толпы, а есть только равно необходимые люди, в известном порядке выскакивающие из таинственных недр истории. В действительной жизни, однако, герои и толпа существуют, герои ведут, толпа бредет за ними, и прекрасный этому пример представляют собою Маркс и марксисты»[1].

Тем не менее теоретическая несостоятельность народничества, проявившаяся со всей очевидностью в условиях второй революционной ситуации, отторгала от себя все большее число революционеров. Ожесточаясь против реакции, они разочаровывались в народничестве и склонялись к новому, *еще не*

[1] *Михайловский Н.К.* Литература и жизнь // Русское богатство. 1894. № 1. С 114.

испытанному в России социал-демократическому варианту революции. К середине 90-х годов, когда возник петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», социал-демократы уже возобладали как идейно, так и организационно над народниками. Возглавил этот союз младший брат Александра Ульянова — будущий вождь Коммунистической партии, Октябрьской революции и Советской власти Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

Итак, отбив революционный натиск 1879—1881 гг., самодержавно-крепостническая реакция не смогла за 80—90-е годы повернуть вспять начавшийся после 1861 г. глубинный процесс экономического и социального обновления страны, процесс изживания крепостничества во всех его формах, включая самодержавие. Выбравшись из острого *политического* кризиса, царизм оказался беспомощным перед *общим* кризисом всей социально-экономической системы, частное проявление которого (и только) означал преодоленный с таким трудом политический кризис. Весь самодержавно-полукрепостнический порядок к 90-м годам уже прогнил насквозь. Поэтому любые попытки реакции капитально отремонтировать и укрепить его, подавить революционное движение оказывались тщетными. Они могли не предотвратить, а всего лишь отсрочить неизбежную гибель самодержавия.

Тринадцать лет Александр III, по выражению Г.В. Плеханова, «сеял ветер». Его преемнику — Николаю II — выпало на долю *пожать бурю.*

Историографическая справка. Историография темы количественно невелика, хотя качественно внушительна. Русские дореволюционные историки не проявляли к контрреформам Александра III специального интереса. В общем плане их обозрел на страницах своего «Курса истории России в XIX веке» А.А. Корнилов, земскую контрреформу рассмотрел Б.Б. Веселовский[1], образовательную — С.В. Рождественский[2], но все это более фактологически, описательно, чем исследовательски, без должной критики (из цензурных соображений) реакционной сущности контрреформ. Зато в советской литературе контрреформам посвящен ряд превосходных обобщающих монографий подчеркнуто (иногда излишне) критической направленности.

Наиболее обстоятельно — с привлечением множества неизданных материалов — вся внутренняя политика Александра III и его контрреформы исследованы в книге П.А. Зайончковского[3]. Здесь

---

[1] См.: *Веселовский Б.Б.* История земства за 40 лет. СПб., 1910. Т. 3.

[2] См.: *Рождественский С.В.* Исторический очерк деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб., 1902. Гл. 8.

[3] См.: *Зайончковский П А.* Российское самодержавие в конце XIX ст. (Политическая реакция 80-х — начала 90-х гг.). М., 1970.

ярко охарактеризованы сам царь, его окружение, их расчеты и способы действий, смысл, содержание и результаты контрреформ (лишь судебная контрреформа явно недооценивается). Ю.Б. Соловьев досконально исследовал дворянский вопрос во внутренней политике царизма при Александре III, показав, как «за фасадом внешнего могущества скрывалась возрастающая слабость режима»[1]. Земская контрреформа монографически исследована Л.Г. Захаровой, судебная — Б.В. Виленским[2]. Их монографии, пожалуй, чрезмерно акцентированы на губительных для России сторонах и последствиях контрреформ без должного учета их незавершенности. Наконец, в труде С.Л. Эвенчик[3] контрреформы 1889—1892 гг. рассмотрены (тоже с акцентом на масштабах вреда, который они причинили России) сквозь призму определяющего идейного, а зачастую и делового воздействия на них со стороны «русского папы» К.П. Победоносцева.

Карательный аспект внутренней политики Александра III стал предметом исследования в кандидатской диссертации Д.В. Чернышевского, где хорошо показаны масштабность, разносторонность и тщетность карательного террора самодержавия, хотя и сделан весьма сомнительный вывод о том, что ввиду малого числа казненных революционеров «ни о каком «белом терроре» (при Александре III. — *Н.Т.*) говорить нет оснований»[4].

Апологетический труд А.Н. Боханова «Император Александр III» (М., 1998), где утверждается, будто контрреформ как таковых вообще не было, представляет собой поверхностный рецидив дворянско-верноподданической историографии.

В зарубежной историографии специальных работ о контрреформах Александра III нет. Английский историк Ч. Лоу в биографии Александра оценил контрреформы как большую ошибку царя, свернувшего с пути реформ своего отца и потому упустившего «великий шанс» поднять Россию вровень с передовыми державами Запада[5]. Такова же, в принципе, точка зрения Т. Пирсона (США)[6].

---

[1] *Соловьев Ю.Б.* Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 1973. С. 14.

[2] См.. *Захарова Л.Г.* Земская контрреформа 1890 г. М., 1968; *Виленский Б.В* Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

[3] См.: *Эвенчик С.Л.* Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. 1969. № 309.

[4] См.: *Чернышевский Д.В.* Карательная политика царизма 1881—1894 гг. Саратов, 1990. С. 18.

[5] См.: *Low Ch.* Alexander III of Russia. L., 1895. P. 312.

[6] См.. *Pearson Th.S.* Russian Officialdom in Crisis· Autocracy and Local Self-Government 1861—1900. Cambridge (Mass), 1989

Россия и «Союз 3-х императоров»

Английский историк А. Тэйлор в капитальном труде под названием «Борьба за господство в Европе (1848—1918 гг.)» подметил: «В истории Европы Берлинский конгресс явился своего рода водоразделом. Ему предшествовали 30 лет конфликтов и потрясений; за ним последовал 34-летний период мира». Действительно, войн до 1912 г. в Европе не было (кроме двух скоротечных и безрезультатных между Сербией и Болгарией в 1885-м и Турцией и Грецией в 1897 г.), но опасность войны все эти годы буквально висела над Европой. «34-летний период мира», о котором пишет Тэйлор,— это время острейшей и сложнейшей дипломатической борьбы, наращивания сил держав-соперниц.

Дипломатическое поражение царизма на Берлинском конгрессе ослабило международные позиции России и ударило по ее престижу в Европе. Период со второй половины 1878 до середины 1881 г. был для внешней политики царизма трудным временем, когда приходилось балансировать на грани войны и прорываться из кольца дипломатической изоляции.

Англия после Берлинского конгресса стала хозяйничать в зоне черноморских проливов, подчинив себе не только экономически, но теперь уже и политически Турцию. 22 марта 1879 г. военный министр России Д.А. Милютин оставил в своем дневнике такую запись: «При теперешнем положении дел Англия уже владеет фактически и Константинополем, и проливами. Настоящий хозяин в столице Турции — не султан, а представитель Англии». До весны 1879 г. английский флот стоял в Мраморном море как пугало для царизма. Канцлер А.М. Горчаков во второй половине 1878 г. периодически запрашивал у своего посольства в Лондоне информацию о том, готовится ли Англия к скорой войне против России. После долгих дипломатических трений между Петербургом и Лондоном английские корабли ушли из Дарданелл в Средиземное море, но оставались поблизости и в любой день могли опять появиться в проливах.

Австро-Венгрия тоже не скрывала своей вражды к России, поскольку обе эти державы равно стремились достигнуть одного и того же — гегемонии на Балканах. Весной 1881 г. на обеде в Зимнем дворце австрийский посол заговорил даже о возможной мобилизации «двух или трех корпусов» для защиты балканских

интересов Австро-Венгрии. Александр III в ответ взял вилку, согнул ее петлей и бросил к прибору посла со словами: «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя корпусами!»

Главное же, в лагере противников России оказалась после Берлинского конгресса Германия. Ее «железный канцлер» О. Бисмарк так и не простил русскому правительству его выступления в защиту Франции в 1875 г. Поскольку же Германия продолжала считать разгром Франции задачей № 1 своей внешней политики, Бисмарк перестал заискивать перед Россией и взял курс на сближение с Австро-Венгрией. Для Германии выгодно было сохранять в лице Австро-Венгрии постоянный и сильный противовес России на Балканах. Иначе, если бы австро-венгерская монархия погибла (от войны извне или от революции изнутри), из-под ее развалин выделились бы национальные славянские государства, которые по логике истории ориентировались бы на славянскую Россию. В этом случае Россия могла чрезмерно (с точки зрения Германии) усилить свои международные позиции. Такого оборота событий Бисмарк не хотел допустить.

Русско-германские отношения после конгресса в Берлине очень быстро портились, и уже с конца 1878 г. между Германией и Россией началась *война* — сначала газетная, а потом таможенная. Русская (особенно славянофильская) пресса обвиняла тогда Бисмарка в неблагодарности, ибо он на Берлинском конгрессе якобы предал Россию, забыв о том, как она помогла ему своим благожелательным к Пруссии нейтралитетом в 1870—1871 гг., когда та громила Францию. Пресса Германии, в свою очередь, обрушивалась на россиян с упреками в том, что они не только неблагодарны, но и бестолковы, поскольку, мол, не понимают очевидной истины: Бисмарк в Берлине сделал для них больше, чем все их собственные дипломаты, вместе взятые.

Если газетную войну можно было не принимать всерьез, то другая, таможенная война сразу возымела серьезные последствия. Германия к тому времени представляла собой важнейший рынок для сырья из России (в 1879 г. поглощала 30 % русского экспорта). Между тем мировой аграрный кризис 70-х годов обострил борьбу за рынки сбыта продовольственных и сырьевых продуктов. В условиях кризиса германское юнкерство требовало оградить его от иностранной конкуренции. Бисмарк внял требованиям и в январе 1879 г. установил почти полный запрет на ввоз русского скота (под видом карантинной меры против вспышки эпизоотии в Астраханской губернии), а затем поднял таможенные пошлины на хлеб, ударившие по интересам российских помещиков еще больнее, чем его «ветеринарные» меры.

В то же время российские промышленники добились от своего правительства взимания повышенных (и притом в золоте) пошлин с германских промышленных товаров, чтобы пресечь экономическую экспансию Германии и не позволить ей, как писал об этом

М.Н. Катков в 1879 г., «поставить Россию в те отношения к Германии, в каких Турция и Египет находятся по отношению к Англии и Франции». В результате отношения между Россией и Германией ухудшились, как никогда со времен Семилетней войны.

Зато Австро-Венгрия охотно пошла на сближение с Германией. 7 октября 1879 г. эти державы заключили в Вене секретный договор о союзе. Бисмарк хотел нацелить союз как против России, так и против Франции, но по настоянию его австро-венгерского коллеги Д. Андраши договор был направлен только против России. Бисмарк не очень огорчился, посчитав для начала достаточно выгодным и такой договор. Характерно, что уговаривал он Андраши в примирительных выражениях: «Извольте принять мое предложение, иначе... я приму ваше!» Договор был подписан в формулировке Андраши: «В случае, если бы одна из двух империй <...> подверглась нападению со стороны России, обе высокие договаривающиеся стороны обязаны выступить на помощь друг другу со всей совокупностью вооруженных сил своих империй».

Австро-германский договор 1879 г. по форме был оборонительным. Он предусматривал военное взаимодействие союзников только при нападении России на одного из них. Но поскольку война всего вероятнее могла возникнуть в результате русско-австрийского конфликта на Балканах, решение вопроса о том, кто на кого напал, оказывалось в компетенции Германии. Более того, Германия при благоприятном стечении обстоятельств могла использовать договор 1879 г. и против Франции, напав на нее (если бы при этом Россия вступилась за Францию, Австро-Венгрия поддержала бы Германию). Как бы то ни было, Германия и Австро-Венгрия образовали в 1879 г. военный блок, положивший начало одной из тех двух коалиций, которые развяжут в 1914 г. первую мировую войну.

Таким образом три из четырех великих держав Западной Европы того времени (Англия, Германия, Австро-Венгрия) заняли откровенно враждебные позиции по отношению к России. Что касается Франции, то она еще не оправилась от последствий франко-прусской войны 1870—1871 гг. и не смела активно противодействовать политике Бисмарка. Россия вновь, уже в который раз за XIX век, оказывалась в кольце дипломатической изоляции.

Затруднительность положения России усугублялась еще рядом внутренних факторов, исключавших на неопределенное время возможность наступательной внешней политики, а именно: 1) подъем освободительного движения (к 1879 г. в стране сложилась революционная ситуация и нарастал кризис «верхов»), 2) финансовое истощение после русско-турецкой войны 1877—1878 гг., 3) незавершенность военных реформ 1862—1874 гг., отдельные звенья которых (в особенности перевооружение армии) еще не были в полной мере реализованы.

Как же в таких условиях строилась внешняя политика царизма? Главным врагом считалась Англия. Правда, регулярная война между Россией и Англией казалась маловероятной. Не зря их соперничество уподобляли «борьбе слона и кита». Но в двух пунктах опасность военного конфликта России с Англией была реальной — в черноморских проливах и в Средней Азии. Наиболее опасна была угроза захвата проливов английским флотом. Чтобы нейтрализовать такую угрозу, надо было, конечно, обзавестись собственным, достаточно мощным флотом на Черном море. Но строительство флота только началось в 1881 г. (спустя 10 лет после отмены ограничительных статей Парижского договора!) и двигалось очень медленно из-за безденежья. Поэтому временно обеспечить защиту проливов от Англии должна была дипломатия. Ей предстояло решить главным образом три следующие задачи.

Во-первых, надлежало прорвать кольцо дипломатической изоляции, т.е. отделить от Англии ее возможных союзников и в первую очередь — Австро-Венгрию. В качестве средства для решения этой задачи Александр II и его советники избрали оптимальный вариант — возобновить «Союз 3-х императоров» (России, Германии, Австро-Венгрии). Во-вторых, чтобы отвлечь внимание Англии от проливов, необходимо было создать угрозу величайшей колониальной сокровищнице британской короны — Индии. Средством решения этой задачи должно было стать русское продвижение в Средней Азии. Наконец, в-третьих, пока не был построен флот, требовалось продвинуть хотя бы сухопутные войска поближе к проливам. Эту задачу предполагалось решить посредством усиления русских позиций в Болгарии, т.е. организации болгарской армии под руководством русских офицеров: господствуя над Болгарией, Россия могла держать проливы под присмотром и ударом.

К тому времени, когда русская дипломатия занялась решением этих задач, в руководстве внешней политикой России произошли важные перемены. Дряхлый князь А.М. Горчаков, которому летом 1878 г. перевалило за 80, из-за физической немощи с середины 1879 г. фактически устранился от дел, хотя формально продолжал занимать пост министра иностранных дел до 1882 г. Место Горчакова занял его сравнительно молодой помощник, 59-летний Николай Карлович Гирс, который возглавлял МИД России до своей смерти в 1894 г., т.е. как раз все время царствования Александра III.

Гирс был довольно бесцветной личностью. Заурядный (правда, с большим опытом и, главное, добросовестный, по-немецки пунктуальный) дипломат, невзрачный внешне, коробивший окружающих «огромными ушами» и «заячьим взглядом», он имел две слабости, вредно отразившиеся на деятельности его ведомства. Во-первых, Гирс был безынициативен и робок. Не имея ни родовитости, ни состояния, он очень дорожил своим служебным

положением и окладом, а потому был, по выражению С.Ю. Витте, «смирным» министром. Перед царем Гирс трепетал, как мышь перед кошкой (когда он отправлялся к царю с докладом, его помощник В.Н. Ламздорф шел в ближайшую церковь молиться об удачном исходе дела). На заседании Государственного совета Гирс, по записи очевидца, «как испуганный заяц, прячется в свое кресло и даже закрывает лицо руками». Другие министры его презирали, при дворе ни в грош не ставили. На одном из придворных обедов обер-гофмаршал Э.Д. Нарышкин при всех крикнул ему: «Дорогой мой министр, так нож и вилку не держат!»

Естественно, такой министр мог только исполнять, но не творить, что, впрочем, устраивало царя. Александр III, хотя и держал Гирса «в черном теле», по-своему симпатизировал ему, иногда даже приятельски фамильярничал с ним, например, подарил свой портрет с собственноручной припиской : «Посылаю при этом мою рожу»[1]. Вторая слабость Гирса как российского министра заключалась в том, что он был немец, германофил и обожатель Бисмарка. Ради того, чтобы не навредить немецким интересам, он осмеливался даже при случае проявлять инициативу и настойчивость.

Впрочем, в 1879—1881 гг., т.е. от устранения Горчакова до смерти Александра II, фактическим руководителем внешней политики России был военный министр граф Д.А. Милютин — выдающийся организатор и реформатор военного дела, по образованию и призванию вовсе не дипломат, но, в отличие от Гирса, очень независимая, умная и сильная личность. Милютин, а также влиятельные дипломаты П.А. Шувалов (посол в Лондоне) и П.А. Сабуров (посол в Берлине) ориентировались на возобновление «Союза 3-х императоров» и, в частности, на сближение с Германией, что объединяло их с Гирсом.

Между тем весной 1880 г. Бисмарк попытался привлечь к австро-германскому союзу Англию и тем самым еще туже стянуть кольцо дипломатической изоляции вокруг России. Но английское правительство, которое только что возглавил либерал У. Гладстон, заменивший консерватора (и русофоба) Б. Дизраэли, джентльменски корректно уклонилось от принятия на себя каких-либо обязательств. В Берлине поняли, что Англия хочет использовать Германию лишь как свою «континентальную шпагу» против России и что вообще, по меткому определению Бисмарка, «политика Англии заключается в том, чтобы бить своих морских противников своими сухопутными союзниками». В то время как Бисмарк переосмысливал неудачу своих переговоров с Англией, к нему прибыл П.А. Сабуров с предложением от русского правительства нормализовать отношения между Германией и Россией.

[1] *Ламздорф В.Н.* Дневник (1866—1890). М.; Л., 1926. С. 255.

К тому моменту уже было ясно, что таможенная война нанесла ущерб обеим странам, разрушив их традиционные и взаимовыгодные экономические связи. Поэтому Бисмарк охотно принял русское предложение. Он только поставил непременным условием договора между Россией и Германией участие в нем Австро-Венгрии. Таким образом в порядок дня становилось именно возрождение «Союза 3-х императоров». Русской дипломатии это и было нужно.

6(18) июня 1881 г. в Берлине был подписан австро-русско-германский договор. Подобно договору 1873 г. между теми же партнерами, он вошел в историю под пышным наименованием «Союз 3-х императоров». На этот раз, однако, «союз» представлял собой даже не консультативный пакт, как в 1873 г., а всего лишь договор о нейтралитете. Союзники обязались соблюдать нейтралитет в случае, если кто-либо из них окажется в состоянии войны с четвертой державой. Это значило, что Россия обязывалась не вмешиваться в войну между Германией и Францией, а Германия и Австро-Венгрия обещали России то же самое в случае англо-русской или русско-турецкой войны. Один пункт этого договора был особенно важен для России: союзники договорились «сообща следить» за тем, чтобы Турция соблюдала правило закрытия проливов, а в случае нарушения этого правила — предупредить Турцию, что они будут считать ее оказавшейся «в состоянии войны со стороной, в ущерб которой это будет сделано»[1]

Новый союз был взаимно выгоден для всех его участников, но не мог быть ни прочным, ни длительным. Бисмарк прямо говорил П.А. Сабурову, что он вообще не любит оставаться нейтральным: «Всегда рискуешь получить в результате двух врагов, в то время как сделав выбор, будешь иметь только одного». Согласие 3-х императоров сохранялось лишь до тех пор, пока русско-австрийские противоречия на Балканах, временно смягчившиеся после восточного кризиса 1875—1878 гг., не обострились вновь. Когда истек первый (трехлетний) срок действия союза, еще оказалось возможным продлить его на следующие три года (1884—1887) — к великой радости Гирса, который даже непроизвольно перекрестился (хотя был протестантом), глядя на то, как царь парафирует договор.

Опираясь на свое участие в «Союзе 3-х императоров», царизм проявил твердость в конфликте с Англией летом 1885 г. и одержал важную дипломатическую победу.

Поскольку русское наступление в Средней Азии угрожало тогда Индии, Англия именно здесь, как нигде, активизировалась — даже проливы отодвинула на второй план. Один из отцов британского колониализма и, кстати, отец Уинстона Черчилля

[1] Сборник договоров России с другими государствами (1856—1917). М., 1952. С 230.

Рандолф Черчилль, занимавший в Англии пост министра по делам Индии, говорил, что он «готов был отдать русским Константинополь с проливами под условием отодвинутия [русской] границы в Средней Азии на 300 миль назад»[1]. В мае 1879 г. Англия навязала Афганистану договор, который устанавливал над афганцами английский протекторат. Россия в ответ заняла к 1881 г. приграничные с Афганистаном земли Туркмении. Таким образом, сферы влияния России и Англии в Средней Азии угрожающе сближались. Конфликт назревал.

Весной 1885 г. он достиг кульминации. Англия руками афганцев заняла Пендинский оазис в Туркмении, хотя население оазиса просилось в русское подданство. Александр III, узнав об этом, направил в оазис бригаду генерала А.В. Комарова с приказом: «Выгнать и проучить как следует!» Афганцы встретили русских на р. Кушке и были разгромлены. Русские заняли Пендинский оазис. Александр III наградил Комарова орденом Св. Георгия 3-й степени. Тогда в Англии началась антирусская истерия. Во всю ширь развернулись приготовления к войне с Россией. Английский парламент открыл своему правительству кредит в 11,5 млн. ф. ст. на военные нужды. Момент был острый. По словам В.И. Ленина, Россия оказалась «на волосок от войны с Англией».

Англия рассчитывала напасть на Россию с Черного моря силами своего флота, а на суше воевать против России турецкой кровью. Английские стратеги уже спланировали высадку турецкого десанта на Кавказе и морскую диверсию против Одессы. Между тем Россия на Черном море была еще очень слаба. К 1885 г. были спущены на воду и пока не обеспечены вооружением лишь первые броненосцы возрожденного Черноморского флота. Но царизм склонил своих партнеров по «Союзу 3-х императоров» оказать давление на Турцию, чтобы она не пропустила в Черное море английский флот. Так как султан был обижен на Англию за то, что она в 1882 г. отняла у него Египет, он не только не стал противиться давлению «3-х императоров», но и с готовностью взялся укреплять Дарданеллы. Более того, захват Египта рассорил Англию и с Францией, которая сама претендовала на Египет. Англия, таким образом, оказалась изолированной.

Обдумывая альтернативу, «воевать с Россией или уступить», английское правительство выбрало второе решение. 29 августа (10 сентября) 1885 г. в Лондоне оно подписало англо-русский протокол, который определил границу между Россией и Афганистаном так, что вся спорная область Пендинского оазиса отошла к России. По линии, установленной тем протоколом, государственная граница между Афганистаном и Россией, а затем СССР проходила вплоть до его распада. Таким образом, в

[1] Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. М., 1966. Т. 2. С. 58.

условиях афганского кризиса 1885 г. «Союз 3-х императоров» с точки зрения интересов России себя оправдал. Но в осложнениях следующего же — болгарского — кризиса он развалился.

На Балканах в то время росла национально-освободительная борьба против турецкого ига, плоды которой доставались различным группировкам правящей элиты балканских государств. Эти группировки враждовали между собой и искали поддержку у великих держав. Так создавалась благоприятная почва для вмешательства правительств Европы в дела балканских народов и для конфликтов на Балканах. Самым крупным из этих конфликтов был «болгарский кризис» 1885—1887 гг.

Болгарское княжество было создано в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и фактически руками России. «Управление, офицеры, унтер-офицеры, чиновники, наконец, вся система были русскими,— отмечал Ф. Энгельс.— <...> из Болгарии была создана русская сатрапия», надо признать — в благообразной форме конституционной монархии. Владетельным князем Болгарии стал 22-летний Александр Баттенберг. Его кандидатура оказалась своеобразным «европейским компромиссом», поскольку он был прусский офицер, сын австрийского генерала, племянник русской царицы (жены Александра II) и даже родственник английской королевы (брат мужа ее дочери). Царизм же считал его именно своим ставленником, ибо на словах Баттенберг рассыпался в симпатиях к России. Александр II и выдвинул его кандидатуру на болгарский престол, причем демонстративно произвел его, никогда не служившего в России, в генералы русской службы.

Однако Баттенберг предпочел опереться на Австро-Венгрию и Германию. Его премьер Д. Цанков острил: «Нам не надо ни русского меда, ни русского жала!» Германия и Австро-Венгрия тогда осуществляли экономическую экспансию на Балканах, меж тем как русская буржуазия, боясь конкуренции более развитых капиталистических держав, воздерживалась от активного проникновения на балканский рынок. Поэтому усилия русской дипломатии не имели там экономической базы. Царь же и его министры не понимали этой экономической подоплеки болгарского кризиса и рассуждали бесхитростно: Баттенберг — изменник.

В июле 1885 г. в главном городе Восточной Румелии (т.е. южной, турецкой части Болгарии) Пловдиве народ восстал против турок, изгнал их и провозгласил воссоединение «обеих Болгарий». Александр Баттенберг был объявлен князем объединенной Болгарии. Царизм, раздосадованный политикой Баттенберга, предложил своим партнерам по «Союзу 3-х императоров» заставить «изменника» отказаться от Восточной Румелии и восстановить там status-quo, предусмотренное Берлинским конгрессом. Таким образом, история сыграла с царизмом злую шутку: теперь он добивался того, против чего изо всех сил боролся на Берлинском конгрессе,— разделения Болгарии. Западные державы отклонили

русское предложение, используя его как удобный случай для того, чтобы сыграть роль доброжелателей болгар и всех вообще балканских славян. Тогда царизм пустил в ход всю свою агентуру и устроил в Болгарии государственный переворот.

21 августа 1886 г. Баттенберг был свергнут и выдворен из Болгарии. Его сменило правительство митрополита Климента, которое первым делом телеграфировало Александру III: «Болгария у ног Вашего Величества». Но пока Александр III радовался этой телеграмме, проавстрийская партия в Болгарии сладила контрпереворот и пригласила Баттенберга вернуться к власти. Началась затянувшаяся на 10 месяцев потасовка между марионетками России, Австро-Венгрии и Германии из-за болгарского княжения, а когда страсти улеглись (в июне 1887 г.), все увидели, что княжение прочно держит ставленник Австро-Венгрии немецкий принц Фердинанд Кобург, которому суждено было править Болгарией 30 лет, стать ее царем и основать в ней четвертую и последнюю царскую династию Кобургов. Так Австро-Венгрия вытеснила Россию из Болгарии.

Болгарский кризис 1885—1887 гг. окончательно рассорил Россию и Австро-Венгрию и сделал невозможным сохранение «Союза 3-х императоров». Когда в 1887 г. закончился его второй срок, он не был продлен.

Разрыв с Германией

Вновь стали ухудшаться и русско-германские отношения. Бисмарк опасливо наблюдал за восстановлением мощи Франции. В 1887 г. он предпринял новую, вторую после 1875 г., попытку разгромить ее, пока она еще не оправилась полностью от страшного разгрома 1870—1871 гг. 11 января 1887 г. Бисмарк произнес в рейхстаге угрожающую речь против Франции, заявив, что Германия непременно будет воевать с ней — «может быть, через 10 лет, а может быть, и через 10 дней». Вслед за тем германское правительство объявило о призыве резервистов. В середине февраля к границам Франции были придвинуты 120 тыс. германских войск. Меч Бисмарка вновь навис над головой Франции. Но в критический момент «железный канцлер» заколебался.

Дело в том, что болгарский кризис тогда уже скомпрометировал «Союз 3-х императоров», обнажив его антирусское острие. Проницательный Бисмарк сообразил, что в такой ситуации Россия едва ли допустит новую агрессию против Франции. На всякий случай он решил прощупать позицию России и сделал это не столь дипломатично, сколь плутовски.

10 января 1887 г. в Берлине, сидя за бутылкой шампанского с русским послом Павлом Шуваловым и его братом (видным царским сановником, экс-диктатором «Петром IV»), Бисмарк

набросал проект русско-германского договора и соблазнил Шуваловых представить этот документ Александру III. Договор предусматривал дружественный нейтралитет России в любом конфликте, который мог возникнуть между Германией и Францией. Шуваловы как давние поборники дружбы между Россией и Германией охотно повезли проект договора к царю, а Бисмарк стал ждать, что из этого выйдет. Вышел конфуз — и для Шуваловых, и для Бисмарка. Александр III отвергнул проект, а Шуваловым устроил грандиозную взбучку. В те же дни на полуофициальный запрос правительства Франции, может ли оно рассчитывать на моральную поддержку России, царь приказал ответить: «Конечно, да». Перед Бисмарком вновь встал «кошмар коалиций». В результате, по образному выражению А.З. Манфреда, «Бисмарк, размахивавший мечом над головой Франции, снова вложил его в ножны». Этот эпизод засвидетельствовал перед всем миром пока еще значительную международную роль царской России.

Естественно, русско-германские отношения после этого заметно испортились, но прямой разрыв пока не был выгоден ни той, ни другой стороне. И Россия, и Германия старались не доводить дело до разрыва и хотя бы отчасти использовать друг друга. В том же 1887 г., 6(18) июня, они заменили распавшийся «Союз 3-х императоров» двусторонним договором о нейтралитете. Этот договор — один из самых хитроумных в истории дипломатии. Даже обстановка, в которой он был выработан, интригующе необычна. Вот как это произошло.

Переговоры вели Бисмарк и русский посол в Берлине Павел Шувалов. Рейхсканцлер сразу повел на посла психическую атаку: достал свой портфель, извлек из него какую-то бумагу и прочел Шувалову текст союзного (*секретного*!) договора между Германией и Австро-Венгрией от 7 октября 1879 г. У Шувалова «глаза полезли на лоб», а Бисмарк, не давая ему опомниться, горько, чуть не со слезами на глазах, стал «сожалеть» о том, что тогда, в 1879 г., обстановка вынудила его заключить такой союз и что теперь он связан им, а потому предлагает из будущего русско-германского договора о нейтралитете исключить один-единственный случай, именно нападение России на Австро-Венгрию.

Шувалов, однако, не будь плох, тоже предложил со своей стороны одну-единственную оговорку: исключить случай нападения Германии на Францию. Сколько после этого ни хлопотал Бисмарк вокруг русского посла, тот упрямо стоял на своем. Сошлись на такой затейливой редакции: Германия гарантирует России нейтралитет в случае, если Австро-Венгрия *первая* нападет на Россию, а Россия гарантирует нейтралитет Германии, если Франция *первой* нападет на Германию. Таким образом Бисмарк

получал шанс на войну с Францией без вмешательства России — при условии, если бы ему удалось, как это было в 1870 г., еще раз спровоцировать Францию напасть первой.

Это соглашение вошло в историю под названием «договор о перестраховке»: Германия сначала застраховала себя договором 1879 г. с Австро-Венгрией, а теперь перестраховывалась договором с Россией. В 1879 г. Бисмарк гарантировал военную помощь Австро-Венгрии в случае нападения на нее России, теперь же обещал нейтралитет России в случае нападения на нее Австро-Венгрии. Решение вопроса о том, кто на кого напал первым, Бисмарк оставлял за собой и тем самым обеспечивал себе орудие для давления и на Россию, и на Австро-Венгрию.

Договор «о перестраховке» был заключен на три года с последующим возобновлением при согласии обеих сторон. Он не мог помешать быстрому ухудшению русско-германских отношений. Причиной этого ухудшения были прежде всего экономические противоречия. С одной стороны, после 1879 г. еще дважды — в 1885 и 1887 гг.— правительство Германии поднимало пошлины на русский хлеб, поскольку германские помещики требовали оградить их интересы от конкуренции русских помещиков. С другой стороны, русская буржуазия требовала от своего правительства оградить ее интересы от конкуренции германского капитала. Поэтому царизм в течение 80-х годов неоднократно повышал пошлины на германские промышленные товары. Результатом явились взаимные нападки держав, новая газетная война между ними, полная сплетен и оскорблений. Германские газеты, например, уверяли своих читателей в том, что внешнеполитическая ориентация военных лидеров России И.В. Гурко и Н.Н. Обручева продиктована их женами-француженками.

В октябре 1887 г. Бисмарк попытался вызвать финансовый крах России. Используя тот факт, что Германия была тогда главным кредитором России и что русские займы обычно размещались на берлинской бирже, он предписал всем государственным учреждениям Германии продать принадлежавшие им русские ценные бумаги. Вслед за тем Германский банк прекратил выдачу ссуд под русские ценности и не принимал их больше в залог. Эти меры еще больше рассорили Германию и Россию, но повредили Германии не меньше, чем России. Дело в том, что урожайные для России 1887 и 1888 гг. и неурожаи тех лет в Европе повлекли за собой рост русского хлебного экспорта, однако теперь Германия вынуждена была покупать русский хлеб без прежних льгот, по высоким ценам.

Насколько в 60-е годы Бисмарк был популярен в России, настолько теперь он стал ненавидим. Александр III особенно его недолюбливал. Читая как-то донесение своего посла об очередной

каверзе Бисмарка, царь на полях документа прочувствованно выругался: «Обер-скот»[1].

Впрочем, и в самой Германии ее первый канцлер всем надоел, пережив свою славу. На его беду весной 1888 г. умер император Вильгельм I — этот коронованный слуга Бисмарка, которому, кстати, в то время уже перевалило за 90. Наследник престола Фридрих III так долго ждал своего часа и был к тому времени уже так стар и болен, что успел процарствовать лишь три месяца и тоже умер. Летом 1888 г. императором Германии стал внук Вильгельма I — Вильгельм II, этот, как назвал его Г.В. Плеханов, «коронованный Хлестаков», который, в отличие от своего деда, везде и во всем, кстати и некстати выдвигал на первый план собственную персону да так старательно, что о нем говорили: «Император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе невестой, на каждых крестинах — новорожденным, на каждых похоронах — покойником»[2]. В отместку за то, что «железный канцлер» четверть века помыкал его дедом, Вильгельм II 17 марта 1890 г. бесцеремонно уволил Бисмарка в отставку.

Личные взаимоотношения Вильгельма II и Александра III были далеко не такими идиллическими, как между Вильгельмом I и Александром II или позднее между Вильгельмом II и Николаем II. «Подозрительный, осторожный и пасмурный» русский царь «не любил юркого, словоохотливого, лживого в самой основе своей натуры» германского императора. Во время одного из визитов Вильгельма II в Петербург царь как-то заявил брату, великому князю Владимиру Александровичу: «Занимай Вильгельма после обеда ты, я его могу переносить только до обеда»[3]. В обстановке острых русско-германских противоречий личная неприязнь Александра III к Вильгельму II ложилась дополнительной гирей на чашу весов в пользу не союза, а разрыва между Германией и Россией.

К 1890 г., когда истекал первый срок русско-германского договора «о перестраховке», напряженность в отношениях между его участниками была уже столь велика, что новый канцлер Германии отказался возобновить договор. Вместо Бисмарка рейхсканцлером стал Л. Каприви — профессионал из военной элиты, генерал и шеф адмиралтейства, даже внешне похожий, по наблюдению А.А. Половцова, на «пушку большого калибра», более воитель, чем политик, который так и говорил о себе с гордостью, что он «солдат». Сменив Бисмарка, он как рейхскан-

---

[1] *Ламздорф В.Н.* Указ. соч. С. 181.

[2] *Тарле Е.В.* Соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 5. С. 117. Английский историк Д. Рёль недавно в 1000-страничной монографии «Вильгельм II. Юность кайзера» доказал, что Вильгельм не только страдал с детства физическим недостатком (сухорукостью), но и обрел из-за этого еще до вступления на трон психическую ненормальность.

[3] *Тарле Е.В.* Русско-германские отношения и отставка Бисмарка // Сб. статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 421.

цлер сразу взял «новый курс». Если Бисмарк стремился избежать войны с Россией, то Каприви счел эту войну неизбежной и необходимой для Германии. Бисмарк ставил целью изолировать Францию и воевать с ней локализованно, один на один; Каприви замыслил подготовить войну против франко-русского блока, но силами более мощной коалиции, чем этот блок, т.е. Германии, Австро-Венгрии, Италии и, если удастся идеальный вариант, Англии. В рамках «нового курса» 6 мая 1891 г. с явной демонстрацией силы был торжественно возобновлен Тройственный союз.

Еще в 1882 г. Германия и Австро-Венгрия привлекли к своему союзу Италию, которая тогда очень кстати для австро-германского блока поссорилась с Францией, ибо та только что оккупировала Тунис, буквально перехватив его у Италии. С помощью Италии Германия рассчитывала еще более изолировать Францию, Австро-Венгрия — обеспечить себе тыл на случай войны с Россией. 20 мая 1882 г. Тройственный союз был оформлен договором о взаимной (вплоть до военной) помощи. Так была создана первая из коалиций, развязавших в 1914 г. мировую войну.

Тройственный союз привлек к себе еще Испанию и Румынию, хотя сохранял название Тройственного. В 1883 г. Бисмарк заключил с испанским королем Альфонсом XII «джентльменское соглашение», по которому Испания обязывалась в случае франко-германской войны выставить 100-тысячную армию против Франции, а Германия за это обещала поддерживать Испанию на международных конгрессах, куда испанских представителей до тех пор не приглашали. Этим соглашением Бисмарк сумел, по его излюбленному выражению, «нацелить испанскую мушку на французский затылок».

Правда, склонить на свою сторону Англию германский блок не сумел. Англия отвела все многократно адресованные ей с 1890 по 1894 г. предложения присоединиться к Тройственному союзу. Тем не менее демонстративно возобновленный в 1891 г. Тройственный союз представлял собой фатальную угрозу безопасности Франции и России. Система вовлеченных в него государств, протянув свои щупальца и на Балканы, и на Апеннины, и на Пиренеи, охватывала Францию с трех сторон — Рейна, Альп, Пиренеев. Благоприятные условия создавались для Германии и Австро-Венгрии также на случай их войны с Россией. Союз был гораздо сильнее, чем Франция или Россия порознь. В такой обстановке, естественно, Россия и Франция должны были протянуть друг другу руки.

Русско-французский союз

Союз между Россией и Францией был продиктован не только общностью военно-стратегических интересов той и другой державы, наличием угрозы со стороны общих врагов. К тому времени

уже оказалась налицо для союза и прочная экономическая основа. Россия с 70-х годов остро нуждалась в свободных капиталах для вложения их в промышленность и железнодорожное строительство. Франция, напротив, не находила у себя достаточного числа объектов для собственных капиталовложений и активно вывозила свой капитал за рубеж. Именно с тех пор постепенно стал расти удельный вес французского капитала в российской экономике. За 1869—1887 гг. в России были основаны 17 иностранных предприятий, из них 9 французских.

Французские финансисты весьма продуктивно использовали ухудшение русско-германских отношений. Парижские банки скупили русские ценности, выброшенные на денежный рынок Германии. В 1888 г. на Парижской бирже были выпущены облигации первого русского займа на сумму в 500 млн. франков, за ним последовали займы 1889 г. (на 700 млн. и 1200 млн. франков), 1890 и 1891 гг. Французский капитал в короткое время стал главным кредитором царизма. Так уже в начале 90-х годов закладывалась основа финансовой зависимости России от Франции. Экономические предпосылки союза имели и специальный военно-технический аспект. Уже в 1888 г. приехавший в Париж с неофициальным визитом брат Александра III великий князь Владимир Александрович сумел разместить по французским военным заводам взаимовыгодный заказ на изготовление 500 тыс. винтовок для русской армии.

Давними и прочными были культурные предпосылки союза между Россией и Францией. Ни одна другая страна не оказывала на Россию столь мощного культурного воздействия, как Франция. Имена Ф. Вольтера и Ж.Ж. Руссо, А. Сен-Симона и Ш. Фурье, В. Гюго и О. Бальзака, Ж. Кювье и П.С. Лапласа, Ж.Л. Давида и О. Родена, Ж. Бизе и Ш. Гуно были известны каждому образованному россиянину. Во Франции всегда меньше знали о русской культуре, чем в России — о французской. Но с 80-х годов французы, как никогда ранее, приобщаются к русским культурным ценностям. Возникают издательства, специализирующиеся на тиражировании шедевров русской литературы — произведений Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова и М.Е. Салтыкова-Щедрина, не говоря уже об И.С. Тургеневе, который долго жил во Франции и стал для французов одним из любимейших писателей. Книга М. де Вогюэ «Русский роман», изданная в 1886 г., стала во Франции не только научным и литературным, но и общественным событием.

В условиях нараставшего сближения между Россией и Францией за союз ратовали в обеих странах поборники активной наступательной политики против Германии. Во Франции, пока она придерживалась оборонительной позиции по отношению к Германии, союз с Россией не был жгучей потребностью. Теперь же, когда Франция оправилась от последствий разгрома 1870 г.

и в порядок дня для французской внешней политики встал вопрос о реванше, среди ее руководителей (включая президента С. Карно и премьер-министра Ш. Фрейсине) резко возобладал курс на союз с Россией.

В России тем временем толкали правительство к союзу с Францией помещики и буржуазия, задетые экономическими санкциями Германии и потому выступавшие за поворот отечественной экономики от немецких к французским кредитам. Кроме того, в русско-французском союзе были заинтересованы широкие (политически очень разные) круги российской общественности, которые учитывали всю совокупность взаимовыгодных предпосылок для этого союза. В обществе, в правительстве и даже при царском дворе начала складываться «французская» партия. Ее провозвестником стал знаменитый «белый генерал» М.Д. Скобелев.

17 (по русскому календарю, 5-го) февраля 1882 г. в Париже Скобелев на свой страх и риск произнес «сорвиголовью» речь перед сербскими студентами — речь, которая обошла европейскую прессу и повергла в смятение дипломатические круги России и Германии. «Ни одна победа генерала Скобелева не наделала такого шума в Европе, как его речь в Париже»,— резонно подметила тогда же газета «Киевлянин». Русский посол во Франции князь Н.А. Орлов (сын шефа жандармов А.Ф. Орлова) был так шокирован этой речью, что донес Гирсу, будто Скобелев «открыто изображает из себя Гарибальди»[1]. О чем же так громко говорил «белый генерал»? Он заклеймил официальную Россию за то, что она стала жертвой «иностранных влияний» и теряет ориентировку в том, кто ее друг, а кто враг. «Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого врага, столь опасного для России и для славян, <...> я назову вам его,— гремел Скобелев.— Это автор «натиска на Восток» — он всем вам знаком — это Германия. Повторяю вам и прошу не забыть этого: враг — это Германия. Борьба между славянством и тевтонами неизбежна. Она даже очень близка!»

В Германии и Франции, а также в Австро-Венгрии речь Скобелева надолго стала политической злобой дня. Впечатление от нее было тем сильнее, что она воспринималась как инспирация «свыше». «Что Скобелев, генерал на действительной службе, знаменитейший из русских военных деятелей того времени, говорит никем не уполномоченный, исключительно от своего собственного имени, этому никто не поверил ни во Франции, ни в Германии»,— справедливо заключал Е.В. Тарле. Скобелев спустя четыре месяца после этой речи внезапно умер. Но «французская» партия в российских «верхах» продолжала набирать силы. Ее составляли духовный пастырь царя К.П. Победоносцев, главы правительства Н.П. Игнатьев и сменивший его Д.А. Толстой,

[1] Текст речи Скобелева и вступительная статья к ней Е.В. Тарле опубликованы. Красный архив. 1928. Т. 2. С. 215—220.

начальник Генерального штаба Н.Н. Обручев, самый авторитетный из генералов (вскоре ставший фельдмаршалом) И.В. Гурко, самый влиятельный из коноводов прессы М.Н. Катков. В январе 1887 г. царь уже так сказал Гирсу о национальных антипатиях россиян к Германии: «Прежде я думал, что это только Катков, но теперь убедился, что это — вся Россия».

Правда, сильна была при дворе и в правительстве России и «германская» партия: министр иностранных дел Н.К. Гирс, его ближайший помощник и будущий преемник В.Н. Ламздорф, военный министр П.С. Ванновский, послы в Германии П.А. Сабуров и Павел Шувалов. Придворной опорой этой партии являлась жена царского брата Владимира Александровича великая княгиня Мария Павловна (урожденная принцесса Мекленбург-Шверинская). С одной стороны, она воздействовала на семью царя в пользу Германии, а с другой — содействовала правительству Германии, информируя его о планах Александра III и о русских делах[1]. По влиянию на царя и на правительство, а также по энергии, настойчивости и «калибру» состава «германская» партия уступала «французской», но зато в пользу первой сказывался ряд *объективных* факторов, препятствовавших русско-французскому сближению.

Первым из них был географический фактор отдаленности. Военный союз требовал оперативных сношений, а таковые между странами, расположенными на противоположных концах Европы, представлялись весьма затруднительными в конце XIX в., когда не было ни радио, ни авиа, ни даже автотранспорта, а телеграфная и телефонная связь только еще совершенствовалась. Впрочем, этот фактор сулил русско-французскому союзу и очевидную выгоду, поскольку заключал в себе смертельную для Германии угрозу войны на два фронта.

Больше препятствовали союзу между Россией и Францией различия в их государственном и политическом строе. В глазах такого реакционера, как Александр III, союз царского самодержавия с республиканской демократией выглядел почти противоестественным, тем более что он ориентировал Россию против Германской империи во главе с традиционно дружественной и даже родственной царизму[2] династией Гогенцоллернов. Именно на этом, монархическом, складе мышления самодержца строила «германская» партия свою политику. Гирс прямо говорил в сентябре 1887 г. германскому поверенному в делах при дворе Александра III (будущему канцлеру) Б. фон Бюлову: «Я вам даю голову на отсечение, что никогда, никогда император Александр не подымет руку против императора Вильгельма, ни против его

[1] См.: *Манфред А.З.* Образование русско-французского союза. М., 1975. С. 226 (по архивным документам)

[2] Александр III приходился Вильгельму I племянником, а Вильгельму II — дядей.

сына, ни против его внука». При этом Гирс искренне удивлялся: «Как могут эти французы быть настолько глупыми, чтобы воображать, будто император Александр пойдет со всякими Клемансо против своего дяди! Этот союз мог бы только внушить ужас императору, который не стал бы таскать каштаны из огня в пользу Коммуны»[1].

Отсюда видно, почему русско-французский союз складывался хотя и неуклонно, но медленно и трудно. Ему предшествовал ряд предварительных шагов к сближению между двумя странами — шагов взаимных, но более активных со стороны Франции.

Весной 1890 г., после того как Германия отказалась возобновить русско-германский договор «о перестраховке», французские власти искусно воспользовались затруднительной для России ситуацией. Чтобы завоевать расположение Александра III, они 29 мая 1890 г. арестовали в Париже сразу большую группу (27 человек) русских политических эмигрантов. При этом французская полиция не погнушалась услугами провокатора. Агент петербургской охранки с 1883 г. А.М. Геккельман (он же Ландезен, Петровский, Бэр и генерал фон Гартинг) с ведома полицейских властей Парижа и, по всей видимости, за определенную мзду инсценировал в столице Франции подготовку к покушению на Александра III: сам доставил в квартиру «террористов» бомбы, навел на нее полицию и благополучно скрылся. Арестованные жертвы его провокации были преданы суду и (кроме трех женщин, с чисто французской галантностью оправданных) приговорены к тюремному заключению. Александр III, узнав об этом, воскликнул: «Наконец-то во Франции есть правительство!»[2]

Особо пикантной эта ситуация выглядела потому, что правительство Франции возглавлял в то время Шарль Луи Фрейсине — тот самый Фрейсине, который был главой французского правительства и в 1880 г., когда оно отказалось выдать царизму народовольца Л.Н. Гартмана, обвиненного в подготовке террористического акта против Александра II. Теперь Фрейсине как бы искупил перед Александром III давний грех афронта, нанесенного его отцу.

Полицейская акция 1890 г. в Париже унавозила почву для политического сближения между правительствами России и Франции. Летом того же года с обеих сторон был сделан первый *практический* шаг к союзу. Начальник Генерального штаба Российской Империи Н.Н. Обручев пригласил (разумеется, с высочайшей санкции) на маневры русских войск заместителя

---

[1] Цит. по: *Манфред А.З.* Указ. соч. С. 227. Ж. Клемансо был тогда лидером буржуазных радикалов во Франции.

[2] Геккельмана-Ландезена в благодарность за услугу 1890 г. Александр III наградил очень щедро. Провокатор стал (под фамилией фон Гартинга) начальником русской тайной полиции за границей с генеральским чином и высоким окладом.

начальника французского генштаба Р. Буадефра. Переговоры между Обручевым и Буадефром, хотя и не были оформлены каким-либо соглашением, показали заинтересованность военного руководства обеих сторон в союзном договоре.

В следующем, 1891 г. противная сторона дала новый толчок складыванию русско-французского блока, афишировав возобновление Тройственного союза. В ответ Франция и Россия делают второй практический шаг к сближению. 13(25) июля 1891 г. в Кронштадт с официальным визитом пришла французская военная эскадра. Ее визит стал впечатляющей демонстрацией франко-русской дружбы. Эскадру встречал сам Александр III. Российский самодержец стоя, с непокрытой головой, смиренно прослушал революционный гимн Франции «Марсельезу», за исполнение которой в самой России людей карали, как за «государственное преступление»[1].

Вслед за визитом эскадры состоялся новый раунд дипломатических переговоров, результатом которых стал своего рода консультативный пакт между Россией и Францией, скрепленный подписями двух министров иностранных дел — Н.К. Гирса и А. Рибо. По этому пакту стороны обязались в случае угрозы нападения на одну из них договориться о совместных мерах, которые можно было бы принять «немедленно и одновременно». «Бывшая революционерка обнимает будущую» — так оценил события 1891 г. В.О. Ключевский. Анатоль Леруа-Болье назвал 1891 год «кронштадтским годом». Действительно, царский прием, оказанный военным морякам Франции в Кронштадте, стал как бы событием года с далеко идущими последствиями. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» удовлетворенно констатировала: «Две державы, связанные естественною дружбой, располагают такой грозной силой штыков, что Тройственный союз должен остановиться невольно в раздумье». Зато германский поверенный Б. Бюлов в докладе рейхсканцлеру Л. Каприви оценил кронштадтское свидание как «очень важный фактор, который тяжело падает на чашу весов против обновленного Тройственного союза».

Новый год повлек за собой новый шаг в создании русско-французского союза. Р. Буадефр, к тому времени возглавивший Генеральный штаб Франции, вновь был приглашен на военные маневры русской армии. 5(17) августа 1892 г. в Петербурге он и генерал Н.Н. Обручев подписали согласованный текст военной конвенции, которая фактически означала договор между Россией и Францией о союзе. Вот главные условия конвенции.

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия нападет на

[1] М.Е. Салтыков-Щедрин в очерках «За рубежом» горько иронизировал над тем, как он, будучи однажды в Париже, услышал прямо на улице пение «Марсельезы»: «Сам-то я, разумеется, не пел — но как бы не пострадать за присутствование!»

Германию, а если Россия будет атакована Германией или Австро-Венгрией, поддержанной Германией, то Франция выступит против Германии.

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из его держав Россия и Франция немедленно и одновременно мобилизуют все свои силы и придвинут их как можно ближе к своим границам.

3. Франция обязуется выставить против Германии 1300 тыс. солдат, Россия — от 700 до 800 тыс. «Эти войска,— говорилось в конвенции,— будут полностью и со всей быстротой введены в дело так, чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на Востоке и на Западе»[1].

Конвенция должна была вступить в силу после ее ратификации императором России и президентом Франции. Подготовить же и представить ее текст к ратификации полагалось министрам иностранных дел. Однако Гирс намеренно (в интересах Германии) затягивал представление, ссылаясь на то, что болезнь мешает ему изучить с надлежащей тщательностью детали. Французское правительство, сверх его ожиданий, помогло ему: оно запуталось осенью 1892 г. в грандиозной *панамской* афере.

Дело в том, что международная акционерная компания, созданная во Франции в 1879 г. для строительства Панамского канала под председательством Фердинанда Лессепса (того самого, который в 1859—1869 гг. построил Суэцкий канал), обанкротилась в результате хищений и подкупа множества видных должностных лиц, включая трех бывших премьер-министров[2]. Ряд этих лиц, безнадежно скомпрометированных, предстал перед судом. Во Франции началась министерская чехарда. Гирс и Ламздорф злорадствовали, предвкушая реакцию Александра III. «Государь,— читаем в дневнике Ламздорфа,— получит возможность убедиться, насколько опасно и неосторожно слишком тесно связываться с государствами без постоянного правительства, каковым является в настоящее время Франция».

Царь действительно не торопил Гирса с изучением конвенции, но тут правительство Германии, ради которого Гирс так старался, расстроило всю его игру. Весной 1893 г. Германия начала очередную таможенную войну против России, а 3 августа ее рейхстаг принял новый военный закон, по которому вооруженные силы Германии численно вырастали с 2 млн. 800 тыс. до 4 млн. 300 тыс. человек. Получив подробную информацию об этом от французского Генерального штаба, Александр III рассердился и демонстративно сделал новый шаг к сближению с Францией, а именно послал в Тулон с ответным визитом русскую военную эскадру. Правда, царь все еще осторожничал. Он затребовал

[1] Сборник договоров России с другими государствами (1856—1917). С. 281.

[2] С тех пор самый термин «Панама» стал нарицательным для обозначения особо крупных афер.

списки тех адмиралов, которые хорошо говорят по-французски, и тех, которые — плохо. Из второго списка царь повелел выбрать говорящего по-французски хуже всех. Таковым оказался вице-адмирал Ф.К. Авелан. Он и был послан во главе эскадры во Францию, «чтобы меньше там болтал».

Франция оказала русским морякам столь восторженный прием, что Александр III оставил все сомнения. Он приказал Гирсу ускорить представление русско-французской конвенции и 14 декабря одобрил ее. Затем состоялся предусмотренный дипломатическим протоколом обмен письмами между Петербургом и Парижем, а 23 декабря 1893 г. (4 января 1894 г.) конвенция официально вступила в действие. Русско-французский союз был оформлен.

Подобно Тройственному союзу, русско-французский союз создавался внешне как оборонительный. По существу же оба они таили в себе агрессивное начало как соперники в борьбе за раздел и передел сфер влияния, источников сырья, рынков сбыта на пути к европейской и мировой войне. Союз 1894 г. между Россией и Францией в основном завершил ту перегруппировку сил, которая происходила в Европе после Берлинского конгресса 1878 г. Ф. Энгельс так определил итоги развития международных отношений 1879—1894 гг.: «Крупные военные державы континента разделились на два больших, угрожающих друг другу лагеря: Россия и Франция — с одной стороны, Германия и Австро-Венгрия — с другой». Соотношение сил между ними во многом зависело от того, на чью сторону встанет Англия — самая развитая в экономическом отношении держава тогдашнего мира. Правящие круги Англии пока еще предпочитали оставаться вне блоков, продолжая политику «блестящей изоляции». Но нараставший из-за колониальных претензий друг к другу англо-германский антагонизм заставлял Англию все определеннее склоняться к русско-французскому блоку.

Историографическая справка. Историография данной темы сравнительно невелика. В отличие от предыдущих и последующих лет внешняя политика России 1879—1894 гг. мало интересовала историков, за исключением такого, центрального в этой теме, сюжета, как русско-французский союз.

Русская дореволюционная историография и на рубеже XIX—XX вв. традиционно продолжала выделять из всех вопросов отечественной внешней политики восточный вопрос[1], хотя он со временем отходил все дальше на второй план. Даже русско-французский союз так и не стал до 1917 г. для российских историков предметом специальных исследований.

В советской историографии все аспекты внешней политики царизма 1879—1894 гг. так или иначе рассматривались.

[1] См., например: *Жихарев С.А.* Русская политика в Восточном вопросе. М., 1896. Т. 1—2, *Горяинов С.М.* Босфор и Дарданеллы. СПб., 1907.

Е.В. Тарле, а позднее Ф.А. Ротштейн обозрели их в сводных трудах по истории европейской дипломатии конца XIX в.[1] В 1928 г. был издан 1-й том капитального труда С.Д. Сказкина о «Союзе 3-х императоров» 1881—1887 гг.[2] (2-й том не был написан). На основе архивных, ранее никем не изученных данных Сказкин раскрыл причины возникновения и распада этого союза и все стороны его деятельности как последней попытки трех самых реакционных монархий Европы сохранить, по крайней мере, благожелательный нейтралитет между ними — попытки, обреченной на неудачу из-за обострения их обоюдно гегемонистских претензий, главным образом на Балканах. Столь же основательный труд о русско-французском союзе 1894 г. появился лишь в 1975 г.[3] Здесь исследован во всей его сложности процесс постепенного сближения России и Франции за 20 лет до оформления союзного договора между ними, подробно рассмотрены все — экономические, политические, военные, культурные — предпосылки союза и масштабно показано его значение. Никакого сравнения с трудами С.Д. Сказкина и А.З. Манфреда не выдерживают работы на те же темы В.М. Хвостова[4], излишне политизированные и декларативные.

На Западе (прежде всего во Франции) литература о русско-французском союзе 1894 г. неизмеримо богаче. Р. Жиро исследовал экономические предпосылки союза[5], Э. Доде, Ж. Мишон, У. Лангер и другие — его дипломатическую и военную сущность, причем с разных позиций: Мишон, например, развивал несостоятельную, хотя и распространившуюся в английской и немецкой литературе, версию о том, что русско-французский союз «возник из восточного вопроса».

Другие сюжеты российской внешней политики 1879—1894 гг. в зарубежной историографии освещены слабо. Зато историкам Запада принадлежит ряд превосходных обобщающих трудов по истории международных отношений конца XIX в., где рассматривается — в общеевропейском контексте — и внешняя политика царской России[6].

---

[1] См.: *Тарле Е.В.* Европа в эпоху империализма. 1871—1919. М., 1927; *Ротштейн Ф.А.* Международные отношения в конце XIX в. М.; Л., 1960.

[2] См.: *Сказкин С.Д.* Конец австро-русско-германского союза. М., 1928. Т. 1 (2-е изд.— М., 1974).

[3] См.: *Манфред А.З.* Образование русско-французского союза. М., 1975.

[4] См.: *Хвостов В.М.* Франко-русский союз и его историческое значение. М., 1955; История дипломатии. 2-е изд. М., 1963. Т. 2. Гл. 5, 8 (автор тома — В.М. Хвостов).

[5] См.: *Girault R.* Emprunts russes et investissements français en Russie. 1887—1914. P., 1973.

[6] См.: *Дебидур А.* Дипломатическая история Европы. М., 1947. Т. 2.; *Тейлор А.* Борьба за господство в Европе (1848—1918). М., 1958; *Renouvin P.* La paix armée et la grande guerre (1871—1919). P., 1939. Сохраняет большое научное значение обзорно-аналитическая статья Ф. Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22).

XIX век стал поистине золотым веком культуры в России. Сбылось — вполне и со всей очевидностью — предсказание М.В. Ломоносова, утверждавшего в 1747 г.,

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Главной причиной крутого подъема отечественной культуры XIX в. был нараставший тогда процесс смены феодализма капитализмом во всех (экономических, социальных, политических, духовных) компонентах того и другого строя. Процесс этот подспудно развивался еще до отмены крепостного права. Реформа 1861 г. освободила и ускорила его. В результате темп национального развития России повысился, жизнь страны (культурная, в частности) стала более насыщенной, чем когда-либо ранее. Ряд факторов, производных от смены феодализма капитализмом, способствовал небывалому для России прогрессу культуры.

Во-первых, неизмеримо быстрее прежнего росли в XIX в. (особенно в пореформенные десятилетия) производительные силы, а с их ростом усилилась подвижность населения: многомиллионная масса крестьян перемещалась из деревни в город, на заводы и фабрики, на строительство железных дорог и т.д. Все это влекло за собой крупные перемены в духовной жизни народа: возрастала потребность в знаниях, в образованных людях для государственной службы, просвещения, промышленности, торговли; расширялся спрос на книги, журналы, газеты, культурные зрелища и развлечения.

Во-вторых, переход России от феодализма к капитализму сопровождался ускоренным формированием на ее территории славянских наций и присоединением к ней инонациональных окраин, которые тем самым тоже втягивались в общероссийский ход истории. Это стимулировало бурный рост национального самосознания народов России, который оживлял развитие отечественной культуры, придавал особую цельность, идейную зрелость и содержательность культурным ценностям. Творческая активность народных «низов» проявлялась в том, что их представители поднимались через все препятствия к высотам национальной и мировой культуры. Крепостными были поэт Т.Г. Шевченко, живописцы О.А. Кипренский и В.А. Тропинин, актеры М.С. Щепкин и П.С. Мочалов, актрисы П.И. Жемчугова и Е.С. Семенова,

архитекторы А.Н. Воронихин и П.И. Аргунов, механики отец и сын Черепановы, композитор А.Л. Гурилев.

В-третьих, мощным рычагом культурного подъема служило освободительное движение против крепостничества и самодержавия. На протяжении всего столетия оно росло и вглубь, и вширь и по мере своего роста сильнее воздействовало на духовную жизнь страны. Демократический лагерь в лице своих мыслителей, политиков, художников от А.Н. Радищева до Г.В. Плеханова способствовал развитию науки, литературы, искусства с позиций исторического прогресса, гуманизма, высокой идейности и народности.

Наконец, содействовали прогрессу российской культуры XIX в. ее связи со странами Запада, взаимные контакты и обмен культурными достижениями. На Западе в то время господствовали более развитые, чем в России, экономические и общественные отношения. Более высоким, по сравнению с Россией, был и общий уровень западноевропейской культуры, которую представляли тогда такие гиганты общественной мысли, как Г.Ф. Гегель, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Г. Спенсер, К. Маркс; такие светила науки, как П.С. Лаплас, А. Гумбольдт, М. Фарадей, Ч. Дарвин, Л. Пастер; такие гении литературы, как И.В. Гете, Д. Байрон, Ч. Диккенс, О. Бальзак, В. Гюго, Г. Гейне; такие корифеи искусства, как Л. Бетховен, Д. Верди, Ф. Гойя, Н. Паганини, О. Роден. Поэтому общение с Западом благотворно сказывалось на развитии русской культуры.

Вместе с тем в России XIX в. сохранялись факторы, тормозившие развитие национальной культуры: это крепостное право, которое ограничивало возможности просвещения, и царский абсолютизм, сознательно затруднявший доступ к знаниям простому люду. Российская культура развивалась в сложных условиях противоборства как объективных, так и субъективных факторов, из которых одни содействовали, а другие препятствовали ее прогрессу.

Просвещение и наука

Царизм по природе был враждебен просвещению. «Деспотизм боится просвещения, ибо знает, что лучшая подпора его — невежество»,— говорил декабрист К.Ф. Рылеев. Действительно, все самодержцы держались правила, которое сформулировала Екатерина II в письме к московскому генерал-губернатору П.С. Салтыкову (письмо это видел у поэта И.П. Мятлева — правнука Салтыкова — и процитировал в своей книге «Правда о России» кн. П.В. Долгоруков): «Господин фельдмаршал, простого народа учить не следует; если он будет иметь столько же познаний, как Вы и я, то не станет уже нам повиноваться, как повинуется теперь». Однако неодолимая сила экономического развития постоянно расширяла потребности в квалифицированных

кадрах для промышленности, транспорта, здравоохранения, государственной службы. Поэтому самодержавие вынуждено было (даже вопреки собственной природе) время от времени проявлять «заботу» о просвещении, открывать новые учебные заведения, разрешать издание журналов и открытие научных обществ.

Если к началу XIX в. Россия имела только одно высшее учебное заведение (Московский университет — с 1755 г.), а в начале 60-х годов — 14, то в 1896 г. их стало 63. В 1862 г. в Петербурге и в 1866 г. в Москве были открыты первые русские консерватории.

Книг в стране было издано в 1803 г. 143, в 1855 г.— 1020, в 1895 г.— 8699. Число типографий выросло за 1855—1895 гг. с 96 до 1315. К 1890 г. Россия вышла на третье место в мире (после Франции и Германии) по количеству названий издаваемой литературы. Среди книгоиздателей выделялись такие энтузиасты отечественной культуры, как Ф.Ф. Павленков, К.Т. Солдатенков и особенно Иван Дмитриевич Сытин. Костромской крестьянин, начавший трудовую жизнь 14 лет от роду «учеником для всех надобностей» в скорняжной лавчонке на Никольском рынке в Москве, Сытин вырос в крупнейшего и популярнейшего (а также богатейшего) книгоиздателя с мировым именем. В 1914 г. его «Товарищество» давало свыше 25 % всей книжной продукции в России. Сытин выпускал и дорогие, роскошные юбилейные издания (например, шеститомник «Великая реформа», семитомник «Отечественная война и русское общество», великолепную — к сожалению, незаконченную — 18-томную «Военную энциклопедию»), но главное, он издавал самые дешевые в стране книги, которые мог покупать и читать простой народ. «Это настоящее народное дело,— писал об издательстве Сытина А.П. Чехов.— Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею». Сытин был не только издателем — он был просветителем. За это его ценили И.А. Бунин, И.П. Павлов, В.И. Суриков, А.М. Горький, но и ненавидели мракобесы. В 1905 г. эти последние, действуя по принципу «чтоб зло пресечь, собрать бы книги все да сжечь», сожгли лучшую часть «Товарищества И.Д. Сытина»[1].

В типографиях Сытина, Павленкова, Солдатенкова печатались первые *полные* собрания сочинений Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Белинского, Добролюбова, труды Сеченова, Менделеева, Тимирязева, русские переводы В. Гюго, Ф. Шиллера, Вальтера Скотта, Г. Сенкевича.

Выдающуюся роль в культурной жизни страны всегда играли демократические журналы. «Современник» (1836—1866), первым редактором которого был А.С. Пушкин, а последним — Н.А. Некрасов, «стоял (по мнению демократа В.И. Танеева) не

[1] Воспоминания И.Д. Сытина, которыми в рукописи восторгался Д.А. Фурманов («Как это все интересно, хоть роман пиши!»), были изданы лишь через 28 лет после смерти автора. См.: *Сытин И.Д.* Жизнь для книги. М., 1962.

только во главе всей русской литературы, но и всего русского общества». Вслед за «Современником» по значению демократически настроенные россияне ставили «Отечественные записки» (1839—1884) А.А. Краевского, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Русское слово» (1859—1866) Г.Е. Благосветлова и Д.И. Писарева, «Дело» (1866—1888) Г.Е. Благосветлова, Н.В. Шелгунова, К.М. Станюковича, сатирический журнал «Искра» (1859—1873) В.С. Курочкина. Эти журналы опирались на творчество крупнейших писателей-классиков (Некрасова, Тургенева, Щедрина, Льва Толстого) и были идейными центрами русской демократии, рупором передового общественного мнения. Все они, кроме «Дела», с 1884 г. круто повернувшего вправо, были закрыты в административном порядке «за вредное направление».

Зато царизм благоволил к изданиям таких громкоговорителей реакции, как М.Н. Катков («Московские ведомости»), князь В.П. Мещерский («Гражданин»), П.П. Цитович («Берег»), а также к известной своей продажностью газете «Новое время», которую Щедрин метко назвал: «Чего изволите?» Хозяином этой газеты с 1876 г. больше 35 лет был А.С. Суворин — беллетрист и публицист, в молодости пострадавший (был под судом, сидел в тюрьме) за либеральные убеждения, а затем обратившийся в беспринципного приспособленца. Он хлопотал даже о создании в России охранительной партии из людей, «не потерявших политического нюха»,— «нюховой партии», как назвал ее демократ А.И. Стронин. Газета Суворина слыла наиболее оперативной в России и очень старалась поддержать такую свою репутацию: например, о сожжении фабрики Сытина, к чему актив газеты приложил руку, она сообщила... за день до пожара. Радикальный журналист П.Ф. Алисов язвил, что прыткие корреспонденты «Нового времени» «кажется, и к смерти ходили за кое-какими сведениями». Именно в «Новом времени» подвизался даровитый, но беспринципный, как и его хозяин, журналист В.П. Буренин, настолько желчный, что о нем сложили стихи:

По Невскому бежит собака,
За ней Буренин, тих и мил...
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!

Успехи просвещения в России XIX в. (особенно после «великих реформ» 60-х годов) были всеохватывающими. Общий уровень грамотности населения вырос за вторую половину века более чем в 3 раза, хотя и составил к 1897 г. всего 21,1 % (больше всего грамотных было в Петербургской губернии — 55 %, зато в Ферганской — меньше 3 %).

Казалось бы, здесь налицо забота о просвещении со стороны царизма. Но достаточно вспомнить школьный устав 1828 г. или циркуляр 1887 г. «о кухаркиных детях», охранительный университетский устав 1884 г., чтобы понять истинный смысл этой заботы. Вот характерный факт: в Казанском университете годами единственный профессор по медицине читал лекции только

двум слушателям, а некоторое время даже одному — Николаю Ивановичу Лобачевскому. Такое могло быть только в России. Допуская рост просвещения, царизм управлял им так, чтобы оно было уделом только господствующих классов, а простонародье держал в темноте и религиозном смирении. По переписи населения 1897 г., ученых и литераторов в России было 3 тыс., врачей — 17 тыс. (из них женщин — 580 на всю страну), артистов и художников — 18 тыс., зато священнослужителей — 250 тыс., т.е. почти в 7 раз больше, чем ученых, литераторов, врачей, артистов и художников, вместе взятых.

За пореформенные десятилетия открылось много библиотек и музеев. Иные из них обрели национальное значение: публичная библиотека при Румянцевском музее (1862; ныне Российская государственная библиотека), Исторический музей (1872), художественная галерея П.М. и С.М. Третьяковых (1856) и Театральный музей А.А. Бахрушина (1894) в Москве, Русский музей в Петербурге (1898). В 1852 г. был открыт для публики петербургский Эрмитаж. Однако пользоваться этими национальными сокровищницами могли почти исключительно имущие россияне, «низы» доступа к ним практически не имели, и власти считали это в порядке вещей. Когда, например, в 1914 г. председатель Всероссийского съезда художников заявил, что «недостаточно наделить музей сокровищами, нужно еще дать возможность их использовать», директор Эрмитажа граф Д.И. Толстой надменно ответил: «Это — бесспорная истина, но едва ли оратор выведет из этого заключение, что при библиотеках необходимо открывать для посетителей школы грамотности и обучать посетителей читать по складам».

Столь же охранительно относилось самодержавие и к развитию наук, стремясь превратить университеты в присутственные места, а ученых — в чиновников. Такие выражения, как «чиновник по философии», «чиновник по словесности» и т.д., были обычными для обозначения вузовских педагогов. За «неблагонамеренность» царские власти преследовали таких ученых, имена которых составляют предмет национальной гордости россиян. Так, ботаник К.А. Тимирязев, историк В.И. Семевский, социолог М.М. Ковалевский были уволены из университетов; математик С.В. Ковалевская и биолог И.И. Мечников вынуждены были покинуть родину и вести научную работу на чужбине. Злобным нападкам официальных «верхов» подвергались физик А.Г. Столетов и физиолог И.М. Сеченов. Прислужники царизма трижды проваливали кандидатуру Сеченова на выборах в академики[1]. По

[1] За год до смерти, в декабре 1904 г., 75-летний Сеченов, будучи уже в отставке, получил-таки звание академика. 7 января 1905 г. он направил в Академию благодарственное письмо из одной строки, подписанное таким образом: «7 января 1895 г. И. Сеченов». Биограф Сеченова Х.С. Коштоянц по этому поводу заметил: «Читатель видит, что письмо датировано Сеченовым не 1905, а 1895 годом. Какая многозначительная ошибка! И было ли это ошибкой? Поздно, слишком поздно признала великого русского ученого императорская Академия наук».

меткому определению Тимирязева, Российская академия наук «блистала отсутствием» самых крупных отечественных ученых: Сеченова, Мечникова, Менделеева. Гениальные самородки И.В. Мичурин и К.Э. Циолковский были окружены равнодушием со стороны царских властей. Царизм лишал ученых необходимой поддержки, отказывался субсидировать исследовательские эксперименты — словом, держал естественные науки в загоне. Он не спешил использовать даже изобретенное в 1895 г. А.С. Поповым радио, которое до 1917 г. чаще связывалось с именем итальянского бизнесмена-изобретателя Г. Маркони, открывшего секрет радиоволн годом позднее Попова.

Но и в таких условиях естественные науки все-таки развивались. Это было вызвано экономическими потребностями страны, промышленным переворотом, рационализаторскими опытами в сельском хозяйстве, расширением торговли, освоением новых земель. Трудный, но крутой подъем естественных наук уже в первой половине столетия выдвинул плеяду первоклассных ученых, которые сделали ряд открытий мирового значения. Николай Иванович Лобачевский к 1826 г. создал новую, гиперболическую, неевклидову геометрию, которая отличалась от старой параболической, созданной древнегреческим математиком Евклидом еще в III в. до н.э. Так родилась «геометрия Лобачевского». За это современники назвали Лобачевского «Коперником геометрии». Идеи Лобачевского составляют теперь необходимое звено в теории относительности и служат инструментом расчета атомных и космических процессов. Академик Николай Николаевич Зинин получил в 1842 г. анилин из нитробензола и заложил основы развития промышленности синтетических красителей, а другой академик Василий Яковлевич Струве открыл на небе почти 3 тыс. звезд и основал в 1839 г. знаменитую Пулковскую обсерваторию, которую уже в середине века стали называть «астрономической столицей мира».

Во второй половине столетия ученые-натуралисты добились еще больших успехов. Отец русской физиологии Иван Михайлович Сеченов создал учение о рефлексах головного мозга, осуществив тем самым переворот в биологической науке. Он первым научно доказал единство и взаимную обусловленность психических и телесных явлений, подчеркнув, что «душевная жизнь» есть не что иное, как отражение деятельности головного мозга. Таким образом, физиология была перевернута с головы, на которой она стояла ранее, на ноги.

Гениальный ученый Сеченов был передовым человеком своего времени, другом Н.Г. Чернышевского. Он послужил Чернышевскому прототипом Кирсанова в романе «Что делать?», а его жена Мария Александровна — прототип Веры Павловны, главной героини того же романа. Классический труд Сеченова, излагающий основы его учения —«Рефлексы головного мозга» (1863),— был написан по предложению Некрасова для журнала «Современник».

Двигая вперед науку, Сеченов тем самым вставал поперек дороги воинствующему мракобесию, реакции. Не зря Совет Главного управления по делам печати заключил, что его книга «вредна как изложение самых крайних материалистических теорий» и постановил «арестовать и подвергнуть оную судебному преследованию».

Величайший русский химик Дмитрий Иванович Менделеев в 1869 г. открыл периодический закон химических элементов — один из важнейших законов естествознания, составляющий фундамент современного учения о веществе. Периодическая система элементов Менделеева показывает, что химические свойства элементов (т.е. их качество) обусловлены количеством их атомного веса. Это наглядное подтверждение одного из общих законов диалектики, а именно закона перехода количества в качество. Как многогранный ученый и патриот, Менделеев заботился о всемерном подъеме хозяйственной мощи России, сказав новое слово в различных отраслях знаний. Он выдвинул идею подземной газификации угля и принцип непрерывной дробной перегонки нефти, прогнозировал освоение Великого Северного морского пути, участвовал в первых опытах воздухоплавания в России.

По образу мыслей и складу характера Менделеев, как и Сеченов, был демократом. Он изучал философские труды Герцена и был лично знаком с Добролюбовым. Царей и царских сатрапов Менделеев не любил и вел себя по отношению к ним независимо, а то и дерзко. В 1879 г., например, когда его вызвал к себе один из «шести Аракчеевых» Александра II петербургский военный генерал-губернатор И.В. Гурко и начал было отчитывать за потворство студенческим волнениям, Менделеев вскипел и накинулся на всесильного сатрапа: «Как вы смеете мне грозить?! Вы кто такой? Солдат и больше ничего! В своем невежестве вы не знаете, кто я. Имя Менделеева навеки вписано в историю науки. Знаете ли вы, что он произвел переворот в химии? Знаете ли вы, что он открыл периодическую систему элементов? Что такое периодическая система? Отвечайте!» Гурко не знал, что такое периодическая система элементов, и умолк[1].

Всю свою жизнь Менделеев активно боролся против реакционеров от науки, нажив себе тьму врагов в официальных верхах. Царские власти ненавидели его, как и Сеченова, за демократизм воззрений. В 1880 г. Менделеев был забаллотирован реакционными кругами на выборах в Российскую академию, хотя состоял членом девяти академий разных стран мира, включая США. Имя Менделеева занесено на Доску почета науки Бриджпортского университета (США) в ряду имен величайших ученых мира.

Столь же широкую мировую известность заслужил еще до конца XIX в. Иван Петрович Павлов — создатель учения о высшей

[1] *Поссе В.А.* Пережитое и продуманное. Л., 1933. Т. 1. С. 43.

нервной деятельности, общепризнанный глава физиологов мира, лауреат Нобелевской премии (1904). Всесветно прославленный ученый Павлов оставался страстным патриотом России. «Что ни делаю,— писал он о себе,— постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мои силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке. И это есть и сильнейшее побуждение, и глубокое удовлетворение».

Выдающийся вклад в мировую науку внесли и многие другие русские ученые: биологи И.И. Мечников и А.О. Ковалевский — основоположники эволюционной эмбриологии, математики М.В. Остроградский и П.Л. Чебышев, физики П.Н. Лебедев и Н.А. Умов, химики А.М. Бутлеров и В.В. Марковников, географы Н.М. Пржевальский и Н.Н. Миклухо-Маклай, медики Н.И. Пирогов и С.П. Боткин, почвоведы В.В. Докучаев и П.А. Костычев, основоположник геохимии В.И. Вернадский. Вместе с ними вошла в историю науки математик Софья Васильевна Ковалевская — первая женщина, ставшая профессором Стокгольмского университета и членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, автор классических трудов о вращении твердого тела.

Опираясь на успехи точных наук, корифеи русской технической мысли творили изобретения всемирной значимости. Еще в 1802 г. петербургский академик В.В. Петров первым в мире (на 6 лет раньше знаменитого англичанина Г. Дэви) открыл явление электрической дуги, в 1832 г. П.Л. Шиллинг изобрел клавишный, а затем и электромагнитный телеграф; в 1834 г. Б.С. Якоби сконструировал электромотор. В 1876 г. П.Н. Яблочков создал дуговую электрическую лампу (так называемую «свечу Яблочкова»), которая освещала улицы крупнейших столиц мира и получила всеобщую известность под названием «русский свет». В 1881 г. морской офицер А.Ф. Можайский построил первый в мире самолет (правда, не выдержавший испытаний), а в 1888 г. механик-самоучка Ф.А. Блинов изобрел в Балакове (под Саратовом) гусеничный трактор («паровоз для шоссейных и грунтовых дорог», как его тогда называли).

Самым выдающимся из технических открытий века было изобретение радио. 7 мая 1895 г. малоизвестный тогда преподаватель физики и электротехники в двух училищах Кронштадта Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Этот день вошел в историю и до сих пор отмечается в России как День радио.

В конце века было сделано еще одно открытие, которое не привлекло особого внимания современников, но теперь справедливо считается историческим. В 1893 г. бедный, непризнанный, слывший то за чудака, то за сумасшедшего, с 9 лет оглохший калужский учитель Константин Эдуардович Циолковский разработал проект корабля-ракетоплана, положив начало теории реактивного движения. Справедливость требует отметить, что

раньше Циолковского, еще в 1881 г., приговоренный к повешению за участие в покушениях на Александра II народоволец Николай Иванович Кибальчич в тюрьме за считанные дни до казни составил проект летательного аппарата с реактивным двигателем. «Я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству,— писал Кибальчич в предисловии к этому проекту.— Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью». Царизм, однако, повесил Кибальчича, а проект его схоронил в архиве. Не получили признания при царском режиме и труды Циолковского.

Если развитие естественных наук в России страдало от недостатка внимания к ним со стороны государства, то общественные науки душила деспотичная государственная опека над ними. Царизм буквально насиловал их в интересах оправдания и возвеличения своего режима. Квалифицированные философы (С.С. Гогоцкий, П.Д. Юркевич, Л.М. Лопатин), историки (М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов, Д.И. Иловайский), правоведы (Ф.Л. Морошкин, П.П. Цитович, Н.В. Муравьев), словесники (С.П. Шевырев, И.И. Давыдов, К.Н. Леонтьев) ревностно обслуживали правящий режим. Им противостояли главным образом революционные мыслители (А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров и М.А. Бакунин), труды которых издавались преимущественно за границей или в подполье и не имели столь широкого хождения, как официозная литература. Впрочем, даже среди лояльных к властям ученых было много не только талантливых, но и сравнительно независимых, искренних в своем служении не правительству, а науке профессионалов: философ В.С. Соловьев, литературовед А.Н. Пыпин, лингвисты Ф.И. Буслаев и А.А. Шахматов, создатель уникального «Толкового словаря живого великорусского языка» (около 200 тыс. слов) В.И. Даль, историки Т.Н. Грановский и Н.И. Костомаров. Самыми выдающимися из российских историков XIX в. были Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев (отец В.С. Соловьева) и В.О. Ключевский.

Николай Михайлович Карамзин к 1826 г. написал «Историю государства Российского» в 12 томах (12-й том, доведенный до событий 1611 г., был издан в 1829 г. посмертно). Соединяя в себе равновеликий талант историка и писателя, он создал шедевр исторического повествования. Правда, идейные позиции Карамзина сегодня выглядят архаично. Феодал и монархист, он приветствовал артиллерийскую расправу царизма с декабристами. «Я, мирный историограф,— говорил он о себе,— алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж». Помогает уяснить смысл «Истории» Карамзина и такая деталь: на сочинение «Истории» от Александра I он получил 2 тыс. рублей (что стоило тогда больше нынешних 20 млн.) «ежегодного пенсиона» и в «благоговейную признательность» за это обещал

царю «посвятить всю жизнь свою (труд свой, разумеется, тоже.— *Н.Т.*) на оправдание его благодеяний»[1]. Так он и сделал, за что еще до окончания «Истории» получил Анненскую ленту через плечо.

Карамзин изображал главным двигателем отечественной истории царя-самодержца. Фактически его «История» — не столько государства Российского, сколько российских царей. Народ в ней вообще отсутствовал. Сам Карамзин объяснил это так: «История народа принадлежит царям». А.С. Пушкин писал о нем:

> В его «Истории» изящность, простота
> Доказывают нам без всякого пристрастья
> Необходимость самовластья
> И прелести кнута.

Другой профессиональный недостаток «Истории» Карамзина (который широкие читательские круги воспринимали как достоинство) заключается в том, что ее художественное начало довлеет над исследовательским. Вот что писал об этом В.О. Ключевский: «Карамзин не изучал того, что находил в источниках, а искал в источниках, что ему хотелось рассказать живописного и поучительного. Не собирал, а выбирал факты...»

Как бы то ни было, богатством содержания и блеском изложения, поучительностью и живописностью труд Карамзина увлек все российское общество, пробудив в нем глубокий интерес к отечественной истории. «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — восклицал К.Ф. Рылеев, прочитав 9-й том «Истории» Карамзина о царствовании Ивана Грозного.— Не знаю, чему удивляться: тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита». По словам Пушкина, Карамзин открыл россиянам их собственную историю, подобно тому как Колумб открыл Америку. Вместе с тем он своим трудом высоко поднял в глазах не только общества, но и власти престиж историка и писателя, первым в России «показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве»[2].

Сергей Михайлович Соловьев — ученик и друг Т.Н. Грановского, профессор и заведующий кафедрой русской истории Московского университета (с 1872 г. академик) — совершил научный подвиг, написав «Историю России с древнейших времен» в 29 томах, кроме 300 других произведений. Он работал над «Историей» последние 29 лет своей жизни (1851—1879), издавая каждый год по одному тому с непостижимой размеренностью. Этот фундаментальный труд, в котором обобщен колоссальный (большей частью извлеченный из архивов) фактический материал, представляет собой высшее достижение русской историографии,

---

[1] *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. 1. С. 397; Ч. 2. С. 19.

[2] *Гоголь Н.В.* Духовная проза. М., 1992. С. 96.

сохраняющее поныне свою научную ценность. Здесь, в отличие от «Истории» Карамзина, невысоко художественное начало, зато начало исследовательское надо признать высочайшим. Смерть помешала Соловьеву продолжить его великий труд, который выглядит непосильным для одного человека. Он успел довести изложение событий только до 1775 г.

Первым из российских историков Соловьев развил идею закономерности исторического процесса и стремился обосновать преемственность политических и общественных форм в истории отечества. «Показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое» — так определял он задачи историка. Главным героем и двигателем истории Соловьев, в отличие от Карамзина, считал не царя, а государство, которое он изображал выразителем народной воли. История народа растворялась под пером Соловьева в истории государства. Ориентиром для периодизации отечественной истории Соловьев, подобно Карамзину, считал смену лиц на государевом престоле.

Либерал по убеждениям, который к тому же с годами правел, Соловьев боялся народных движений. Крестьянские войны он трактовал как злодейства, реакционные по своей исторической роли, поскольку они грозили разрушить государственный организм. «Перемены в правительственных формах,— внушал Соловьев,— должны исходить от самих правительств, а не вымогаться народами у правительств путем возмущения».

Однако народ как *нацию* (от пахаря до монарха) Соловьев ставил превыше всего, причем главную роль в развитии национального самосознания отводил истории. «Спросим человека, с кем он знаком,— говорил Соловьев,— и мы узнаем человека. Спросим народ об его истории, и мы узнаем народ». К самодержавному деспотизму он относился как к злоупотреблению властью, крепостное право осуждал. Его идеалом была буржуазная конституционная монархия типа Франции при Луи Филиппе 1830—1848 гг.

Как университетский профессор, Соловьев был не только великим ученым-исследователем, но и выдающимся педагогом, замечательным лектором. Лекции он читал, точнее — говорил, с закрытыми глазами, задумчиво, словно уходя в себя. Студенты подозревали в этом особую, с подвохом, манеру подглядывать за аудиторией — из-под ресниц, но он как-то признался Ключевскому, что никогда не видел перед собой слушателей. «Говорящее размышление» — так определил лекции Соловьева Ключевский.

Василий Осипович Ключевский — ученик и преемник Соловьева на посту заведующего кафедрой русской истории Московского университета (с 1900 г. академик) — во многом пошел дальше своего учителя, хотя сам он скромно говорил о себе: «Я ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». Он первым

начал серьезно исследовать экономические процессы, выдвинул на передний план историю не царей, как это делал Карамзин, и не государства, как делал Соловьев, а народа; отказался от общепринятой до него традиции освещать историю России по царствованиям. «Цари со временем переведутся,— говорил Ключевский.— Это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время». В январе 1895 г., когда только началось 23-летнее царствование Николая II, он в откровенном разговоре со своим учеником А.А. Кизеветтером убежденно предсказал: «Попомните мои слова: Николаем II закончится романовская династия; если у него родится сын, он уже не будет царствовать»[1].

По убеждениям Ключевский был таким же либералом, как Соловьев, причем с возрастом еще больше, чем Соловьев, склонялся вправо. Хотя идеалом Ключевского тоже была конституционная монархия, он опускался иногда до оправдания самодержавия. Печальную известность обрела его хвалебная речь «Памяти в бозе почившего государя императора Александра III» 28 октября 1894 г. в Московском университете. Студенты устроили против этой речи демонстрацию протеста, освистали Ключевского на его лекции (хотя любили его как лектора больше, чем кого-либо) — десятки из них были за это арестованы. Потрясенный Ключевский, по свидетельству его сына, не мог забыть этого случая до конца жизни.

Ключевский написал ряд трудов по конкретным вопросам отечественной истории, историографии, источниковедения, которые (особенно его докторская диссертация «Боярская Дума древней Руси») считаются классическими. Но главный его труд — это «Курс русской истории» в 5 томах (1904—1911 гг.), т.е. научно обработанный курс лекций для студентов Московского университета. Вслед за Соловьевым Ключевский дал целостное истолкование всего российского исторического процесса, учитывая при этом экономические, социальные, политические и географические факторы. Критерием периодизации отечественной истории он считал колонизацию русским народом Восточно-Европейской равнины, причем несколько переоценивал внешнюю опасность как движущую силу исторического развития. Классовую борьбу Ключевский не просто осуждал, а считал ее случайным явлением, аномалией, которая лишь дезорганизует предопределенный экономически, географически и т.д. ход истории. Так, декабристы в представлении Ключевского — это не более чем «историческая случайность, обросшая литературой».

Великий ученый, Ключевский был и непревзойденным лектором, художником слова. Он, как никто другой, умел воспроизводить прошлое — ярко, образно, почти зримо. Его характеристики исторических деятелей (царей, их наставников и

[1] *Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий. Прага, 1929. С. 197.

фаворитов, полководцев, дипломатов) всегда колоритны — то уважительны, то насмешливы, а чаще всего столь тонко ироничны, что, например, А.М. Горький удивлялся: «Хитрый. Читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал». Ключевский умел лаконично и емко, оригинальным сочетанием слов определить смысл любого политического режима: «конституционно-аристократическая Англия», «солдатски-монархическая Пруссия», «республикански-анархическая Польша». Очень эффектны афоризмы Ключевского, лишь недавно собранные в отдельном издании[1]. Вот несколько примеров: «Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись, любит оглянуться на место своего падения»; «Торжество исторической критики: из того, что говорят люди известного времени, *подслушать* то, о чем они умалчивали»; «Чтобы править людьми, нужно считать себя умнее всех, т.е. часть признавать больше целого, а так как это глупость, то править людьми могут только дураки». Не удивительно, что лекции Ключевского всегда привлекали массу слушателей с разных курсов и факультетов.

Все это давалось Ключевскому нелегко. Прежде чем сказать или написать что-то, он тщательно обдумывал и отделывал каждую фразу, каждое слово. Сам он однажды заметил: «Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело». Зато, как справедливо заключал М.Н. Покровский, «страницы курса Ключевского выдерживают сравнение с любым отрывком тургеневской прозы». Словом, если С.М. Соловьев был самой крупной, то В.О. Ключевский — самой яркой фигурой в российской историографии.

Выдающиеся российские ученые XIX в. (особенно его второй половины) работали и в области социологии и всеобщей истории. Мировую известность приобрели к концу столетия труды М.М. Ковалевского по социологии, Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого по истории Франции, П.Г. Виноградова и Д.М. Петрушевского по истории Англии.

По мере роста достижений науки и техники в России все чаще возникали новые научные центры — *всероссийские общества* ученых разных специальностей. Кроме того, почти при всех университетах страны были созданы физико-математические общества, а в десятках губернских городов — общества естествоиспытателей. С 60-х годов в стране стали обычными национальные съезды ученых, которые издавали свои «Записки», «Труды», «Протоколы», популяризируя таким образом новейшие достижения науки и ее очередные задачи. В развитии исторических знаний важную роль сыграли археологические съезды. С 1869 до 1899 г.

[1] См.: *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.

они созывались 11 раз. Рост научной периодики наглядно представлен в подсчетах библиографа Н.М. Лисовского: 1855 г.— 61 издание (44 в Петербурге, 10 в Москве и 7 — на всю провинцию); 1900 г.— 525 изданий (263 в Петербурге, 83 в Москве и 179 в провинции).

При капитализме, как правило, расширяются всякого рода международные связи (не только экономические и политические, но и культурные). Поэтому, естественно, во второй половине XIX в. русская наука усиленно сотрудничала с мировой наукой. Русские ученые активно участвовали в международных научных комитетах и съездах, которые нередко собирались в России (например, востоковедов в 1876 г. и геологический в 1897 г. в Петербурге, археологический в 1883 г. и медицинский в 1897 г. в Москве и др.). Обмен опытом и мнениями взаимно обогащал и российскую, и зарубежную науку.

Свидетельством мирового признания русской науки XIX в. были доклады и целые курсы лекций ученых России в зарубежных научных центрах (М.М. Ковалевского в Оксфорде, Стокгольме, Брюсселе, Чикаго; К.А. Тимирязева в Лондоне; П.Г. Виноградова в Оксфорде; П.Н. Лебедева в Берлине и Страсбурге). История мировой культуры помнит научное общение и сотрудничество Тимирязева и Дарвина, Мечникова и Пастера, электротехников-изобретателей А.Н. Лодыгина и Т. Эдисона. «Возьмите теперь любую книгу иностранного научного журнала,— говорил в 1894 г. Тимирязев,— и вы почти наверное встретите русское имя».

Литература

Ведущей областью духовной жизни в России XIX в. была литература. В условиях самодержавного гнета она имела особое значение. «Литература у народа, не имеющего политической свободы,— писал А.И. Герцен,— единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Разумеется, не всякий мог решиться выступить с такой трибуны честно. «Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом»,— говорил поэт Н.И. Гнедич. В царской России эта истина была очевидной, ибо царизм жестоко расправлялся с инакомыслящими литераторами.

У Герцена есть строки, которые каждый русский запоминал в XIX в. на всю жизнь, как запоминают клятву или проклятие. «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство... Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли, 38-ми лет. Грибоедов предательски убит в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли, 30-ти лет на Кавказе. Веневитинов убит обществом, 22-х лет. Кольцов убит своей семьей, 33-х лет. Белинский убит 35-ти лет, голодом и нищетой. Полежаев умер в военном госпитале

после 8 лет принудительной солдатской службы на Кавказе. Баратынский умер после 12-летней ссылки. Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги»[1].

Этот реестр только первой половины века еще неполон. К нему надо добавить имена А.И. Одоевского, отправленного на каторгу, а затем под пули черкесов на Кавказ, где он и умер; В.К. Кюхельбекера, умершего после 20-летней каторги и ссылки; В.Ф. Раевского, умершего после 30 лет тюрьмы и ссылки; Ф.М. Достоевского, пережившего смертный приговор, а после его замены шесть лет каторги и солдатчины; Т.Г. Шевченко, отбывшего 10 лет солдатчины.

И во второй половине столетия российская литература развивалась буквально под шквалом правительственных репрессий. Н.Г. Чернышевский 21 год провел в тюрьме, на каторге и в ссылке. М.Л. Михайлов погиб на каторге. 13 лет каторги и ссылки отбыл П.Ф. Якубович, 15 лет сибирской ссылки — П.А. Грабовский. В тюрьмах и ссылке подолгу томились Д.И. Писарев, В.Г. Короленко, К.М. Станюкович, А.И. Эртель, Н.В. Шелгунов, В.В. Берви-Флеровский, Г.А. Мачтет, Н.Е. Петропавловский-Каронин. Г.З. Елисеев состоял под надзором полиции 14 лет, И.Г. Чавчавадзе — 16, Глеб Успенский — 20, Короленко — 40 лет.

Характерна для царской и крепостной России судьба поэта А.И. Полежаева. За смелые выпады против самодержавия в поэме «Сашка» (1825 г., опубликована лишь в 1861) Полежаев, тогда студент Московского университета, в июле 1826 г. по личному приказу Николая I был отдан в солдаты[2]. Но и в условиях солдатской каторги поэт не сложил оружия, «под свист шпицрутенов» (как выразился советский историк А.В. Фадеев) он писал вольнолюбивые стихи. Его солдатская лирика чутко улавливала и отражала настроения протеста и тоски по свободе, характерные для русского общества после расправы с декабристами. По словам В.Г. Белинского, Полежаев до конца жизни сохранил «безумный пыл к утраченной свободе». А конец его жизни был ужасен. Он умер 28 января 1838 г. от чахотки в солдатском госпитале. Труп его выбросили в подвал, где его обглодали крысы. Могила поэта на Смоленском кладбище в Москве затерялась. «Мы не знаем более трагической жизни и более рокового конца», — писал о Полежаеве Н.П. Огарев.

В творческом наследии Полежаева выделяется памфлет «Четыре нации» (1827). Поэт высмеял здесь как национальную черту россиян (в сравнении с англичанами, французами и

---

[1] *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. 3. С. 425—426. Герцен допустил здесь неточности: так, Белинский умер 37-ми лет (без 4 дней), а Лермонтов не дожил до 27-ми. Баратынский был в ссылке не 12, а 5 лет.

[2] Тетрадь «крамольных» стихов Полежаева царь собственноручно извлек из-под тюфяка на кровати поэта, когда устроил в дни своей коронации «высочайший» обыск у студентов Московского университета.

немцами) угодничество и раболепие перед правителями, которые, сидя на шее народа, грызутся между собой, нередко свергают друг друга, а народ каждого из них прославляет, перед каждым пресмыкается, вместо того чтобы сбросить их с себя на свалку истории:

В России чтут царя и кнут...
А русаки, как дураки,
Разинув рот, во весь народ
Кричат: «Ура! Нас бить пора!
Мы любим кнут!» Зато и бьют
Их, как ослов, без дальних слов.

Эти стихи продиктованы истинным патриотизмом, который, по определению Белинского, «обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во всяком отечестве». Полежаев выразил здесь «патриотическую скорбь» о том, что россияне слишком терпеливы в своем рабском положении. Такой же смысл надо искать в словах Лермонтова: «немытая Россия, страна *рабов*, страна господ»; в словах Чернышевского: «жалкая нация, нация *рабов*, сверху донизу все — рабы»; в словах Писарева об «*ультраослином* терпении» русского народа.

Из всех сфер культуры литература наиболее живо, проникновенно реагировала на развитие освободительного движения в России и с наибольшей силой отражала его идеи и потребности. Именно освободительные (и революционные, и либеральные) идеи вдохновляли самых замечательных художников слова и стимулировали подъем русской литературы, которая пережила в XIX в. свой Ренессанс, вопреки самодержавному, жандармскому, цензурному и прочему гнету, что и дало основание Максиму Горькому сказать о ней так: «Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот при таких неописуемо тяжких условиях». Весь путь развития русской литературы XIX в. не только отечественные, но и прогрессивные зарубежные исследователи рассматривают как духовную революцию, которая предшествовала революции социальной. Хорошо сказал об этом Генрих Манн: «Сто лет великой литературы — это русская революция до революции».

Всю первую половину столетия русская литература была ареной напряженной идейной борьбы, в результате которой сменились одно за другим несколько литературных направлений — классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.

Русский литературный классицизм[1], связанный с именами М.В. Ломоносова, А.Д. Кантемира, Г.Р. Державина, В.К. Тредиаковского и переживший расцвет в XVIII в., оказался

[1] Как литературное направление классицизм назван так потому, что он звал следовать античным образцам, которые в эпоху Возрождения признаны были классическими (термин «классицизм» ввел еще во II в. до н.э. греческий литератор Аристарх, разделивший известных поэтов на классы по достоинствам их сочинений).

непригодным для выражения новых, демократических идей и настроений и превратился в литературу узких, консервативно-дворянских кругов, ревнителей крепостнической старины. Именно эти круги создали первое в России литературное общество — «Беседу любителей русского слова» (1811—1816) во главе с адмиралом А.С. Шишковым, который был при Александре I государственным секретарем и министром просвещения. Правда, характерные для классицизма литературные формы (ода, трагедия, комедия, басня) широко бытовали и далее, но в них с первых десятилетий XIX в. уже вкладывалось новое, антикрепостническое содержание. Примеры: ода юного А.С. Пушкина «Вольность», комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», тираноборческая трагедия В.К. Кюхельбекера «Аргивяне», басни И.А. Крылова.

В самом начале нового столетия на смену классицизму приходит в русскую литературу сентиментализм (от французского sentiment — чувство). Его приход был обусловлен начавшимся разложением крепостного строя и усилением среди россиян антифеодальных настроений. Дело в том, что после страшного пугачевского бунта и грандиозной Французской революции часть российских дворян во избежание новой пугачевщины или, еще хуже, «робеспьеризма» признала необходимым смягчить остроту противоречий между помещиками и крестьянами посредством хотя бы частичного ограничения помещичьего произвола. Идеолог этой части дворянства Н.М. Карамзин и его единомышленники начали вводить в литературу образы простых людей, показывали, что *«и крестьяне чувствовать умеют»*, на художественных примерах идиллических отношений между помещиками и крестьянами убеждали дворян в том, что они должны стать «добрыми помещиками», ибо только так смогут удержать крестьян в повиновении и сохранить свое господство. Наиболее характерной в этом отношении была популярнейшая повесть Карамзина «Бедная Лиза».

Заслугой сентименталистов (в первую очередь, самого Карамзина) надо признать начатую ими реформу русского литературного языка. Они отказывались от неудобочитаемых церковно-славянских речений и вводили в обиход новые, сегодня привычные для нас, слова: «общественность», «человечный», «промышленность». Против них яростно выступили шишковисты, т.е. участники «Беседы любителей русского слова», которые вслед за адмиралом Шишковым отстаивали церковно-славянскую терминологию и словесные архаизмы как неотъемлемую часть феодально-охранительных устоев российской жизни. «Шишковисты» тоже предлагали реформировать русский язык, но по-иному: вместо таких «отвратительных заимствований из языка похабной Европы», как, например, «развитие», «аудитория», «оратор», «галоши», вернуть исконно-русские слова — «умоделие», «слушалище», «краснослов», «мокроступы».

Сторонники Карамзина объединились для борьбы с шишковистами в литературный кружок «Арзамас» (1815—1818). Члены

«Арзамаса» — В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский и др., с осени 1817 г. А.С. Пушкин — поставили целью «просвещение, богатство языка и вкуса очищение». Реакционеров из «Беседы» Шишкова они ненавидели и презирали. Каждый «арзамасец» при вступлении в кружок должен был сказать *надгробную речь* кому-нибудь из членов «Беседы». Таков был обряд вступления. Карамзин был знаменем борьбы между «Арзамасом» и «Беседой», любовью «арзамасцев» и ненавистью шишковистов. Отношение этих последних к Карамзину В.Л. Пушкин (дядя Александра Сергеевича) пародировал в таком двустишии:

И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить!

Н.И. Греч переадресовал это двустишие карамзинистам, изменив в нем только одно слово:

И аще смеет кто Карамзина судить,
Наш долг, о людие, злодея истребить!

Сентиментализм укоренился в русской литературе неглубоко. «Гроза Двенадцатого года» и безвременье аракчеевщины вызвали к жизни новое, более действенное литературное течение — романтизм. Его истоком явилось разочарование в действительности после 1812 г. «Воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов»,— писал об этом декабрист А.А. Бестужев. Однако недовольные «сущностью» 10—20-х годов «алкали» разные «вымыслы»: одни были деморализованы и стремились отрешиться от мрака и духоты аракчеевщины в интимных переживаниях, в мистике; другие кипели возмущением, жаждали борьбы, воспевали подвиги и самопожертвование. Так возникли две разновидности романтизма — консервативная и революционная.

Консервативный романтизм, ярко представленный во Франции Ф.Р. Шатобрианом и в Германии Ф. Новалисом, в России нашел столь же сильное выражение в меланхолической, с мистическими мотивами, но высокохудожественной[1] поэзии В.А. Жуковского. Самыми выдающимися представителями революционного романтизма стали в России декабристы, в начале творчества А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. Они решительно осуждали уход литераторов от насущных проблем жизни, от борьбы против всякой несправедливости. К.Ф. Рылеев так говорил о поэзии Жуковского: «Мистицизм, которым проникнута бóльшая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность растлили многих и много зла наделали».

Решающий удар по классицизму, а затем по сентиментализму и консервативному романтизму нанесли именно декабристы и находившиеся под их влиянием литераторы первой четверти XIX в. Литературная политика декабристов имела целью использовать

[1] Особенно хороши у Жуковского произведения на темы из народного творчества (сказки, легенды, баллады) и переводы зарубежных классиков от Гомера до Байрона.

художественное творчество, во-первых, для развития национально-самобытной культуры, свободной от подражания чужим образцам, а во-вторых, для пропаганды антикрепостнических и антисамодержавных идей. Столь высокая цель не могла быть достигнута силами только литераторов-декабристов, но декабристы (Рылеев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский, В.К. Кюхельбекер, Ф.Н. Глинка, П.А. Катенин, В.Ф. Раевский) возглавили передовое литературное движение эпохи, опираясь на писателей, идейно близких к ним, среди которых были два гиганта — Пушкин и Грибоедов,— а также выдающиеся поэты К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич и др.

Первым шагом декабристов к воздействию на литературную жизнь было вступление Н.И. Тургенева, Н.М. Муравьева и М.Ф. Орлова в кружок «Арзамас». К тому времени (1816) закрылась «Беседа любителей русского слова», и выпады против нее потеряли остроту. Тургенев, Муравьев и Орлов попытались заменить узколитературное направление «Арзамаса» политическим. На заседаниях кружка начались дискуссии об освобождении крепостных. Правое крыло «Арзамаса» во главе с Карамзиным воспротивилось этому. В 1818 г. «Арзамас» распался.

Тогда в марте 1819 г. по инициативе С.П. Трубецкого и Я.Н. Толстого было создано новое литературное общество «Зеленая лампа» (1819—1820), которое выполняло роль побочной управы Союза благоденствия. Вместе с декабристами (Трубецким, Толстым, Глинкой, А.И. Якубовичем) в обществе участвовали Пушкин, Дельвиг, Гнедич. Все они вели, наряду с лирико-вакхическими, политические беседы, изобличали «деспотизм тиранов», спорили, как надо обустроить Россию. Декабрист А.Д. Улыбышев читал здесь свою политическую утопию «Сон» об идеальном государстве будущего, каковым, правда, объявлялась всего лишь конституционная монархия, а Пушкин воспламенял слушателей вольнолюбивыми стихами, за которые летом 1820 г. он поплатился ссылкой на юг.

Если в «Арзамасе» и «Зеленой лампе» декабристы только влияли на свое литературное окружение, то «Вольное общество любителей российской словесности» они превратили в собственный орган. Это общество («Ученая республика», как называли его участники) возникло еще в 1816 г. и до 1819 г., когда его возглавил Ф.Н. Глинка, сторонилось всякой политики. Глинка привел с собой много друзей-декабристов, они занялись политизацией общества. Состав его был многолюдным (около 250 членов) и разнородным: от декабристов и литераторов, идейно близких к ним (Грибоедова, Баратынского, Дельвига), до таких охранителей, как Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.А. Корф. Декабристы приложили много сил к тому, чтобы из общества ушли реакционеры и в нем воцарилась вольнолюбивая атмосфера. Это им удалось.

«Вольное общество любителей российской словесности» просуществовало до конца 1825 г., пережив восстание 14 декабря. Последние годы оно фактически представляло собой «литературный филиал Северного общества декабристов»[1]. Именно в нем родился альманах К.Ф. Рылеева и А.А. Бестужева «Полярная звезда» (1823—1825), который стал легальным проводником декабристских идей.

Через посредство «Арзамаса», «Зеленой лампы» и своей «Ученой республики» декабристы широко по тому времени распространяли антифеодальные произведения. Стихи Глинки («Не слышно шума городского», популярнейшая революционная песня), Катенина («Отечество наше страдает») и особенно Рылеева воодушевляли россиян, недовольных аракчеевскими порядками. О сатире Рылеева «К временщику» (эпиграмма на Аракчеева) современники говорили: «Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью». «Думы» Рылеева будили патриотические чувства, готовность к самопожертвованию ради *свободной* отчизны.

Итак, революционный романтизм как литературное направление не исследовал действительность, а возбуждал читателей против нее, настраивал их на недовольство, протест, борьбу, но и уводил от забот реальной жизни к иллюзиям. Поэтому он уже с 20-х годов стал уступать в литературе другому направлению — реализму, сущность которого — это *правда изображения жизни* во всех ее проявлениях. Именно с победой реализма связано рождение новой русской литературы и современного русского литературного языка. По-разному готовили эту победу И.А. Крылов и А.С. Грибоедов.

Иван Андреевич Крылов, сын бедного армейского офицера, завоевал себе литературную известность еще в XVIII в.[2] острыми сатирическими пьесами, статьями, повестями, рецензиями, но в шеренгу классиков русской литературы он вступил как непревзойденный мастер басенного жанра, один из величайших, наряду с древним греком Эзопом и французом Ж. Лафонтеном, баснописцев мира. Басенный жанр привлек Крылова прежде всего своей доходчивостью и общедоступностью. «Этот род литературы понятен каждому,— говорил Крылов,— его читают и слуги, и дети». Кроме того, свойственный басням эзоповский (аллегорический, иносказательный) язык позволял Крылову высказывать оппозиционные взгляды при максимуме осторожности. «Истина сноснее вполоткрыта»,— любил повторять баснописец.

Крылов не был революционером, но разоблачительная сила его басен не уступала революционным обличениям. Он высмеивал дворянство, чиновничество, духовенство, рисуя их в образах мелких и крупных хищников — лисиц, волков, тигров, медведей. Нередко Крылов направлял острие сатиры и против самого «царя

[1] *Базанов В.Г.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 366.

[2] Родился в 1769 г.

зверей» льва, т.е., на деле, против самодержца российского. Басни Крылова идеально для этого жанра сочетают в себе меткую индивидуализацию персонажей с широтой художественного обобщения. Вот почему они воспринимаются как реалистическое отображение (в образах животного мира!) современной баснописцу российской действительности. «Басни Крылова — не просто басни,— подчеркивал В.Г. Белинский.— Это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом,— что хотите, только не просто басня».

Александр Сергеевич Грибоедов был на 26 лет моложе Крылова, но закладывать реалистические основы русской литературы он начал примерно в одно время с великим баснописцем. В отличие от Крылова, Грибоедов принадлежал к знатному и богатому дворянскому роду. Первоначальное образование он получил дома, затем учился в пансионе при Московском университете, а с 1806 г., т.е. с 11-летнего возраста,— в самом университете, где за пять лет окончил со степенью кандидата прав два факультета (словесный и юридический) и готовился к испытаниям на ученую степень доктора права. Уже к моменту окончания университета (в 17 лет!) он владел девятью европейскими и восточными языками. Перед ним открывалась блестящая научная карьера.

1812 год переломил его судьбу. Охваченный патриотическим подъемом Грибоедов отказался от научного поприща и поступил на военную службу, а в 1816 г., когда армия стала чуть ли не лобным местом аракчеевщины, ушел в отставку и начал служить в Министерстве иностранных дел. Человек буквально ренессансной разносторонности (отличный музыкант, дипломат, математик, психолог), «колоссальная, ослепляющая фигура», по впечатлению А.В. Луначарского, Грибоедов сам, видимо, до конца так и не смог определить, в чем кроется его главное призвание, но мы теперь знаем точно, что в первую очередь он был *художник* — поэт и драматург.

Первые литературные опыты Грибоедова — это комедии 1817—1818 гг. («Студент», «Молодые супруги», «Своя семья»), в которых юный автор уже проявил талант реалиста-сатирика. Над «Горем от ума» Грибоедов начал работать в 1821—1822 гг. и завершил его в 1824 г. «Горе от ума» — одно из самых выдающихся произведений русской литературы XIX в., художественное воплощение передовых идей своего времени. Героя комедии Чацкого А.И. Герцен прямо называл декабристом. В.О. Ключевский тоже утверждал: «Декабрист послужил оригиналом, с которого списан Чацкий». Мы теперь знаем даже имя оригинала, прототипа Чацкого — это Иван Дмитриевич Якушкин, троюродный брат Грибоедова. «Горе от ума» открыло новый этап русской классической литературы, связанный с проблемой создания образа положительного героя.

Вместе с тем комедия Грибоедова — это разящая критика порядков Российской Империи, ее социальных устоев и морали.

В образе Фамусова здесь осмеян самодержавный произвол, в образе Скалозуба — аракчеевская военщина, а Молчалин стал нарицательным обозначением того рабского молчания, которое насаждал в России Николай I. Не зря Герцен расценил появление «Горя от ума» как событие, имеющее «значение государственного переворота», а царизм запретил не только ставить комедию на сцене, но и печатать ее. Она расходилась по стране в списках (впервые напечатана полностью лишь в 1862 г.). Впечатляет язык комедии — живой, как жизнь, он стал подлинным украшением отечественной литературы. «О стихах не говорю: половина — должна войти в пословицу», — раньше всех заметил Пушкин. Много лет спустя, читая «Горе от ума», уже «разрешенное к печати», иные «книголюбы» недоумевали в светских гостиных, «как это Грибоедов сумел составить целую пьесу почти из одних пословиц». Как один из создателей современного русского литературного языка, Грибоедов стоит рядом с Пушкиным.

Александр Сергеевич Пушкин завершил победу реализма в русской литературе. Поэтому именно ему принадлежит слава основоположника литературы и языка современной России. «Он у нас — начало всех начал»,— верно сказал о нем Горький. Пушкин создал классические образцы литературы всех жанров, существующих и поныне: лирику и роман, повесть и трагедию, рассказ и поэму, сказку и публицистику, очерк и путевые записки, рецензию и эпиграмму. Творчество величайшего поэта России оплодотворило все виды искусств: музыку, живопись, театр, скульптуру. Только опер на его сюжеты написано больше 10 самыми выдающимися отечественными композиторами: М.И. Глинкой, П.И. Чайковским, М.П. Мусоргским, Н.А. Римским-Корсаковым, С.В. Рахманиновым.

Художественный гений Пушкина воздействовал и поныне воздействует на россиян тем сильнее, что он идейно прогрессивен и национально самобытен. То и другое определили два грандиозных события, пережитых Пушкиным,— Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов. 1812 год разбудил в душе поэта и на всю жизнь укрепил в нем столь сильно проявившиеся тогда у россиян чувства беззаветного патриотизма, национальной гордости, личного достоинства. Как истинный патриот, Пушкин был вольнолюбец. Он часто повторял гордые слова великого россиянина М.В. Ломоносова: «Не токмо царю, но и самому Господу Богу холопом быть не хочу!» Общение с декабристами окрыляло вольномыслие Пушкина. «Хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него,— писал о нем П.А. Вяземский,— но он жил и *раскалялся* в этой жгучей и вулканической атмосфере». Декабристские настроения пронизывали политическую лирику раннего Пушкина: таковы его ода

«Вольность», стихотворения «К Чаадаеву» и «Деревня». Передовая Россия зачитывалась его стихами, обращенными к П.Я. Чаадаеву:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Впрочем, Пушкин не только «раскалялся» и призывал «воспрянуть ото сна». Он зрело обдумывал пути и способы борьбы. В 1824—1825 гг. он создал национальную историческую трагедию «Борис Годунов», где поставил на первый план вопрос о роли народа — самый актуальный из всех вопросов после восстания декабристов. Знаменательно, что царская цензура запретила постановку этой пьесы, хотя царь Борис изображен в ней с явным сочувствием[1].

«Борис Годунов» уже знаменовал собой переход Пушкина от романтизма к реализму. Высочайшее творение поэта «Евгений Онегин» (9 мая 1823 — 5 октября 1831 г.) — это не только «энциклопедия русской жизни», как выразился В.Г. Белинский, но и первый законченный реалистический роман в мировой литературе (романы О. Бальзака, ровесника Пушкина, появились, когда Пушкин уже написал «Онегина», «Повести Белкина», «Домик в Коломне», «Графа Нулина»).

«Евгений Онегин» стал истинным откровением русского реализма и знаменем его. Все образы романа как нельзя более типичны и жизненны. Сам Онегин — родоначальник всех так называемых лишних людей, от Печорина до Рудина. Татьяна Ларина открыла собой целый ряд пленительных женских образов русской литературы, который столь же поэтично увенчали тургеневские женщины. Воспринятый современниками как зеркало русской жизни, «Онегин» представил собой и зеркало души самого Пушкина. «Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его,— писал Белинский о Пушкине и его «Онегине»,— здесь его чувства, понятия, идеалы». Главное же, в романе Пушкина воплощены идеи и характеры вечной, непреходящей ценности, которые будут волновать людей всегда, пока сохранятся на Земле жизнь, красота, поэзия.

В глухую пору николаевской реакции «неподкупный голос» Пушкина имел не только художественное, но и общественное значение. Он дарил россиянам надежду на лучшие времена. «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений,— вспоминал Герцен о России 30-х годов.— Эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужест-

[1] Лишь в 1870 г. «Борис Годунов» Пушкина впервые был поставлен (с цензурными изъятиями) в театре.

венными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением». Скорбь России о гибели Пушкина как о национальном бедствии лучше всех выразил писатель и философ В.Ф. Одоевский — в четырех словах: «Солнце русской поэзии закатилось».

Достойным преемником Пушкина стал Михаил Юрьевич Лермонтов, который подхватил и еще выше поднял выпавшее из пушкинских рук знамя реализма. Лермонтов родился после войны 1812 г. и ему было всего 11 лет, когда грянуло восстание декабристов, но эти два события и на него сильно воздействовали. Важную роль при этом сыграли родственные связи Лермонтова: он воспитывался бабушкой Е.А. Арсеньевой (урожденной Столыпиной), а родные братья бабушки, Александр (адъютант А.В. Суворова) и Афанасий (герой Бородина), были близки к декабристам, которые даже прочили Афанасия в состав Временного правительства после победы восстания; третий ее брат, Дмитрий, лично знал П.И. Пестеля и числился у Александра I в списке «секретных миссионеров» тайного общества вместе с А.П. Ермоловым и Н.Н. Раевским. Сам Лермонтов на Кавказе сблизился с декабристами А.И. Одоевским, Н.И. Лорером, В.Н. Лихаревым, М.А. Назимовым, что повлияло и на мировоззрение, и на творчество поэта.

Прогрессивные, антикрепостнические и антисамодержавные убеждения Лермонтова сложились уже к началу 30-х годов, о чем свидетельствуют его юношеские стихи «Предсказание», «10 июля», «Жалоба турка». Но как поэт русской демократии, как великий национальный поэт он заявил о себе через несколько дней после гибели Пушкина стихотворением «Смерть поэта», которое мгновенно обошло в рукописных копиях всю читающую Россию. «Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление»,— свидетельствовал полвека спустя В.В. Стасов. Царизм усмотрел в «Смерти поэта» «воззвание к революции». Это гениальное стихотворение принесло Лермонтову славу нового после Пушкина кормчего русской поэзии. Оно же ополчило против Лермонтова правящие «верхи», которые начали преследовать его. Он был арестован и сослан на Кавказ под пули горцев. Узнав о его гибели, Николай I воскликнул: «Собаке — собачья смерть!»[1]

Пора зрелого художественного творчества Лермонтова продолжалась всего четыре года. На небосклоне русской литературы он промелькнул, как метеор: стремительный взлет — ослепляюще яркий и бурный расцвет и — трагический конец. За четыре года Лермонтов успел написать около 100 стихотворений, не уступавших по мастерству крупнейшим поэтам века, замечательные

[1] *Павлов А.* Николай Павлович о Лермонтове // Русский архив. 1911. № 2 С. 160.

поэмы и *самую совершенную* в русской литературе (по признанию таких авторитетов, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов) прозу — роман «Герой нашего времени» (1837—1840). Все творчество Лермонтова отрицает современный ему уклад жизни «немытой» николаевской России, «страны рабов, страны господ». Ненавистью к паразитирующим дворянским «верхам» проникнуты строки его стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен...»:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Лирика Лермонтова в большей степени, чем кого-либо из его современников, насыщена мотивами гордого вызова, ожидания бури, мятежа. Его герои, как правило,— свободолюбцы и бунтари: Вадим, Демон, Мцыри, купец Калашников. Больше всего Лермонтов презирал бездеятельность, рабскую покорность. Показательна его «Дума», которая, по свидетельству В.Г. Белинского, «изумила всех алмазною крепостию стиха, громовою силою бурного воодушевления, исполинскою энергиею благородного негодования и глубокой грусти <...> Эти стихи писаны кровью».

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны
И перед властию — презренные рабы.

Лермонтов был убит майором Н.С. Мартыновым[1] на дуэли, больше похожей на убийство (поэт стоял, держа свой пистолет дулом вверх, а по другим данным, даже выстрелил в воздух, после чего Мартынов сразил его выстрелом в сердце). Могучий талант 26-летнего поэта был загублен в самом расцвете. «Он весь — недопетая песня»,— сказал о нем Горький. Действительно, вместе с ним погибли замыслы новых творений, которые могли бы обогатить русскую литературу, как никто ее не обогащал. «Лук богатыря лежит на земле, но нет уже другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила под небеса пернатую стрелу», — так грустил о гибели Лермонтова Белинский.

Отклики российских поэтов на смерть Лермонтова (как и на смерть Пушкина) до сих пор выражают не только патриотическое, но и *личное* чувство боли и горечи за непоправимо раннюю утрату гения, творчество которого украшает, а могло бы украсить еще более (проживи он подольше) жизнь каждого россиянина.

[1] Мартынов был однополчанином и другом Ж. Дантеса — убийцы Пушкина. Дантесу пистолет, из которого он убил Пушкина, одолжил сын французского посла в Петербурге Э. Барант — тот самый, кто 18 февраля 1840 г. стрелял в Лермонтова (может быть, из этого же пистолета), но, к счастью, промахнулся. См.: *Воронцов-Вельяминов Г.М.* Роковое оружие // Огонек. 1969. № 41.

Вот заключительные строки из стихотворения Максима Геттуева «Если б мог...»:

Я убийцу у горы не встретил
И не преградил ему пути.
Не было меня тогда на свете.
Лермонтов, прости меня, прости!

Критическое начало реализма, характерное для Крылова и Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, с наибольшей силой проявилось в первой половине XIX в. у Николая Васильевича Гоголя. Один из двух (наряду с Щедриным) величайших русских сатириков, Гоголь в 1836 г. опубликовал комедию «Ревизор» — нечто вроде «полного курса патологической анатомии русского чиновника» (определение Герцена). В иронической, даже забавной форме Гоголь вскрыл порочность николаевской бюрократии. Он как бы говорил, тыча пальцем в ее монстров: «Посмотрите, кто управляет нами!» Сам Николай I (который, кстати сказать, не ценил Гоголя и даже путал его с В.А. Соллогубом) после премьеры «Ревизора» признал: «Всем досталось, а мне — более всех!»

После чиновника Гоголь выбрал мишенью своей сатиры другого врага — помещика. Он написал по сюжету, подсказанному Пушкиным, роман-поэму «Мертвые души» (1835—1842), где с такой силой обличил зловредность крепостников, что навлек на себя их ярость. «Многие помещики считают вас своим смертельным врагом»,— предупреждал Гоголя писатель С.Т. Аксаков. Впрочем, «Мертвые души», по авторитетному мнению Герцена, «потрясли всю Россию <...> Поэма Гоголя — этот крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг видит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения».

Сам Гоголь определил смысл «Ревизора» и «Мертвых душ» так: «Нельзя устремить общество к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Но не менее выразительны произведения Гоголя, в которых он сочувственно описывал жизнь простых людей,— особенно «Шинель». Ф.М. Достоевский, желая подчеркнуть место Гоголя в развитии национальной реалистической литературы, заявил: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"».

К середине XIX в. реализм уже стал господствующим в русской литературе направлением. Вопреки политическим и цензурным гонениям неуклонно усиливались его антикрепостнические мотивы. С конца 40-х годов против крепостного права направляют свои произведения не только революционер А.И. Герцен («Кто виноват?», «Сорока-воровка»), но и либералы: И.С. Тургенев («Записки охотника»), Д.В. Григорович («Антон-Горемыка»), И.А. Гончаров («Обломов»).

«Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева (1847—1852) стоят первыми по значимости в ряду тех произведений 40-х годов, которые показывали, сколь мучительна жизнь крепостного крестьянства,— они звали к его освобождению. Тургенев прямо говорил, что он в «Записках» ставил целью напасть, как можно сильнее, на *главного врага* народов России. «В моих глазах,— уточнял он,— враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право». И.С. Аксаков выразился таким образом: «"Записки охотника" — это батальный огонь против помещичьего быта».

Николай Алексеевич Некрасов создал в 40-х годах «Современную оду», «Псовую охоту», «В дороге», «Еду ли ночью...» и другие воинствующе антикрепостнические стихотворения. Уже в те годы он назвал свою поэзию «музой мести и печали» и провозгласил: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Герцен раньше всех засвидетельствовал «демократическую и социалистическую ненависть» Некрасова.

С демократических позиций были написаны также ранние произведения Федора Михайловича Достоевского и Михаила Евграфовича Салтыкова (будущего Щедрина), которые в молодости оба примыкали к петрашевцам и считали своим литературным наставником В.Г. Белинского. Первая же повесть Достоевского «Бедные люди» (1846) была встречена Белинским и Некрасовым как одна из вершин критического реализма. «Новый Гоголь явился»,— говорил Некрасов. Само название повести — это, по справедливому выражению Л.П. Гроссмана, «как бы девиз и программа» всего творчества Достоевского, которое целиком было посвящено именно *бедным людям* и в прямом, и в переносном смысле: нищим и обездоленным, униженным и оскорбленным.

Повести Салтыкова «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848) тоже перекликались с творчеством Гоголя: в них сочувственно изображены бедные люди, разночинцы, и сатирически представлены царские сатрапы.

И Достоевский, и Салтыков в начале своей литературной деятельности подверглись репрессиям. Салтыков за сочинение «Запутанного дела» в мае 1848 г. по приказу Николая I был сослан в Вятку и пробыл в ссылке 7 лет, до смерти Николая. Достоевский же за участие в кружке петрашевцев был приговорен военным судом к расстрелу. В памятный день 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу, где была инсценирована казнь над петрашевцами, Достоевский стоял во второй очереди осужденных и успел пережить весь ужас ожидания смерти, пока флигель-адъютант не привез от царя запечатанную в пакете «милость». В итоге Достоевскому выпали на долю каторга и солдатчина, которые он отбывал до смерти Николая I.

В конце 40-х годов громко заявил о себе еще один первоклассный художник-реалист — Александр Николаевич Островский. Его комедию «Свои люди — сочтемся» (1847—1850) знатоки сравнивали по идейному замыслу с «Мертвыми душами» Гоголя. Подобно тому как Гоголь изобличил зловредный помещичий мир, так Островский начал обличение «темного царства» российских купцов. Вслед за Достоевским и Салтыковым Островский тоже пострадал от николаевских репрессий. Комедия «Свои люди — сочтемся» была запрещена, а сам драматург уволен со службы (в коммерческом суде) и отдан под негласный надзор полиции как политически неблагонадежный.

Литературная жизнь России первой половины XIX в. не исчерпывалась творчеством перечисленных классиков. Видное место в ней занимали романсы и песни А.В. Кольцова, проникновенная лирика Ф.И. Тютчева, элегии оппозиционера Е.А. Баратынского и официоза Н.В. Кукольника, революционная поэзия А.Н. Плещеева и охранительная проза Ф.В. Булгарина. Но магистральным для отечественной литературы было в то время творчество классиков-реалистов от Крылова и Грибоедова до молодых Тургенева и Достоевского.

Итак, несмотря на цензурный гнет и прямые репрессии со стороны царизма, к середине XIX в. в русской литературе необратимо возобладало направление критического реализма с ярко выраженным *обличительным,* антикрепостническим и антисамодержавным прицелом. Этот феномен культурной жизни России существенно повлиял на политическое сознание русского общества, что позволяет считать его одним из факторов, заставивших царизм пойти на отмену крепостного права.

«Великие реформы» 60—70-х годов не притупили критического острия русской литературы, поскольку они не устранили старых причин социальной вражды и добавили к ним новые. Критический реализм все более выражался не только в правдивом изображении типических черт действительности, но и в осмыслении изображаемых явлений с точки зрения их соответствия народным идеалам. Поскольку же правдивое изображение российской пореформенной жизни обнаруживало ее вопиющее несоответствие интересам народа, реалистическая литература сохраняла и еще больше оттачивала приобретенное ею задолго до «великих реформ» обличительное начало. Проблема обличения существующего строя оставалась, как и в первой половине века, одной из главных для писателей, причем литература, как выразился Н.П. Огарев, «грызла правительственную сеть по всем узлам».

Если И.А. Гончаров в романе «Обломов» (1859) разоблачил косность, паразитизм, одиозность дворянства как господствующего класса *дореформенной* России, то Ф.М. Достоевский в романах «Идиот» (1868) и «Братья Карамазовы» (1879—1880) художественно запечатлел процесс социального и нравственного разложения

того же класса в *пореформенную* эпоху, изобразив его как правду жизни, объективную реальность, совершенно не задумываясь о каких-либо принципах классового анализа. А.Н. Островский изобличал в своих драмах («Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы», «Бесприданница» и др.) коррумпированный мир царских чиновников и, главное, продолжал начатое в комедии «Свои люди — сочтемся» художественное исследование жизни купечества. Он первым открыл взорам читателей погрязшую в стяжательстве и мошенничестве жизнь самых крупных во всей России замоскворецких купцов, в связи с чем его назвали «Колумбом Замоскворечья». Повесть Н.С. Лескова «Заячий ремиз» — это сатира на политическую реакцию 80—90-х годов, а его рассказы «Человек на часах», «Административная грация» и др. высмеивали как национальное зло «белый» террор царизма.

Против карательного террора были направлены тогда и страстные (распространявшиеся большей частью в списках) стихи С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, А.П. Барыковой. Поэт-демократ Л.Н. Трефолев клеймил палаческий режим Александра III:

Мы между народами
Тем себя прославили,
Что громоотводами
Виселицы ставили.

Классик отечественной прозы, поэзии и драматургии Алексей Константинович Толстой, отличавшийся консервативными убеждениями, гротескно изобразил в сатирической поэме «Сон Попова» такие приметы царской России, как деспотизм, произвол, эпидемия доносительства. Он же написал блистательную сатиру «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»[1], в которой иронизировал над традиционным для правителей России стремлением к «порядку», т.е. к режиму насилия, замаскированному демагогией.

Большая обличительная сила заключена в романах И.С. Тургенева «Дым» (1867) и «Новь» (1877). В «Дыме» главным объектом тургеневской сатиры стала «реакционная сволочь», охранительные верхи в лице отдыхавших на курортах Баден-Бадена генералов, князей, графов, баронов, придворных хлыщей, «тузов с европейскими именами». Все они расточают под «личиной гражданского негодования» словесный «хлам и сор», удостоверяющий их умственное и нравственное ничтожество. В «Нови» сатирически представлен типичный охранитель Калломейцев (прототипом которого сам Тургенев называл М.Н. Лонгинова — начальника Главного управления по делам печати). Он закипает злобой при одной мысли о «бандах» революционеров и горит «желанием

[1] Произведение написано в 1868 г., издано полностью лишь в 1937 г. *Гостомысл* — правитель Новгорода в IX в., *А.Е. Тимашев* — министр внутренних дел в 1868—1878 гг.

раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются — чему бы и кому бы то ни было».

Высшим проявлением обличительного начала русской литературы во второй половине XIX в. была сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. В образах самодержавных Угрюм-Бурчеевых и Негодяевых, «помпадуров и помпадурш» царской бюрократии и «премудрых пескарей» либерализма, Колупаевых, Разуваевых и прочих «кровопивственных дел мастеров» из купечества Щедрин подверг нещадной критике все устои Российской Империи. Созданный же им образ Иудушки Головлева (роман «Господа Головлевы», 1875—1880) олицетворяет собой психологию всех вообще исторически обреченных, разлагающихся типов людей. В сатире Щедрина обличение пореформенных язв России достигает потрясающей мощи, причем всюду, даже в произведениях, сюжетно обращенных в прошлое («История одного города», «Пошехонская старина»), сохраняет злободневность. «Я совсем не историю предаю осмеянию,— говорил Щедрин,— а известный порядок вещей».

Декабрист М.С. Лунин как-то сказал: «Бич сарказма так же сечет, как и топор палача». Щедрин был гением сарказма. «Никто не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью»,— писал о нем Н.Г. Чернышевский. Не зря современники назвали Щедрина «прокурором русской общественной жизни». Работал он в трудных условиях. В России, пожалуй, не было другого писателя, которого так жестоко преследовала и травила цензура. «Кожу с живого сдирают,— жаловался Щедрин,— местами ощиплют, а временем и совсем изувечат». Слабый здоровьем, не единожды находившийся при смерти, Щедрин с горькой иронией включал в число самых тяжких своих недугов «цензурные сердцебиения». Но ничто не помешало ему создать настоящую энциклопедию сатиры на пореформенную Россию — энциклопедию, без которой не обходится ни один исследователь отечественной истории.

Итак, первая из главных проблем русской литературы второй половины XIX в.— это обличение существующего строя. Второй проблемой было отображение жизни народа.

Непревзойденным певцом горькой крестьянской доли стал Н.А. Некрасов. Его стихи и поэмы, особенно поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866—1876), отразили всю бездну страданий и всю силу духа российского крестьянства. Вобрав в себя лучшие черты характера, насущные чаяния и самый язык народа, как бы отождествив себя с ним, Некрасов, более чем кто-либо в России, заслужил славу *народного* поэта. Сам он в конце жизни с гордостью сказал о себе: «Я лиру посвятил народу своему». Метко определил особенность его творчества Ф.М. Достоевский в речи на могиле поэта: «Это было раненое сердце, раз на всю

жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает».

Мучительной любовью «ко всему, что страдает» буквально было пронизано и творчество самого Достоевского. В его романах и повестях («Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток») отображены горести и надежды городской бедноты, которая, по выражению советского литературоведа Н.И. Пруцкова, была «материально придавлена и духовно пришиблена капитализмом» и в поисках спасения хваталась то за Христа, то за социализм. «Записки из Мертвого дома» Достоевского о страданиях людей на царской каторге И.С. Тургенев резонно сравнивал с Дантовым «Адом», а Герцен — со «Страшным судом» Микеланджело.

Творчество Достоевского противоречиво, как никого другого из русских писателей. Многим не нравится его философия, прямо-таки культ страдания. Французский писатель Андре Жид остроумно приравнял его к тому, как если бы Прометей решил, что «нужно полюбить своего орла», однако ведущий мотив сочинений Достоевского — гуманизм, боль за «униженных и оскорбленных» людей — гармонирует с его репутацией одного из крупнейших мастеров не только русской, но и мировой литературы.

Простые люди — главные герои произведений и первого по значению классика русской новеллы Антона Павловича Чехова — этого, как выразился Лев Толстой, «Пушкина в прозе». Вслед за Гоголем Чехов считал: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». Стремясь показать это, Чехов сделал одной из главных тем своего творчества разобщенность интеллигенции и народа. Символами такой разобщенности стали герои чеховских рассказов «Человек в футляре» и «Злоумышленник».

Величайший изобразитель народной жизни Лев Николаевич Толстой — «Гомер русской "Илиады"», как назвал его за «Войну и мир» знаменитый юрист А.Ф. Кони,— создал гигантский собирательный образ народа, всех его слоев и сословий. Творения Толстого (кроме «Войны и мира» это, в первую очередь, романы «Анна Каренина» и «Воскресение») представляют собой гениальное художественное обобщение жизни всей пореформенной России. Правда, толстовская проповедь непротивления злу очень роняет писателя в глазах многих. Хорошо сказал об этом Евгений Евтушенко:

Как осмысленье зревшего сознанья,
Пришел Толстой, жалеюще жесток,
Но — руки заложив за ремешок.

Ведь Толстой звал не противиться тому, что́ он сам так сурово обличал, осуждал и отвергал. А.В. Луначарский нашел для этого единства противоположностей такое определение: «революционно-реакционные» идеи.

Как бы то ни было, признанный патриарх русской литературы Лев Толстой был популярен и авторитетен в России как никто другой. Приметливый журналист А.С. Суворин на рубеже XIX—XX вв. записал в дневнике: «Два царя у нас — Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии»[1]. Реакционные круги боролись с Толстым разными средствами: его пытались запугать возможными репрессиями, отлучали от церкви, науськивали на него литературных критиков, но тщетно — сам Толстой ничего не боялся, церковь без Толстого теряла больше, чем Толстой без церкви, а литературные критики достойны были, по выражению Д.В. Григоровича, лишь «целовать лапу собаки дворника Толстого».

Проблема отображения народной жизни была главной и для других, тоже́ выдающихся писателей, хотя и уступавших по масштабам творчества Некрасову и Достоевскому, Чехову и Толстому. Г.И. Успенский писал о крестьянах, Д.Н. Мамин-Сибиряк — о рабочих, В.М. Гаршин — об интеллигенции, В.Г. Короленко по-толстовски широко — о разных слоях россиян. Изображая беды и горе народа, классики русской литературы верили в его лучшее будущее. Поэтому они так часто обращались к третьей из своих главных проблем — к изображению положительного героя, человека будущего.

Показательно для начала 60-х годов, когда Россия впервые оказалась на грани демократической революции, что наибольший успех в решении этой проблемы имел кумир революционного лагеря Николай Гаврилович Чернышевский. Созданный им образ профессионального революционера Рахметова был воспринят демократически настроенной молодежью как идеал и пример для подражания, а роман «Что делать?» (1863), повествующий о Рахметове и подобных ему «новых людях», оказал громадное воздействие на несколько поколений читателей, включая А.И. Желябова, Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Плеханов считал даже, что невозможно назвать «хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?». Никто не укажет такого произведения, потому что его не было, нет и, наверное, не будет».

[1] *Суворин А.С.* Дневник. М.; Пг., 1923. С. 263; М., 1992. С. 316.

Вслед за героями «Что делать?» в ряд самых ярких положительных образов русской литературы встали и «народные заступники» вроде Гриши Добросклонова из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», и самоотверженные «праведники», как протопоп Туберозов из хроники Лескова «Соборяне», и полублаженный непротивленец князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот» («князь-Христос», как называл его сам писатель). Пожалуй, наиболее впечатляющим в этом ряду по сочетанию типичности и художественной выразительности стал образ «нигилиста» Базарова из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862), провозвестника героев народничества.

Тончайший психолог и лирик, «величайший поэт, который когда-либо писал прозой» (по выражению Джона Голсуорси), Тургенев создал галерею пленительных женских образов, благотворно воздействовавших на духовное развитие юношества. Его Марианна (из романа «Новь») на долгое время стала, по словам А.В. Луначарского, «лучшим типом женщины, самой светлой звездой на всем небосклоне русской литературы». Никто не мог сравниться с Тургеневым в поэтичности изображения отношений между влюбленными. Это доказывают его «Вешние воды», «Ася», «Первая любовь», многие страницы «Дворянского гнезда» и «Дыма». «Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят»,— свидетельствовал П.А. Кропоткин.

Среди положительных образов тургеневской прозы и поэзии (его «Стихотворений в прозе») есть и политические деятели. Либерал-постепеновец, «ожидающий реформ только свыше, принципиальный противник революций» (по его собственному определению), Тургенев, в отличие от большинства либералов, понимал, что «никакие «реформы свыше» не даются без давления, и энергичного давления, снизу на власть; он искал силу, которая была бы способна произвести это давление»[1]. В романе «Новь» представителем такой силы изображен мирный просветитель, «постепеновец снизу» Соломин. Но в последние годы жизни Тургенев по мере того, как, с одной стороны, народники переходили от «ложной и нежизненной», по его мнению, попытки поднять крестьян на социалистическую революцию к борьбе с царизмом за политические свободы, и, с другой стороны, он сам «решительно разочаровывался» в реформах сверху[2], стал усматривать силу, способную принудить царизм к конституционным уступкам, не в либералах, а в революционерах. Отсюда его намерение (оставшееся нереализованным из-за предсмертной болезни) написать роман, героем которого был бы «новый в России

[1] И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1983. Т. 1. С. 353 (воспоминания П.Л. Лаврова).

[2] Свидетельство об этом Лаврова готов был подтвердить еще один участник их разговора с Тургеневым в январе 1883 г. (см. там же. С. 379).

тип, жизнерадостный революционер», «геркулесова сила, [которая] все переваривает». Свидетельством этого намерения остались сохранившиеся в тургеневском архиве наброски («формуляры» персонажей и контуры сюжетных линий) к задуманному, но так и не написанному роману. Вообще Тургенев в последние 20 лет своей жизни был самым авторитетным для русского общества «властителем дум». «Среди общества он явился учителем,— вспоминал о нем А.С. Суворин.— Он создавал образы мужчин и женщин, которые становились образцами».

Писательский авторитет Тургенева был тем выше, что он не знал равных себе как стилист. Художественное совершенство его произведений, гармония форм идеальны. К нему, пожалуй, больше, чем к кому-либо другому, приложимо требование Леонида Андреева: «Каждое слово должно быть как жернов, и между ними в порошок должна стираться душа читающего — вот как нужно писать». «Боже мой! — восклицал Чехов, сам первоклассный стилист.— Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи!» Лев Толстой сокрушался, говоря о Тургеневе: «В чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета,— это природа. Две-три черты и — пахнет».

Все классики русской литературы второй половины XIX в., о которых идет речь (кроме А.К. Толстого), представляли реалистическое направление. Оно было тогда самым плодотворным и сильным, но не единственным. Тот же А.К. Толстой и замечательные поэты-лирики Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Я.П. Полонский продолжали традицию романтизма. Большая группа литераторов вроде В.П. Клюшникова, В.В. Крестовского, одиозного в политическом и нравственном отношении Болеслава Маркевича (которого Тургенев сделал заглавным героем своего стихотворения в прозе «Гад») развивала охранительное направление. В нем возник даже особый жанр, специализированный на разоблачении идей, дел и людей «крамолы»,— «антинигилистическая литература». Ее представляли романы «Бездна» и «Перелом» Маркевича, «Злой дух» В.Г. Авсеенко, «Вне колеи» К.Ф. Головина и др. Их авторы не только карикатурно изображали революционеров, но и уязвляли царские власти за недостаточно жестокую расправу с «крамолой», требуя от них еще более крутых мер. Революционеры в этих романах (сплошь изверги, циники, подлецы) даже внешне выставлены монстрами; таков, например, герой «Бездны» Волк, в котором Маркевич хотел представить Желябова. «Бездна» Маркевича в особенности была переполнена аляповатыми описаниями революционных ужасов. Чехов назвал ее «длинной, толстой, скучной чернильной кляксой».

В середине 90-х годов оформился и русский символизм (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонт, юный В.Я. Брюсов). Поэты-символисты писали эффектные по форме

стихи с интересными (иногда пророческими) идеями, но грешили преувеличенным индивидуализмом и мистицизмом.

Антагонизмы российской действительности сказывались и в мировоззрении классиков реализма. Некрасов и Щедрин принадлежали к революционному лагерю, Тургенев и Гончаров были либералами, а Достоевский проделал сложную эволюцию от революционного демократизма к реакционному монархизму: в молодости друг и соратник петрашевцев, он к концу жизни стал другом и соратником К.П. Победоносцева. Парадоксально соединял в себе бунтаря и непротивленца Лев Толстой. Однако художественный гений писателей-классиков помогал им преодолевать ограниченность их политических взглядов и создавать эпохальные произведения общечеловеческой ценности. В этом отношении Достоевский и Лев Толстой не уступают ни Шекспиру, ни Гете.

В целом русская литература XIX в. представляет собой венец отечественной культуры и большой шаг вперед в художественном развитии человечества.

Искусство

Вслед за литературой в XIX в. переживали тот же процесс становления и торжества реализма все отрасли русского искусства. Кроме общих причин, обусловивших культурный подъем в стране, на развитие искусства воздействовала демократическая эстетика. В роли идейных наставников театра, музыки, изобразительного искусства выступали талантливые искусствоведы и художественные критики В.Ф. Одоевский, А.Н. Серов, И.Н. Крамской, В.В. Стасов. Из них особенно велика была роль Стасова. Гениальный М.П. Мусоргский так говорил ему: «Без вас я пропал на $^{3}/_{4}$ пробы. Лучше вас никто не видит, куда я бреду. Никто жарче вас не грел меня во всех отношениях, никто яснее не указывал мне путь-дороженьку». Подобным же образом были обязаны Стасову и другие корифеи русской музыки, живописи, скульптуры, театра.

Владимир Васильевич Стасов был рыцарем всех искусств, но главным образом сердце его делили две «дамы» — музыка и живопись; пожалуй, второй он отдавал предпочтение перед первой. В деятельности и в самой личности Стасова неразрывно преобладали два качества: изощренное до крайности чувство прекрасного и пылкий темперамент. То и другое колоритно иллюстрирует факт, рассказанный Репиным: увидев впервые в Риме статую Венеры Капитолийской, Стасов схватил табурет и, вскочив на него, влепил в губы мраморной богине страстный поцелуй. За восторженную любовь к подлинному искусству и за лютую ненависть к искусству поддельному Стасов получил от злоязычного В.П. Буренина кличку «Мамай Экстазов».

Трудным был путь к вершинам художественности и реализма в русской живописи. С начала XIX в. долгое время здесь господствовал академический классицизм, отличительными чертами которого были далекие от жизни и современности мифологические, библейские и древнеисторические сюжеты, многоплановая и многофигурная композиция, помпезность изображения. Темы из реальной жизни признавались вульгарными. К ним относился и пейзаж. Как исключение во дворе Академии художеств был устроен сад с искусственными скалами и живописными гротами, чтобы учащиеся могли упражняться здесь в сочинении «идеальных» ландшафтов. Воспевать же красоту родной природы считалось неприличным. Абстрактные, заключенные в строгие рамки академических норм картины мастеров этого направления поражали своим однообразием. Профессора А.Т. Маркова — автора картин «Фортуна и нищий» и «Евстафий Плакида в Колизее» называли «Колизей Фортуныч». Признанным главой академизма в русской живописи был Федор Антонович Бруни, четверть века занимавший пост ректора Академии художеств, «генерал от живописи», как прозвали его современники. Картина Бруни «Медный змий» (1827—1841) — одна из самых больших в Русском музее Петербурга — типичное творение академической живописи. Здесь налицо и библейский сюжет, и мистическое настроение, многоплановость, многофигурность и помпезность. Рисунок технически безупречен, виртуозен, но безжизнен; это «рисунок для рисунка». В картине много красок, но мало чувства, а мысли нет вовсе. Тем не менее воротилы художественного мира, превыше всего ценившие в живописи техническое мастерство, провозгласили Бруни «русским Микеланджело».

С 20—30-х годов некоторые мастера живописи под воздействием общего наступления реализма в литературе и в искусстве начали склоняться к разрыву догматических пут академизма. Самый крупный мастер академического направления Брюллов стал и первым его разрушителем.

Карл Павлович Брюллов — один из величайших живописцев мира, «Карл Великий», как его называли,— был потомком французских гугенотов, переселившихся в Россию еще при Петре I. Его прадед, дед и отец (академик Павел Брюлло) были первоклассными скульпторами. От них, по-видимому, Брюллов унаследовал острую наблюдательность и пламенный темперамент. Расписывая гигантский плафон Исаакиевского собора в Петербурге, он восклицал: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»

Брюллов был передовым человеком своего времени. Он дружил с Пушкиным и М.И. Глинкой, общался с Крыловым, Гоголем, Белинским, вырвал из крепостной неволи великого сына Украины Тараса Шевченко: написал портрет В.А. Жуковского, который был разыгран в лотерею, на вырученные от лотереи деньги

Шевченко купил себе свободу. Брюллов осмелился даже на такой шаг — отказался написать портрет Николая I по личному заказу царя. Не стал он писать и портреты царских дочерей, причем пошел на хитрость. Получив заказ от царя, Брюллов начал малевать портрет его дочери нарочито плохо. Николай I, присутствовавший на сеансе, стал делать замечания. Тогда Брюллов перестал рисовать. «В чем дело?» — спросил царь. «Не могу, государь,— ответил Брюллов.— Рука от страха дрожит». Царь вынужден был отменить заказ. Вообще Брюллов не питал к Николаю I никакого пиетета. Когда царь поехал к нему в мастерскую с визитом, Брюллов, заранее предупрежденный о столь редкой и великой милости, в назначенный час... ушел из мастерской[1].

Живописной техникой Брюллов владел не хуже самого Бруни, но идейное содержание его картин уже не вмещалось в прокрустово ложе академизма, хотя он и соблюдал внешне академические каноны. В 1830—1833 гг. в Италии Брюллов написал картину «Последний день Помпеи» — одну из самых знаменитых в мировой живописи. Картина произвела фурор в Милане, затем в Париже и, наконец, была доставлена в Петербург, где демонстрировалась с потрясающим успехом. Герцен немедленно провозгласил ее «высочайшим произведением русской живописи», а Гоголь — даже «полным, всемирным созданием».

Сюжет картины — античный, как будто совершенно оторванный от жизни и современности. Но в рамках этого сюжета Брюллов сумел очень жизненно показать всю гамму человеческих чувств, проявляющихся перед лицом смерти. Более того, Герцен, а позднее Плеханов не без оснований усматривали аллегорическую связь «Последнего дня Помпеи» с разгромом восстания декабристов и казнью их вождей. В трагическую пору николаевской реакции изображение в картине Брюллова дикой, несправедливой силы, губящей людей, современники разумели как обличение действительности, как «вдохновение, почерпнутое в петербургской атмосфере». Многие воспринимали рушащиеся с пьедесталов статуи как намек на грядущее свержение самодержавия. Тогда принято было изъясняться аллегориями, и люди хорошо понимали их. Может быть, именно такой намек надо искать и в строках Пушкина, написанных под впечатлением картины Брюллова:

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают!..

В историю отечественной культуры Брюллов вошел как первый художник, который поднялся сам и возвысил русскую живопись до высшего уровня мировой культуры. «Последний день Помпеи» положил конец слепому преклонению перед иностранными ху-

[1] См.: *Ацаркина Э.Н.* К.П. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963. С. 211, 506.

дожниками, которым так дурно славилась крепостная Россия (ведь за каких-нибудь 15 лет до «Последнего дня Помпеи» Александр I пригласил для увековечения памяти героев Отечественной войны 1812 г. английского живописца Д. Доу, хотя в России творили тогда более даровитые, чем Доу, В.А. Тропинин и О.А. Кипренский). После Брюллова такое пренебрежение к национальному изобразительному искусству стало невозможным. Хорошо сказал об этом Евгений Баратынский:

И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!

Живопись Брюллова красочна и поэтична, полна жизнеутверждающей гармонии красок, чувств и мыслей, как бы проникнута одним мотивом: «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»; в этом она сродни поэзии Пушкина. Пожалуй, именно к Пушкину и Брюллову из русских мастеров больше всего подходит афоризм Леонардо да Винчи: «Поэзия — это живопись, которую слышат, но не видят. Живопись — это поэзия, которую видят, но не слышат». В творчестве Брюллова (особенно в его портретах И.А. Крылова, В.А. Жуковского, Н.В. Кукольника, автопортретах) уже отчетливо проявились реалистические черты. Развитие реализма в *портретной* живописи связано также с именами Кипренского и Тропинина.

Орест Адамович Кипренский — внебрачный сын крепостной крестьянки то ли от крепостного Адама Швальбе, то ли от помещика А.С. Дьяконова, с фамилией, которую придумал для него Дьяконов,— известен прежде всего как автор дивного портрета А.С. Пушкина 1827 г. (с шарфом). Портрет восхищает нас жизненной правдой, глубокой человечностью, тонким психологизмом и сочной выразительностью рисунка. Наряду с портретом работы Тропинина, это самый популярный из всех пушкинских портретов и притом самый похожий. Пушкин сказал о нем:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит[1].

Другая вершина реалистического портретного творчества Кипренского — портрет гусара Давыдова (1809). До 1947 г. считалось, что здесь изображен поэт и партизан 1812 г. Денис Васильевич Давыдов. В 1947 г. Э.Н. Ацаркина по рукописному списку работ Кипренского установила, что гусар Давыдов — это не Денис, а его родной брат Евдоким. Однако в 1959 г. В.М. Зименко обнаружил, что реестр, использованный Ацаркиной,— не автограф Кипренского, а писарская копия с рядом ошибок, и вернулся к изначальной версии; а в 1962 г. Г.В. Смир-

[1] Портрет был заказан Кипренскому А.А. Дельвигом, а после смерти Дельвига в 1831 г. перешел к Пушкину, который с ним не расставался.

нов тоже обоснованно предположил, что «Давыдов» Кипренского — не Денис и не Евдоким, а их двоюродный брат Евграф. Теперь очень трудно понять, какого Давыдова нарисовал Кипренский, но все знатоки единодушно признают этот портрет одним из лучших в русской художественной школе.

Старший современник Кипренского Василий Алексеевич Тропинин тоже вышел из крепостных и лишь в возрасте 47 лет, будучи уже известным художником, получил свободу. Тропининские портреты (К.П. Брюллова, жены и сына, автопортреты) так же реалистичны и художественно совершенны, как и портреты Кипренского. В 1827 г. (т.е. одновременно с Кипренским) Тропинин написал свой портрет Пушкина (в халате), столь же выразительный и, пожалуй, еще более распространенный, чем портрет работы Кипренского.

В *жанровой* живописи реализм утверждался с бо́льшим трудом. Здесь первые его шаги связаны с именем Алексея Гавриловича Венецианова. Купеческий сын и мелкий чиновник, Венецианов был учеником знаменитого мастера конца XVIII — начала XIX в. В.Л. Боровиковского. Он заслужил широкую известность как портретист, пейзажист, и даже карикатурист. Но особенно велики его заслуги перед русской живописью в бытовом жанре. Венецианов стал первым русским художником, сделавшим своим главным героем крестьянина, а главной темой — крестьянский труд. Этой теме посвящены его лучшие творения: «Гумно», «На пашне» и особенно картина «Лето. На жатве» (1820), в которой Венецианов прямо-таки воспел русскую деревню, крестьянский труд и, заодно, материнство. Характерная для его картин идеализация быта крепостной деревни в духе сентиментализма была естественной данью времени. В целом же его творчество можно рассматривать как прокладывание пути для реалистической живописи.

В общем русле становления реализма развивалось и творчество гениального Александра Андреевича Ива́нова. Ива́нов — один из самых глубоких живописцев мира, художник-мыслитель, художник-психолог и, может быть, прежде всего художник-искатель. С начала и до конца своей сознательной жизни везде и во всем он искал истину, и в этих нескончаемых и мучительных поисках не успел определить свои взгляды. «Иванов умер, стучась,— так дверь и не отверзлась ему»,— сказал о нем Герцен. Впрочем, Иванов всегда тяготел к вольномыслию. Он был другом Гоголя, близко знаком с Герценом. Чернышевский ценил Иванова как «великого художника и одного из лучших людей, какие только украшают собой землю».

Почти всю свою творческую жизнь Иванов отдал работе над одной картиной «Явление Христа народу»[1]: начал писать ее в

[1] Сам Иванов назвал свою картину «Явление мессии», но прижилось название, которое дал картине Н.В. Гоголь: «Явление Христа народу».

1837 г., закончил через 20 лет в Италии, привез картину в Петербург и здесь через шесть недель умер, «едва коснувшись устами кубка славы», как выразилась Е.А. Штакеншнейдер.

«Явление Христа народу» — грандиозное полотно и по размерам (540×750 см), и по содержанию, и по значению. Сюжет картины сугубо религиозен. Но великая заслуга Иванова перед русским искусством заключается в том, что он не только воплотил христианскую идею совершенствования человека во имя загробной жизни на небесах, но и поднял в рамках религиозного сюжета (первым из русских художников) проблему освобождения народа на земле. В картине на первом плане не Христос, а народ. «Разве это «Явление Христа народу»? — возмущался религиозный философ В.В. Розанов.— Это же затмение Христа народом — вот что это такое!» Иванов использовал легенду о пришествии Христа для того, чтобы с наибольшей силой, насколько позволяла аллегория, отобразить бытовавшее тогда в России сознание неизбежности и близости коренных перемен в судьбах народа. Картина пронизана идеей скорого *пришествия свободы.* Ее содержание — порыв угнетенных к избавлению от гнета. «Тут,— по словам И.Е. Репина,— изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, который только ждет решительного призыва к делу».

В 1873 г. Репин, уже написавший своих «Бурлаков», назвал «Явление Христа народу» «самой гениальной и самой народной русской картиной». Ее художественное совершенство, может быть, не имеет аналога в русской живописи. И.Н. Крамской говорил, что если у персонажей этой картины закрыть головы и посмотреть на их фигуры, то будет видно, как анатомия выражает характер. Творчество Иванова было слишком многогранно и противоречиво, чтобы квалифицировать его как реалистическое. Наряду с чертами реализма в нем есть многое и от романтизма, и от сентиментализма, и даже от классицизма. Но тенденция, направленность творчества Иванова была, несомненно, реалистической. «Он сделал для всех нас, русских художников,— сказал о нем Крамской,— огромную просеку в непроходимых до того дебрях».

Прокладывал путь к реализму и живописец, который стоит как бы особняком от всех русских художников,— Иван Константинович Айвазовский. Особняком он стоит потому, что, во-первых, почти ничего не писал, кроме моря, но зато море писал, как никто другой, не только в русской, но и в мировой живописи; «водяной гений» — так назвал его М. Горький. Во-вторых, творческий путь Айвазовского, тоже как никого другого, охватывает разные эпохи в развитии русской живописи от господства классицизма до полного торжества реализма. Айвазовский выдвинулся одновременно с Брюлловым, а последние свои картины писал в одно время с Репиным, Суриковым, Серовым. Он был уже знаменит, когда только родились Крамской,

Н.А. Ярошенко, Ф.А. Васильев; но и Крамской, и Ярошенко, и Васильев умерли, а он продолжал творить с тем же вдохновением, как и 60—70 лет назад. Его творческое наследие колоссально — 6 тыс. картин, а продуктивность труда беспримерна: если Иванов писал своего «Христа» 20 лет, то Айвазовский создал одно из самых значительных своих полотен «Среди волн» за 10 дней; иные картины он создавал между завтраком и обедом.

Уже в первой половине века Айвазовский успел написать такие шедевры, как «Буря на Черном море», «Чесменский бой», «Наваринский бой», а в 1850 г. выставил едва ли не самую популярную из всех своих картин — «Девятый вал». Все ему удавалось, и жил он, не в пример большинству российских художников, легко, припеваючи, не зная ни нужды, ни преследований, ни разочарований. Рано согретый всемирной славой, в 27 лет уже академик, член еще четырех (кроме Петербургской) академий художеств Европы, он пользовался благоволением и личным покровительством Николая I. Кстати, сам Николай умел немного рисовать и даже затевал с художником-археологом Ф.Г. Солнцевым батальные сцены: Солнцев разрисовывал нужный ландшафт, а царь своей «высочайшей» кистью вписывал туда фигурки солдатиков. Разумеется, на этом основании Николай считал себя не только ценителем, но и мастером живописи, однако Айвазовскому как живописцу отдавал пальму первенства даже перед самим собой, оставляя себе первенство иное: «Я царь земли, а ты царь моря!» — говорил ему Николай. Своих приближенных царь часто спрашивал, имеют ли они что-либо из работ Айвазовского, и заставлял приобретать. Айвазовскому самодержец пожаловал чин тайного советника (3-й класс Табели о рангах, разнозначный воинскому званию генерал-лейтенанта), которого не удостаивался ни один из русских художников. Все эти и другие царские подачки Айвазовский принимал — с благородным расчетом на то, что они поднимают авторитет художника в России.

Вообще же Айвазовский сторонился царя, его двора и царских милостей. В 1845 г. он навсегда поселился в Феодосии, у милого его сердцу Черного моря, где и прожил оставшиеся 55 лет своей жизни, пережив там и Николая I, и Александра II, и Александра III; умер уже при Николае II. Николай I был недоволен его отшельничеством, пытался воздействовать на него и заставить жить в столице, но в конце концов махнул на строптивого художника рукой, заявив: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!»

В Феодосии Айвазовский написал бóльшую часть своих картин — в том числе «Пушкин на берегу моря» (море рисовал Айвазовский, а Пушкина — И.Е. Репин), «Наполеон на острове Святой Елены» и такой шедевр, как «Черное море» (1881).

Подлинным основоположником реализма в русской живописи стал Павел Андреевич Федотов — этот, по выражению его

биографа, «Гоголь в красках». Он довольно долго (1833—1844) служил в лейб-гвардии Финляндском полку, имел офицерский чин, но, осознав, что его призвание — живопись, отказался от военной карьеры и занялся художественным творчеством, хотя отныне до конца жизни уже не выходил из нужды, почти нищеты. Первой картиной Федотова был «Свежий кавалер» (1847). В Академии художеств ее приняли всего лишь как забавную бытовую сценку, написанную-де «на голландский манер». Но великий Брюллов увидел в ней начало нового направления, за которым стояло будущее. «Поздравляю вас,— сказал он Федотову.— Вы победили меня».

Творческий путь Федотова от создания «Свежего кавалера» до смерти занял всего пять лет. За это время он написал картины, заложившие фундамент реализма в русской живописи («Сватовство майора», «Вдовушка», «Разборчивая невеста», «Завтрак аристократа»). Из них особенно значительна картина «Сватовство майора» (1848). Она символизирует брачную сделку двух сословий — политически всесильного, но экономически оскудевающего дворянства и экономически мощного, но политически ничтожного купечества: дворянство вступает в эту сделку самодовольно, закручивая усы; купечество — подобострастно, трепеща от счастья. В картине запечатлен очень выигрышный с психологической точки зрения момент: майор входит в дом невесты, но еще не вошел, хозяева встречают его, но еще не встретили, тот и другие заканчивают на наших глазах последние приготовления к встрече; все обнажено в их поведении за мгновенье перед тем, как они накинут на себя личины притворства.

Как истинно народного художника, демократа и революционера в живописи, Федотова возненавидели и травили все реакционеры. Иные из них печатно утверждали, что такому художнику, как Федотов, «в христианском обществе нет места». 14 ноября 1852 г. Федотов умер в сумасшедшем доме. И.Н. Крамской подвел итог его жизни такими словами: «Когда Федотов стал живо интересовать, на него восстали, и он был раздавлен». Реалистическое наследие Федотова восприняли и приумножили художники-*передвижники.* Именно они на фундаменте, который заложил Федотов, воздвигли само здание критического реализма, возобладавшего, таким образом, в 60—70-х годах вслед за литературой и в живописи.

9 ноября 1863 г. в стенах Академии художеств произошло событие, вошедшее в историю отечественной культуры как «бунт 14-ти». Четырнадцать самых одаренных выпускников, допущенных к конкурсу на первую золотую медаль, во главе с Крамским обратились в Совет Академии с просьбой разрешить им писать конкурсные картины не по заданному сюжету из скандинавской мифологии («Пир бога Одина в Валгалле»), а на свободно избранные темы из жизни отечества. Совет отказал. Тогда в знак

протеста все 14 ушли из Академии и образовали «Художественную артель», которая в 1870 г. была преобразована в «Товарищество передвижных художественных выставок».

Организаторы Товарищества поставили перед собой двоякую цель: создавать понятную и полезную для народа реалистическую живопись и приобщать к ней народ путем устройства в разных местах страны передвижных художественных выставок. Товарищество объединило почти всех лучших русских художников того времени (108 членов, кроме 440 экспонентов). За 53 года своего существования (1870—1923) оно устроило 48 выставок. Первая из них открылась в Петербурге в 1871 г. Представленная на ней картина А.К. Саврасова «Грачи прилетели» заключала в себе символический смысл: наступала весна новой живописи и первыми вестниками ее явились грачи-передвижники.

Главой передвижников был Иван Николаевич Крамской, сын провинциального писаря, в детстве — мальчик на побегушках у иконописца, а в отрочестве — ретушер у бродячего фотографа. Подобно Александру Иванову, Крамской — это в первую очередь художник-философ. Его картина «Христос в пустыне» (1872) так же, как и «Явление Христа народу» Иванова, таила в себе насквозь земное и современное философское содержание. Сам Крамской говорил, что Христос для него — лишь иносказательный «иероглиф», в котором он воплощал образ своего современника, *борца,* мужественного, но одинокого, в критический момент раздумья о долге перед народом и о путях борьбы за освобождение народа.

Как истинно великий художник, Крамской был и замечательным психологом. Он умел отобразить всю бездну человеческого страдания, как, например, в картине «Неутешное горе», написанной под впечатлением смерти двух его малолетних сыновей[1], и набросать загадочный, почти детективно-психологический портрет: такова героиня его картины «Неизвестная» — «кокотка в коляске», по определению В.В. Стасова, женщина, отвергнутая официальной моралью, но наделенная такими качествами, которые дают ей право пренебречь судом молвы и смотреть на окружающих «взглядом, возвращающим презрение».

Психологизм Крамского с наибольшей силой сказался в его портретах. Как портретист, он был самым замечательным из передвижников, после Репина и Серова. Каждый портрет работы Крамского являл собою образец художественного анатомирования человека, после чего портретируемый выставлялся либо на славу, как Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Шишкин, П.М. Третьяков, либо на позор, как А.С. Суворин, о портрете которого В.В. Стасов писал: «Такие портреты навсегда, как гвоздь, прибивают человека к стене». Вождь передового

[1] Крамской изобразил здесь свою жену Софью Николаевну у гроба их ребенка.

направления в русской живописи, Крамской был самозабвенно предан искусству и служил ему до последнего мгновения жизни. Он умер за работой над очередным портретом (доктора К.А. Раухфуса) — с кистью в руке.

Крупнейшим среди передвижников мастером *бытового* жанра был руководитель московского отделения их Товарищества Василий Григорьевич Перов. Его считали прямым наследником П.А. Федотова. Так и говорили, что кисть, выпавшая из рук Федотова, была подхвачена Перовым. Первый план в творчестве Перова занимало изображение жизни крестьянства и городской бедноты. Характерны его картины «Проводы покойника» (1865) и «Тройка» (1866): первая из них рисует горе осиротевшей крестьянской семьи, потерявшей кормильца; вторая — горькую долю детей ремесленников, занятых непосильным трудом. Перовская «Тройка» имела шумный успех на Всемирной выставке 1867 г. в Париже. Этой картиной Перов первым из русских художников проложил дорогу отечественной бытовой живописи на международную арену.

Второй по значению темой в творчестве Перова была, пожалуй, тема обличения духовенства, нравственной греховности его официальных служителей. Самый яркий пример — картина «Сельский крестный ход на Пасху» (1861), которую власти распорядились снять с выставки за то, что «все духовные лица представлены здесь в пьяном виде». Талант Перова был многогранен. Ему удавались не только трагические и обличительные мотивы. Он известен и как мастер веселого искрометного юмора, о чем свидетельствуют его популярнейшие «Охотники на привале», «Рыболов», «Птицелов».

Произведения бытовой живописи, проникнутые большой обличительной силой, создавали также передвижники Владимир Егорович Маковский и Николай Александрович Ярошенко.

Маковский оставил непревзойденные образцы бытового жанра малой формы, своего рода картины-новеллы с острым, из самой гущи жизни, сюжетом: «Свидание», «На бульваре», «Посещение бедных», «Не пущу». Великий труженик и патриот, он так понимал ответственность художника перед народом: «Вот Репин говорит, что нужно семь раз умереть, прежде чем написать картину. Это, конечно, так... А я семь раз умираю и после того, как напишу картину. Ведь картина по России ездит, что Россия скажет, вот это главное, вот где суд!»

Ярошенко, почитавшийся «совестью русских художников» (после смерти в 1887 г. Крамского он идейно возглавлял Товарищество передвижников),— автор многих произведений, которые неизменно вызывали общественный интерес своей злободневностью, социальной заостренностью, публицистичностью. Его картина «Всюду жизнь» пробуждала в зрителях добрые чувства к согражданам, лишенным свободы, среди которых часто оказы-

вались случайные, невинные, порой даже лучшие из россиян; а ярошенковский «Кочегар» был первым в русском искусстве (гениально типизированным) *портретом рабочего.* «Взгляд кочегара,— пишет о нем один из биографов Ярошенко,— полон какого-то немого укора. Глядя на его словно выхваченную из жизни фигуру, невольно задумываешься над тем, отчего так тяжела и безрадостна жизнь этого человека, почему его исковерканные, натруженные руки не знают покоя и отдыха».

Ведущие художники-жанристы воплощали в своих произведениях тему освободительной борьбы с царизмом, утверждая таким образом положительного героя отечественной живописи. В 1878 г., когда все русское общество было взбудоражено чередой громких политических процессов («50-ти», «193-х», Веры Засулич), Ярошенко выставил картину «Заключенный» — первое в русской живописи большое полотно, посвященное революционеру[1]. Кстати, революционера для этой картины (типичного разночинца, лицо и фигура которого исполнены простоты, силы и уверенности в себе) Ярошенко писал с Г.И. Успенского. Тогда же, в 1878 г., под свежим впечатлением дела Веры Засулич он начал писать картину «у Литовского замка». Эта замечательная (к несчастью, погибшая еще в 1890-е годы) картина была экспонирована 1 марта 1881 г., в день убийства Александра II, и вызвала сенсацию. Она изображала одну из главных тюрем империи («русскую Бастилию», как ее называли) и перед ней — готовую на подвиг девушку-революционерку, в которой современники не без оснований отыскивали черты Веры Засулич и Софьи Перовской. Власти сочли такую картину крамольной и сняли ее с выставки, а Ярошенко посадили под домашний арест (такого «внимания» никто более из классиков русской живописи не удостаивался). Сам «полуимператор» М.Т. Лорис-Меликов нанес карательный визит художнику и допрашивал его в течение двух часов. На допросе Ярошенко заявил, что ни Засулич, ни Перовскую он не писал, но «не писал потому, что не видел их, а если бы был знаком с ними, то написал бы их с удовольствием, так как это личности, на которых нельзя не обратить внимания»[2].

В 1881 г. Ярошенко написал «Студента», а в 1883 — «Курсистку». Названия этих картин, при всей их кажущейся (подцензурной) незначительности, очень емки и многозначащи. Слово «студент» тогда имело определенный подтекст, оно «обозначало что-то вроде бунтовщика, революционера»[3]. Подобный же смысл, хотя и менее подчеркнуто, современники вкладывали в слово «курсистка». Главное же, и «Студент» Ярошенко, и его

[1] Вообще первым в России живописным произведением на революционную тему была небольшая картина И.Е. Репина «Под конвоем» (1876).

[2] *Прытков В.А.* Н.А. Ярошенко. М., 1960. С. 204.

[3] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 30. С. 316.

«Курсистка» (этот, как восторгался Глеб Успенский, «новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий») полны энергии, целеустремленности, обаяния. Оба они представили собой как бы собирательные типы (мужской и женский) революционеров эпохи, народовольцев.

Одновременно с Ярошенко и вслед за ним другие художники создавали картины и портреты, которые увековечивали трагическую историю освободительной борьбы в России, вызывая сочувствие общества к борцам за свободу и неприязнь к их палачам. В первую очередь, это целая серия произведений И.Е. Репина, о которых речь впереди, а также «Осужденный», «Узник» и «Вечеринка» В.Е. Маковского, «Агитатор в вагоне» С.В. Иванова, «Решение» Н.А. Касаткина, «Казнь заговорщиков в России» В.В. Верещагина, портреты А.И. Герцена и М.А. Бакунина, написанные в 1867 г. с натуры Н.Н. Ге. Кстати говоря, Николай Николаевич Ге в своей знаменитой картине «Тайная вечеря» (1863) изобразил Христа с лицом Герцена.

В *батальном* жанре великим новатором выступил Василий Васильевич Верещагин. Формально он не входил в Товарищество передвижников, но фактически его творчество представляло собой неотъемлемую отрасль их искусства. Верещагин не только отошел от традиционных канонов батальной живописи, он их разрушил. До него баталисты обычно поэтизировали войну как эффектное зрелище: на первом плане ласкал взоры зрителей *красавец*-вождь, а за ним *красиво* сражались войска, *красиво* лилась кровь и очень *красиво*, в пластических позах, лежали убитые. Верещагин первым в мировой живописи сделал героем батальных сцен простого солдата и, как никто другой из художников мира, обличал ужасы войны. Его картина «Апофеоз войны» (1872), изображающая пирамиду из человеческих черепов,— уникальный живописный памфлет против захватнических войн. Эту картину Верещагин поместил в раму с надписью: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

Как и передвижники, Верещагин был вольнолюбцем и демократом, антимонархистом. На одной из картин он изобразил Александра II под Плевной созерцающим кровопролитие и надписал: «Царские именины». Он демонстративно отказывался продавать свои работы августейшему дому. Царь и его домашние называли художника «тронутым» и пытались его «ублажить», но Верещагин не поддавался. И Александр II, и Александр III, и Николай II его не любили; посещая выставки его картин, приказывали, чтобы самого художника при этом не было.

Жизненная правда картин Верещагина объяснялась не только демократизмом его убеждений. Он досконально знал то, что изображал, сам участвовал в боях и походах наравне с солдатами, храбро сражался, был тяжело ранен. Он и погиб на войне, которую

так ненавидел и которой посвятил всю свою творческую жизнь,— погиб 31 марта 1904 г. вместе с адмиралом С.О. Макаровым на борту броненосца «Петропавловск» в гавани Порт-Артура от взрыва японской мины. Реакционные круги и после смерти Верещагина поносили его имя и творчество, травили его семью. Вдова художника в 1911 г. покончила с собой.

Видное место в творчестве передвижников занимал национальный *пейзаж*. Чудесные картины родной природы, наполненные патриотическим чувством, писал Алексей Кондратьевич Саврасов, который, по мнению И.И. Левитана, «создал русский пейзаж». Картины Саврасова лиричны, их отличает трогательная задушевность, щемящее очарование. Таковы его «Грачи прилетели», «Проселок», «Могила на Волге». Сам художник объяснил свою творческую манеру такими словами: «Надо быть всегда влюбленным; если это дано,— хорошо, нет — что делать, душа вынута».

В отличие от Саврасова — поэта по душевному и творческому складу — Иван Иванович Шишкин слыл трудолюбивым прозаиком русского пейзажа. Богатырь «с могучими лапами ломового и корявыми, мозолистыми от работы пальцами»[1], из-под которых невесть как рождались волшебные картины, Шишкин почти ничего не писал, кроме леса, но зато лес писал, как никто. Его «Дубовая роща» (1886) — это апофеоз русской природы, русского леса. Пейзажи Шишкина не только величественны и красивы, иные из них исполнены глубокого философского смысла. Так, картины «Среди долины ровныя» и «На севере диком...» (сюжет из стихотворения Лермонтова) выражают идею гордого и сильного духом одиночества, а картина «Рожь» представляет собой обобщенный образ России.

В 80—90-е годы на одно из первых мест (если не на первое место) среди пейзажистов выдвигается ученик Саврасова Исаак Ильич Левитан, которого современники называли «Чеховым русской живописи», а сам Чехов — «королем пейзажистов». Левитан прожил трудную жизнь. Он рано лишился отца и матери. Юность его была жестокой, голодной и бездомной. Однажды в порыве отчаяния он пытался повеситься, а потом еще два раза хотел застрелиться, но каждый раз его спасал верный друг — А.П. Чехов. Как личность Левитан был умен, вдохновенен, ярок, но слишком впечатлителен, изменчив и как бы весь соткан из противоречий — по убеждениям, характеру и даже внешне. Чехов в 1886 г. обрисовал его двумя строками: «Звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовской костюм, истощенный вид»[2].

Трудная жизнь Левитана наложила печать на его творчество. В нем преобладают грустные, элегические мотивы. Самый яркий

---

[1] *Репин И.Е.* Далекое близкое. М., 1964. С. 181.

[2] И.И. Левитан. Письма, документы, воспоминания. М., 1956. С. 131.

пример — картина «Над вечным покоем» (1894), которая подчеркивает бренность человеческого существования и о которой сам Левитан говорил: «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем своим содержанием». Впрочем, он умел передать своей кистью любой мотив: синтезировал саврасовскую поэзию русского пейзажа и его шишкинскую прозу. С одинаковым успехом Левитан рисовал и пробуждение природы («Март»), и расцвет ее («Березовая роща»), и увядание («Золотая осень»), а его картина «Владимирка», изображающая дорогу, по которой гнали в Сибирь ссыльных и каторжных,— это единственный в своем роде пример *исторического* пейзажа.

Не напрасно Чехов придумал слово «левитанистый», выражая в нем идеальное обаяние пейзажа средней России. Он и среди картин самого Левитана находил более и менее «левитанистые». Саврасов, Шишкин и Левитан — это, говоря словами Крамского, «верстовые столбы» в развитии отечественного пейзажа. Но рядом с ними славили кистью величие и красоту русской природы другие, не менее талантливые живописцы.

Один из них — Федор Александрович Васильев — внес в русский пейзаж романтически-юношескую приподнятость и необыкновенную, только ему присущую красочность. Его картины «Оттепель», «Мокрый луг», «В крымских горах» восхитительны, они указывали на задатки гениальности у художника (Репин называл его искусство «магическим»). Эти картины служили залогом появления из-под кисти Васильева таких пейзажей, каких, может быть, никто еще не создавал, но Васильев, этот «чудо-юноша», по выражению Крамского, перед которым такие корифеи, как тот же Крамской и Шишкин, «млели от восхищения», безвременно, 23 лет, погиб от чахотки.

Яркий след в развитии живописи русского пейзажа оставил Куинджи — сын сапожника, грек по национальности, хотя звали его Архип Иванович. Талантливейший и самобытнейший художник, «гениальный дикарь», как говорили о нем современники, Куинджи весной 1880 г. устроил в Петербурге свою персональную выставку... из одной картины: «Лунная ночь на Днепре». Картина вызвала фурор. Посмотреть на нее съехался весь Петербург. Очередь выстроилась на несколько кварталов. Со времен «Последнего дня Помпеи» Брюллова не было ничего подобного.

Вокруг картины разгорелись жаркие споры. Хотя с тех пор за 100 лет краски Куинджи несколько поблекли, зритель и сегодня удивляется ее бесподобному колориту: сквозь непроницаемую ночную мглу светятся совершенно натурально огоньки в окнах крестьянских хат над Днепром, и самый Днепр освещен непостижимым, словно подлинным лунным светом. Досужие критики сразу объявили, что Куинджи использовал некую «лунную краску» и что здесь не обошлось без помощи «нечистой силы». Картину обследовали в лупу, в бинокль, заглядывали за холст, чтобы узнать, не подсвечена ли она сзади фонарем. Секрета

Куинджи так и не разгадали. А секрет был «прост»: уникальное мастерство изображения.

Жизнь Куинджи была столь же необыкновенной, как и его живопись. С пяти лет круглый сирота, познавший горе, тяжкий труд, нищету и голод, долго не получавший признания (начал было учиться у Айвазовского, но прославленный маэстро не распознал в 15-летнем Куинджи никакого таланта и не допустил его далее покраски забора), Куинджи все-таки выбился «в люди», стал богачом, однако сам жил по-спартански, а все свои средства раздавал нуждающимся, снаряжая за собственный счет группы, а то и целые выпуски своих учеников в творческие командировки на юг России и даже за границу. Помогать слабым, творить добро — таков был закон всей жизни Куинджи. Вот что пишет его биограф: «Ежедневно по сигналу пушки Петропавловской крепости в полдень слетались пернатые жители столицы на крышу мастерской знаменитого мастера, чтоб угоститься вкусным обедом... Когда болел и не выходил, стучались клювами в окно мастерской. Так же и с людьми было всю жизнь, до самой смерти».

Столь же замечательным мастером и человеком был Василий Дмитриевич Поленов — художник редчайшего по широте диапазона: исторический живописец, жанрист, портретист, анималист, маринист, декоратор, но в первую очередь пейзажист. Талант Поленова красиво гармонировал с его личным обаянием. Все его творчество было таким же чистым и светлым, как он сам. Крамской говорил, что краски Поленова *звучат*, как музыка.

Из пейзажей Поленова самый популярный — «Московский дворик» (1878). Сам Поленов называл этот «дворик» «тургеневским уголком». Действительно, здесь напоминало о Тургеневе многое — и место действия картины (уголок старой Москвы, где завязалась фабула тургеневского романа «Дым»), и, главное, тургеневски глубокое и тонкое, любовное проникновение в мир природы. Этюд с «Московского дворика», подаренный Поленовым, висел в кабинете умирающего Тургенева под Парижем. Так же поэтичны другие пейзажи Поленова: «Бабушкин сад», «В заброшенном парке», «Заросший пруд».

Виктор Михайлович Васнецов, ученик Крамского, тоже работавший в разных жанрах, был несравненным мастером эпических полотен на темы отечественной истории и былинного творчества, таких, как «Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами» и особенно «Богатыри» (1881—1898), которые сразу встали в ряд самых популярных произведений русской живописи.

Художником широчайшего диапазона был и Валентин Александрович Серов, особенно прославившийся как портретист (в этом качестве вровень с ним из русских художников стоит только Репин). Бо́льшую часть своих шедевров Серов создавал уже в XX в., но успел и до конца XIX столетия написать такие

живописные гимны радости бытия, как портреты-картины «Девочка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888), портреты И.И. Левитана и К.А. Коровина, великих певцов Италии А. Мазини и Ф. Таманьо.

Во второй половине XIX в. начали творить и пережили расцвет творчества два величайших гения русской живописи — Репин и Суриков.

Василий Иванович Суриков — самый выдающийся в России и один из крупнейших в мире мастер *исторического* жанра. Он не имел равных себе в изображении народной массы как единого целого, как героя истории, не безликой толпы, а сочетания неповторимых индивидуальностей, словно одной личности титанических масштабов. Именно так воспринимаются массы людей в его картинах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы».

Другое достоинство Сурикова — его умение раскрыть на примере частного эпизода, отдельного факта и даже фактической детали трагедию истории. Так, в картине «Утро стрелецкой казни» (1878—1881) борьба двух сил, двух исторических миров олицетворяется в двух полных вызова и ненависти взглядах, которыми обмениваются Петр I и сидящий на телеге стрелец со свечкой. Эта «дуэль взглядов» составляет психологическую ось композиции, исполненную глубочайшего смысла. Трагедия расправы русских людей с русскими же людьми производит здесь сильнейшее впечатление. Между тем Суриков изобразил не самую казнь, а лишь последние минуты перед казнью. Писатель В.В. Вересаев рассказывал: «Когда Суриков уже кончал картину, заехал к нему в мастерскую Репин. Посмотрел. «Вы бы хоть одного стрельца повесили!» Суриков послушался совета, повесил. И картина на три четверти потеряла в своей жути. И Суриков убрал повешенного».

«Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» (1881—1887) — наиболее значительные произведения Сурикова. Первое из них представило собой, по мнению специалистов, фундамент мировой славы художника, второе — ее венец. Лишь в советское время разъяснилась история замысла «Боярыни Морозовой» Сурикова. Теперь можно считать доказанной впервые высказанную Т.В. Юровой, а затем подтвержденную В.С. Кеменовым гипотезу о том, что Суриков начал писать «Боярыню Морозову» под впечатлением казни Софьи Перовской, точнее говоря — под впечатлением следования первомартовцев, среди которых была и Перовская, к месту казни[1]. Был ли Суриков свидетелем казни, как полагает Т.В. Юрова, или он узнал ее подробности от

[1] См.: *Юрова Т.В.* К вопросу о замысле картины «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова // Искусство. 1952. № 1; *Кеменов В.С.* Историческая живопись Сурикова (1870—1880-е годы). М., 1963. С. 351.

очевидцев (например, от Репина), не существенно. Судьба женщины, первой в России казненной по политическому делу, поразила воображение художника, и он в поисках иносказательного отклика на это событие обратился к личности Феодосии Морозовой, ибо она расценивалась тогда в демократических кругах как пример самоотверженного характера, готового скорее погибнуть, чем изменить своим убеждениям.

Современники легко находили в историческом сюжете «Боярыни Морозовой» злободневный подтекст. Официозный искусствовед Н.А. Александров даже вульгаризировал актуальность картины, заявив, что Суриков попросту облек в исторические костюмы «современное происшествие». Знаменательно, что в представлении Веры Фигнер, не ведавшей об истории суриковского замысла, «Боярыня Морозова» воскрешала именно казнь Софьи Перовской[1].

Илья Ефимович Репин — «Илья Муромец русской живописи», как называли его современники,— создавал произведения, отличавшиеся неподражаемой экспрессией, монументальностью и психологизмом, только ему доступным мастерством типизации. В его картине «Бурлаки на Волге» (1870—1873) перед взором зрителя встает впряженная в лямки, подневольная и страждущая, но могучая Русь. Народность этой картины навлекла на нее злые нападки со стороны ревнителей академических красот. Президент Академии художеств Ф.А. Бруни квалифицировал «Бурлаков» как «величайшую профанацию искусства». Зато демократическая общественность приняла их с восторгом. Для нее «Бурлаки» стали отныне таким же знаменем в изобразительном искусстве, каким в первой половине столетия был «Последний день Помпеи» Брюллова.

Творческие возможности Репина были поистине безграничны. Его «Запорожцы» (1878—1891) — это своего рода энциклопедия смеха, а «Иван Грозный и сын его Иван» (1881—1885) не имеет аналога по трагизму изображения. Человеку с больным воображением на эту картину лучше не смотреть[2]. Как суриковская «Боярыня Морозова», «Иван Грозный» Репина тоже задуман под впечатлением расправы царизма с первомартовцами. Репин был свидетелем казни Желябова и Перовской. «Ах, какие это были кошмарные времена,— вздыхал он, вспоминая об этом много лет спустя.— Сплошной ужас... Я даже помню на груди каждого дощечки с надписью «Цареубийца». Помню даже серые брюки Желябова, черный капор Перовской». «Сплошной ужас» каратель-

[1] См.: *Фигнер В.Н.* Запечатленный труд. Воспоминания: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 272.

[2] Это доказал неврастеник Абрам Балашов, который 16 января 1913 г. в Третьяковской галерее набросился на картину с ножом и изуродовал ее. Казалось, картина погибла. Все были в отчаянии. Хранитель галереи Е.М. Хруслов бросился под поезд. Спас картину чудодей реставрации И.Э. Грабарь.

ного террора и натолкнул Репина на мысль о картине «Иван Грозный» как иносказательном обличении современности. «Какая-то кровавая полоса прошла через этот год,— рассказывал он о рождении замысла картины в 1881 г.— Страшно было подходить — несдобровать... Началась картина вдохновенно, шла залпами. Чувства были перегружены ужасами современности».

Современники — и друзья, и недруги Репина — сразу поняли, сколь злободневна картина при всей отдаленности ее сюжета. «Тут,— писал о картине Репину Лев Толстой,— что-то бодрое, сильное, смелое и *попавшее в цель*». А К.П. Победоносцев уже нашептывал царю: «И к чему тут Иоанн Грозный? Кроме *тенденции известного рода,* не приберешь другого мотива». Действительно, в обстановке, когда царизм душил освободительное движение, истребляя цвет и молодость нации, картина, где бесноватый царь-деспот убивает собственного сына, воспринималась как взрыв протеста против самодержавного деспотизма. По требованию Победоносцева, она была снята с выставки.

Таким образом, «Иван Грозный» Репина иносказательно затронул революционную тему. Эта тема была одной из центральных в творчестве «Ильи Муромца» нашей живописи. Никто из русских художников до 1917 г. (включая Ярошенко) не обращался к ней так часто, как Репин. Далекий от революции, отвергавший ее крайности вроде «красного» террора, Репин глубоко симпатизировал революционерам, их идеалам, преклонялся перед Н.Г. Чернышевским, дружил с народовольцами Г.А. Лопатиным, Н.А. Морозовым, З.Г. Ге, был знаком с П.Л. Лавровым, Г.В. Плехановым, М.Н. Ошаниной, переписывался с Верой Фигнер. В то же время он осуждал «белый» террор, а заправил и карателей России презирал. Царь Александр III был, в его представлении, «осел во всю натуру», Николай II — «тупая скотина, скиф-варвар, держиморда», К.П. Победоносцев и М.Н. Катков — «паскудные фальшивые нахальники», все правительство Александра III — «царство идиотов, бездарностей, трусов, холуев и тому подобной сволочи», самодержавие вообще — «допотопный способ правления», который «годится только еще для диких племен, не способных к культуре»[1].

Придерживаясь таких взглядов, Репин создал целую художественную летопись революционно-народнического движения 70—80-х годов, проникнутую состраданием к борцам за свободу и отвращением к их карателям. Таковы его картины «Под конвоем», «Арест пропагандиста» (1878—1892), «Отказ от исповеди перед казнью» (1880—1885), «Сходка» (1883), «Не ждали» (1883—1884), «В одиночном заключении» (1885), портреты «цареубийц» Д.В. Каракозова (1866) и Г.М. Гельфман (1881).

---

[1] *Репин И.Е.* Избр. письма: В 2 т. М., 1969. Т. 1. С. 330, 333; Т. 2. С. 187, 190, 191, 356.

Как портретист Репин (наряду с Серовым) тоже стоит выше всех русских художников. Богатство красок, мыслей и чувств в его портретах невообразимо: как живые, смотрят на нас изящная, мечтательная Элеонора Дузе — прелестная женщина и великая актриса; и звероподобный протодьякон Иван Уланов — пьяница и обжора, «Варлаамище (по определению самого Репина), экстракт наших дьяконов, лупоглазие, зев и рев». Великой заслугой Репина является создание им галереи портретов деятелей отечественной культуры: Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.В. Стасова, Н.И. Пирогова, П.А. Стрепетовой. К лучшим из них относится и портрет М.П. Мусоргского, написанный в четыре дня без мольберта в больнице, за полторы недели до смерти композитора (март 1881). Деньги, вырученные за продажу этого портрета в галерею П.М. Третьякова, Репин отдал на сооружение надгробного памятника Мусоргскому.

Передвижники были не только талантливы и, как правило, демократически настроены. Все они были дружны и спаяны в своем товарищеском коллективе, держались независимо, а порой и жестко в отношениях с «сильными мира». Вот эпизод из жизни В.Е. Маковского. Владимир Егорович имел чин статского советника, и ему полагалось носить мундир с белыми брюками, но, соблюдая правила Товарищества передвижников, он не надевал никаких знаков отличия. Дядя Николая I великий князь Владимир Александрович (тот, кто причудливо совмещал должности президента Академии художеств и главнокомандующего войсками Петербургского военного округа и был главным организатором расстрела 9 января 1905 г.) спросил как-то Маковского:

— Ведь вы уже «превосходительство», а почему не в белых штанах?

— В сем виде,— отвечал Маковский,— я бываю только в спальне, и то не всегда.

Великий князь встал в позу и угрожающе произнес:

— Но-но-но![1]

Разумеется, творчество передвижников, сколь масштабным и значимым оно ни было, не исчерпывало собою всего многообразия отечественной живописи второй половины XIX в. В традициях академизма плодотворно работали К.Е. Маковский (брат Владимира Егоровича, порвавший с передвижниками), Г.И. Семирадский, Ф.А. Бронников, картины, рисунки и портреты которых выглядели идейно легковесными, но впечатляли сюжетной интригой, эстетической привлекательностью, филигранным мастерством исполнения. В самом конце века начались не менее плодотворные художественные искания мастеров импрессионизма (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь), символизма (М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов), тяготевших к живописному модерну виртуозов

[1] *Минченков Я.Д.* Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. М., 1980. С. 82.

из объединения «Мир искусства» (1898—1924) — К.А. Сомова, А.Н. Бенуа и др. Но магистральную линию развития отечественной живописи определяли, конечно же, передвижники, вопреки надеждам реакционных «верхов» на приоритет «чистого», «салонного» искусства, которое было призвано заслонить собою грязь социальных проблем.

Нагие женщины — ручаться я готов —
Нас отвлекут как раз от голых бедняков,—

сатирически формулировал эти надежды один из создателей Козьмы Пруткова поэт А.М. Жемчужников.

В целом русская живопись XIX в. несла в народ те же, что и литература, идеи гражданского и национального достоинства, свободомыслия, гуманизма. Можно сказать, перефразируя советских искусствоведов, что если Пушкин и Гоголь, Тургенев и Лев Толстой были *голосом* передовой России, то Брюллов и Федотов, Репин и Суриков — ее *зрением*.

Вместе с живописью завоевывала на протяжении XIX в. небывалые прежде в России высоты отечественная скульптура. Ваятели блестящего дарования еще при крепостном праве создавали памятники, доныне буквально воспламеняющие в сердце каждого россиянина чувство патриотической гордости за величие своего отечества. Иван Петрович Мартос, которого современники называли «Фидием XIX в.», выполнил в бронзе исторический памятник К.З. Минину и Д.М. Пожарскому, установленный в 1818 г. на Красной площади в Москве; а в Петербурге были воздвигнуты три таких памятника: А.В. Суворову на Марсовом поле (1801 г., автор — Михаил Иванович Козловский), М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли (1837) на площади перед Казанским собором (обе скульптуры изваял сын крепостного, ученик Мартоса Борис Иванович Орловский).

Петр Карлович Клодт — автор памятников И.А. Крылову в Летнем саду и Николаю I на площади перед Исаакиевским собором — создал уникальную композицию из четырех конных групп, которые с 1850 г. стоят на Аничковом мосту в Петербурге. Авторские повторения этих групп украсили площади Берлина и Неаполя, прославив имя Клодта во всем мире.

В пореформенные десятилетия XIX в. выдвинулась еще более яркая плеяда мастеров отечественной скульптуры. Самым выдающимся из них был Марк Матвеевич Антокольский — создатель классических скульптурных портретов Нестора-летописца, Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Ермака, Петра Великого, И.С. Тургенева, Б. Спинозы. Великими произведениями обессмертили свои имена Михаил Осипович Микешин (памятники 1000-летию России в Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве) и Александр Михайлович Опекушин (лучший из памятников А.С. Пушкину, открытый в

1880 г. на нынешней Пушкинской площади в Москве). В 1900—1906 гг. Паоло (Павел Петрович) Трубецкой создал памятник Александру III: грузный царь тяжело сидит на слоноподобной лошади. Об этом памятнике современники говорили стихами:

На земле стоит комод,
На комоде — бегемот.

Когда Трубецкого в дружеском кругу спросили, какой политический смысл он вкладывал в памятник, скульптор ответил: «Не занимаюсь политикой. Я изобразил одно животное на другом».

В конце века начали свой творческий путь еще два первоклассных российских ваятеля — ученица гениального француза О. Родена А.С. Голубкина и знаменитый впоследствии патриарх советской скульптуры С.И. Коненков.

Когда речь идет о русском изобразительном искусстве второй половины XIX в., нельзя не помянуть добрым словом его ревностного пропагандиста и мецената (в лучшем смысле этого слова) Павла Михайловича Третьякова. Потомственный купец, он с 1856 г. начал собирать произведения русского искусства, ориентируясь почти исключительно на художников-передвижников. Покупал он картины прямо в мастерских, чтобы они появлялись на выставках уже с пометой: «Собственность П.М. Третьякова». Александр III однажды захотел купить на выставке одну картину, ему говорят — «куплена Третьяковым»; царь присмотрел другую, третью — тот же ответ. Самодержец разозлился: «Купец Третьяков все у меня перебил!» С тех пор устроители выставок сделали правилом впредь никому ничего не продавать, «пока не побывает на выставке государь-император».

В отличие от большинства купцов П.М. Третьяков был очень культурным человеком, с развитым художественным вкусом. Не получив систематического образования, он много работал над собой; последние 25 лет жизни каждый год проводил по два месяца за границей, где не просто созерцал, а изучал музеи и вообще культуру Европы. По складу характера он был очень демократичен: отказался от дворянского звания, пожалованного царем, не носил мундиров и медалей, одно только звание принял: «почетный гражданин города Москвы». Ему претило всякое благоволение сверху. Он демонстративно избегал встреч с лицами царской фамилии, которые часто посещали его галерею, особенно великий князь Сергей Александрович — генерал-губернатор Москвы. Служащим галереи Третьяков «раз навсегда отдал строгий приказ: "Если предупредят заранее, что сейчас будут высочайшие особы,— говорить, что Павел Михайлович выехал из города; если приедут без предупреждения и будут спрашивать меня,— говорить, что выехал из дома неизвестно куда!"»[1].

[1] *Мудрогель Н.А.* 58 лет в Третьяковской галерее. Л., 1956. С. 31.

Третьяков отличался демократизмом и в убеждениях, хотя не был последователен. Передвижники (более всех Репин) помогали ему сделать верный шаг, когда он оступался. Так, в 1887 г. Третьяков вздумал было заказать для своей галереи портрет М.Н. Каткова, но Репин отругал его за это и отговорил[1]. Умер Третьяков в 1893 г. со словами: «Берегите галерею». Незадолго до смерти он завещал ее Москве. В 1918 г. галерея была национализирована и с тех пор называется Государственной Третьяковской галереей, «Третьяковкой».

В общем русле подъема отечественной культуры не отставала от живописи и скульптуры архитектура. В XIX в. ее корифеи восприняли и приумножили традиции великих зодчих XVIII в. В.В. Растрелли, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова.

Правда, шедевры архитектуры, как и прежде, создавались почти исключительно в столицах империи с пригородами и в поместьях титулованной знати, но они становились сразу или впоследствии национальным достоянием, памятниками величия и таланта русского народа и как таковые украшают Россию сегодня и будут украшать ее во веки веков. Их создатели были настоящими патриотами русской земли, хотя Росси по национальности итальянец (впрочем, родившийся и всю жизнь проживший в России, коренной петербуржец), а Монферран — француз, с 1816 г. навсегда поселившийся в Петербурге.

Первым из великих архитекторов заявил о себе в XIX в. бывший крепостной, ученик Баженова и Казакова Андрей Никифорович Воронихин. Он спроектировал грандиозный Казанский собор в Петербурге, построенный в 1801—1811 гг. С 1806 по 1823 г. строилось Адмиралтейство, шпиль которого стал эмблемой Петербурга. Архитектор этой жемчужины отечественного градостроительства — Адриан Дмитриевич Захаров.

Август Августович (Огюст) Монферран с 1818 г. начал руководить строительством по его проекту самого крупного в России Исаакиевского собора. В 1858 г. собор был достроен, а Монферран умер. Но параллельно с работой над Исаакием Монферран успел создать еще один шедевр — Александровскую колонну (Александрийский столп) на Дворцовой площади в Петербурге. Эта величайшая в мире из триумфальных колонн, задуманная как памятник Александру I, была торжественно открыта в 1834 г. Высотою (47,5 м) и весом (около 600 т) она превосходит колонну Траяна в Риме и Вандомскую колонну в честь Наполеона I в Париже. Бронзового ангела с лицом Александра I на верху колонны изваял Б.И. Орловский.

1834 год стал триумфальным в истории русской архитектуры. С ним связаны и два достижения, пожалуй, самого выдающегося из русских зодчих XIX в. Карла Ивановича Росси, а именно

[1] См.: *Репин И.Е.* Переписка с П.М. Третьяковым. М.; Л., 1946. С. 48.

открытие зданий Сената и Синода и Александринского театра в Петербурге. До и после этого по проектам Росси были сооружены Михайловский дворец (ныне Русский музей), здание Публичной библиотеки, торжественный въезд на Дворцовую площадь с аркой Главного штаба.

Достойное место в ряду лучших русских архитекторов занял Константин Андреевич Тон, по проектам которого построены Московский в Петербурге и Петербургский в Москве вокзалы, а главное, три великих московских памятника — Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата Московского Кремля и Храм Христа Спасителя (1837—1883), варварски разрушенный при Сталине в 1934 г.

Из всех областей русского искусства с наибольшим трудом укоренялись идеи реализма и демократизма в театре, поскольку царизм сугубо опекал театр как зрелищное место для избранных и старался оградить его от всякой — не только политической, но и художественной — «крамолы». Руководил императорскими театрами министр двора — нередко по личному указанию царя, а царь и двор не признавали за театрами иного назначения, кроме того, которое В.О. Ключевский определил такими словами: «Театр — школа барских чувств, эстетическая кондитерская».

В самом начале XIX в. русский театр оставался еще твердыней классицизма. Он ставил преимущественно трагедии на античномифологические и отечественно-исторические темы в духе верноподданнического патриотизма: «Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской» В.А. Озерова, «Всеобщее ополчение» С.И. Висковатова. Высокопарная драматургия определяла и стиль игры актеров. Он отличался ходульностью мизансцен, певучей декламацией и трагедийной жестикуляцией. Вообще театр классицизма уводил зрителей от таинства душ человеческих к внешним эффектам роли, от реальной жизни к «чистому искусству».

Однако уже в некоторых трагедиях Озерова («Фингал», «Поликсена») с 1810-х годов начали проявляться черты сентиментализма, а именно попытки раскрыть душевный мир человека, его переживания, психологию. Самым ярким представителем нового направления в театре стал драматург и актер П.А. Плавильщиков — автор пьес «Бобыль» и «Сиделец», исполнитель ролей Эдипа в трагедии Озерова и Правдина в «Недоросле» Д.И. Фонвизина. Плавильщикова поддерживал в театральных рецензиях И.А. Крылов.

В театре сентиментализм оказался еще скоротечнее, чем в литературе. Его сменил романтизм, который больше соответствовал приподнятому настроению русского общества после победы над Наполеоном. Так как театр был тогда под опекой царского двора, новое направление утвердилось на сцене в консервативной форме. Его классическим выражением стала драма Н.В. Ку-

кольника «Рука всевышнего отечество спасла», написанная с позиций теории «официальной народности».

С романтизмом пришли на сцену небывало крупные по тому времени для России актеры. Самым типичным из них был артист Александринского театра в Петербурге Василий Андреевич Каратыгин. Он отличался импозантной внешностью, будто созданной для героических ролей (красавец богатырского сложения с мощным голосом), и безупречно владел всем арсеналом актерской техники. Впрочем, техника в его игре была превыше всего. Он блистал монументальной парадностью и живописностью поз, но ему недоставало ни мысли, ни чувства. «Смотря на его игру,— писал о нем В.Г. Белинский,— вы беспрестанно удивлены, но никогда не тронуты, не взволнованы». Каратыгин был актером-официозом, кумиром салонной публики.

А тем временем в московском Малом театре «томил, мучил, восторгал» (по отзыву Белинского) зрителей великий трагик Павел Степанович Мочалов. Сын крепостного, он в противоположность Каратыгину, актеру-аристократу, панегиристу самодержавия, был актером-плебеем, бунтарем. Коронными ролями его репертуара были Чацкий в сценах из «Горя от ума» Грибоедова и Гамлет Шекспира. Мочалов захватывал зрителя не внешними украшениями роли, а глубиной чувства и мысли, внутренним огнем, феноменальным темпераментом. Вот как, к примеру, описывал очевидец его выход в драме Шекспира «Ричард III»: «Помощник режиссера ищет Мочалова за кулисами, чтобы напомнить о выходе, и застает его с лицом, искаженным от гнева и злобы,— в порыве страсти Мочалов резал мечом декорацию. Понятно, что при таком увлечении вдохновенного артиста он поразил ужасом зрителей, когда выскочил на сцену с воплем: «Коня! Полцарства за коня!» Молодой Шумский (позднее знаменитый актер.— *Н.Т.*), сидевший в тот вечер в оркестре, не выдержал и вылетел оттуда, не помня себя, при этом появлении Ричарда III».

Мочалов был художником-демократом. Его творчество высоко ценили Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский. Как актер, он противостоял не только Каратыгину, но и всему консервативно-романтическому направлению, преобладавшему тогда в театре. Мочалов был выразителем революционного романтизма, уже с очевидными реалистическими чертами. Реализм пришел в русский театр с «Ревизором» Гоголя (премьера состоялась в Александринском театре 19 апреля 1836 г.), а возобладал лишь с пьесами А.Н. Островского уже во второй половине века.

Царизм жестко ограничивал проникновение реалистических и демократических тенденций на театральную сцену. В 1831 г. было изуродовано цензурой «Горе от ума», запрещен в 1825 г. (до 1870 г.) «Борис Годунов» Пушкина, не была допущена к постановке ни одна из драм Лермонтова: в 1835—1836 гг. трижды запрещался его «Маскарад», который удалось поставить лишь

четверть века спустя после смерти автора, в 1864 г. Такие меры затрудняли утверждение реализма в русском театре, но не могли его «запретить». Реализм — это правда изображения, а никакое искусство (театральное, в частности) не может вечно оставаться в стороне от правды жизни... Рано или поздно в нем побеждает реалистическое направление.

Колыбелью сценического реализма в России стал Малый театр. Он был основан 14 октября 1824 г. в здании, которое занимает по сей день (архитектор О.И. Бове). Первоначальный состав его труппы был подобран в основном из крепостных актеров, которыми владел помещик А.И. Столыпин — отец Е.А. Арсеньевой, бабки и воспитательницы М.Ю. Лермонтова. Александр I купил их у Столыпина для Малого театра, выторговав при этом 10 тыс. руб. (вместо 42 тыс., запрошенных Столыпиным, уплатил 32 тыс.). Буквально со дня основания театра почти 40 лет душой его был великий актер Щепкин.

Михаил Семенович Щепкин, как и Мочалов, происходил из крепостных и сам до 33-летнего возраста был крепостным. Демократ и правдолюб по натуре, он смолоду впитал в себя прогрессивные убеждения, и способствовала этому его дружба с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценом, Шевченко. «Верхи» считали его политически неблагонадежным. Щепкин — признанный основоположник сценического реализма в России. «Он создал правду на русской сцене, он первый стал *нетеатрален* в театре» — так определил его историческую заслугу Герцен. Искусство Щепкина имело обличительную направленность: он часто играл отрицательные роли (Фамусова, Городничего), раскрывая в них всю неприглядность крепостников, царских чиновников и подрывая тем самым их репутацию. Играл же он так, что М.Н. Загоскин назвал его «чудо-юдо».

Щепкин создал целую школу русского театрального искусства. Он требовал от актеров не только правды изображения, но и профессионального мастерства, ответственности за свое дело. «Театр для актера — храм,— говорил он.— Священнодействуй или убирайся вон!» Заветами Щепкина руководствовались его младшие партнеры и последователи: Александр Евстафьевич Мартынов, который играл абсолютно все и, по отзыву современника, «был велик иногда в ужасном вздоре», и Пров Михайлович Садовский — родоначальник знаменитой актерской династии в России, действующей поныне, а также корифеи театра следующих поколений, не исключая К.С. Станиславского. Благодарные зрители дали Малому театру его имя: «Дом Щепкина». А ведь Малый театр был в XIX в. одним из главных центров русской духовной жизни, современники называли его «вторым Московским университетом».

В пореформенные десятилетия Малый театр стал еще более значимым, особенно с 70-х годов, когда на его сцене начала

выступать гениальнейшая из русских актрис Мария Николаевна Ермолова. Первое же выступление 23-летней Ермоловой в роли крестьянской девушки Лауренсии, поднимающей односельчан на восстание против помещика (пьеса Лопе де Вега «Овечий источник»), прозвучало как вызов самодержавию. Шел 1876 год. Царизм был напуган «хождением в народ» (в крестьянство!) революционеров-народников. Один жандармский полковник заявил после премьеры спектакля, не обинуясь: «Да там прямо призыв к бунту!» На втором представлении «Овечьего источника» Малый театр был оцеплен полицией, а зрительный зал наводнен переодетыми шпиками.

Вообще русский театр (особенно Малый) в то время был связан с «политикой», отражал потребности освободительного движения постановкой тенденциозных спектаклей — обличительных пьес русских классиков или зарубежных драм, которые аллегорически увязывались с российской действительностью. В ходу были не только развернутые, обстоятельные (по содержанию), но и афористичные, броские (только по заголовкам) иносказания. Например, в день коронации Александра III (14 мая 1883 г.) отдельные театры давали пьесы с такими названиями, как «Недоросль», «Светит, да не греет», пытались даже объявить «Горькую судьбину» и «Не в свои сани не садись», но такие уловки полиция разгадывала и пресекала. Самый смелый и рискованный из всех иносказательно-тенденциозных спектаклей в русском театре связан с именем Ермоловой. Это была «Корсиканка» Луиджи Гуальтьери.

Вскоре после цареубийства 1 марта 1881 г. и казни народовольцев-«цареубийц» Ермолова, взволнованная гибелью Софьи Перовской, выбрала для своего бенефисного спектакля в Малом театре неизвестную до тех пор в России драму неведомого (итальянского) автора и вдохновенно сыграла в ней роль Гюльнары, *убивающей деспота.* Власти были так встревожены опасной тенденциозностью «Корсиканки», что после первого же представления сняли ее с репертуара навсегда.

Именно Ермолова вывела русский театр на такой рубеж, «когда почувствовали, что недостаточно обличения старого, что необходим призыв со сцены к чему-то новому, живому»[1]. В образе Жанны д'Арк из драмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева» (пожалуй, самом вдохновенном из созданий Ермоловой) актриса подчеркивала мотивы патриотизма, героизма, самопожертвования, пробуждая тем самым в обществе стремление к борьбе против торжествующей реакции 80—90-х годов. Первый биограф Ермоловой Н.Е. Эфрос метко назвал ее «Жанной д'Арк русского театра».

---

[1] *Южин-Сумбатов А.И.* Воспоминания. Записки. Статьи. Письма. М.; Л., 1941. С. 459.

Разумеется, искусство Ермоловой впечатляло не только богатством и демократизмом идей, но и высочайшим мастерством, которое позволяло ей, по словам К.С. Станиславского, «вскрывать и показывать все изгибы до слез трогательной, до ужаса страшной, до смеха комичной женской души». Все вообще творчество Ермоловой Станиславский определил как «героическую симфонию» русской сцены по диапазону, глубине, красочности и воздействию на зрителя.

Другой центр театральной культуры в России — петербургский Александринский театр, открытый в 1756 г.,— страдал от чрезмерного внимания царских властей, которые считали его увеселительным заведением для «дистиллированной публики» (как иронизировала демократическая печать) и навязывали ему соответствующий репертуар. «Александринка» провалила «Чайку» Чехова, после чего близкий к театру рецензент злопыхательствовал: «Это не чайка, а просто дичь». К счастью для «Александринки», и в ней играли великолепные актеры, которые скрашивали своим мастерством недостатки репертуара и спасали театр от увядания. Крупнейшими из них были М.Г. Савина, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов.

Сын композитора А.Е. Варламова Константин Александрович Варламов был величайшим русским комедийным актером. «Царь русского смеха», как его называли, он 50 лет забавлял и радовал Россию своей игрой, «смешил серьезом», по выражению Станиславского, сыграв в общей сложности почти 1000 ролей, каждая из которых была совершенством. В 80-х годах Варламов заболел слоновой болезнью, почти потерял возможность двигаться и с тех пор играл преимущественно сидя, но с прежним блеском и выразительностью. До конца дней (умер в 1915 г.) он оставался любимцем публики. Вся театральная Россия — и млад и стар — называла его уважительно и нежно: «дядя Костя».

Музыкальный театр в еще большей степени, чем драматический, находился под опекой царского двора. Дирекции двух центров русской музыкальной культуры — Мариинского театра в Петербурге[1] и Большого в Москве[2] — насаждали поверхностно-развлекательный, причем иностранный репертуар, угождая вкусам придворной знати. Процесс демократизации музыкального, как и драматического, театра начался с 1836 г., когда на драматической сцене был поставлен «Ревизор» Гоголя, а на музыкальной — «Жизнь за царя» Глинки, родоначальника русской классической музыки.

---

[1] Основан в 1783 г., а с 1860 г. занимает здание, построенное архитектором А.К. Кавосом.

[2] Основан в 1776 г. Современное его здание построено в 1824 г. архитектором О.И. Бове, сгорело в 1853 г. и восстановлено в 1856 г. с большими изменениями А.К. Кавосом.

Михаил Иванович Глинка — «Пушкин в музыке», как называли его современники,— родился и вырос в помещичьей семье, но это не помешало ему стать таким же правдолюбом и демократом, каким был крепостной Щепкин. Детство Глинки прошло под впечатлением войны 1812 г. Его гувернером был декабрист В.К. Кюхельбекер. Повзрослев, Глинка дружески общался с другими декабристами (как, впрочем, и с Пушкиным, Грибоедовым, Дельвигом). После 14 декабря 1825 г. он привлекался к дознанию по делу декабристов. Все это укрепило в нем прогрессивные убеждения, которым он остался верен и в жизни, и в творчестве.

С 1834 г. Глинка начал работать над созданием национальной оперы. Сюжет (подвиг Ивана Сусанина) был подсказан ему В.А. Жуковским, а либретто писал по рекомендации Жуковского третьесортный поэт барон Г.Ф. Розен, секретарь наследника престола. Барон плохо знал русский язык, но был о себе высокого мнения как о поэте, и когда Глинка возмущался неуклюжестью его стихов, он гордо отвечал: «Ви нэ понимает, это сама лутший поэзия»[1]. Только гениальная музыка Глинки обеспечила успех оперы — вопреки плохому либретто (в 1939 г. советский поэт С.М. Городецкий написал новый текст либретто).

Премьера оперы «Жизнь за царя» состоялась 27 ноября 1836 г. Придворная знать восприняла оперу снобистски: «кучерская музыка». Зато передовая общественность (в частности, Пушкин, Гоголь, Белинский) горячо приветствовала творение Глинки, особенно его национальный дух, ибо, как метко выразился А. де Кюстин, при деспотическом режиме «все национальное, даже музыка, превращается в орудие протеста». «С оперою Глинки,— объявил тогда же В.Ф. Одоевский,— начинается в искусстве новый период: период русской музыки». Он был прав. «Жизнь за царя» как первая *классическая* русская опера положила начало мировому признанию музыкальной культуры России.

Вторую и последнюю свою оперу «Руслан и Людмила» (по сказке-поэме Пушкина) Глинка мечтал создать вместе с великим поэтом, но Пушкин погиб, когда Глинка только начал работу над оперой. Либретто написал по указаниям Глинки заурядный стихотворец В.Ф. Ширков, который, к чести его, бережно использовал стихи Пушкина. Премьера «Руслана» состоялась ровно через 6 лет после премьеры «Жизни за царя» — 27 ноября 1842 г. Придворные снобы и на этот раз брюзжали. Николай I демонстративно ушел с премьеры. Но в демократических кругах вторая опера Глинки была встречена так же восторженно, как и первая.

Великое дело создания классической русской музыки, начатое двумя операми, Глинка продолжил в симфонических произве-

[1] *Глинка М.И.* Записки. Л., 1953. С. 106.

дениях, инструментальных пьесах («Вальс-фантазия»), романсах («Не искушай», «Сомнения», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Не пой, красавица, при мне» и др.). Все его творчество, необычайно гармоничное и мелодичное, отличалось больше всего *народностью*. Может быть, с наибольшей силой эта черта проявилась в его симфонической поэме «Камаринская» (1848), о которой П.И. Чайковский сказал, что в ней, «как дуб в желуде»,— вся русская симфоническая школа. Сам Глинка говорил: «Музыку создает народ, а мы только ее аранжируем». Эти слова были девизом всего глинкинского творчества. В историю отечественной культуры Глинка вошел как первый русский композитор-классик. Подобно тому как Брюллов возвысил русскую живопись до мирового уровня, Глинка поднял на тот же уровень русскую музыку. По словам Чайковского, «Глинка вдруг стал наряду (да, наряду) с Моцартом, Бетховеном и с кем угодно».

Достойным преемником Глинки стал его ученик Александр Сергеевич Даргомыжский. Он первым не только в России, но и в Европе придал музыкальным произведениям *социальную*, общественно-публицистическую окраску. Его герои — это, как правило, простые люди из народа, придавленные гнетом, с трагической судьбой. Им посвящены его романсы («Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал», «Лихорадушка», «Без ума, без разума») и лучшее творение композитора — опера «Русалка» (1856), первая в России демократическая музыкальная драма. По идейному содержанию и художественной природе своего творчества Даргомыжский явился прямым предшественником композиторов «Могучей кучки».

Творческое содружество передовых музыкантов, которому В.В. Стасов дал крылатое имя «Могучая кучка», возникло в 1862 г. Идейно-художественные взгляды композиторов содружества сложились под влиянием национальной демократической мысли. Развивая традиции Глинки и Даргомыжского, они утверждали в русской музыке принципы высокой идейности, реализма, народности. Словом, их творческая деятельность была аналогична деятельности передвижников в области изобразительного искусства. Правда, по своему «удельному весу» в отечественной культуре «Могучая кучка» уступала передвижникам, поскольку объединяла лишь пять человек. Это были М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи. Другие композиторы-классики (в том числе П.И. Чайковский, А.Н. Серов, А.Г. Рубинштейн, С.И. Танеев, А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов) в «Могучую кучку» не вошли.

Организатором и руководителем содружества являлся Милий Алексеевич Балакирев, но в художественном отношении самой крупной его фигурой был Модест Петрович Мусоргский — этот «Шекспир в музыке», как его называли. Впрочем, вот как оценил

каждого из них В.В. Стасов: Балакирев — самый темпераментный, Кюи — самый изящный, Римский-Корсаков — самый ученый, Бородин — самый глубокий и Мусоргский — самый талантливый[1].

Мусоргский в молодости увлекался сочинениями Чернышевского и навсегда стал поборником демократической эстетики. Сам он так сформулировал свое творческое кредо: «Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона; смелая, искренняя речь к людям в упор — вот моя закваска, вот чего хочу и в чем боялся бы промахнуться». Творчество Мусоргского сродни исторической живописи Сурикова. Как и Суриков, Мусоргский считал главной темой в искусстве жизнь народа, а главным героем — народ. Оперу «Хованщина» он так и назвал: «народная музыкальная драма». Народ в представлении Мусоргского (как и в представлении Сурикова) — не безликая толпа. «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей»,— говорил композитор. Народ как «великая личность» — главный герой не только «Хованщины», но и другого, самого выдающегося создания Мусоргского — оперы «Борис Годунов» (1872).

Близок по содержанию и духу творчества к Мусоргскому Александр Порфирьевич Бородин. Для него тоже ведущей была тема народа и народных движений. Но в отличие от Мусоргского, который сосредоточивал внимание на социальных конфликтах, показывал народ в борении страстей и потому тяготел к драме, Бородин предпочитал эпос: он воспевал силу и славу русского народа, его национальное величие. Лучше всего говорят об этом два самых совершенных творения Бородина — опера «Князь Игорь» и 2-я («Богатырская») симфония.

Третий гений содружества Николай Андреевич Римский-Корсаков воспитывался, по его собственному признанию, на сочинениях Герцена. Он был таким же демократом и народолюбцем, как его товарищи по «Могучей кучке», но в творчестве Римского-Корсакова преобладали не эпические, как у Бородина, и не драматические, как у Мусоргского, а лирические мотивы — тема прекрасного в человеке и в природе, душевная гармония, светлое оптимистическое начало. Не случайно 7 — притом лучшие! — из 15 его опер написаны на сказочные сюжеты: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Майская ночь», «Ночь перед рождеством», «Кощей бессмертный».

Остальные композиторы «Могучей кучки» — Кюи и особенно Балакирев, будучи крупными музыкантами, все же уступали по масштабам дарований и творчества Мусоргскому, Бородину и Римскому-Корсакову.

Высочайшей вершиной русской музыкальной культуры стало творчество Петра Ильича Чайковского, взращенное на передовых,

[1] См.: *Ипполитов-Иванов М.М.* 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М., 1934. С. 22.

народно-реалистических традициях, начиная с Глинки. Сам Чайковский так и говорил: «Аз есмь порождение Глинки». Музыкальный гений Чайковского многогранен: ему были подвластны и вдохновенный лиризм (опера «Евгений Онегин», балет «Лебединое озеро»), и трагедийный пафос (опера «Пиковая дама»), и тончайшие нюансы интимных переживаний (романсы «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой»), и грандиозные идейно-психологические обобщения (6-я, «Патетическая» симфония). Однако через весь необъятный мир музыки Чайковского проходит одна центральная тема — разлад идеалов с действительностью и стремление человека к счастью. Лучшим эпиграфом к его творчеству мог бы служить афоризм В.Г. Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». При этом Чайковский понимал и отображал жизнь диалектически. «Жизнь,— говорил он, — имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом — из разнообразия в единстве».

При таком взгляде на жизнь Чайковский очень болезненно воспринимал противоборство «белого» и «красного» террора как борьбу зла со злом. Но ответственным за нараставшее в стране ожесточение этой борьбы он считал царское правительство. «Волосы становятся дыбом, когда узнаёшь, как безжалостно-жестоко, бесчеловечно поступают иногда с этими заблуждающимися юношами»,— возмущался композитор. В деле Веры Засулич он клеймил «наглый и жестокий произвол петербургского префекта» Ф.Ф. Трепова, а Засулич признавал личностью «недюжинной и невольно внушающей симпатию». В связи с этим биограф Чайковского А.А. Альшванг обоснованно предположил, что самоотверженная борьба русских революционеров конца 70-х годов увлекла композитора и подтолкнула его к героической, шиллеровской теме («Орлеанская дева»), в общем-то не свойственной его таланту и темпераменту.

В отличие от композиторов «Могучей кучки» Чайковский тяготел к раскрытию природы человеческой *личности,* а не народной массы. Никто другой в России ни до, ни после Чайковского не мог так воспеть музыкальными средствами красоту и поэзию человеческого чувства. Естественно, композитора привлекали незаурядные, сильные и сложные натуры. Будучи восторженным почитателем Пушкина, создав на пушкинские сюжеты свои лучшие произведения, Чайковский, однако, отвергнул сюжет «Капитанской дочки» на том основании, что «героиня, Марья Ивановна, недостаточно интересна и характерна, ибо она безупречно добрая и честная девушка и больше ничего».

Музыка Чайковского окрашена особой, ни с чем не сравнимой эмоциональностью и мелодичностью, что и обеспечивает ей доныне предпочтительную любовь слушателей. Можно утверждать, что

самая популярная из русских национальных опер — это опера Чайковского «Евгений Онегин» (1878), наиболее любимый из русских балетов — балет Чайковского «Лебединое озеро» (1876). Из русской симфонической музыки выделяется популярностью «Патетическая», 6-я симфония Чайковского (1893), а из фортепианных концертов — его же Первый концерт (1875). Думается, если бы любителям музыки в нашей стране предложили выбрать самый любимый романс, очень многие назвали бы один из 104 романсов Чайковского.

Чайковский был солнцем русской музыки, как Пушкин — солнцем русской поэзии. Но дело не только в отечественном, а также и в мировом признании. Чайковский сегодня из всех русских композиторов прошлого и настоящего, бесспорно, самый почитаемый за рубежами России. Не случайно крупнейший международный музыкальный конкурс, проводимый каждые четыре года в Москве, назван его именем. Творения Чайковского дороги россиянам не только потому, что они подняли русскую музыку на недосягаемую в стране высоту, но и потому, что они доставили русской музыке всемирную славу.

При всех достижениях национальной музыки от Глинки до Чайковского ее *сценическое* и, главным образом, вокальное воплощение несколько отставало от мирового уровня. Если русский балет к концу XIX в. завоевал себе славу лучшего в мире, то опера была заражена преклонением перед иностранными, особенно итальянскими, певцами. Впрочем, светские завсегдатаи оперы «преклонялись» специфически. Они нередко снимали в театре первые ряды партера на весь сезон, но вечерами, когда шли спектакли, развлекались в картежных клубах и прибывали в театр лишь к той минуте, когда приезжая знаменитость должна была взять какую-нибудь особо высокую ноту, после чего с шумом разъезжались доигрывать партию в карты.

Преклонение перед «итальянщиной» было очень живучим, поскольку итальянские певцы являлись лучшими в мире, они поражали слушателей голосами неслыханной красоты и мощи. Вот как описывал К.С. Станиславский выступление знаменитого тенора Франческо Таманьо в опере Д. Верди «Отелло». «Таманьо вышел в костюме Отелло со своей огромной фигурой могучего сложения и сразу оглушил нас всесокрушающей нотой. Толпа инстинктивно, как один человек, откинулась назад, словно защищаясь от контузии. Вторая нота — еще сильнее, третья, четвертая — еще и еще — и когда, точно огонь из кратера, на слове "мусульма-а-а-не", вылетела последняя нота, публика на миг потеряла сознание. Мы все вскочили. Знакомые искали друг друга, незнакомые обращались к незнакомым с одним и тем же вопросом: "Вы слышали? Что это такое?" Оркестр остановился,

на сцене смущение. Но вдруг, опомнившись, толпа ринулась к сцене и заревела от восторга, требуя "биса"».

Однако великолепные итальянские певцы почти все (исключая лишь некоторых, вроде Энрико Карузо и Маттиа Баттистини) были плохими актерами. Опера в их исполнении выглядела как эффектный концерт без должной (а то и без всякой) сценической игры. Особенно отличались в этом смысле тенора. Появилась даже поговорка: «Глуп, как тенор». Русские певцы большей частью брали тогда пример с итальянских, как самых лучших: пели в спектаклях, скрестив руки на груди или заложив их за спину, а если жестикулировали, то не всегда к месту. Например, тенор Мариинского театра М.И. Михайлов, обладавший ангельским голосом, в сцене князя из оперы Даргомыжского «Русалка» при словах «а вот и дуб заветный!» хлопал себя ладонью по лбу.

Между тем под влиянием лучших образцов литературы, изобразительного искусства и драматического театра в России начала складываться национальная школа певцов-актеров. Ее фундамент заложил в 30—40-е годы великий бас Осип Афанасьевич Петров — первый Сусанин и Руслан в операх Глинки; создавали эту школу баритон И.А. Мельников (первый исполнитель заглавных партий в операх «Князь Игорь» Бородина и «Борис Годунов» Мусоргского), бас Ф.И. Стравинский (отец композитора И.Ф. Стравинского, первый исполнитель ряда ролей в операх Чайковского), тенор Н.Н. Фигнер (брат легендарной революционерки Веры Фигнер, первый Герман в «Пиковой даме») и другие певцы, а завершили формирование школы на рубеже веков трое самых выдающихся русских певцов-актеров: Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Неждановa.

Крупнейшим из них был Федор Иванович Шаляпин. Его значение в русском искусстве знатоки при жизни Льва Толстого определяли словами: «Шаляпин поет — это для России, для ее национального самолюбия звучит так же гордо, как, например, "Толстой пишет"». Шаляпин начал выступать на профессиональной оперной сцене с 1893 г. и к началу нового века был уже знаменит. Но большей частью он творил уже в XX в., пел так, что сегодня авторитеты разных стран признают: мир не знал и поныне не знает другого артиста (мало сказать — певца, именно артиста), который имел бы такую власть над публикой чуть ли не всех частей света, кроме Африки и Антарктиды, и которого всесветная публика так единодушно признала бы самым великим из артистов.

Все в Шаляпине соединилось для того, чтобы он стал первым певцом и актером мира. Конечно, он был великим тружеником, но слишком много имел он того, о чем говорят — «дар божий»: феноменальный голос, гениальный дар перевоплощения, вдохновенный артистизм, идеально сценичная внешность (классически

скульптурная, высокая и статная фигура, редкая пластика движений, выразительное лицо с крупными чертами, которое могло до неузнаваемости преобразиться в одно мгновение, стоило Шаляпину вздернуть бровь, прищурить глаз или раздуть ноздри).

Шаляпин вышел из «народа»[1], трудовую жизнь начал учеником у сапожника, познал в детстве и юности нищету, бродяжничество, опускался на самое дно жизни и до конца дней своих по складу характера и мышления оставался демократом. Царская охранка считала его неблагонадежным и вела за ним негласное наблюдение как в России, так и за границей. Сам царь не любил Шаляпина и однажды обозвал его «босяком». Черносотенные газеты, развивая царскую мысль, ругали певца «босяцким революционером». Шаляпин действительно сочувствовал освободительному движению, материально помогал революционерам и собирался даже вступить в РСДРП, но М. Горький отсоветовал: «Ты для этого негоден. И я тебя прошу, запомни раз навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно».

В Октябрьской революции Шаляпин скоро разочаровался, испытав на себе произвол большевистских властей. Поэтому он, выехав в 1922 г. из советской России на гастроли, не вернулся на родину, хотя тяжело переживал вынужденную эмигрантщину. Умер Шаляпин в 1938 г. в Париже с тоской по России. Его последние слова были: «Где я? В русском театре?..»[2]

Шаляпин, Собинов, Нежданова — это блистательное созвездие певцов-актеров — в начале XX в. завоевали русскому музыкальному театру мировое признание.

* * *

Итак, русская культура в XIX в. неуклонно шла к прогрессу. При этом она благотворно воздействовала на развитие культуры других народов России. Втянутые капитализмом в общероссийский исторический процесс, эти народы обрели в лице русского народа могучего союзника, поскольку царизм был их общим врагом. Корифеи передовой культуры народов России — Т.Г. Шевченко и Н.В. Лысенко, И.Я. Франко и М.Л. Кропивницкий (Украина), В.И. Дунин-Марцинкевич и Ф.К. Богушевич (Беларусь), И.Г. Чавчавадзе и А.Р. Церетели (Грузия), Х. Абовян и М.Л. Налбандян (Армения), М.Ф. Ахундов (Азербайджан), Я. Райнис (Латвия), М.К. Чюрленис (Литва), Ф.Р. Крейцвальд (Эстония),

[1] Мы должны быть благодарны меценату С.И. Мамонтову, который сумел распознать в юном Шаляпине непревзойденный талант и помог ему встать на ноги.

[2] Ф.И. Шаляпин. Статьи, высказывания, воспоминания о Ф.И. Шаляпине. М., 1960. Т. 2. С. 490.

Ч.Ч. Валиханов (Казахстан) — дорожили связями с русской культурой. «Каждый из нас,— говорил о своем поколении великий грузин Илья Чавчавадзе,— вырос на русской литературе, построил свои убеждения, свое учение на ее великих идеях». «Без России мы пропадем,— заявлял выдающийся просветитель казахского народа Чокан Валиханов,— без русских — это без просвещения, в деспотии и темноте».

Культура народов России, со своей стороны, тоже позитивно воздействовала на русскую культуру. Влияние национальных культур внутри Российской Империи было взаимным и поэтому особенно плодотворным, о чем говорит, например, творческое общение Пушкина и Мицкевича, Некрасова и Шевченко, Герцена и Налбандяна, Тургенева и Марко Вовчка, Римского-Корсакова и Лысенко. Вопреки усилиям царизма, стремившегося в интересах самосохранения разъединить народы России и противопоставить их друг другу, культурное содружество русского народа с другими народами империи помогало им сплачивать силы для совместной борьбы с царским режимом.

Историографическая справка. Культурное развитие России XIX в. изучено не столь досконально, как экономическое, социальное и политическое, хотя каждому крупному деятелю любой из областей культуры посвящены монографии, иным (Пушкину, Льву Толстому, Чайковскому, Репину) — десятки и сотни. Среди них выделяются совокупностью достоинств книги Д.Д. Благого о Пушкине, В.Б. Шкловского о Толстом, К.И. Чуковского о Некрасове, А.А. Альшванга о Чайковском, И.Э. Грабаря о Репине и Валентине Серове, С.Н. Дурылина о Ермоловой. Есть и обобщающие труды по истории отдельных сфер культуры и всех вместе, но XIX век рассматривается в них лишь как промежуточный этап культурно-исторического процесса.

До 1917 г. были изданы весьма квалифицированные «Очерки по истории русской культуры» в трех томах П.Н. Милюкова (СПб., 1896—1903) и двухтомная «История русского искусства» А.П. Новицкого (СПб., 1899—1903). Оба эти труда при всем различии идейных позиций авторов (у Милюкова — либеральные, у Новицкого — консервативные) ценны обилием фактических данных, своеобразием личностных характеристик, но страдают недооценкой социально-экономической обусловленности культурного процесса и преувеличением западных влияний на культуру России.

В советское время подготовлены сводные труды, хотя и методологически стесненные жесткими догмами марксизма-ленинизма, но чрезвычайно богатые фактическим материалом, включая множество новых сведений из источников, ранее неизвестных. В большей степени они относятся к истории

литературы, живописи, музыки, театра[1], в меньшей — науки и просвещения. Специально о русской культуре XIX в. обобщающих исследований пока нет. Их отсутствие частично компенсируют содержательные очерки В.В. Познанского и под редакцией Н.М. Волынкина[2].

В зарубежной историографии культура России освещается лишь между прочим, обзорно и с непременным (большим или меньшим) преувеличением ее отсталости[3].

---

[1] См.: История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941—1956; История русского искусства: В 13 т. М., 1963—1969; История русской музыки. М., 1957—1960. Т. 1—3; История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977—1982.

[2] См.: *Познанский В.В.* Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX в. М., 1975; Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. М., 1976.

[3] См., например: *Seton-Watson H.* The Russian Empire. L., 1967.

Трудный путь, в лучах славы и во тьме унижения, прошла Россия за сто лет от Павла I до Николая II. Все сферы ее жизни — экономическая, социальная, политическая, духовная — в целом прогрессировали: феодальная империя с преобладанием натурального хозяйства, социальной пропастью между «барином» и «мужиком», самовластием крепостников и почти поголовной неграмотностью населения превратилась в государство с мощным торгово-промышленным капиталом, освобожденным от крепостного права крестьянством, бессословными органами власти и суда, небывалым ранее взлетом культуры.

На этом пути Россия пережила и внешние, и внутренние потрясения, однажды (в 1812 г.) угрожавшие ее независимости и дважды (в 1859—1861, а затем в 1879—1881 гг.) подводившие ее вплотную к революционному взрыву. Каждый раз ее правительству удавалось вывести страну из кризиса с меньшими для себя, но бóльшими для народа издержками: после 1812 г. царизм прибег к аракчеевщине, с 1861 г. занялся половинчатыми реформами, а после 1881 г. взял курс на контрреформы.

Наиболее перспективный для страны путь развития через *последовательные* демократические реформы оказался невозможным. Хотя он и был обозначен, как бы пунктиром, еще при Александре I, в дальнейшем либо подвергался искривлениям, либо даже прерывался. При той самодержавной форме правления, которая в течение всего XIX в. оставалась в России незыблемой, решающее слово по любому вопросу о судьбах страны принадлежало монархам. Они же, по капризу истории, чередовались: реформатор Александр I — реакционер Николай I, реформатор Александр II — контрреформатор Александр III (Николаю II, вступившему на престол в 1894 г., тоже пришлось после контрреформ отца уже в начале следующего века пойти на реформы)[1].

Хуже того, даже монархи-реформаторы в условиях, когда без реформ нельзя было обойтись, старались уступить новому как можно меньше и сохранить из старого как можно больше. «Ни одна реформа не была добросовестно приведена в исполнение, ни одна не получила полного развития» — так оценивал один из

[1] Частично влияли на подобное чередование либеральные воспитатели монархов — Ф.Ц. Лагарп у Александра I, В.А. Жуковский у Александра II.

умнейших министров царской России Д.А. Милютин реформы Александра II, самые радикальные из всех реформ XIX в. Что же касается монархов-контрреформаторов, то они возвращали назад и кое-что из уступок. Тем самым царизм только усиливал противодействие себе со стороны всех оппозиционных сил и вынуждал их крайнее, революционное крыло к самым радикальным способам действий, вплоть до восстания и цареубийства.

Весь ход российской истории XIX в. свидетельствует, что главную ответственность за те социальные и политические катаклизмы, которые пережила Россия уже в то время, а затем еще болезненнее в 1905—1917 гг., несут не революционеры, которые будто бы (как считают многие зарубежные, а с недавних пор и некоторые отечественные историки) своим экстремизмом столкнули царизм с правильно избранного пути реформ. Ответственность за это лежит на царизме, ибо он вообще не хотел идти таким путем, а когда объективные и субъективные факторы (включая революционное движение) заставляли его встать на путь реформ, он стремился если не сменить навязанный ему курс, то, по крайней мере, искривить его. Демократически реформировать империю сами цари не хотели, а царские министры не могли по ограниченности как объективных, так и субъективных своих возможностей, ибо они большей частью не поднимались выше уровня министра внутренних дел 1868—1878 гг. А.Е. Тимашева, о котором П.А. Валуев ядовито, но в принципе верно сказал: «Он не понимает, не знает, и не понимает и не знает, что не знает и не понимает»[1]. Александр III прямо говорил о себе и своих министрах: «Когда Дурново мне докладывает, я все понимаю, а он ничего не понимает; когда Витте — я не понимаю, но зато он все понимает, а когда Кривошеин — ни он, ни я, мы ничего не понимаем». В результате страна регулярно сбивалась с оптимального курса развития. Бывший министр просвещения А.В. Головнин сетовал в 80-е годы: «Река времен несет ладью, именуемую Россией, и нет кормчего, а сидят гребцы неумелые». Д.А. Милютин тогда же выразился еще резче: «Мы оказались стадом баранов, которое бежит туда, куда бежит передний козел». Двадцать лет спустя Лев Толстой в письме к Николаю II заключал: «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением»[2].

---

[1] Разумеется, были среди них в каждом царствовании яркие исключения: М.М. Сперанский, Д.А. Милютин, А.М. Горчаков, С.Ю. Витте, отчасти П.Д. Киселев, тот же П.А. Валуев.

[2] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 73. С. 187.

По мере того как Россия все дальше уходила вперед от феодализма к капитализму, царизм становился все большим тормозом ее развития, поскольку он, во-первых, защищал интересы помещиков-крепостников, помещичье землевладение и, следовательно, феодальные способы эксплуатации крестьян; во-вторых, не соглашался ни на какие ограничения самодержавной власти, отвергая со времен Александра I все конституционные проекты; в-третьих, препятствовал культурному прогрессу России, стараясь держать в темноте и невежестве громадное большинство собственного народа. Поэтому Февральская революция 1917 г. стала закономерным итогом нараставшего в России XIX в. антагонизма между народом и властью.

Мировой исторический опыт свидетельствует, что всякий раз, когда эволюционное развитие общества заходит в тупик (т.е. когда старый общественный и государственный строй исчерпывает себя, а власть не желает его коренного преобразования), революция становится необходимой, как в медицине необходима хирургическая операция, когда исчерпаны терапевтические средства лечения. Именно революция высвобождала творческие силы нации из-под экономического, социального, политического, духовного гнета для максимально возможного исторического прогресса, как это было *во всех* ныне самых развитых странах мира: в Англии XVII в., США и Франции XVIII в., Германии, Италии, Японии XIX в. Точно так же и в России после Февраля 1917 г. открылись возможности для того, чтобы она заняла одно из первых мест по уровню развития среди великих держав.

Другое дело, что революция всегда, в большей или меньшей степени, сопряжена с материальными и нравственными издержками, с кровью, с жертвами. На этом основании ее противники изображают всякую революцию аномалией, а самих революционеров монстрами, ответственными, как никто, за кровь, пролитую человечеством. Между тем для всякого беспристрастного историка очевидно, что ни одна революция не пролила и малой доли той крови, которую проливали в «мирное» время, без революций, легитимные монархи (например, в России — Иван IV, Петр I, Александр II), расправляясь с народными движениями и с политической оппозицией.

Революция всегда была делом народных масс, которые вершили ее под руководством разных (благородных и низких, гуманных и жестоких) вождей. Именно народ в конечном счете решал судьбу любого режима, выбирая для этого адекватные средства: когда положение народа становится *невыносимым*, он как главный творец и высший судия истории обретает право на революцию.

1801—1825	Царствование Александра I.
1802, 8 сентября	Учреждение министерств в России.
1803, 20 февраля	Указ о вольных хлебопашцах.
1804	Первый в России цензурный устав.
1805	Война России на стороне 3-й коалиции против Франции.
1806—1807	Война России на стороне 4-й коалиции против Франции.
1807, 25 июня (7 июля)	Тильзитский мир.
1809—1812	Проекты реформ М.М. Сперанского.
1812, 12 июня	Начало Отечественной войны.
1812, 26 августа	Бородинская битва.
1812, 14 декабря	Изгнание войск Наполеона из России.
1813, 16—19 октября	«Битва народов» при Лейпциге.
1814, 31 марта	Вступление союзных войск в Париж.
1814, 16 сентября—1815, 9 июня	Венский конгресс.
1815, 14 (26) сентября.	Договор о Священном союзе монархов Европы.
1816	Учреждение военных поселений в России.
1816—1817	Союз спасения.
1818—1821	Союз благоденствия.
1820, 16 октября	Волнения в лейб-гвардии Семеновском полку.
1821—1825	Северное и Южное общества декабристов.
1825, 14 декабря	Восстание декабристов в Петербурге.
1825, 29 декабря — 1826, 3 января	Восстание Черниговского полка.
1825—1855	Царствование Николая I.
1826, 10 июня	Второй цензурный устав.
1826—1828	Война России с Ираном.
1828, 10 (22) февраля	Туркманчайский мир.
1828, 8 декабря	Школьный устав.
1828—1829	Война России с Турцией.
1829, 2 (14) сентября	Адрианопольский мир.
1830—1832	Кодификация российского права.
1831—1834	Кружок А.И. Герцена — Н.П. Огарева.
1833, 26 июня (8 июля)	Ункяр-Искелесийский договор.
1837, 30 октября	Открытие первой в России железной дороги (Петербург — Царское Село).
1837—1841	Реформа П.Д. Киселева.
1845—1849	Кружок петрашевцев.
1853—1856	Крымская война.
1854, 13 сентября — 1855, 27 августа	Оборона Севастополя.
1855—1881	Царствование Александра II.
1856, 18 (30) марта	Парижский мир.
1857, 3 января	Учреждение Секретного комитета по крестьянскому делу.
1857, 1 июля	Выход в свет 1-го номера газеты А.И. Герцена и Н.П. Огарева «Колокол».
1858, 21 апреля и 4 декабря	Программы Главного комитета по крестьянскому делу.

1859—1861	Первая революционная ситуация.
1861, 19 февраля	Отмена крепостного права.
1861—1863	Первое общество «Земля и воля».
1862	Возникновение содружества композиторов «Могучая кучка».
1864, 1 января	Положение о земской реформе.
1864, 20 ноября	Судебные уставы.
1865, 6 апреля	Временные правила о печати.
1870, 16 июня	Положение о городской реформе.
1870	Основание Товарищества художников-передвижников.
1874, 1 января	Закон о всеобщей воинской повинности.
1874	Массовое «хождение в народ».
1876, осень	Возникновение второго общества «Земля и воля».
1877—1878	Русско-турецкая война.
1878, 13 июня — 13 июля	Берлинский конгресс.
1879—1882	Вторая революционная ситуация.
1879, 15 августа	Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел».
1881, 1 марта	Убийство Александра II по приговору «Народной воли».
1881—1894	Царствование Александра III.
1881, 14 августа	«Положение об охране».
1882, 18 мая	Закон об отмене подушной подати.
1883, 1 января	Прекращение временнообязанного состояния крестьян.
1886, 12 июня	Закон о найме сельскохозяйственных рабочих.
1887, 12 февраля	Закон об ограничении гласности судопроизводства.
1887, 5 июня	Циркуляр о «кухаркиных детях».
1889, 12 июля	Положение о земских начальниках.
1890, 12 июня	Закон о земской контрреформе.
1892, 11 июня	Закон о городской контрреформе.
1893, 23 декабря (1894, 4 января)	Оформление русско-французского союза.

Учебное издание

Троицкий Николай Алексеевич

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ
КУРС ЛЕКЦИЙ

Редактор *Л.П. Желобанова*
Художественный редактор *Ю.Э. Иванова*
Художник *В.Ю. Соколова*
Технический редактор *Н.В. Быкова*

Лицензия ИД № 06236 от 09.11.01.

Изд. № РИФ-222. Подп. в печать 19.11.02. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$.
Бум. офсетная. Гарнитура литературная. Печать офсетная.
Объем 27,00 усл. печ. л.+0,25 усл. печ. л. форз. 27,75 усл. кр.-отт.,
29,09 уч.-изд. л.+0,47 уч.-изд. л. форз. Тираж 6000 экз. Заказ № 2555.

ФГУП «Издательство «Высшая школа»,
127994, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., 29/14.

Тел.: (095) 200-04-56. E-mail: info@v-shkola.ru http://www.v-shkola.ru

Отдел реализации: (095) 200-07-69, 200-59-39, факс: (095) 200-03-01.
E-mail: sales@v-shkola.ru

Отдел «Книга-почтой»: (095) 200-33-36. E-mail:bookpost@v-shkola.ru

Набрано на персональных компьютерах издательства.

Отпечатано в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В.И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 5060044955

Н.А. Троицкий

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ